КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ



ЗОЛОТАЯ РОЗА

КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ

ЧЕРНОЕ МОРЕ

СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ

МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ

ЗОЛОТАЯ РОЗА

ПОВЕСТИ

КИШИНЕВ, ЛИТЕРАТУРА АРТИСТИКЭ, 1987

84 Р7-44
П 21

Художник Ю. Пивченко

Печатается по изданию:
К. ПАУСТОВСКИЙ
Собрание сочинений в 8-ми томах, Т. 1, 3,6.
М., «Художественная литература», 1967, 1969.

Паустовский К. Г.
П 21 Золотая роза: Повести.— Худож. Пивченко Ю. Кишинев: Лит. артистикэ, 1987. — 608 с.

В сборник вошли повести «Черное море», «Северная повесть», в которых пласты давнего и недавнего прошлого неотъемлемой частью входят в их содержание, влияя на биографии и судьбы героев; «Маленькие повести» — о взаимоотношении человека и природы — «Мещорская сторона»; исторические повести «Озерный фронт» и «Судьба Шарля Лонсевиля»; жизнеописания людей искусства и науки — «Созвездие Гончих Псов», «Орест Кипренский», «Исаак Левитан», «Тарас Шевченко» и другие, а также книга о писательском труде «Золотая роза».

П $\frac{4702010200-230}{М756(10)-87}$ 16—87 **ББК 84Р7-44**

ЧЕРНОЕ МОРЕ



Приедается все, лишь тебе
не дано примелькаться...

Борис Пастернак

Поздняя ночь. Море шумит за окном. Дует норд-вест. В старинной лоции, раскрытой на столе, красным карандашом подчеркнута строчка: «Ветры от норд-веста и веста всегда сопровождаются мрачной погодой и дождем».

Ночной дождь висит над Севастополем непроницаемым дымом.

У лоции — большие поля. Они сделаны для того, чтобы шкиперы и капитаны могли записывать наблюдения над огнями маяков, приметами на берегах, туманами и зимними бурями.

На полях своей лоции я записывал все, что видел и узнал у Черного моря.

Даже мальчишки перестали верить моряцким басням о бутылках, залитых воском и выброшенных на песок прибоем. По словам престарелых пристанских сторожей, в этих бутылках всегда были заключены жгучие тайны. Они были написаны карандашом на листках, вырванных из судового журнала.

Я, как и мальчишки, давно не верю в это. Времена легкокрылых фрегатов и летучих голландцев прошли. Тайны умирают, как ночные мотыльки, обожженные огнем дуговых фонарей. Мое неверие в тайны так велико, что я даже начал сомневаться в существовании голубых огней святого Эльма, пылающих над мачтами кораблей, хотя об этом я читал еще в гимназии в «Физике» Краевича.

Но все-таки о бутылках я вспомнил недаром. Море подарило мне эти рассказы. Оно выбросило их к моему порогу, как выбрасывало когда-то бутылки вместе с солнечным блеском, красными водорослями и медузами.

Плавучий бакен-ревун кричит за Константиновским фортом. Его мотают буруны и хлещет ветер. Когда он тяжело подымается над волной, мокрый и разъяренный, он видит тонущие в неспокойной воде огни Севастополя. Тогда он мычит, как человек с завязанным ртом.

За окном ничего нет, кроме фонарей, сжимающихся в воде около крепостных утесов. Только встревоженная вода, стон ревуна и теплая осенняя ночь.

Я прислушиваюсь. Нет, не только они. Слышны тяжелые шаги по набережной и хриплый разговор рыбаков. Искры махорки прорезают плотную темноту.

Рядом со мной в комнате спит человек, — я слышу его дыхание и ласковые слова сквозь сон,— и вот книга о море великих побережьях, о штилях и туманах наполняется людьми, смехом, спорами, борьбой и любовью. Только рядом с людьми приобретает смысл и значение все, что написано на дальнейших страницах.

Без людей нашего времени, полного побед и человеческой теплоты, нет прекрасного ни в цвете морей, ни в ветрах, ни в облаках, ни в полете птиц,— ни во всем, что называется жизнью.

НЕБЕСНАЯ АЗБУКА МОРЗЕ

Ураганам предшествуют
мертвые штили и теплота.
Довэ, «Законы шторма»

Вода звенела, как бы падая в медный таз с головокружительной высоты.

Этот звук будил Гарта. Он вызывал представление о солнечных зайчиках и безоблачном небе.

Гарт поворачивал голову к окну, и предчувствие сбывалось: безветрие и бледная осень стояли над городом.

Город был похож на театральный макет, где с домов осыпалась позолота, и только редкие ее пятна остались на розовой штукатурке оград.

Город был полон осеннего сверкания. По утрам оно качалось над бухтами голубым серебрящимся дымом. В полдень оно подымалось к зениту желтым огнем, а вечером, окрашенное золотом облаков, оно долго боролось с блеском сигнальных фонарей, зажженных на рейде.

Гарт бежал в Севастополь от промозглой московской осени. Он с содроганием вспоминал черные тучи, волокущие по крышам свое мокрое тряпье, и сумрачные залы библиотек.

Все это осталось позади.

Гарт был писателем. У своей фамилии Гартенберг он отбросил окончание, чтобы целиком слить себя со своими героями — бродягами и моряками, жившими в необыкновенных странах.

Герои Гарта носили короткие и загадочные фамилии. Все они, казалось, появились из тех легендарных времен, когда над морями стояла вечная жара, вражеские линейные корабли, сходясь к бою, приветствовали друг друга криками «ура», и пираты, шатаясь по океанам, веселились, как черти.

Если принять во внимание, что Гарт жил в Советском Союзе, то не только содержание его рассказов, но и внешность этого писателя не могла не вызвать недоумения.

Гарт ходил в черном просторном костюме, строгом и скучном, как у английского священника. Только порыжевшие швы

и заплаты говорили о тягостных днях одиночества и нищеты.

Жизнь Гарта была бесконечно печальной и горестной жизнью бродяги и отщепенца.

Как ребенок зажимает в кармане единственную драгоценность — лодку, вырезанную из коры, или серебряную бумажку от конфеты, так Гарт прятал в себе веселый мир выдумок о несуществующей жизни. Ему казалось, что все вокруг враждебно этому миру. Чем насмешливее смотрели окружающие на выдумки Гарта, тем с большей, почти болезненной, любовью он охранял их от любопытства людей.

Гарт был тем, что принято называть «живым анахронизмом». Он выпал из своего времени. Внятный внутренний голос говорил, что пора просыпаться от пестрых снов, что пересоздание мира требует жертв и борьбы, но Гарт отмахивался от этого голоса, как спящий от настойчивого зова.

Гарт не понимал, что революция даст жизни веселое цветение и мудрость, о которых он так тосковал.

Гарт устал от прошлого, плохо сознавал настоящее, и, наконец, он не хотел ждать. Поэтому такая простая мысль никогда не приходила ему в голову.

Много времени спустя люди, близко наблюдавшие Гарта, начинали понимать доброту и талантливость этого заброшенного человека.

Первыми это поняли городские мальчишки. Сначала они преследовали Гарта свистом и кличкой «Недоверчивый». Но однажды Гарт остановился на улице около мальчишки со сломанным луком. С высоты своего роста Гарт нерешительно смотрел на слезы, размазанные по худым детским щекам.

Потом он взял мальчишку за плечо и повел в магазин «Динамо». Там он купил ему индейский лук из красного дерева с резиновой тетивой.

Весь тот день стрелы с куриными перьями на хвостах жужжали в желтом от известняка переулке. Ходить по переулку становилось опасно. Гарт нажил жестоких врагов — пронзительных хозяек с узлами бесцветных волос на затылке, проклинавших стрелы, мальчишку и писателя.

Ничто не распространяется так быстро среди детей, как слух о взрослом покровителе игр. Тогда дерзкие мысли о скучном характере родителей охватывают племя ребят.

Гарт был признан мальчишками своим негласным советником от Хрустальной бухты до Корабельной стороны и от Черной речки до Аполлоновой балки. Пожалуй, это событие было его первым столкновением с настоящей жизнью.

Несколько дней после этого он сидел в сухом саду и мастерил индейские луки для жадных и неспокойных ребят. Худые осы садились на тетиву и дрожали вместе с ней, разглядывая сутулую спину Гарта.

Гарт улыбался одними морщинами, сбегавшимися около воспаленных от чтения глаз.

В первые дни севастопольской жизни Гарт изучал топографию города.

Его радовала изорванность утесистых берегов, путаница глубоких бухт и повороты выветренных лестниц. Он подолгу рассматривал каменистые дворы, полные кошек, сухой листвы платанов и голубоватых рыбачьих сетей. Его поражал причудливый план города, спрятанного в синий шар неба и моря.

Потом у себя в комнате Гарт рисовал карты выдуманных им приморских городов — Саванны и Кастля — и отмечал места, где должны были произойти события из еще не написанных им рассказов.

Вода звенела, как бы падая в таз с головокружительной высоты, и разбудила Гарта. Это мылся за стеной его квартирный хозяин — веселый и вспыльчивый старик Юнге.

В каждом городе есть свои чудаки и сумасшедшие. Юнге считался севастопольским чудаком. Он заведовал службой погоды в порту. Старик гордился своей профессией. Он любил повторять, что дело метеоролога заключается в том, чтобы растолковывать дуракам простой язык природы.

Гарт был рад, что поселился у этого шумного человека, дружившего с облаками и циклонами. Знание этих вещей было необходимо Гарту как писателю. От старика можно было много узнать.

У Юнге была дочь Зоя — комсомолка и планеристка. Гарт ни разу ее не видел. Зоя почти все время жила в Коктебеле, где в тот год в сентябре шли, как обычно, планерные состязания.

Старик, уходя из дому, оставлял Гарту ключ от библиотеки.

Сегодня, как уже несколько дней подряд, Гарт погрузился в рваное кожаное кресло времен севастопольской обороны. Он читал, засыпал, просыпался и снова перечитывал книги. Пыль роилась в солнечном луче.

Гарт много курил. Сухой дым подымался к потолку, завиваясь медленными кольцами. Так движется над материками антициклон.

Перелистывая метеорологические справочники, Гарт узнал о существовании грозового экватора и путях ураганов, о белых радугах и запахе юго-восточных ветров.

Сегодня Гарту повезло. В одной из книг он нашел пожелтевшее английское письмо, помеченное 1854 годом. Гарт с трудом перевел его. Язык письма был изыскан, но вместе с тем сдобрен хорошей дозой морского жаргона — того крепкого, как плевки, и безошибочного «сленга», каким изъясняются английские матросы и бродяги.

С упорством исследователя Гарт восстановил не только содержание письма, но и его историю. Письмо принадлежало офицеру английского флота Джону Эллиоту. Оно было написано в Балаклаве, где стояла в 1854 году, во время Се-

вастопольской кампании, английская эскадра.

Я приведу здесь перевод письма в переработке Гарта. Гарт думал, что им найдено точное описание морского урагана.

«В августе 1831 года, как вам известно, великий ураган, разразившийся в Вест-Индии, захватил своим крылом и Европу. Горячий воздух вторгся в наши широты. На берегах Средиземного и Черного морей наступила резкая жара, закончившаяся ливнями и тяжелыми штормами.

Мне посчастливилось, если можно так выразиться, быть в то время на острове Барбадосе, где стоял наш фрегат «Стирлинг Кастль».

Этот цветущий остров лежит в начале пути вест-индских ураганов и потому испытывает их наиболее сокрушительную ярость.

В связи с пережитым ураганом я имею сделать вам несколько замечаний. Быть может, они рассеют покров ужаса и таинственности, который окружает в представлении людей гремящие и стремительные перемещения обширных воздушных масс.

Одиннадцатого августа, в полночь, ветер в Барбадосе усилился до степени шторма. Молнии блистали непрерывно со всех румбов горизонта. Гром сотрясал океан до самого дна.

Мы стали на мертвые якоря и приготовились встретить ураган. Он зарождался вблизи, в пучине неописуемо страшной и душной ночи.

Мы помнили печальную судьбу эскадры достославного адмирала Роднея. Она погибла от урагана у берегов Ямайки. Лучшие корабли — «Скарборо», «Барбадос» и «Феникс» разбились о скалы, а фрегат «Генри» был выброшен на берег в бухте Монтего. До сих пор он служит дырявым жилищем для негров и приморского люда.

В два часа ночи шторм перешел в ураган. К тому времени мне с большим трудом удалось съехать на берег, где я получил приют в доме престарелого полковника Нокса.

Гул ветра так изнурял наши нервы, что мы вынуждены были укрыться в каменном погребе, где полковник хранил вино и провиант. Едва мы сели за деревянный стол и зажгли свечи, как прибежал испуганный слуга и доложил, что верхняя часть дома обрушилась от ветра. Мы не слышали грохота обвала.

Из этого вы можете сделать заключение о чудовищном реве бури в эту ночь.

Я выбежал на улицу, но вынужден был лечь и крепко держаться за каменную тумбу.

Я видел в те минуты, когда мне удавалось открыть глаза, величественное зрелище падения многих метеоров. Я не забуду этого во всю жизнь, или я буду проклят до самой могилы.

Метеоры летели не наискось, как это бывает всегда, а низвергались отвесно, пылая темно-красным мутным огнем. Вбли-

зи земли они загорались белым светом, похожим на горение магния. Метеоры имели цилиндрическую форму. Они были похожи на круглое стекло, каким жители Антильских островов прикрывают от ветра пламя свечей.

Временами рев ветра стихал и переходил в глухое мычание. Я пользовался этим, чтобы осмотреться. Мне это вполне удавалось, так как блистание молний продолжалось иногда по полминуте и дольше.

Мои попытки осмотреться вызывали в душе леденящий ужас. То, что открывалось моему взору в свете молний, было почти непонятно.

Я видел, как качались от ветра стены домов, как летели, подобно осенним листьям, кровли и падали каменные ограды.

Но самым ужасным было зрелище садов. Ураган сорвал с них листву, и деревья яростно свистели голыми ветвями, как у нас, в Шотландии, в студеную зиму.

Океан бил в берега с такой силой, что земля дрожала на большом расстоянии от полосы прибоя.

Волны перелетали через утес в семьдесят футов высотой. Ветер уносил ливень соленых брызг внутрь страны на много миль.

Это, между прочим, причинило большие неприятности майору Лекоку. У него в Брайт-холле, в его поместье, были славные пресные пруды с прекрасными подводными растениями и королевскими сазанами. Ветер принес в эти пруды столько воды из океана, что пруды засолились и рыба в них уснула.

Воздух во время урагана так густо насытился электричеством, что я был свидетелем, как у негра, привратника Кодрингтонской коллегии, искры сыпались из волос, будто из трубы паровой машины.

«Стирлинг Кастль» погиб. Его сорвало с якорей и разбило о мыс, носящий название «Каменная шкатулка».

Многие из жителей города, боясь оставаться в разрушающихся домах, добежали до крепостных фортов и спрятались под тяжелыми пушками, укрепленными на колесных станках. Ветер сдвинул пушки с места и проволочил их на большое расстояние. Было искалечено много людей.

Страдали не только люди. После урагана берега острова покрылись множеством убитых и изнуренных морских птиц и рыб.

Тем, кто находился вдали от этой мучительной картины, невозможно составить себе представление о жестоких страданиях жителей Барбадоса.

Я хочу обратить ваше внимание на то обстоятельство, что при первом ударе урагана в домах с треском вылетели внутрь все оконные рамы.

Объяснить это явление нетрудно. Всякий ветер, а тем более ураган, бывает вызван неравномерным нагреванием воздуха в разных областях земли.

Разогревшийся воздух жидок. Он образует пустоту. В нее яростно устремляются со всех сторон потоки более холодного, плотного воздуха.

Равновесие воздушных масс нарушается. Происходит великое возмущение атмосферы и стремительные ее перемещения.

Очевидно, ураган, обрушившийся на Барбадос, нес плотный воздух, тогда как в домах сохранился еще разреженный воздух, стоявший над островом перед ураганом.

Воздух урагана молниеносно всосался в дома и выдавил рамы и двери, как газ выдавливает пробки из бутылок французского шипучего вина.

Нет надобности объяснять даже школьникам, что ветры не могут дуть одновременно на пространстве всего земного шара.

Всегда существует граница между областью, охваченной ветром, и областью, где ветер отсутствует или дует ветер противоположного направления. Сходясь, эти бурные воздушные реки вызывают взаимное трение, и в этом месте образуются вихри или воздушные водовороты.

Быстро усиливаясь и подчиняясь законам, впервые указанным ученым Довэ и нашим соотечественником, господином Ридом, эти вихри превращаются в ураганы и тифоны. Они мчатся с ужасающей силой над океанами и материками, сметая все на своем пути.

Чрезвычайно любопытно, что ураганы под влиянием вращения земли примерно на половине своего пути, как бы споткнувшись о невидимую преграду, поворачивают под прямым углом и медленно затихают на огромном расстоянии от места своего зарождения».

Многие факты из этого письма показались Гарту настолько интересными, что он решил прочесть перевод Юнге.

Гарт преодолел обычное смущение и постучал вечером в комнату метеоролога.

Юнге пил чай за столом, покрытым черной бархатной скатертью. На ней было множество рыжих пятен, говоривших о старости. Корки черствого хлеба валялись рядом с сухими лепестками желтых георгин. Цветы в вазах менялись только во время возвращений Зои. В остальное время они осыпались и наполняли комнату запахом гниющей воды и тления.

Гарт сдержанно осмотрелся. Комната очень подходила для любого из его рассказов.

Синие карты погоды на стенах были покрыты множеством стрелок, как бы пущенных армией веселых мальчишек. Стрелки показывали движение ветров над Европой.

Рядом с картами при свете лампы Гарт увидел несколько картин. Они изображали различные виды облаков.

Облака всегда привлекали Гарта. Он любил эти плавучие материки, пропитанные влагой. Он мог часами рассматривать средневековые города кучевых туч, воздвигнутые на границах

стратосферы, и стаи перистых облаков — летучих рыб, заснувших в зеленоватом небе.

Но больше всего он любил грозовые тучи, затмевающие солнце. Трещины молний взрывались в дыму и темноте урагана. Гарт прислушивался. Ливни приближались в молчании. Вода не плескала у прибрежных утесов. Сухие травы стояли неподвижно, запутавшись в паутине. Только чайки метались с испуганным писком и искали в скалах забытые гнезда.

Юнге налил Гарту стакан крепкого чая. Гарт неохотно оторвался от картин и сел к столу.

Рядом с ним на полках поблескивали медью и стеклом метеорологические приборы.

Тогда как все было покрыто пылью и носило следы холостяцкой жизни, приборы были начищены до солнечного блеска.

Гарт мельком взглянул на барограф. Кривая шла вниз. Барометр падал. Гарт, вздохнув, подумал, что наступает конец сухим и солнечным дням.

Гарт, не решаясь заговорить, потянул к себе картушку старинного компаса. Черная многогранная звезда была окаймлена знакомыми и любимыми с детства словами: Nord, Ost, Süd и West.

Сколько раз Гарт представлял себе такую картушку, освещенную масляными лампами и светом Млечного Пути где-то там, по ту сторону экватора, где рыбы бьются о форштевни кораблей...

— Любуетесь? — спросил Юнге. В голосе его Гарт уловил легкую насмешку.

Гарт мельком взглянул на Юнге. Его синий морской китель был расстегнут, под ним виднелась белоснежная сорочка. Голубоглазый старик смотрел добродушно на Гарта и постукивал пальцами по столу.

Гарт ничего не ответил. Он развернул рукопись и прочел перевод о барбадосском урагане. Юнге слушал внимательно, прихлебывая чай. Иногда он усмехался.

— Хорошее описание урагана,— сказал он спокойно.— Я понимаю, почему вы им заинтересовались,— парусные корабли, поэтические названия, гул бури — все это, конечно, прекрасно. На днях я перечитал ваши рассказы, достал их в Морской библиотеке. Но дело не в этом!

— А в чем же? — спросил оторопевший Гарт.

— Погодите.— Юнге прислушался. В одном из приборов что-то жалобно зазвенело. Далеко на рейде тяжело стонал и взывал о помощи бакен-ревун. Значит, с моря подходила волна.

— Если бы я обладал вашим талантом,— сказал, наконец, Юнге,— я бы перевернул землю вверх дном. Вот взгляните,— старик показал на барограф.— Идет норд-ост, самый проклятый ветер на Черном море. Он называется «бора». Почему бы вам не заняться его изучением?

— Зачем? — спросил Гарт.

— Тут двумя словами не отделаешься.— Юнге встал и заходил по комнате.— Ураган в Барбадосе! Блестяще! Я не верю что описал его сухопарый английский моряк. Описали его вы

Юнге прищурил глаз и хитро посмотрел на Гарта. Тот отрицательно покачал головой.

— Ну, ладно. Поверим на слово. У вас дар необыкновенной выдумки. Почему вы не хотите выдумать что-нибудь такое, что внесет величайшее и радостное смятение среди моряков, если не среди всего человечества?

— Что я должен, по-вашему, выдумать для человечества? — спросил, раздражаясь, Гарт.

— Ну, хотя бы найдите способ уничтожать эти ураганы.

Гарт встал. Разговор начинал походить на издевательство Грубая шутка привела Гарта в состояние холодного негодования.

— Я говорю серьезно,— сказал Юнге.— Сначала выслушайте меня, а потом обижайтесь.

Он заставил Гарта сесть.

— Я бывший моряк.— Юнге придвинул Гарту коробку толстых папирос.— Курите и приготовьтесь слушать. Во время плаваний меня больше всего занимала погода. У вас, сухопутных, разговоры о погоде считаются признаком пошлости и скуки. Когда в так называемом обществе совершенно не о чем говорить, вы краснеете и бормочете несколько слов, что «вот, мол, идет дождь» или «удивительно, какая стоит в этом году холодная весна». Окружающие смотрят на вас с сожалением, как на отпетого идиота. И они правы. Это действительно глупо. Такие разговоры я считаю насмешкой над сложными явлениями, происходящими над нашей головой в земной атмосфере. Если бы от погоды зависела ваша работа, жизнь и судьба ваших товарищей, как это бывает у моряков, вы бы не вели разговоры о ней так банально и невежественно. Поучитесь у рыбаков беседам на эту тему. Каждый рыбак расскажет вам о ветре или цвете неба такое, что вы закачаетесь!

— Я с большим уважением отношусь к явлениям природы,— заметил Гарт.— Поэтому я и перевел письмо о барбадосском урагане.

— Вы долго рассматривали рисунки облаков.— Юнге осветил лампой пыльные картины.— Облака! — воскликнул он.— Вы знаете, что облака — это совершенно точные сигналы о погоде! Это небесная азбука Морзе. Все дело в том, чтобы уметь ее разбирать. Меня научили этому турки — опытные и смелые шкиперы.

Каждый год восьмого ноября по всем прибрежным городам Анатолии собираются в кофейнях старые моряки. Они пьют кофе, поглядывают на небо и совещаются, а к вечеру объявляют фелюжникам и контрабандистам предсказание погоды почти на всю зиму.

Так повторяется из года в год. Это прекрасная традиция.

Ни одна метеорологическая станция не дает таких верных прогнозов. Турки предсказывают по облакам.

В конце концов это просто. Погода создается воздушными вихрями — циклонами и антициклонами. Каждый воздушный вихрь рождает свои облака. Ничто в мире не имеет такого великого разнообразия форм, как облака. Надо знать все оттенки их цвета, быстроту полета над землей, их высоту и плотность. Это сложное искусство. Почему бы вам не написать рассказ об этих турках, мастерах погоды? Они заслуживают рассказа не меньше, чем расщепление атома.

Гарт сидел не двигаясь. Он не заметил наступившей тишины, потому что видел со всей остротой подлинного зрения грязную набережную турецкого городка, вымощенную вперемежку то булыжником, то старыми плитами из красного мрамора, зеленое море, дождь, грубые паруса и стариков, читающих, как раскрытую древнюю книгу, свиток туч, несущихся над Черным морем, над этим неспокойным Кара-Денизом.

— Подумайте,— сказал Юнге.— А теперь вернемся к барбадосскому урагану. Меня считают чудаком. Эта слава ходит за мною по пятам тридцать лет.

Тридцать лет назад я осмелился высказать мысль, что все ураганы одинаковы, где бы они ни случались. Разнятся они только в силе. Причины их возникновения — циклоны и антициклоны — всюду те же — и в Вест-Индии, и в Желтом море, и у нас. Такой вот барбадосский ураган вы можете увидеть на Черном море. Конечно, он не будет так жесток и поэтичен, как в тропиках. Нет надобности плавать в тропики, чтобы познакомиться с ураганами. Вы можете их изучить, стоя у мола в Одесском порту. За эти дерзкие мысли старые хрипуны-капитаны объявили меня сумасшедшим.

— Вы, кажется, обещали,— напомнил Гарт,— рассказать о способе уничтожения ураганов.

— Я к этому добираюсь. У нас на Черном море есть несколько местных ветров. Они не подчиняются общим законам, и это дало повод капитанам смеяться над моими мыслями. Самый ужасный из местных ветров — новороссийская бора.

Гарт кивнул головой. Все, что рассказывал Юнге о новороссийской боре, представилось Гарту в виде обрывков еще не написанного рассказа. До Гарта голос Юнге доносился издалека, будто из-за запертой двери.

Привел в себя Гарта телефонный звонок и сердитый голос Юнге.

— Какая телеграмма? — спросил Юнге. — Относительно штормовых сигналов? Не поднимайте тарарам. Я сейчас приеду.

Состояние глубокой задумчивости, которое пережил Гарт во время рассказа Юнге, случалось с ним часто. Может быть, ему он в значительной мере был обязан своими рассказами. Он записывал все, что узнавал и думал в таком состоянии, не полагаясь на память.

Я видел некоторые записи Гарта, не предназначенные для печати. Иногда они были интереснее его напечатанных рассказов. В них отсутствовала выдумка. Но ее заменял необыкновенный, присущий Гарту, подбор реальных, даже на первый взгляд скучных фактов.

Запись Гарта о новороссийской боре была коротка.

«Впервые наши моряки узнали, что такое черноморская бора, в 1848 году. Это было через десять лет после основания на берегу Цемесской бухты, у подножия темных и безлесных гор Новороссийского укрепления.

В августе этого года бора разметала в Новороссийске эскадру адмирала Юрьева и потопила несколько кораблей. Особенно трагичной была гибель «Струи».

Окрестности Новороссийска отличаются жалкой растительностью. Бора калечит и убивает все. Выживает только сухая трава и кусты колючего держидерева.

Как начинается бора? Над голым хребтом Варада выползают белые клочья облаков. Они похожи на рваную вату. Облака переваливают через хребет и падают к морю, но никогда до него не доходят. На половине горного склона они растворяются в воздухе.

Первые порывы ветра бьют по палубам кораблей. В море взвиваются смерчи. Ветер быстро набирает полную силу, и через два-три часа жестокий ураган уже хлещет с гор на бухту и город.

Он подымает воду в заливе и несет ее ливнями на дома. Море клокочет, как бы пытаясь взорваться. Ветер швыряет увесистые камни, сбрасывает под откосы товарные поезда, свертывает в тонкие трубки железные крыши, качает стены домов.

Бора дует при ясном небе. Зимой она всегда сопровождается крепким морозом.

Корабли превращаются в глыбы льда. Лед, срываясь со снастей, калечит и убивает матросов. Он закупоривает наглухо двери домов. Он забивает печные трубы. Во время боры жители города страдают от жестокого холода. Человек, застигнутый борой на улице, катится по ветру, пока не задержится у какого-нибудь препятствия.

Один из моряков эскадры Юрьева писал о боре:

«Матросы, обрубая лед, сменялись беспрерывно, язвимые в лицо морозной водяной пылью. Платье на них леденело. Тело ныло от боли. На корабле из-за оглушительного свиста ветра и треска снастей не было никакой возможности отдавать приказания. Мы не слышали даже пушечных выстрелов с соседних судов, моливших о помощи.

Залив покрылся мрачною мглою. Сквозь нее никакое зрение не могло разобрать предметов даже в нескольких саженях. Иногда только в зените был виден клок чистого неба.

Ночью от густоты воздуха и невыразимой быстроты его течения звезды как бы дергались в небе.

Двое суток мы находились в авральной работе. Мы сбивали

лед ломами, раскаленным железом, обливали его кипятком. Тонкие снасти превращались в ледяные бревна.

Когда ураган достиг наивысшего напряжения, мы обрубили реи, утлегарь и весь такелаж на мачтах, но это нисколько не помогло. Хотели выбросить за борт пушки, но и это сделать было невозможно,— пушки вместе со станками приросли к палубам, составляя глыбы льда.

Волны свободно ходили через корабль».

Эскадра Юрьева погибла оттого, что лопнули все железные якорные цепи. Корабли были разбиты о подводные камни.

С тех пор некоторые капитаны, застигнутые борой, начали отдавать якоря не на цепях, а на пеньковых канатах. Железные цепи делались слишком хрупкими от жестокого мороза — неизменного спутника боры — и легко ломались на перегибах около клюзов.

Эскадра погибла, разбившись о берега. Только один корабль «Струя» потонул среди залива, не выдержав тяжести наросшего льда.

Он стоял, закрепив якорную цепь за бочку. Он не успел вовремя расклепать ее, чтобы ветром его могло выбросить на берег. Тогда часть людей могла бы спастись.

В газетах того времени много писали о судьбе этого корабля:

«Когда мрак бывшей бури прочистился, на месте, где стоял несчастный корабль, виднелась только верхушка мачты с реей, как крест над влажной и холодной могилой пятидесяти человек».

«В конце августа на Севастопольский рейд был приведен кузов корабля «Струя», поднятый со дна в заливе Новороссийском. Нельзя высказать того, что мы чувствовали, остановясь на шканцах корабля, растерзанного борой».

«О, сколько дум и сколько чувств прекрасных
Не имут слов, глагола не найдут!»

«На этом корабле погибли отличные матросы. Они были обстреляны пулями черкесскими и ядрами арабскими, закопчены солнцем Африки, закалены в водах Нила и Иордана. Судьба их — одно из самых печальных происшествий на Черном море».

После 1848 года во время боры в Новороссийске погибло много рыбачьих шхун, пароходов и даже военных кораблей.

Несколько слов о цвете этой бури. Все бури имеют свой цвет горизонта, воды и неба.

При боре небо блистает холодной синевой. Горизонт покрыт мглой свинцового цвета. Небольшие клочья белых облаков пролетают над самыми мачтами. Воздух режет кожу как бы осколками льда. Все краски кажутся совершенно свежими, еще не просохшими. Маяки светят ярче, чем всегда».

Это все, что Гарт записал после разговора с Юнге. Очевид-

но, старик читал ему выдержки из книг и газет и вообще говорил очень много. Запись Гарта напоминает короткий конспект обширного исследования о боре.

Гарт проводил Юнге до пристани. Старик на моторном катере уехал на метеорологическую станцию подымать свои штормовые сигналы.

По дороге на пристань, на улицах, освещенных только из окон и потому немного таинственных, Юнге рассказал, наконец, Гарту свою, на первый взгляд сумасшедшую, идею об уничтожении новороссийской боры.

Чтобы понять мысль Юнге, Гарт должен был точно представить карту Новороссийской бухты.

За хребтом Варада, замыкающим бухту, лежит высокая долина, похожая на громадную чашу. Она открыта к северу и защищена горами с юга. Поэтому в ней всегда собирается холодный и плотный северный воздух.

Он медленно накапливается, ползет вверх, доходит до гребня Варада и начинает переливаться вниз, в сторону Новороссийска. В Новороссийске воздух теплый и разреженный. Холодный воздух из долины обрушивается всей тяжестью на Новороссийскую бухту, как в пустой сосуд.

Начинает действовать гигантский воздушный водопад — бора. Он прекращается не раньше, чем воздух по обе стороны хребта приобретает одинаковую плотность.

— Ну как? — спросил Юнге.— Вы не догадываетесь, какую пустяковую вещь надо проделать, чтобы уничтожить бору?

Гарт пожал плечами.

— Очень просто,— сказал Юнге.— Надо прорыть у подошвы хребта два-три туннеля. Они дадут постоянный и незаметный сток холодного воздуха из долины в бухту, и бора кончится на вечные времена. Напишите о боре так, как вы умеете писать о всяческих невероятных происшествиях. Нанесите удар по нелепостям природы. Мы добьемся, что туннели пророют. На одном из них будет высечено ваше имя и надпись под ним: «От благодарных моряков всего мира».

Юнге засмеялся. Гарт молчал.

— Ну как же? — спросил, еще не отсмеявшись, Юнге.

— Я подумаю, — ответил Гарт.

Они попрощались. Гарт пошел домой. Он не мог собрать разбежавшихся мыслей. Разговор с Юнге вызвал смятение.

«Почему?» — спрашивал себя Гарт, злился и не мог найти ответа. О чем они говорили? О самых обыденных вещах — циклонах, боре, облаках и турках. В этом не было ничего особенного, а самый разговор был даже беспорядочен и длинен.

Только у себя в саду Гарт понял причину волнения. Ветер шумел в сухих айлантах и акациях. За открытым окном соседнего дома, в закоулке, обнесенном ветхой балюстрадой, слышались голоса.

Впервые Гарту захотелось подслушать чужой разговор. После беседы с Юнге он ждал от каждой встречи с людьми неожиданных открытий.

Гарт посмотрел на небо. Звезды бились и сверкали серебряной чешуей, как бьется в сетях пойманная камса.

С моря неслись облака, легкие, как туман. Около облаков звезды сверкали сильнее, чем на чистом небе. Они переливались белым, синим и желтоватым огнем. Гарт не знал, что это предвещает бурю.

Гарт устал и крепко уснул этой ночью. Он не слышал, как ветер прошумел над городом, и не видел легких теней, посетивших его комнату на одно мгновение. Это пролетели за окном в свете поздней луны ломкие листья платанов. Тень листьев пробежала по книгам, забытым на столе, по начатому рассказу и по усталому лицу спящего Гарта.

ОЖИДАНИЕ БУРИ

Весь следующий день Гарт ждал бури, но она не пришла. Вопреки обыкновению, Гарта радовало, что не он один ждет ветра, а ждет вместе с ним весь город.

На сигнальной мачте Павловского мыса с рассвета висел штормовой сигнал — черный конус и черный квадрат. Сигнал означал приближение бури с норд-оста.

Каждый ждал шторма по-своему. Рыбаки торопились поставить на якоря смоленые байды. Перевозчики угоняли шлюпки в тихие затоны, где качались на воде щепки и мандариновые корки. Голубые военные корабли крепче швартовались к красным плавучим бочкам. С Северной стороны шныряли катера, спеша перебросить домой из города хлеб и бензин, сахар и картошку.

Серебряные гидропланы прятались в ангары, как пчелы заползают в улей. Маячные сторожа протирали суконками толстые линзы фонарей. Школьники клеили змей. Хозяйки законопачивали бумагой щели в окнах. Одни только дворники ничего не делали, хотя и ждали ветра с гораздо большим нетерпением, чем остальные обитатели города. У дворников были свои соображения: ветер должен был вымести и продуть насквозь город с силой гигантского вентилятора.

Днем Гарт, устав от работы и бесплодного ожидания бури, поехал на Северную сторону.

Это место он любил больше всего в Севастополе. В пещерах, выбитых в желтых сухих утесах у берега бухты, жили рыбаки — загорелые оборванцы — с женами и полуголыми детьми. Пещеры были забиты фанерой. На ней то синими, то оранжевыми заплатами пылали рассохшиеся двери. Прозрачная вода набегала к порогам пещер, позванивая пустыми консервными жестянками. Серые сети и развешанная на канатах рваная роба дополняли пейзаж.

На заднем плане, за тонким лесом желтых мачт и свернутых парусов, похожих на полотняные листья черепичных крыш, колючей проволоки и высохших бананов, за путаницей турецких балконов, разбитых акаций, желтела степь, поросшая пыльной травой. По ней бродили равнодушные псы — старожилы и владетели этих рыбачьих и крепостных берегов.

Гарт сошел с ялика на ветхую пристань. Седоусые перевозчики стояли около облупившихся шлюпок и угрюмо покрикивали в пространство:

— Кому в город? Зыба нет! Нет зыба! Да разве это зыб, товарищи?

Гарт любил смотреть на разнообразных пассажиров, садившихся в шлюпки. Но сегодня пассажиров почти не было. Сел унылый грек с миртовой веткой в руке,— должно быть, он принес ее с Братского кладбища. Грек с недоумением повертел ветку в руке и выбросил в воду. Села белобрысая девочка с черной мяукающей кошкой. Потом в шлюпку спрыгнул, насвистывая, молодой краснофлотец. Он споткнулся, густо покраснел и отвернулся ото всех с обиженным видом.

Пестрые куры рылись в гнилых водорослях, выброшенных прибоем. На Северном рейде синели крейсера и миноносцы.

Шлюпка отчалила. Гарт пошел в поселок. Он заглядывал во все дворы. Почти в каждом он замечал интересные вещи. Дворы напоминали склады декораций. Казалось, лет сорок назад здесь под открытым небом ставилась веселая пьеса из жизни пиратов. Театр уехал, а декорации — поломанные и живописные — остались на вечные времена. Они заросли татаркой, покрылись шершавой пылью и выгорели под черноморским солнцем.

Белье на каменных оградах висело, как изорванные театральные костюмы. Их вывесил проветривать подслеповатый старик с чадящей трубкой.

Дети гоняли по крутым спускам железные обручи. Громкая эта игра свойственна всем широтам земного шара. Она осталась в наследство от доисторических времен, существовала с первых дней изобретения колеса.

Воздушные змеи косо дрожали в синеве и уходили с жужжанием в тень облаков.

На пустырях валялись остатки театрального реквизита — разбитые кувшины, высохшие букеты и поломанные весла.

Стены старинных круглых фортов были наискось разрезаны тенью и солнцем. Сухая трава шелестела в бойницах.

Чайки с красными лапами сидели на чугунных шарах — пустых минах, изъеденных ржавчиной. Цвет ржавчины ничем не отличался от цвета птичьих лапок.

Гарт прислушивался к писку чаек и пытался подобрать для него созвучия в человеческой речи. Казалось, чайки тревожатся и спрашивают себя: «Чьи мы? Чьи мы?»

На крышах фортов были укреплены сигнальные мачты.

Тонкие тросы поддерживали их и весь день ныли от ветра.

На мачтах шумели флаги. Гарт был уверен, что эти куски цветной материи пахнут, как выстиранное белье. Недаром их неделями обдувал соленый ветер.

Вечером на мачтах загорались зеленые фонари, и казалось, что форты, как мониторы, неся сигнальные огни, тяжело шли в ночь навстречу невидимым вражеским эскадрам.

Эти давным-давно разоруженные форты остались на Северной стороне со времен севастопольской обороны. Они придавали всему пейзажу облик старинного крепостного района, засыпанного вросшими в землю ядрами.

Крепостная жизнь привлекала Гарта. Он бы с наслаждением поселился в пустынных цитаделях. Бронзовые орудия и казематы мирно уживались с играми детей, умыванием веселых котят и геранью, доцветавшей в старых снарядных гильзах, набитых землей.

Гарт пошел вверх по шоссе, пока шум человеческих голосов не остановил его. Шум долетал из-за калитки, выкрашенной в синий цвет.

Гарт открыл калитку и смело вошел во двор. Он поймал себя на мысли, что месяц назад он не сделал бы этого — не из робости, а попросту из отсутствия любопытства к людям.

Неловкость своего появления Гарт решил объяснить очень просто,— хотя бы узнать у хозяина, как пройти на Братское кладбище.

Во дворе около белой стены валялась килем вверх тяжелая оранжевая лодка. Рядом стояло ведро со смолой. Часть днища была замазана липким дегтем.

Человек, только что смоливший лодку,— тщедушный старик с косматыми бровями,— стоял, окруженный мальчишками, и держал в руке что-то беспомощно бившееся и издававшее болезненный писк.

Гарт с остротой зрения, никогда не изменявшей ему, заметил около стены ящик с масляными красками и сохнущий на стуле этюд. Он изображал происходившую здесь недавно и чем-то прерванную сцену — старика, красящего оранжевую лодку.

Появление Гарта не произвело ни на мальчишек, ни на старика никакого впечатления.

Гарт подошел и заглянул через головы мальчишек. Старик держал в руках воробья, залитого смолой. Смола капала с крыльев на брезентовые штаны старика, но он не замечал этого.

Старик поднял глаза на Гарта и крикнул,— Гарт понял, что старик глухой.

— Га! Видали? Как оно залетело в ведро с дегтем, никак не пойму. Чи оно больное, чи слепое — как вы думаете?

Глаза у старика были голубые, как у сибирского кота.

— Надо его обмыть керосином,— посоветовал Гарт.

— И теплой водой! — крикнул мальчишка с суетливыми глазами. — Обязательно теплой водой!

— Га? — снова крикнул старик и вопросительно посмотрел на Гарта.— Говорите крепче, потому я глухой еще с революции пятого года. Адмиралу Чухнину надо сказать спасибо, барабанной шкуре,— через него я оглох.

Гарт, насколько он мог говорить громко, повторил совет о керосине.

— Так как же! — ответил старик.— Обязательно обмоем. Женщина пошла за керосином. Сейчас принесет. Пусть живет птичья душа.

Появление молодой женщины с керосином было стремительным. Она распахнула калитку, бурей ворвалась во двор и бросилась к старику. Из-за порывистости движений Гарт не успел ее рассмотреть.

Первое, что он увидел,— это руки женщины, сильные и быстрые. Она взяла воробья у старика и решительно вытерла ему ватой, смоченной в керосине, крылья и лапы.

Воробей поднял веко, взглянул на женщину желтым глазом и забился у нее в руках.

— Какой дурак! — сказала женщина.

Глядя на руки женщины, Гарт догадался, что набросок маслом принадлежит ей. Голос почему-то окончательно убедил его в том, что перед ним стоит художница.

Гарт посмотрел на женщину и вспомнил,— когда он подымался сюда, он встретил ее на шоссе.

Эта мимолетная встреча вызвала ощущение, будто он присутствует при завязке короткого рассказа. Такое ощущение уже несколько раз бывало у Гарта. Оно сопровождалось глухим длительным волнением. Казалось, вот-вот в жизнь войдет то, что Гарт называл счастьем: неожиданность, сила человеческих чувств, полоса заманчивых событий, внятный и мимолетный стук чужого и потому особенно прекрасного женского сердца. Но это только казалось.

Гарт считал, что способность к счастью — такой же редкий талант, как способность к музыке, живописи или революционной борьбе. Себя он считал обойденным этим талантом.

У него не было ни сил, ни желания сживаться с чужой жизнью, а без этого, по мнению Гарта, счастье было немыслимо.

Гарт хорошо чувствовал себя только с мальчишками. Их восприятие мира ничем не отличалось от гартовского. Фантазия поддерживала существование большинства этих восторженных маленьких людей.

Гарт посмотрел на женщину и отвернулся. Если бы его спросили, что он увидел, он бы ответил — свет.

Свет моря и воздуха, свет солнца и блеск, присущий человеческой радости и уму,— именно это Гарт увидел в глазах женщины. Она улыбнулась. Ничто так не передает чистоты человеческих помыслов, как улыбка.

Гарт решил уйти. Он боялся, что эта встреча, если ее продлить, окончится тоской и тем сумбурным состоянием, когда

человек перестает писать, думать и читать книги. А этого Гарт боялся больше всего.

Гарт взялся за ручку калитки.

— Вы куда? — спросила женщина.

Гарт остановился. Он досадливо посмотрел на женщину и не открыл калитки. Потом, вспоминая об этом, Гарт думал, что жизнь складывается совсем по-необыкновенному из-за сущих пустяков. Стоило ему пренебречь окликом, открыть калитку и выйти на пыльную дорогу — и ничего бы не случилось. Но, собственно говоря, и сейчас ничего не случилось.

— Вы в город? — спросила женщина.

— Да,— ответил Гарт.— Вы тоже будете переправляться в город?

— Конечно. Если вы не очень торопитесь, подождите меня. Я только соберу кисти и краски.

Гарт подождал. Он не представлял себе, о чем будет говорить с ней по дороге.

— Прощай, дед! — прокричала она старику, захлопывая ящик с красками.— Окончу я тебя завтра. Сейчас я тороплюсь.

— Да как хотите! — крикнул старик.— Все одно, я инвалид, какая с меня людям польза! Малюйте себе на здоровье! А у меня есть забота — выхаживать того пацана!

Старик разжал ладонь и показал воробья.

По пути к пристани Гарт заметил, что женщина совсем не торопилась. Она шла медленно, часто замолкала и смотрела на Севастополь, вздымавшийся над бухтами.

— Я знаю, кто вы такой,— сказала женщина, когда они спускались к бухте.— Зоя Юнге мне рассказывала о вас. Но еще до этого я читала — не помню где, в каком-то журнале — ваши рассказы. Вы — Гарт, правда?

— Правда,— согласился Гарт.

Женщина назвала себя. Ее звали Сметаниной.

Говорили о приближавшемся шторме. Сметанина взяла Гарта за рукав и показала на море. От молочной воды до зенита небесный свод был окрашен в сизый цвет. На нем гудел гидроплан, похожий на оловянную игрушку. Закатное солнце осветило рыжие овраги и желтые дома.

Вся Северная сторона предстала перед Гартом с резкой до боли в глазах стереоскопичностью. Угрюмое освещение отчетливо показало неизмеримость воздуха, лежавшего между домам и далеким планом предштормового неба.

Над берегами и морем властвовала тишина. Только гидроплан нарушал своим рокотом всеобщее оцепенение перед бурей.

— Вот так всегда перед норд-остами,— сказала Сметанина.— Нет никакой возможности передать это оцепенение красками. Очень, очень трудно.

Она вздохнула, подняла с земли осколок синей простой тарелки и спрятала его в карман пушистого жакета.

— Очень трудно,— повторила она после долгого молчания.— Я всегда работаю на открытом воздухе и устаю, как каменотес. С этим стариком, с Дымченко, я бьюсь уже третий день. Очень добрый старик, очаковец.

— Очаковский рыбак? — спросил Гарт.

— Нет. Он участвовал в восстании на крейсере «Очаков». Помните Шмидта?

— Ах, да, да, конечно,— спохватился Гарт.

Сметанина внимательно посмотрела на него.

— Вот Шмидт! — сказала она. — Почему вы все так мало пишете о человеческом мужестве? Шмидт — фантазер, неудачник, но он человек громадного личного мужества. Дед Дымченко хорошо его знал. Он может рассказать вам о Шмидте много интересных вещей.

— К сожалению, я не умею разговаривать с людьми, — ответил смущенно Гарт.

— А вы пробовали?

Гарт промолчал. Он подумал, что за последние сутки ему навязали три темы для размышлений — о предсказателях погоды, боре и лейтенанте Шмидте.

«Ну что ж,— сказал про себя Гарт и вздохнул.— Посмотрим».

В шлюпке Гарт молчал. Перевозчик греб стоя. Он лениво окунал весла в тихую воду.

Вечер медленно переходил в ночь. Она подымалась с востока сизым туманом.

Огни над водой горели по-разному. На востоке они сверкали напряженно и остро. На западе они переливались в оранжевой воде серыми столбами, почти не давали света и казались зажженными только для украшения этих замедленных сумерек.

Прощаясь с Гартом на пристани, Сметанина пригласила его к себе. Ей было жаль Гарта. Безошибочным женским чутьем она поняла одиночество этого человека.

Юнге не было дома. Гарт долго ходил по комнате. За открытым окном окуналась в море Большая Медведица.

Прожитый день был громаден, утомителен. Гарт долго сидел за столом, но написал всего две-три строчки. Он начал рассказ о человеческом мужестве. Тема эта была для него еще очень туманна.

В полночь над городом прокатился тяжелый гул. Раскатистые удары, похожие на пушечный гром, с размаху били по железным крышам. Свистели ветки акаций. Начинался норд-ост.

МЕРТВЫЙ ГОРОД

Последний раз я был в Севастополе зимой 1921 года.

Мы пришли из Одессы на единственном уцелевшем после белых пароходе «Димитрий». Пять дней «Димитрий» штормовал между Одессой и Тарханкутом. Дул ледяной норд-ост.

Два дня мы отстаивались в бухте Караджи, около бесплодных, покрытых сухим снегом, берегов северного Крыма.

«Димитрий» был расшатанный, больной пароход. Котлы его выпускали на воздух половину пара. Пар шипел из всех щелей. Со стороны «Димитрий» был похож на плавучую китайскую прачечную.

Через несколько часов после выхода из Одессы мы попали в полосу полного шторма. Он доходил до одиннадцати баллов.

Океанские волны обрушивались на ветхие палубы, смывали груз и шлюпки, ломали планширы. Море — седое, зимнее, невыразимо угрюмое — ревело и неслось за тонкими бортами, как Ниагара.

Ветер сбивал с ног, отрывал пуговицы на пальто. В каютах переливалась вода. В ней плавали окурки и чемоданы. Женщины валялись в слезах, мужчины помалкивали и дрожали.

На второй день сдала машина. «Димитрий» потерял ход. Нас начало сносить к берегам Румынии, где немцы во время войны поставили «букеты» мин.

Так предполагал капитан, но сказать точно он ничего не мог. Не было возможности определить свое место. Море походило на кипящий котел, покрытый холодным паром. Этот пар — его моряки зовут «испарениями» — был хуже тумана. Не было ни звезд, ни солнца, нельзя было взять пробу грунта. Мы не знали, где мы находимся.

На третий день в носу парохода открылась течь. Начался мороз. Пароход обрастал льдом. Помпы едва выкачивали воду.

Матросы и пассажиры рубили лед топорами, кололи его ломами, срывали ногти, отмораживали руки.

«Димитрий» дал SOS. Но на призыв о помощи никто не ответил.

Среди пассажиров был оборванный, небритый матрос. Он единственный вел себя, как на суше: спал, пел, ссорился с полумертвыми мешочниками и внушал им правила никому сейчас не нужной корабельной дисциплины. Он один выходил «гулять» на палубу, но долго там не выдерживал. Спускаясь вниз, он говорил пассажирам:

— Чем киснуть здесь, вы бы пошли посмотрели, что делается! Красота!

Пассажиры в ответ только стонали.

Я последовал совету матроса и до сих пор благодарен ему за это. Впервые в жизни я испытал красоту и смертельное отчаяние небывалого шторма.

На пятые сутки среди ночи заревел охрипший гудок. Над головой бежали матросы, топая сапогами. На баке ударили в колокол. Его звон был не громче тявканья щенка. Шторм заглушал все звуки неутомимым голосом.

Я поднялся на палубу.

— Что случилось? — крикнул я пробегавшим матросам.

— Берег! — прокричали они и показали в темноту бури.

Там тускло мигал огонь маяка. До него казалось далеко, как до звезды. Это открылся Тараханкут.

Утром мы отдали якоря в бухте Караджи. Три дня «Димитрий» мотался на волнах около берегов, таких пустынных и печальных, что даже зрелище свинцового бушующего моря казалось веселым и праздничным.

Начался голод. Капитан вскрыл трюмы, но нашел там только прелую ячневую крупу. Ее роздали пассажирам. Мы варили жидкую кашу без соли на остатках пресной воды из цистерн. Вода была с мелким песком.

Мы ели кашу без хлеба. В головах с утра до вечера что-то гудело, как в телеграфных столбах.

Десять пассажиров-матросов в оглушительно хлопающих клешах — тогда таких матросов звали «жоржиками» — решительно пошли к капитану. Они спросили его, поигрывая маузерами, почему он стоит и не хочет ли он, гад, чтобы все пассажиры посдыхали от голода.

Капитан — унылый и тощий старик — ответил им, что это не их, пассажирское, дело.

— А с голоду дохнуть — наше дело? — закричали матросы, и на пароходе начался традиционный бунт.

До тех пор я был уверен, что такие бунты отошли в область преданий с исчезновением парусного флота. Я думал так, пока не услыхал яростные крики матросов: «В море капитана! У нас найдутся свои капитаны!»

Капитан со скукой на лице вытащил из кармана вместо традиционного револьвера измятую бумажку и показал ее матросам. Бумажка называлась «Предупреждение мореплавателям». В ней было написано, что вокруг Севастополя тянутся минные поля. Идти по ним в такой шторм — по меньшей мере безумие.

— Брехня! — кричали матросы.— Другие капитаны по минам идут напролом! Лучше мина, чем дохнуть без воды и без хлеба.

Капитан упирался. Матросы схватили его за ветхие рукава шинели, но тут — точь-в-точь как в старинных романах — пришло избавление. Оно появилось в лице рыжего комиссара Николаевского порта. Он оттолкнул матросов и сказал негромко:

— А ну, матросики, дай я с ним поговорю по-своему!

Он ушел с капитаном в штурманскую рубку и вернулся через две минуты.

— Успеете,— сказал он матросам.— Успеете выкинуть его в море. Пусть старик еще покрутится малость. Пошли в трюм выбирать своего капитана!

Комиссар оказался находчивым человеком. Он заманил матросов в трюм. Капитан, условившийся с комиссаром об этой военной хитрости, приказал закрыть трюм. Приказ был выполнен с непостижимой быстротой. Трюм не только закрыли дубовыми досками, но еще завалили сверху тяжелым грузом.

Матросы внизу бушевали до поздней ночи. Глухой рев десяти охрипших человеческих глоток доносился даже на палубу.

Ночью шторм стих. Мы снялись в Севастополь. Кроткий грек, пекарь из Феодосии, со странной фамилией Грамматика, измученный бедствиями бури, расстелил на крышке трюма одеяло и лег спать.

Через пять минут в трюме забухали выстрелы. Грамматика с плачем промчался по палубе в каюту врача. Ему прострелили ладонь. Матросы стреляли вверх, требуя освобождения.

Оборванный, небритый матрос, прислушиваясь к частой пальбе, крутил головой и удивлялся:

— Ну и здорово шуруют, духи!

Утром «Димитрий» подошел к Севастополю. Мы стояли на палубе небритые, окоченевшие и желтые от ячневой каши.

В синем дыму и жарком солнце разворачивались знаменитые севастопольские бухты. Росли над водой портики домов, разрушенные ограды, бронзовые памятники адмиралам и ржавые мачты затопленных кораблей.

«Димитрий» сигналами вызвал вооруженный караул. Десять краснофлотцев с черными винтовками поднялись на палубу «Димитрия», открыли трюм и арестовали бунтовщиков. Бунтовщики разыгрывали простецких и глуповатых парней, — они никак не могли понять, что с ними стряслось.

Пассажиров высадили, а «Димитрий» тихо побрел в Южную бухту на пароходное кладбище. Котлы его развалились.

Мы поднялись с пристани в пустынный город, и нас взяла оторопь.

Голодные татары из Байдар и Бахчисарая валялись на улицах и просили хлеба. Они протягивали к нам костлявые пальцы и тихо сипели. Говорить они не могли.

Разоренный Врангелем, замученный Крым простирался вокруг — бесплодный и тощий. Стекла в окнах обледенелых домов слезились, как опухшие от голода глаза.

Вереницы серых старух бродили по мусорным улицам и тесному базару. Там торговали только сухой, как голодные клопы, барабулькой. Она стоила многие миллионы.

Старухи подбирали с мостовой раздавленные сапогами селедочные головы, рассыпанную кое-где крупу.

В бухтах гремел ураганный оружейный огонь — рыбаки били из винтовок бакланов и чаек.

Туманы, изморозь, острые ветры налетали с Северной стороны.

Весь день я искал себе пристанища в мертвом городе. Только к вечеру я нашел его на Садовой улице, в школе для детей водников. Мне разрешили ночевать в пустом, холодном классе. В семь часов утра я должен был уходить и не возвращаться до вечера, пока в школе не кончались занятия.

Долгие часы я просиживал на Графской пристани, греясь под неопределенным солнцем января. Изредка я заходил на

базар с отчаянной надеждой купить немного хлеба, но на базаре торговали розовыми цейлонскими раковинами, пепельницами, зажигалками и бязевым солдатским бельем. Все спрашивали хлеб, но ни одна живая душа его не продавала. Толкотня на базаре была совершенно бесцельной.

Дом, где находилась школа, принадлежал адмиральше Коланс. Эта решительная высокая и хромая старуха, ходившая с кочергой вместо палки, спаслась от выселения тем, что отдала под школу свой особняк. Сама она жила с сыном — бывшим мичманом — во флигеле во дворе.

Ко мне адмиральша благоволила, потому что считала меня моряком, скрывающим свое звание.

На третий день моих ночевок в школе адмиральша привела из Инкермана худую козу. Ее нечем было кормить. Адмиральша решила пасти козу на Историческом бульваре, где среди гранитных памятников на месте бастионов торчала сухая трава.

В одно туманное утро, после шумной ссоры между мичманом и адмиральшей, происходившей на чистейшем французском языке, мичман вышел из ворот и потащил козу на Исторический бульвар.

Я встретил его на спуске. Он тянул козу за гнилую веревку. Коза упиралась. Опорки болтались на ногах мичмана, но его английский пробор был, как всегда, безукоризнен.

— Здравия желаю! — сказал мне мичман и поднес грязную руку к голове.— Maman просит вас не заворачиваться по ночам в ковер. Она очень опасается вшей.

Я пренебрег этой просьбой и продолжал каждую ночь спать в ковре. Я ложился на него, не раздеваясь, и наворачивал его на себя шерстяной трубой. В ковре было душно, но тепло. В комнате стоял мороз. Каждую ночь на окнах лопались бутыли с чернилами. Эти взрывы отдаленно напоминали звуки канонады, ставшие колыбельной песней тех лет.

Потом ко мне в комнату поселили начальника Скадовского порта Денисова, бывшего матроса с крейсера «Алмаз».

Он приносил под шинелью куски ломкого известкового хлеба и угощал меня. Хлеб мы резали громадным сапожным ножом.

Денисов был в бою под Чонгаром и брал у Врангеля Севастополь.

Однажды вечером он привел в школу высокого юношу в пенсне, накормил его хлебом и заставил играть на окоченевшем рояле.

Пылала коптилка. Юноша долго сидел, подложив руки под себя, чтобы согреть их, потом подошел к роялю. В дикую ледяную ночь ворвалась, как стая трепещущих птиц, симфония Чайковского.

Адмиральша пришла и слушала, стоя в дверях с кочергой, прямая и грозная, как богиня возмездия.

Когда юноша ушел, Денисов, укладываясь спать на составленных партах, рассказал историю знакомства с этим пианистом.

Отряд Денисова первым вошел в Севастополь. На Морской улице из окна трехэтажного дома в бойцов денисовского отряда было сделано несколько выстрелов из винтовки.

Бойцы ворвались в квартиру. Они никого не нашли, кроме хилого юноши в пенсне. Он сидел за роялем и собирал ноты. Его сочли за переодетого офицера и схватили.

— Ты стрелял, собака?

Юноша отрицательно покачал головой.

— Покажи руки! — крикнул Денисов.

На руках не было никаких следов от затвора.

— Я музыкант,— сказал юноша.— Я музыкант из кино.

— Раз музыкант, так пусть сыграет,— злобно засмеялись бойцы.— Играй, а не сумеешь — отправим в расход!

Юноша заиграл.

— Сердце у меня зашлось,— рассказывал Денисов.— Видать, человек за жизнь свою старался. Одним словом, сели мы кто куда, закурили и слушали. Такая печаль взяла за сердце,— прямо руками,— будто мать нас провожает, плачет, и идем мы добывать своей кровью новое счастье. Кончил он, а Васька Тихонов говорит: «Нет никакой возможности, чтобы этот человек стрелял. Айда искать, ребята!» Перерыли весь дом и на чердаке нашли какого-то фрукта,— он в нас стрелял. С тех пор я, как попаду в Севастополь, всегда музыканта найду и то денег ему дам, то хлеба. Очень я этого человека оберегаю.

С Денисовым у меня случилась неприятность. Он был контужен на фронте и страдал тяжелыми галлюцинациями. Тяжесть их усиливалась ноющими от норда, как псы, севастопольскими ночами.

В одну из таких ночей Денисов пришел поздно. Он не постучал, как всегда, в окно, а долго скреб по стеклу пальцами и, прижав расплющенный нос, смотрел на меня с улицы дикими белыми глазами.

Я открыл ему дверь. Денисов вошел, шатаясь. Кепки на нем не было. Он запер дверь на ключ, застонал и сел на пол.

— Что случилось? — спросил я, встревоженный его стонами.

— Ограбили! — закричал Денисов и вывернул карманы кожаной куртки.— Все! Деньги и документы. Все отобрали, нечистые души!

Он долго кричал об ограблении и потрясал в воздухе пачкой денег и всеми своими воинскими документами и мандатами.

— Кто ограбил?

— Кто? — хитро переспросил Денисов и посмотрел на меня с леденящей кровь улыбкой.— Сейчас ты узнаешь — кто, любезный товарищ!

Он осторожно взял с подоконника сапожный нож, попробовал лезвие о подметку и начал медленно подходить ко мне, посмеиваясь и примериваясь, как бы удобнее всадить мне нож под сердце.

Ударом головы в живот я сбил его с ног, открыл дверь и выскочил в темный пустой двор. Ветер хрипло кричал над умирающим городом.

Я разбудил мичмана, и мы вдвоем пошли усмирять Денисова.

Мичман дрожал мелкой дрожью.

В комнате Денисова мы не застали.

Окно стояло настежь. Ветер швырял на пол сухой снег. Сапожный нож был со страшной силой воткнут в филенку двери. Когда мы вошли, он еще дрожал.

Очевидно, Денисов только что выскочил через окно и ушел.

Появился он через два дня, смущенный и печальный. Он просил прощенья за то, что ему «помстилась такая чертовщина», и сказал, что на днях едет лечиться в Москву. Мы с ним помирились.

«ТРАВИАТА» НА КОРАБЛЯХ

Все это было в Севастополе двенадцать лет назад.

Тогда в бухте стояли старинные броненосцы без брони, красные от ржавчины и грязные, как мусорные ямы. Весь флот состоял из нескольких замызганных катеров.

А сейчас я увидел голубые кряжи дредноутов и хищные носы крейсеров, нарядных и праздничных.

Весь день был заполнен громом гидропланов и торпедных катеров. Они носились в пене, синеве и флагах по прекрасной карте глубоких и неузнаваемых бухт. В бухтах уже не били бакланов.

Город готовился к празднику. На каменных оградах были наклеены афиши — один из московских театров ставил на кораблях «Травиату».

Знакомые моряки достали мне билет на это необыкновенное зрелище. Актеры должны были играть на броневой палубе, затянутой по сторонам брезентом.

Перед моим приездом шли холодные дожди. Но потом, к ноябрю, наступил штиль с его запоздалым трогательным теплом. Такие штили здесь часто случаются даже зимой.

Я знал, что Гарт живет в Севастополе, и не удивился, встретив его на палубе крейсера среди краснофлотцев и командиров.

Я не удивился встрече с Гартом, но был поражен тем, что Гарт беседовал с молодой женщиной. Она была одета с простотой, выдающей внутреннее благородство.

Увидев Гарта рядом с женщиной, я за него порадовался. Любовь могла вернуть Гарту потерянный интерес к действительности.

Чему я был действительно удивлен, так это встрече с Денисовым. Он узнал меня. На рукаве его кителя я увидел широкие золотые нашивки, из чего заключил, что Денисов занимает крупный командный пост.

Он рассказал, что вылечился от своих галлюцинаций, работает на Черном море по подъему затонувших судов, а «для души» занимается внедрением среди краснофлотцев любви к музыке.

Он показал мне среди оркестрантов худого человека в пенсне. Я узнал в нем, несмотря на седые виски, юношу, игравшего Чайковского в обледенелой школе.

Темные грифы виолончелей были прислонены к серым орудийным башням. Музыканты говорили, что, к счастью, нет тумана и оркестр будет слышен не только на рейде, но даже на прибрежных улицах города.

Скрипки поблескивали лаком. Среди стали, блоков и орудий они производили впечатление живых существ.

Это театральное зрелище на палубе корабля перенесло меня на много лет вперед. Мелодии Верди, щемящие, как женский плач о неразделенной любви, звучали в торжественном, величавом безмолвии военного корабля.

Я сидел сзади и видел молодые и напряженные затылки моряков. Только раз все досадливо оглянулись, когда на рейде заплакала сирена. Ее голос как бы подчеркнул всю горечь того, что неизбежно произойдет на сцене.

Волнение, похожее на приглушенный восторг, теснило дыхание сотен людей. Некоторые низко опускали головы. Я не знал, рассматривали ли они так внимательно свои матросские ботинки, или пытались скрыть слезы, не свойственные этим, как они сами себя шутливо называли, «скитальцам морей».

Десятки яликов с керосиновыми фонарями на бортах качались около крейсера. Из них вверх, на броневую палубу, откуда долетал печальный голос Виолетты, смотрели загорелые люди — жители севастопольских окраин. Гребцы старались не плескать веслами.

Дым звезд роился над береговыми утесами. Туманная стрела прожектора упиралась в созвездие Ориона.

Во время пауз я оглядывался — казалось, Виолетта пела в родной Венеции. Город отражался в воде рейда всеми своими огнями. Блеск пламени достигал морского дна,— так прозрачна была вода севастопольских бухт.

— Что происходит? — спрашивал я себя.

Верди. Венеция. Старинный рояль и вино. Песенки студентов, седые актеры и молодая женщина с красной камелией, приколотой к корсажу.

Предательство, любовь, печальный поцелуй в висок.

Севастополь, красная эскадра, матросы-комсомольцы, якоря, цепи. Советские гюйсовые флаги, тончайшая музыка и слушатели, которым мог бы позавидовать Бетховен.

Все это произвело в душе радостное смятение. Только к концу спектакля оно сменилось ясным ощущением неповторимого времени, переживаемого нами, и небывалого будущего, идущего ему на смену.

Я взглянул на Гарта. Шляпа лежала у него на коленях.

Он откинулся на спинку кресла и, высоко подняв голову, сосредоточенно смотрел на сцену. Морщины на лбу разошлись

Он обернулся, встретился со мной глазами и кивнул мне головой. Его улыбка была простодушна, как у любого из молодых матросов.

После спектакля я подошел к Гарту. Он потряс мне обе руки и тотчас же позвал к себе.

Он познакомил меня со своей соседкой. Это была художница Сметанина. Недавно в Москве я видел ее картины. В них была сила мазка, свойственная, пожалуй, только мужчине

Сметанина произвела на меня впечатление человека чистого ума и сильного темперамента. Она была красива той непосредственной врожденной красотой, которая распространяется на все— на лицо, глаза, волосы, манеру говорить, смеяться и сердиться.

Гарт познакомил меня еще со своим хозяином — метеорологом Юнге, румяным и неспокойным стариком.

Существуют старики, целиком состоящие из любопытства и желания спорить. Они бегают по лекциям, участвуют во всех экскурсиях, никому не дают покоя, но никогда не надоедают. Таким напористым, болтливым старичком мне показался Юнге.

В катере по пути к пристани он успел рассказать мне без всяких побуждений с моей стороны все, что знал о Верди и, кстати, о Гарибальди. По его словам, они были друзьями. Гарибальди долго жил в Одессе и Таганроге. Он служил капитаном на итальянском пароходе и занимался перевозкой хлеба из наших степных портов в Италию.

— Вы знаете,— спросил Юнге,— что Гарибальди сказал о социализме? Нет? Il Socialismo é il sole del l'avenire. Социализм — это солнце будущего.

— Il sole del l'avenire! — с восторгом повторил он. Лицо его светилось струящимся блеском.

Я оглянулся. Позади нас на военных кораблях вспыхнула иллюминация.

Мы смотрели на нее из города. Золотые пчелы густо облепили военные корабли. Мачты, снасти, трубы и огненные контуры фантастической эскадры пламенели на рейде и переливались в воде осенних бухт.

Десятки прожекторов перепутали свои лучи с туманными созвездиями и извилистым течением Млечного Пути.

Музыка гремела на палубах и колебала воду. Желтые и белые, синие и зеленые огни прыгали на волнах, лопались, разлетались на сотни осколков и снова сливались в широкие световые дороги.

Черные громады грузовых пароходов пробирались сквозь дождь огней, зажмурив глаза, ослепнув от перебегающего света, и жалобно покрикивали сиренами — просили дать дорогу.

Дым иллюминации, как зодиакальный свет, очертил линию крутых берегов, похожих на крепостные стены, и верхушки сухих, облетающих деревьев.

Листья хрустели под ногами. Только этот звук напоминал о близости зимы.

Юнге рассказывал, что в садах набухают почки. Было очень легко поверить в наступление новой весны. Воздух дрожал от невидимых горячих течений.

С площади, полого спускающейся к морю, долетал мерный шорох сотен подошв. Матросы и командиры танцевали со смущенными девушками под знакомую песенку:

Плыли мы через лунный залив,
Голоса наши тихо звенели...

К берегу причалил катер.

— Командующий флотом,— сказал мне Гарт.

Из океана огней, с борта катера, сошел на пристань высокий человек с широкими золотыми нашивками на рукавах черной шинели. Свет блеснул на его седых висках.

Он медленно пошел через праздничную площадь, суровый и улыбающийся. За плечами командующего были годы боев и работы ради того, чтобы, наконец, наступило время расцвета и веселья единственной в мире социалистической родины.

— Социализм — это солнце будущего,— сказал я Гарту.

— Я знаю,— ответил Гарт.— Я давно отказался от своей невозмутимости.

Плыли мы через лунный залив,
Голоса наши тихо звенели...

— В своих прежних рассказах,— сказал Гарт и подчеркнул слово «прежних»,— я часто описывал праздники в приморских городах. Плошки, пляски, драки и фейерверки. Но ничего подобного тому, что происходит, я, конечно, не мог выдумать. Я писал и не верил, что такие вещи возможны. Я писал с тоскою на сердце. Я очень сбивчиво говорю, но мне хотелось бы, чтобы вы меня поняли. Сейчас, когда мимо прошел командующий флотом, когда прошел через праздник человек, вынесший тяжесть революции, праздник зазвучал по-иному. Если раньше к чувству праздника всегда примешивалась доля смущения перед кем-то за свое веселье, то теперь этого нет. Совесть чиста. Вы поняли меня?

— Понял,— ответил я.— Над чем вы сейчас работаете, Гарт?

— Я пишу о лейтенанте Шмидте,— неожиданно ответил он.

Мы проводили Сметанину до дома. Город шумел гулом молодых голосов. На каменных трапах росла полынь.

Сметанина жила в верхней части города, возвышавшейся, как остров, над морем. Там были тенистые улицы, очень пустынные, гулко повторявшие шаги прохожих и близкие к небу. На таких улицах хорошо было построить обсерваторию.

Сметанина затащила нас к себе. Она налила нам по ста-

кану белого вина. Юнге сел к роялю и сыграл под сурдинку застольную песню из «Травиаты».

Налейте, налейте бокалы,
И выпьем, друзья, за любовь...

Мы медленно выпили вино. Я зачитался раскрытой на столе книгой — письмами художника Ван-Гога — и почти не слышал разговора, происходившего около меня. Долетали слова о норд-осте и каких-то туннелях, которые будут стоить гроши и спасут человечество. Старик Юнге горячился и обзывал Гарта трусом.

— Если вы не хотите об этом написать,— сердито сказал Юнге,— так я сам напишу. Вот сяду и напишу! Подумаешь!

— Я не могу сейчас заниматься этим,— мягко оправдывался Гарт.— Вы знаете, что я работаю над Шмидтом.

— Ну и черт с вами! — сказал Юнге.

Когда мы вышли, ночной воздух ударил в легкие, как тихий электрический разряд. Казалось, город завалили по крыши только что вытащенными рыбачьими сетями и грудами желтой листвы.

Гарт потребовал, чтобы я у него ночевал.

В пустой квартире Юнге мы еще долго ходили, спорили и смеялись.

Дикий кот носился по темным комнатам, приседая и вытянув хвост. Он прыгал на полки с книгами. Глаза его горели зеленым огнем. Он угрожающе выл, перебирал когтями и готовился к отчаянным прыжкам. Кот играл сам с собой. Он чувствовал себя в джунглях, на опасной увлекательной охоте. Потом он нам надоел, и мы его выгнали на кухню.

При свете свечи я долго пересматривал «Морской сборник» за старые годы, валявшийся на столе у Гарта.

Я читал о преимуществах службы на парусных кораблях, о нельсоновских капитанах и минах Уайтхэда. Я так увлекся, что уснул только перед рассветом.

МУЖЕСТВО

Одна смертная казнь
может остановить меня!
Ответ лейтенанта Шмидта
адмиралу Федосееву

Рукопись Гарта о лейтенанте Шмидте состояла из небольших отрывков.

Уезжая из Севастополя в Коктебель, Гарт оставил ее мне на хранение. Он считал эту работу незаконченной.

Я прочел ее. Это был ряд набросков, совершенно не похожих на все, что Гарт писал до тех пор.

Работа Гарта шла у меня на глазах, и я попутно могу восстановить ту обстановку, в какой она проходила.

Мы часто ходили с Гартом на бывшую Соборную улицу, в дом, где жил в Севастополе Шмидт.

Во дворе висело белье. Сохли акации. Маленький двухэтажный дом потрескался и разрушался. Он был жалок и сер. Стертая каменная лестница вела во второй этаж, в квартиру Шмидта, где жили сейчас учителя татарской школы.

Гудели примуса, и ревели дети. Любопытные жильцы выползали из квартир и с тревогой следили за нами. Особенно их смущал Гарт своим высоким ростом, сухим лицом и глухим голосом. Они принимали его за архитектора, желающего снести их ветхий дом и построить на его месте кирпичный корпус на сорок квартир.

Но потом жильцы к нам привыкли и успокоились. Особенно после того, как Гарт привел Сметанину и попросил ее сделать набросок с дома.

— Здесь,— сказал Гарт,— произошла завязка одной из величайших человеческих трагедий.

— Я вам об этом давно говорила,— ответила Сметанина

Я заметил, что Сметанина и Гарт понимали друг друга с полуслова.

У Сметаниной, как и у Гарта, было благоговейное отношение к местам, отмеченным памятью великих людей. Поздней осенью она ездила из Москвы в Святые горы, на могилу Пушкина, и две недели прожила в Михайловском.

Она мечтала попасть в дрянной и малярийный греческий городок Миссолонги, где умер Байрон.

Казалось, пребывание этих людей оставляло на тех местах, где они жили, почти неуловимый прекрасный след.

Юнге называл эти мысли форменной чепухой, но я был согласен со Сметаниной. Я даже разыскал в лоции Средиземного моря описание Миссолонги и показал его художнице.

«Город Миссолонги находится в Патрасском заливе, окаймленном низкими берегами. Только вдалеке виднеются горы. Город стоит на плоском болотистом мысу. Жители его страдают от лихорадок и оспы. Миссолонги имеет безрадостный вид и редко посещается пароходами».

Гарт, услышав наш разговор о Байроне, заметил, что Шмидт любил Байрона. Перед казнью он написал своей сестре — изумительной женщине, делавшей нечеловеческие усилия, чтобы спасти его от смерти,— несколько строк из Байрона:

Сестра моя, когда бы имя было
Еще нежней, то было бы твоим.
Меж нами даль, нас море разделило.
Но все ж тобой я должен быть любим.

Я давно собирался написать о том, как пишутся книги. Но всегда желание писать книги, а не исследования, брало верх, и эта тема откладывалась на неопределенное время.

Сейчас я воспользуюсь случаем, чтобы записать хотя бы

вкратце, как Гарт работал над напечатанной ниже рукописью.

С большой неохотой Гарт возился с документами. Он упорно разыскивал очевидцев и посещал места, связанные со Шмидтом. Документы давали сухую схему событий. Жизнь им возвращало только общение с людьми, помнящими прошлое. Эта манера работы была далека от того, как работал Гарт раньше.

Гарт ездил в Очаков. Он был на месте казни Шмидта — острове Березани. Гарт рассказывал, что Данте в своем «Аду» мог бы описать Березань со свойственной ему силой.

Гарт ездил в конце ноября. В Очаковском заливе плавал лед. Рыбаки неохотно согласились доставить Гарта на необитаемый и ненавистный остров.

В Очакове Гарт простудился и лежал в Доме крестьянина — в бывших «Номерах Таковенко», где во время суда над Шмидтом жила его сестра и защитники.

В Севастополе, на Северной стороне, Гарт разыскал престарелого рыбака Дымченко, участника восстания на «Очакове». Он очень сдружился с этим стариком.

Дымченко жил в сторожке за Братским кладбищем. Гарт проводил у него целые дни. Он носил Дымченко табак из города, болтал с ним, греясь на солнце, научился чинить сети, а в свободное время брал у Дымченко удочки и ходил ловить бычков и зеленух со старых свай около Сухой балки.

Дымченко хорошо помнил восстание на «Очакове». Он первый подхватил на руки Шмидта во время истерического припадка после объезда эскадры.

Он рассказывал обо всем охотно и спокойно. Только один раз он заплакал, когда вспоминал, как очаковцы прощались со Шмидтом перед казнью.

Мы поехали к Дымченко втроем — Сметанина, Гарт и я. Стоял жаркий осенний день, безветренный, будто отлитый из желтоватого стекла.

В степи за Северной стороной пели жаворонки. На кладбище пылала осень. Солнце просвечивало через листья, как через нежные ладони, полные розовой крови. Пух семян засыпал дорожки. Дали были полны той ясностью, какую можно встретить только в сухих и бесплодных горах.

Около сторожки Дымченко зевала на цепи косматая и добродушная собака Рыжик. Дымченко штопал сеть. Все было патриархально, солнечно и просто, как всегда.

В этот день разговор зашел о казни Шмидта. Дымченко с матросами-очаковцами сидел после суда на плавучей тюрьме «Прут», откуда Шмидта, Частника, Антоненко и Гладкова взяли на расстрел.

— Как вывели Шмидта, он шел быстро, будто не по палубе, а по самому воздуху. Легкий шаг был у человека, светлое лицо. Мы просили начальство: «Дайте нам пять минут с ним и с матросами попрощаться в их смертный час. Дайте нам посмотреть на них и на него пять минут!» Не разрешили, зара-

зы! Тогда мы все разом начали кричать. «Прощай, Шмидт! Прощай, друг, святой наш товарищ!» Офицеры — драконы, каких свет не видал,— дают приказ: «Замолчать!» — а мы не слухаем, кричим, плачем и рвем на себе форменки. Долго плакали и кричали, пока не кончили его на том острове злой пулей.

Дымченко свертывал из табака цигарку. Старческая слеза упала на нее, и бумага расползлась под дрожащими пальцами. На затылке старика по-детски торчал седой легкий пух. Старик долго не подымал голову и тер худую грудь.

— За родного брата не так у людей болит душа, как за него, за Шмидта. Да вот — не дожил. Сил нету у меня об том вспоминать. Растравили вы меня, чудаки,— опять не будет мне сна.

Кроме Дымченко, Гарт нашел в Севастополе старого, подслеповатого аптекаря, жившего на покое. После встречи с ним Гарт показал мне ветхий рецепт.

Рецепт был на бром, но интересно было не это. На том месте, где пишется цена лекарства, рукою провизора было написано: «Лекарства для Шмидта отпускаются бесплатно,— они идут на пользу революции».

Это дало Шмидту повод шутливо воскликнуть в одном из писем: «Видите, революция начинает уже кормить меня».

Старичок-аптекарь рассказал Гарту о клятве Шмидта на кладбище.

Гарт собрал материал, но долго не мог писать. Все, что он узнал, казалось ему еще далеким и его не волновало. Нужен был последний толчок. Он пришел, как всегда, неожиданно. В чьих-то воспоминаниях Гарт вычитал, что Шмидт считался великолепным знатоком моря и одним из самых просвещенных капитанов русского флота. Там же говорилось, что внешне Шмидт был строен, даже изящен.

Только убедившись, что Шмидт принадлежит к плеяде лучших моряков, каких знало человечество, что имя его как капитана может быть поставлено наравне с Джемсом Куком, Ворониным, Амундсеном и Магелланом, Гарт успокоился и начал писать о Шмидте. Сухопутные люди Гарта пока еще не интересовали.

Первый отрывок из рукописи Гарта о Шмидте назывался «Старый аптекарь».

«Что я тогда пережил! Разве я могу рассказать вам это сейчас, когда мне уже семьдесят пять лет и я жалею, что в Севастополе нет крематория. Пусть меня сожгут, а пепел спрячут в фаянсовую аптекарскую банку с надписью «Tinctura valeriana», потому что как раз валерианки мне всю жизнь не хватало. Я имел занятие волноваться из-за всех людей, из-за каждого дифтерита и каждой рубленой или огнестрельной раны.

Такая наша профессия — присутствовать при человече

ских несчастьях и брать за спасение недорогую цену по таксе.

Ну, однако, Шмидту я единственный в Севастополе отпускал лекарства бесплатно и до сих пор горжусь этим.

Что я тогда пережил! Вы спросите, что я пережил, когда пришла со службы младшая дочь,— она работала телеграфисткой, — села вот здесь на стул и заплакала.

— Что с тобой, Люся? — спросил я и пошел за валерианкой. Пока я капал ее в стакан с переваренной водой и волновался, она успела мне ответить:

— Пришла телеграмма адмиралу Чухнину. Я переписала ее. На, прочти!

Она протянула мне листок бумаги, и я прочел эти слова — лучше бы я их не читал никогда в жизни:

«Прошу отдать мне тело казненного брата. *Анна Избаш*».

Избаш — это сестра Шмидта.

— Все кончено, Вайнштейн,— сказал я себе, сел на стул и забыл дать Люсе валерианку.— Все кончено, Вайнштейн! Они убили его! — повторил я и бросил стакан на пол.

Что я должен был делать, аптекарь и больной еврей? Что, я вас спрашиваю? Что я мог, когда вся Россия молилась на него, а спасти его не сумела.

«Вот страна,— думал я,— будь она проклята до скончания века!» И я плакал, как может плакать только еврей. Чтобы научиться так плакать, надо сотни лет мучиться и вытирать плевки и кровь с лица, как это делали мы, евреи. Сотни и тысячи лет!

Вы спрашиваете, знал ли я Шмидта до его речи на кладбище? Нет, не знал, и мало кто его знал в Севастополе. Он взорвался, как динамит.

Было восстание на «Потемкине», потом восстание на «Пруте», но я не слыхал его имени по этим делам. Потом началась революция, и Николай придумал свой замечательный манифест о свободах. Я так считаю, что он был придуман исключительно для аптекарских учеников. Почему? Потому что они приезжали в город из местечек, ходили по улицам с открытыми ртами и верили даже околоточным надзирателям. Молокососы и дураки! Так в то время почти вся Россия была, как аптекарские ученики!

Мы, представьте, поверили в манифест и обрадовались, что, наконец, дождались Государственной думы. А она нам, откровенно, была нужна, как мертвому банки.

Начались митинги. Сколько было митингов! И на Екатерининской, и на Приморском бульваре, и где вы хотите.

После митинга на Приморском бульваре мы пошли к тюрьме освобождать политических. Я тоже ходил. И адмирал Чухнин нам устроил хорошую мышеловку. Ворота тюрьмы открылись, и вместо освобожденных товарищей, как мы ждали, в нас начали бить залпами. Восемь человек убили, сколько ранили — я теперь не припомню.

Тогда я чуть не задохся от злобы. Чухнин! Вы не можете представить, как «любили» этого человека.

Он был довольно плюгавый адмирал, с бородой, как пакля, крикливый, с камнями в печени и желчью в голове. Пока его не трогали, он очень храбрился, даже ходил по городу пешком. Знаете, если бы опросить весь Севастополь, восемь из десяти были бы за то, чтобы его убить, как собаку. Но что я мог сделать Чухнину, что, я вас спрашиваю? Ничего существенного!

Но и я, Вайнштейн, испортил ему немного крови. Он приезжал лечить зубы к моему соседу по квартире, дантисту Новицкому. Я зашел к Новицкому как будто по зубным делам и незаметно положил в карман адмиральской шинели — она висела на вешалке в передней — кучу прокламаций! И каких! В одной было напечатано черным по белому:

«Палач Чухнин! Знай, что близок час, когда наша рука не дрогнет набросить тебе петлю на шею! Помни, что час расплаты близок, и этот час будет ужасен. Эту листовку пишут матросы, принадлежащие к партии социал-демократов».

Воображаю, какое веселое чтение имел Чухнин в тот день у себя за чаем!

Погодите, я все никак не дойду до Шмидта.

Через день убитых хоронили. Никогда еще Севастополь не видел такой толпы, столько красной и черной материи и цветов.

На кладбище я первый раз увидел Шмидта. Это был морской офицер, высокий и бледный. Глаза у него горели, как у пророка.

Он встал над могилой и начал говорить. Было тихо, будто люди боялись дышать. Он говорил так, что каждое слово било, как пуля, в грудь человека. Его прекрасный голос слышал весь Севастополь.

Что он сказал? «Клянемся этим убитым в том,— сказал он,— что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав».

Он поднял руку и громко сказал: «Клянусь!» И мы все, все тысячи людей повторили за ним это слово. Слезы закипели у нас на сердце. «Клянемся!» — крикнули мы.

«Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы».

И в этом мы поклялись.

«Клянемся им в том, что свою общественную работу мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда».

«Клянусь!» — сказал он, и в эту минуту я полюбил его. Я понял, что если этот человек подойдет ко мне и скажет: «Вайнштейн, бери вместо своих пипеток наган, иди и борись, и прячься, и карауль врага, стреляй и страдай, как ты еще никогда не страдал в своей маленькой жизни»,— я пойду и буду благословлять его имя.

«Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея,

ни армянина, ни поляка, ни татарина, но все мы будем отныне равные, свободные братья свободной России».

Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы.

Теперь я думаю, что тогда он не сумел сделать дело до конца. Тогда никто не делал ничего до конца, потому что мало было большевиков. Большевик — тот всегда поставит точку, и такую жирную, что ее ничем не сотрешь.

С кладбища он мог повести весь Севастополь за собой, захватить город, казармы и флот. Верьте мне, потому что я видел людей после его речи. Они готовы были зубами ломать тюремные решетки.

А вместо этого вечером его обманом заманили в Морской штаб, арестовали и посадили на броненосец «Три святителя».

Он просидел две недели. Все эти две недели город кипел, как котел. Матросы и солдаты и все мы, простые жители, требовали его освобождения.

Чухнин испугался. Штыки штыками и офицеры офицерами, а у каждого на душе есть страх, как грязь на дне стакана. Чухнин его выпустил.

После этого каждый день проходил, как будто он мне снился. Я должен подумать, чтобы вспомнить, как все было.

Я боюсь спутать. Мне семьдесят пять лет,— вы не шутите! Но, между прочим, скажу вам, я не очень хочу умирать, потому что сейчас я получил в первый раз в жизни свой законный отдых.

Мне хочется греться на солнце, читать газеты, слушать концерты, съездить в Москву, посмотреть на Кремль, и многое еще мне хочется.

Я так думаю, что мы с вами немного рано родились. Через пять — десять лет какой-нибудь мальчишка-ученый, даю вам честное слово, придумает средство, чтобы люди жили еще на пятьдесят — семьдесят лет дольше. Вайнштейну будет невесело умирать и прочесть на смертном ложе такую заметку в «Известиях»:

«Дай вам бог — не бог, а жизнь — здоровья, а главное — работайте, молодой человек, и у вас всегда будет молодая кровь».

Второй отрывок из рукописи Гарта назывался «Восстание».

«Вы меня пытаете прямо как прокурор. Ну, ладно,— рассказывать, так все по порядку.

Зовут меня Дымченко Кузьма Петрович. Сам я родом с-под Каховки на Днепре. С баталером Частником, погибшим со Шмидтом, мы земляки, с одного села.

Батька мой был небогат, бедняк. Мать померла, когда — и не помню: я был совсем малый. Как подрос, забрали меня в Черноморский флот. Муштровали, старались сделать с меня

справного царского матроса, да оно, как видно, не получилось.

Но, не глядя на то, остался я во флоте на сверхсрочную службу. В деревне мне не было дела,— ни земли, ни травы, ни братьев, ни сестер, а старик к тому времени помер. Так и добедовал я во флоте до пятого года.

Матрос я был толковый. Сила во мне была большая и обида на офицеров. Били меня многое число раз. Называлось тогда это дело флотской воинской дисциплиной.

В девятьсот пятом году Частник — звали его Серега — приобщил меня до революционного понятия. Шмидта после речи на кладбище все знали, даже самая матросская серость — гальюнщики. Звали мы его «брат-командир», любили крепко и верили, как никому на свете.

Однако я Шмидта еще не встречал. Увидел я его первый раз в казармах флотского экипажа, должно за день до очаковского дела.

Бушевала тогда вся Корабельная сторона. Винтовки сами стреляли. Шло к тому, что пора подыматься всем флотом и доходить до настоящей человеческой доли. Решили мы вызвать к себе Шмидта. Послали до него людей. Он ответил: буду обязательно завтра.

Узнали об этом матросы — и как занялось «ура» по всем казармам, по всей Корабельной стороне, все одно как пожар. Гремело целый час. Промеж офицеров сделалась паника,— так здорово кричали матросы.

И верно, на следующий день Шмидт приехал. Мы его в казармы внесли на руках, и он согласился принять командование над нашим матросским флотом.

Был у меня в то время приятель, матрос Сиротенко, тоже наш, с Украины. Служил на броненосце «Пантелеймон», бывшем «Потемкине».

Чухнин, гладкая лиса, боялся «Пантелеймона». Корабль был такой, что одним залпом сделал бы из города чистую пыль.

Чухнин приехал на этот корабль и звал матросов стоять за царя. Сиротенко бесстрашно вышел адмиралу навстречу и говорил о каторжной матросской доле и дорогой свободе.

Чухнин дал приказ арестовать его, но матросы стали стеной и крикнули: «Не дадим трогать Сиротенко! К чертовой матери драконов!» Чухнин уехал, но напоследок приказал снять со всех орудий на «Пантелеймоне» ударники. Вот и глядите, ка кие тогда были матросы, ровно дети. Отдали ударники, броне носец не мог стрелять — и через то погиб «Очаков».

А Сиротенко, вечный ему покой, убили на «Очакове». Тело его матросы подобрали на третий день в бухте и похоронили тайно за Братским кладбищем. Теперь я могилу не найду. Старый стал. У меня в глазах темная вода.

Ноябрь был в тот год тихий и теплый. Туманы да солнце вот совсем как сейчас.

Четырнадцатого ноября я перешел на «Очаков». Ночью, по приказанию Шмидта, мы захватили миноносцы «Свирепый», «Гридень» и еще три номерных миноноски.

Прошел слух, что Чухнин собрался бежать в Одессу на своей яхте «Эреклик». Шмидт послал нас на «Свирепом» в море сторожить «Эреклик», а в случае, если заметим, потопить его миной. Однако Чухнин не удрал.

На другой день утром на «Очакове» подняли красный флаг и сигнал «Командую флотом. Шмидт».

— Все пять миноносцев ответили сигналом: «Ясно вижу»— и от себя подняли красные флаги.

Человек я не больно грамотный, и нету у меня ума рассказать вам, до чего радовались матросы.

Играла музыка. Команды выстроились на шканцах. Мы открыто стояли перед всем флотом, кидали в воздух бескозырки и кричали «ура».

Шмидт спустился на «Свирепый» и пошел малым ходом до царской эскадры.

Бесстрашный был человек. Каждый офицер мог его убить в упор из нагана.

«Свирепый» подходил борт к борту броненосцев, и Шмидт кричал матросам: «Товарищи, мы поднялись за правое дело! Присоединяйтесь к нам!»

Матросы кричали «ура» и плакали. Да от того крика не было нам никакой поддержки, потому на всех кораблях матросов загнали в трюма и они кричали не на палубах, а за стальными бортами. На палубах остались одни офицеры.

Берега бухты были черные от народа,— страшно было смотреть. С берегов весь город кричал нам «ура».

Так Шмидт обошел эскадру, и ни один корабль, не считая «Пантелеймона», не осмелел, чтобы восстать. А от «Пантелеймона» — я вам уже раз сказал — не было толку. Орудия у него не работали. Тогда Шмидт пошел на миноносце к тому чертову «Пруту», плавучей тюрьме. Там сидели потемкинцы. Шмидт сбил замки с камер и освободил всех.

Шмидт поворотился на «Очаков», созвал команду и поднялся на мостик. Я стоял рядом и крепко за него опасался,— человек весь дрожал. Гнев на эскадру был в нем такой, что он долго не мог говорить.

Потом, наконец, заговорил. Частник мигнул мне, чтобы я, значит, поглядывал за ним и в случае чего поддержал.

Что он говорил, я в точности не припомню. «Хотя мы остались совершенно одни, все равно будем биться до самой смерти. Не думал я, что кругом нас столько темного и жалкого люда. Будь он навеки проклят, рабский город!»

Тут он показал рукой на Севастополь, и с ним приключился припадок. Он бился, как малый ребенок. Я крепко держал его, чтобы он не упал на палубу и себя не покалечил.

Мы снесли его в каюту. Я находился при нем, пока все

не прошло. И такая взяла меня злоба на людей: что сделали с человеком, и каким человеком! Я готов был своими руками поубивать арестованных офицеров, что сидели у нас на «Очакове».

Бароны все были и графы. Голубая кровь, духами пахли, а бить людей не стеснялись. Одно только и знали — гаркать, как заведенные: «государь-император, присяга, вера, грязное мужичье», а того в толк не брали, что государь-император сам был с придурью.

Как сейчас подумаю, так кровь стынет в жилах. Отдали Шмидта за пятак! Каждый назад поглядывал, есть ли куда удрать. Одни очаковцы и Шмидт шли честно, прямой дорожкой, и привела их она до сырой могилы.

Эх, дожить бы им до нашего веку! Иной раз проснусь ночью и думаю,— ночью нам, старым, всегда не спится. Вот, думаю, каторгу я отсидел, вернулся к себе на Северную. Завтра утречком соберу свои бамбуковые пруты и подамся до бухты ловить скумбрию и чируса. Воздух легкий, чистый. Иду через степь и вижу,— что такое? — идет навстречу Шмидт. Живой, веселый, смеется мне. Зубы у него были белые и голос сильный. Добрый голос был у человека. Целует меня крепко и говорит: «Вот и свиделись мы с тобой, Дымченко. Недаром мы, значит, шли на смерть, недаром приняли страдание».

Пятый раз так его вижу, и сердце у меня падает,— должно, болезнь какая со мной приключилась.

А я ему отвечаю: «Где ж это вы, Петр Петрович, друг дорогой, так долго пропадали? Ну, теперь же и праздник будет у нас — на все Черное море!»

Должно, у меня болезнь какая. Все его вижу и вижу, и сердце сильно болит, как перед смертью».

«Когда я вступил на палубу «Очакова»,— сказал Шмидт на суде,— то, конечно, с полной ясностью понимал всю беспомощность этого крейсера — без брони, с машиной, которая могла дать всего восемь узлов хода, и без артиллерии. Там было всего два орудия. Остальные действовать не могли.

Я понимал всю беспомощность крейсера, не способного даже к самообороне, а не только к наступательным действиям, не способного даже уйти от опасности. Эскадра же, большинством своих матросов сочувствовавшая «Очакову», была разоружена до моего приезда на «Очаков». Стало быть, и тут нельзя было ждать никакой боевой силы, нужной для вооруженного сопротивления».

Так говорил Шмидт.

Надо было не дать погибнуть «Очакову» — ядру восстания во флоте.

Для этого Шмидт решил свезти на «Очаков» побольше арестованных офицеров и пришвартовать к борту крейсера транспорт «Буг»,— на нем было шестьсот пудов пироксилина.

Расчет на пленных офицеров был наивен. Шмидт думал, что

царская эскадра не откроет огонь по «Очакову», чтобы не убить своих офицеров. События показали, что это не так. Да и Шмидт в глубине души не верил в это, иначе не возник бы план с «Бугом».

Расчет на «Буг» был блестящ. Достаточно было, чтобы в «Буг» попал один снаряд,— и не только от флота, но от всего Севастополя осталось бы пустое место.

В четыре часа дня пятнадцатого ноября Шмидт приказал команде катера «Удалец» взять «Буг» на буксир и подвести его к борту «Очакова».

Когда катер вел «Буг» на буксире, канонерская лодка «Терец» приказала катеру остановиться и отдать концы, угрожая в случае неповиновения открыть огонь. Катер продолжал буксировать «Буг».

Тогда старший офицер «Терца», бывший друг Шмидта по морскому корпусу, Михаил Ставраки, открыл по катеру огонь. Первым же снарядом катер был потоплен.

Команда «Буга», боясь попасть под обстрел и взорваться, открыла кингстоны, и «Буг» пошел ко дну.

Через четыре месяца этот же Михаил Ставраки командовал расстрелом Шмидта и матросов на острове Березани.

(Когда я читал это место рукописи, я вспомнил 1922 год в Батуме.

Была зима. Гремели ливни. Изредка снег хрустел на дощатых пристанях.

Тогда в Батуме издавалась маленькая морская газета «Маяк». Ее печатали на машине-американке. Машину крутили ногой.

В этой газете печатался Бабель,— он жил тогда на Зеленом Мысу,— и ленинградский писатель Ульянский. Ульянский ночевал в товарных вагонах и разгружал пароходы в порту. Он только что вернулся из плена. На его рваном пиджаке была нашита желтая перевязь.

Я редактировал эту газету, где подробно описывались кораблекрушения и всяческие морские дела. Набирал ее единственный наборщик Костя — весельчак и любитель кабаре. Ходил он почему-то с заржавленным револьвером на поясе, и револьвер, по обычаям того времени, называл «пушкой».

Однажды в редакцию пришел старый моряк в засаленном тельнике под пиджаком. Рыжая щетина торчала островами на его щеках. Один глаз подергивался тиком.

Моряк назвал себя смотрителем батумских маяков Ставраки. Он принес заметку о необходимости отремонтировать маячные сирены.

Меня этот моряк поразил спокойной наглостью и насмешливостью над всем, что попадало в поле его зрения.

Через два дня он был арестован за продажу государственного имущества, а через неделю выяснилось, что это бывший лейтенант Ставраки, расстрелявший Шмидта.

Его увезли в Севастополь, судили и расстреляли. На суде он держался с обычной наглостью и насмехался над прокурором.)

Увидев гибель катера, Шмидт приказал миноносцу «Свирепый» произвести минную атаку на корабли эскадры.

«Свирепый» вырвался полным ходом из-за Павловского мыса. В ту же минуту чудовищный гром потряс Севастополь,— эскадра и крепостные батареи открыли огонь по «Очакову» и миноносцу.

«Свирепый» затонул под ливнем тяжелых снарядов. «Очаков» молчал. У него не было снарядов.

Скверные сумерки спустились над морем. «Очаков» горел. Пламя вздымалось над рейдом. Дым неравного боя застилал берега.

Команда «Очакова» начала бросаться в море. Крейсер спустил красный флаг, но ураганный огонь не прекращался. Матросы, бывшие при осаде Порт-Артура, говорили, что даже в день последней бомбардировки этой крепости они не слышали такого огня.

Сотни матросов плыли к берегу — к Приморскому бульвару и в Артиллерийскую бухту. Их расстреливали в упор из винтовок. Все отчаяние этой ночной бойни в холодной воде, в зареве пожаров и грохоте незатихающего боя могут понять только те, кто его пережил.

Один из свидетелей этой бойни писал, что у него до конца жизни будут звучать в ушах отдаленные крики с горящего корабля: «Братцы, помогите! Братцы!»

На крейсере раскалялась и с грохотом лопалась броневая обшивка.

Часть раненых успели спустить с «Очакова» в катер. Он был потоплен картечью с ближайших судов.

Сколько матросов было убито на «Очакове», сколько сгорело на крейсере — он раскалился до того, что броня его стала почти прозрачной,— сколько утонуло и было убито в воде,— об этом не знает никто. Об этом не осталось никаких документов.

В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном, мальчиком шестнадцати лет, бросился в воду. Все было кончено.

«Это был день смерти, — говорил потом Шмидт о гибели «Очакова».— Отчего я не был убит на «Очакове» под этим невиданным в истории войны стальным градом? Не убило меня, когда я был в воде, засыпаемый пулями. Отчего не убили меня, когда я, потеряв сознание и вытащенный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?»

Шмидта с сыном подобрал миноносец «270». Он быстро пошел в Артиллерийскую бухту, чтобы высадить Шмидта на берег, но залп с «Ростислава» подбил его. Миноносец остановился.

Шмидт и его сын были арестованы офицерами с «Ростислава».

На «Ростиславе» мокрый и раненый Шмидт был выставлен на посмешище победителей-офицеров. Его привели в кают-компанию, где офицеры за пьяным обедом издевались над ним.

Ни Шмидту, ни его сыну не дали ни хлеба, ни воды. Шмидт

несколько раз терял сознание. Потом его бросили на пол в стальную каюту и только через сутки отправили на сухопутную гауптвахту.

Конвойный офицер заблудился. Он долго водил Шмидта с сыном по оврагам на окраине Севастополя. Мальчик думал, что их ведут на расстрел. Он очень волновался, но отец не мог его успокоить,— им не разрешали говорить друг с другом.

Только на третий день Шмидта с сыном перевели на канонерскую лодку «Дунай». Там впервые Шмидту перевязали рану и дали умыться.

Еще на миноносце «270» кто-то накинул на Шмидта мокрую матросскую шинель, измазанную углем. Шмидт после ареста был покрыт потеками черной грязи.

«Дунай» доставил Шмидта и его сына в Очаков, в сырой каземат на острове Морской батареи.

Началась зима. Черные тучи лежали над водой. Очаковский залив замерзал. Николай торопил казнь».

Третий отрывок рукописи назывался «Статья сотая».

«Мне выпало на долю тяжелое счастье защищать на суде Шмидта. Не знаю, как по-вашему, можно так сказать или нет,— «тяжелое счастье», но иначе я не могу определить свое тогдашнее состояние.

Жизнь моя идет к концу. Как говорят поэты, началась осень жизни, и, как всегда осенью, меня одолевают воспоминания. Прекрасное время года, как бы созданное для человеческих размышлений. Все способствует этому — и чистота воздуха, и легкий холод, и грустное настроение, разлитое вокруг, какое не сможет отрицать самый нечувствительный человек.

Каждую осень воспоминания возникают во мне с особой силой. Я не могу успокоиться, пока не поделюсь ими с кем-либо из окружающих. Я пробовал писать, но это не то. Бумага меня не успокаивает. Мне нужен живой человек.

Лучший слушатель — это мой внук-пионер. Ему я говорю обо всем. О пятом годе, Жоресе, войне, октябрьских днях в Москве и других величайших событиях, которым я был свидетель. Но я не могу ему рассказывать о Шмидте. Мальчик потом не спит по ночам, и мне сильно попадает от дочери.

Поэтому я чрезвычайно рад, что вы пришли ко мне. Вам я постараюсь рассказать все, что сохранила моя стариковская память.

Я упомянул о Жоресе. Я слышал его в Париже, этого бородатого и раскаленного человека. Но и в его речах было слишком много приемов, того, что мы привыкли называть ораторским искусством.

Иногда Жорес поворачивался спиной к слушателям, потрясал над головой сжатыми кулаками и выкрикивал проклятия. Это действовало с неотразимой силой. Но все же это была великолепная игра.

А Вандервельде? Актер! В сильных местах речи он делал

быстрый жест рукой, и каждый раз из рукава вылетала крахмальная круглая манжета и падала, как бомба, в задних рядах. Слушатели неистовствовали. Я прекрасно знал, что Вандервельде нарочно не пристегивал манжету, и жест этот оставлял у меня впечатление глубокой фальши.

Я вспомнил об этих ораторах, чтобы сказать вам, что искреннее Шмидта ораторов я не встречал. Мы, старые адвокаты, очень ценим ораторское искусство. Поэтому я с него начинаю.

Шмидт говорил, как величайший трибун. Он заражал людей тем состоянием, какое я назвал бы восторгом и самозабвением.

Когда он говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой. Непередаваемая сила его слов вырывала вас из рамок обыденной жизни, ломала законы и традиции. Вы ясно чувствовали, что все окружающее — дурной сон, что в глубине души проснулось ваше детство с его справедливостью и свежестью мысли.

На суде часовые со слезами на глазах смотрели ему в лицо, отставив винтовки и бросив посты. Судьи плакали, закрыв лицо растрепанными томами этого позорного и чудовищного «дела».

Казалось, еще минута — и конвойные бросятся к нему, силой выведут его из затхлого здания суда на свободу, вынесут его на руках и вернут жизни.

Он знал это. Ему говорили: «Бегите! Ведь ни один конвойный не сделает даже попытки задержать вас». Он знал, что может сказать конвойным всего два слова: «Откройте двери!» — и все двери казематов будут перед ним распахнуты настежь. Но он не сделал этого. Он не мог уйти один, бросив товарищей-матросов.

Да, судьи плакали. Не потому, конечно, что им было жаль Шмидта. У самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, как острый камень, и вызовет боль. Нет подлеца, который бы не сознавал свою подлость.

Если бы не настойчивые приказы Николая, суд не вынес бы ни Шмидту, ни Частнику, ни Антоненко и Гладкову смертных вердиктов. В этом были уверены все.

На суде Шмидт был прекрасен. Он был полон того личного обаяния, которое никак нельзя забыть. Оно было в простоте, в громадном расположении к людям, в искренности и мужестве.

Мне жаль, что Шмидт ушел в могилу незапечатленным. Ни одна фотография и портрет не передали особого отблеска, какой лежал на нем.

Шмидт был строен и легок. Его движения были точны и спокойны. Я изъездил Европу, бывал во многих картинных галереях, видел величайшие творения кисти, но даже на картинах мастеров Возрождения я не встречал таких лиц. Есть лица, бледные от великой внутренней страсти, излучающие свет ума и благородства. Таким было лицо Шмидта.

Таким я его увидел впервые на суде в Очакове, таким он оставался до самой казни.

После казни Шмидта нашлись люди, пытавшиеся изобразить поведение Шмидта как попытку вызвать восстание с негодными средствами.

Это не так. Восстание, лишенное руководства, надвигалось стихийно. Удержать от него матросов было немыслимо. Руководить восстанием было некому — матросский боевой комитет был разгромлен после событий на «Потемкине». В городе остались только меньшевики. Матросы требовали от них руководства. Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на деле же всячески тормозили его. Они позволили Чухнину разоружить флот. Они сознательно тянули, дожидаясь, пока в Севастополь были стянуты Чухниным войска из Одессы, Симферополя и Екатеринослава. Они не «обратили внимания» на желание солдат могущественной крепостной артиллерии присоединиться к матросам и оттолкнули их своим равнодушием. Крепость осталась за Чухниным. Тогда, в последнюю минуту, матросы позвали Шмидта. Шмидт честно сказал, что восстание обречено на провал. Он согласился руководить им только для того, чтобы не оставлять матросов одних, чтобы взять вину на себя, уменьшить кровопролитие и сохранить живую революционную силу. Поэтому, уезжая на «Очаков», Шмидт сказал, что идет на Голгофу. И он был прав.

Я приехал в Очаков глухой осенью. Это заброшенный и гиблый городок. Он стоит в степи над морем. К морю берега обрываются откосами из желтой глины. Зимой они покрыты сухим бурьяном и тонким слоем серого снега.

В день моего приезда падал сухой снег. Ветер нес его по улицам вместе с пылью и черными листьями.

В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо и мрачно — и небо, и залив, и город, и лица жителей, прятавшихся по домам.

Только красный огонь маяка на острове Морской батареи, где был заточен Шмидт, придавал пейзажу тревожную и величественную окраску.

В холодной гостинице, где не было печей и нельзя было обогреться после дороги, коридорный — мальчик лет пятнадцати — показал мне тесную комнату. Мальчик принес в номер керосиновую лампу. Пока я разбирал вещи, он стоял у дверей в мокрых отцовских сапогах и смотрел на меня с тревожным любопытством.

— Вы его защищать приехали? — спросил он тихо и заплакал, вытирая длинным рукавом слезы.— Сегодня его перевезли с острова. Я видел, как он сошел с катера,— высокий такой, светлый. Посмотрел кругом на людей, а людей было много, и люди все заплакали. Все наши, очаковские,— и женщины, и рыбаки, и кое-кто из ребят. Он махнул нам рукой, и его увели.

Да, много было тогда слез, что и говорить! Изредка мне случалось посещать дома простых людей в Очакове. Я не могу передать, как это было тягостно.

Город притих, сжался. Несчастье вошло в дома, погасило очаги и приглушило голоса. Мне чудилось тогда, что по ночам город не спит. Люди лежат в темноте, прислушиваются к заунывному шуму ветра и думают о последних часах его жизни.

Раз уж я заговорил о слезах, то позвольте рассказать вам еще один случай.

В первый день суда сестра Шмидта вышла к гауптвахте, чтобы хотя издали увидеть брата.

Первыми вывели матросов-очаковцев. Их одели на суд, как на праздник. Сестра Шмидта, глядя на них, заплакала.

— Плачет...— прошел по рядам матросов глухой шепот.— Это сестра Шмидта... Плачет по нас...

Матросы сняли бескозырки,— ничем другим они не могли выразить ей свое сострадание и благодарность.

— Если бы в эту минуту,— говорила потом сестра Шмидта,— можно было стать на колени, я поклонилась бы им до земли.

Не взыщите,— я с трудом могу вспоминать эти дни. Придется говорить покороче.

Я слышал его последнюю речь на суде. Он сделал все, чтобы спасти матросов. Этой речью он вырвал у суда не меньше десяти жизней. Я не помню всей речи. Я приведу вам только несколько слов.

«Предсмертная серьезность моего положения,— сказал он,— побуждает меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мною приговора. Никого из них нельзя карать равным со мною образом. Сама правда требует, чтобы ответил я один за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня.

Когда провозглашенные политические права начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила меня, заурядного человека, из толпы, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.

Я знаю, что столб, у которого я стану принять смерть, будет водружен на границе двух разных исторических эпох нашей родины.

Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, счастливую, обновленную страну. Высокая радость и счастье наполнят мне сердце, и я приму смерть».

После приговора матросы окружили Шмидта, прощались с ним, обнимали его и благодарили.

Потом их вывели. Сестра Шмидта подошла к нему. Конвойные, нарушив устав, быстро и хмуро расступились. Взявшись за руки, брат и сестра прошли последний путь через весь город до пристани.

Там Шмидта и матросов посадили на баржу и отправили на плавучую тюрьму «Прут».

Жители собрались около суда. Толпы провожали глазами

Шмидта и матросов. Многие стояли, обнажив головы.

Осужденные шли в суровом торжественном молчании. Матросы срывали с себя погоны и бросали их в грязь на дорогу.

Дул холодный ветер. Черная мгла висела над заливом и степью. Все было кончено. По статье сотой Уголовного положения Шмидт был приговорен к повешению, а Частник, Гладков и Антоненко — к расстрелу. В виде особой милости Чухнин заменил Шмидту повешение расстрелом.

Я стоял на пристани. Когда проводили мимо меня матросов, Частник со своей обычной застенчивой улыбкой крикнул мне:

— Прощайте! Под крест идем!

Потом я увидел Шмидта. Он шел легко и твердо. Скупой луч солнца прорвался, наконец, сквозь мглу. Он озарил Очаков и шествие смертников холодноватым серым светом. Блеснули штыки.

Шмидт сказал мне отчетливо и громко:

— Прощайте, Александр Сергеевич.

Я снял шапку и ничего не мог ему ответить. Спазма сжала мне горло.

Я пошел через притихший город в степь. Я бродил по степи до ночи, без шапки, плачущий и растерянный.

Я забрел к крепостным складам. Часовой окликнул меня. Я ничего не ответил. Он подошел ко мне с винтовкой наперевес и посмотрел в лицо:

— По нем плачешь?

Я молчал.

— Эх! — часовой отвернулся.— Уйди ты от меня, не тревожь. Уйди! — крикнул он.— Как человека прошу!

Я ушел. Я видел в свинцовой воде тусклый силуэт транспорта, где Шмидт ждал казни, видел его огни, но плохо понимал, что вокруг происходит.

Вернулся я в гостиницу ночью. Меня поразила пустота — все разъехались. Я остался один. Утром я заболел от пережитых потрясений, и меня отправили в Одессу».

Последний отрывок из рукописи Гарта носил название «Казнь».

«Шестого марта с рассвета дул свежий ветер, но небо было безоблачно и прекрасно.

Всю ночь перед казнью Шмидт писал письма. На рассвете он переоделся — надел чистую рубаху — и умылся.

К борту «Прута» подошел катер. Катер било волнами, и Шмидту был ясно слышен лязг его якорных цепей.

К Шмидту вошел священник и предложил ему принять причастие. Шмидт похлопал его по плечу и ответил:

— Я с удовольствием приму ваше причастие, батюшка, если вы найдете в евангелии слова о том, что можно убивать людей.

В евангелии таких слов не было. Священник смутился и вышел.

Шмидт потребовал, чтобы его и товарищей не связывали перед казнью. Когда Шмидт спускался по трапу в катер, он оступился. Жандармы быстро накинули на него веревку. Шмидт остановился и гневно крикнул:

— Вы обещали не делать этого!

Веревку сняли.

Катер шел до острова Березани больше часа. Шмидт выходил на палубу, смотрел на море и курил.

К острову катер не мог подойти из-за мелководья и прибоя. Надо было перевозить приговоренных на лодках. Очаковские рыбаки наотрез отказались дать лодки.

— Для подлого дела лодок у нас нет! — ответили они жандармскому ротмистру.

На берегу Шмидт и матросы спокойно пошли к врытым в землю четырем столбам. Говорили о детстве, о том, какое хорошее над островом небо. Частник был бледен и ласков.

Около столбов стояли гробы, и солдаты неуклюже и торопливо рыли братскую могилу.

Все очевидцы говорят, что Шмидт и матросы шли на казнь величественно и спокойно. Около столбов Шмидт попрощался с матросами. Частник долго стоял, обняв Шмидта, прижавшись головой к его плечу.

Когда читали приговор, Шмидт неотступно смотрел на море.

Расстреливали матросы-новобранцы с канонерской лодки «Терец». Позади них стояли солдаты. Орудия «Терца» были направлены в упор на отряд, производивший расстрел.

Командовал расстрелом лейтенант Михаил Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки снял фуражку и стал на колени. Шмидт мельком взглянул на него и сказал:

— Лучше прикажи своим людям целиться прямо в сердце.

Шмидт и матросы после прочтения приговора подошли к столбам. Саванов не надевали. Солдаты опустили ружья. Многие плакали. С несколькими случились обмороки. Офицеры растерялись. Казнь затягивалась.

Шмидт нетерпеливо махнул рукой. Ставраки скомандовал «огонь», пригнулся к земле и закрыл лицо руками.

Звеняще и тревожно запела труба горниста. Шмидт, не отрываясь, смотрел на море, где в бездонной голубизне зарождался день его смерти.

Ударил залп. Шмидт и Частник упали замертво. После второго залпа был убит Гладков и упал Антоненко.

Матросы с «Терца» бросали ружья и растерянные бежали к берегу. Антоненко поднялся, осторожно потрогал свою кровь и сказал с каким-то детским недоумением:

— Вот и кровь моя льется...

Его пристрелили из нагана.

А в это время сестра Шмидта металась по канцеляриям

министров в Петербурге и требовала помилования брата. Ей не говорили ничего определенного, хотя все знали тайный приказ Николая расстрелять Шмидта во что бы то ни стало.

В Очаков сестра Шмидта приехала на девятый день после расстрела.

На рыбацкой лодке она переехала на остров. Прошлогодняя полынь серела на глине.

Сестра шла по пустынному берегу, низко наклонив голову,— она как будто искала следы брата и матросов.

В одном месте на рыхлой земле лежало крестом несколько больших светлых камней. Их ночью после казни положили очаковские рыбаки.

Стоя на коленях перед братской могилой, сестра долго смотрела на небо, на печальный остров, на все, на чем в последний раз останавливались их глаза, потом засыпала могилу грудами красных цветов.

Россия молчала. Небо было безоблачно и прекрасно».

На этом кончалась рукопись Гарта о Шмидте.

РАЗГОВОР НА КОРАБЕЛЬНОЙ

Мы шли с Гартом на Корабельную сторону по узкому проходу между каменных оград.

С оград свешивался плющ. Теплый инкерманский камень выветрился и казался покрытым не то гнездами стрижей, не то пчелиными сотами.

Проход этот тянется около километра. Он то подымается на холмы, то спускается вниз. В оградах видны замурованные двери. В трещинах камней растет чертополох.

У подножия оград цветут в пыли последние желтые цветы — те скромные осенние цветы обочин и пустырей, какие даже не имеют имени. Может быть, имя у них и есть, но никто его не знает, кроме ботаников.

Я сказал Гарту, что этот проход напоминает старинные порты. Мы как будто не в Севастополе, а в выдуманном Кастле из его рассказов.

Гарт ничего не ответил. Он шел и тщательно отбрасывал ногой камешки с дороги.

Заговорил Гарт только на Малаховом кургане. Бронзовый адмирал Корнилов с равнодушным лицом предлагал отстаивать Севастополь. В колючих кустарниках паслись коровы.

Гарт остановился около белого памятника французским и русским солдатам, убитым при штурме Малахова кургана, и вслух прочел надпись:

Unis pour la victoire,
Reunis par la mort —
Du soldat c'est la gloire,
Des braves c'est le sort!

(«Их объединила победа и снова объединила смерть. Такова слава солдата, таков удел храбрецов»).

— Неплохо придумано,— сказал Гарт равнодушно.— А то, что вы говорили насчет Кастля,— это вы оставьте. Мне сейчас не до этого. Я написал несколько отрывков о Шмидте, неполных и несовершенных. Они мне дались тяжело. Теперь будет трудно писать по-старому.

— Почему?

— Меня уже не интересует выдуманная жизнь. Я хочу найти подлинный материал такой же силы, как материал о Шмидте, и работать над ним. За Шмидта я взялся почти случайно, но вот видите, к чему это привело.

Смешно было говорить Гарту о моих мыслях по этому поводу. С Гартом произошло то, что должно было случиться. Он был думающий и наблюдательный человек, и уход от равнодушия к подлинной жизни был для него неизбежен.

Гарт шел к перелому медленно и по-своему — через мысли о романтике Шмидте, через знакомство с Дымченко, через музыку Верди на советских кораблях и через как будто бы фантастический проект об уничтожении ураганов, осуществить который могла только советская страна.

Я промолчал и показал Гарту на вечернее небо над Северной бухтой. Лиловое и темное, оно было освещено красноватым огнем облаков. На нем пылали, как желтые костры, рыбачьи домики в безвестных слободках. Мгла лежала в глубоких балках. Севастополь зажигал первые огни.

— На днях я поеду с Юнге в Коктебель, а оттуда в Новороссийск,— сказал Гарт.— Мы займемся борой. Это очень увлекательно.

— Вы начинаете борьбу за уничтожение боры?

— Да... Очень возможно,— ответил Гарт.

Он пробормотал несколько слов. Из них я понял, что Гарт обвинял меня в скептицизме и неверии в возможность уничтожить бору. Я опять промолчал, должно быть, от изумления.

С Павловского мыса мы переправились в город на ялике. Южная бухта и Севастополь показались мне нагромождением огней, пароходных труб, сигнальных мачт, колоннад, памятников, якорей и осенних звезд, дрожавших в изрезанной катерами воде.

Через два дня Гарт уехал, оставив мне в Севастополе своих знакомых — Сметанину и Дымченко. Я обещал через неделю приехать в Коктебель, но некоторые события — о них речь будет ниже — задержали меня, и я встретился с Гартом значительно позже.

Судьба преследует меня. Еще не было случая, чтобы мои планы сбывались. Всегда на моем пути попадется какое-нибудь событие и отвлечет в сторону от намеченной цели.

На юг я приехал для работы над книгой. Мне следовало безвыходно сидеть в севастопольской Морской библиотеке и

изучать необходимые для книги материалы. Но вместо этого я заинтересовался делами, не имеющими отношения к книге, и потерял три месяца на скитания по побережью.

Я не жалею об этом. Побережье Черного моря дало много знаний о людях, революции, кораблевождении и жизни глубин, ветрах и древних культурах. Все эти знания были овеяны запахом морской соли и воздухом молодой страны.

АРТЕМИДА-ОХОТНИЦА

Луч прожектора пронесся над оградой и рассыпался известковой пылью в зарослях по склону горы. Яркий блеск наполнил до потолка низенькую хибарку Дымченко. Он раздвинул стены и исчез,— стены снова сжались и потемнели.

Желтый огонь керосиновой лампы освещал деревянный стол, изрезанный хлебным ножом. За печкой тикал, как ходики, сверчок. Запах старости не выветривался из темноты,— теплый запах мела и пыли.

— А ну, покажь еще,— таинственно сказал Дымченко.

Старый рыбак Андрей, приятель Дымченко, осторожно разжал руку. Я нагнулся.

На ладони тускло сверкнула золотая монета. На ней было выбито изображение Артемиды-охотницы. Ее тяжелые волосы были завязаны высоким узлом. Короткий хитон развевался от порывистого движения. Одной рукой она подымала лук, другой держала за рога испуганную козулю и пыталась ее опрокинуть. Лицо Артемиды дышало волнением и гневом.

— Должно, греческая богиня,— пробормотал Дымченко.— До чего ловкий народ пиндосы! И лимонами не дураки торговать, и моряки с них подходящие, и скумбрию жарят, как никто, и на́ тебе — каких богинь с золота делают!

— Одна морока мне с той богиней! — закричал тонким голосом Андрей и с досадой высморкался.— Одно мучение мне через ту чертову богиню. Не пойму, куда ее пристроить до дела!

Я взял монету. В трещинах темнела тончайшая пыльца тысячелетий.

Андрей третий раз повторил незамысловатый рассказ об этой богине:

— Скажу вам по секрету: под Херсонесом есть у меня одно тайное место, вроде яма с-под старого фундамента. В той яме понаходил я много глиняных грузил. Старинные грузила, прочные, обожженные,— лучше наших. На них я ловил цельный год, а недели две не больше — отобрал их у меня какой-то московский. Десятку мне за них дал. Высмотрел, очкастый, как я сеть с воды вытягал, и пристал до меня, как заноза. «Не отдашь, говорит, я их у тебя все одно реквизирую в пользу пролетариата. Потому это вещи для музейного назначения». Я и отдал. Мне они без особой надобности.

На другой день подался я до своей ямы новые грузила копать. Грузил не нашел. Однако слышу — под камнем бренчит жестянка. Я до нее, а она золотая. У меня в глазах жар сделался. Чуть не сомлел я от страха. Взять боюсь и оставить боюсь.

Однако взял, завернул в платок и с той поры хожу, как бандит,— ни сна, ни покоя. Будь она трижды проклята, анафема, нет на нее погибели! Отдать боюсь и ховаю каждую ночь в ялик под пайол,— не хочу ее в хате держать.

Теперь должны вы дать мне правильное назначение, как ту богиню притулить до дела. Есть у меня думка продать ее и купить на те гроши корабельных гвоздей.

Из-за этой богини мне пришлось остаться у Дымченко. Совещание затянулось до полуночи. Идти ночью через степь на Северную, а оттуда ехать в город мне не хотелось.

Я долго рассматривал монету, пораженный тонкостью и чистотой ее чеканки. Она, очевидно, принадлежала к первым векам существования Херсонеса, когда этот город был крепостью Эллады на берегах Крыма. Тогда Черное море называлось Понтом Эвксинским, что значит Гостеприимное море, а в древних греческих лоциях — периплах — Херсонес еще называли Херронисом и Гераклеей, Крым — Киммерией, а Азовское море — Меотийским болотом.

Но уже тогда Черное море было описано древними географами с той скупостью и выразительностью, с какой умели писать римляне и греки. Геродот и Страбон, Плиний и Аристотель уже говорили о «великих пучинах» Черного моря.

На совещании у Дымченко было решено сдать монету в музей. На вырученные деньги Андрей мечтал купить корабельные гвозди. Зачем они ему понадобились, я не спрашивал. Это выяснилось позже.

Ночью я часто просыпался, должно быть от непривычной тишины. Я выходил во двор, прямо в степь, засыпанную звездами. Рыжик, гремя цепью, усаживался около меня и обмахивал теплым хвостом мои ноги.

Над морем висела дикая мгла. Запах соленых бухт и сухой травы доходил до порога хибарки.

Я думал о древности этого края. Известняк под ногами казался спрессованным прахом многих поколений. Все смешалось в здешней каменистой почве — и черепа гуннов, и римские надгробья, и французские ядра, и кости расстрелянных матросов с «Потемкина», и заржавленные врангелевские штыки. Я вспомнил слова Палласа, что «окрестности Севастополя представляют поистине землю классическую».

Одиссей проходил по этим берегам. Печальная Ифигения, дочь Агамемнона, томилась здесь тоской по Элладе,— девушка, воспетая в величавых стихах Эврипида.

Мифы, что теряются в человеческой памяти, подобно парусам в ночных просторах моря, казались волнующими и новыми, как только что прочитанная книга.

Здесь я особенно ясно понял простоту древней поэзии. Я понял волнение наших предков — участников французской революции, волнение Байрона и Гете, Пушкина и Гнедича, пытавшихся воскресить в стихах блестящий век Эллады и ее «божественную речь».

Я с корабля сошел при блеске ночи.
При ропоте таинственных валов.
Горела грудь, в слезах кипели очи,
Я чувствовал присутствие богов.

Так писал о Греции поэт Щербина. Он впервые увидел ее ночью. Парусный корабль причалил к берегам Эвбеи. Щербина сошел на греческую землю, полную великих воспоминаний.

Дымченко не спалось. Он вышел покурить. Далеко в море протрубил пароход.

— Дельфин плачет,— сказал Дымченко.— Бывают ночи осенние, когда дельфин плачет по всему морю, от Севастополя до самой Турции, и его тогда немыслимо бить. Рука на него не подымается. Ни один дельфинер, даже балаклавский, и не подумает в ту ночь стрелять дельфина. А об чем он плачет, тут люди болтают всякое.

Говорят, в древние греческие времена жила в Херсонесе в изгнании молодая женщина неслыханной красоты. В Греции остался у нее человек любимый. Она приходила до моря и долго смотрела на турецкую сторону. Но ничего она не видела,— одна волна и волна,— и год, и два, и десятки годов.

Женщина кормила дельфинов. Стаями они собирались и играли около нее и старались, кто чем мог, утешить ту женщину. По любимому человеку была у нее немыслимая боль. Зябла она здесь, на чужой и холодной земле.

И вот пришла ночь ее смерти. Снег падал с неба. Море лежало черное, как самая ночь, и ветер — бора — дул с севера, со злой, дикой стороны.

Женщина легла на берегу на сырые камни, звала любимого человека и плакала тяжелыми слезами, но никто не ответил. Только волна била и била в каменья, как много годов до этого, как бьет и по сегодняшний день.

И умерла та женщина. Звезды покатились с неба, а дельфины стаями кинулись к Греции, к теплому морю, чтобы донести до родных слух о злой ее смерти. Каждый год в ту ночь, как она умерла, плачут дельфины по всему Черному морю. Плачут и стонут человеческим голосом.

Дымченко помолчал. Я узнал в этом рассказе далекий миф об Ифигении.

— Оно, конечно, сказка. Рыбаки промеж себя выдумывают от скуки. Есть такие артисты рассказывать,— ночь всю просидишь с ними, ни в одном глазу сна не будет!

Три дня я потерял на раскопки около Херсонеса. Мне, взрослому, было немного стыдно тратить время на то, чтобы ковы-

ряться в земле вместо назначенной мне работы. Поэтому я втянул в раскопки двух пионеров. Они мечтали отрыть из-под земли «дохлого воина».

Сметанина смеялась надо мной. Но на второй день, когда мы нашли светильник для масла с выпуклым изображением рыбы, она перестала смеяться и начала с таким же азартом, как я и мальчишки, перебирать сухой щебень.

Кроме светильника и трех грузил, мы ничего не нашли. Андрей показал нам яму, где следовало рыть. Он получил от музея за монету сто рублей. У археологов, по словам Андрея, руки затряслись, когда они увидели его богиню.

Мы рыли три дня, а на четвертый отнесли находки в музей и показали одному из сотрудников.

Он был удивлен и подозрительно нас расспрашивал, кто мы и почему так заинтересовались древностями. Он смотрел на нас, как на врагов, вторгшихся без объявления войны на чужую территорию.

Только после длинного разговора он смягчился и даже показал нам много бронзовых, свинцовых и несколько золотых монет.

Он пересыпал их на ладони и называл имена городов, где они чеканились,— блестящий список имен: Пантикопея, Феодосия, Родос, Синоп, Ольвия, Фанагория, Неаполис Македонский и еще множество имен, которых я не запомнил. Все эти имена говорили о былом богатстве Херсонеса. Он вел торговлю со всем тогдашним миром.

В конце концов сотрудник успокоился и начал поглядывать на нас сквозь очки с веселой доброжелательностью.

Он провел нас на место последних раскопок и показал пласты почвы разных эпох. По ним, как химик по спектральным линиям, археолог читал прошлое этих берегов.

Верхний слой был полон гигантских камней от обвалившихся стен Херсонеса и новых могил,— в прошлом веке в Херсонесе было устроено карантинное кладбище.

Второй слой принадлежал византийской эпохе. Здесь нашли много монет Византии.

Ниже лежал третий слой, где было много остатков римских времен, и, наконец, в самом низу, на материковой скале, лежал слой эллинских вещей, главным образом черепков посуды, покрытых тусклым черным лаком.

В одной из стен нашли мраморную голову юноши, очевидно творение великого мастера четвертого века до нашей эры.

Сотрудник показал нам эту голову. Она была покрыта чешуей окаменелой пыли. Кто-то из диких жителей Херсонеса времен Византии, какой-то христианин, замуровал ее в стену жалкого дома вместо строительного камня.

При виде этой разбитой головы я вспомнил о разрушительной силе христианства, о скуке и изуверстве, пришедших на смену утренним культурам Греции и Рима

С гимназических времен я чувствовал отвращение к христианству с его манной кашей добродетелей, психопатическим Христом,— он казался мне молодым, хилым толстовцем, изрекающим слащавые истины, с его бородатыми святыми, похожими на ломовых извозчиков. Не только люди, но и идеи могут вызывать приливы неприязни.

Раскопки в Херсонесе нам так понравились, что несколько дней после этого мы бродили по окрестностям Севастополя и в каждом камне и разбитом черепке видели следы давно исчезнувшей жизни.

Ничто не дает такого резкого ощущения времени, как знакомство с древней страной.

С невольным уважением прикасаешься даже к черным, как уголь, зернам ржи, насыпанным в амфору тысячи лет назад, или к позеленевшим рыболовным крючкам скифов.

Таинственное всегда привлекает, особенно детей и стариков. Старики занимаются преимущественно историей, где область загадок очень обширна.

Дети предпочитают таинственность другого рода, хотя бы рыбную ловлю. Это занятие полно неожиданностей. Никто никогда не может знать ту долю секунды, когда поплавок вздрогнет и косо пойдет вниз, в прохладную глубину.

Ожидание этого события, приносящего на конце лески трепещущую рыбу, переносит не только детей, но и взрослых в настроения, свойственные снам и сказкам.

Мы обошли Херсонесский полуостров до Балаклавы. Мы беседовали с огородниками, жившими в каменных гробницах греческого некрополя. Огородники спали на лежанках, устроенных сотни лет назад для мертвецов. Они рассказывали нам о подземных ворах и подделывателях древних монет.

В первые годы раскопок Херсонесский полуостров кишел подземными ворами. Они расхищали могилы и пропивали находки в матросских кабаках на Корабельной стороне. Больше всего ценились тонкие золотые пластинки,— ими во времена древнего Херсонеса закрывали умершим глаза и рты.

Рассказывали о рыжем человеке исполинского роста, воре с деревянной ногой, носившем прозвище «Мальчик».

«Мальчик» сколотил на остатках греческих погребений небольшой капитал. Он купил на него ялик и переменил опасную и неверную профессию расхитителя древностей на спокойную жизнь перевозчика через Южную бухту. Ялик его назывался «Некрополь». По-гречески это означает кладбище.

Племя подделывателей монет выродилось. Последние его представители доживали свой век честной жизнью в глухих приморских городках Крыма.

О ловкости подделывателей рассказывали чудеса. Секреты изготовления древних монет передавались от дедов и прадедов. За продажу их в чужие руки изменнику грозила смерть.

Монеты удавалось сбывать не только любителям, но и ма-

терым археологам. Говорят, подделыватели, несмотря на прожженное жульничество, относились к археологам почтительно, как к товарищам по профессии. Однажды, в знак своей любви к историческим изысканиям, они подарили одному музею лучшую по мастерству подделки монету.

Эти рассказы в сотый раз убедили нас в том, что древняя история человечества темна и непонятна. Но они не поколебали нашего уважения к археологам, стремящимся найти нити от былого к настоящему и помочь нам разобраться в детстве человечества.

На берегу Казачьей бухты мы видели основания прекрасных колонн. Около мыса Фиолент мы долго искали развалины храма Дианы, но ничего не нашли. Об этом храме Пушкин писал после поездки в Крым: «Тут видел я баснословные развалины храма Дианы».

До сих пор я помню эти скитания со Сметаниной по пустынным степям и побережьям.

Мы очень подружились, хотя ничего не знали друг о друге. Обычно люди дружат, разузнав всю подноготную.

Сметанину древности интересовали как художницу. Она любила формы старинных сосудов — амфор и громадных, выше человеческого роста, пифосов, где в древности хранили вино и зерно. Много таких пифосов нашли на дне Северной бухты.

Она зарисовывала древние светильники, с гербом города Ольвии — орлом, парящим над дельфинами,— монеты и статуи. Но больше всего ей понравился надгробный памятник рабу — белый камень с изображением кривого виноградного ножа.

Особенно занимала Сметанину раскраска посуды. Она ничем не отличалась от красок окружающей земли. В ней господствовали коричневый, почти красный, цвет почвы и нестерпимо синий оттенок моря. Чтобы зарисовать эти древние вещи, Сметанина тщательно подбирала краски — терракоту, сиенну, венецианскую красную землю и шершавый густой кобальт.

Археологическое бродяжничество окончилось в Мраморной бухте около Георгиевского монастыря. Мы провели там весь день. Я ловил бычков и розово-зеленых рулен. Сметанина читала рассказы Гарта.

Каждая мелочь этого дня врезалась в память. Я помню даже морского конька под водой и шорох щебня на обрыве. Воздух был очень прозрачный. Каждая валявшаяся на песке обломанная клешня краба и камешек сердолика казались совершенно выпуклыми. Рыбы сверкали на самолове. Я видел их, когда они бились еще на большой глубине. Креветки шевелили голубыми лопастями ножек. Медузы валялись на кромке прибоя шарами мягкого стекла.

Осеннее солнце быстро склонялось к горизонту, но мне не хотелось уходить. Можно было сутками сидеть на берегу и смотреть в туман, стараясь различить черту неведомых берегов, и потом понять, что это не берега, а гряда облаков, вися-

щих в небе очень далеко, пожалуй над Мраморным морем.

Можно было пересыпать песок и находить обломки ракушек, чешую скумбрии, пахучие нитки морской травы, осколки мрамора и халцедона.

Можно было в упор смотреть в глаза свирепому крабу и, подняв гниющую траву, увидеть фейерверк из прозрачных морских блох.

Можно было рассматривать подводные миры, слушать дыхание женщины, увлеченной чтением, и размышлять о недалеких временах, когда неторопливое созерцание будет признано столь же необходимым для человека, как и сон и чтение.

РЖАВЫЕ КОРАБЕЛЬНЫЕ ГВОЗДИ

Два дня я работал в Морской библиотеке. Я рылся на полках, уставленных кожаными фолиантами.

Но даже в библиотеке было много соблазнов, уводивших в сторону от главной работы. Я зачитывался лоцией Красного моря, хотя для моей книги это было не нужно, рассматривал заграничные морские журналы с рисунками кораблей всех стран и эпох, начиная от Ноева ковчега и кончая последними океанскими «лайнерами», изучал модели корветов, развешанные по стенам, и досадовал на недостаток времени.

Богатство неожиданных знаний было так велико, что сутки казались пустяковым промежутком времени.

На третий день я встретил Сметанину. Она видела Дымченко и сообщила мне странную новость — дед Дымченко и Андрей обивают корабельными гвоздями старую барку «Перекоп». Занятие это казалось Сметаниной совершенно бессмысленным. По ее словам, гвозди вколачиваются без всякой цели один около другого по всему днищу барки.

Вечером я поехал на Северную сторону. Действительно, я застал стариков за этим занятием. Они предложили мне принять участие в работе. Гвозди надо было вколачивать так, чтобы между шляпками оставался промежуток не больше сантиметра.

Барка стояла на толстых деревянных стойках. На бугшприте мылся облезлый рыжий котенок. Он внимательно поглядывал на меня прищуренным глазом.

Около барки, как водится, сидели любопытные. Они покуривали и поплевывали, перекидываясь замечаниями, — делать им было совершенно нечего. Они поглядывали то на нас, то на дым из очагов, подымавшийся к небу. Дым возвещал о близости сытного ужина и увеличивал добродушное настроение любопытных.

Шел разговор о горестной судьбе Андрея,— ему всю жизнь не везло. Этот разговор помешал мне узнать сразу же у Дымченко назначение нашей непонятной работы.

— Один раз мне в жизни повезло,— кричал Андрей, чтобы

заглушить стук молотков,— да и то, так сказать, неудачно. Было дело в германскую войну. Я рыбалил в Балаклаве с пиндосами. Ловля была плохая. В море далеко не сунешься, а в бухте рыбы нет и нет,— чистое наказанье!

Однако темной ночкой нагнало, на наше счастье, кефаль. Забила она бухту так густо, что весло вставишь — оно торчком стоит и само идет по воде. Но нет возможности ту кефаль ловить. Нету в Балаклаве морского червя, а она на него одного и берет.

Подался я до Инкермана. Там, сказывали, в одном лиманчике того червя была пропасть. Приперся я, начал копать — нет червя и нет. Он, стерва, глубоко в грязь зарылся, никак не докопаешься. Жара, пот с меня льется, весь в грязи, как кабан, а червя нет и нет.

Я уже думал плюнуть на это дело. Сел покурить. И тут якась чертовина как взвыла, как вдарила в лиман с полного ходу,— меня зашвырнуло сажен за десять. Вскочил я, смотрю — нет лиманчика! Одна яма, и с нее желтый дым идет. То «Гебен» подошел к Севастополю и первым снарядом, собака, запустил в меня, в рыбачка.

Вся грязь с лимана раскидана круг меня по балочке, и в той грязи червя — многие миллионы. Собрал я его два ведра, воротился в Балаклаву, и взяли мы неслыханную силу кефали. А я три года был глухой на левое ухо — грязь мне взрывом в ухо набило. Вот какое дело, рыбачки!

Рыбачки наперебой заговорили о налете «Гебена».

Я воспользовался шумом и спросил Дымченко, для чего мы обиваем барку гвоздями. По-моему, работа эта носила декоративный характер. Меня удивляло, что многочисленные зрители, склонные, как и все морские люди, к зубоскальству, не обращали на нашу работу внимания. Они равнодушно поглядывали на барку, ставшую похожей на сундук, густо обитый для красоты медными гвоздями.

— Вы слыхали за корабельного червя? — ответил мне вопросом Дымченко.— Такая есть гадючка белая. Она деревянный корпус, такой, как у «Перекопа», источит за полгода в труху. Ходы она в дереве роет, да так густо,— один коло одного. Нигде на всем Черном море нет такой силы корабельного червя, как у нас в Севастополе. До кампании пятьдесят четвертого года его тут не было, а в кампанию лихой адмирал Нахимов потопил в бухте Черноморский флот, загородил бухту от англичан, и с той поры червя развелось гибель. Старинный корабль — линейный, или, скажем, фрегат, или шлюп — все были деревянные. И на пропасть того дерева под водой собрался в Севастополь червь со всего берега — от Евпатории до самой Керчи. Сваи точит, ялики точит, где какое судно найдет — тут же точит. Вот и хоронятся от него моряки и рыбаки, как могут. То красят ядовитой краской, то обшивают подводную часть медным листом, разное делают. Однако у нас, стариков, свое верное средство — обивать кузов гвоздями. Червь тот боится ржав-

чины хуже смерти. Мы гвозди вгоняем с таким понятием, чтобы шляпка от шляпки находилась близко. Ржа расползется, закроет весь кузов, и не будет тому червю ни ходу, ни возможности погубить «Перекоп». Андрей загнал богиню в музей за сто целковых, купил гвоздей, и вот — барочка будет у нас крепкая. Десять лет проплавает — ни один червь ее не возьмет.

Я вспомнил рассказ, слышанный в детстве, о корабельных червях, чуть не погубивших Голландию. В старое время плотины, ограждавшие Голландию от моря,— эта страна, как известно, лежит ниже уровня моря,— строились из дерева.

Цемента тогда не знали, а привозить камень издалека было дорого.

В один прекрасный год корабельные черви проточили плотины. Вода начала сочиться и затапливать зеленые равнины страны. Были собраны тысячи рыбаков и крестьян, подвезен лес, и страну удалось спасти.

Еще я вспомнил сказку о голландском мальчике. Он заткнул пальцем в плотине отверстие, проточенное корабельным червем, и держал палец, пока не прибежали взрослые и не законопатили щель.

Моя память получила толчок, и неожиданно я обнаружил что в детстве много читал и слышал о корабельном черве.

В журнале «Вокруг света» я читал о корабле знаменитого пирата Дрека «Золотая лань». Он был насквозь изрешечен червем и погиб от этого в пучинах океана.

«Вокруг света» был журнал заманчивых приключений на суше и на море. Я помню гравюры на дереве, изображавшие черные гавани, матросов с бакенбардами и кораблекрушения около солнечных атоллов. Там печатались романы Киплинга и Буссенара, Жаколио и Стивенсона.

Там я читал замечательные повествования о парусных капитанах, прокопченных пороховым дымом в абордажных боях и изучивших все хитрости блокад. Когда такие капитаны блокировали Брест, адмирал Нельсон, проходя мимо их эскадры, поднял сигнал на рее своего корабля: «Видя вас, я дрыхну так же спокойно, как если бы ключ от Бреста лежал в моем кармане».

До сих пор я помню рассказ о капитане Мирсе. Во время морских сражений он ловил рупором упавшие на палубу вражеские ядра и выбрасывал их за борт, прежде чем они успевали взорваться.

Все эти рассказы перемежались с описаниями Огненной Земли, с военными реляциями о боях в Трансваале и с путешествиями Миклухи-Маклая.

•

Рассказ Дымченко снова отвлек меня от работы. Я погрузился в изучение морских глубин и нисколько не жалею об этом.

Я утешал себя мыслью, что вдали от моря это изучение было бы не так увлекательно. Здесь, бродяжничая по окрестным

берегам, я находил богатую пищу для размышлений и догадок.

В конце концов я бросил работу над книгой, махнул на нее рукой и с головой ушел в океанографию.

Разве любая область знаний, изученная неожиданно и как бы некстати, не составляет величайшей ценности для развития человека? Вот примерно те нехитрые доводы, какими я пытался усыпить придирчивое чувство долга.

Книгу я так и не написал, и все из-за этих проклятых корабельных червей, носящих красивое имя «торедо».

Это даже не червь. Это морская улитка, двухстворчатая крошечная ракушка, не больше булавочной головки.

Она вгрызается в дерево острыми створками и все время вращается вокруг своей оси. Ходы, просверленные торедо, безукоризненно круглы и отполированы. Ни одно из животных и ни один из механизмов не могут проделать такой совершенной и тонкой работы.

Когда он входит в дерево, то оставляет отверстие, едва заметное глазу. Он выпускает конец своего слизистого тела, наглухо прикрепляет его к отверстию и высовывает наружу две тоненькие трубки. По ним торедо всасывает воду и выбрасывает изжеванную древесную труху.

Торедо, вгрызаясь в дерево, быстро растет и толстеет. Поэтому ход делается все шире и длиннее, а тело моллюска, прикрепленное к входному отверстию, вытягивается, как резина. Моллюск становится похожим на червя.

Через несколько дней торедо уже не может вылезти обратно из своей деревянной норы. Достигнув старости, он умирает внутри дерева.

В тропиках торедо растягивается на два метра в длину и бывает толщиной в человеческую руку. На Черном море нет червей длиннее пятидесяти сантиметров.

Сколько бы червей ни сверлило один и тот же кусок дерева, их ходы никогда не пересекаются. Каким-то особым чутьем торедо знает о близости чужого хода и сворачивает в сторону. Ходы переплетаются в причудливые и тесные узоры, но всегда между ними, как бы близко они ни подходили друг к другу, остается тончайшая прослойка дерева.

Я видел рентгеновские снимки корабельных корпусов, изъеденных торедо. Рисунок ходов напоминал непролазную чащу вьющихся растений или клубок безнадежно запутанных ниток.

Около Инкермана я нашел на берегу старую пристанскую сваю. Я отпилил кусок сваи, и передо мной открылся целый город, построенный торедо, полный широких дорог, тупиков и переулков. Внутри ходы были покрыты слоем твердой извести, а снаружи на сваях ничего не было видно, кроме небольших, похожих на точки, отверстий. Я без труда раскрошил сваю руками.

Знакомство с торедо заставило меня изучать жизнь моря.

Я перестал смотреть на него, как смотрел до тех пор и как,

возможно, смотрит на него большинство людей,— вот, мол, исполинская чаша соленой воды, приятная для глаза.

Я знал, что эта глубокая впадина, синяя от соли и зеленая от диатомовых водорослей, живет по точным, но подчас еще не раскрытым законам.

Жизнь моря оказалась настолько исполинской, что нужны были годы, чтобы узнать ее хотя бы в общих чертах.

Каждый раз, когда я видел его синий свет, его веселые пенистые бури, я думал, что мы знаем не больше червей. Мы живем в громадном, плохо разгаданном мире и топчем камни, цветы и травы, не подозревая о совершенстве их строения, не подозревая, что знакомство с ними обогатило бы наш опыт во всех областях жизни и какой-нибудь скромный одуванчик мог бы открыть дорогу к глубокому физическому оздоровлению человечества.

ВОДА ИЗ СВЕТА

Ночь оглохла. Сколько я ни прислушивался, я не мог различить ни одного звука. Изредка казалось, что я слышу осторожный плеск воды у прибрежного камня, похожий на затаенный вздох.

Я долго вслушивался и всматривался в темноту. Проходили долгие минуты, но звук не повторялся.

Иной раз я слышал высоко над головой шелест пролетающих птиц. Я знал, что чайки и бакланы давно уже спят, и не мог понять происхождения этого звука. Невольно в голову приходила мысль, что шелестят звезды.

Изучить все звуки ночи мне и Сметаниной пришлось поневоле.

Мы приехали на трамвае в Балаклаву. Весь день мы бродили по этому городу красных скал, кошек и стариков, беседующих около вытащенных на берег, подпертых известковыми глыбами шхун.

Мы ходили по сетям, разостланным во всю ширину набережной, как по серым коврам. В бухте, в зарослях морского салата, качались стада камсы.

Высокое небо с единственным облаком, похожим на кисть винограда, отражалось в воде.

В нишах домов вместо статуй стояли сухие олеандры и метлы из полыни. Тусклые огни светили из окон на воду, черневшую рядом с порогами домов.

Вечером прекратился ток. Мы попали в ловушку — трамвай не ходил. Нам пришлось заночевать в Балаклаве.

Сердобольная гречанка уступила нам комнату в доме, похожем на узкую крепостную башню. Балкон висел над самой водой.

Сметаниной спать не хотелось. Она сидела на балконе, закутавшись в одеяло, снятое с койки. Мы молчали. Я заметил,

что Сметанина, несмотря на порывистый, веселый нрав, много молчала.

Безмолвие ночи длилось недолго. Когда слух привык к тишине, я начал различать ворчание воды в подводных пещерах. Море бормотало во сне и сердилось на кого-то, кто не давал ему спать.

Огни в городе погасли. Только зеленый фонарь при входе в лагуну тлел не ярче фосфорной спички.

Я смотрел на Сметанину, но не видел ее лица. Внезапно, может быть оттого, что мои глаза устали, мне показалось, что ее лицо осветилось холодным огнем. Я отчетливо различил чистый лоб, брови и встревоженные глаза.

Сметанина вскочила, схватила меня за руку и крикнула:

— Море горит!

Я оглянулся. Все, что произошло дальше, я до сих пор не могу представить себе как действительность. Люди в таких случаях говорят, что действительность была похожа на сон, но это неверно. Она была лучше самого необыкновенного сна.

Море горело. Казалось, его дно состояло из хрусталя, освещенного снизу лунным огнем.

Свет разливался до горизонта, и там, где всегда сгущается тьма, небо сверкало, как бы затянутое серебряным туманом.

Широкий свет медленно меркнул. Но после недолгой темноты море опять превращалось в незнакомое звездное небо, брошенное к нашим ногам. Мириады звезд, сотни млечных путей плавали под водой. Они то погружались, потухая, на самое дно, то разгорались, всплывая на поверхность воды.

Глаз различал два света: неподвижный, медленно качавшийся в воде, и другой свет — весь в движении, рассекающий воду быстрыми фиолетовыми вспышками. Это метались под водой разбуженные рыбы.

Сметанина потащила меня по темной каменной лестнице вниз, к воде.

Белый огонь набегал на пляж, и было видно все дно. Камни и жестянки, валявшиеся под водой, покрылись тонкой огненной росой.

Сметанина зачерпнула воду в ладонь. Сквозь пальцы полились с плеском струи жидкого магического света. Вода освещала ее лицо, бледное от волнения.

Мы присутствовали при одном из самых величественных явлений в мире. Сметанина радовалась, как ребенок. Мокрые ее руки еще долго светились в темноте.

Море погасло так же быстро, как вспыхнуло.

До рассвета мы просидели на застекленной террасе и говорили о разных морских чудесах.

Лампа освещала на стене олеографию, изображавшую греческий крейсер «Аверов». Это был знаменитый «Аверов» — мишень для постоянных насмешек черноморских рыбаков и гордость каждого грека. Рыбаки кричали, что на «Аверове» дере-

вянные якоря. Я сам в Керчи был свидетелем жестокой драки из-за этого между рыбаками и греками — чистильщиками сапог.

Лампа освещала белые стены, стоножек, шкатулки из лакированных крабов и сухие букеты.

Мы говорили о фосфоресценции моря.

Осенью в морской воде появляются мириады бактерий-ноктилюк. Они похожи под микроскопом на лист водяной лилии. В них заложено множество крошечных светящихся зерен. Они-то и вызывают свечение морской воды.

Но светятся не только бактерии. Белым светом горят медузы. Таким же светом горит и странное животное «морское перо», похожее на куст коралла. Если его вынуть ночью из воды, то множество блуждающих огненных точек начинает перебегать по ветвистым частям животного то вверх, то вниз.

Мелкие морские черви дают то синий, то зеленый, то фиолетовый свет.

Некоторые креветки излучают яркий желтый свет, а черноморская ракушка фолада, сверлящая скалы, горит голубым огнем.

В Средиземном море водятся прозрачные, как стекло, животные — пирозомы. Они светятся попеременно то красным, то синим огнем. Английский ученый Мозлей написал пальцем на пойманной большой пирозоме свое имя и бросил животное в воду. Через несколько секунд слово «Мозлей» вспыхнуло на теле пирозомы под водой с такой же яркостью, как вывеска кино.

Рыба морской черт носит перед собой на усиках два ярких электрических огня и приманивает на них глупых креветок.

Иные морские животные выпускают в воду светящуюся слизь, чтобы ослепить врага, иные пользуются собственным светом, как фонарем, чтобы отыскивать пищу.

МОРСКОЙ КАЛЕНДАРЬ

В то время я увлекался чтением старинных кругосветных путешествий. Я всегда носил с собой какую-нибудь пожелтевшую книгу и в свободное время прочитывал по нескольку страниц.

Сейчас со мной были «Записки из кругосветного плавания корвета «Абрек», написанные штурманом Серебряковым в 1865 году.

Спать не хотелось, и я прочел из этой книги несколько страниц:

«Второго апреля 1864 года мы вошли в пассат и быстро приближались к острову Нукагива, лежащему в Тихом океане вблизи Таити.

Ночью меня вызвали на палубу. Темнота была полной. Но тем более разительным представилось мне зрелище, открывшееся за бортами корвета.

В черной, как деготь, воде плавали во множестве, подобно

китайским фонарям, огненные шары. Яркость их то прибывала, то убывала. Они внезапно гасли и потом, точно по безмолвному приказу, вспыхивали белым огнем.

Шаров этих было несчетное количество. Мы вытащили из воды несколько штук.

Матросы предполагали, что это громадные жемчужины. Догадка эта была вызвана тем, что мы шли над жемчужными рифами. Но огненные шары оказались большими медузами, или, по-нашему, «морскими сердцами».

Будучи вытащены на палубу, они разгорелись еще ярче. При их свете я сделал запись в судовой журнал об этом явлении.

Люди балагурили между собой, что вот, мол, Тихий океан приветствует наш приход столь пышной иллюминацией.

Утром мы увидели остров. Корвет лег в дрейф и послал шлюпку на берег. Пристать было трудно из-за бурунов, кипевших над коралловыми рифами. Мы выскочили из шлюпки в воду по пояс, но вода была очень теплая.

С величайшим трудом, прорубая дорогу в первобытном лесу, мы вышли к спокойной лагуне.

В ее воде лежали раковины таких ярких цветов, что многие из нас не могли удержаться от криков восхищения. Я долго бродил в воде и собирал их, потом освежился молоком из кокосовых орехов. Растительность вокруг лагуны стояла цветущими стенами. Она издавала пряный и горячий запах.

Сотни земляных раков, сидевших в пустых раковинах и тащивших за собой свой дом, ползли к нам со всех сторон так поспешно, что мы решили отступить. Но раки, как выяснилось, были привлечены скорлупой кокосовых орехов. Они выедали из них мякоть и нисколько нас не боялись,— даже тащили орехи у нас из рук.

Днем мы подошли к бухте Тайо-Хай. Несколько европейских домиков виднелось в зарослях хлебного дерева и кокосовых пальм.

К нам подплыла шлюпка с резидентом острова — толстеньким старичком-французом. Остров принадлежит Франции. Резидент предупредил нас, что на острове среди дикарей свирепствует оспа. Год назад к острову подошел перуанский корабль, силой захватил около ста туземцев и продал их в рабство в республики Южной Америки. Через год несколько туземцев-канаков вернулось на французском корабле, но все вернувшиеся заболели оспой и заразили остров. До тех пор эта болезнь не была известна жителям Тихого океана.

Ко времени прихода «Абрека» в Нукагиву из двух тысяч дикарей умерло около тысячи. А в 1804 году, когда этот остров посетил адмирал Крузенштерн, на нем было восемнадцать тысяч жителей.

На острове мы видели трех монахов, несколько солдат и отставного французского матроса — содержателя дрянной лавчонки. Он продал дикарям на вес золота коленкор, стеклянные бусы и ром последнего сорта.

Вечером мы посетили короля Нукагивы — молодого человека, изрытого оспой. Он ежегодно получает от французского правительства три тысячи франков жалованья.

В комнате его мы нашли скудную европейскую обстановку, расшатанные стулья и столы, и на стене висела олеография. Она изображала нападение волков на наши русские сани. Эту картину подарил королю какой-то русский бродяга, попавший на остров.

Король угостил нас джином. Сам он был пьян.

На этом острове нам пришлось услышать о явлении необъяснимом и представляющем интерес для ученых.

Резидент проводил досуг за джином и изучением обитателей моря. Он показал нам заспиртованного в стеклянном сосуде морского червя, носящего имя «палоло». Червя этого резидент назвал «морским календарем». Это прозвище было придумано не без оснований.

Весь год этот червь живет на дне океана, в трещинах скал и коралловых рифов. Но ежегодно в один и тот же день осенью все черви подымаются гигантскими стаями на поверхность воды для брачного танца. В этот день океан вблизи острова бывает сплошь покрыт червями палоло и их красной икрой. Вода приобретает яркий розовый цвет.

Задолго до этого дня туземцы готовят пироги для ловли палоло и вялят листья хлебного дерева. Палоло заворачивают в эти листья и едят. По словам резидента, вкусом своим черви напоминают свежую икру.

Появлению палоло предшествует ряд любопытных явлений.

Дня за три до всплытия с гор к морю спускаются громадные стаи сухопутных крабов. Крабы идут на ловлю палоло.

Туземцы следят за деревом ало-ало — его европейского названия я не знаю. Когда оно покроется крупными красными цветами, дикари начинают следить за луной. Они ждут того вечера, когда луна взойдет над чертой горизонта. На десятый день после этого можно ожидать выхода палоло.

Мы провели весь вечер у резидента в беседе и спорах об этом явлении природы.

Луна подымалась над островом в своем великолепии. Зрелище этого светила, льющего лучи на затерянный в океане клочок земли, навело меня на мысль о могуществе лунного света.

Этот свет оказывает свою силу не только на червей палоло, но и на приливы и отливы в океане и на другие явления нашей во многом не разгаданной земли».

ДВОЙНАЯ ВЕСНА

То, что я узнал о червях палоло, заставило меня задуматься над влиянием времен года на жизнь моря.

Палоло роятся только осенью. Множество мельчайших морских

обитателей живут один год и к зиме умирают. Знакомый моряк Баранов, капитан буксирного парохода «Смелый», в разговоре со мной обронил фразу: «Осень уже стояла на море — водоросли в то время завяли».

Как раз в эти дни в Севастополе кончалась сухопутная осень.

Облетала листва. Земля приобрела ту звонкость, какая предшествует выпадению снега. Птицы высокими стаями неслись в Турцию, и только желтые, под цвет инкерманского камня, бабочки изредка залетали в сады.

Слова капитана Баранова об увядающих водорослях вызвали мысль о смене времен года не здесь, на земле, а там, в морских глубинах.

Я решил найти Денисова и уговорить его спустить меня в водолазном костюме хотя бы на небольшую глубину, чтобы посмотреть подводную осень.

Денисова я не нашел, но все же погрузился в изучение подводной осени.

Я хотел найти характерные морские черты этого времени года.

Чем была замечательна морская осень? Прежде всего обилием рыбы. Реки тусклой свинцовой камсы лились мимо берегов Севастополя. Кефаль толпами слонялась по бухтам. Дельфины подошли к берегам.

Это явление казалось непонятным. На примере пресных рек и озер я знал, что по осени рыба прячется в глубокие омуты и залегает там до весны. Здесь же, на море, осенью начиналось необычное оживление. Даже мрачные бычки ловились сотнями в самом городе и у скал Херсонеса.

Водоросли не увядали, а наоборот, качали на дне свои свежие густые леса.

Я решил, что Баранов напутал.

Дымченко тоже склонялся к этой мысли. Он уверял меня что в море бывает две весны. Одна совпадает с сухопутной весной наших широт, а вторая возвращается на море в октябре.

— А тому Баранову вы не верьте! — кричал Дымченко.— Он же капитан с буксира «Смелый», сам с образованных, а морочит голову. Га! Годов десять назад он поднял крик на весь Советский Союз, той Баранов. Весь Крым взбунтовал. Я, говорит, нашел английские документы, и в тех документах показано, что под Балаклавой потоплено английского золота на двести миллионов рублей. Погиб, говорит, у Балаклавы английский корабль «Черный принц», погиб от страшной бури во время обороны. А вез той корабль жалованье для английской армии. Десять годов назад, сами знаете, бедность у нас была. Ну и взялись искать того «Черного принца». Корабль нашли, а золота нет. Чи засосало его глубоко под песок и завалило камнями, чи его там и сроду не было,— никто не знает. Есть у меня такая думка, что Баранов сбрехал. Шумный капитан, прямо грек! Как

его буксир доходит до бухты, вся Северная слышит — такой крик он с мостика подымает со своей командой. Та и команда ничуть ему не уступает. Все херсонские да одесские. Вовсе отчаянный народ.

Баранова я знал хорошо и потому смеялся над словами Дымченко. Баранов был просвещенный и смелый капитан.

Слова Дымченко о двойной весне в морских глубинах подтвердили биологи.

Смена времени года на Черном море идет так — зима, весна, лето, вторая весна (в сентябре и октябре) и снова зима. Никакой осени нет.

В марте и апреле солнце с каждым днем подымается над морскими пространствами все выше, и на берегах расцветает розовая от миндаля и туманов черноморская весна.

Верхний слой воды в море нагревается. В нем начинается бурная жизнь. Особенно быстро размножается планктон — те мельчайшие животные и растения, главным образом диатомеи, которые плавают в воде во взвешенном состоянии.

Эти растения и животные не бесцветны. Иногда они придают пространствам моря красный, желтый или зеленый оттенок. Дарвин был поражен, когда корабль «Бигль» пересекал океан, кишевший красным планктоном. Граница между красной и синей водой была видна так отчетливо, будто ее провели кистью.

Каждую весну Черное море наполняется микроскопическими растениями — диатомеями. Как цветут весной заливные луга, так цветет диатомеей весеннее море.

Диатомея размножается с невероятной быстротой. Каждые двадцать четыре часа одна диатомея делится на две. Через десять дней из одной диатомеи получается около тысячи этих одноклеточных существ — не то растений, не то животных,— заключенных в хрупкую кремневую раковину.

Формы диатомей так причудливы, что кажутся плодом фантазии. Есть диатомеи, похожие на диски, квадраты, адмиралтейские якоря, на шары, покрытые щетиной, осколки драгоценных камней и кости рыб, на семена земных растений и цветы.

Кроме диатомей, в планктоне плавает множество существ, обладающих всеми признаками растений и вместе с тем способностью самостоятельно двигаться, подобно животным.

Знакомство с жизнью моря убедило меня, что здесь, в подводных пещерах и среди скал, живут в сумраке и тишине странные существа, являющиеся переходной формой от растения к животному. В море было много растений, умеющих двигаться, подобно животным, и много животных, неподвижных и прикрепленных к одному месту, подобно растениям.

Когда я впервые увидел актинию — ее зовут еще морской анемоной,— я никак не мог поверить, что это не цветок, а животное.

Актиния похожа на цветок, растущий на толстом стебле.

Она неподвижно живет, или, вернее, растет на скалах и морских берегах. Венчик ее вместо лепестков окружен множеством ярких красных щупальцев, покрытых синими точками. В щупальцах хранится яд. Им актиния убивает животных и съедает их огромным ртом, похожим на щель в пестике цветка.

Весной море насыщено планктоном и диатомеей. На диатомовых лугах пасутся стаи рыб и других животных.

К началу лета диатомея исчезает. Часть ее бывает съедена рыбами, часть опускается в глубину, где ее пожирает многочисленное население морского дна.

Жизнь медленно замирает, и кажется, лето должно перейти в бесплодную осень и закончиться мертвящей зимой.

Но неожиданно в сентябре начинается вторичный расцвет планктона. Море снова наполняется гущей микроскопических растений и животных.

Стаи рыб снова идут серебряными подводными течениями, и тысячи чаек садятся на воду, хлопая крыльями. По шуму их крыльев, похожему на отдаленный гул водопада, рыбаки узнают о приближении скумбрии, камсы и фиринки.

После второй весны приходит черноморская зима с ее тяжелой водой, безжизненностью глубин и увядшими зарослями морских гниющих трав.

Веселые рыбы — макрель, чирус и паламида — уходят в Средиземное море. Норд-осты ревут в туманах. Снег тает растворяясь в черной волне. Небо лежит над морем низким куполом и не дает тепла. Солнце уходит к югу, к далеким берегам других, более счастливых и праздничных морей.

Чем объяснить появление на море второй короткой весны?

Зимой в воде Черного моря сгущаются едкие фосфорные и азотные соли. Без них немыслима жизнь микроскопических растений — диатомей.

Растения вбирают в себя эти соли только под влиянием солнечного света. Зимой его мало, он слаб. Солнце низко идет над краем горизонта, лучи его косо ложатся на воду. Они не проникают в глубину, а отражаются от морской поверхности. Растительная жизнь мертва.

Весной солнечный свет затопляет море. Диатомеи начинают поглощать соли и быстро развиваться. Они съедают все запасы азотной и фосфорной соли в морской воде с неслыханной прожорливостью — примерно за один месяц. В мае уже начинается соляной голод, и диатомеи гибнут массами. Летом голод усиливается, и жизнь планктона замирает совершенно.

Но внизу, в холодной воде, даже летом запасы соли сохраняются нетронутыми. Планктон не может переселиться вглубь, чтобы жить этими запасами. В глубинах нет солнечного света, а без света планктон существовать не может.

Летом солнце нагревает верхние слои моря. Морская вода плохо проводит тепло. Поэтому верхняя нагретая вода лежит

слоем в десять — двенадцать метров толщиной на глубокой холодной воде и с ней совершенно не смешивается. Смешать эти разные воды могут только сильные штормы, но летом их не бывает.

Осенью поверхность моря быстро охлаждается. Вся вода сверху донизу приобретает одинаковую температуру. Жестокие бури перемешивают воду, как в исполинском котле. Вода опять насыщается солью, и наступает новый расцвет диатомей и планктона — вторая морская весна.

Она длится, пока солнце дает достаточно света.

Дни становятся короче, солнце устало склоняется к югу, свет его сверкает только на поверхности вод и, отражаясь от них, создает осенний блеск воздуха. Но морские глубины тонут все в большей и большей темноте.

Планктон умирает, вянут водоросли, и зима превращает моря в неизмеримые бассейны холодной воды.

Зима подходила к Севастополю. Из своего окна я видел по утрам низкое небо и серое море. В тумане блестели только белые пятна каменных фортов. Прибой то выбрасывал на скалы умершие водоросли, то отходил от берегов и надолго замолкал. Море отсыпалось перед зимними бурями.

Я собирал водоросли, похожие на кораллы,— их называли кораллинами,— и зеленую зостеру. Ею, как непроходимой чащей заросли севастопольские бухты.

Зимние штормы срывали ее с камней и наваливали горами на мелях. Стаи осетров залегали на зиму в этой траве. Поэтому дед Дымченко, Андрей и все севастопольские рыбаки называли зостеру «осетровой травой».

От рыбаков я узнал, что между Севастополем и Одессой лежит филлофорное море. Оно занимает около трех тысяч морских квадратных миль. Дно моря на этом пространстве завалено красной йодистой водорослью — филлофорой. Все рыбы, черви и раки в этом море красного цвета.

Тогда же по цвету водорослей я научился различать глубины моря. Зеленые и оливковые водоросли растут на мелких местах. Бурые лежат глубже на скалах, а на самых глубоких местах, на границе ядовитой сероводородной зоны, растут красные водоросли.

У северных берегов Крыма есть свое Саргассово море. Называется оно Джарылгацким заливом. Там заросли зостеры подымаются осенью со дна обширными полями. Пароходы, попав в них, наматывают на винты громадные шары морской травы, останавливаются, бросают якоря и ждут помощи.

Все берега залива завалены гниющей травой. Ее острый запах слышен в степях за километры.

Зостера придает морской воде темно-зеленый цвет. Только большие мели, где она не растет, сверкают в разных местах островами светлой воды. С мачты парохода по цвету воды мож-

но набросать карту глубин пустынного степного залива с его песчаными островами, зарослями тростника и дикими птицами. гнездящимися около обветшалых маяков.

РАССУЖДЕНИЕ О КРАСКАХ И БРОНЗЕ

Из французских художников Сметанина больше всех любила старика Синьяка.

Он рисовал закоулки портов, сохнущие паруса и стеклянные двери матросских пивных. В них отражалось солнце. Он рисовал тени от мачт на дорогах, одуванчики, качающиеся от морского ветра, неуклюжих людей, мажущих смолой пузатые барки.

Рыбачьи дома, рвущиеся флаги и облезлые буксиры, плывущие по морю, как по жидкому солнечному свету,— все это на картинах Синьяка было доведено до совершенного блеска. Синьяк никогда не смешивал красок на палитре. Он не выносил грязи и тусклых оттенков.

Он брал основные цвета и клал их на холст маленькими точками — одну около другой. На расстоянии эти точки сливались в нужный художнику правильный цвет.

Картины Поля Синьяка надо было смотреть издали.

— Живопись нельзя нюхать,— сердито говорил Синьяк неопытным зрителям.— Отойдите подальше, дитя!

Картины Синьяка были написаны способом пуантелизма, иначе говоря — тысячами маленьких цветных точек, заполнявших полотно.

Глядя на картины Синьяка, я вспомнил кальмара, виденного мною в морском аквариуме на биологической станции.

Тело этого страшного хищника, напоминавшее обрубок дерева с длинными когтистыми щупальцами, было покрыто множеством маленьких точек очень ярких и чистых цветов — красного, синего и желтого. Издали эти точки сливались в желтоватый, то вспыхивающий, то тускнеющий цвет необыкновенной красоты.

Я не знаю, видел ли Синьяк кальмаров у рыбаков Бретани и Нормандии. Но нет ничего невозможного, что художники заимствовали у этого обитателя океанских глубин свой способ работы и добились блестящих результатов.

Лишний раз я убедился, что море соприкасается с разнообразными областями жизни и дает много неожиданных познаний для каждого, кто умеет видеть и понимать.

Я доказывал Сметаниной, что художники должны учиться чувству красок около моря. «Кто не видел моря, тот живет половиной души»,— сказал старый шкипер Кодрингтон. Имя его теперь основательно забыто. Это был английский моряк, писатель, почитатель Диккенса, добрый и отважный человек.

Неизмеримые протяжения воды создают глубину красок, которой не хватает иным художникам. Сложный мир отражений и различного по силе и по углам падения солнечного света,

отблески берегов, сумрак туч и сверкание огней, резкая раскраска морских животных, красные скалы и белые пески — все это заключено в пространство воздуха, то полного влаги, то резкого, как дыхание пустыни. Краски или расплываются в неясные пятна, или высыхают и горят напряженным цветом, или, наконец, покрываются тусклостью, свойственной древним странам земли.

Легче всего изучить эту изменчивость красок около моря.

Сметанина соглашалась со мной, но во взгляде ее я видел рассеянность.

Разговор происходил в дождливые сумерки. Мы подымались по выветренному трапу к ее дому. Это был старый дом с каменными террасами, с разноцветными стеклами в окнах, с колоннами и диким виноградом, свисавшим со стен. Должно быть, его строил итальянец.

— Я хочу показать вам свою последнюю работу,— сказала Сметанина, зажигая свет в комнате. Свет электрических ламп вытеснил темноту. Она повисла за стеклами дождливой завесой.

Сметанина долго рылась в книгах на столе, вытащила папку с рисунками и протянула ее мне.

Я надеялся увидеть последние пейзажи, но вместо них увидел неожиданные рисунки.

Я рассматривал их, улавливал связь между ними, но не понимал их назначения.

На одном был изображен трехтрубный миноносец. Он стоял на гранитных подпорках среди городской площади. Это был настоящий стальной миноносец. По его борту полз плющ. Цветущие настурции свешивались из клинкетов и клюзов. Вьюнок оплетал якорные цепи, красные от налета соли. Высокая трава шумела у подножия миноносца и прикасалась к его днищу с пробоиной от тяжелого снаряда.

Голуби сидели на широкогорлых трубах. Дети играли под мощной кормой с красным истлевшим флагом. Виднелись винты, похожие на стальные трилистники.

Под рисунком была надпись: «Памятник миноносцу «Свирепый».

На втором рисунке был изображен совершенно иной памятник. Высокий моряк в расстегнутом кителе сидел на камне и беседовал с рыбаком. Рыбак — типичный севастопольский старик с худым от ветра лицом — сидел на земле около моряка и штопал рваную сеть. Старый корабельный кот терся о ноги моряка. Улыбка моряка выдавала человека с открытой душой.

Я всмотрелся. В моряке я узнал Шмидта, а в старике — деда Дымченко.

— Что это? — спросил я Сметанину.

— Это памятник старым очаковцам,— ответила она и смутилась.

Я продолжал рассматривать рисунки. Третий памятник был

так же необыкновенен, как и два первых.

Пять матросов, взявшись за руки, шли гурьбой и смеялись Посредине шел Матюшенко. Руки его были беззаботно засунуты в карманы. Справа от него шел Частник и матрос Петров, поднявший восстание на транспорте «Прут», слева — боцман в помятой морской кепке и маленький вертлявый бретонец в шапочке с помпоном — матросы с восставшего в Севастополе французского броненосца «Жан Барт». Под памятником была надпись: «Vive les Sowiets et la mer!»[1].

Я рассматривал проекты памятников Колумбу, Джемсу Куку, Магеллану и Берингу.

Потом я перешел к наброскам морских коньков и буревестников, которые украшали городские фонтаны.

Наконец, я видел проект памятника старым морякам. Это был настоящий парусный корабль, идущий в полный ветер с хорошим креном. Перед его носом кипели буруны. Их изображали заросли белых ромашек. По сторонам бортов струилась морская вода — ковры фиалок и других синих цветов.

Люди с бакенбардами стояли у планшира и курили трубки Обезьяны висели на хвостах на реях, и попугаи качались в привязанных к вантам клетках.

На пьедестале была вычеканена надпись: «Что бы ни случилось, всегда держите в лоб урагану»

Прекрасное прошлое, создавшее среди моряков традиции мужества и свободы, прощалось в этом памятнике с шумящим вокруг сегодняшним днем.

После памятников я рассматривал рисунки, изображавшие отдельные уголки города, перекрестки, площади и каменные трапы.

Это был Севастополь. Я узнавал его. Но вместе с тем это был совершенно новый, гораздо более радостный город. Множество зелени и шумящей воды наполняло его. Сигнальные мачты с флагами подымались над домами. Издали такой город должен был производить впечатление громадного флота, бросившего якорь у берегов Крыма.

Вся история города и его революционных дней, память о людях, связанных с Севастополем, память о море — все это было слито на рисунках Сметаниной со зданиями, улицами и набережными города.

— Что это все значит? — спросил я, наконец..

— Будущий Севастополь,— ответила Сметанина.— В свободное время я перекраиваю облик этого города. Каждый город должен иметь свое лицо. Нет ничего скучнее казарменных домов, которые понастроили пять лет назад, одинаковых вывесок и названий улиц. Нет ничего глупее желания окраинных городов убить свое своеобразие и ничем не выделяться из ряда других городов. С этим выхолащиванием жизни и порчей массового вкуса надо неистово бороться.

---

[1] Да здравствуют Советы и море! *(франц.)*

Я не спорю — в этих проектах много романтики. Но осуществите ее — и она превратится в реальность. Все это можно будет видеть и осязать. Эти вещи войдут в быт, в сознание, они привьют любовь к своему городу и тем самым к своей социалистической родине.

Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться, чтобы в них можно было работать, думать и отдыхать, а не заболевать неврастенией и трамвайным бешенством.

Нужно, чтобы город был создан на обдуманном разнообразии отдельных частей. В нем должны быть памятники, сады, фонтаны, повороты улиц и лестниц, перспективы,— чтобы всюду были свет, тишина, ветер и воздух.

Город должен быть так же прекрасен, как прекрасны вековые парки, леса и море. Иначе не может быть. В городах живут люди нового времени. Здесь рождаются гениальные идеи и создается будущее. Нужно, чтобы город не угнетал сознание, чтобы мы не мирились с ним, как с необходимостью, чтобы мы не ненавидели его как нечто, что сокращает жизнь, а приходили в него, как в свой дом, полный друзей, книг и работы.

Я удивляюсь, что эта простая мысль до сих пор не дошла до сознания многих людей. Иные думают, что превратить какую-нибудь Епифань в социалистический город очень просто. Надо только переименовать улицы, построить скучные, как российское прошлое, бараки, триумфальную арку подешевле и еще что-нибудь в этом роде — и новый город готов.

Тех, кто так думает, надо не подпускать на пушечный выстрел к строительству новой жизни. Пусть они раньше научатся понимать сущность будущего и перестанут оскорблять его своими вкусами, воспитанными в тупой царской России.

Почему, например, у нас не ставят памятников лучшим рыбакам, лучшим водолазам и, наконец, литературным героям? А я бы ставила. Я поставила бы памятники Гулливеру, Тилю Уленшпигелю и матери из повести Горького.

Я улыбнулся, но Сметанина не заметила этого.

— Севастополь — город моря и революции. Здесь об этом должен говорить каждый камень. Здесь есть окраины на берегу бухт. Побывайте там. Вы увидите вытащенные на сушу дырявые барки и допотопные катера. Из земли торчат лапы якорей. В кузовах барок пробиты двери и окна. Дым ползет из жестяных труб камбузов. Собаки, привязанные к мачтам, подымают неистовый лай.

Конечно, людей надо выселить оттуда, а вокруг этого судового кладбища разбить цветники. Дети будут играть на шхунах, и все это место мы назовем Старым корабельным парком. Он разрастется. Мох покроет толстые кили, а ветер будет бить ветками деревьев о старые днища, видавшие виды в морях.

— Ну что ж,— сказал я.— Все это прекрасно, но пока это область фантазии.

— Вы ничего не понимаете! — ответила Сметанина.— Ни-

каких фантазий здесь нет! Это так же легко осуществить, как построить казарму из кирпича.

Вы подумайте, как весело будет идти эта работа. Она будет ощущаться так, как ощущается работа по устройству своей библиотеки, кабинета, мастерской. То, что сейчас втиснуто в четыре стены, будет распространено не на одно мое замкнутое жилье, а на весь город. В этом я вижу один из прекрасных признаков коллективного общества.

— Я ничего не могу возразить,— ответил я.

— Ваши возражения меня мало интересуют. Все вы занимаетесь хотя и тем, чем нужно, но не так, как нужно. Что за смысл писать хорошие вещи, но не уметь осуществить их в жизни?

Сметанина помолчала.

— Вы хорошо знаете Гарта? — спросила она неожиданно.

— Да, уже несколько лет.

— Он талантливый человек?

— Конечно.

— Вот это меня и злит.— Сметанина в упор посмотрела на меня.— Чем талантливее человек, тем больше у нас обязательств перед ним. Нельзя позволять таланту уничтожать себя близостью со вздором. Вот Гарт. Еще до революции он внушил себе мысль, что в России ни при каких обстоятельствах не может произойти ничего умного и прекрасного. Все интересное, по мнению Гарта, может случаться только в тропиках, на девственных островах и в городах, полных тайн, моряков и необыкновенных женщин. Всю силу таланта он тратил на гениальные игрушки, а жизнь шла мимо. Ни Гарт на нее, ни она на него не обращали внимания. Во всяком случае, так было до последних лет Талант сгорал, как щепка, а не светил упорно, как солнце. Вы утверждаете, что любите его талант. Что же вы сделали?

Я молчал.

— Ничего вы не сделали! Неужели трудно взять человека за руку, вывести из прокуренной комнаты и показать, что жизнь ничуть не уступает его выдумкам?

— Он сам вышел из этой комнаты,— сказал я.

– Ну, конечно,— спохватилась Сметанина.— Вы правы.

— Почему вы заговорили о Гарте? — спросил я Сметанину.— Какая связь между Гартом и новым Севастополем?

Сметанина молчала. Мне хотелось услышать от нее самой подтверждение собственных догадок. Поэтому я решил быть настойчивым.

— Я знаю, что связь есть,— сказал я.

Сметанина молча собирала рисунки.

— Раз вы молчите,— продолжал я, чувствуя, что вторгаюсь в запретную область человеческих отношений,— так я скажу за вас.

– Как хотите,— промолвила Сметанина.

— Как вам известно,— сказал я,— все рассказы Гарта происходят в двух выдуманных приморских городах — Саванне и

Кастле. Таких городов нет и не было.

— Но они будут! — воскликнула Сметанина.

— Ну, хорошо, они будут. Но это пока не существенн. Я видел у Гарта планы этих городов. Они замечательны. Города эти изрезаны морскими проливами. Их пересекают полноводные реки, богатые рыбой и зарослями лилий. Их окружают розовые холмы, леса и равнины, покрытые высокой, примятой морскими ветрами травой. На равнинах лежат глубокие озера

Окрестности этих городов разнообразны, дики и величественны. Эти места хороши тем, что непроходимые леса подходят к самому океану. В этих лесах вы, между прочим, можете встретить человека, сидящего на пне и читающего «Одиссею» Гомера

Интереснее всего не окрестности, а самые гартовские города. Судя по оброненным им словам, эти города можно представить себе так: приморский город с лестницами вместо спусков с уютными гаванями и голубятнями разноцветных домов брошен на произвол судьбы. Люди из него уходят. Через двадцать лет город зарастает до крыш буйной растительностью и одичавшими цветами, забытыми человеком.

Тогда люди возвращаются. Они прорубают в растительности проходы к домам, превратившимся в горы шумящих листьев Они открывают окна и впускают в дома солнечный свет.

Холодные ручьи бегут по улицам и перекатывают груды морских ракушек. Стучат молотки, и поют пилы. Верфи оживают и начинают пахнуть опилками. Дети хохочут и не отстают от мечтательных девушек.

Капитаны и матросы гремят по песчанику мостовых подкованными сапогами. Парусные мастера зашивают в кромки гротов и марсов платки с изображением якорей и весел. Эти знаки соответствуют подписям художников под картинами.

По вечерам газ шипит в фонарях. Зеленый его свет борется с шумной темнотой, с крепкой, как рассол, океанической ночью Таковы города Гарта. Но их нет и не будет.

— Они будут,— упрямо повторила Сметанина.— Они будут но, конечно, не такие старинные. Без газа, без деревянных шхун, но со всей их тишиной и легкостью жизни.

— Мне так же, как и вам,— ответил я,— хочется, чтобы они были. Но их пока нет. И вот вы решили по-своему спасти Гарта. Я представляю ход ваших мыслей так. Гарт ушел от действительности и выдумывает фантастические страны и города Вместо этого мы дадим ему увлекательную и благородную работу — бороться за создание нового Севастополя. Ну, не Севастополя, так другого города. Так? Гарт приобщается к действительности, к борьбе, входит в гущу жизни как полноправный строитель своей замечательной страны. Правильно?

— Да,— согласилась Сметанина.

— Чтобы сберечь, как вы сказали, его талант, вы занялись разработкой этих проектов. Вы втянете в это дело Гарта, и он с радостью на него пойдет.

— И все будет прекрасно,— сказала с облегчением Сметанина.

— Нет,— ответил я.— Ничего прекрасного не будет.

Сметанина даже вздрогнула:

— Почему?

— Гарт должен писать,— ответил я.— Его силы ограничены. Вы не должны втягивать его в эти дела. Он сделал в прошлом все, что мог, и сделал блестяще.

— Что же он сделал?

— Он внушил вам своими рассказами о выдуманных городах мысль о создании нового, не выдуманного Севастополя. В этом была его нужная нашему времени задача. Оставьте ему возможность делать свое дело, а вы делайте свое. Вы будете создавать новые города, Гарт будет бросать в умы жажду деятельности во имя веселой и осмысленной жизни. Я начинаю думать, что до сих пор Гарт был просто не понят. Это все, что я хотел сказать. Еще только один вопрос. Вы будете всерьез бороться за создание нового Севастополя?

— Да. Я от этого не отступлюсь никогда.

— Значит, Гарт добился своего,— сказал я, закуривая.— Вот теперь я могу сказать, что все действительно будет прекрасно.

— Я не совсем еще разобралась в ваших словах,— сказала Сметанина,— но, кажется, вы правы. Какой все-таки силой обладает Гарт!

— Не Гарт, а искусство,— осторожно поправил я.

На этом наш разговор окончился. Я скоро ушел. Дождь шумел над улицами. Белая известковая вода журчала по обочинам тротуаров, сливаясь в море, как журчат у нас на севере лесные родники.

ВЕСЕЛЬЕ И ГОЛОД

Наконец я собрался навестить капитана Баранова. Я знал его давно, по Одессе, где в 1921 году издавалась морская газета «Моряк». Баранов в ней сотрудничал.

Яличники с Северной стороны прозвали капитана Баранова «Очевидцем». В это слово яличники, считавшие себя знатоками морских событий, вкладывали всю язвительность, на какую были способны.

Зависть грызла их седые сердца. Законная зависть мучила яличников, потому что Баранов славился редкой особенностью — этот человек действительно был очевидцем многих замечательных случаев и событий.

Я провел с Барановым много дней и вечеров в Севастополе, Новороссийске и Одессе. Я часто бывал в каюте его старого буксира «Смелый».

И капитан, и корабль, и команда были как будто нарочно подобраны по черноморским портам. Это была веселая и не-

унывающая компания, охотно берущаяся за всякую работу, лишь бы в ней были признаки риска и новизны.

Начнем с корабля. Во время дождей буксир был слышен. Именно слышен издалека. Десятки дождевых струй лились через дырявую палубу в жестяные тазы и банки от консервов, подвешенные в местах наибольшего скопления воды.

По слухам, «Смелый» плавал последнюю зиму перед отправкой на корабельное кладбище. Вид его никак не соответствовал растущей морской мощи Советского Союза. Людей, распространявших эти слухи, Баранов называл «подозрительным элементом».

Старый буксир имел заслуги перед революцией. По мнению Баранова, даже отслужив срок, он должен был пойти не на кладбище, а в не существующий еще корабельный музей.

Буксир носил обидное прозвище «Пожар в бане». Вызвано оно было тем, что труба буксира дымила так, как может на дымить весь английский флот, если его топить мусором.

Радио буксира было не нужно. О его приближении узнавали по туче дыма, застилавшей горизонт. Во всех портах «Смелого» встречали дружелюбно и насмешливо.

Баранов ругался с «духами» — кочегарами, но «духи» ссылались на старые котлы и проклинали уголь. Это был не уголь, а самый «подлый штыб»! Как только они начинали шуровать в своих топках, дым подымался, как извержение, над притихшими от изумления берегами.

В конце концов пришлось примириться с этим и создать для собственного успокоения шутливую теорию, что с «густым дымом плавают честные моряки, а не какие-нибудь контрабандисты»

Но эти мелочи плавания мало смущали Баранова. Один только раз он был раздосадован, когда буксир приткнулся на мель у Скадовска. В судовой журнал пришлось занести неприятные строчки:

«Вследствие собственного густого дыма потеряли из видимости берега и веху, ограждающую отмель, и коснулись дном грунта».

Внешность Баранова не соответствовала представлению о неспокойном капитане. Это был старик с лицом актера, играющего несчастных и благородных отцов. Говорил он прекрасным, но хриплым басом, со множеством интонаций. В молодости Баранов учился пению в Италии у забытой и престарелой знаменитости.

Баранов был немолод, но держался стройно. Только желтоватые белки глаз и седина говорили о склерозе и старости.

Биография его была неисчерпаема. Беспрерывно я узнавал то от него самого, то от окружающих все новые черты из жизни этого привлекательного человека.

В детстве он бежал из дому в Одессу и поступил юнгой на грузовой пароход. В Италии он скрылся с парохода и поступил в рыбачью артель.

Потом Баранов плавал по Адриатическому морю на старых катерах, ходивших часто, как дилижансы, от Венеции до Бриндизи.

Страстность Италии, кипучесть ее языка, веселье и подвижность остались у Баранова на всю жизнь.

В Италии Баранов бросил морскую службу. Он бедствовал в Анконе, учился бесплатно пению, зарабатывал гроши игрой на скрипке. Он становился в порту под мраморной триумфальной аркой, воздвигнутой Траяном, и играл и пел кантилены и баркаролы. Он сдружился с городской беднотой, с бродягами и тряпичниками, портовыми девушками и карточными шулерами. Эта полоса жизни отучила его от мягкой койки и дорогого хлеба.

После бродяжничества по Италии Баранов вернулся в Россию и поступил певцом в провинциальную оперу. Он изъездил всю страну. Кажется, не было такого городка — от Фастова до Елабуги и от Весьегонска до Армавира,— где бы он не играл.

Во время своих актерских скитаний Баранов начал переписку со Львом Толстым. Он убеждал его бросить занятия философией и написать предсмертную вещь, равную «Анне Карениной». Он ругал в письмах Толстого «слащавым чудаком» и получал ответы, полные христианского смирения. Баранов хранил их у себя в столе завернутыми в черный платок.

Актерская жизнь скоро надоела Баранову. Он вернулся на Черное море, где был назначен капитаном пожарного парохода в Одессе.

В 1905 году в Одессу пришел восставший «Потемкин». Портовые рабочие хотели присоединиться к «Потемкину» и начать в городе восстание. Тогда полиция устроила пожар и погром в порту, чтобы отвлечь рабочих от мысли о восстании. Сотни громил, испитых и охрипших от ругани, устремились в порт Горели пакгаузы.

Баранов, вопреки намекам начальства о необходимости ничего не замечать, подошел на своем пароходе к толпе, грабившей пакгаузы, и начал поливать ее горячей водой из пожарных брандспойтов. Погром прекратился, но одному Баранову не под силу было справиться с ним. Погром вспыхнул в другом месте.

Баранов знал Матюшенко и видел встречу восставшего «Потемкина» с Черноморской эскадрой. На своем пароходе Баранов доставлял восставшему броненосцу провизию и воду.

Встреча с Барановым в Севастополе вызвала поток воспоминаний об Одессе и «Моряке».

С Барановым я познакомился в редакции этой замечательной газеты. На ее первой странице на четырех языках красовался лозунг: «Пролетарии всех морей, соединяйтесь!»

Это была газета с большим революционным прошлым. До революции она выходила в Александрии и Константинополе. Кочегары привозили ее в угольных ямах пароходов в Одессу. Тогда она больше походила на прокламацию, чем на газету.

После революции она начала выходить в Одессе. Бумаги не было. Таможня выдала нам из сострадания кипы чайных бандеролей разнообразных и приятных цветов — розового, зеленого и сиреневого.

На обороте этих бандеролей мы и печатали газету. Каждый день цвет ее менялся. Только по воскресным дням (тогда выходных дней еще не было) мы выпускали «Моряка» на белой бумаге такой толщины, что газета не печаталась на ней, а выдавливалась, как книга для слепых.

Старые газетчики в первый день выхода «Моряка» создали ему неслыханную популярность. Шаркая ревматическими ногами, они плелись по голодным улицам Одессы и равнодушно кричали:

— Газэта «Мрак»! «Мрак» — газэта!

«Моряк» разошелся в полчаса. Всем было интересно прочесть газету с таким страшным названием. Пожалуй, впервые в жизни неправильность одесского произношения сыграла такую роль в деле распространения печати.

После надлежащего внушения газетчики начали кричать не «Мрак», а «Морак». Им было все равно. Какая разница! Разве это была жизнь! На кладбище годилась такая жизнь, когда газета стоила пятьдесят рублей, а за эти пятьдесят рублей можно было купить на базаре... двадцать спичек, вот что можно было купить на базаре!

В «Моряке» печаталось все, что имело хотя бы отдаленное отношение к морской жизни,— от истории кораблекрушений и революционной хроники заграничных портов до стихов Тристана Корбьера и рассказов Катаева.

В газете было шестьдесят сотрудников — журналистов, капитанов, писателей, масленщиков, корабельных инженеров, лоцманов, матросов, гальюнщиков и поэтов.

В ней сотрудничали Бабель и Семен Юшкевич, Катаев и Шенгели, Эдуард Багрицкий и Славин, Семен Гехт и Андрей Соболь. Ильф в то время работал, кажется, монтером и еще не задумывался над литературным будущим.

Шенгели в солдатских обмотках и белом тропическом шлеме пел звучащие медью стихи о римлянах, истекающих кровью.

Катаев ходил в прожженной шинели, пахнувшей карболкой и сыпняком, и в линялой турецкой феске. Он напечатал в «Моряке» рассказ «Сэр Генри и черт». Рассказ был романтичен и страшен. В редакции говорили, что сам Эдгар По содрогнулся бы, читая его.

Бабель только что приехал из Конармии. Он писал свои рассказы с таким же вкусом и неторопливостью, как портовые грузчики едят белый хлеб с маслинами,— крякая от наслаждения.

Багрицкий, худой и бледный, целыми днями лежал в степи за Люстдорфом и ловил жаворонков и перепелок. В свободное от этого занятия время он писал чудесные стихи и страшным басом рассказывал вымышленные истории из своей жизни на турецком фронте.

Славин писал очерки об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк». Гехт работал фальцовщиком в типографии «Известий» и слагал стихи о небе Иудеи.

Никто из сотрудников не получал ни копейки. Гонорар выплачивался черным кубанским табаком, синькой и хлебом.

Было время веселья и голода, время молодости республики и не затихающих над горизонтом гроз.

Почему из Одессы, а не из Киева или Саратова появилось столько талантов? Я ценю Баранова за то, что в 1921 году в Одессе он произнес в редакции «Моряка», сидя за стаканом морковного чая, пророческие слова:

— В Одессе много солнца, много моря, и — вы увидите — в Одессе будут свои Мопассаны!

Одесса — это Левант. Это Черное море, теплые ветры с Босфора, бывшие греческие контрабандисты и негоцианты из Пирея. Итальянцы-гарибальдийцы, капитаны и портовые грузчики-банабаки. Богатства всех стран, влияние Франции, гетто на Молдаванке, бандиты, ценившие больше всего остроумие, седоусые рабочие с Пересыпи, итальянская опера, воспоминания о Пушкине, акации, желтый камень, цветы, любовь к анекдоту и страшное любопытство к каждой мелочи. Все это — Одесса.

Но главное — море. Баранов был прав. Черное море выбросило в жизнь этих писателей, как дарит берегам самые разнообразные вещи — от поющих раковин до сорванных с якорей плавучих мин, разносящих в пыль прибрежные скалы.

Кроме писателей, в «Моряке» работало два корректора — Подбельский и Харито. Оба они были студентами Одесского университета.

Подбельский был томный и картавый юноша. Он ходил преимущественно босиком и в дырявой шинели. В холодные зимние дни он носил облезлое, но все еще пышное дамское боа.

Он любил возвышенные разговоры и считал себя знатоком литературы.

Харито был грек родом с острова Митилены, где его отец до войны издавал греческую либеральную газету. Харито тоже считал себя знатоком литературы. Оба знатока презирали друг друга и обменивались язвительными замечаниями по тонким и спорным вопросам поэзии и прозы.

Когда умер Александр Блок, Харито объявил траур и два дня не выходил из своей комнаты, заваленной книгами. Из книг он сложил лежанку, покрыл ее старым ковром и спал на ней. Брошенная кровать стояла рядом.

В свою комнату Харито никого не пускал, чтобы сберечь книги от разграбления. Ложе из книг он устроил для того, чтобы скрыть их от любителей литературы.

Харито был черен, подозрителен и брезглив.

Однажды Подбельский пришел в редакцию не в боа, а в добротном матросском тельнике, бушлате и каскетке с золотыми пуговицами. Он объяснил редактору, что из склонности к морской

жизни решил переменить профессию и поступил матросом на шхуну «Паванна».

Это была не шхуна, а херсонский дубок, приспособленный под перевозку дров. Пышное название «Паванна» объяснялось просто. Некогда эта шхуна принадлежала Павлу и Анне Бывальченко — херсонским торговцам. Слияние этих имен дало грязному дубку имя, достойное прекрасного клипера Вест-Индской компании.

Подбельский начал плавать на «Паванне» между Одессой, Хорлами и Скадовском. Изредка он заходил в редакцию, загорелый и таинственный. Все заметили, что он начал употреблять в разговоре не свойственные его интеллигентной внешности крепкие морские слова.

Через два месяца его арестовали вместе со всей командой «Паванны» и выслали из Одессы. Обнаружилось, что «Паванна» занималась незаконной торговлей хлебом и мелкой контрабандой.

Казалось, для Харито пришло время торжествовать над бесславным концом соперника, но, наоборот, Харито пришел в уныние. Причины этого скоро выяснились.

Владельцем «Паванны» в то время был единственный сын Достоевского — Федор Федорович Достоевский, бывший игрок на бегах и спекулянт.

Я встречал его в Одессе. Это был плотный и неразговорчивый человек с наружностью холеного барина и пухлыми руками. Он не любил отца. Он морщился, когда при нем разговаривали не только об отце, но вообще о литературе. Когда его знакомили с кем-нибудь и говорили: «Это сын Федора Михайловича Достоевского», он резко говорил: «Я существую сам по себе, вне зависимости от таланта или бездарности моего отца».

Харито называл Подбельского идиотом. Если бы ему, Харито, пришлось плавать с сыном Достоевского, то он, конечно, сумел бы высосать из него все, что сын знал об отце.

Из моряков — сотрудников газеты — самыми выдающимися были капитан Баранов и боцман Миронов.

Боцман Миронов писать не мог. Он умел только рассказывать. Он много плавал на американских пароходах, сидел в тюрьме в Чикаго и хорошо знал жизнь иностранных моряков. Он рассказывал точно, не привирая ни слова, но все же рассказы его казались фантастическими от обилия малоизвестных фактов.

Миронов прекрасно читал по-английски, пожалуй, лучше, чем по-русски. Он очень любил О. Генри и Джека Лондона и сокрушался, что никто из нас не умеет так писать, как они.

— Вот это ребята! — говорил он.— Способные до писания чудаки. Чернила у них крепкие, как спирт. Одно мне жалко,— Лондона я не застал. Приехал к нему в ранчо, а он уже отра-

вился. Жену видел. Грубая женщина, ее бы к нам на Привоз торговать пирогами.

Миронов изредка выступал у нас в роли переводчика.

Баранов переводил с итальянского прекрасную книгу «Заповеди моряка». Это был дневник итальянского кочегара — целая энциклопедия несчастной жизни на грузовом итальянском пароходе. Мы печатали переводы из номера в номер. Матросы на заржавленных пароходах в порту читали их со слезами и восхищением.

В те годы притихшая и пустынная Одесса была погружена в прозрачный воздух и тишину.

Бездымные дни проплывали над морем и городом торжественно и спокойно. Полынь росла на трамвайных рельсах и на руинах богатых дач в Аркадии и Ланжероне. Иногда тяжелый гром сотрясал берега — это врангелевский крейсер «Кагул» подходил к Очакову, и крепость отгоняла его уверенными и ленивыми залпами.

Все лето было полно морского безмолвия, изредка прерываемого орудийным громом, полно запаха морской травы и степей, полно голода, с его легкостью тела и мыслей.

Вся жизнь в Одессе, даже чистый воздух и пустынный порт, где старики удили рыбу, напоминала о блокаде. Только стаи скумбрии — веселой средиземноморской рыбы — прорывали ее. Скумбрия приходила из Мраморного моря. Мы удили ее на самодуры. Это было в те дни нашим единственным отдыхом.

СКРИПКА МАСТЕРА РАВИКОВИЧА

Как-то в свободный день я пошел с Барановым на Сухой лиман удить бычков. Мы тащили с собой две дыни — единственную нашу пищу — и бамбуковые удочки.

Мы шли в степи по заросшим лебедой трамвайным путям.

Порванные провода свисали с мачт. Жаворонки бегали по шпалам. Степь шла широкими и жаркими волнами. Сквозь тощую ботву затоптанных огородов темнело море, налитое до краев в глинистые красные берега.

Дорога была пустынна. Только под Люстдорфом мы догнали старого еврея. Он шел с непокрытой головой и, не замечая нас, играл на скрипке. Ветер ворошил его жидкие волосы и сносил на сторону седую бороду.

Мы шли следом за ним и молча слушали. Мы давно уже отвыкли от музыки. Пение скрипки в раскаленной степи было так неожиданно, что знакомая мелодия из «Риголетто» казалась невероятной, как если бы я услышал над морем крик диких лебедей.

Баранов уронил дыню. Скрипач оглянулся на нас и отнял смычок.

— Это пустяки,— сказал ему смутившийся Баранов.— Играйте, пожалуйста! Мы не хотели вам мешать.

— Вы не бандиты? — спросил старик и зажал скрипку под мышкой.

— Чего вам, старому и бедному человеку, бояться бандитов?

Старик тихо засмеялся.

— Мне их надо бояться, молодые люди, больше, чем банкиру Ксидиасу. Много больше мне их надо бояться. Вот!

Он потряс перед нами скрипкой. Это была обыкновенная коричневая скрипка с тусклыми пятнами на деке в тех местах, где сошел лак.

— Вы сказали, что я бедный человек. Нет! — крикнул старик.— Я богач! Я миллионщик! Я хожу с карманами, набитыми золотом и бриллиантами! Вы знаете, кто делал эту скрипку? Исаак Равикович делал ее, молодые люди! Старый Исаак с больными руками делал ее три года. Она такая тонкая, что отзывается, когда где у кого из соседей упадет тарелка или заплачет ребенок. Кто такой старый Исаак,— вы хотели меня об этом спросить? Если вы были в Италии...

— Я был в Италии,— сказал Баранов.

— Вы! — крикнул старик и всплеснул руками. Скрипка сверкнула на солнце, как коричневая короткая молния.— Дай вам бог счастья! Вы случаем не видели город Кремону?

— Я был в Кремоне,— невозмутимо ответил Баранов.

Скрипач протянул ему руку. Он жал смуглую ладонь Баранова и, заискивая, заглядывал ему в глаза.

— Так вы должны знать, что в этой Кремоне жил итальянский скрипичный мастер Страдиварий. Каждая его скрипка стоит десятки тысяч рублей. За что платят люди такие деньги? За вот этот кусок фанеры или за старые жилы? Нет! Люди не такие дураки. Кто знает, почему это дерево поет, как могут петь только ангелы! Кто их видел, ангелов, я не имею понятия, но так принято выражаться, извините меня.

Когда этот итальянец пробовал свои скрипки, мостовую около его дома закидывали соломой, чтобы он хорошо слышал, как поет каждый кусочек дерева. Не дай бог хлопнуть дверью или, положим, вылить на улицу ведро грязной воды.

А старый Исаак пробовал скрипки ночью. Жильцы ругали его последними словами и жаловались хозяину, что он не дает им спать. Разве можно с них что-нибудь спрашивать! Нищие люди! Где им было думать о музыке, когда надо прожить день с одним куском черствого хлеба.

— Кто этот Исаак Равикович? — спросил Баранов.

— Это наш одесский Страдиварий,— ответил старик.— Вот я хожу по городу, по базару и по степи и играю на его скрипке. Закажите, что вам сыграть. Нет, я сыграю вам итальянское!

Старик заиграл. Легкий человеческий голос запел в темном маленьком трюме рассохшейся скрипки. Баранов сел на землю и слушал. Потом он начал подпевать скрипке:

Настроена гитара,
О друг мой, в честь твою
Всего земного шара
Я песни пропою.

Старик играл и смеялся. Белые тесемки свисали из-под его рыжих брюк на ссохшиеся ботинки. Рваный пиджак распахивался от каждого движения смычка. На пиджаке не было ни одной пуговицы.

— Вот! — сказал скрипач, окончив играть. — Теперь вы слышали, что это за инструмент! Это инструмент Исаака Равиковича — великого старика. Но, между прочим, никто даже не найдет его могилу на Новом еврейском кладбище.

Он жил один и умер один. Был у него только я — Моисей Чернобыль. Мне он подарил последнюю скрипку. Кто пришел на его похороны, вы спрашиваете? Я, старуха Маня, его соседка, и еще профессор Московской консерватории,— я забыл его знаменитую фамилию. Он сказал мне: «Моисей Лазаревич, вот мы потеряли с вами гения, а не человека. Никакая душа в этой жизни не будет о нем знать, потому что бедность прячет людей в угол лучше самого осторожного вора. Идет революция,— так он сказал,— и разве маленькая скрипка может перекричать ружья и пушки, когда они стреляют?» — «А не думаете ли вы,— спросил я его,— что скрипка будет петь и для революции и через пушечный грохот ее кто-нибудь да услышит?» — «Нет,— сказал он,— я так не думаю, Чернобыль!»

Я ему не поверил, молодые люди. Я оказался умнее этого профессора консерватории.

Старик сел рядом с нами на землю. Зной мутным соком струился по горизонту.

— Что имел старый Исаак за свои скрипки? Раз в месяц он кушал рыбу и высох, как метла от работы. Что ему платили? Жалкие, паршивые рубли!

Скрипач помолчал.

— Я неплохой музыкант. Может быть, потому, что у меня нет жены и детей. Я до старости дожил как сирота. Я играю, сколько хотите. Я люблю играть людям.

При Деникине я тоже играл в ресторане «Желтая канарейка» на Херсонской улице. Но как приходили офицеры, хозяйка Павлович зазывала меня в заднюю комнату и говорила. «Посидите пока тут, Моисей. Сейчас им Люся будет играть на рояле». — «Что такое? — спрашивал я. — Разве господа офицеры не любят скрипичной игры?» — «Вы дурак, Моисей, — говорила мадам Павлович.— Вы старый ребенок, Моисей, и я имею к вам жалость. Они любят свои права и аксельбанты и больше ничего. Сидите тихо и ешьте свой ужин».

И я сидел, спасибо этой доброй женщине. Но я досиделся. Один раз заходит в заднюю комнату старый морской офицер. Он увидел меня и спросил: «Что ты тут делаешь, дорогой Арончик?» Он был пьяный. «Я не Арончик,— ответил я,— а скри-

пач, и зовут меня Моисей Лазаревич Чернобыль». — «Вот как! — сказал он.— Может быть, вы сыграете нам, уважаемый Моисей Лазаревич, «Так громче, музыка, играй победу!»?»

Мадам Павлович делает мне знаки глазами, но я отвечаю тихо, что не умею играть эту офицерскую песню.

Тогда он берет со стула скрипку, подымает над головой и смеется. «А «Интернационал» ты умеешь играть, жидовский Кубелик?» — спрашивает он и замахивается на меня скрипкой.

Тут вся моя кровь,— а вы посудите, сколько много ее у такого еврея, как я,— тут вся кровь ударила мне в глаза, и я подумал: или ты, Моисей, будешь дрожать, как собака, перед этим человеком, или нет. Тогда я крикнул ему: «Да, «Интернационал» я умею играть. Я сыграю его, когда вы через неделю будете бежать из Одессы, как крысы, сыграю над вашей свежей могилкой, господин капитан».

Он опять замахнулся на меня скрипкой, но я схватил смычок и ударил его по глазам.

Ну, что! Вы интересуетесь знать, что было? Ничего не было! Меня били в контрразведке и бросили в подвал. И, верьте мне, я не думал за себя, а думал за скрипку — хорошо ли спрятала ее мадам Павлович.

На четвертый день пришли большевики. Они выпустили меня. Комиссар сказал мне напоследок: «Катись отсюда! Играй и будь здоров, Чернобыль. Не путайся у нас под ногами,— и без тебя есть большие дела». Я ушел. С тех пор я хожу, играю во всех тех местах, где людям от этого делается хорошо, и ни у кого не путаюсь под ногами. Я жду. И я дождусь своего счастья.

Расстались мы со скрипачом на берегу Сухого лимана. Я размотал удочки, закинул их, лег на горячий песок и закрыл глаза. Синие и оранжевые шары понеслись, пересекаясь, в красноватой темноте. Кончилось тем, что я уснул.

Разбудили меня осторожные толчки в плечо. Я открыл глаза. Передо мной стоял скрипач.

— Вот я и вернулся,— сказал он.— Ой, какой вы неосторожный, молодой человек! Кто же спит на солнце!

Он присел рядом со мной на корточки и неожиданно спросил:

— Вы грамотный по-русскому?

— Да.

— Так напишите мне на бумаге хорошими словами то, что я вас попрошу.

Я согласился.

Старик вытащил мятый бланк «Русского общества пароходства и торговли». Обгрызенным карандашом я написал под его диктовку следующие слова:

«Я, Моисей Лазаревич Чернобыль, проживающий в Рыбачьей балке, по занятиям скрипач, сильно болею чахоткой, как и моя мать и отец, и пишу это письмо насчет последней скрипки старого мастера Исаака Равиковича. Скрипка эта моя.

И в случае смерти — как нет у меня ни жены, ни малых детей — прошу комитет партии подарить ее лучшему скрипачу нашего замечательного города. Пусть он бережет ее и играет на счастье людям, что не жили, а мучились сколько лет! Только прошу до скрипки не касаться лаком. Теперь лак делают совсем паршивый, а от лака зависит хороший звук.

С почтением *Моисей Чернобыль*, 59 лет».

В Севастополе в каюте «Смелого» мы вспоминали с Барановым Одессу и Моисея Чернобыля, писателей и газету «Моряк».

— Да,— сказал Баранов,— перебираешь собственную жизнь и не веришь, что все это было. Прекрасные годы мы пережили. Надо бы записать, да вот — нет времени, все вожусь с этой проклятой коробкой. Работаю я по подъему затонувших судов — еще со времени поисков «Черного принца», помните? Эй! — крикнул он на палубу.— Кто там травит пар? Воздух отапливаете, черти!

Баранов проводил меня до трапа.

Густые сумерки спустились над Севастополем. До полной темноты осталось несколько минут. Это ясно ощущалось по огням, цвету воды и по особой звонкости воздуха. Колючие звезды автогена зашипели на палубах кораблей, поставленных в ремонт. Они затопили сумерки трескучим сиянием.

— Никуда не хочу уходить с этой коробки,— сказал напоследок Баранов.— Должно быть, и умру здесь. Предлагали мне уйти на теплоход, да ну его к шуту! Стар стал. Не люблю я пассажиров. Не наше это дело возить тюбетеечников. Здесь и к морю ближе, и проще, и в свободное время в каюте полежишь — почитаешь. У меня на коробке библиотека прекрасная. Приходите, читайте.

Когда я спустился на берег, он крикнул мне с палубы:

— Дня через два пойдем буксировать «Днепр». Достаньте разрешение,— я вас прихвачу с собой. Слыхали про «Днепр»?

— Слыхал! — крикнул я в ответ.

— Ну то-то!

Возвращаясь домой, я вспомнил все, что знал о «Днепре». Этот пароход был связан с одним из замечательнейших происшествий, когда-либо случавшихся на Черном море.

ГОРОХ В ТРЮМЕ

Через два дня я вышел на «Смелом» к Босфору, где Экспедиция подводных работ снимала с рифов океанский пароход «Днепр». «Смелый» должен был отбуксировать «Днепр» в Севастополь.

Мы шли, чуть покачиваясь в тумане. Зима чувствовалась во всем — в коротком дне, запахе снега и рано зажигавшихся сигнальных фонарях.

На «Смелом» в связи с аварией «Днепра» было много

разговоров о кораблекрушениях и морских опасностях.

Морская профессия еще и сейчас совсем не так безопасна, как принято думать. Появление пара, радио, жирокомпасов, водонепроницаемых переборок и других приспособлений только уменьшило риск, но море осталось прежним — с такими же двенадцатибалльными штормами, мелями, туманами и опасными течениями.

У кораблекрушений есть свои законы. Большинство судов терпит аварии вблизи берегов, попадая на мели и подводные камни. Гибель судов вдали от берегов случается редко. В открытом море суда могут погибнуть от столкновения друг с другом или с плавучими льдами, от пожаров и реже всего от бурь.

Моряки различают в деле аварий «тяжелые» и «легкие» годы. В тяжелый год терпит аварию примерно один из каждых четырех пароходов, плавающих по морям.

Разговоры происходили в каюте Баранова.

Особенно любил «потрепаться» водолаз Медлительный — маленький человек с мокрыми усами. Он работал в Эпроне — Экспедиция подводных работ — несколько лет и обучил за это время водолазному делу несколько десятков молодых советских водолазов.

Один из его учеников, комсомолец Петя Мухин, плыл с нами на «Смелом». Между учителем и учеником происходили постоянные добродушные стычки. Ученик обвинял учителя в консерватизме и хвастовстве.

Медлительный, как все старые водолазы, был привержен прежним порядкам водолазной работы и строптив. Он долго не мог примириться с подводным телефоном. Он ни за что не хотел им пользоваться. Он предпочитал давать сигнал по старинке, дергая конец. Целый год он спускался под воду с телефоном, но не хотел вымолвить по этой «деликатной штуковине» ни слова Тогда молодые водолазы решили его проучить.

Однажды Медлительный дернул за сигнальный конец, чтобы его подымали. В ответ сверху закричали по телефону: «В чем дело? Давай сигнал разборчивей!»

Медлительный дернул второй раз. Ему снова крикнули, что сигнал не понят. У Медлительного зажало шланг, подающий воздух. Он задыхался, но не хотел сдаваться. Он синел, сопел, кровь гудела в ушах, он беспрерывно дергал конец, но сверху все кричали в чертов телефон, что они не понимают сигнала.

Тогда Медлительный не выдержал и заревел в телефонную трубку, собрав остаток ярости:

— Подымай, черти! Мне плохо!

Его немедленно вытащили. С тех пор Медлительный начал исправно говорить по телефону.

Медлительный прославился тем, что заснул под водой на палубе затопленного под Новороссийском миноносца. Но и во сне он время от времени машинально нажимал затылком

клапан, выпускающий испорченный от дыхания воздух

Медлительный и Мухин олицетворяли два разных типа водолазов.

Медлительный был водолазом царской школы, когда в водолазе ценилась только физическая сила. В иных иностранных флотах до сих пор подбирают в водолазы людей, ломающих одной рукой подкову и весящих не меньше семи пудов.

О невероятной силе старых водолазов ходят легенды В Батуми в первые годы революции я встретил бывшего водолаза и циркового борца Зарембу. Ему сломали во время борьбы руку. Заремба бросил цирк и работал метранпажем в газете. Это был человек невероятной силы и незлобивости. Легким нажимом плеча он останавливал на ходу маховик печатной машины.

Он рассказывал наборщикам много историй из цирковой и водолазной жизни. Он боролся с Поддубным, со Збышко-Цыганевичем — чемпионом Варшавы, и со Штейнбахом — чемпионом Баварии.

Но самой невероятной была история борьбы с человеком-зверем. Дело было на острове Крите, где стояло пять эскадр — английская, русская, французская, итальянская и турецкая Заремба служил тогда во флоте водолазом.

Между матросами эскадр был устроен матч французской борьбы Заремба положил всех. Турки обиделись и вызвали из Константинополя лучшего борца-водолаза. У него на груди, по словам Зарембы, висела табличка с надписью: «Нечеловеческая сила. Мне бороться с людьми запрещается». Под надписью была печать султана.

Заремба струсил, но положение обязывало принять бой. Боролись в дощатой таверне, превращенной в цирк. На десятой минуте Заремба свалил турка. Когда турок упал, треснул пол. Эскадры приветствовали Зарембу сигналами по международному коду.

Таких легенд о силе водолазов я много наслушался и от Медлительного.

Петя Мухин был водолазом советской выучки. Он окончил водолазную школу в Балаклаве. Этот худой, маленький юноша, которого, по словам Медлительного, можно было перешибить папиросой, под водой работал быстрее и находчивее своего неуклюжего учителя.

Решение отказаться от водолазов-силачей пришло после работы японских водолазов над подъемом «Черного принца». Низкорослые и слабые на вид японские водолазы ныряли на громадную глубину, двигались по дну с невероятной быстротой и проводили под водой почти вдвое больше времени, чем наши водолазы. Японцы работали в легкой маске и тонком шерстяном белье. А наш водолаз-силач за пять — семь минут с трудом делал по грунту несколько шагов.

Мухин и Медлительный только что вернулись с Балтики, где

был найден броненосец береговой обороны «Русалка», таинственно погибший в 1893 году.

Первым наткнулся на «Русалку» Мухин, но Медлительный, на правах учителя, чувствовал себя героем гораздо больше, чем Мухин. Он надоел нам бесконечными рассказами о «Русалке».

На «Смелом» я слышал много рассказов о кораблекрушениях, но больше всего меня поразила гибель «Русалки».

Из позорных историй, связанных с царским флотом, Цусима и гибель «Русалки» были самыми нелепыми и потрясающими. Старые броненосцы береговой обороны и мониторы — это были плавучие крепости с покатой палубой, выдающейся над водой только на два фута. Они строились для плавания около берегов, в шхерах, на озерах, вообще в спокойных и мелких водах.

Постройка этих броненосцев началась после войны южных и северных штатов в Америке. Во время этой войны мониторы появились впервые. Их толстая броня, мощные пушки и способность проскакивать всюду, победа мониторов северян над флотом южных рабовладельческих штатов — все это создало о мониторах мнение, как о грозных боевых кораблях.

Забыли только о том, что мониторами северян командовали отчаянные моряки, лишенные страха и полные ненависти к южанам,— знаменитые капитаны Варден, Роджерс и Флюссер. Их имена знакомы каждому грамотному американцу. Человеческие свойства были приписаны конструкции кораблей.

Когда американский монитор «Миантономо» пришел в гости в Кронштадт через Атлантический океан без единого повреждения, то решение строить мониторы превратилось у нас в манию. «Миантономо» шел осторожно, долго выжидал хорошую погоду, все его люки, двери и иллюминаторы были наглухо задраены от проникновения забортной воды.

«Русалка» была монитором американского типа.

В сентябре 1893 года адмирал Бурачек приказал «Русалке», стоявшей в Ревеле, идти в Гельсингфорс и оттуда пробираться в Кронштадт. Около четырех часов «Русалке» надо было идти открытым морем. Поэтому вместе с «Русалкой» была послана канонерская лодка «Туча».

Осенью над Финским заливом часто проходят короткие бури. Начинаются они в полдень и бушуют до вечера. «Русалке» надо было выйти на рассвете, чтобы проскочить в Гельсингфорс до полудня. Но адмирал приказал выходить в девять часов утра, и броненосец не посмел ослушаться.

По обычной в царском флоте небрежности «Русалка» забыла на берегу деревянные крышки, которыми задраиваются во время шторма входные и световые люки.

Утро в день выхода «Русалки» было ветреное. Шел косой надоедливый дождь. В десять часов утра сорвался шторм силой в девять баллов. «Русалку» начало заливать.

«Туча» под командой капитана Лушкова бросила бедствую-

щий монитор и ушла вперед в Гельсингфорс. Лушков вез на канонерской лодке молодую жену. Он решил, что жизнь ее дороже жизни двухсот матросов «Русалки».

«Русалка» в Гельсингфорс не пришла. Лушков же, придя в Гельсингфорс, никому не сообщил, что им брошен в море гибнущий корабль, и вообще не сказал ни слова о походе «Русалки». Адмирал Бурачек не запросил Гельсингфорс, дошла ли «Русалка» до порта. Он уехал охотиться в окрестности Ревеля на мызу курляндского барона.

Через два дня рыбаки с острова Сандхами донесли, что море выбросило на берег разбитые шлюпки и спасательные пояса с надписью «Русалка».

Тогда заработала заржавленная машина императорских канцелярий. Рыбаки донесли о разбитых шлюпках смотрителю маяка на острове. Смотритель донес гельсингфорскому полицмейстеру. Полицмейстер послал «отношение» командиру Гельсингфорского порта. Командир порта уведомил морское министерство. Министерство запросило адмирала Бурачека. Бурачек запросил капитана Лушкова. Наконец, через три дня после явной гибели «Русалки», когда об этом были напечатаны телеграммы в иностранных газетах, морской министр отдал приказ о поисках «исчезнувшего без вести» броненосца.

Поиски продолжались два месяца. Они закончились заключением следственной комиссии, что «Русалка» погибла около маяка Эрансгрунд. Загадочным казалось то обстоятельство, что с «Русалки» не всплыло ни одного трупа.

Страна волновалась. Гибель двухсот моряков была неотделима от бездарной эпохи. Здесь смешалось все — трусость, глупость начальников, безалаберщина и тупое равнодушие к живому делу и людям.

Царь выслушал доклад морского министра. Светлые глаза царя смотрели на министра со скукой. На рапорте о гибели «Русалки» он размашисто и не задумываясь написал синим карандашом: «Скорблю о погибших».

Страна волновалась. Газеты требовали расследования. По городам начался сбор денег для помощи семьям погибших матросов. Художник Кондратенко написал картину «Безмолвный свидетель гибели «Русалки». На ней была изображена разбитая шлюпка на угрюмых, обдаваемых пеной берегах. Картина эта в снимках обошла всю Россию.

Газеты сообщили об организации нескольких частных экспедиций для поисков «Русалки». Тогда морское министерство возмутилось: «шпаки» хотели вмешаться в его военные дела.

Был издан гласный приказ начать поиски «Русалки» и негласный — искать «Русалку» там, где ее заведомо не было. Поиски начались поздно, шли недолго и велись нелепыми способами, например, с воздушного шара. С шара дно моря видно на глубине четырех саженей, а «Русалка» затонула на сорокасаженной глубине.

Поиски велись в глубокой тайне. Все было сделано, чтобы «Русалку» не найти. Царь опасался, что похороны жертв «Ру салки» могут вызвать новую волну возмущения.

Нашли «Русалку» через сорок лет советские водолазы. Они восстановили картину гибели корабля.

Когда начался шторм, вся команда спряталась внутри броненосца. Огромные волны били в корму корабля и перелетали через низкую палубу, ломая надстройки. Они вливались в от крытые люки и горловины. О том, чтобы выйти на палубу нечего было и думать,— она вся была под бушующими вол нами.

Оставшиеся на верхнем мостике командир и штурвальные были крепко привязаны канатами к поручням.

Волны усиливались. Они начали перехлестывать через мостик. Вода попадала в трубы. В закупоренном броненосце, наполнявшемся водой, не хватало воздуха. Тяга в трубах упала, и машина начала сдавать. Это привело к тому, что волны обгоняли корабль и разрушали все, что находилось на палубе.

Броненосец все больше и больше набирал воду. Наконец водой залило топки, и машина стала. Тогда «Русалку» повернуло бортом к волне, опрокинуло, и броненосец пошел ко дну. Ни один человек не выплыл, потому что люди были или привязаны к поручням, или закупорены в стальной коробке броненосца.

Плавание на «Смелом» прошло незаметно. Через сутки мы подошли к «Днепру».

С этим океанским пароходом случилась авария, обычная у берегов Босфора. Он принял в тумане за вход в Босфор залив около мыса Кара-Бурну, вошел в него и сел на камни.

Это предательское место хорошо знакомо морякам. В пасмурную погоду оно приобретает поразительное сходство с Босфором и обманывает многих капитанов. Среди моряков оно носит имя «Фальшивого входа».

Пасмурность и дождь меняют вид берегов. Знакомые места кажутся чужими и впервые открытыми.

Вблизи берегов моряки ориентируются по виду и цвету гор. Пасмурность меняет их вид, а выпавший снег зачастую делает берега неузнаваемыми. Где раньше были черные тени от ущелий теперь сверкает белизна, похожая на россыпи мела. Многие мысы — и в хорошую погоду схожие друг с другом — при снеге кажутся неотличимыми.

Моряку нужно острое зрение и способность по цвету берега затянутого дымкой, определить расстояние от него до парохода. Кроме того, нужна крепкая память. До сих пор в виду берегов пароходы ориентируются по всяческим приметам — одиноким деревьям, генуэзским башням и береговым домам.

Баранов рассказывал мне, усмехаясь, о жалобах капита

нов-иностранцев на быструю изменчивость советских побережий.

— Трудно плавать,— говорят они,— у берегов, где каждый год появляются новые приметы — силосные башни, антенны радиостанции, заводские трубы и электрические огни в заливах, бывших еще недавно совершенно темными по ночам.

Нигде вы не встретите такого точного описания примет и столько разнообразных сравнений, как в лоции каждого моря. Мысы делятся на приглубые, обрубистые и отмёлые, похожие на руины, на пирамиды, на надгробные камни мусульманских кладбищ и на сахарные головы.

Но все же самая точная лоция, описывая берега, бессильна перед неожиданными переменами света, красок и прозрачности воздуха. Они превращают наскучившие контуры берегов в невиданную страну.

Я испытал это на собственном опыте. О мысе Киик-Атлама около Феодосии в лоции сказано, что он похож на желтый горбатый остров, соединенный с морем низким перешейком. Но недаром моряки зовут его «Хамелеоном». Я видел этот мыс несколько раз при всякой погоде. Каждый раз он представал в неузнаваемом и великолепном виде — то желтым и диким, выпукло отлитым на синеве далеких гор, похожих на грозовые тучи, то серым, как бы тлеющим после пожара, то черным, как сиенит, изрезанным синими провалами ущелий, то голубым, как лунный камень, то, наконец, розовым, чуть заметным в тумане, будто рисунок, плохо смытый с матового стекла.

Эта обманчивость берегов и вызвала аварию «Днепра».

Когда мы подошли к «Днепру», то увидели необычайное зрелище. Пароход был разломан на рифах. Нос отделился от кормы, и обе части парохода, снятые с камней экспедицией Эпрона, стояли рядом, покачиваясь на якорях.

Непроницаемые переборки не дали воде потопить разломанный пароход. Мы видели его разорванные борта и железные внутренности, висящие в воздухе. Так выглядят дома после землетрясения, когда через обвалившуюся стену видна комната с мебелью и даже посудой, забытой на столе.

Зрелище разорванного парохода было для нас неожиданным. Уходя из Севастополя, мы знали, что «Днепр» сел на камни и получил небольшую пробоину. Шторма не было, и волна не могла так бить его о камни, чтобы разломить пополам.

Но вскоре все разъяснилось. Трюмы «Днепра» были доверху нагружены горохом. В пробоину проникла вода и подмочила горох. Он разбух и разорвал с невероятной силой железные борта парохода, погнул переборки и вырвал шпангоуты.

Когда эта новость дошла до «Смелого», ей сначала никто не поверил. Матросы решили, что нас «разыгрывают». Водопады остроумия обрушились на эпроновцев. Их обзывали «звонарями», а их водолазную шаланду — «подносом с музыкой».

— Ну и невыносимо же брешут! — кричал белесый боцман со «Смелого».— Неестественно как заврались ребята!

Эпроновцы сначала посмеивались. Потом им надоело остроумие буксира, задымившего весь горизонт. Из рубки на водолазной шаланде вылез усатый старшина с вытаращенными злыми глазами. Он плюнул и закричал:

— Чего квакаете без понятия! Это дело научное. Вы бы постыдились серость свою показывать перед всем Черным морем. Нашлись какие разумные — над наукой смеяться!

Неожиданное обвинение подействовало на команду «Смелого». Смех стих.

Когда матросы убедились, что пароход действительно разорван набухшим горохом, настроение переменилось и насмешки сменились удивлением.

— Ты гляди! — кричал тот же белесый боцман.— Шо такое зерно? Пустяк! Дунь — и ничего нету. А какую силу в себе имеет,— океанские пароходá рвет пополам, как гнилую веревку.

Но все же, когда «Смелый» брал на буксир носовую часть «Днепра», боцман не удержался и крикнул команде «Днепра»:

— Эй, вы, порватые горохом, потравите кончик!

С палубы «Днепра» перед тем как потравить конец, показали боцману кулак.

История с горохом вызвала усиленное любопытство к тому, как себя ведут под водой вещи.

Водолазы рассказывали, что лучше всего сохраняются под водой металлы и мука. Мука не превращается в тесто, как можно было бы думать, а покрывается тонкой коркой и может пролежать в воде десятки лет. На «Малыгине» экспедиция Эпрона пекла хлеб из муки, пролежавшей в затопленных трюмах ледокола около трех месяцев.

Такая же корка, как на муке, образуется на тертых в порошок красках. Они не растворяются и не окрашивают морскую воду во все цвета радуги, а лежат в трюме совершенно сухими много лет.

Железо покрывается тонкой ржавчиной — не больше миллиметра. Ее очень легко отбить и счистить. Прекрасно сохраняются сталь, медь, бронза и свинец.

Громадные судовые машины ничуть не разрушаются. На том же «Малыгине» машины три месяца стояли в воде, но после подъема ледокола их просушили, смазали, и «Малыгин» в полный шторм вернулся на своих машинах из Шпицбергена в Мурманск.

Только цинк в морской воде превращается в порошок.

С одного из затопленных в Новороссийске миноносцев водолазы подняли торпеду. Она пролежала в воде десять лет и считалась совершенно испорченной. Ее положили на пристань. Кто-то из любопытных нажал курок от сжатого воздуха, которым работают винты торпеды. Машина торпеды заработала с оглушительным свистом, винты завертелись, и торпеда поползла, как стальное чудовище, по деревянному пристанному настилу.

Стекло, фарфор, дуб, красное дерево — все это сохраняется прекрасно. Только чугун как бы раскисает от воды. Первые несколько часов после подъема он очень мягок, не тверже свинца, но потом снова твердеет.

Обратно в Севастополь мы шли медленно. Среди моря нас прихватила мертвая зыбь. Жаль было уходить от синих анатолийских гор, оставшихся такими же загадочными, как и раньше.

К вечеру в кают-компании «Смелого» Петр Мухин завел патефон и поставил пластинку, поднятую со дна, с потопленного транспорта «Женероза».

Патефон хрипло пел незнакомую английскую песенку. Она поразила меня отчаянием, плохо скрытым под хвастовством и наигранным разгулом. Для меня эта песня звучала, как отходная неприветливой морской жизни Запада, как похоронное пение по последним традициям каторжного парусного флота.

В черный дождь и туман
Уходил в океан
Наш фрегат.
И тогда закричал капитан:
«Черт мне брат!
Вгонит в рифы тайфун,—
Все равно приплывем в Камерун!»
Наплевать!
Двадцать пять
Стариков моряков
Побожились давно,
Что нам больше тебя не видать,
Дом родимой страны,
Даль родных берегов,—
И пойдем мы ко дну
Под холодную, злую волну.
Двадцать пять
Моряков-стариков
Побожились об этом давно...
Нам тонуть или жить — все равно!
Нам на все наплевать
Сорок раз и еще двадцать пять!

Баранов не выносил этой песенки. По его словам, она воскрешала глупую лихость, которой гордился старый флот. Невежественные капитаны, злые, как цепные псы, угрюмые матросы, жившие от жратвы до жратвы, усталые и проклинающие море жулики-арматоры — все это разрушало наивные мысли о прелести старинной морской службы.

Баранов хорошо знал моряков всех стран. Он с раздражением вспоминал прославленных английских моряков — бесстрастных и надменных. Лучшие, по его мнению, моряки были турки и французы. Но больше всего он любил наших моряков — и полярников, и краснофлотцев, и моряков торгового флота — отважных, добродушных, чувствующих свое достоинство людей. Для них героизм был не чем иным, как будничной работой.

В Севастополь мы вернулись в спокойный зимний день. Ледяной воздух покалывал горло. Изо рта шел легкий пар. Цвет неба сливался с цветом серо-голубых военных кораблей. В воде ныряли бакланы.

Любопытные яличники торопливо помчались к нам, как только нос «Днепра» с единственной мачтой показался в Северной бухте.

Баранов и команда «Смелого» приготовились к граду насмешек. Но зрелище разорванного океанского парохода было так величественно, что яличники забыли о Баранове. Только на берегу один из них, самый кроткий и потому неудачливый, сказал:

— Ну и везет вам, товарищ Баранов. Опять попали в очевидцы!

Я решил поехать в Коктебель повидаться с Гартом и отдохнуть от обилия впечатлений. Оно утомляло не меньше, чем напряженная умственная работа.

Вечером я зашел к Сметаниной и там застал Зою Юнге. Она прилетела из Феодосии и через два дня собиралась лететь в Коктебель.

Я спросил ее, не может ли она взять меня с собой. Зоя тотчас же согласилась.

Это была высокая девушка. Ее рыжеватые блестящие волосы лежали волнами. Она часто встряхивала головой, чтобы привести их в порядок. Свое отношение к людям и их поступкам она высказывала решительно и резко.

ОЦЕПЕНЕНИЕ ПОЛЕТА

— Ну,— сказала Зоя и похлопала рукавицами,— идите садитесь!

Маленький зеленый самолет трясся и гнал из-под шасси густую пыль. Сухая полынь дрожала от ветра.

Зоя подняла руку. Самолет быстро помчался по аэродрому, выходя на старт. Потом он с яростным ревом начал набирать скорость. Рев перешел в ровный звенящий гул. Земля, телеграфные столбы, стартер с белым флагом и татарская мажара, трусившая по дороге,— все это косо повалилось направо

Горизонт падал, закатывался, а слева, за целлулоидовым окном, рядом с машиной стояло солнце. Я знал, что оно было в зените, но не удивился, увидев его сбоку и даже немного снизу под собой. Зоя легла на крыло и делала разворот над аэродромом

Когда машина выпрямилась, она оглянулась на меня и показала рукой на город.

Севастополь, пестрый от солнечных пятен, качался и дрожал под ногами, как громадная, сложная карта.

Казалось, что самолет стоит в воздухе неподвижно и трещит, как стрекоза.

Но колесо, недавно переставшее вертеться, быстро вело через бухты и город ровную линию, закрывая кварталы и изгибы берегов.

Сверху Севастополь был оранжевым от черепичных крыш. Машина шла над ним, вздрагивая и поклевывая носом. Воздушные токи били в ее днище с резкостью кулачного удара. Зоя ела виноград.

Мы выходили к морю около Балаклавы. Каждая неровность земли под нами отзывалась на самолете. Он шел, повторяя в воздухе профиль земного пути, тянувшегося внизу. Он подскакивал, когда пролетал над холмами и насыпями, встряхивался над зарослями и проваливался в воздушные ямы над крутыми обрывами. Пол уходил вниз. Тело одну долю секунды висело

в воздухе. От этого сильно болели позвонки.

Балаклаву я не видел. Ее целиком — от Кадыкоя до генуэзских башен — закрыло колесо самолета.

Жидким блеском ударило в глаза море, похожее сверху на синюю чашу с приподнятыми краями.

Самолет последний раз нырнул над ржавыми обрывами мыса Айя и ровно пошел в море.

Монотонно гудел мотор. Синий свет заполнил кабину. Мы шли без тряски и толчков, как по воздушному асфальту.

Зоя, вспомнив о моем существовании, прислала мне записку:

«Налево — Байдары и Форос. Смотрите. «Земли полуденной олшебные края» (Пушкин)».

Я ответил на обороте: «Вы сильно бы волновались, если бы вам пришлось везти на самолете Пушкина?»

Зоя обернулась и утвердительно кивнула головой.

Я смотрел на бронзовые слитки гор. Они были покрыты плесенью осенних низкорослых лесов. Я думал о людях, чья жизнь была связана с этими берегами.

Черное море было верным другом Пушкина. «Как друга ропот заунывный, как зов его в прощальный час, твой грустный шум, твой шум призывный услышал я в последний раз».

Замкнутый и скупой на слова Мицкевич часами просиживал на этих берегах.

Марлинский сочинял рассказы в припадке малярии в Сухум-Кале. Гарибальди плавал на тяжелом грузовом пароходе между Одессой и Таганрогом.

Лермонтова чуть не убили около Тамани контрабандисты Черному морю он был обязан лучшим рассказом.

Одиссей плыл на корабле «Арго» по этому гостеприимному морю к берегам Колхиды. Марко Поло прошел по его северным берегам в глубь Азии, в царство Великого Могола.

Ученый Паллас застал здесь нетронутые генуэзские города. Молчаливый и застенчивый грек, лейтенант Манганари, снял великолепную карту берегов этого моря.

Матрос Матюшенко поднял восстание на броненосце «Потемкин» и пересекал на нем эти воды. Здесь вырос и воспитался Шмидт. Лев Толстой в Севастополе написал первый в русской литературе правдивый рассказ о солдате.

У Каркенитского залива проходил с армией Фрунзе. Здесь красные части брали Перекоп, а партизанские отряды легендарного Мокроусова захватили Судак.

Я перебрал множество имен. Я понял, что этот густой синий дым подо мной, покрытый озерами солнечного света,— Черное море,— оставил неизгладимый след в сознании многих людей, приучил их к горизонтам и смелым обобщениям, вызвал пытливость, научил видеть, действовать и побеждать.

Но зачем думать о выдающихся людях? Тысячи рыбаков и матросов, выросших у Черного моря, дали стране, ее новой культуре много упорства, любви к свободе и веселья.

В 1920 году Красная Армия стремительно заняла Крым. В этом порыве какую-то роль сыграло и Черное море. Оно притягивало, как мощный прозрачный магнит. Оборванные бойцы видели на этих щедрых берегах хотя и несовершенный, но ясный облик будущей страны, ради которой шли умирать, страны солнца, свободных морей, легкого воздуха и тучных виноградников.

Мы проходили Ялту. Неподвижным каскадом белых домов она лилась в море. Ржавые парки виднелись сверху, как через волнистое стекло.

Воздух вокруг был разной плотности. Он создавал странную игру красок — то они сжимались со всех сторон, и тогда сады делались густо золотыми, то расплывались — и золото садов едва поблескивало сквозь вечернюю дымку.

Солнце садилось на западе в равнину вод. Мы вылетели поздно. Начальник аэропорта в Севастополе даже не хотел нас выпускать.

Солнце садилось, его прямые лучи ударили в стены сиреневых гор и осветили леса, цеплявшиеся за скалы.

Зоя оглянулась и посмотрела на солнце. Над Чатыр-Дагом мы проходили уже в поздние сумерки.

Зоя вела машину напрямик через горы, стараясь выиграть время.

Нас начало болтать. С северо-востока порывами задувал ветер. От ветра машина трепетала, как лист бумаги. В кабине стало холодно и темно.

Я еще различал вдали светлую полосу моря, но внизу, в ущельях, клубилась тяжелая мгла. Будто черный дым исполинского пожара подымался из земных глубин.

Зоя оглянулась. В глубоком сумраке я увидел только блеск ее зубов. Она улыбалась, чтобы ободрить меня. Но меня давно охватило безразличие полета — состояние, обычное на больших высотах.

Смотреть наружу не было смысла,— тьма ночи налетала все более густыми волнами.

Так прошло около получаса.

Потом внизу проплыла горсть тусклых огней. Мы, очевидно, проходили над Судаком. По виду огней я понял, что Зоя набрала большую высоту, и догадался, что сейчас мы будем брать Кара-Даг.

«Лишь бы она не потеряла земной горизонт»,— подумал я. Я пытался определить, где он находится, но это оказалось бессмысленным занятием.

Я слышал, кроме гудения мотора, еще несколько звуков. Ремень у окна трещал, как пулемет. Стекла вибрировали и издавали звон, сливавшийся в одну напряженную ноту. Ветер налетал со звуком широкого и мягкого пушечного удара. Ветер сбивал ход.

Самолет не был приспособлен для ночных полетов. Зоя осветила электрическим фонариком счетчики. Я заметил высоту — две тысячи метров.

Потом она посветила мне в лицо. Я ослеп, а она, смеясь, показала рукой в ночь, налево. Я увидел пыльное электрическое зарево,— открылась Феодосия. Коктебель был в двадцати километрах перед Феодосией,— значит, мы летели где-то над аэродромом, но никаких огней внизу я не видел.

Внезапно мотор остановился. Только свист вертящегося по инерции пропеллера и гул плоскостей, идущих круто вниз, были слышны в темноте.

Зоя клала самолет с крыла на крыло. Я увидел летящие к нам из пропасти огни. Я заметил освещенную белую полосу в виде буквы «Т» — знак посадки на аэродроме, но тотчас она рванулась в сторону, огни заметались зигзагами, качнулись, рассыпались, снова собрались и под гул планирующей машины стали на свои места и сделались много ярче.

Можно было разобрать свет в окнах домов. Машина промахнула крыльями над крышами. Удар! Второй удар о землю,— и мы понеслись, подскакивая и подымая пыль, в кромешный мрак аэродрома.

Толчки прекратились и наступила прекрасная земная тишина,— тишина ночи, полная запаха чебреца и света далеких звезд, откуда мы упали на эту милую землю.

Зоя вылезла из кабины. Я хотел помочь ей, но она засмеялась и сама спрыгнула на землю.

— Отойдем подальше и покурим,— сказала Зоя.— Сейчас за нами приедут.

Далеко было слышно кряканье автомобильной сирены.

Мы закурили. Папироса освещала лицо Зои. Она сняла шлем. Глаза ее были окружены черной каймой. Она, видимо, устала. Она положила мне руку на плечо и сказала:

— Послушайте, как тихо!

Мы стояли и слушали. Безмолвие ночи простиралось вокруг. Машина тоже прислушивалась к нему вместе с нами.

— А вот с Пушкиным,— засмеялась Зоя в темноте,— я бы так не полетела.

— А что бы вы сделали?

— Вернулась бы обратно в Севастополь. Там лучше садиться ночью. И ветра там нет.

Мы молчали. Звезды горели над рваными краями гор.

Вскоре подошла машина. Юноши в робах потащили самолет в ангар, за полкилометра.

Нас с Зоей машина повезла по белеющим извилистым дорогам. Далеко внизу разбегались редкие огни Коктебеля.

Через четверть часа машина остановилась у низкого каменного дома. В окнах горел свет. За живой изгородью из колючих кустов шумел прибой.

— Вот и приехали,— сказала Зоя.— Это наша берлога.

На террасе с лампой в поднятой руке стоял и улыбался Гарт. Лицо его было освещено лампой сверху и казалось совсем молодым. Он широко распахнул дверь в беленную мелом комнату с простой дощатой мебелью.

МАТЬ

— Ну что,— спросил я Гарта, когда мы остались одни и легли на походные койки,— удалось вам найти материал для рассказа?

— Кажется,— ответил он.— Я встретил здесь командира корабля Нагорного. Я записал его жизнь.

— Дадите прочесть?

— Конечно,— сказал Гарт и поднялся с койки. Он достал из стола рукопись. Рассказ назывался «Мать».

«Родился я в маленьком городке Ени-Кале около Керчи. Пыльный этот и древний город лежит на берегу мутного Керчинского пролива. Слово «лежит» к нему, пожалуй, больше всего подходит. Городок наполовину лежит в развалинах, заросших колючками и засыпанных битым стеклом.

Матери посылали нас, мальчишек, на эти развалины пасти худых коз. Сколько мы своей крови там оставили — трудно сказать. У меня на ногах до сих пор шрамы от этих осколков.

Народ в Ени-Кале жил скупой и небогатый — рыбаки, конопатчики да шкиперы с азовских байд. Самыми богатыми жителями были два контрабандиста — Анастас и Жора, хитрые и отчаянные греки.

Отец мой служил маячным сторожем. Маяк стоял недалеко от города, на мысу. Мыс от маяка получил название Фонарь. Маяк давал, как сейчас помню, белый огонь с частыми проблесками.

Потом, когда отец отдал меня на рыбачью байду, бывало, идем ночью в шторм, шкипер пошлет тебя на ванты, и сиди мерзни, смотри, пока не увидишь огонь фонаря. Как только заметишь его, кричишь вниз: «Старик подмигивает!» Такая была традиция. Раз «старик мигает» — значит, мы дома. Тут же вытаскивали водку, закуску и, не дожидаясь берега, начинали пить. Пить не давали только штурвальным.

Отец у меня пил крепко, но только по праздникам. Когда напивался, бил меня и мать. Выгонял из дому и кричал: «Я старый царский боцман и желаю свободной жизни. Хватит с вас. Заели мой век, прилипалы».

Когда отец не пил, был он унылый, неразговорчивый, очень боялся начальства. Часами молчит, рубит топором табачные корешки. Мать его не любила.

Мать у меня была слезливая женщина, бывшая керченская кухарка. Руки у нее были жилистые, с синими вздутыми венами, кривые от работы. Все ногти от стирки сошли и новые выросли толстые и горбатые.

Школу я не окончил. Отец отдал меня рыбакам. Худенький сделался, в чем только сила держалась.

Читал из-под полы. Помню, прочел «Отверженные» Гюго и несколько лет с этой книгой не расставался. Истаскал ее вконец. Многого не понял, но одно мне запало в душу: есть где-то веселая жизнь, как тогда думал — невозможная, где люди могут читать интересные книги, путешествовать, драться на баррикадах и любить красивых, чистых женщин, а не мыть каждый день гальюн и провоняться до самого сердца рыбьей требухой.

Когда подрос, забрали меня матросом во флот, в Севастополь, но по слабости здоровья списали на берег и отправляли рабочим на Морской завод. Работал я электриком.

Матросы — сами знаете — народ с искрой в голове, бывалый и вольный. Многому я от них научился.

Была война. При мне все было — и февральская революция, и приезд Керенского, и случай с Колчаком, когда он выбросил золотой кортик в море, чтобы не отдавать его матросам, и немцы, и англичане, и деникинцы, и Врангель. Все я перевидел и все понял.

После войны я остался рабочим на заводе. Жил я далеко от города, в Инкермане. Место пустынное. В то время там контрразведка расстреливала людей.

Бывало, ночью слышались выстрелы, крики. Лежишь в темноте, до утра глаз не закроешь и ругаешь себя последним подлецом.

В комнате у меня было тепло, сверчок кричал, и так это не вязалось с убийствами, что даже не верилось. Иногда вставал и ночью выходил осторожно во двор и слушал,— ничего, только звезды полыхают над бухтой.

Но однажды зимой вышел я и слышу — стонет кто-то за оградой. Я пошел на стон. Тихо зову: «Товарищ!» Он смолк. Я выждал. Знаете, как охотники выжидают, чтобы закричал перепел. Слышу — опять стонет. Я быстро подошел, нагнулся,— вижу, человек!

Втащил я его в комнату, перевязал. Две раны у него были. Раны нетрудные, но человек потерял много крови, долго полз по степи и лежал у меня без памяти. Я его спрашивал, кто он, может быть надо что-нибудь кому передать, а он только шептал, так тихо, что я не мог ничего разобрать.

К утру он умер. Так я и не дознался, кто он. Молодой, невысокого роста, в одном белье. Никаких документов у него не осталось.

Похоронил я его ночью за огородом. Могилу копал часа три. Земля там каменистая, а рыть надо было поглубже, чтобы в случае чего не нашли. Засыпал его щебнем и завалил сухими ветками.

С севера рвалась к Севастополю Красная Армия. У белых начинался, как тогда выражались, «вселенский драп», иначе говоря — паническое бегство.

Контрразведка погрузилась на транспорт «Рион». Он стоял у пристани в Южной бухте.

Я и двое товарищей решили действовать. Достали адскую машину. Принесли в мастерскую, чтобы припаять запалы. Бывший минер Мартыненко, тот, что во время восстания на «Очакове» командовал миноносцем «Свирепый»,— маленький старик, простая душа,— стоял у двери, следил, чтобы никто не вошел, и бил кувалдой по прожектору — делал театральный гром. Искалечил прожектор вдребезги.

Запалы припаяли. Я переоделся в матросскую робу и пошел на «Рион». Шел спокойно.

«Рион» собирался отваливать.

Я протопал по трапу мимо караульного офицера. Поставил адскую машину в рундук около кочегарки. Никто не заметил. Машина была заведена на четверть часа.

За четверть часа надо было выбраться с парохода. Я решил действовать осторожно, в крайнем случае остаться на «Рионе» и взорваться вместе с контрразведкой. У меня не было часов, и я все время про себя считал до девятисот. Адская машина должна была взорваться через девятьсот секунд. Этот счет очень помог мне. Я так им был занят, что почти не волновался.

На двести двадцатой секунде я подошел к трапу, на двести тридцатой офицер сказал мне: «Ты куда лезешь, сукин сын! Сейчас отвал». Я показал ему на какую-то женщину на пристани: «Вон маруха моя стоит, принесла папирос на дорогу. Разрешите сбегать на две минуты». Он говорит: «С такой и за минуту успеешь управиться. Вали!»

На двести сороковой секунде я был за пакгаузом, а на трехсотой — уже наверху, в Пушкинском сквере. Женщина эта, между прочим, оказалась известной в Севастополе сумасшедшей старухой. Ходила она накрашенная и говорила по-французски.

Просидел я на сквере остальные шестьсот секунд. Выкурил за это время десять папирос. «Рион» отвалил, но взрыва не было.

У меня похолодело под горлом,— неужели мы ошиблись с машиной? Начал вспоминать по порядку, как мы ее заряжали и ставили запалы,— и в это время ударил взрыв. В прибрежных домах вылетели стекла. «Рион», весь в пару, осел на левый борт и начал тонуть. Почти никто с него не был спасен. Так я свел короткий счет с контрразведкой.

Красные продержались недолго. Снова пришли белые. Кое-кто знал, что я взорвал «Рион», и мне пришлось бежать от расстрела.

Я пешком пробирался в Ени-Кале. Думал, что там легче укрыться. Весь Крым был под белыми.

Шел я горами, по Яйле. Идти было трудно, порою невыносимо. Известняк покрыт большими воронками и трещинами, и я сбил себе в кровь ноги. Изредка я замечал на вершинах та-

тар-чабанов с отарами овец, но обходил их из-за собак. Горные овчарки разорвут в клочья.

Шел три дня, пока вышел к Коктебелю. Два дня я ничего не ел, раны на ногах распухли, и я ругался от боли.

Пришел в Коктебель и понял, что дальше идти не могу. Зашел к болгарам-крестьянам. Хмурый народ. Женщины и даже девочки носят у них все черное, как траур. Молодой болгарин дал мне напиться солоноватой воды и сказал:

— Здесь не дело ни сидеть, ни ночевать. Увидят солдаты — всем будет каюк. Иди к Максу.

Я спросил, кто такой Макс. Болгарин ответил, что Макс — хороший человек. Только он один может меня спрятать в Коктебеле.

Так я попал в дом к поэту Максимилиану Волошину. Все его звали Максом.

Встретил меня низенький бородатый человек, посмотрел на мои ноги, ничего не спросил и сказал: «Идите скорее за мной». Отвел меня в укромную комнату, а сам ушел. Через несколько минут пришла женщина и перевязала мне ноги. Меня накормили. Я уснул и проспал около суток.

На следующий день Волошин опять пришел и сказал, чтобы я ничего не боялся,— у него в доме белые не посмеют меня тронуть.

На десятый день я собрался идти дальше, в Феодосию. Ноги зажили, боль прошла. Волошин проводил меня до половины дороги. Он дал мне письмо в город к одному художнику с просьбой мне помочь. Я поблагодарил его. Мы расцеловались, и он долго стоял и смотрел мне вслед.

Больше я его не встречал. Только теперь, через пятнадцать лет, я пошел на его могилу в сухих горах и принес на нее с морского берега несколько гладких зеленых камней. Мне передавали, что Волошин просил его могилу засыпать морскими камнями.

В Феодосии я пробыл два дня у художника. Спал в его мастерской за неоконченными картинами, как за ширмами.

Художник — старый поляк, человек сухой и молчаливый,— меня почти не заметил. Только при первой встрече он проворчал

— Мне совершенно все равно, кто вы и почему скрываетесь. Мне нет никакого дела до офицеров и большевиков. Все вы мешаете людям работать.

— Если я мешаю, то уйду,— ответил я и пошел к двери

— Если вы выйдете раньше, чем я вам позволю,— сказал он,— то я сейчас же пойду в контрразведку и донесу на вас Поняли?

Через три дня он так же на ходу, не отрываясь от работы сказал мне:

— Теперь можете убираться.

Я ушел. Вскоре я узнал, что в городе рыскала по улицам отчаянная офицерская сотня и выйти было невозможно. В тот день, когда художник меня выгнал, сотня ушла в Симферополь

Голодный, с избитыми ногами, я добрался наконец до родного городка, до отцовского дома.

В каменоломнях под Керчью в то время сидели, как звери в норе, два партизанских красных полка. Белые выкуривали их оттуда ядовитыми газами и замуровали входы в пещеры.

Время было опасное.

Дома меня встретила мать. Заплакала и села на лавку.

Я осмотрелся кругом, и тоска вошла в сердце, как болезнь,— пусто, голодно, тараканы шуршат под обоями, а за оконцем все те же хибарки с побитыми стеклами, ходят оборванные старики, и ветер несет и несет с севера белую пыль.

— Где папаша? — спрашиваю мать.— И дайте мне чего-нибудь поесть. Двое суток я иду голодный.

Она собрала мне поесть — соленую камсу с коркой хлеба. За едой я рассказал, что мне надо скрываться. Она дрожит и утирает платком глаза. Куриная слепота у нее была, должно быть,— глаза все время слезились.

В то время я пожалел, что вернулся домой. Но делать было нечего. Я остался дожидаться отца.

Отец пришел к вечеру весь в глине, злой и усталый. Поздоровался, посмотрел на меня и молча сел на лавку. Мать принесла керосиновую коптилку, поставила на стол. Отец задул ее и все сидит, молчит в темноте. Потом сказал хрипло:

— Дура-баба, как индюшка. Лампой может нас выдать. Тебя кто-нибудь видел?

— Не знаю.

— От белых у отца решил сховаться?

Я смотрел на него, и у меня все тяжелее становилось на сердце.

— Поживешь — узнаешь. Господа офицеры каждый день на работу гоняют. Маяк теперь не горит.

— Окопы роете?

Отец молчит. Мать меня толкает в спину,— отцу в темноте не видно. Тут я догадался, что отец ходил замуровывать ходы в каменоломни. Я ничего не сказал, что решил утром уйти из дому. Голова болела от обиды за людей.

— Пулеметы на нас наведены,— сказал отец.— Под пулеметами работаем. Ты бы ложился спать, Андрюша.

Сказал он это ласково, и я чуть тогда не заплакал. Должно быть, перетерпел много и не ожидал от отца такой сердечности.

Разделся, лег и уснул. Сколько проспал — не помню. Ночью кто-то меня дергает за плечо, плачет надо мной, просит проснуться. С трудом открыл глаза. Тьма, ничего не видно. Слышу — мать шепчет:

— Андрюша, вставай. Вставай, Андрюша, смерть за тобой идет.

— Что такое?

Мать не может говорить, дыхание у нее спирает.

— Старик,— говорит,— куда-то пошел ночью. Как бы не было беды, Андрюша. Одевайся. Я проведу тебя до Анастаса. Он верный человек. Он — друг, не обманет.

— Куда пошел папаша? — спрашиваю ее.

Она трясется, молчит.

Я быстро оделся. Мать накинула дырявый платок, и мы пошли из дому. В жизни не видел я такой ночи. Ветер бьет злым снегом и галькой в лицо. Тихо в городке,— все собаки подохли от голода. Темно,— не видно своей руки.

Потом слышим — идут! Я втащил мать за рукав в какой-то двор, за ворота. Прошли.

— Это они,— говорит мать.— Винтовками брякают. И старик с ними. Я его шаг хорошо знаю.

Анастаса я помнил еще с детства. Был он грек из города Воло. Человек отважный и верный — старый контрабандист.

Я ему сказал:

— Надо бежать на тот берег пролива, в Тамань. Перевези, будь человеком.

— Скольких?

— Вот нас двоих — меня и мать.

— А старуху зачем?

— Надо.

— Едем,— говорит Анастас.— Минут пять назад «они» тут прошли. Время горит. Айда на берег! Денег твоих мне не надо.

Мать стоит в стороне и плачет. Я хотел ее успокоить, говорю:

— Не плачь, мамуся. Все, даст бог, обойдется.

Ради нее я бога помянул. А она мне отвечает:

— Не сердись на меня, Андрюша. Один ты у меня на свете, и ради того я с тобой не поеду.

Я ее, признаться, не понял. Анастас меня торопил. Ждать было нечего. Мы кинулись на берег, к дощатой пристани. Я обнял мать и соскочил в шлюпку. Отчалили.

Ветер. Человеческого голоса не слышно. Но все же мне почудилось, что на берегу кто-то не то стонет, не то плачет. Догадался, что это мать, но не до того было,— пришлось грести что есть силы.

Я гребу, а Анастас сидит на руле. Отчаянный был моряк. Ночью нюхом все знал. Одного только боялся — чтобы не попасть под «фонарь»,— так рыбаки называли прожектор с белого миноносца, сторожившего пролив.

Но «фонаря» не было видно. Белые были уверены, что в такую ночь никто не решится удирать на тот берег.

Минут через десять с нашего берега ударило несколько выстрелов. Тотчас же лег на воду огонь прожектора с миноносца. Он медленно полз по горизонту, и тут я увидел, в какую штормовую ночь мы вышли,— пролив был седой от бурунов.

— Ложись! — крикнул мне Анастас.— Ложись, зараза! Пропадешь из-за своей головы!

Мы легли на дно лодки. Дымящийся свет осторожно подходил к нам, и Анастас шепнул мне:

— А ну, как буруном нас на счастье закроет? Шлюпка моя белая, пена белая,— может, беляки не увидят.

Но в ту же минуту уключина вспыхнула и засверкала. Свет остановился на шлюпке. Он дымился и качался вместе с волнами.

— Труба! — крикнул Анастас и вскочил.— Нащупали! Сидай на весла, Андрюха, и греби, пока душа в тебе держится.

Я греб и стонал от напряжения. Я ослеп. Свет бил в лицо, пришлось грести с закрытыми глазами.

Глухо хлопнул один выстрел, потом второй, третий. Пуля звякнула об уключину и рикошетом ударила в плечо. Я сполз на дно шлюпки, где плескалась нефтяная жижа.

Анастас пересел на весла. Он греб бешено. Воздух свистел в его зубах.

Наконец, высокая волна закрыла нас, и стрелять перестали. Потом на луч прожектора наползла черная тень. Это был давно погасший плавучий маяк у таманского берега. Мы спрятались за ним и ждали, пока прожектор уйдет в сторону. Кровь текла у меня по спине. Я не чувствовал боли, но не мог пошевелить рукой.

Шлюпка ткнулась носом в берег. Анастас помог мне выйти на мокрый песок. Он дал мне кусок хлеба, махорки и спичек, завязал оторванным рукавом рану и исчез в темноте. Он даже не попрощался со мной. Я не успел его поблагодарить.

Я забился в кусты и пролежал до рассвета.

Начало светать. Я пошел по пескам к обрывистому берегу. С трудом я доковылял до одинокого рыбачьего дома и постучал в ставню. Мне было безразлично, кто живет в этом доме,— лишь бы меня пустили в тепло, к печке, дали уснуть.

Дверь отворилась, и на крыльцо выбежала девушка в теплом платке и сапогах. Она вскрикнула и прижалась к косяку. Я, должно быть, выглядел очень страшно в рваной рубахе, с окровавленной перевязкой, синий и промокший.

— Откуда это вы? — спросила девушка громким шепотом.

— Из Керчи,— я показал на пролив. Там в осеннем грязном воздухе чернели керченские горы.

Я сел на ступеньку и потерял сознание.

Пришел я в себя в белой комнате с низким потолком и тусклыми оконцами. В печке трещала солома. Пахло ржаными лепешками. От этого запаха сводило челюсти.

Были слышны два голоса — женский и мужской. Мужчина говорил, что меня надо проводить до Темрюка, а оставлять здесь опасно. Женщина упрямо повторяла одно и то же:

— Нехай остается. На человеке лица нет,— пусть передохнет

Девушка настояла на своем,— меня оставили. Девушка — звали ее Настя — все поглядывала в степь и прятала меня, как только вдали появлялся человек. Отец ее, рыбак, ворчал на меня за мою молодость. По его мнению, это был мой самый великий грех.

Старик рыбачил около Тамани и занимался мелкой торговлей.

Он открыто плавал в Керчь и возил туда сахарин, водку и пшеничные коржи. Из Керчи он приезжал трезвый, с кисетом, набитым деникинскими «колокольчиками».

До революции старик был сторожем Англо-Индийского телеграфа. Теперь от этого телеграфа в степи торчала вереница невысоких чугунных столбов. Все провода были срезаны.

Настя была девушка очень капризная и застенчивая. Со мной она не разговаривала. Подавая мне обедать, она швыряла тарелки и без причины краснела.

Когда я оправился, старик, ругаясь на чем свет стоит, отвез меня в Темрюк, потряс на прощанье руку, сунул в карман денег и наказал не позже чем через год возвращаться и не морочить дочери голову. Я был далек тогда от мыслей о девушках и женитьбе, но слова старика запомнил.

Хотя и не через год, а гораздо позже, я вернулся в Тамань. Теперь Настя — моя жена.

Во время этого возвращения я узнал от Анастаса о смерти матери и отца.

Мать в ту ночь вернулась и застала в доме отца с юнкерами из «батальона смерти». Она рассказала им, что ночью я вскочил, оделся и ушел в степь, в сторону Ак-Маная. Она якобы провожала меня до околицы. Юнкера дали несколько выстрелов в степь, арестовали мать и увели. Старушка просидела в тюрьме месяц и умерла от сыпняка.

— А отец? — спросил я Анастаса.

Он замялся.

— Погиб он вскоре после этого случая. Утонул на рыбной ловле.

— Как утонул?

— По делам вышла и смерть,— неохотно ответил Анастас. Он сделал вид, что не слышит моего вопроса.

На этом оборвалась прежняя жизнь. Я попал в Балтийский флот, окончил школу командного состава и теперь командую кораблем.

Я человек без всяких предрассудков, бывал в боях, но от одного предвзятого настроения никак не могу избавиться. Ругаю себя за это сильно. Не люблю Керчь и Ени-Кале и ни за какие блага туда добровольно не поеду. Хоть отдавайте меня под суд!»

КАРА-ДАГ

> Красота этого зрелища наполняла душу восхищением и ужасом.
>
> *Джемс Кук*

Мрачный болгарин предложил купить у него коллекцию коктебельских камней. Я было согласился, но Гарт отговорил меня. Он уверял, что мы сами можем набрать еще лучшую коллекцию

за один день, стоит только съездить в Сердоликовую бухту около Кара-Дага.

Болгарин клялся, что ничего не выйдет — у нас нет верного глаза и мы не знаем тех мест, куда море выбрасывает самые красивые камни.

Я давно слышал, что берега Коктебеля славятся камнями, но не думал, что их так много. Я брал на берегу горсть камешков, пересыпал ее на ладони и почти всегда находил несколько халцедонов, сердоликов, горных хрусталей и зеленых камешков, покрытых разноцветными слоистыми кольцами и носивших название ферлямпиксов.

Особенно много было серого мрамора и зеленого малахита с белыми и черными жилками. Они создавали на камнях удивительные пейзажи — утесы, прибои и цепи гор.

Часто попадались камешки с тончайшими рисунками растений, напоминавших папоротники.

Больше всего камней я находил на кромке прибоя после бурь. На поиски камней надо было выходить рано, как на охоту и рыбную ловлю. К полудню болгарские дети уже выбирали все самое ценное.

В Сердоликовую бухту мы поехали на шлюпке в первый же тихий день. С нами поехала Зоя.

За первым мысом на нас дохнуло застоявшейся теплотой, а под стеной Кара-Дага мы вступили в давно забытое и далекое лето.

Это было самое теплое место в Крыму. На морских побережьях меня поражала резкая смена холода и тепла на расстоянии каких-нибудь десяти километров. Горные хребты пересекали приморскую страну и делили ее на маленькие области Каждая из них обладала своей растительностью, климатом и пейзажем.

Я впервые увидел Кара-Даг.

Величие этого зрелища могло сравниться только со зрелищем Сахары, неизмеримых рек, беснующихся океанов, громадных водопадов мира и разрушительных извержений.

Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты земной коры.

Могучие жилы лавы вздымались столбами из зеленых морских глубин и останавливали далекие облака. Море не набегало волнами на каменные стены, а вспухало и медленно подымалось вверх, заливая с гулом пещеры. Потом оно так же медленно уходило вниз, как бы падало в пропасть.

Вода выливалась шумными пенистыми водопадами из пещер, выносила в водоворотах водоросли, медуз и высасывала острый воздух подземелий, уходивших под многие миллиарды тонн окаменелой магмы.

Я впервые ощутил головокружение не от взгляда вниз, а от взгляда вверх. Облака проплывали над кручами. Под облаками парили орлы.

Головокружение носилось, как испуганная птица. Всюду, куда бы мы ни смотрели, оно подстерегало нас, и мы потеряли черту земного горизонта.

Гарт подвел шлюпку ко входу в пещеру. В ней, по словам Зои, совсем недавно нашли ящик со старым серебром. В глубине пещеры, на выступах, куда не доставала волна, белели кости. Мы не могли к ним подъехать, но нам показалось, что это человеческие черепа. Мы попали в бывший приют контрабандистов.

Вся местность вокруг была полна дикости и величия. Это придавало ей таинственность, от которой у детей пересыхает горло, а у взрослых появляется на лице выражение суровости и восторга.

Стены Кара-Дага смыкались, образуя тесные бухты,— не полукруглые, как обыкновенно, а стиснутые плоскостями гранита многоугольники разнообразных размеров и форм.

В одной из таких бухт мы и качались на своей желтой шлюпке. Она казалась ничтожным осенним листом, заброшенным ветром к подножию нависавшей над морем черной громады.

С большим риском Гарт подвел шлюпку к отвесной стене, отполированной прибоем, и мы заглянули в воду.

Гранит уходил в морские глубины так же отвесно, как и подымался вверх. Водоросли держались в расщелинах. Они то тихо вытягивали, то прятали зеленые руки, пытаясь схватить стаи пугливой рыбы. Падение каменных стен в воду было настолько крутым, что крабы с трудом удерживались на них. Они беспомощно растопыривали клешни и срывались в глубину от каждого ничтожного колебания волны.

Вода в бухте казалась покрытой слоем темного оливкового масла. На ней не было ни малейшей ряби. Самый ее глухой цвет, тяжесть и вместе с тем прозрачность давали представление громадной глубины.

Со стороны моря бухта была заперта двумя скалами. Они сомкнулись лбами, но их подошвы далеко разошлись и образовали большую арку. Там жило громовое многократное эхо. Когда мы проходили под аркой, то плеск весел превратился в пенистый шум эскадры гребных судов. Эхо придавало любому звуку медный оттенок. Гарт кашлянул. Сухой кашель курильщика эхо превратило в оглушительный звук канонады, будто от скал отскакивали полые бронзовые ядра.

В бухте Зоя крикнула. С далекой вершины сорвался камень. Мы слышали, как зарождалось его падение, как он щелкал по выступам скал и со свистом пули врезался в воду.

Бухта походила на глубокое озеро в кратере вулкана. В прорезь арки была видна пена волн на подводных рифах и стаи чаек, бивших крыльями по воде.

В бухту чайки не залетали.

Около пещеры мы заметили стаю бакланов. Они качались на воде, вытягивая черные головы на длинных гусиных шеях.

Стены Кара-Дага были во многих местах рассечены от вер-

шины до поверхности моря прямыми трещинами. Иные утесы стояли одинокими колоннами, высотой в сотни метров. Было непонятно, почему они не обрушиваются от малейшего колебания воздуха.

Кара-Даг еще недавно был действующим вулканом. Он прорвал нагромождения геологических пластов, лежащих над жидкой земной магмой, вспучил их, раздвинул и поднял над морем.

Мы рассматривали сотни горных пород, то завязанных в узлы, то падавших волнами, то свисавших квадратными плитами, похожими на броню дредноутов. На одной из стен Кара-Дага был виден кратер, залитый лавой. В толще окаменелой магмы сверкали жилы сургучного сердолика.

Вода в бухте отражала скалы. Цвет их был суров, но не однообразен. Скалы были черные, красные и желтые, как охра. Изредка их перерезали пласты зеленых, белых и синеватых пород. Но у всех этих красок было общее свойство — их покрывал сизый налет, свойственный окалине. Очевидно, это были следы космического огня и пепла.

Зоя рассмотрела у подножия одной из стен небольшую каменную площадку, занесенную песком и ракушками. Мы пристали к ней на шлюпке и вышли.

Зеленоватый сумрачный воздух, наполненный солнечным дымом и желтыми отсветами скал, струился над нами. Безмолвие каменного хаоса скрывало смертельные опасности обвалов. От каждого резкого звука мы вздрагивали и смотрели вверх, где небольшая туча стояла, уткнувшись влажным лбом в глыбы гранита.

В сотый раз я пожалел, что не родился художником. Надо было передать в красках эту геологическую поэму. В тысячный раз я почувствовал вялость человеческой речи. Не было ни слов, ни сравнений, чтобы описать могущество кратеров, дыхание моря, влитого в их пропасти, крики орлов и тысячи малейших ласковых вещей — всплесков воды, прозрачных струй, солнечных зайчиков и нежнейших водорослей и медуз, сообщавших величавому пейзажу оттенок простоты и безопасности.

Не было слов, чтобы передать изгибы бухт, затененные углы, гроты, выстланные черным блеском и светлой подводной травой, темную прозрачность волн, качавших далеко внизу спины серебряных паламид и, наконец, луну, видную снизу даже днем и похожую на клубок розового пара, замерзшего в холоде недосягаемых высот.

Все надо было зарисовать и перенести на сотни полотен. Но как не было слов, так не было и красок, чтобы передать торжественность и прелесть этих мест.

Как передать на полотне отражение, имеющее глубину и объем, но вместе с тем не имеющее ничего, кроме непрерывной игры световых и красочных частиц!

Как передать амфитеатры черных гор, замыкающих полукругом неподвижный розовый день!

Здесь нужно было соединение всех человеческих усилий, содружество талантов, все средства красок, света, слов и звуков. Да, звуков, потому что тишина этого вулканического цирка была совсем не беззвучна. Сквозь нее сочилось едва заметное звучание, должно быть, похожее на то жужжание планет в мировом пространстве, о котором писали эллины.

Очень долго над Кара-Дагом не решались пролетать планеристы. Нужно было большое мужество, чтобы выдержать толчки мощных воздушных потоков, рвущихся вверх из теснин этой горы.

Первый планер разбился в одной из бухт. Видел его падение поэт Максимилиан Волошин — певец и старожил Коктебеля. Он послал к Кара-Дагу рыбаков, и они нашли спасшегося планериста. Он цеплялся за незаметные выступы отвесной скалы. Если бы помощь запоздала на несколько минут, планерист сорвался бы со скалы и утонул.

Мы отъехали на шлюпке к скалам, кое-как привязались к одной из них и занялись рыбной ловлей.

Шнур провисал до самого дна, как лот, и туго дрожал от подводных течений. Изредка резкий удар давал знать, что взяла рыба.

Зоя вытащила громадную камбалу — палтуса, диковинную рыбу с глазами на спине. Она шла тяжело, покачиваясь и перебирая плавниками. Зоя хохотала.

Начался азарт. Я подсек большую султанку. Эта серебряная рыба с огромными глазами, когда ее вытаскиваешь из воды, покрывается пурпурными пятнами.

Гарту не везло. Он таскал только крабов. Они бегали боком по шлюпке, прятались под решетчатый пол и смотрели оттуда на Гарта яростными глазами, то выдвигая их, то пряча, как театральные бинокли.

Гарт схватил одного за спину и, морщась от папиросы, показал мне и Зое его мощные клешни. Одна клешня была приспособлена для раздавливания, другая для того, чтобы хватать.

Гарт дал крабу зажать клешней лапу маленького железного якоря-кошки и поднял краба вверх. Краб с грохотом потащил за собою якорную цепь. Гарт рассказал, что краб может держать в клешне тяжести, в тридцать раз превышающие вес его собственного тела.

Только в конце ловли Гарту повезло больше всех. Он вытащил морского петуха — черную рыбу с двумя громадными плавниками лазоревого цвета. Плавники по величине напоминали крылья.

За рыбной ловлей Зоя рассказала нам о гибели француза Бертело.

Этот французский турист приехал в Крым, чтобы осмотреть кипарис, посаженный Пушкиным в Гурзуфе, скалы «Дива» и «Монах», водопад Учан-Су, а заодно и другие, затасканные обывательским любопытством «прелести юга».

Гарт перебил Зою. Он заметил, что нигде в Союзе он не встречал такого количества пошлых открыток, картинок и описаний красот, как в Крыму.

Гарт предложил беспощадно выгнать из Крыма бродячих фотографов — главных распространителей дешевого вкуса. Это они снимают жирных бухгалтеров в обвисших трусиках рядом с девственными цветущими магнолиями, а хихикающих и кривоногих девиц заставляют обнимать спокойные и торжественные статуи Диан и Нереид.

Выслушав Гарта, Зоя окончила свой рассказ о Бертело.

Этот француз, учитель географии, устал от тюбетеек, кизиловых палок с рогатками и коробок, облепленных раковинами и называющихся почему-то «Привет из Ялты». Он устал от ялтинской толпы, слоняющейся по набережной с упорством маньяков. Кто-то посоветовал ему отдохнуть от Ялты в Коктебеле.

Бертело приехал. Он был поражен тем, что попал из сусальных курортов в сухость и простор, напоминающие Македонию. Красные маки цвели в шиферных горах. Суровые горы, небо, сухая трава, воздух и море — больше в Коктебеле ничего не было.

Но сильнее всего Бертело поразил Кара-Даг. Он проводил целые дни у его подножия. Он, смеясь, говорил, что заболел неизлечимой болезнью, носящей название «карадагизм».

Через год он снова приехал в Коктебель. Ему хотелось обязательно проникнуть на Кара-Даг с суши. Это предприятие считалось невозможным, но Бертело все же поднялся на Кара-Даг.

Был сильный ветер. На одной из остроконечных вершин на Бертело напали горные орлы. Отбиваясь от них, он потерял равновесие и упал в пропасть. Тело его нашли не скоро.

ГОРНАЯ РОСА

Из Коктебеля в Старый Крым вела заросшая почтовая дорога. Она шла в ущельях, покрытых дубовым кустарником и буковым лесом.

Лес уже опадал. Колеи были засыпаны рыжими листьями. Кое-где еще цвели маленькие желтые одуванчики, но вся трава уже высохла. Черные стволы буков обвивал свежий плющ. Его зеленые листья перемешивались с багровой осенней листвой. Казалось, что на плюще сидят сотни красных бабочек.

Мы с Гартом пошли в Старый Крым, за восемнадцать километров от Коктебеля, чтобы посмотреть развалины первой столицы Крыма — Солхата. Они еще сохранились в Старом Крыму.

Маленький белый город лепился на последних отрогах Крымских гор. Вековые орехи протягивали черные ветви над черепичными крышами. У подножия деревьев сидели сонные старики. Они торговали овощами и дешевыми феодосийскими папиросами.

Листья ореха лежали на земле тусклыми зелеными пятнами.

Редкие прохожие давили их чувяками. Тогда острый запах возникал в тени вянущих деревьев и долго не исчезал.

Старый Крым был пустынен. Он напоминал нашу русскую деревню во время покоса, когда в избах остаются одни младенцы и старики. Мы долго бродили по улицам, где, кроме собак и дозревающего шиповника за оградами, никого и ничего не было.

Гора Агармыш бросала синий отсвет на заброшенный город.

Мы искали развалины Солхата и, наконец, нашли. Они были печальны и запущены. Разбитые надгробья тонули в бурьяне. К надгробьям кто-то привязал несколько старых коз с желтыми глазами.

На развалинах мечети мы встретили черного человека и двух рабочих-татар. Татары лениво разгребали щебень широкими лопатами и звенели ими о камни.

Мы подошли и увидели неглубокую яму. В ней лежала старинная гончарная труба, покрытая пылью.

Черный человек оказался очень словоохотливым. Он вовсе не был археологом, производившим раскопки, как предполагал Гарт. Он назвал себя мелиоратором, работавшим над разрешением сложной задачи об орошении восточного Крыма. Фамилия его была Левченко.

Он сразу же заговорил с нами как со старыми знакомыми и остался очень доволен тем, что мы пришли в Старый Крым только для того, чтобы побродить по этим древним местам.

— Уважаю любопытных людей,— сказал Левченко и тут же вызвался показать нам город. Гарт поморщился. Он не выносил попутчиков и боялся их назойливых разговоров. Но делать было нечего, и мы согласились.

Левченко отпустил рабочих. Мы пошли за город, в сторону Агармыша. Холмы вокруг были покрыты множеством засохших цветов, еще не утративших запаха.

Из разговора с Левченко выяснилось, что он был человеком того склада, когда профессия, вопреки обычному положению вещей, ничего не говорит об умственном уровне и круге интересов.

Это был человек вне профессий, или, вернее, человек, умевший вокруг своей профессии объединить много интересных познаний, мыслей и выводов, как будто и не связанных непосредственно с его основным делом.

Мне приходилось встречать моряков, умевших извлечь много любви к своему делу из знакомства с живописью, и художников, обогативших живопись благодаря знакомству со спектральным анализом и метеорологией.

Только ум, умеющий проследить неразрывную связь на первый взгляд несовместимых явлений, может создавать большие ценности.

Левченко не был археологом, но случайно в запылившемся докладе давно умершего ученого он прочел, что во время раско-

пок в Солхате, в восточном Крыму, были найдены разбитые гончарные трубы.

Левченко знал, что в средние века Солхат считался одним из самых цветущих городов Востока. Одно время Солхат соперничал с Багдадом и Дамаском. Он был окружен богатыми садами.

Сами собой напрашивались выводы. В Солхате было большое население, много садов, и поэтому город не мог жить без обильной и хорошей воды. Значит, вода была и исчезла только в последние времена.

Откуда же ее доставали?

Гончарные трубы говорили о существовании древнего водопровода. Они давали возможность раскрыть загадку, погребенную под пылью многих столетий.

Левченко приехал в Старый Крым и занялся изучением этой каменистой земли.

Он увеличил на одного человека число чудаков, копавшихся на развалинах мечетей, и число стариков кладоискателей.

Почти все население Старого Крыма занималось поисками кладов. Звон лопаты о пыльный металл или мраморную капитель колонны, гулкий стук, говоривший о наличии подземных пустот,— все это волновало Левченко не меньше, чем опытных археологов и стариков кладоискателей. Разница была лишь в том, что старики искали золотые монеты, а Левченко — никому не нужные гончарные трубы.

Левченко проследил подземные пути труб. Они шли на Агармыш и на соседние сухие горы, где не было ни одного источника пресной воды. На вершинах гор трубы упирались в разрушенные каменные бассейны, засыпанные галькой.

Тогда Левченко догадался: Солхат собирал и пил горную росу. Она оседала на гальке, конденсировалась на ней во время переходов от ночного холода к жарким дням и стекала на дно каменных бассейнов. Оттуда по трубам роса струилась в мраморные городские фонтаны.

— Вы представляете,— сказал Левченко,— какую вкусную и душистую воду пили в Солхате!

По лицу Гарта я увидел, что от его раздражения против непрошеного попутчика не осталось и следа.

Открыв эти бассейны в горах, Левченко занялся изучением росы. Ее выпадало так много, что она могла дать воду не только Старому Крыму, но и всем окрестным полям и садам.

По словам Левченко, уже сейчас можно было получать росу из некоторых старинных цистерн. Нужно было только их расчистить и починить.

Мы вошли в редкий буковый лес на склонах Агармыша. Палый лист всех цветов — от лимонного до черного и от серого до пурпурного — лежал на траве, мокрой от крупной росы.

Синие тени деревьев придавали игре красок, рассыпанных по земле, необыкновенное разнообразие.

Весной окрестные леса тонут в непроходимой чаще цветов — в бересклете, крушине, боярышнике, маках, подснежниках, ландышах и аруме. Весной в Старый Крым привозят больных и лечат их ваннами из целебных трав и цветов.

Гарт остановился. Он снял шляпу и дышал теплым воздухом леса.

— Я свалял дурака,— сказал он мне и засмеялся.— Я согласился написать для Юнге рассказ о боре. Старик надеется, что это поможет осуществить проект о туннелях под хребтом Варада. Теперь же мне хочется заняться росой. Это мне больше по душе,— космические вещи меня пугают.

— А вы сделайте и то и другое.

— Придется,— вздохнул Гарт.

Но космические вещи продолжали преследовать Гарта. Левченко рассказал о двух проектах орошения Крыма. По одному проекту предполагалось перегородить узкий Керченский пролив плотиной, чтобы закрыть прилив в Азовское море соленой черноморской воды. Через несколько лет Дон и Кубань превратили бы это море в пресное озеро, а сеть насосных станций и каналов оросила бы азовской водой степной засушливый Крым. Этот проект был отвергнут. Был принят проект, по которому часть вод Днепра по каналам пойдет от Каховки в крымские степи. Но осуществление этого проекта еще не началось.

ПОДЗЕМНАЯ ВОЙНА

И, разогнав крутые волны дыма,
Забрызганные кровью и в пыли,
По берегам широкошумным Крыма
Мы красные знамена пронесли.

Эдуард Багрицкий

Мы вернулись в городок и зашли в маленький ресторан. Кроме нас, никаких посетителей не было, если не считать старого пса-крысолова. Он деликатно открыл дверь лапой и разлегся у наших ног. Он вздыхал и искоса поглядывал на нас, как бы спрашивая, когда мы наконец перестанем говорить. Говорили не мы, а один Левченко.

Кофе наш остыл. Заведующий рестораном — татарин — уснул за стойкой.

— Впервые я столкнулся с археологией очень диковинно,— рассказывал Левченко.— Это было в Керчи, в тысяча девятьсот девятнадцатом году, при белых.

Я вернулся из германского плена, пробирался к себе на родину, в станицу Тихорецкую, и застрял в Крыму. Отец мой был машинистом на Северокавказской дороге.

Я вступил в знаменитые партизанские отряды Евгения Колдобы. Действовали мы на Керченском полуострове и все время тревожили белых.

Тогда Крым был уже отрезан от севера. Дрались мы на

свой страх и риск. В конце концов белые загнали нас в керченские каменоломни.

Под Керчью и горой Митридата переплетаются сотни подземных ходов, выбитых в желтом известняке. Они образуют лабиринт на многие километры. Никто, кроме бродяг, прятавшихся в этих подземельях, и археологов, их не знает. Керчь стоит на земле, ноздреватой, как губка.

Каменоломни всегда наводили страх на керчан,— в них скрывались бандиты. Их там не могли разыскать годами.

Выходов из подземелий было много. Можно было спуститься под землю в Керчь, а выйти в степи за пять-шесть километров от города.

Керченские подземелья создавались столетиями. Их называют каменоломнями, но это не совсем точно. Сначала это были катакомбы первых времен христианства, подземные убежища еще более ранних времен, а потом каменоломни и штольни, вырытые для раскопок. Все это слилось в один подземный город.

Нас загнали в каменоломни около Аджимушкая.

Мы пытались делать вылазки, но белые постепенно замуровывали вход за входом. Незамурованные входы они оплетали колючей проволокой и ставили вблизи пулеметы.

При каждой попытке прорваться они поливали подземелья пулями и забрасывали ручными гранатами.

Мы сидели в темноте, почти без воды и света. Нефть мы берегли для факелов на случай переходов по катакомбам и вылазок. Обыкновенно горели у нас коптилки.

Я сказал слово «обыкновенно» и понял, насколько оно не подходит к тому, что происходило с нами. Все это было совсем не обыкновенно, а страшно и почти неправдоподобно.

Коптилки освещали трупы товарищей, умерших от ран и сыпняка. Раны гнили.

В нескольких местах вода капала со стен. Это было единственным нашим спасением. Запасы черствого хлеба иссякали.

Первые дни мы потратили на то, чтобы отделить раненых и больных. В одной из катакомб мы устроили подземный лазарет.

Заведовал им единственный среди нас ученый человек, археолог Назимов — худой и бледный заика. Он носил желтые очки. Мы даже находили в себе силы смеяться над его очками. Он не снимал их, несмотря на полную темноту катакомб.

Назимов болел страшной болезнью — тромбозом мозга. В мозговых сосудах образовались сгустки крови — пробки. Каждую минуту он мог умереть от кровоизлияния в мозг. Он, заикаясь, говорил, что единственное лекарство от этой болезни — пуля в голову и поэтому смерть ему не страшна.

Звали мы его «Обер-крот». Он прекрасно знал катакомбы. Еще до революции он излазил их в поисках древних погребений. Если бы не он, мы бы заблудились в подземном городе и пропали.

Он выбирал места для стоянок и выводил нас в случае

опасности. Он пользовался стареньким детским компасом, да и тот плохо работал. Около Керчи находятся богатые залежи железной руды. Это вечно сбивало с толку игрушечный компас Назимова. Он рыскал в стороны, как пароход с расшатанным рулем. Назимов больше действовал по приметам и подземному чутью, чем по компасу.

В первое время нам удавалось прорываться на-гора́, как говорят шахтеры, налетать на белых и без остатка уничтожать их отряды.

Тогда́ белые усилили охрану выходов. Начались взрывы.

Однажды из «лазарета» к Колдобе приполз раненый. Он сказал, что наверху творится неладное.

— Что? — спросил Колдоба.

— Роют,— ответил раненый.— У нас в лазарете людям нечего делать, как только дожидаться смерти да слушать. Вот и слушаем. Если кто и застонет, мы просим его помолчать для нас всех, для товарищей. Иной человек умирает, а ему кричат: «Потерпи, не стони, друг дорогой». И он делает уважение и помирает тихо, как слабый ребенок. Тяжко лежать, командир. Лежишь, ловишь ухом, что там наверху, на белом солнце,— и ни голоса, ни крика, ни выстрела,— одна эта подземная глухота!

— А что вы слушаете, чего дожидаетесь? — спросил Колдоба.

— Того, чего и ты, командир,— тихо ответил раненый.— Надземного боя мы ждем. Ждем, чтобы наши прорвались в Керчь и ослобонили от гибели. Одна у нас думка про это. А вот сегодня стало нам слышно...

— Рассказывай! — коротко приказал Колдоба.

— Стало нам слышно,— шепотом сказал раненый,— роют прямо над головой. Скрипит что-то и скрипит, как сверло. Ты мне поверь, я это дело знаю,— белые закладают бурку и сделают вскорости взрыв.

Мы прислушались. С пятисаженной высоты доносился тупой звук ударов и скрежет. Потом шум затих.

Колдоба приказал партизанам рассыпаться по катакомбам и не держаться толпами. Раненые начали переползать в глубь подземелий.

Зажгли факелы и приготовились к переходу, но в это время тяжело ухнули своды. Густая пыль полетела с потолка и засыпала факелы. Гром обвала покатился к недрам земли. Горячий воздух сбил меня с ног и почти расплющил о камни.

В темноте бежали и кричали люди. Выли придавленные. С гулом и шорохом продолжала оседать земля.

Взрывом было убито около сорока человек. Когда смятение улеглось, мы зажгли факелы и начали переходить на новое место. Впереди шел Назимов. Шествие при факелах в пыли и чаду катакомб напоминало бегство мертвецов из ада.

После этого дня взрывы становились все чаще. Мы каждый раз уходили от них. Тогда белые решили затопить катакомбы

водой. Для этого надо было поставить мощные насосы и качать воду из моря. Нашелся какой-то шустрый инженер и сорвал этот проект. Он доказал, что затопление катакомб не даст результата. Керченский камень ноздреват. Катакомбы полны подземных стоков и воронок. Камень быстро всосет воду и сбросит ее обратно в море. Вода даже не дойдет до тех штолен, где засели партизаны.

Взамен воды инженер предложил пустить в катакомбы по желобам серную кислоту. От соединения с кислотой известняк каменоломен должен был выделить громадное количество углекислого газа. Этот газ инженер предлагал задувать аэропланными пропеллерами на самое дно подземелий и травить нас, как мышей.

Но и этот способ оказался чересчур сложным. Белые решили действовать проще. Они пускали в катакомбы «обыкновенные» удушливые газы.

Мы уходили от них, но все же каждый день у нас отравлялось газами по нескольку человек.

Участились случаи сумасшествия. Люди открывали беспорядочный огонь по темным закоулкам подземелий. Иной раз всех охватывали слуховые галлюцинации: мы ясно слышали отголоски жестокого боя на земле, оттуда только и могло появиться избавление.

Мы пришли в отчаяние. Мы требовали вылазки. Мы не хотели ждать и с неистовым упорством искали под землей выходы, еще не известные ни нам, ни белым.

Наконец, такой выход нашелся. Он вел в разрушенный сарай на склоне горы Митридата.

Ночью мы вышли наружу. Бойцы шатались и падали. Сырой весенний воздух разрывал отекшие от духоты легкие.

К рассвету мы ворвались в город. К нам присоединились рабочие. Началось знаменитое кровавое керченское восстание. Оно обошлось белым дорого. Если бы не английская морская пехота, белым пришел бы конец.

Дрались мы несколько дней. Дрались всем, что попадало под руку, даже камнями. Мы спустили с круч Митридата сотни громадных глыб. Они смяли и обратили в бегство отборные офицерские отряды.

Но, потеряв две трети людей, мы снова ушли в катакомбы. Во время вылазки мы узнали, что надеяться не на что — красные части были далеко, за Сивашем и Чонгарским перешейком.

Колдоба был убит. Мы похоронили его ночью в запущенном саду. Партизан Василиади, матрос-грек, сломал несколько цветущих веток миндаля и бросил на могилу.

Мы скрылись в новых катакомбах, узких и не таких запутанных, как прежние. Входов в них было мало. Белые оцепили их все до единого.

Тогда мы поняли, что пришел настоящий конец. Несколько раз мы жестоким огнем отбивали белых, пытавшихся вор-

ваться под землю. Но силы слабели. Если мы еще могли сопротивляться врагу, то не могли переносить жажду. В новых катакомбах не было ни капли воды. Надо было или сдаваться, или умирать.

Сдача означала ту же смерть, только более мучительную и подлую. Мы решили пробиваться и идти на смерть в бою, но не на расстрелы и пытки.

Тут случилась короткая отсрочка. Однажды мы услышали над головой далекие раскаты грозы. Партизаны долго ждали ливня, и он, наконец, разразился.

Потоки мутной воды хлынули по главному ходу каменоломен Мы сбились в боковых пещерах, лежали на земле и пили, пили до беспамятства, до потери сознания.

Все было наполнено водой — манерки, бутылки, пулеметные кожухи и кепки.

Но через день воды опять не хватало. Иные из нас жевали намоченные в дождевой воде шинели.

Неожиданно тонкий запах угара просочился на дно галерей. Мы зажгли факелы и бросились в глубь катакомб. Факелы, опущенные к полу, быстро гасли,— нас отравляли углекислым газом Белые стали лить в подземелья по желобам серную кислоту. В угаре задохся матрос Павлинов — веселый и насмешливый человек.

Белые ворвались в противогазах в подземелья, но побоялись идти вглубь. Они нашли Павлинова, привязали его к постромке лошади и погнали ее наверх. Павлинов был еще жив. Камни изорвали его тело в клочья. Лошадь выволокла в степь изуродованный труп.

И вот в это время последнего отчаяния и приближения смерти ко мне подошел археолог Назимов, наш Обер-крот. Он сказал мне, что нашел выход в степь, не охраняемый белыми

К тому времени болезнь Назимова усилилась. Он непрерывно тряс головой. Глаза у него быстро дрожали, как дрожат листья осины даже без ветра.

— Надо проверить,— сказал я.— Ты совсем стал слепой

— Проверим,— ответил Назимов.

Мы незаметно пошли к выходу. Назимов не доверял своим глазам и шел по телефонному проводу. Его он протянул для верности от вновь открытого входа до нашей стоянки.

Недалеко от входа Назимов сел отдохнуть. Он стал худ до того, что, казалось, фуражка не держалась у него на голове На каждом шагу он спотыкался.

— Вот, Степан,— сказал он мне, когда мы сели,— думал ли я когда-нибудь, что на месте этих раскопок будет подземная бойня и придется мне умирать вместе с вами?

— Надо полагать, что ты об этом не думал,— ответил я

Мы помолчали. Назимов встал, цепляясь за камни.

— Ну, пошли. Жить мне хочется, Степан. Если бы жить! Целыми днями я мог бы рассматривать сухой бурьян или осколок стекла под водой.

— А к чему это? — спросил я.

— А к тому,— ответил он,— что в каждом пустяке есть большой смысл. Кончится война, останешься жив — тогда поймешь и узнаешь. А сейчас — пошли!

Мы дошли до выхода. Он тянулся под плитой известняка. Я выглянул из-под плиты и увидел звездное небо.

Мы вылезли. Степь в росе и тишине лежала кругом. Я дышал, как запаленная лошадь, но вместе с чистым воздухом вдыхал запах дыма.

— Откуда дым?

Мы поползли по мокрой траве. Я полз и слизывал росу со своих ладоней. Воспоминание об этом помогло мне недавно, когда я открыл разрушенные цистерны на Агармыше. «Откуда здесь может быть вода?» — подумал я и вдруг с такой ясностью вспомнил свои грязные ладони, полные росы, что никаких сомнений у меня не осталось. Задача была решена.

Мы ползли, пока не заметили костер и солдат в английских шинелях. Они чистили при огне пулемет.

Все было кончено. Этот выход охранялся так же, как и другие.

— Что делать, Обер-крот? — спросил я Назимова, когда мы опять спустились в катакомбы.

— Выйти здесь и через степь и Арабатскую стрелку уходить на север. Здесь все равно нас перебьют, как котят

Голова у Назимова затряслась. Он задумался.

— А что, если мы сделаем так...— сказал он и остановился,— если мы сделаем так... Я открою пулеметный огонь у главного входа, подыму шум и все белые заставы оттяну на себя, а вы тем временем выйдете.

— Одному не справиться. Шум нужно делать большой.

— Вызовем охотников.

— Не будет охотников,— ответил я.— Не будет. Безнадежное это дело.

— Посмотрим.

Я не верил в это рискованное предприятие, но Назимов, в ответ на мои возражения, только молчал.

Он созвал бойцов, рассказал им, в чем дело, и спросил:

— Есть охотники оставаться со мною?

Бойцы молчали.

— Есть охотники?

Тогда с полу поднялся раненный в ногу партизан Жуков и сказал хриплым голосом:

— Я пойду с тобой, ученый. Мне все равно до Арабата не дойти. Днем позже, днем раньше...

Жуков снял шапку и сказал громко:

— Товарищи бойцы, которые трудно раненные! Говорю до вас. Чем оставаться здесь на собачью муку, возьмем винты и спасем уцелевших товарищей.

— Чего гавкать! Давай патроны! — закричал один из раненых.

Через несколько минут раненые двинулись к главному входу. Назимов, шатаясь, шел впереди стонущего и окровавленного войска, ползущего на животах и цепляющегося за выступы скал. Мы сняли шапки и смотрели им вслед.

Потом мы пошли к выходу в степь, а у главного входа начался ураганный огонь и крики «ура».

Смятение охватило белых. Они бросились к главному входу Сигнальные ракеты с шипением понеслись в небо.

Бой разгорался за нашей спиной. Мы быстро прошли мимо брошенных костров в степь. Через два часа мы уже шли вдоль пустынных берегов Азовского моря.

Сначала мы слышали все более редкие крики и выстрелы, потом огонь стих. Разыгранный бой подошел к концу.

Через несколько лет мне удалось узнать подробности смерти Назимова и наших раненых товарищей. Узнал я это из записок белого офицера.

«Последний отряд партизан,— писал он,— целиком состоял из тяжело раненных. Они дрались, надо отдать им справедливость, с упорством людей, одержимых навязчивой идеей смерти. Командовал ими человек в очках, настолько худой, что издали он напоминал огородное пугало. Партизаны дрались с нами только затем, чтобы погибнуть от пули в открытом бою, а не быть расстрелянными в контрразведке. Их мужество вызвало восхищение даже некоторых офицеров. Только английские наблюдатели оставались, как всегда, совершенно бесстрастными».

Так кончилась подземная война. Недавно в керченских каменоломнях были произведены последние раскопки. Мы отыскали кости погибших и похоронили их в братской могиле.

Левченко замолчал. Пес, встревоженный нашим молчанием, встал, зевнул и потрогал Гарта грязной лапой, чтобы заинтересовать его в своем существовании. Гарт бросил ему кусок белого хлеба. Пес сглотнул его в воздухе, не сморгнув глазом. Послышался звук откупоренной бутылки.

СКАЗОЧНИК

В Старом Крыму провел последние дни своей жизни и умер писатель Грин — Александр Степанович Гриневский.

Грин — человек с тяжелой, мучительной жизнью — создал в своих рассказах невероятный мир, полный заманчивых событий, прекрасных человеческих чувств и приморских праздников. Грин был суровый сказочник и поэт морских лагун и портов. Его рассказы вызывали легкое головокружение, как запах раздавленных цветов и свежие, печальные ветры.

Грин провел почти всю жизнь в ночлежных домах, в грошовом и непосильном труде, в нищете и недоедании. Он был матросом, грузчиком, нищим, банщиком, золотоискателем, но прежде всего неудачником.

Взгляд его остался наивен и чист, как у мечтательного маль-

чика. Он не замечал окружающего и жил на облачных, веселых берегах.

Только в последние годы перед смертью в словах и рассказах Грина появились первые намеки на приближение его к нашей действительности.

Романтика Грина была проста, весела, блестяща. Она возбуждала в людях желание разнообразной жизни, полной риска и «чувства высокого», жизни, свойственной исследователям, мореплавателям и путешественникам. Она вызывала упрямую потребность увидеть и узнать весь земной шар, а это желание было благородным и прекрасным. Этим Грин оправдал все, что написал.

Язык его был блестящ. Беру отрывки наугад, открывая страницу за страницей:

«Где-то высоко над головой, переходя с фальцета на альт, запела одинокая пуля, стихла, описала дугу и безвредно легла на песок рядом с потревоженным муравьем, тащившим какую-то очень нужную для него палочку».

«Он слушал игру горниста. Это была странная поэзия солдатского дня, элегия оставленных деревень, меланхолия хорошо вычищенных штыков».

«Зима умерла. Весна столкнула ее голой розовой и дерзкой ногой в сырые овраги, где лежа ничком, в виде мертвенно белых, обтаявших пластов снега, старуха дышала еще в последней агонии холодным паром, но слабо и безнадежно».

Грин хорошо выдумывал старинные матросские застольные песни:

Не шуми, океан, не пугай,
Нас земля напугала давно.
В южный край —
В светлый рай
Приплывем все равно!

Он выдумывал и другие песенки — шутливые:

Позвольте вам сказать, сказать,
Позвольте рассказать,
Как в бурю паруса вязать,
Как паруса вязать!

Позвольте вас на салинг взять.
Ах, вас на салинг взять,
И в руки мокрый шкот вам дать.
Вам шкотик мокрый дать!

В Старом Крыму мы были в доме Грина. Он белел в густом саду, заросшем травой с пушистыми венчиками. В траве еще свежей, несмотря на позднюю осень, валялись листья ореха. Слабо жужжали последние осы.

Маленький дом был прибран и безмолвен. За окном легкой тучей лежали далекие горы.

Простая и суровая обстановка была скрашена только одной гравюрой, висевшей на белой стене,— портретом Эдгара По.

Мы не разговаривали, несмотря на множество мыслей, и с величайшим волнением осматривали суровый приют человека, обладавшего даром могучего и чистого воображения

Старый Крым сразу изменился после того, как мы увидели жилище Грина и узнали простую повесть его смерти.

Этот писатель — бесконечно одинокий и не услышанный в раскатах революционных лет — сильно тосковал перед смертью о людях. Он просил привести к нему хотя бы одного человека, читавшего его книги, чтобы увидеть его, поблагодарить и узнать, наконец, запоздалую радость общения с людьми, ради которых он работал.

Но было поздно. Никто не успел приехать в сонный, далекий от железных дорог провинциальный город.

Грин попросил, чтобы его кровать поставили перед окном, и все время смотрел на горы. Может быть, их цвет, их синева на горизонте напоминали ему любимое и покинутое море.

Только две женщины, два человека пленительной простоты были с Грином в дни его смерти — жена и ее старуха мать.

Перед уходом из Старого Крыма мы прошли на могилу Грина. Камень, степные цветы и куст терновника с колючими иглами — это было все.

Едва заметная тропинка вела к могиле.

Я подумал, что через много лет, когда имя Грина будет произноситься с любовью, люди вспомнят об этой могиле, но им придется раздвигать миллионы густых веток и мять миллионы высоких цветов, чтобы найти ее серый и спокойный камень.

— Я уверен,— сказал Гарт, когда мы выходили за город на старую почтовую дорогу,— что наше время — самое благодарное из всех эпох в жизни человечества. Если раньше могли быть забытыми мыслители, писатели и поэты, то теперь этого не может быть и не будет. Мы выжимаем ценности прошлого, как виноградный сок, и он превращается в крепкое вино. Этого сока в книгах Грина очень много.

Я согласился с ним.

Мы вышли в горы. Солнце катилось к закату. Его чистый диск коснулся облетевших лесов. Ночь уже шла по ущельям. В сухих листьях шуршали, укладываясь спать, птицы и горные мыши.

Первая звезда задрожала и остановилась в небе, как золотая пчела, растерявшаяся от зрелища осенней земли, плывущей под ней глубоко и тихо.

Я оглянулся и увидел в просвете ущелья тот холм, где была могила Грина. Звезда блистала прямо над ним.

НОЧЬ НА ШАЛАНДЕ

В Новороссийске я встретил Денисова. Он зашел со мной в номер гостиницы, где Гарт сидел над рассказом о боре. Юнге не было. Старик уехал на метеорологическую станцию на Мархотский перевал к своему другу-метеорологу, известному в Новороссийске под прозвищем «Мархотского узника».

Двадцать лет он просидел на этом перевале, всегда затя-

нутом туманами, и изучал бору. Он пытался найти точные признаки для предсказывания боры, но это ему не удавалось. Бора зарождалась с внезапностью взрыва.

Каждый день и каждый час Новороссийск — один из прекраснейших, обширных и глубоких портов Черного моря — мог ждать предательского удара этого неистового ветра.

Денисов работал в Новороссийске по подъему затопленного в 1918 году миноносца. Он предложил мне и Гарту поехать на подъем. Мы тотчас согласились.

Гарт торопился и нервничал. Ему хотелось удрать на подъем до прихода Юнге. Иначе старик начнет его упрекать за лень и отлынивание от работы.

Мы пошли на пристань. Каково же было мое удивление когда я увидел «Смелого», изрыгавшего, как принято было выражаться в старинных рассказах, клубы черного и жирного дыма

Баранов радостно приветствовал нас и принял к себе на борт, чтобы доставить к мысу Дооб, где работала судоподъемная партия.

Стоя на мостике, Баранов поглядывал на Мархотский перевал. Там появился косматый туман. Он переползал через гору Туман этот моряки звали «бородой». Появление его предшествует боре.

Я стоял рядом с Барановым и тоже смотрел на «бороду» Пасмурное небо свалилось на город тяжелой мешаниной туч Сеялся редкий дождь. Белесое море казалось мертвым Изредка солнечный свет прорывался сквозь пелену облаков. Он окрашивал зимнюю воду в розовый мутный цвет.

Зима вступила в свои хмурые права. Густой дым клубился над крышами. Весь день горели на улицах высокие фонари, и как всегда зимой, особенно сильно парили трубы пароходов и катеров. Изморозь трещала под ногами на каменных молах.

У мыса Дооб мы перешли со «Смелого» на водолазную шаланду. В это время спускали водолаза. Его скафандр еще торчал над водой, как металлический пузырь. Водолаз, увидев меня, начал махать резиновой рукой и махал ею, пока не скрылся под волнами. Через толстые стекла скафандра я узнал Мухина.

На шаланде нас шумно приветствовал Медлительный. Он сегодня уже спускался на дно крепить понтоны к миноносцу Поэтому он жаловался на «невыносимые мурашки в голове»

Денисов объяснил нам способ подъема. Он был прост. К затонувшему кораблю прикреплялись громадные железные ящики или резиновые шары — их называют понтонами. В понтоны накачивался воздух. Понтоны всплывали и подымали корабль.

Этот способ казался простым на словах, на самом же деле был труден и опасен. Понтоны часто срывались. Кроме того было почти невозможно определить вес подымаемого корабля,— корабль присасывался к грунту, иногда уходил в него до по-

ловины, и все помещения корабля были занесены толстым слоем синего черноморского ила.

После отрыва от дна корабль вылетал на понтонах на поверхность стремительно и бурно, как пробка. Вылет с больших глубин шел не дольше пятнадцати секунд.

Картина подъема производит на новичков впечатление катастрофы. Море кипит крутыми волнами и пеной от вырывающихся из понтонов воздушных струй. Потом вылетают понтоны и выскакивает корма или нос корабля, покрытые травой, ракушками и крабами.

Иногда, не выдержав удара о воду, стальные тросы лопаются, и корабль опять проваливается на дно. Тогда вся медленная подводная работа начинается сначала.

Мы приехали ко времени подъема миноносца. Водолазы спустились, чтобы проверить последний раз крепление понтонов, но их сейчас же подняли на поверхность, разыгрывался шторм. Подъем пришлось отложить.

Мы с Гартом были в каюте шаланды, когда снаружи послышался звук, очень похожий на удар о железо тяжелого снаряда. Это ударил в палубу первый порыв ветра.

Шаланда подпрыгнула, запела и засвистела всеми частями, как громадная расшатанная флейта.

Мы выскочили наверх и увидели в седой мгле рыжую корму «Смелого», неистово вертевшего винтами.

Ветер сорвал со «Смелого» кормовой флаг. Хрипя и взлетая на волнах, буксир исчез в тумане и собственном дыму.

Затем он появился снова. Баранов закричал нам в рупор, чтобы мы приняли буксирный конец — «Смелый» решил отвести нас в порт. Но ни подать, ни принять буксирный конец не было возможности.

«Смелого» начало заливать. Он, бросив нас, пошел в Новороссийск. Мы остались одни и провели на шаланде весь день и штормовую ночь.

Днем было относительно спокойно, хотя волна и колотила в корму шаланды. Пока можно было оставаться на палубе, мы часто подымались на бак и смотрели на море.

В кипящей мгле метался силуэт океанского парохода. Он стоял носом к ветру и страшно дымил, из последних сил работая машинами. Его выбрасывало из волн до половины корпуса. Тогда в тумане блестело днище, закрашенное суриком и покрытое пятнами морской травы. Мы видели, как пароход сбивало на песчаную косу, где сшибались буруны. Пароход нес на мачтах флаги. Денисов, присмотревшись, перевел нам сигнал:

«Машина не выгребает. Терплю бедствие».

К вечеру пароход сел на мель.

К ночи бора дошла до полного и сокрушительного давления. Волны с гулом перекатывались через шаланду. Все не смытое с палубы было убрано внутрь, а люки и иллюминаторы завинчены до отказа.

Мы качались в железной коробке при свете «летучих мышей» и слушали вопли норд-оста и гром воды.

Молодые кочегары волновались. Особенно пугали их рывки якорных цепей. Каждую минуту казалось, что цепи лопнут или будут вырваны из клюзов и шаланду унесет в море.

Сидеть можно было с трудом. Стоять ухитрялись только матерые моряки, вроде Денисова и Медлительного, и то несколько секунд.

Ночью волнами расшатало корму, и появилась первая течь Ее забивали паклей и клиньями.

Чтобы успокоить кочегаров, «старики» — Денисов, Мухин и Медлительный — сели играть в «козла». Гарт присоединился к ним. Эта игра, прерываемая болтовней Медлительного и ударами шторма, продолжалась до рассвета.

Медлительный, кашляя от смеха, рассказывал о шутке выкинутой водолазами в одном из курортных городов.

Шли работы по подъему затонувшего портового катера Водолазная шаланда стояла у самого мола.

— Время было летнее,— рассказывал Медлительный,— и вода была совсем теплая — можно сказать, как чай. Один с наших водолазов, отчаянно веселый парень — Колька Гаврилиади,— в одних трусах спустился на дно с воздушной маской и длинным шлангом и подошел до самого края пристани. Стоит себе под водой, дышит тихонько и только где-где пустит два три пузырька воздуха. А Мухин, значит, выходит на край пристани, тоже в трусах, и хвалится перед курортной публикой, что нырнет сейчас на десять минут под воду и вынырнет невредимым. Я с им стою рядом и, натурально, клянусь, и божусь, и подтверждаю перед гражданами этот факт. Однако граждане с нас смеются. Тогда Мухин краснеет и ласточкой летит в воду.

Мухин слушал этот рассказ совершенно бесстрастно, попыхивая папиросой.

— Проходит минута, две, три. Промежду граждан, а особенно гражданок, начинается сильное волнение. Четыре, и пять, и шесть минут, а Мухина нет. Я стою и закручиваю цигарку, как полагается, сплевываю и посмеиваюсь. Курортные бледнеют, обзывают меня извергом, хотят уже бежать до капитана порта и требовать помощи Мухину. А я говорю им: «Не было такого факта в истории советского мореплавания, чтобы водолаз потонул от ныряния в страшную морскую глубину, где водятся спруты и иная океанская рыба. Выплывет!»

И вот, действительно, забурлила вода, и вылазит на пристань парень в трусах, и публика в диком ужасе шарахается от него, как от бандита.

— Мухин — парень высокий, сероглазый и блондин, а выходит из воды Гаврилиади — парень небольшой ростом, черный, как жук, и с южным греческим глазом. Выходит, делает гражданам ручкой и говорит: «Глядите, у кого есть, на часы и

подтверждайте, что прошло не меньше как десять минут». Но граждане молчат, как пришибленные пыльным мешком, и только бойкая старушка в очках спрашивает: «Как объяснить такое явление, что нырнул блондин, а вынырнул брюнет и притом короткий, или, по-нашему, по-моряцкому говоря,— человек на низком ходу?»

А у нас между собой все расписано, и я даю соответствующую пищу ее любопытству. «Разве вы не знаете,— кричу я сердито,— что от давления воды человек сплющивается, волос у него чернеет, а в глазах сгущается кровь, и они делаются, как у того индюка?»

Гаврилиади показывает мне незаметно кулак, но я как отчаянный подводный житель, говорю дальше за это дело и упрекаю граждан в неинтеллигентности. Мы уходим с Гаврилиади, разыгравши курортных и отдыхающих, идем себе на шаланду и тихонько вытягиваем с воды Мухина. А он под водой поменялся маской с Гаврилиади и стоял на месте, глотал свежий воздух.

— Врешь! — сказал Денисов.

Медлительный сделал страшное лицо и обернулся к Мухину.

— Петя,— сказал он вкрадчиво,— вот товарищ начальник берет меня за манжеты и не хочет верить старому водолазу. Подтверди, будь другом.

— Было такое дело,— спокойно сказал Мухин, не вынимая изо рта папиросы.

Тогда Денисов захохотал так, что заглушил гудение боры и выжал улыбку на лицах успокоившихся, но еще бледных кочегаров.

Ночь длилась без конца. Качка и грохот не давали уснуть. Рассвет не принес облегчения. Утром лопнула одна из якорных цепей, и шаланду начало носить на последней оставшейся цепи. Было ясно, что и эта цепь долго не выдержит, а тогда... Денисов в ответ на вопрос, что будет тогда, только махнул рукой и сказал:

— Прости и прощай!

Запасного якоря у нас не было. Около шаланды ныряла на волнах причальная бочка, стоявшая на мертвом якоре. Мухин вылез на палубу, вцепился в поручни и присел. Шаланду то подносило к бочке, то уносило ветром далеко от нее по широкой дуге.

— Давай трос! — крикнул Мухин.

Ему подали трос, и он, выждав минуту, перескочил на бочку, быстро продел трос в кольцо и лег. Волна накрыла его.

Мы были уверены, что Мухина смыло, но волна прошла, и мы увидели, что он судорожно крепит трос за кольцо. Шаланду далеко отшвырнуло, потом снова пододвинуло к бочке. Мухин перескочил обратно на палубу.

Шаланда опять стояла на двух якорях. Опасность миновала.

Мухин спустился вниз, переоделся, взял гавайскую гитару, вдвоем с Денисовым они затянули южную песенку:

Прощайте, родимые воды,
Прощай, Ланжерон и маяк,—
По случаю справной погоды
Уходит на ловлю рыбак.

Рыдает на моле Маруся,
И чайки стрекочут над ней,
Я скоро в Одессу вернуся,
А ты меня жди и жалей!

— Вот какой мы народ! — кричал Гарту Медлительный.— Бесстрашный народ. Нам и жить и помирать — все с музыкой!

— Заткнись! — сказал Денисов.

Медлительный плюнул и смолк.

К вечеру ветер стих. Волны перестали бить в корму с прежней яростью. Густой дым возвестил нам о приближении «Смелого». Баранов взял курс на буксир и потащил в порт.

От команды «Смелого» мы узнали последние новости. На скалы выбросило два парохода. Теплоход «Аджаристан» прошел мимо порта. В городе сорвало много крыш, а бак для нефти весом в сто тысяч пудов сплющило ветром, как будто он был восковой. Это происшествие особенно веселило матросов.

Город, растрепанный бурей, выглядел косматым и темным. Рябили лужи и качались фонари. Рваные снасти хлестали по ветру. Даже в номере гостиницы, освещенном лампой с зеленым абажуром, были видны следы недавней бури — пыль веерами лежала на столе около окон, рама была вдавлена внутрь, и за ней наискось торчала сорванная ветром водосточная труба.

Юнге встретил нас насмешливым молчанием. Потом он прорвался, обозвал нас мальчишками и обвинил в том, что из-за нас у него прибавилось седины в голове.

Чтобы успокоить Юнге, Гарт показал ему рукопись почти оконченного рассказа.

Проект прорытия туннелей под хребтом Варада получил как в рассказе Гарта, так и в выкладках, сделанных Юнге, свое первое выражение.

Теперь, по словам Юнге, оставалось только добиться его осуществления, что у нас, в Советском Союзе, было делом вполне возможным и никак не фантастическим.

САМОУБИЙСТВО КОРАБЛЕЙ

Пока Гарт заканчивал рассказ, я провел несколько дней на буксире у Баранова.

Каждое утро мы ходили на подъем миноносца, а на ночь возвращались в Новороссийск. Во время этих походов я изучил Новороссийскую бухту с ее голыми берегами и нескончаемыми переменами цвета морской воды. Снова, как и во время рейса к Босфору, я попал в обстановку бесконечных морских разговоров и споров.

Особенно запомнился мне спор между Барановым и Денисовым о качествах матросов на военных кораблях. Баранов защищал парадоксальную теорию, что тип кораблей, их назна-

чение и даже внешний вид оказывают сильное влияние на психику команд. Денисов смеялся над этой теорией и называл ее «морочением головы и фокусами».

Спор принял бурный характер. Обе стороны пустили в ход весь запас доказательств, вплоть до насмешек друг над другом и легкой перебранки.

Победителем оказался Баранов. Последнее доказательство, выдвинутое им, было неуязвимо. Оно получило признание со стороны старых моряков, привлеченных к этому спору.

Доказательство Баранова было простым, но необыкновенным.

Он вспомнил тысяча девятьсот восемнадцатый год в Севастополе. Был заключен Брестский мир. Немцы взяли Перекоп. Сбивая разрозненные части Красной гвардии, они быстро двигались к Севастополю, чтобы захватить Черноморский флот. Для отвода глаз немцы решили сначала передать флот «украинской державе».

Малочисленные регулярные отряды красных войск под командой Федько с тяжелыми боями отступали к Керчи. Горы были полны татарских белых эскадронов, налетавших на Ялту, Судак и Феодосию.

Севастополь митинговал. Каждый день на собраниях выступали отчаявшиеся люди и умоляли «прекратить говорильню», но их никто не слушал. Военно-революционный штаб приказывал «бросить пустую болтовню» и сорванным голосом кричал в исторических приказах:

«Пусть говорят, что защищать Севастополь бессмысленно! Пусть! Неужели можно сложа руки смотреть, как враг движется по нашей земле, губя по пути все, что дорого нам, революционерам? К оружию! Враг на пороге!»

Но Севастополь не слышал этих призывов и митинговал до тошноты и головокружения, решая судьбу флота.

И вот тогда обнаружилась резкая разница между командами тяжелых линейных кораблей и командами миноносцев.

Команды линейных кораблей были так же малоподвижны и инертны, как и самые корабли. Они соглашались поднять на кораблях украинские флаги и остаться в Севастополе, лишь бы не ввязываться в походы, сражения и эвакуации. Они прикидывались, что не знают замыслов германского командования и искренне верят в то, что флот отойдет к «украинской державе». Они закрывали глаза на то, что во главе этой фальшивой державы стоит назначенный германским штабом гетман Скоропадский.

Команды миноносцев — стремительных и поворотливых кораблей — требовали защищать революционный Севастополь от немцев до последней капли крови.

Когда командующий флотом Саблин отдал приказ готовиться к немедленной эвакуации, миноносцы отказались его выполнить, настаивая на том, чтобы немцам дать бой.

Но это было уже невозможно. Красногвардейские отряды, босые и голодные, откатывались к городу под напором немецких дивизий. Флот стоял под парами и принимал на палубы отступавшие после боев отряды. Многие из этих отрядов толком не знали, с кем они сражались — с немцами или с украинцами, двигавшимися вместе с немцами к Севастополю.

Гетманская организация «Рада черноморской украинской громады» требовала, чтобы на кораблях и в городе были подняты желто-голубые украинские флаги. Командовавший немецкими войсками генерал Кош передал через украинских посредников, что он прекратит наступление только в том случае, если флот признает украинскую державу и подымет кормовые украинские флаги.

И вот, когда для всех, в том числе и для команд миноносцев, стало ясно, что участь города решена, на дредноуте «Воля» созвали митинг всего флота. Произошла жестокая схватка между командами дредноутов и миноносцев. До рассвета на «Воле», надрываясь, кричали ораторы.

Команды дредноутов решили поднять немедленно украинские флаги и ждать немцев. Команды миноносцев ушли с «Воли», собрались у себя в минной базе и постановили не сдавать своих кораблей немцам, не позволять, чтобы они были использованы для целей контрреволюции, и увести их в Новороссийск.

На следующий день, двадцать девятого апреля, линейные корабли подняли украинские флаги. Миноносцы подняли красные флаги и сигналы: «Позор и продажа флота!»

На миноносцы перешли большевистские организации города. Минная эскадра решила уходить в Новороссийск в ночь на тридцатое апреля.

Команды дредноутов «Воля» и «Свободная Россия» подняли сигналы, что в случае попытки уйти из Севастополя они откроют по миноносцам огонь из башенных орудий.

На угрозу миноносцы ответили угрозой. Они пообещали дредноутам, что при первом же выстреле пойдут в минную атаку.

В эти дни тревог, смятений и боев над Севастополем и морем стояла тихая весна. Розовая мгла лежала по горизонту. В садах цвел миндаль. Море было необыкновенно прозрачно.

Над городом висела густая белая пыль, поднятая отступающими частями. Двадцать девятого апреля на кораблях и берегу еще шумели бестолковые митинги, но по всей бухте уже разносился разноголосый крик команды, угроз, проклятий, свист пара и грохот лебедок.

К вечеру все стихло, только глухо гремели брашпили на миноносцах, выбиравших якоря.

Миноносцы, погасив огни, начали медленно вытягиваться из лабиринта севастопольских бухт и выходить в море.

К двум часам ночи в бухтах наступила зловещая тишина. Миноносцы покинули обреченный и растерянный город. Только

запах дыма, смешанный с запахом акаций, говорил, что в Северной бухте еще стоят под парами угрюмые дредноуты.

На следующий день Севастополь узнал, что, несмотря на подъем украинских флагов, немцы продолжают наступать.

Уход миноносцев отрезвил команды линейных кораблей. Украинские флаги были сорваны и вместо них подняты красные. Матросы дредноутов потребовали от Саблина немедленного увода кораблей в Новороссийск.

Немецкие разъезды появились около Инкермана. Немецкая артиллерия заняла высоты за Братским кладбищем.

В полночь все оставшиеся в Севастополе корабли начали сниматься с бочек и якорей и выходить в море. Темнота скрывала угрюмое передвижение судов. Внезапно на Северной стороне взлетели в небо немецкие боевые ракеты. Они осветили рейд. В это время первые корабли прошли узкий выход из севастопольских бухт и вытягивались в море.

Немцы открыли артиллерийский огонь. Дредноуты, не отвечая на него, спокойно и медленно вышли в море. Легкие немецкие снаряды не причинили им никакого вреда.

Команды двух миноносцев — «Гневного» и «Заветного», не успевших проскочить под обстрелом,— открыли кингстоны и потопили свои корабли в Севастопольской бухте.

Черноморский флот ушел в Новороссийск — последний в то время оплот Советской власти на берегах Черного моря.

Баранов пришел в Новороссийск вместе с миноносцами на одном из транспортов.

Начались бурные и скомканные, непонятные и тревожные дни в Новороссийске. Немцы требовали возвращения флота в Севастополь, угрожая в противном случае начать наступление на Москву. Немецкие самолеты кружились над флотом. Гражданская война бушевала в степях Кубани.

Новороссийк был наводнен беженцами, матросами с торговых пароходов, собравшихся здесь со всего Черного моря, красногвардейцами, военными моряками, пленными офицерами, сыпнотифозными и бандитами.

Скудные запасы хлеба и лежалых овощей были съедены в несколько дней.

Немецкие подводные лодки рыскали у самых ворот порта. Связи с Москвой почти не было. Можно было сноситься только по радио через несколько промежуточных станций, но этот способ был ненадежен.

Тысячи слухов волновали потрясенных всем происшедшим матросов. Командующий флотом Саблин вел неясную и двойственную политику.

Наконец, пришел секретный телеграфный приказ из Москвы — ни в коем случае флот не возвращать немцам, а потопить его в Новороссийске.

Саблин сбежал, передав командование капитану Тихменеву.

Телеграммы из Москвы в Новороссийск о судьбе флота полны революционной логики и спокойствия. Их язык прекрасно передает содержание героической эпохи:

«Безвыходность положения побудила председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина согласиться необходимостью немедленного уничтожения флота».

«Совет народных комиссаров приказывает вам уничтожить все суда Черноморского флота и коммерческие пароходы, находящиеся в Новороссийске.

Моряки должны понять, что правительство решается на эту страшную меру только потому, что другого исхода нет».

«Ввиду германского ультиматума правительство сочло себя вынужденным формально согласиться на возвращение судов в Севастополь. В этом смысле вам будет послан нешифрованный телеграфный приказ, но вы обязуетесь его не исполнять и считаться только с отданными выше предписаниями. Флот должен быть уничтожен».

Несмотря на совершенную ясность этого приказа, Тихменев разыгрывал простачка и жаловался, что он не может понять, чего хочет Совет народных комиссаров.

Тихменев оказался изменником. Он снесся с казачьим генералом Красновым и получил от него приказ сделать все возможное, чтобы флот был возвращен в Севастополь, где рано или поздно белые надеялись его захватить.

В то время флот привык решать все вопросы на митингах. Несмотря на приказ Совнаркома, Тихменев устроил во флоте голосование.

Большинство матросов высказалось за то, чтобы драться с немцами до последнего снаряда, часть — за потопление флота и небольшая часть — за уход в Севастополь.

Тихменев, не считаясь с голосованием, приказал флоту готовиться к уходу в Севастополь и назначил день — семнадцатое июня.

Командир миноносца «Керчь» лейтенант Кукель отказался идти в Севастополь. Он сообщил всем судам флота, что команда его миноносца решила потопить «Керчь», выполнить приказ Совнаркома, но немцам не сдаваться.

«Керчь» подняла на мачте сигнал: «Судам, идущим в Севастополь. Позор изменникам родины».

Буря зашумела во флоте. Один за другим корабли начали присоединяться к «Керчи».

Тихменев на «Воле» ушел ночью в Севастополь. Все командование потоплением флота принял на себя лейтенант Кукель.

— В ночь на восемнадцатое июня мы,— рассказывал Баранов,— потопили свой транспорт и съехали на берег. Город, несмотря на позднее время, был весь на ногах.

Толпы голодных, желтых людей бежали в порт, где при

огнях и свете прожекторов с кораблей спешно снимали ценные приборы и орудия и грузили в вагоны.

Женщины голосили по обреченным на гибель кораблям, как по покойникам. Стоны, плач и проклятья неслись над гаванью. Хмурые матросы, стиснув зубы и не глядя друг другу в глаза, торопливо отклепывали якорные цепи и срывали корабельные антенны.

Толпа пыталась прорваться к миноносцам, стоявшим на швартовых и у пристаней, чтобы силой не дать их топить. Ее с трудом сдерживали цепи вооруженных матросов.

Жители воровских окраин подплывали к опустевшим кораблям на шлюпках и пытались грабить каюты. Их разгоняли ружейным огнем.

Нужна была величайшая выдержка, чтобы не поддаться массовой истерии, охватившей город. Флот погибал — величественный, славный своими революционными традициями Черноморский флот.

Миноносец «Лейтенант Шестаков» начал отводить на буксире разоруженные и пустые корабли на внешний рейд, в глубокое место залива. Чуть брезжил рассвет. Солнце еще не взошло над хребтом Варада.

Каждый из обреченных на гибель кораблей нес на рее сигнал: «Погибаю, но не сдаюсь».

Когда на буксире тронулся с места дредноут «Свободная Россия» с красным флагом на стеньге, отчаяние толпы на берегу перешло в повальное сумасшествие. Исступленно кричали дети, навзрыд плакали женщины и старые рыбаки.

Растерянные красногвардейцы даже не пытались удержать толпу, когда она бросилась к последнему оставшемуся у пристани миноносцу «Фидониси» и гроздьями повисла на швартовых, чтобы не позволить миноносцу отойти.

Все попытки оттеснить толпу и сбросить швартовы были бесполезны. Люди вцепились в канаты мертвой хваткой, их руки невозможно было разжать, а каждая минута промедления могла все погубить,— в Новороссийске могла появиться немецкая эскадра.

Миноносец «Керчь» подошел полным ходом к «Фидониси», и на нем пробили боевую тревогу. Орудия миноносца были направлены на толпу. Лейтенант Кукель прокричал в мегафон, что по толпе будет немедленно открыт огонь, если она не отпустит швартовы.

Толпа отхлынула, и «Керчь» вывела из гавани «Фидониси» — последний из миноносцев погибавшей эскадры.

Весь флот уже стоял на внешнем рейде. Было около четырех часов дня.

«Керчь» развернулась и стала бортом к «Фидониси». Наступила глубокая тишина, как бы минута колебания. Потом мина, шурша, понеслась с «Керчи» и ударила в борт «Фидониси».

Глухой взрыв отозвался на берегах эхом отчаянных человеческих криков.

Вслед за «Фидониси» началось потопление всех остальных судов. На них открывали кингстоны, клинкеты и иллюминаторы, взрывали турбины.

Через полчаса весь флот, кроме дредноута «Свободная Россия», лёжал на дне Новороссийской бухты.

Тогда «Керчь» подошла к «Свободной России». Это было около Дообского маяка.

Миноносец пускал мину за миной в дредноут, но корабль не хотел умирать. Мины или проходили под килем, или сворачивали в сторону. Только шестая мина вызвала на дредноуте взрыв, закрывший корабль дымом.

Когда дым рассеялся, команда «Керчи» увидела дредноут, пробитый насквозь.

Броневые плиты отвалились. Дредноут вздрагивал и медленно валился на правый борт.

Люди на «Керчи», обнажив головы, смотрели на агонию линейного корабля.

Страшный грохот и лязг донеслись с дредноута. То срывались в воду и обрушивались шлюпки, катера и орудия.

Поползли из своих гнезд гигантские броневые башни. Ломая борта, с невыносимым скрежетом они срывались в глубину, подымая крутые волны. Издали эти ползущие за борт башни, весящие около тысячи тонн, были похожи на опрокинувшихся на спину допотопных черепах.

Внутри корабля долго был слышен глухой гром срывающихся с фундаментов турбин и механизмов. Из кингстонов и клинкетов били высокие фонтаны воды.

Дредноут лег вверх килем и медленно пошел на дно. На «Керчи» люди стояли, забыв о времени, смотрели на пузыри воздуха, вылетавшие из воды, и плакали.

Трудно понять не моряку величайшую трагедию и мужество моряков, потопивших родные корабли во имя революционного долга.

«Керчь» ушла в Туапсе и там ночью была потоплена командой. Перед гибелью миноносец дал радио:

«Всем. Погиб, уничтожив суда Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии. Эскадренный миноносец «Керчь».

Баранов был на «Керчи» во время последнего рейда в Туапсе, но об этом он не любил рассказывать. На мой вопрос он ответил коротко:

— Погребальный был рейс.

Через двенадцать часов после гибели флота в Новороссийск ворвалась немецкая эскадра. Она застала мертвый, пустой порт.

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Из Новороссийска Гарт, Юнге и я вернулись на «Смелом» в Севастополь. В Севастополе мы застали Зою.

Сметанина сообщила нам радостную новость — дед Дымченко получил грамоту от правительства и звание «почетного моряка Черноморского флота».

Мы решили поехать к Дымченко и поздравить его с высокой наградой.

Мы накупили вина, фруктов, всяческих закусок и погрузили все это в ялик. Сметанина везла деду в подарок его собственный портрет, Гарт — жестянку английского трубочного табака, Юнге — новый барометр, Зоя — семена разных цветов, Баранов — бутылку шампанского, а я — набор рыболовных крючков и шелковые плетеные лески.

Яличники наперебой зазывали нас в свои шлюпки. Каждому было лестно и любопытно переправить на Северную сторону это богатое пиршество, запакованное в кульки и берестяные коробки.

Награждением деда гордилась вся Северная сторона. Поэтому еще у пристани пришлось раскупорить бутылку и угостить старых перевозчиков — друзей и почитателей Дымченко.

— Золотой старик! — кричали одни, обсасывая усы и вытирая их заскорузлыми ладонями.— Не старик, а чистое дитё. С таким старым легче добиться социализму, чем с другим каким молодым балбесом!

— Справный рыбак! — кричали другие.— Привычка у него до моря настоящая. Он море скрозь знает. Революцию вытянул на собственном горбу.

На Северной мы высадились перед вечером. Пока Баранов и Гарт выгружали из шлюпки провиант, я смотрел на бухту.

В небе висела далекая, только что родившаяся луна. На высоте в тусклой синеве воздуха чувствовалось присутствие иссякающего солнечного света. В противоположность небу вода была взволнованной и живой. В ней плескались огни кораблей, предместий, мигалок и катеров. Они казались маленькими хлопьями светящейся пены. Они разгорались все ярче по мере того, как незаметно темнели берега.

К деду мы пришли уже в темноте. Старик растерялся и расплакался, как ребенок, от множества подарков. Он положил трясущуюся руку на плечо Сметаниной, что-то хотел сказать, но потом крякнул, отвернулся и сердито пробормотал:

— Ну, ладно, потом скажу!

Пришел Андрей. Он восхищался подарками и осторожно гладил их шершавыми ладонями. Особенно ему понравился портрет Дымченко.

— Ты гляди, Петро! — кричал он.— Это же не вещь, а небесная красота! Какая работа! Одна чистота и опрятность!

Накрыли стол. Шампанское тихо шипело в старых треснув-

єих стаканах. Дым трубочного табака смешивался с запахом ржаного хлеба.

Рыжик сидел у порога и смотрел на нас желтыми от зависти глазами. Хвост его подымал легкую пыль.

Дымченко постучал стаканом о стол. Мы затихли.

— Хочу я вам сказать, друзья, за наше море.

Он долго молчал, опустив голову

— Да что тут балакать! Хорошее море!

— Хорошо быть почетным моряком такого хорошего моря,— сказал Баранов.— Выпьем, дед, и помиримся.

— Да я на тебя не серчал.— Дымченко заулыбался и искоса посмотрел на Баранова.— Вся Северная знает, что ты отчаянный моряк. Мы, морячки, все одно как свойственники промеж себя. Нам друг на друга сердиться невежливо. А теперь послухай, что я скажу.

Вот подарило меня, старого, правительство великой наградой. Пошел я сегодня утром до Сухой балки, через степь,— ловить рыбу. Шкандыбаю и думаю свою думу про близкую смерть. И от той думки жизнь мне кажется веселей, а умирать не страшно. Только жалко, что мало я той, сегодняшней жизни повидал.

Иду, тащу кошелку и пруты. И подходит до меня молодой красавец — матрос береговой обороны, берет кошелку и пруты и говорит: «Давайте, товарищ Дымченко, я вам подмогну. Вы старенький, вам нести неловко».— «Как так, говорю, ты будешь со мной тратиться, когда сегодня на батарее работа? За это командир посадит тебя под арест на трое суток». Он смеется: «Ничего, говорит, я скажу, что задержался из-за вас, из-за почетного моряка нашего флота. И ничего мне не будет».— «Верно?» — спрашиваю. «А как же,— говорит той матросик.— Теперь, дедушка, не царские времена». Так он меня и довел до места. Прямо — родной сын. И после того как распрощался я с ним, та награда из Москвы сделалась мне в сотни раз милей. Вот я и говорю — надо выпить того вина за старое наше море да за молодых морячков. А я с вами пригублю. Мне пить не годится — сердце у меня болит и болит,— должно, болезнь какая прилипла.

Мы выпили за родное море и моряков.

Гарт предложил мне и Сметаниной выпить за последние два месяца нашей жизни. Самое важное в этих двух месяцах, по словам Гарта, было то, что ничего не случилось и вместе с тем случилось многое.

— Что? — спросила Сметанина.

— Случилась настоящая жизнь,— ответил Гарт,— хотя и не было никаких событий.

Ушли мы поздно. Гудок парохода прорезал ночь и торжественным эхом прокатился над степью. Это уходил во Владивосток «Аян», уходил к далеким океаническим берегам Советского Союза. Он нес сквозь ночь груды огней и волочил за кормой шумящую пену.

— Что же вы ничего не сказали? — спросил я Сметанину, когда мы шли к пристани по степной дороге, освещенной низкими звездами.

— Не решилась,— ответила она.— Я хотела сказать примерно то же, что и Гарт. Ничего не случилось, но я знаю, что каждый день был наполнен умом, силой, человеческой теплотой, дружбой — всем тем, что мы называем самым прекрасным в мире. Я выросла за эти два месяца и вместе с тем помолодела на несколько лет. Я не знаю, как назвать это чувство.

— Кажется, это называется счастьем,— сказала Зоя.

С моря дул свежий ветер. Плеск волн в бухтах был похож на сдержанный смех детей.

Севастополь, 1935

СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ботнический залив был скован льдом. Высокие сосны трещали от стужи. Непрестанный ветер сдувал со льда сухой снег. Залив угрюмо блестел по ночам, как черное стекло, и отражал звезды.

Офицеры Камчатского полка, греясь у трескучих каминов, вспоминали стихи Евгения Баратынского о том, как «чудный хлад сковал Ботнические воды». Многие еще помнили Баратынского. Изредка они рассказывали о молчаливом поэте, тяготившемся службой в пехотном полку в крепости Кюмель, о печальном «певце Финляндии», и завидовали его спокойной славе.

Камчатский полк стоял в то время на Аландских островах, в городке Мариегамне.

Издавна Аландские острова считались родиной парусных кораблей. Здесь, в отдалении от беспокойных столиц, в пустынности маленького северного архипелага, жили знаменитые корабельные мастера. Они строго хранили и передавали старшим сыновьям законы своего искусства. Равнодушно закусив трубки, они смотрели на дым от первых «пироскафов», грязнивших чистые морские горизонты: «Все равно пар никогда не справится с океаном».

Каждую осень на острова возвращались для починки высокие бриги и клипера, барки и бригантины.

Они приходили из Караибского моря, из Леванта и Шотландии, из всех углов земли. Приводили их шведские шкипера — неразговорчивые и честные люди.

Зимой корабли вмерзали в лед, их засыпало снегом. Офицеры Камчатского полка, выбегая во двор проветриться от винного и табачного чада во время пирушек, видели перед собой темные кузова кораблей, желтые фонари на смерзшихся снастях и слышали шум ветра в толстых реях.

К кораблям быстро привыкли, как привыкают к домам, к деревьям на улице, к полосатым будкам часовых. Их перестали замечать. Только в те редкие ясные дни, когда над ледяным заливом подымалось белое солнце, офицеры, солдаты и жители Мариегамна жмурились от блеска кораблей, заросших инеем, и удивлялись красоте этого зрелища.

Казалось, что косматая зима устроила себе жилье на кораблях. Комья снега слетали со снастей и с шорохом разбивались о палубы. Сосульки искрились и звенели. Колкие ледяные розы расцветали на иллюминаторах. Слоистый дым из камбузов стоял на снастях весь день до заката, когда он делался багровым, как дым ночного сражения, и постоянно превращался в черную мглу.

Время было неясное и неспокойное. Кончался январь 1826 года. Недавно пришли известия из Петербурга о декабрьском восстании и сражении на Сенатской площади.

Командир Камчатского полка Киселев, бывший забулдыга гусар, переведенный в пехоту за дуэли и нечистую карточную игру, приказал выставить по островам караулы. Мера эта казалась офицерам излишней. Они посмеивались над ней, но никто не решался возразить командиру.

Киселев был человек самомнительный и не терпел своеволия. Он участвовал в войнах с Наполеоном, но ни разу не был не только ранен, но даже поцарапан саблей. «Для меня еще не отлита пуля»,— говорил он хвастливо.

Передавали, что в 1814 году, после занятия Парижа, он сидел как-то в одном парижском кабачке. Вошло пятеро французов. Они потребовали пять пустых стаканов и одну бутылку шампанского. Киселев тотчас приказал подать себе один пустой стакан и пять бутылок шампанского, выпил все бутылки до дна и твердо вышел из кабачка под громкие рукоплескания пьяных посетителей.

О Киселеве офицеры Камчатского полка сложили эпиграмму:

Поля сражения для труса безопасны,
Он, славу бранную переменив на ром,
Громит врага за ломберным столом
Отменно и всечасно.

Полковым адъютантом был немец, заика Мерк, человек твердых жизненных правил, службист и любитель музыки.

Мерк заставлял полковой оркестр играть на плацу по нескольку часов во время жестоких морозов. Кровь текла у музыкантов по лопнувшим, обожженным холодной медью губам Слюна примерзала к трубам. Седой морозный дым висел над ревущими тромбонами.

Когда оркестр, сыграв полковой марш, затихал, Мерк, выходил на крыльцо в накинутой на плечи шинели и кричал заикаясь:

— Слышу скрип сапог! Грязно играете, братцы! Повторяйте марш, пока не будет ни единого лишнего звука.

Солдаты коченели от холода и играли. Они переминались с ноги на ногу очень тихо, чтобы Мерк не услышал скрипа сапог, но у заики был очень тонкий слух, и обмануть его не удавалось. Почти у всех музыкантов были обморожены ноги.

Мерк считал себя человеком правдивым. В полку его недолюбливали и боялись. Он говорил офицерам: «Вы, сударь, не умеете прилично есть рыбу — это срам», «Отучитесь наконец, поручик, трясти ногой под столом».

Финляндия была недавно покорена. Еще у всех в памяти был знаменитый переход русской армии по льду замерзшего Ботнического залива к берегам Швеции. Славу этого похода не могли затмить даже недавние победы над французами.

Гарнизонная служба в Финляндии считалась очень тяжелой. Ее приходилось нести среди сурового и молчаливого народа. Особенно трудна была служба в Камчатском полку, расквартированном на Аландских островах. Летом из Петербурга и Гельсингфорса еще приходили на острова корабли, зимой же единственная дорога на берег лежала по чужим льдам. Но чаще всего залив замерзал только около берегов, и тогда на острова нельзя было попасть ни на корабле, ни на лошадях.

В Камчатский полк ссылали провинившихся офицеров. Среди них был прапорщик Бестужев, недавно произведенный в офицеры из солдат.

Бестужев попался на улице в Петербурге великому князю Михаилу Павловичу в меховой шапке вместо офицерского кивера. Был ветреный, холодный вечер. Бестужев страдал после ранения в висок под Бородином сильной мигренью и надел шапку, чтобы не простудить голову. Великий князь сорвал с Бестужева шапку и хотел бросить ее на землю. Бестужев вырвал шапку из рук князя, надел ее и пошел своей дорогой, не оборачиваясь на грозные приказы остановиться.

На допросе Бестужев сказал:

— Честь свою я почитаю выше присяги.

Об этом доложили императору Александру. Тотчас последовал приказ о разжаловании поручика Бестужева в солдаты и отправке в Камчатский каторжный полк.

Солдат Семен Тихонов стоял в карауле около маяка Эрасгрунд. Низенький каменный маяк был построен на островке против Мариегамна. На караул приходилось ходить через узкий замерзший пролив.

На маяке жил только сторож — старый глухой швед, бывший шкипер. Весь день он сердито бормотал, жевал сухими желтыми губами и искоса поглядывал на заиндевелого солдата в башлыке, заходившего в сторожку греть красные большие руки.

— Ты не бранись, дед! — кричал Тихонов простуженным голосом.— Будто я по своей воле тут топчусь, холоду напускаю. Царская служба, она, дед, не житье, а каторга. Понял?

Дед молчал. Тихонов садился на корточки около печки. Его замерзшая шинель стучала по полу, как деревянная.

— Эх, беда, беда! — говорил, сокрушаясь, Тихонов и затирал сапогами лужи, натекавшие с шинели на чистый кирпичный пол.

Швед кивал головой.

— Понимаешь, значит? — спрашивал Тихонов.— Да и как не понять, когда мы люди простые, с малолетства к работе приучены. Ты сторожишь, и я сторожу. Только чего я сторожу — об этом один господь бог ведает да его высокородие полковник Киселев.

— О-о-о! — говорил швед.

— Вот то-то, что «о-о-о!» — сердито отвечал Тихонов.— Злодейский командир наш Киселев. Один во всем полку стоящий человек — прапорщик Бестужев, мой полуротный командир, а твой постоялец.

Бестужев снимал комнату в Мариегамне у маячного сторожа. Старик все дни проводил на маяке. В Мариегамн он возвращался только по воскресным дням. Прислуживали Бестужеву жена старика, седая старушка, и дочь Анна — темноволосая застенчивая девушка, бегавшая на лыжах, как мальчик.

Анна недавно кончила школу в Стокгольме, а теперь жила у родителей, помогала матери и читала все вечера напролет.

— Бестужев... — прошамкал старик, улыбнулся и похлопал Тихонова по шинели, вздувшейся горбом на спине.— О-о-о! Бестужев!

— Верно, дед,— сказал Тихонов и с удовольствием вытер лицо шершавой ладонью.— Ничего не скажешь, наш полуротный — душа человек!

Тихонов выкурил трубку крепкого табаку и, гремя ружьем и тесаком, вышел из сторожки. Он захлопнул дубовую черную дверь, зажмурился от колючего снега, ударившего в глаза, и перекрестился.

— Ну и мо́рок, упаси господи!

Тяжелая январская ночь стояла вплотную около тускло освещенных окон сторожки. Маяк не горел: зимой он был не нужен.

Тихонов ходил по берегу с ружьем на плече, часто останавливался и стоя дремал.

Изредка в заливе лопался от мороза лед. Унылый гул долго катился к берегам. Тихонов встряхивал головой, чтобы прогнать сон, ругался и хрипло кричал:

— Слуша-а-ай!

Кричал он по привычке. Вблизи часовых не было, и никто на его крик не отзывался. Только старый швед в сторожке каждый раз после этого крика медленно вставал, поправлял дрова в печке, возвращался к столу и продолжал читать толстую желтую библию.

— Слуша-а-ай! — протяжно кричал Тихонов.

Ветер стихал и прислушивался. Трескался лед, снег шур-

шал о каменную стену сторожки и скрипел под сапогами у солдата. Солдат кашлял и сплевывал. Звуки эти давно наскучили ветру, и он, немного подождав, снова начинал сносить снег со льда к берегам и наваливать его длинными сугробами.

Тихонову надоело кричать. Он замолк. Ветер тоже стих. В наступившей тишине, где-то очень далеко, на льду солдат услышал глухой и медленный стук. Он поправил тесак и прислушался.

Стук приближался. Солдат осторожно прилег за камнями. Стук уже был слышен ясно, как будто по льду шел человек в тяжелых железных сапогах.

Солдат торопливо перекрестился, положил ружье на камень и прицелился в темноту, где слышались шаги. На льду появилось темное пятно. Оно медленно двигалось к берегу.

— Стой! Кто идет? — негромко окликнул Тихонов.

Но никто не ответил. Тихонов всмотрелся и увидел двух человек. Они шли молча, не останавливаясь, как глухие.

— Стой! — снова крикнул Тихонов и хотел было выстрелить, но передний человек споткнулся о прибрежные камни и упал.

Спутник его пытался поднять упавшего за плечи и посадить, но человек снова тяжело, как мертвый, падал на лед.

Тихонов взял ружье на руку и осторожно подошел к лежащему.

— Кто такие? — спросил он сурово.— Отвечай без утайки.

— Погоди, служивый,— сказал из темноты усталый голос.— Подсоби внести его в дом: человек без памяти.

Тихонов взял лежащего за плечо и отдернул руку: под плащом он почувствовал твердый офицерский эполет.

— Офицер? — спросил он шепотом.

— Офицер.

— А ты кто?

— Я матрос.

— Есть приказание,— сказал вполголоса Тихонов,— задерживать всякого, какого бы ни был звания, и представлять его высокородию полковнику Киселеву. Откуда идете и по какой надобности?

— Замерзает человек! — сказал с отчаянием матрос.— Подсоби внести в дом, Христа ради. Успеешь еще допытаться.

Тихонов смолчал. Вместе с матросом он поднял офицера и внес его в сторожку.

Старый швед встал, захлопнул библию и молча смотрел, как офицера укладывали на пол около печки. Потом он не торопясь достал из стенного шкафчика штоф с водкой, налил ее в синий стакан и, что-то бормоча и сердясь, поднял офицеру голову и влил ему водку в рот. Водка разлилась по грязному мундиру.

Офицер вздохнул, открыл глаза, увидел Тихонова и порывисто сел.

— Солдат? — спросил он и схватился рукой за грудь.— Куда мы вышли, служивый?

— Аландские острова, ваше благородие,— ответил Тихонов.— Разрешите спросить — откуда идете и по какой надобности?

Офицер усмехнулся.

— Идем мы,— ответил он медленно,— из самого Петербурга. В Швецию. А надобность у нас простая, братец: спасаемся от царской петли. Понял?

— Так точно, понял, ваше благородие.

— Что же ты думаешь делать?

Тихонов молчал. Он вытер нос мокрым рукавом шинели и долго мигал воспаленными от ветра глазами.

— Ну? — спросил офицер.

— Ваше благородие,— умоляюще сказал Тихонов,— здесь все доподлинно известно, караулы стоят по всем островам. Все равно не пройдете.

— Что вам известно?

— Насчет бунта. Прапорщик Бестужев нам объяснял.

Тихонов помолчал, помялся и спросил:

— Разрешите узнать, ваше благородие: был ли в деле лейб-гвардии Московский полк?

— Был. На стороне мятежников. Его расстреляли картечью.

Тихонов сел на корточки около печки и задумался.

— Эх, беда, беда! — сказал он, ворочая в печке дрова.— Брат мой младший в том полку служил. Неужто убили?

— Свободно,— ответил матрос.— Их в Неве столько утопили, московцев,— не счесть!

— Слушай, солдат...— сказал офицер.

Тихонов сидел все так же, уставившись на огонь.

— Подымались мы за правое дело. За вольность народную, за счастливую солдатскую долю. Царь Николай — тиран. Он слезами затопил Россию; засечет ее насмерть. Наше дело проиграно, но семена брошены и взойдут. Не ты, так внуки твои увидят бесслезную жизнь и нас за нее поблагодарят. Понял?

— Понял, ваше благородие,— глухо сказал Тихонов.— Что ни делай, а правду в кандалы не забьешь.

Офицер встал, захлопнул плащ и надел простую крестьянскую меховую шапку. Несмотря на жару в сторожке, в лице офицера не было ни кровинки. Он крепко взялся дрожащей левой рукой за стол и сказал матросу:

— Ну, Пахомыч, пойдем. Ночь еще долгая, до света успеем отойти на пять выстрелов от островов. Места здесь опасные.

— Поесть бы вам надо, Николай Иваныч,— сказал матрос.— Лица на вас нету.

Офицер махнул рукой и нетвердо пошел к двери. Матрос пошел за ним следом.

Тихонов вскочил.

— Стой, ваше благородие! — закричал Тихонов отчаянным голосом и бросился к офицеру.

Тот быстро обернулся.

Матрос схватил Тихонова за руки.

— Пусти! — крикнул Тихонов и вырвался; слезы текли по его обветренному растерянному лицу.

Трясущимися руками Тихонов начал развязывать свою солдатскую сумку, оборвал ремешки и вытащил краюху черного хлеба и кусок сала, завернутый в чистую тряпку.

— Возьмите, ваше благородие,— сказал он задыхаясь и сунул хлеб и сало офицеру.— Возьми от всего солдатского сердца. Не обижайся.

Тихонов упал на колени и поклонился офицеру в ноги.

— Что ты, что ты! — растерянно сказал офицер и начал подымать Тихонова.— Нешто можно? Встань.

Тихонов тяжело поднялся. Офицер притянул его к себе, и они поцеловались. Матрос похлопал Тихонова по плечу:

— Ну, прощай, служба!.. Помни!

Они вышли. Тихонов стоял у дверей. Ружье его валялось на полу около печки. Старый швед судорожно мял рукой небритую щеку. Тихонов обернулся к нему, прижал заскорузлый палец к губам и погрозил большим кулаком. Швед радостно закивал — очевидно, понял.

Гулкий и близкий выстрел ударил в темноте. За ним — второй, третий, и хриплый голос закричал совсем близко:

— Часовой!

Тихонов узнал голос полкового командира. Раз в неделю Киселев проверял по ночам караулы. Тихонов не двинулся с места, только быстро оправил шинель.

Дверь распахнулась. Нагнув голову, через высокий порог переступил Киселев. За ним следом шел Мерк. Два солдата держали в сенях за руки офицера в крестьянской шапке и матроса.

— Ввести их! — крикнул Киселев солдатам.

Солдаты неловко ввели арестованных.

— Кто вы такой? — спросил Киселев офицера.

Офицер молчал.

Киселев распахнул его плащ. Офицер вспыхнул, выпрямился и оттолкнул Киселева левой рукой. Правая рука у него была забинтована. На бинтах запеклась черными пятнами кровь.

— Кто вы такой? — спросил Киселев офицера.

— Я сын своего несчастного отечества,— сказал офицер.— Прошу уволить меня от дальнейших вопросов.

— Вы бунтовщик, сударь,— сказал ласково Мерк.— Вы нарушили присягу и изволили поднять руку на священную особу императора.

— Пусть будет так,— ответил офицер и усмехнулся.

Тогда Киселев медленно подошел к Тихонову и посмотрел ему в глаза.

— Скотина! — сказал он и ударил солдата кулаком по мокрому лицу.

Тихонов моргал глазами.

— Домигался, дурак, прозевал государственного преступника. Дать триста шпицрутенов! Засечь, как собаку!

Когда увели арестованных и Тихонова, старый швед погасил свечу, вышел из сторожки и осторожно, сделав большую петлю, пошел по льду в Мариегамн. Всю дорогу он кряхтел и ругался.

Бестужева произвели в прапорщики летом. Он тотчас же подал прошение об отставке. Вначале он ждал приказа из Петербурга об отставке с нетерпением, но потом начал думать об этом приказе даже с некоторым страхом и дрожью в сердце. Он привык к Мариегамну, к пустынным островам, где в ясном воздухе долго теплились вечерние зори, к хмурому и доброму народу, к своим книгам, к чистой комнате, устланной половиками из морской травы, к старухе хозяйке и к застенчивой тоненькой Анне. Сейчас, думая об отъезде в Россию, он все чаще повторял про себя навязчивые стихи:

Я вспомню с тайным сладострастьем
Пустынную страну,
Где я в размолвке с тихим счастьем
Провел свою весну...

Анна часто бегала на лыжах на соседний остров к подруге. Просыпаясь по утрам, Бестужев слышал под замерзшим окошком свист лыж по снегу и грудной голос Анны, кричавшей матери прощальные ласковые слова.

Бестужев вставал, отодвигал занавеску и видел знакомую и милую картину. Снег лежал на крышах пухлыми пластами, как на елочных ветвях. Вся комната была озарена оранжевым блеском солнца и огня, шумно пылавшего в камине, и Анна — вся в снегу, слетавшем на нее с ветвей,— скользила на лыжах через поле к сосновому лесу.

Однажды Бестужев высказал желание пробежать вместе с Анной на лыжах на соседний остров. Анна засмеялась и согласилась.

Вышли они утром. В лесу было сумрачно. Сухие сосновые иглы медленно падали к их ногам. В густых чащах Анна воткнула палки в снег и остановилась.

— Смотрите,— сказала она,— может быть, на вашей родине вы никогда не увидите этого.

Зрелище, открывшееся их глазам, было исполнено необыкновенной прелести. В чащах стояло безмолвие и не было ни малейшего ветерка. Вверху же, над вершинами леса, дул слабый ветер. Он сбрасывал с ветвей снег. Сотни снежных хлопьев падали сверху, серебрясь в косых лучах солнечного света, придававшего зимним чащам таинственное освещение. Хлопья падали, задевали за ветки, рассыпались в длинные, медленно спускавшиеся к земле полосы белой пыли, шуршали вокруг, как сухой дождь.

Бестужев взглянул на Анну. Она была покрыта снежной

пылью. Сквозь эту пыль блестели ее губы, мокрые ресницы и зеленоватые, переставшие смеяться глаза.

— Анна,— сказал Бестужев,— могли бы вы полюбить всей душой русского?

Анна быстро обернулась к нему, зацепила палками за ствол ели, и водопады мягкого снега обрушились на нее и Бестужева

— Да,— сказала она и закрыла глаза.— Но отец мне не позволит выйти замуж за русского.

— Почему?

— Отец вас не любит.

Бестужев снял с ее руки зеленую вязаную перчатку и поцеловал холодные пальцы. Она молча взяла Бестужева рукой за подбородок и долго, печально смотрела в лицо. Потом оттолкнулась палками и побежала сквозь заросли, оставляя за собой вихри снега. Бестужев едва поспевал за ней.

На соседнем острове они зашли в дом, показавшийся Бестужеву построенным из старого янтаря — так были желты его бревенчатые стены. Беловолосая девушка-дурнушка, подруга Анны, напоила их горячим молоком.

Анна много болтала, и смех ее был слишком звонок и неспокоен. Девушка-дурнушка смотрела на Бестужева и Анну с лукавой улыбкой,— так люди улыбаются, наблюдая чужое счастье.

Обратно они шли медленно, молча. Первые звезды загорались над заливом. Одна из них — самая яркая, сияющая нестерпимым синим огнем,— стояла очень далеко, в южной, зеленоватой части неба, прямо над верхней реей большого корабля.

Всю ночь после этой прогулки Анна проплакала. А наутро пришел отец. Он что-то отрывисто и сердито говорил ей. Потом в доме затихли. Днем Бестужев видел, как Анна вышла на крыльцо, долго стояла неподвижно и смотрела на залив, наморщив брови. Бестужев хотел окликнуть ее, но не осмелился.

Он решил, что, выйдя в отставку, никуда не уедет, останется на острове и, пренебрегая насмешками полковых товарищей и запрещением отца, все же женится на Анне.

Офицерская пирушка затянулась далеко за полночь.

Горел камин. В его багровых отблесках ночь за окнами казалась особенно синей. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и если пристально вглядеться, то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение.

Пили вяло, хотя ни Киселева, ни Мерка не было. Оба они ушли проверять ночные караулы. Пили плохо уже давно — со времени первого известия о мятеже в Петербурге.

От ломберных столов подымалась меловая пыль и першила горло. Игроки понтировали молча, посасывая потухшие трубки. Жарко горели свечи.

Поздней ночью вошел вестовой. Стараясь не стучать сапогами, он подошел к Бестужеву и доложил, что его дожидается в прихожей неизвестная девица. Лицо вестового было ка-

менное. Офицеры переглянулись, и кое-кто чуть заметно улыбнулся в усы. В прежнее время этот случай вызвал бы взрыв шуток и игривых предположений, но сейчас шутки никому не приходили на ум.

Бестужев быстро поднялся и вышел. В прихожей его дожидалась Анна. Он взглянул на ее бледное лицо с прилипшими ко лбу прядями мокрых волос и спросил быстрым шепотом:

— Анна, что случилось?

Анна задыхалась.

— Павел,— сказала она, впервые называя Бестужева по имени,— только что отец пришел с маяка. Там схватили русского офицера. Он шел через залив в Швецию. Он бунтовщик. Что делать, Павел?

— Успокойся, Анна,— сказал Бестужев и ощутил внезапный холод в сердце,— предвестник безрассудных и скорых решений. Такой же холод он ощущал в бою под Бородином и в Петербурге, когда вырвал шапку из рук великого князя.— Пойдем, мы должны сговориться совместно, что делать.

Он взял ее за руку и ввел в зал. Офицеры, увидев заплаканную девушку, встали. Только игроки не заметили прихода Анны и продолжали скрипеть мелками и перекидывать карты.

— Господа,— сказал Бестужев,— час назад у нас на острове случилось происшествие чрезвычайное, требующее нашего совместного обсуждения.

Молодой и пылкий поручик Лобов рванулся к Бестужеву:

— Ну, говори скорее, без предисловий!

Топот сапог и звон шпор не дали Бестужеву возможности продолжать. Дверь открылась. Вошел засыпанный снегом Киселев. Он сбросил мокрый плащ на стул и обвел офицеров веселым и хитрым взглядом. Взгляд этот как бы говорил: «Вот вы увидите сейчас, какой сюрприз я вам приготовил!»

За Киселевым вошел Мерк. Он замешкался в передней, счищая с ботфортов снег. Мельком взглянув на Анну, стоявшую рядом с Бестужевым, он сказал с презрительной учтивостью:

— Прапорщик Бестужев, вам должно быть известно, что на офицерских собраниях полагается присутствовать лишь женам, близким семейным и невестам господ офицеров.

Бестужев вспыхнул.

— Это моя невеста,— сказал он глухо.

Анна стояла помертвевшая и спокойная.

Мерк поклонился и прозвенел шпорами. Никто не обратил внимания на его выходку; все смотрели на возбужденного полкового командира.

— Господа офицеры! — Киселев театрально поднял руку.— Малое время тому назад при обходе караульных постов около маяка Эрасгрунд мною и капитаном Мерком был задержан мятежник, бежавший из Петербурга и пробиравшийся по

льду Ботнического залива в Швецию.

Наступила такая тишина, что было слышно, как поскрипывают под чьей-то ногой навощенные половицы.

— Судя по мундиру, он офицер лейб-гренадерского полка. С ним задержан второй мятежник — матрос взбунтовавшегося против императора гвардейского экипажа.— Киселев обвел глазами офицеров. Ему хотелось проверить необычайное впечатление, какое должны были произвести его слова.

Офицеры хмуро молчали.

— Имя свое этот цареубийца назвать отказался. Поскольку среди вас могут найтись люди, знающие его по прежней службе или по старому знакомству, то я полагаю необходимым предъявить вам бунтовщика для опознания.

Киселев постучал саблей о пол. Дверь отворилась, и солдаты ввели в комнату молодого офицера с обнаженной головой. На лбу его синел кровоподтек. Он провел рукой по слипшимся, спутанным волосам и внимательно посмотрел на офицеров. Взгляд этот, печальный и спокойный взгляд человека, готового к смерти, запомнился многим на долгие годы. Офицер остановился около стола и положил на него худую маленькую руку.

— Еще раз требую,— властно сказал Киселев,— чтобы вы назвали себя. Кто вы такой и как ваше имя?

— Я могу повторить лишь то, что сказал однажды,— ответил офицер.— Я сын моего несчастного отечества и за счастье его отдам свою кровь без остатка.

Он покачнулся и судорожно впился в стол пальцами. Худая его рука сорвалась со стола. Бестужев бросился к арестованному и пододвинул ему стул.

Офицер сел, оперся локтем и опустил на ладонь голову. Видно было, что он изнурен до беспамятства. Плащ его распахнулся, и офицеры увидели правую руку в заскорузлых, засохших бинтах. Краюха черного хлеба упала из-под плаща и покатилась по полу. Лобов поспешно поднял ее и положил на стол около арестованного.

Киселев снова взглянул на своих офицеров и насупился. Он увидел побледневшие, сосредоточенные лица, увидел глаза, полные тревоги и сострадания, и решил скорее закончить неудавшийся спектакль.

— Он ранен,— громко сказал Лобов.— Какое бессердечие!

— Кто из вас, господа офицеры, может признать этого мятежника? — спросил Киселев, как бы не расслышав слов Лобова.

Офицеры не отвечали.

— У господ офицеров,— промолвил язвительно Мерк,— от злоупотребления вином сильно повредилась память.

— Он ранен! — крикнул Лобов.— Вы разве не видите?

Бестужев сделал шаг вперед и, глядя в серые от ярости глаза Киселева, спокойно сказал:

— Есть простые законы, отделяющие нас от скотов. Один из этих законов — человечность в отношении к пленным. Этот

офицер ранен и голоден. У него обморожены пальцы. Какое право вы имеете устраивать перед нами подлейший фарс и совершать надругательство над человеком? Напрасно вы ищете нашего сочувствия — его не будет.

Офицеры придвинулись ближе к Бестужеву и молчали. Спина у арестованного затряслась, он упал головою на стол. Анна бросилась к нему, обняла его за плечи и начала торопливо успокаивать, перемешивая русские и шведские слова.

— Это кто? — спросил Киселев и оттолкнул ее от арестованного.— Тотчас убрать эту девку!

— Идите, прошу вас,— тихо сказал арестованный Анне.— Из-за меня вы подвергаетесь оскорблениям.

Анна медленно поднялась и вышла. Лицо ее горело тяжелым румянцем.

Бестужев подошел к Киселеву и наотмашь ударил его по лицу.

Киселев выхватил саблю. Офицеры бросились к нему и схватили за руки.

— Я требую... — кричал Киселев, но за общим шумом его не было слышно.

— Я готов стреляться, когда вам будет угодно,— сказал Бестужев и вышел.

Киселев забыл, что ему, как полковому командиру нельзя было драться со своим подчиненным.

На крыльце Бестужева ждала плачущая Анна.

Мерк вызвал караул и приказал увести арестованного. Офицеры тотчас разошлись, забыв погасить свечи. Они горели до утра, наполняя комнату чадом.

...Когда Анна и Бестужев спустились с крыльца, над Мариегамном гудел, свирепея и разыгрываясь с каждой минутой, южный ветер. С грохотом сыпался на палубы кораблей слежавшийся на реях снег. Мигали, загасая, фонари. Подобно далекой пушечной канонаде, гудел в заливе лед — его ломало ветром.

Ветер был теплый и тяжелый. Он теснил дыхание и приносил с собой воздух неожиданной оттепели.

Бестужев ни слова не сказал Анне о том, что произошло после ее ухода. Она протянула ему руку. Он сжал ее выше кисти и даже сквозь свист ветра и яростный шум бури слышал, как отдавалось в ее теплой руке частое биение сердца.

— Анна,— сказал Бестужев,— вы утешили несчастного, потерявшего надежду на жизнь. Сила моей любви к вам так велика, что я не имею достаточных слов, чтобы ее выразить.

Анна низко наклонила голову и ничего не ответила.

Ветер бушевал над городком с такой силой, будто хотел сорвать и унести на север эту тяжелую, непереносимую ночь с ее кромешным мраком, слезами, чадом свечей, людской жестокостью и любовью. Ветер срывал с ресниц Анны редкие слезы. Временами порывы ветра были так неистовы, что каза-

лось, вот-вот ветер начисто сдует ночь и ей на смену откроет ся блистающее рассветное небо, покрытое легкими облаками

В доме у Анны горел свет, на крыльце было натоптанс В прихожей крепко пахло табаком.

— Какие поздние у вас гости,— сказал Бестужев Анне.

— Это к отцу собрались старики.

Бестужев прошел в свою комнату, но едва он успел сбросить плащ и отстегнуть саблю, как Анна окликнула его из-за двери. Бестужев вышел.

— Отец просит вас зайти к нему по важному делу,— сказала она.— Он мог бы прийти к вам, но у нас более безопасно: окна выходят в сад.

Бестужев, волнуясь, пошел за Анной. Старик ждал его в кухне. Он тяжело поднялся навстречу, и вместе с ним из-за стола поднялось несколько седобородых неуклюжих шведов. Бестужев узнал их — то были шкипера кораблей, зимовавших в Мариегамне. Только один среди шкиперов значительно отличался от остальных. Он был черен, низок ростом, и глаза его хитро смеялись. Это был шкипер французского брига, Жак Пинер, застигнутый зимой со своим кораблем в Ботническом заливе и нетерпеливо дожидавшийся весны.

— Чем могу вам служить, господа? — спросил, смутившись, Бестужев.

— А мы, признаться,— ответил по-французски Пинер,— хо тели задать этот вопрос вам. Не можем ли мы быть вам по лезны, сударь?

Бестужев смутно начал догадываться, зачем его позвали шкипера.

— Мы верим вам,— сказал отец Анны,— мы будем рады, если не ошибаемся. Ветер ломает лед.

Старик замолчал и пошевелил сухими губами.

— Еще два дня такого ветра,— добавил он,— и море до самого Стокгольма будет открыто для кораблей.

— Ваши генералы,— сказал Бестужеву шкипер в желтых сапогах с черными блестящими отворотами,— сделали большую ошибку: они не прислали в Мариегамн ни одного русского военного корабля.

— Военный корабль давно вышел из Або, но его затерло льдом,— ответил шкипер с густой черной бородой. Шкипера говорили по-шведски. Бестужев понимал их с трудом. Он вопросительно взглянул на Анну, и она начала вполголоса переводить их неторопливый разговор.

— За моей «Валькирией»,— сказал шкипер в желтых сапогах,— не угнался бы даже самый легкий военный корабль Но его, к счастью, нету.

— Друзья,— сказал Бестужев,— не будем медлить. Кто пер вый готов выйти в море?

— Готовы все,— промолвил Пинер, выколачивая трубку,— но мне легче всего это сделать. За мной меньше следят: я

несу на корме флаг французского королевства.

— Пусть он берет, мы уступаем французу,— сказал самый старый шкипер, и все смолкли.— Но пусть русский офицер не думает, что мы уступаем с охотой. Нет. Каждый из нас хотел бы спасти от виселицы вашего соотечественника. Каждый из нас понимает, что где бы человек ни сражался за свободу, он сражался за нее и для нас. Мы — шведы, финны, французы; он — русский. Мы уважаем его. Каждый из нас умеет молчать. А что касается страха... — старик усмехнулся,—что касается страха, то об этом мы поговорим как-нибудь в другой раз за кружкой пива. Сколько раз за каждое плавание смерть цепляется за наши борта и строит нам рожи — никто даже не станет считать.

— Самая трудная задача падет на вас,— сказал Пинер, обращаясь к Бестужеву.— Вам придется освободить его и матроса из-под стражи и незаметно доставить на мой корабль. Если ветер не стихнет, то не позже чем послезавтра ночью я снимусь с якоря.

— Хорошо,— ответил Бестужев.— Я вам благодарен за доверие.

Старики встали и засопели трубками. Бестужев крепко пожал им руки, и они, натягивая кожаные плащи и стараясь не стучать тяжелыми сапогами, вышли из дому через дверь, ведущую в сад.

Бестужев несколько минут говорил с Пинером. Надо было предусмотреть все препятствия побега, чтобы их счастливо избежать. Уходя, Пинер подмигнул и похлопал Бестужева по рукаву:

— Корабль велик, на нем хватит места для всех. Я с радостью приму на борт еще одного офицера, и если мне не изменяет мой старый шкиперский глаз, то и прелестную девушку, его невесту. Не так ли? Я доверяю любящим: они великодушны. Не принимайте это за шутку. Я прожил жизнь, полную неожиданностей и предательств. Поэтому я решаюсь дать вам совет: бегите отсюда.

— Не стоит сейчас говорить об этом. Мне надо подумать.

Француз попрощался и вышел.

Бестужев вернулся в свою комнату, зажег свечу и сел к столу. Он сжал голову ладонями и задумался: как быть с дуэлью?

Ежели он будет убит завтра на дуэли, то побег не состоится, арестованного офицера и матроса отправят с первой оказией в Петербург и там повесят. Этого нельзя было допускать.

Ежели он откажется от дуэли, то его сочтут трусом. Киселев предаст его военному суду за тяжкое оскорбление полкового командира, побег будет сорван, позор ляжет на его голову и отравит последние дни.

Оставалось одно: оттянуть дуэль до совершения побега, остаться в Мариегамне и стреляться. Это означало крушение

всех его тайных мыслей о бегстве с Анной и жизни, полной радости и скитаний.

После разговора с Пинером он уже видел себя вместе с Анной на палубе брига, плывущего в виду плодоносных южных берегов. В прибрежных долинах и на высотах, одетых померанцевыми рощами, разбросаны селения и замки.

Вода журчит за кормой корабля. Матросы улыбаются, поглядывая на молодую женщину, и уступают ей дорогу. Она осторожно ведет под руку по палубе офицера с перевязанной правой рукой, возвращенного их общими усилиями к жизни. Старинные города подымаются из морских вод и волнуют сердце. Кровли их блестят под солнцем. Песни рыбаков долетают из утреннего тумана.

Бестужев решил затянуть дуэль до того времени, пока не будут спасены офицер и матрос. Мысль о двух людях, спасенных им, будет жить в сердце у него и Анны и сделает их счастливыми.

Бестужев задумался. Он не слышал голосов старика и Анны за стеной и шагов Анны, подошедшей к двери.

Анна вошла без стука. Бестужев обернулся. Анна стояла в дверях, прислонившись к косяку.

— Павел,— сказала она,— отец только что позвал меня к себе и сказал, чтобы мы были с тобой счастливы. Он говорит, что ты будешь достойным мужем.

Бестужев встал.

— Этому пленному мы обязаны своим счастьем,— сказала Анна.— Мы его спасем, чего бы это ни стоило. Правда, Павел?

— Клянусь! — ответил Бестужев.

Зеленоватый таинственный свет зари проникал в комнату, и Анна казалась в этом свете очень бледной. Она улыбнулась. Бестужев сделал шаг к ней, но внезапный грохот барабанов раздался за окнами. Барабаны гремели торопливо, часто, но не могли заглушить отдаленный человеческий крик. Бестужев остановился.

— Что это? — вскрикнула Анна и бросилась к Бестужеву. Она со страхом смотрела в окно. За ним ветер нес черный дым из труб, и в синеватом воздухе все громче, все настойчивее били барабаны.

— Это шпицрутены,— ответил, побледнев, Бестужев.

Анна медленно опустилась на пол: она была без чувств.

Семена Тихонова разбудили на рассвете. Унтер-офицер оставил дверь караульной комнаты открытой. Сырой ветер дул по полу и шуршал соломой. Невыспавшиеся солдаты теснились на крыльце, погромыхивали прикладами и громко зевали.

Тихонов вскочил и начал торопливо натягивать сапоги.

Он быстро оделся и стал во фронт. Унтер-офицер повернул его, как чучело, осмотрел со всех сторон и сказал:

— Эх ты, Иван-мученик, ружье-то возьми!

Тихонов не понял, зачем брать ружье, когда его ведут пороть шпицрутенами, но ружье взял.

Его вывели. Снег шуршал и оседал на крышах. Каркали, как перед дождем, вороны. Дым из труб прижимало к земле.

«Неужто весна?» — подумал Тихонов и зашагал по сизой жиже из воды и тающего снега. В домах было еще темно.

«Сотню ударов дадут, не меньше,— думал Тихонов.— Полковник горяч на слова. Где ж это видано, чтобы давали триста шпицрутенов! Тогда уж лучше камень на шею — и в прорубь».

Вышли на плац. В две узкие шеренги лицом друг к другу были выстроены солдаты с шомполами в руках. На фланге стояли барабанщики. Около них ходил, покуривая трубку, Мерк. Изредка носком сапога он легонько ударял то одного, то другого барабанщика по ногам — выравнивал строй.

Тихонова подвели к Мерку.

— Сними, братец, мундир,— сказал Мерк. Он внимательно смотрел, как Тихонов застывшими пальцами расстегивал медные пуговицы и стаскивал мундир.— Экий ты, братец, лодырь — рубаха у тебя рваная. Ну, гляди, держись молодцом.

— Рад стараться, ваше высокородие! — деревянным голосом крикнул Тихонов и снял рваную рубаху.

— Рота, слуша-ай! — прокричал Мерк и повернулся на каблуках.

Солдаты неестественно вытянулись и застыли. Барабанщики подняли палочки над серой кожей барабанов. Только посредине на каждом барабане темнело пятно от ударов.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат привязали руки Тихонова к прикладу его ружья, взялись за дуло и повели Тихонова к началу шеренги. Тихонов шел медленно, будто недоумевая.

— Рота, слушай! — вторично крикнул Мерк.— По приказу командира полка! Прогнать рядового Тихонова сквозь строй. Дать триста ударов. Начина-а-ай!

— Ваше высокородие! — крикнул Тихонов и упал на колени в мокрый снег.

— Начина-а-ай! — Мерк махнул перчаткой.

Загремели, сбиваясь, барабаны. Унтер-офицер и рыжеусый солдат рванули Тихонова за дуло ружья. Тихонов упал, прополз несколько шагов по снегу, поднялся и, шатаясь, вошел в тесный проход между солдатами. Просвистел первый шомпол.

— Раз! — хрипло крикнул унтер-офицер.

Снова свистнул шомпол.

— Два! — весело крикнул рыжеусый солдат.

Тогда Тихонов повернул к Мерку страшное, налитое кровью лицо и крикнул, срывая голос:

— Правду в кандалы не забьешь! Не забьешь, братцы! Придет им конец, извергам, кровососам!

Он бессвязно кричал и упирался. Со спины сочились струйки крови. Ныли и гудели барабаны. У солдат тряслись губы.

На пятидесятом ударе Тихонов упал. Его подняли. К спине прилипли комья кровавого снега.

Через несколько ударов он упал снова. Его волокли по снегу, он хрипел. Солдаты без приказа опустили шомпола. Барабаны затихли.

— Лежачего не бьют,— сказал, заикаясь, Мерк и подошел к Тихонову.

Унтер-офицер и рыжеусый солдат перевернули Тихонова лицом вверх. Мерк нагнулся. Тихонов открыл глаза и посмотрел на небо мутным, безжизненным взглядом. Потом он перевел глаза на Мерка, с натугой сел, и челюсти у него задвигались, будто он пережевывал черствый хлеб.

— Отойдите, ваше высокородие,— сказал унтер-офицер,— как бы беды не вышло.

Мерк быстро выпрямился. Тихонов хотел плюнуть ему в лицо, но кровавая слюна стекла у него по подбородку и застряла в небритой щетине.

— Убрать! — сказал Мерк, отвернулся и медленно пошел прочь.

Солдаты быстро подхватили Тихонова, положили на шинель лицом вниз и понесли в полковой лазарет.

Утром к Бестужеву приехали секунданты Киселева. Они застали Бестужева с правой рукой на перевязи.

— Я прошу вашего разрешения,— сказал Бестужев,— отложить дуэль на два дня. Вчера, возвращаясь ночью домой, я упал и повредил правую руку. Поверьте, что эта задержка мне крайне неприятна, но причина достаточно уважительная. Стрелять я не могу. Я приму все меры к тому, чтобы рука у меня была излечена в кратчайшее время.

— Мы снесемся об этом с господином Киселевым,— ответил один из секундантов, отставной шведский лейтенант, проживавший на мызе вблизи Мариегамна,— и доложим его решение вашим секундантам. Разрешите узнать их имена.

Бестужев назвал Лобова и полкового лекаря Траубе. С утра он успел известить их об этом запиской.

— Может быть, вам прислать моего домашнего врача? — любезно предложил, прощаясь, швед.

Бестужев покраснел.

— Благодарю вас,— сказал он резко.— Я нахожусь на ногах и сам могу пройти в случае надобности в лазарет.

Секунданты откланялись и вышли.

Через час приехал на маленьких санках, запряженных водовозной клячей, полковой лекарь Траубе — подслеповатый, с покрытыми розовым пухом щеками, в громадных очках.

Он ласково мял левую руку Бестужева в пухлых ладонях и сказал, что Киселев, как известный забияка и дуэлянт, требует, чтобы дуэль состоялась не позже завтрашнего утра, с тем, чтобы оба противника стреляли левой рукой.

Сердце у Бестужева упало. Он согласился. Траубе хотел

осмотреть у Бестужева правую руку, но тот отмахнулся.

Траубе снял очки, долго протирал их красным платком и моргал светлыми ресницами, едва прикрывавшими его выпуклые глаза. Лицо лекаря морщилось, и углы рта дрожали.

— Павел Алексеич,— сказал он потупившись,— что же это такое? Вот уж действительно, как говорят старики, настали черные дни.

— Да, времена черные.

— Сколько печальных событий! Ночью доставили ко мне в лазарет двух задержанных мятежников.

— Почему в лазарет?

— Офицер, как вы, должно быть, заметили, имеет запущенную рану на руке. Он нуждается в лечении, он истощен. А у матроса отморожены ноги.

— Доктор,— сказал Бестужев,— зачем вы их лечите? Чтобы можно было потом повесить?

Лекарь уронил на пол красный платок.

— Неужто вы полагаете,— спросил он испуганно,— что я должен отказаться от лечения?

— Это было бы благороднее. Для чего сохранять здоровье людям, если их ожидает неизбежная казнь?

— Может быть, император помилует их?

— Никогда!

— Я лечу их,— сказал лекарь,— потому что сохраняю надежду, что жизнь им будет возвращена.

— Кем?

Лекарь снова снял очки и начал судорожно их протирать.

— Кем? — повторил Бестужев.— Могут ли они бежать без посторонней помощи?

— Какое безумие! — воскликнул лекарь.— У всех дверей и окон стоят часовые.

Тогда Бестужев наклонился к лекарю и сказал тихо:

— Если у вас есть хоть капля мягкосердечия и чести, если совесть позволяет вам быть участником казни, каковым вы сейчас являетесь, то слушайте...

Лекарь опасливо взглянул на окна и придвинулся к Бестужеву. Они говорили долго. Вставая, Бестужев сказал:

— Я буду у вас в лазарете сегодня вечером. Мне надобно ознакомиться с его расположением и заодно навестить солдата моей роты Тихонова. Его сегодня секли.

— Тогда торопитесь,— сказал лекарь.— Ему осталось жить недолго. Он потерял много крови.

Лекарь попрощался и вышел. Водовозная кляча медленно потащила его сани к лазарету.

Бестужев подошел к окошку и прижался лбом к холодному стеклу.

— Кровь... — сказал он с тоской.— Сердце запекается кровью.

В сумерки Анна с Бестужевым вышли из дому. Анна весь

день тревожилась. Она видела, как к Бестужеву приезжали офицеры, видела лекаря, но ни о чем не спрашивала. Она думала, что все это связано с приготовлениями к побегу.

С утра до ранних сумерек она просидела у горящего камина, закутавшись в платок, и отказавшись от обеда, даже от чашки кофе. При каждом шуме она вздрагивала: ей все время мерещился грохот барабанов.

За день она осунулась, морщинка легла около ее нервных, взлетающих бровей, и в глазах, когда она смотрела на Бестужева, появился печальный, материнский свет.

Бестужев не выдерживал ее взгляда и отводил глаза. Он чувствовал глубокое смущение оттого, что вынужден был молчать о дуэли.

Он непрестанно думал об Анне. Он испытывал жестокую горечь оттого, что их любовь началась так поздно и незадачливо, в эти черные, неспокойные дни. А ведь еще недавно она могла бы так пленительно расцвесть среди свежей и мягкой зимы, заставлявшей гулко биться горячее сердце, под веселый треск печей, под детский смех простодушных стариков, под звон прадедовских курантов.

Анна с Бестужевым вышли на окраину городка, к морскому берегу. Ноги проваливались в снег.

На берегу Анна тронула Бестужева за руку и показала на море. За неширокой полосой толстого треснувшего льда оно уже шумело пенистыми темными валами, и ветер нес в лицо водяную пыль.

Невдалеке виднелись корабли. Они качались, принимая удары волн. Якорные цепи то опускались в черную воду, то подымались с тяжелым звоном, и с них лились пенистые потоки.

Дул южный ветер. Временами начинал падать крупный мокрый снег. Он таял на лице и закрывал морские дали зловещей мутью. На кораблях уже зажигали фонари, и от тусклого их света вечер казался неприветливым и ненужным.

Анна и Бестужев медленно пошли обратно в город. Около лазарета они расстались: Бестужев хотел зайти в лазарет.

— Почему ты так печален, Павел? — спросила Анна, когда они прощались, и долго не выпускала руки Бестужева.

— В лазарете умирает мой солдат,— уклончиво ответил Бестужев.— Ты же знаешь.

— А больше тебя ничего не тревожит, милый?

— Нет, Анна.

Бестужев боялся поднять глаза. Анна вздохнула:

— Ну хорошо. Возвращайся скорее, я буду тебя все время ждать. Без тебя мне страшно и все кажется, что на острове нет ни души. Возвращайся.

Бестужев кивнул головой, повернулся и быстро пошел к лазарету. Анна смотрела ему вслед.

Бестужев вошел в холодную палату. Тихонов лежал на

железной койке вниз лицом. Увидев Бестужева, он зашептал и зашевелился. Забинтованная его спина не была покрыта серым одеялом: тяжесть одеяла вызывала у Тихонова сильную боль.

Солдат — служитель при лазарете, в коротком грязном халате — загремел сапогами и вышел.

Бестужев подошел к Тихонову и стал на колени около койки, чтобы видеть лицо солдата. Но лица он не рассмотрел. Он видел только черную опухшую щеку и один темный усталый глаз.

— Встаньте, ваше благородие, тут мусорно,— прошептал Тихонов.— Я обернусь.

— Лежи, лежи, милый,— негромко сказал Бестужев и положил руку на шершавую голову Тихонова.

— Ваше благородие...— сказал Тихонов и заплакал.— За что они меня так?

— Ты не плачь, Тихонов.— Бестужев нахмурился и, отвернувшись, смотрел на темное окно.— Даст бог, мы с тобой оба живы останемся, кончим солдатскую службу, выйдем на волю.

— Какая воля! — сказал Тихонов едва слышно.— Кому воля, а кому маята. Жена померла. Осталась старуха да сын. Петрушкой его звать. Ваше благородие, уважьте отпишите матери про мою кончину. Отпишите: преставился, мол, ваш любезный сын Семен Тихонов от грудной горячки и приказал долго жить.

— Куда отписать?

— Новгородской губернии, Белозерского уезда, село Мегры на Ковже-реке, Авдотье Тихоновой,— прошептал Тихонов и надолго замолк.

Было слышно, как ходили у соседнего окна часовые и кто-то тяжело дышал за стеной.

— Ну, прощай, Тихонов,— сказал Бестужев.

Солдат медленно высвободил из-под одеяла холодную, восковую руку, сжал ею руку Бестужева и снова замолк. Казалось, он уснул. Бестужев ждал.

— Прощай, друг,— сказал наконец едва слышно Тихонов.

Бестужев осторожно вышел.

Домой Бестужев вернулся поздней ночью. Измученная Анна, не дождавшись его, уснула. Бестужев остановился около открытой двери в ее комнату.

— Что, Павел? — тревожно сказала во сне Анна и затихла.

Бестужев подождал, услышал ее дыхание и с холодным отчаянием в сердце прошел в свою комнату.

Он зажег свечу, сел к столу и посмотрел на часы — было два часа ночи. Дуэль была назначена на шесть часов в сосновой роще на берегу залива.

— Осталось всего четыре часа,— сказал Бестужев и, заду-

мавшись, долго чинил гусиное перо.

Он достал из стола желтую плотную бумагу и начал быстро писать на ней косым брызгающим почерком.

«Анна,— писал он,— я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли. Наша любовь и без этого перенесла достаточно испытаний. Едва мы поняли, что любим друг друга, как тяжкие и возмутительные события вторглись в жизнь. Они наполнили сердца негодованием и беспокойством, заставили тебя проливать слезы, поглотили все мое существо, весь мой разум, занятый в этот час только одной мыслью— спасти благородных людей, обреченных на казнь.

Единственное утешение для нас в том, что мы, вопреки обычному бессердечию любящих, смогли от чистого сердца отдаться чужим несчастьям. Мы почитаем невозможным жить только своей любовью друг к другу перед лицом несправедливостей и мучений народных.

Я употребил эти слова вполне законно, ибо смерть Тихонова и арест участников петербургского восстания являются лишь небольшими случаями всеобщего народного страдания. Им щедро и незаслуженно наделена моя родина.

Наши мечты о бегстве рассеялись из-за дуэли. Только что я посетил Пинера на его корабле. Он снимается в ночь на послезавтра. Сняться сейчас он не может по причине неготовности парусов. Вся команда чинит паруса не покладая рук, из чего я заключаю, что мужественные матросы кое-что знают о наших планах.

Побег произойдет только через сутки, а дуэль — через четыре часа. Ежели я останусь жив, то участь несчастных арестованных станет нашей участью, и мы, освободив их, должны будем бежать вместе с ними. Ежели я буду убит или сильно ранен, то ты, Анна, заменишь меня.

В ночь на послезавтра караулом в лазарете командует Лобов. У него заготовлен подложный приказ командира полка о переводе заключенных в недостроенный форт Сэгбю. Доктор на нашей стороне. Солдаты возбуждены и готовы по первому слову повернуть оружие против вчерашних командиров. Полк волнуется.

Ежели Лобову удастся (держа в кармане подложный приказ на случай встречи с Мерком или с кем-либо из преданных командиру офицеров) вывести арестованных, то шлюпка с корабля будет ждать их за первым лесистым мысом по дороге в Сэгбю. Лобов скроется вместе с беглецами.

Я верю Пинеру и его морским способностям, но прошу тебя прийти на корабль с вечера и показать Пинеру берег, куда надлежит послать шлюпку за беглецами. Ты знаешь эти места, как свой дом. Пинер же опасается, что в темноте матросы могут заблудиться да и он сам не сможет в точности определить место за незнанием здешних берегов. В ответ на мои уверения, что ты будешь присутствовать на корабле, он ска-

зал, что лучшего лоцмана, чем Анна, ему и не надобно.

Солдаты могут бежать, но вряд ли они на это согласятся. Их судьба в безопасности, ибо они будут действовать по прямому приказу начальника.

Я боюсь, что точность моих объяснений ты можешь принять за безразличие к тебе. Неужели ты скажешь: как он мог писать так спокойно и рассудительно, зная, что больше меня не увидит?!

Анна, моя любовь к тебе безмерна. Я боюсь думать о тебе в эти минуты. Я гоню от себя воспоминания и страшусь услышать твой голос. Если бы ты вошла сейчас, я бы не выдержал, забыл обо всем и на коленях умолял бы тебя лишь об одном — о спасительном бегстве. Я бы забыл свою честь и участь несчастных. Поэтому я пришел поздней ночью, чтобы застать тебя спящей.

Я знаю — и ты должна знать это вместе со мной,— что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительною силой. Пренебрежение к счастью народа будет почитаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли, и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев.

Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны. Я завидую им и кричу в душе, как кричат узники из мрачных казематов: не забывайте нас, счастливцы!

Прощай! Прости за неумелую любовь и невольные страдания. Письмо на имя Авдотьи Тихоновой перешли в село Мегры, Новгородской губернии, Белозерского уезда».

Бестужев, не перечитывая письма, запечатал его в конверт и написал на нем: «Анне».

Потом он написал второе письмо, матери Тихонова, и оставил его на столе.

Несколько минут он сидел, закрыв глаза рукой, и как бы прислушивался к течению ночи. Она влеклась над землей, морем и лесистыми островами, безмолвная и печальная. Чуть заметная бледность уже проступала на стеклах.

Бестужев встал, надел на правую руку черную перевязь, накинул плащ и осторожно вышел в коридор. Анна спала. В теплой тишине комнат было слышно ее спокойное дыхание.

Бестужев вышел, прикрыл за собою дверь и крадучись спустился с крыльца. Далеко пели петухи. Стволы берез уже белели во мраке: приближался скудный и холодный рассвет.

Бестужев медленно пошел к сосновой роще за городом.

...Лобов и Траубе приехали первыми на водовозной кляче. Кожа у клячи была покрыта оспинами и все время дрожала. Как только секунданты вылезли из саней, лошадь уснула.

Чуть светало, и в пасмурном воздухе обледенелый лес поблескивал, как стеклянный.

Лобов зевнул. Лекарь посмотрел на него с недоумением.

— Эх,— сказал Лобов,— много бы я дал за то, чтобы выспаться! В такое утро лежать бы на койке и слушать, как угли в печке трещат, будто сверчки.

— Вы всегда шутите несообразно с обстоятельствами.

— Эх, Карл, мякиш мой милый! — ответил серьезно Лобов.— А что толку плакать? Что жизнь? «Живи, живой; спокойно тлей, мертвец».

Послышался глухой топот. Водовозная кляча проснулась и посторонилась. Швыряя снегом в лакированный козырек саней, примчались гнедые кони Киселева.

Киселев легко выскочил из саней, холодно посмотрел на секундантов Бестужева и поздоровался. За ним из саней вылезли длинный швед со скучным лицом и толстый развязный штабс-капитан Курочкин — полковой враль и фигляр. Курочкин достал из саней ящик с пистолетами.

Бестужев пришел пешком. Шел он медленно, проваливаясь в рыхлый снег и выбирая дорогу среди поваленных деревьев.

Секунданты вытоптали в снегу тропинку и поставили противников по ее краям. Мириться не предлагали — должно быть, об этом забыли. Швед стоял в стороне и потирал озябшие руки. Хлопотал один Курочкин. Лобов, нахмурившись, осмотрел пистолеты.

Бестужев прислонился к стволу молодой березы и взял пистолет. От непривычки стрелять левой рукой она казалась деревянной и болела в сгибе.

Бестужев прицелился. Киселев небрежно подымал пистолет левой рукой. Он сбросил плащ на снег и сильно щурился.

Вороны с отчаянным карканьем взлетели с березы и засыпали Бестужева снегом. Бестужев взглянул вверх, и в то же мгновение раздался выстрел. Бестужев увидел длинную струю дыма, различил пороховой запах — от него стало тошно на сердце,— отбросил пистолет и упал лицом вперед на вытоптанную тропинку.

Лобов, спотыкаясь, подбежал к нему и поднял за плечи. Кровь капала в снег, и в снегу протаяло от нее несколько розовых ноздреватых воронок.

Торопливо подошел Траубе. Он наклонился над Бестужевым, покачал головой и медленно выпрямился.

— Ну что, как? — спросил Лобов.

— Выстрел в сердце.

Траубе начал судорожно вытаскивать из кармана большой красный платок. Слезы текли из-под очков по круглым щекам лекаря.

— Перевяжите его,— сказал Киселев.

— Что? — тонко крикнул Траубе, и щеки его задрожали.— Может быть, я ослышался? — Он повернул к Киселеву блед

ное пухлое лицо: — Вы не смеете мне приказывать. Вы не смеете ничего говорить. Вы убийца, и с вас сорвут за это погоны.

Киселев отвернулся и пошел к лошадям.

— Да, да! — кричал ему вслед Траубе.— Я подаю в отставку. Я не тюремщик и не мясник!

Киселев, делая вид, что он не слышит слов лекаря, быстро сел в сани с Курочкиным и тронул лошадей.

Лобов, Траубе и швед подняли мертвого Бестужева и перенесли в сани. Водовозная кляча оглянулась, мотнула головой и неохотно зашагала по снегу. Секунданты шли рядом. Кляча часто останавливалась, и ее приходилось понукать.

Бестужева привезли в лазарет и положили в мертвецкой рядом с Семеном Тихоновым. А через час в лазарет прибежала Анна.

— Он не умер, неправда,— твердо сказала Анна лекарю и посмотрела мимо него пустыми глазами.— Он скоро очнется.

— Ах, боже мой, боже мой! — прошептал лекарь, вышел в соседнюю комнату и долго топтался около стеклянного шкафа с лекарствами.— Что делать?

Он налил в стакан ландышевых капель и разбавил их кипяченой водой. Он делал это долго, расплескивал воду и прислушивался. Ему было страшно оставаться наедине с Анной.

Анна молчала. Потом она вскрикнула. Траубе со стаканом в руке вошел в мертвецкую. Анна трясла Бестужева за плечи, подняла его голову, прижала к груди и посмотрела на лекаря впалыми сухими глазами.

— Уйдите! — сказала она хрипло.— Уйдите все, мне ничего не нужно.

Траубе протянул ей стакан с лекарством. Анна взяла его и швырнула в угол комнаты...

— Анна...— сказал Траубе, и голова его затряслась.— Анна, прошло уже много часов, как вы плачете здесь, в этой комнате. Уже вечер. Я прошу вас, я заклинаю вас, пойдите домой на несколько часов. Я посижу пока с ним.

Анна опустила голову Бестужева на подушку, набитую жесткой соломой, и встала.

— Уже вечер? — спросила она с недоумением.— Правда, темно. Но ведь весь день было темно, как ночью. Который час?

— Девятый.

Анна запахнула шубку, поправила на голове платок и, не оглядываясь, пошла к двери.

— Я вернусь,— сказала она Траубе.— Никуда не уходите.— Она вышла на улицу и быстро пошла к морю.

У обросших желтыми лишаями валунов качалась и билась о камни темная шлюпка. Матрос молча протянул Анне руку и помог спуститься. Потом он вытер руки о старые бархатные штаны и взялся за весла.

Серые волны взлетали и исчезали в темноте. Изредка они

плескались в шлюпку. Матрос молча греб к темному кораблю. Анна неподвижно сидела на корме и не отрываясь смотрела на корабль, тяжело нырявший в неспокойной, покрытой пеной воде.

С корабля бросили веревочный трап. Анна поймала его и вскарабкалась на палубу. Не было сказано ни слова.

Пинер тихо свистнул, и тотчас безмолвная толпа матросов на баке начала вращать кабестан. Из воды поползла ржавая якорная цепь. Глухо шуршали, раскатываясь, паруса. На палубе не было огней, никто не курил.

Анна стояла на капитанском мостике рядом с Пинером. Корабль тихо скрипел. Волны били о его корму и разлетались в стороны с шипением и тусклым блеском. Бриг сильно вздрогнул, накренился на правый борт, и редкие огни городка начали меняться местами и гаснуть, скрываясь за скалами.

— Пошли,— сказал Пинер и перекрестился широким католическим крестом.

Анна, наморщив брови, вглядывалась в огни городка за кормой и время от времени протягивала вперед руку, показывая Пинеру, куда вести корабль.

На соседних шведских парусниках было темно и тихо; на них нарочно погасили огни. Только на одном из них Пинер разглядел темную фигуру, как будто махавшую шапкой. Фигура быстро слилась с ночным мраком.

Корабль плыл в оцепенении. Люди молчали. Только ветер туго гудел в парусах и было слышно, как плещет о берега невидимый прибой. Изредка льдины били о деревянный борт брига, но корабль легко отшвыривал их, и они, неуклюже переворачиваясь и шипя, уходили под воду, чтобы снова всплыть за кормой.

— Держите ближе к берегу,— сказала Анна Пинеру.— Это здесь.

Пинер протяжно свистнул. Паруса заполоскали: корабль ложился в дрейф. На корме матросы осторожно спускали на талях большую, тяжелую шлюпку.

В полночь Лобов, одетый по-походному, явился в лазарет. Он вызвал Траубе, снял при нем часовых, прочел им приказ командира полка о переводе арестованных в форт Сэгбю и распорядился не отлучаться ни одному солдату из лазарета до его возвращения. Солдаты молча повиновались.

Лобов вывел арестованных и быстро по задворкам повел их в сторону леса. Тогда один из солдат сказал вполголоса:

— Улетели, сердешные, только след за ними горит.

— А ты помолчи, кавалер,— грубо оборвал его низенький старый солдат.— Мы люди казенные. Ты приказы сполняй, а в них за тебя офицеры небось разберутся.

Разговор оборвался.

Лобов и арестованные шли молча. Лес обступил их затишьем и мраком. Потом в мокрой его глубине послышались

тяжелые удары моря и по ветвям подул ровный соленый ветер.

Лобов свернул с дороги и пошел напрямик к берегу. От берега тянуло запахом зернистого тающего льда. В черной мгле смутно виднелась седая неподвижная громада корабля. На берегу беглецов ждали Анна и матросы.

— Скорей! — сказала Анна Лобову.— Течение сносит корабль на скалы. Торопитесь!

— А вы? — изумленно спросил Лобов.— Вы должны бежать вместе с нами.

— Нет,— Анна покачала головой,— я не могу уехать.

— Но почему?

— Неужели я должна вам объяснять это? — сказала Анна с такой горечью, что Лобов покраснел в темноте.

Он крепко пожал руку Анне и ничего не ответил. Анна обернулась к арестованному. Офицер сделал шаг вперед.

— Мы никогда не забудем,— сказал он,— вашей помощи. Мужайтесь! Всюду в мыслях я буду с вами. Может быть, мы еще свидимся и я смогу принести вам хотя бы ничтожное утешение.

Он хотел поцеловать у Анны руку, но она притянула его голову к себе и поцеловала в холодный лоб. Она сжала плечи беглеца. Сердце ее тяжело билось от боли. Ради его спасения было отдано все: счастье, любовь, отдана жизнь. Он был теперь единственным родным ей человеком.

Ветер хлопал парусами корабля. Матросы торопили. Беглецы и Лобов вошли в шлюпку. Первая же волна откинула ее от берега и скрыла в темноте.

Анна стояла на берегу и ждала. Изредка она слышала глухой стук уключин. Ветер обдувал платье на Анне, леденил лицо. Она смотрела в темноту до тех пор, пока громада корабля, неясная как видение, не начала медленно скрываться во мраке. Тогда Анна застонала, обняла сырой ствол сосны и прижалась к нему головой. Никогда она не думала, что в жизни может быть такое полное и глухое одиночество, такое отчаяние.

Медленно, спотыкаясь и хватаясь за стволы деревьев, Анна побрела в город. Ночное море шумело за ее спиной равнодушно и угрюмо. Анна знала, что ничто в мире не может принести ей утешения, никто не поймет ее слез, что сейчас оборвались последние нити, привязывающие ее к жизни.

Бестужева и Тихонова похоронили на следующий день к вечеру.

Мерк не разрешил оркестру играть на похоронах. Только барабанщики шли впереди понурых солдатских рядов и отбивали печальную дробь. Два дощатых, плохо обструганных гроба солдаты несли на плечах. Впереди брел старый глухой священник. Он не слышал самого себя и потому то едва слышно бормотал слова молитв, то выкрикивал их во весь голос.

Вперемежку с солдатами шли немногие офицеры. Заплаканный Траубе шел рядом с Анной и изредка поддерживал ее за локоть. Анна каждый раз вздрагивала и оглядывалась. Ей казалось, что похоронное шествие стоит на месте. Она видела все одно и то же: мутное небо, землю, засыпанную белым снегом, серые стриженые головы солдат, их серые шинели и озябшие красные руки, державшие черные бескозырки.

Хор заунывно пел непонятные церковные напевы. Гробы качались. На крышке гроба Бестужева лежала его сабля, а у Тихонова — старая солдатская фуражка.

Анна опускала глаза и видела рыжие сапоги солдат, шедших впереди. Она смотрела на солдат, на их спины, на озябшие руки, осторожно поддерживавшие гроб, и думала, что эти руки почти прикасаются к телу Бестужева, к его бледному задумчивому лицу. Тогда она начинала плакать. Траубе брал ее за локоть, а солдаты позади сморкались, вытирали носы рукавами шинелей и перешептывались.

Их шепот доходил до Анны, и она слышала в нем слова неуклюжего и беспомощного утешения.

— От пули не посторонишься,— говорили солдаты.— У него легкая смерть была, нисколько не мучился. Горе — как полая вода: все затопит, а потом сойдет.

На кладбище открыли крышки гробов, и глухой священник, помахивая кадилом, громко сказал страшные слова:

— Придите, дадим последнее целование.

Анна подошла к гробу, стала на колени, растерянно оглянулась и поцеловала Бестужева в холодные тонкие губы. Бестужев смотрел на нее из-под опущенных ресниц печально и сосредоточенно. Она положила Бестужеву на плечи худые маленькие руки и долго вглядывалась в его лицо.

Все ждали. Священник сердито кадил и кашлял. Траубе поднял Анну.

К гробам один за другим подходили солдаты. Они поправляли кожаные пояса, одергивали шинели, крестились, целовали в лоб Бестужева и Тихонова и отходили. Иные становились на колени и кланялись до земли мертвецам.

Все это совершалось в полном безмолвии. Только свежая земля и щебень, сваленные около могилы, осыпались и шуршали под сапогами.

Гробы закрыли, и священник начал невнятно и быстро бормотать молитву «об убиенном рабе божьем болярине Павле и новопреставленном рабе божьем Семене». Хор запел «вечную память», серые ряды солдат тяжело рухнули на колени, и послышались всхлипыванья.

— Веселое горе — солдатская жизнь! — сказал за спиной у Анны сиплый голос.

Она оглянулась. Десятки тоненьких свечей пылали и коптили под сереньким небом. Кто-то дал свечу и Анне. Пламя ее сильно дрожало, будто хотело оторваться от фитиля, и Анна

в испуге прикрыла его ладонью.

— Идемте! — Траубе взял Анну за руку.— Больше вам незачем оставаться.

К гробам подходили солдаты с веревками и лопатами.

Анна покорно ушла. Она осторожно несла горящую свечу и болезненно улыбалась. Траубе с беспокойством смотрел на нее и думал, что даже самый спокойный рассудок не может вынести бесследно таких потрясений.

— Чему вы улыбаетесь? — спросил он Анну.

— Тише,— ответила Анна и посмотрела на Траубе спокойными глазами.

Начал падать отвесный снег. Снежинки бесшумно ложились на землю. Анна долго смотрела на них.

— Вот видите, даже они стараются не шуметь.

Когда снежинки падали на горящий фитиль, свеча сильно трещала. Анна осторожно задула ее, повернулась и пошла обратно на кладбище.

Траубе посмотрел ей вслед, махнул рукой и, сгорбившись, сразу постарев, побрел к себе в лазарет.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В конце 1916 года, во время германской войны, штурман Александр Щедрин, только что окончивший морское училище, был отправлен на Аландские острова, во флотилию миноносцев.

Зима стояла теплая. За Ревелем море было свободно ото льда. Щедрин долго смотрел с палубы транспорта на затянутые сумраком берега. Там, в Ревеле, осталась мать. Она приехала из Петрограда проводить сына и остановилась в недорогой гостинице.

Отец Щедрина — морской врач — давно умер. Мать жила на пенсию. Она помогала своим сестрам, теткам Щедрина, и пенсии всегда не хватало. В одном Петрограде было три тетки. Кроме того, приходилось посылать деньги одной тетке во Владивосток, а другой — в Киев.

Все тетки были старые девы, или вдовы с кучей детей на руках. Семья была дружная, петроградские тетки давали уроки музыки и французского языка. Они всегда торопились, беспокоились, бегали по лекциям и библиотекам, умилялись на концертах, вечно кого-то жалели и кому-нибудь помогали.

Почти все тетки были женщины добродушные и некрасивые. Это, по словам матери Щедрина, «разбивало их личную жизнь». Одна тетка прекрасно пела, у нее был оперный голос, но на сцену ее не взяли из-за близорукости. Без пенсне она слепла и делалась беспомощной, как ребенок,— куда же такую на сцену!

Но, несмотря на некрасивость, у всех теток были в молодости жестокие романы. Герои этих романов давно облысе-

ли, женились, заведовали департаментами и командовали полками, но все же тетки при случайных встречах с ними на улице вспыхивали, как институтки, потом прибегали к матери Щедрина, запирались в ее комнате и долго плакали.

— За что бог наградил меня такими дурами! — в сердцах кричала за дверью мать.

Но Щедрин знал, что она притворяется.

Сестры не могли жить друг без друга. Мать Щедрина считалась их общей утешительницей. Она была добра, рассудительна и называла себя революционеркой.

Но тетки были отходчивы. Через час после слез они уже возмущались за обеденным столом министром народного просвещения, тупицей Кассо.

Как и у каждой семьи, у Щедриных было свое семейное предание. Когда Александр подрос, мать рассказала ему, что его дед, Николай Щедрин, участвовал в восстании декабристов, был ранен в руку и бежал после восстания за границу. Вместе с матросом восставшего гвардейского экипажа он пробрался в Або и оттуда пошел пешком по льду замерзшего Ботнического залива в Швецию. На Аландских островах его арестовали, но ему удалось бежать в Стокгольм на французском парусном корабле.

Тогда же мать достала из комода и показала Щедрину небольшой портрет молодого военного, сделанный акварелью. Бледный офицер стоял, опираясь на саблю, в дверях пустого зала. На офицере был черный мундир. Позади, за стеклами дверей, висели в небе белые облака и стояли сады, покрытые серой дымкой. От портрета почему-то оставалось впечатление одиночества.

Щедрин не очень верил семейным преданиям. К своим восторженным теткам он относился снисходительно и даже насмешливо.

Александра Щедрина тетки звали увальнем и возмущались тем, что мальчик чрезмерно увлекается научными книгами и сидит по ночам над чертежами географических карт, вместо того чтобы зачитываться Тургеневым и декламировать стихи Фета.

Когда Щедрин получил назначение на Аландские острова и уезжал с матерью из Петрограда в Ревель, все тетки пришли провожать его на Балтийский вокзал.

Морские офицеры, ехавшие в одном вагоне с Щедриным, иронически поглядывали на стайку щебечущих старушек, окружавших Щедрина. Тетки крестили его, давали ему много советов, роняли от волнения пенсне и сумочки. Щедрин краснел и ждал третьего звонка.

Но когда поезд тронулся, он рассердился на себя, на свой стыд за теток перед офицерами и молчал всю дорогу.

...В Ревеле, в тесном номере гостиницы, где от обилия

старых ковров и бархатных портьер воздух казался тусклым, мать Щедрина, сидя на диване, сказала ему:

— Саша, ты поищи, милый, на Аландских островах какие-нибудь следы деда Николая. Все-таки интересно.

— Хорошо, мама.

Мать перед этим плакала, и Щедрин был рад, что она отвлеклась от мыслей о войне и вспомнила про деда.

В Ревеле во время войны запрещалось зажигать свет в домах, если на окнах не были опущены шторы. Они сидели в темноте, и старинный город за окнами был сумрачен и тих. Зеленые звезды горели над ним, и с улиц доносился тихий стук колес.

— Никогда я не думала,— сказала мать,— что буду сидеть с тобой где-то в ревельской гостинице и провожать тебя на войну. Чем все это кончится, Саша?

Мать печально вздохнула.

В дверь постучали. Вошел портье, лысоватый, похожий на сыщика. Он быстро обежал глазами комнату и доложил, что, по старой традиции, владелец гостиницы ежегодно устраивает для своих жильцов, оторванных от родного дома, рождественскую елку. Владелец гостиницы просит всех сойти в зал, где елка уже зажжена и господа жильцы могут получить подарки.

Щедрин с матерью спустились в зал. Золотой жар разноцветных свечей наполнял его. Окна были завешены.

Елку так густо украсили стеклянными бусами, бумажными цепями, флажками союзных держав и золотыми орехами, что почти не было видно ее темной хвои. Елка стала похожа на дорогую куклу в розовых кружевах. Круглые маленькие столики стояли вокруг нее. За ними сидели морские офицеры и женщины в бальных нарядах.

Черное старенькое платье матери Щедрина выделялось среди шелкового сияния и горячего света, как нищенская заплата. Мать стеснялась. Они сели в углу, за крайний столик, и долго ждали, пока официант подошел к ним и сунул на стол длинный список кушаний.

— Я выберу сама, Саша,— робко сказала мать и взяла карточку. Денег было немного, и она боялась, что сын, чтобы порадовать ее, закажет что-нибудь слишком дорогое.

Официант не стал ждать и отошел к соседнему столику. Там сидел плотный чернобородый капитан первого ранга. Глаза у него были темные и выпуклые. Он водил ими по сторонам и с одинаковым выражением брезгливости смотрел и на официанта, и на Щедрина, и на свою даму — пышную и густо напудренную блондинку в лиловом платье.

Мать заказала чай с пирожным. Официант долго не подавал. Ждать за пустым столиком было тяжело и почему-то стыдно, как на скамье подсудимых.

Молоденький мичман подсел к роялю, ударил по клавишам и запел грассируя:

Дитя, не тянися весною за розой,
Розу и летом сорвешь...

Мичман зажал папиросу в углу рта, небрежно поморщился и заиграл сладкий затихающий пассаж. Тогда из-за дальнего столика грубый голос неожиданно сказал:

— Я просил бы от имени всех господ офицеров сыграть сначала гимн, а потом ваши розы.

Мичман снисходительно улыбнулся, оборвал песню, встал и, слегка наклонившись над клавиатурой и рисуясь, заиграл гимн. Все поднялись. Официанты застыли с подносами среди зала.

Мать Щедрина торопливо встала, ридикюль у нее раскрылся, и из него выпал на ковер скомканный носовой платок. Он был еще сырой от слез.

Когда все сели, женщины вынули из сумочек изящные зеркальца и пудреницы и начали, смеясь и продолжая болтать, пудриться и подводить губы, как будто гимн разрушил их женское очарование в глазах мужчин.

Капитан с выпуклыми глазами подозвал официанта, ткнул коротким пальцем в сторону столика Щедрина и сказал:

— Уберите это!

Официант не понимал и, заискивая, смотрел в брезгливое лицо капитана.

— Что прикажете? — спросил он согнувшись.

— У вас под столиком валяются тряпки! — сказал, раздражаясь, капитан и начал краснеть.

Женщина в лиловом платье быстро заморгала глазами. Официант подошел, поднял скомканный носовой платок и положил его на стол около матери Щедрина.

— Обронили,— сказал он тихо и, пятясь, отступил.

Щедрин смотрел на капитана, руки у него холодели, и лицо чернело от гнева.

— Саша! — сказала мать.— Успокойся... Ради бога, успокойся!

Капитан жадно ел, не обращая на Щедрина никакого внимания. Он сочно жевал, и черная его борода ерзала по синеватой хрустящей салфетке, заткнутой за тугой крахмальный воротник.

— Пойдем отсюда,— сказал Щедрин матери.— Нам нечего делать здесь, среди этих...

Голова у матери затряслась от страха за сына.

Щедрин смолчал. Они вышли. Только на лестнице Щедрин договорил начатую фразу:

— Нам нечего делать среди этих скотов. Голубая остзейская кровь! Мало их топили в Кронштадте в пятом году!

Мать замахала на него руками.

База миноносной флотилии была расположена в городке Мариегамне, на одном из островов Аландского архипелага.

Щедрин был назначен на миноносец «Смелый». «Смелый» нес патрульную службу вблизи берегов, выискивая немецкие подводные лодки, и в Мариегамн возвращался редко.

Месяц за месяцем тянулись скитания по серой и пустынной Балтике. Днем и ночью холодная вода шипела у стальных бортов, гудели турбины, наблюдатели до ряби в глазах всматривались в горизонт, чтобы не пропустить дым или перископ подводной лодки. Офицеры играли в кают-компании в карты. Трудно было поверить, что на море идет война и тусклая вода вокруг полна опасностей. Моряки жаловались, что самая скучная служба во флоте, конечно, на дозорных судах.

— Рыщем, рыщем,— говорили между собою матросы,— блоху в сене ищем.

В последних числах февраля «Смелый» вышел к берегам Швеции. С утра шел снег, перемежавшийся градом и дождем. В корму бил порывистый ветер. Каждую минуту он менял направление и хлестал то в спину, то в лицо, то справа, то слева.

Рыхлые тучи, напитанные темной водой, низко неслись над морем. Волны, казалось, дохлестывали до них крутыми гребнями. На всем лежал хмурый налет, будто море закрыла огромная зловещая тень, солнце ушло навсегда в другие, счастливые страны и посылает Балтике свой потухающий свет.

— Не то ночь, не то день — ни черта не разберешь! — жаловались вахтенные.— Вот собачья работа!

В свободное время Щедрин много читал. Сначала офицеры заходили к нему в каюту и просили дать почитать что-нибудь, но потом бросили. Выбор книг, по их мнению, был скучный. У Щедрина было больше всего научных книг, офицеры же спрашивали развлекательную беллетристику.

Кроме офицеров, книги у Щедрина брал иногда штурвальный Марченко — бывший матрос торгового флота, черноморец, неуклюжий, сутулый человек с прищуренными глазами. Во всех случаях жизни он сохранял невозмутимость, а свое отношение к окружающему выражал несколькими любимыми словами. Самым любимым его словом было «кабаре».

— Это же кабаре! — говорил он, если видел что-нибудь нелепое или непонятное.— Чистое кабаре, накажи меня бог!

В один из этих сумрачных дней Щедрин, освободившись от вахты, лежал у себя в каюте и читал книгу о движении материков. Теория эта была в то время мало известна и поражала своей простотой. Особенно удивляло Щедрина наглядное доказательство этой теории. Щедрин брал небольшую карту земного шара, вырезал из нее ножницами Америку, Европу и Африку, пододвигал Америку к Европе, и контуры материков сходились, как края одного куска бумаги, разорванного на части.

За пристрастие к наукам молодой мичман с радостными глазами Акерман, прозвал Щедрина «Чарльзом Дарвином»,

а миноносец был прозван «Смелым Биглем».

По старой морской привычке все миноносцы носили прозвища, так же как и большинство офицеров.

Волосатого командующего флотилией звали «Палубный лев». Старшего офицера на «Смелом», Виктора Попова, прозвали за его маленький рост «Полувитей». Когда Полувитя стоял на мостике, то над поручнями торчала одна его голова в клеенчатом штормовом капюшоне. Миноносец «Стремительный», ходивший вместе со «Смелым», прозвали «Паровой балагулой», за то, что он всегда отставал.

Акерман был начитан, обладал удивительной памятью, любил шутить и выражаться в торжественном стиле авантюрных романов.

Щедрин лежал с книгой в руке, но вдруг схватился за койку. Миноносец сильно качнуло. Он круто поворачивал, меняя курс. Книга упала на пол.

Щедрин сел на койке и вздрогнул: оглушительные колокола боевой тревоги гремели по миноносцу. Над головой, топоча сапогами по железным настилам, бежали люди.

Щедрин, путаясь в рукавах шинели, натягивая ее на ходу, выбежал на палубу. На трапе он столкнулся с Акерманом.

— Что случилось? — спросил Щедрин.

— Наш маленький отважный корабль,— ответил Акерман,— ринулся на неприятельский крейсер.

— Да ну вас! — отмахнулся Щедрин и побежал дальше.

— Команда застыла у орудий, готовая или победить, или умереть! — крикнул ему в спину Акерман.— Слышите?

— Сумасшедший! — успел прокричать Щедрин.

Акерман, ловко спускаясь по трапу к своему месту около орудия, показал Щедрину кулак.

Произошло следующее.

Вблизи шведских берегов с мостика заметили на горизонте немецкий крейсер. Он шел к юго-западу и вел на буксире небольшое судно. Из-за сумерек судно приняли сначала за миноносец, но потом рассмотрели, что это подводная лодка.

Когда Щедрин выбежал на палубу, «Смелый» полным ходом шел с запада на юг, сближаясь с крейсером.

Град бил в лицо. Восточная часть неба была темнее западной. В этом было преимущество «Смелого». С крейсера почти не видели миноносца — он казался сгустком дыма и мглы, мчавшимся в бурунах и пене. Крейсер же чернел на пасмурном небе громадой своих надстроек, труб и орудийных башен.

— Теперь на том крейсере чистое кабаре,— сказал Марченко, стоя рядом с Щедриным.— С таким грузом на хвосте немыслимо драться. Сейчас немцы отдадут буксир и кинут свою лодку. Будет дело!

Крейсер становился все темнее и ближе. Он не прибавлял хода, грозно молчал, и в этой неторопливости крейсера и в его молчании Щедрин почувствовал приближение сокрушительного удара

Палуба миноносца дрожала. Размахи от волн делались все круче. Люди на мостике и у орудий были привязаны к поручням.

На крейсере полыхнули четыре широких багровых огня, и тяжелый гул понесся в непроглядные морские дали. Снаряды легли за кормой «Смелого».

«Смелый» развернулся бортом и послал мину. Взрыва не было. Крейсер отдал буксирный трос, оставил лодку и, громыхая из орудий, начал быстро уходить к югу. Снаряд ударил в правый борт «Смелого», около кормы. Столб воды обрушился на палубу. Щедрин насквозь промок. На корме послышались крики. Командир послал туда Щедрина.

— Мичман Акерман ранен,— сказал он.— Замените его.

Щедрин прошел на корму. Несколько матросов подняли Акермана. У него была раздроблена нога. Он успел сказать Щедрину:

— Немного рвануло борт, но это пустяки. Командуйте.— Он усмехнулся и добавил: — Истекая кровью, он отдавал приказания матросам...

Акерман хотел сказать еще что-то шутливое, но вскрикнул и застонал. Матросы, приседая и хватаясь за поручни, понесли его вниз, в кают-компанию.

«Смелый» перенес огонь на подводную лодку.

Люди у орудий работали торопливо и безмолвно. Лодка грузно качалась на волнах, как мертвый тюлень, и не отвечала. Ее уже едва было видно в сгустившихся сумерках.

Град барабанил по палубе и отскакивал от поручней. Мутное море гудело и неслось к востоку мимо бортов миноносца.

Один снаряд взорвался на подводной лодке около командирского мостика, но лодка молчала. Молчание ее казалось зловещим и опасным.

— Она же пустая,— сказал Марченко Щедрину.— Зря снаряды тратим. Бьем по мертвому месту.

Щедрин не поверил матросу,— не могли же немцы вести на буксире подводную лодку без единого человека команды!

Сорвался шквал. Командир «Смелого» Розен приказал прекратить огонь. Снег лепил в лицо, порошил глаза, ветер вертел его серыми вихрями вокруг широких труб миноносца.

Палуба была как будто залита темной тушью. Ночь завладела морем и миноносцем; даже в каютах, где были наглухо завинчены стальные крышки на иллюминаторах, лампочки горели в четверть накала.

«Смелый» открыл прожектор и медленно кружился около подводной лодки.

Щедрин спустился в кают-компанию, к Акерману. В каюте было холодно, пахло лекарствами. Миноносец сильно качало, и при каждом размахе Акерман стонал все сильнее.

— Почему мы топчемся на месте, а не идем в Мариегамн? — спросил он Щедрина, не открывая глаз.

— Командир решил не отрываться от лодки. Лодка молчит. Черт ее знает, что с ней! Утром мы к ней подойдем.

— Значит, мне отрежут ногу,— сказал Акерман.— Она уже вся горит. Из-за какого-то железного, воняющего отработанным газом чудовища. Какая чепуха! Фельдшер ни бельмеса не понимает.

Акерман махнул Щедрину рукой, чтобы тот вышел.

Щедрин пошел к Розену. Щедрина тоже тряс озноб, и сильно болело под лопатками, трудно было дышать.

Розен стоял на мостике с Полувитей. Розен был тощий молчаливый остзеец. Он носил баки, и сейчас они, мокрые от снега, торчали по сторонам его фуражки, как маленькие уши хитрого и хищного зверя.

— Карл Игнатьевич,— сказал Щедрин очень громко, стараясь перекричать шум ветра в ушах,— мичману Акерману очень плохо. В ноге началось воспаление.

— Эх-хе-хе... — добродушно вздохнул Полувитя.— Придется ему потерпеть.

— Нельзя ли сейчас забуксировать лодку и идти в Марнегамн? — спросил Щедрин.

Розен обернулся к Полувите и пожал плечами.

— Вот извольте,— сказал он.— Сколько раз я просил, Виктор Петрович, этих дураков в штабе не назначать ко мне на миноносец юношей, интересующихся науками! — Он повернулся к Щедрину, засунул руки в карманы шинели и крикнул хриповатым голосом: — Это военный корабль, а не студенческая сходка! Прошу мне не указывать!

Щедрин махнул рукой и спустился с мостика.

Ночь тянулась очень медленно. Казалось, что утро никогда не сможет пробиться сквозь гущу туч, сквозь темную сырость и снег.

На рассвете «Смелый» начал осторожно подходить к лодке и дал по ней предупредительный выстрел. Лодка молчала.

С трудом спустили шлюпку, перебросили на лодку людей и завезли буксирный трос.

В числе посланных на подводную лодку были Щедрин и Марченко.

То, что Щедрин увидел, показалось ему отвратительным сном. Люк лодки был открыт. В капитанской рубке сидел на полу немец-матрос. Он спал, и его никак не могли разбудить. Рядом с ним лежал труп офицера, должно быть, командира лодки.

Из люка несло легким трупным смрадом и запахом хлора. Полувитя, Щедрин, Марченко и два матроса спустились внутрь лодки. Там было темно, пришлось светить карманными электрическими фонарями.

Вся команда лодки была мертва. Люди лежали на койках. На лицах было выражение усталости и умиротворения. Два мертвых матроса сидели скорчившись около открытых кислородных приборов.

Лодка качалась, и вместе с ней качались свисавшие с коек мертвые руки и головы людей.

— Да,— сказал Марченко,— вот она как обернулась, война. Без крови.

Слова его отдавались в голове тупой болью.

— Они задохлись,— сказал старший офицер.— Во сне. Должно быть, лодка опустилась ночью на дно, чтобы дать отдых команде. Два матроса были приставлены к кислородным приборам, чтобы раз за ночь выпустить немного кислорода. Матросы открыли приборы, но не успели их закрыть: они тотчас уснули, кислород их одурманил. Вы не представляете, какой тяжелый сон бывает у людей на подводных лодках!

Щедрин и матросы слушали молча.

— Воображаю,— сказал старший офицер,— какие замечательные сны они видели перед смертью. Сначала кислород заполнил лодку, потом так же быстро, как кислород, начала накапливаться углекислота. Она их и задушила.

— А как же, Виктор Петрович,— спросил Щедрин и проглотил слюну: во рту был привкус меди,— как они могли всплыть и дать радио о помощи? Этого я не понимаю.

— Я ведь тоже ничего не знаю,— голубчик,— ответил старший офицер и посветил фонарем на мертвых матросов.— Должно быть, двое или трое очнулись. Успели пустить сжатый воздух в цистерны, всплыть и послать радио. Но это было, как бы вам сказать, вроде их предсмертной судороги... Ну, пошли наверх!

— Заработали железный гроб,— пробормотал Марченко, подымаясь по трапу.

На палубе подводной лодки Щедрина снова окатило волной, и он начал дрожать так сильно, что с трудом отвечал на вопросы старшего офицера. Полувитя пристально посмотрел на Щедрина.

— Вернитесь на миноносец,— сказал он.— Здесь хватит и троих матросов

— Да нет, я ничего,— ответил Щедрин и попытался улыбнуться, но из улыбки ничего не получилось.— Вот только промок.

Полувитя вздохнул и отвернулся. Матроса-немца подняли на руки и перетащили в шлюпку. Он зачмокал во сне губами, но не проснулся.

Шлюпка отошла к «Смелому». Он дымил, переваливаясь на волнах, и как будто укоризненно качал головой.

Щедрин сидел нахохлившись в шлюпке, и обрывки мыслей суетились у него в голове. Если бы знала об этом мать! Но ей даже трудно рассказать все, что он видел. Вообще никому нельзя об этом рассказать.

— Сами лезут к черту на рога,— сказал он вслух.

Но никто не обратил внимания на его слова. Матросы греб-

ли, а Полувитя сидел, подняв воротник шинели, и вид у него был совсем не военный. Маленький, с рыжей мокрой бородкой и набрякшим лицом, он был похож на земского доктора.

«Но и ты ведь тоже сам лезешь»,— подумал Щедрин и начал вспоминать, как он попал на войну. Нет, конечно, он пошел не сам, его взяли. Значит, кто-то имеет власть над его жизнью, над любовью к матери, над его судьбой.

«Но кто же, кто? — спросил Щедрин.— Царь?» Над царем в его семье всегда смеялись, называли его тупицей и армейским пьянчужкой.

«В Мариегамне разберусь»,— подумал Щедрин. Сейчас думать не хотелось. Сейчас хотелось раздеться, лечь на койку, закутаться с головой в одеяло и следить за тонкими, как паутинки, постоянно обрывающимися снами.

Но все-таки зачем, например, Полувите, человеку скромному, обремененному кучей детей, дали в руки стальные приборы, созданные для того, чтобы рвать, рубить, кромсать живое человеческое тело?

«Произошла какая-то ошибка в нашем сознании»,— подумал Щедрин. Он вспомнил своего репетитора, студента Райковича. Этот голодный и насмешливый человек только один раз заговорил о войне, когда Щедрин поступал в морскую школу.

— Я признаю,— сказал он,— только одну войну. Она будет необходима и даже желательна. Я говорю о войне, направленной против возможностей всех войн в мире, о войне не между народами, а между теми, кто хочет жить в мире, и теми, кто живет войной.

Шлюпка подошла к «Смелому». С кормы спустили штормовой трап. Щедрин подымался с трудом. Перед ним карабкался Полувитя, и полы его мокрой шинели били Щедрина по лицу.

Щедрин заметил, что после боя матросы и некоторые офицеры потеряли прежний «воинский вид». Они были подавлены, ходили сгорбившись, и почти у каждого в глазах была та же тревога, что и у Щедрина,— тревога от разбуженных боем и недодуманных мыслей.

«Смелый» медленно, часто стопоря машины, чтобы не оборвать буксирный трос, пошел к Мариегамну.

Погода менялась. Ветер стихал. В полдень боязливый свет солнца прорвался сквозь облака. Флаг на «Смелом» был приспущен.

Щедрин лежал у себя в каюте, стонал от ломоты в костях, морщился и кашлял. Он часто засыпал. Его будил судовой фельдшер. Он приносил Щедрину чай и горькие пилюли. Щедрин безропотно проглатывал их и снова засыпал.

Ему снилось, будто он падает ночью в холодную воду. Она с шипением отскакивает от его горячего тела, и сквозь снежную крупу он видит, как взлетает почти до неба и падает в водяные провалы кильватерный огонь «Смелого», взлетает, па-

дает и тускнеет, закатываясь, как звезда, в мрачных ночных горизонтах.

Щедрин звал во сне мать. Он ворочался, сбрасывал одеяло, и лицо его, воспаленное, со спутанными волосами, было похоже на лицо больного мальчика.

Щедрину было в то время всего двадцать лет.

В Мариегамне Акермана и Щедрина сдали в лазарет. У Щедрина началось воспаление легких.

Лазарет был старинный, построенный в начале XIX века. Почти все столетие до немецкой войны лазарет пустовал: народ на Аландских островах был крепкий, краснощекий, болел редко.

От каменных полов в лазарете было холодно и гулко,— шаги врача доносились издалека. Щедрин и Акерман, лежа в дремоте, слушали треск огня в кафельных печах. На печных изразцах были изображены синеватые парусные корабли, неуклюжие, похожие на корыта. Корабли выпускали из пушек пухлые шары дыма.

В эту зиму в лазарете было особенно пусто и глухо. Кончался февраль. В России началась революция. Флот волновался, и до лазарета никому не было дела. Об Акермане и Щедрине как будто забыли.

Единственным вестником, приходившим из далекого мира, шумевшего за окнами сиренами кораблей и звоном весенней капели, был доктор — обрусевший швед, проживший всю жизнь на Аланде.

Его седые волосы торчали на голове в беспорядке. Халат всегда распахивался. Он постоянно хохотал у себя в кабинете, и смех его долетал в самые дальние углы лазарета.

Щедрин любил посещения доктора. С ним в палату врывался живой запах табака и спирта. Доктор прикладывал ухо к груди Щедрина; волосы у доктора всегда были мокрые, должно быть от капели и тумана.

Чем ближе к весне, тем чаще остров был затянут туманом. В тумане пищали чайки, перекликались дети, а однажды вечером Акерман разбудил Щедрина, и они долго слушали, как в густом тумане за окнами торжественно и победно гремела «Марсельеза».

«К оружию, граждане!» — пели серебряные трубы.

Их заглушало глухое и грозное «ура».

— Узнаю голоса наших матросов,— говорил Акерман.— Худо сейчас шкуродерам, ой, худо! Разгневанный народ кинулся в дворцы тиранов!

Нога у Акермана заживала, и он снова начал шутить.

Однажды пришел Марченко.

Он рассказал, что его выбрали на «Смелом» председателем судового комитета, и принес Щедрину и Акерману подарки от команды — папиросы, два сухих апельсина и пачку газет за последние дни.

— Слушай, Марченко, мы же все-таки офицеры,— сказал Акерман.— Белая кость, голубая кровь и все такое прочее.

Марченко ухмыльнулся.

— Да вы же почти что наши. Какие вы, извините, офицеры! Офицеры — это шкуры, а вы студенты. У вас мозги другие.

— Ну, что ж,— сказал Акерман,— хоть мы и не заслужили, но и на том спасибо. Значит, будем винтить революцию до конца.

— Известно, до конца.

Марченко встал. Он торопился на матросский митинг.

— Где команды митингуют? — спросил Акерман.— На кораблях?

— Зачем на кораблях! На кораблях тесно. Собираемся на кладбище.

— Подходящее место! — усмехнулся Акерман.

— Самое подходящее,— серьезно возразил Марченко.— На кладбище есть одна могила, облюбовали ее матросы. Около той могилы и собираются, становятся прямо на камень, на валун, и говорят свои матросские речи.

— Чья же это могила?

— Вижу я,— сказал Марченко с сокрушением,— что придется вам об ней рассказать, а то вы вовсе как сухопутные, ничего не знаете. Лежат под тем камнем солдат Семен Тихонов и прапорщик Бестужев. Похоронены они вместе еще при царе Николае Первом. Понятно, матросы увидали ту могилу, и стало им интересно, почему это солдат зарыт с офицером и лежит на них один тяжелый валун. Стало матросам интересно, и доискались они обо всем у местных жителей. Сами знаете, нет такого дела на свете, до которого бы хороший матрос не мог допытаться. На то он и матрос. Докопались матросы, что сто лет назад стояли в этих местах крепкие зимы и залив замерзал кругом — от края до края. Теперь этого нету. Теперь, сами видите, зима здесь гнилая: снег, да туман, да дожди, чистая слякоть... Сто лет назад было в Петербурге восстание. Один из тех, кто был в том восстании, бежал, уносил голову от царской награды. Дошел он по льду до здешнего острова, хотел податься в Швецию и попался: схватили его не то жандармы, не то офицеры. И был бы ему верный конец, когда бы не помогли ему бежать тот самый солдат Тихонов и прапорщик Бестужев. Выручили человека, а сами погибли злой смертью.

— Какой смертью?

— Об этом говорят разное. Кто говорит — расстреляли их перед казармами, кто говорит — засекли шомполами и похоронили рядом, в одной могиле.

— Офицера не могли засечь шомполами,— сказал Акерман.

— Ну, как-нибудь другим манером, а все-таки сжили со света... Спите, поправляйтесь, сейчас на воле весело.

Марченко попрощался и ушел.

Щедрин лежал, закрыв глаза. Он вспомнил рассказы матери о деде, восторженные рассказы теток, над которыми он насмехался, и то, что с детских лет казалось ему семейной выдумкой, внезапно приобрело реальность, вышло из тесного круга их семьи, получило неожиданное значение для новых, революционных времен, становилось широко известным не только ему, матери, его смешным теткам, но и сотням матросов. Значит, дед действительно был здесь, и в тогдашние крутые и страшные времена нашлись два человека, пожертвовавшие жизнью, чтобы спасти его от казни. Подвиг этих людей казался Щедрину гораздо выше, чем подвиг деда. И чем больше Щедрин думал об этом, тем сильнее волновался.

— Слушай, Акерман,— спросил он тихо,— как их зовут?

— Кого?

— Ну этих двоих, похороненных вместе.

— Солдата — Тихонов, а прапорщика — Бестужев.

Щедрину хотелось рассказать Акерману о деде, но он сдержался: больше всего он боялся насмешек и недоверия. «Какой же ты, Саша, к черту, внук декабриста! — скажет Акерман.— Ты же теряешься перед Розеном и не умеешь запросто сойтись с матросами. Ты же типичная шляпа, а не внук декабриста».

Темнело. Зеленая заря горела за оконным переплетом.

В коридоре послышались шаги. Вошел веселый растрепанный доктор. За ним санитар вел, поддерживая за спину, плотного чернобородого человека. Нового больного уложили на койку. Он уставился в потолок выпуклыми насмешливыми глазами и молчал.

Доктор потер руки.

— Вот вам, молодые люди,— сказал он,— еще один товарищ по болезни. Втроем будет веселее.

Щедрин лежал не открывая глаз. Он очень устал от разговора с Марченко и от мыслей о деде. Ему хотелось спать.

— Я настаиваю, доктор,— сказал новый больной резким голосом (Щедрин открыл глаза и быстро приподнял голову),— чтобы при первой возможности вы отправили меня в Гельсингфорс. Лечение здесь меня не устраивает.

— Господин каперанг[1],— сказал Щедрин,— Гельсингфорс вам не поможет.

— То есть как? — нагло спросил новый больной.— Что вы городите, мальчик!

— Я не мальчик, а офицер революционного флота и к тому же кухаркин сын,— ответил Щедрин.— Мы с вами виделись на елке в Ревеле. Забыли?

— Представьте себе, не помню,— зло ответил каперанг.— Не припомню такого счастливого случая в своей жизни.

Щедрин сел на койке и сказал, обращаясь к встревоженному доктору: — Уберите от нас этого хама!

---

[1] Каперанг — сокращенное «капитан первого ранга». *(Прим. авт.)*

— Но-но! — крикнул каперанг, приподымаясь.— Вы будете иметь дело с командиром флотилии.

— А вы будете иметь дело с матросами флотилии,— ответил, бледнея, Щедрин.— Доктор, этот офицер оскорбил при мне женщину только за то, что она была бедна и плохо одета. Сейчас он собирается дезертировать из флота в Гельсингфорс. Все равно — не здесь, так в Гельсингфорсе матросы с ним посчитаются.

— Ишиас — болезнь весьма удобная,— пробормотал Акерман.— Болит — и ничего не видно. А бывает наоборот: и не болит — и все равно ничего не видно.

Капитан сел. Он смотрел на мичманов яростными глазами. Борода его тряслась, на виске вспухли толстые жилы.

— Замолчать! — внезапно крикнул он визгливым голосом.

— Бог мой! — сказал Акерман и зажал уши.— Если вы еще раз так крикнете, то от нас ничего не останется. Помилосердствуйте, господин каперанг!

Каперанг вскочил и, прихрамывая, вышел из палаты. Халат волочился за ним по полу. Доктор и санитар вышли следом за ним. Доктор укоризненно качал головой.

Каперанга уложили в дальней палате, а через два дня ночью пришли матросы, арестовали его и отправили под конвоем в Гельсингфорс, в Центральный комитет Балтийского флота.

В апреле Щедрин выписался из больницы. Доктор запретил ему возвращаться на корабль. Недели две-три после болезни Щедрин должен был поправляться и отдыхать. По совету доктора Щедрин снял комнату у рыбака Петера Якобсена.

Маленький старый дом стоял у самой воды. Дом был разноцветный: стены синие, облезлые, оконные наличники и двери — оранжевые, а внутри у каждой комнаты был свой, когда-то яркий цвет.

Комната Щедрина была выкрашена в желтую краску и завешена фотографиями предков Якобсена.

По утрам, лежа на деревянной кровати, Щедрин рассматривал висевших над кроватью стариков с тонкими, железными губами — шкиперов и лоцманов, живших некогда в этом доме.

Тут же висели фотографии их дочерей — светлоглазых девушек с приветливым выражением лица — и жен — худых старух. Старухи сидели на фотографиях прямо, как полководцы, крепко положив на колени узловатые руки.

Среди фотографий был только один рисунок, написанный пастелью. Это был портрет молодой женщины с высоко взлетающими, нервными бровями, сумрачным блеском глаз и маленьким чистым лбом. Щедрин, глядя на этот портрет, всегда думал о том, что эта женщина делала здесь, в ничтожном рыбачьем городке, где сто лет назад было всего триста жителей.

В доме Якобсена было чисто и тихо; изредка только Якобсен пел на кухне заунывные песни и притоптывал в такт ногой, ковыряясь в старых сетях.

У Якобсена была дочь трех лет, но она жила не у родителей, а у доктора. Бездетный доктор и его жена воспитывали девочку и собирались дать ей хорошее образование. Звали девочку Марией.

Жена Якобсена, Марта, была рассеянная женщина. Каждый день у нее сбегало молоко или кот воровал жареную рыбу из открытого шкафа. Якобсен беззлобно посмеивался над женой.

Вся эта жизнь производила на Щедрина такое впечатление, будто он перенесся на десятки лет назад, в патриархальную страну, где еще ходят почтовые кареты и в комнатах держат в маленьких клетках сверчков, приносящих счастье.

Странно было, сидя в этих старинных комнатах, читать газеты, пылавшие жаром революционного времени. Газеты были полны призывов, негодований, ошеломляющих известий, сообщений о возвращении в Россию Ленина.

Имя Ленина уже гремело на матросских митингах. Оно было всюду. Стремительные миноносцы разносили его по суровой Балтике. Радио, треща и разбрызгивая искры, передавало его на линейные корабли, в береговые батареи, в крепостные форты, на подводные лодки. Сигналисты набирали его пестрыми флагами.

Оно ширилось, росло, оно стало знаменем и надеждой балтийцев. Вокруг него кристаллизовались недовольство матросов, их воля, их неукротимый революционный пыл.

— Заря всемирной социалистической революции уже занялась,— сказал Ленин во время встречи его на Финляндском вокзале.

Эти слова разнеслись по всему флоту. Казалось, даже море победно шумело и, неся к берегам мощные массы сверкающей воды, повторяло эти слова.

Щедрин волновался. Один раз он был на митинге на миноносце и даже сказал путаную горячую речь.

Матросы долго хлопали ему, вернее — стучали деревянными, мозолистыми ладонями и вынесли Щедрина с миноносца на берег на руках — должно быть из жалости: Щедрин едва держался на ногах от волнения.

Акерман ходил на костылях. Он относился к революции по-деловому; сидел в судовом комитете и упрямо спорил с начальством о гречневой каше, отпусках, добавочных тельниках и других насущных матросских нуждах. Он уже меньше шутил и лишь изредка, заходя к Щедрину, произносил прежние любимые фразы:

— Змея царской власти раздавлена в прах босыми ногами илотов. Алое знамя восстания реет над великой страной.

Щедрин проснулся очень рано. В саду пересвистывались птицы. Над морем дымился ослепительный штиль. Он переливался прохладным блеском на сотни миль, плескал о гранитные берега и, как ребенок, шаловливо дул в лицо тепловатым ветром.

Щедрин пошел на кладбище. Невозможно было сидеть в комнатах в такое праздничное утро. Кроме того, Щедрин давно решил побывать на могиле Тихонова и Бестужева.

В расселинах скал пробивались слабые белые цветы. Щедрин сорвал несколько стебельков с цветами.

На кладбище Щедрин наткнулся на могилу немецких моряков с подводной лодки, захваченной «Смелым», и долго читал список имен.

Около одного из мшистых валунов он увидел Марту. Она сидела, как всегда, немного испуганная и бледная и, улыбаясь, смотрела на Щедрина. В руках у нее были темные еловые ветки. Она принесла их, очевидно, чтобы положить на родную могилу. Щедрин знал, что год назад у Марты умер четырехлетний сын.

Он подошел к ней и поздоровался. По-русски Марта говорила плохо. Но они друг друга все же понимали.

Щедрин прочел на могиле надпись и удивился. Надпись была на шведском языке, но Щедрин все же понял, что здесь похоронена какая-то женщина двадцати четырех лет, Анна-Христина Якобсен, умершая в 1827 году.

— Это ваша родственница? — спросил Щедрин.

Марта глядела на него улыбаясь, но не понимала.

— Кто это? — повторил Щедрин и дотронулся рукой до надписи.

— Анна,— сказала Марта,— бабушка Петера. Есть картина в вашей комнате. Такая милая. Она умерла в этот день.

Щедрин закивал головой. Он догадался, что это была могила той странной женщины, чей портрет он так часто рассматривал у себя над столом.

— А я ищу,— сказал он,— могилу Павла Бестужева.

Марта встала и провела Щедрина к большому камню. Он врос в землю, был отполирован матросскими сапогами. Вокруг него зеленел мох. Щедрин положил на камень цветы. Когда-то он смеялся над сентиментальностью своих теток, сейчас же сам испытывал непонятное волнение перед могилой людей, спасших его деда.

— Здесь лежат хорошие люди,— сказал он Марте,— они спасли от смерти моего деда.

Марта радостно закивала головой:

— Вы сказали — «мой дед»?

— Да.

Марта торопливо заговорила, путая русские и шведские слова. Она взяла Щедрина за рукав и смотрела ему в лицо. Она смеялась, и щеки ее даже порозовели.

— Я не понимаю,— сказал Щедрин.

Марта морщила лоб, подыскивая русские слова, но их не хватало, и Щедрин опять ничего не понял.

Марта досадливо закусила губу, и на глаза ее навернулись слезы. Она махнула рукой и быстро пошла в город. Щедрин,

недоумевая, смотрел ей вслед. Ветер развевал ее широкую юбку. Марта шла не оглядываясь.

«Чем же я ее обидел?» — подумал смущенный Щедрин, сел около могилы и закурил. Бледные, только что родившиеся бабочки летали вокруг, греясь на солнце.

Щедрин вернулся домой. Ни Марты, ни Петера не было. Только кот бродил из комнаты в комнату, жеманно изгибаясь около дверных косяков.

— Ну что, уже украл рыбу? — спросил Щедрин.

Кот сипло мяукнул.

Щедрин снял со стены портрет Анны Якобсен и долго его рассматривал. Щедрин еще никого не любил. Правда, он ходил одно время на каток в Петрограде, чтобы издали увидеть высокую гимназистку, бегавшую каждый день на коньках. Когда она падала и тотчас вскакивала, стряхивала снег с перчаток и моргала ресницами, чтобы избавиться от налипших на них снежинок, у Щедрина начинало колотиться сердце. Но вскоре гимназистка исчезла с катка, и Щедрин ее забыл.

Щедрин смотрел на портрет, на горькие и нежные губы Анны, и думал, что эту женщину он мог бы полюбить беззаветно и преданно. Какая-то грустная тайна скрывалась за этим лицом.

Щедрин вздрогнул и повесил портрет на место: в дом входили.

В дверь постучали. Щедрин крикнул:

— Войдите!

Дверь распахнулась, и на пороге появился доктор. Его белые волосы были растрепаны больше, чем всегда, глаза сверкали, и на лице сияла торжественная улыбка. За спиной у доктора стояли Петер и застенчивая Марта.

— Здравствуйте, друг мой! — загремел доктор и стиснул руку Щедрина.— Я пришел к вам в качестве переводчика. Войдите! — крикнул он Якобсенам.— Сядьте на эти стулья, и мы поговорим.

— А что, собственно, случилось? — спросил растерявшийся Щедрин.

— Сейчас узнаете! — прокричал доктор и захохотал.— Сейчас вы узнаете все, но прежде всего — расцелуйте эту женщину и этого простофилю, Петера Якобсена. Ну!

Доктор так крикнул «ну», что в старых рамках звякнули стекла и кот, приседая, умчался из комнаты.

— Хорошо,— сказал, улыбаясь, Щедрин.— Я всегда рад расцеловать этих людей, но скажите, ради бога, что это значит?

— Целуйтесь! — крикнул доктор и топнул ногой.

Марта робко подошла к Щедрину, вытерла губы концом чистого передника, и они поцеловались. Петер поцеловался по-рыбачьи — три раза — и исколол щеки Щедрина своей щетиной.

— Да будет вам известно,— сказал доктор с торжеством,— что и в двадцатом веке могут случаться чудеса. Мне надоело

вычитывать их только из книг. Я часто говорю своей жене: «Ты напрасно скучаешь на Аланде. Здесь каждый день рассказывает свои интересные истории. Дни проходят перед нами, как добрые знакомые, и ты еще очень и очень пожалеешь о наших островах, когда уедешь отсюда». Судите сами. Где вы дышали таким воздухом, как у нас? Где вы видели такое прозрачное море? Нигде! Когда вы жили среди таких добрых и честных людей? Никогда!

— Все это так,— согласился Щедрин,— но я ничего не понимаю. Какое чудо случилось сейчас?

— Перейдем к делу,— сказал доктор. Он сел и взъерошил волосы.— Если здесь нет никакой путаницы, то вы внук того декабриста, что был спасен здесь, на Аланде, двумя русскими — солдатом и офицером.

— Да,— сказал Щедрин.— Это, кажется, так. Но откуда вы об этом узнали?

— От Марты,— сказал доктор,— вы сами ей об этом рассказали. Среди здешних моряков есть много степеней родства. Нам они кажутся странными. Мы признаем только кровное родство, а эти простодушные люди признают еще родство спасенных и спасителей. Если кто-нибудь из одной семьи спас человека из другой семьи, то семьи роднятся. Хороший обычай. Морское дело — опасное, спасать приходится часто, и в конце концов это привело к тому, что почти все жители острова стали родственниками. И, по законам этого острова, Петер Якобсен, Марта и их дочь Мария, находящаяся у меня на воспитании, являются в некоторой мере вашими родственниками.

— Но ведь деда моего спасали, кажется, русские!

— Вы, очевидно, ничего не знаете. Деда вашего спасли прапорщик Бестужев и его жена. Портрет ее вы сейчас видите перед собой. Это она.

Доктор показал на портрет Анны. Так вот кто была эта женщина с таким притягательным лицом!

— В семье Якобсенов,— продолжал доктор,— живет воспоминание о всех событиях, связанных со спасением вашего деда. Это понятно. Представьте себе простую семью, где сотни лет ничего не случалось. Мужчины служили матросами, а к старости делались рыбаками. Женщины, кроме своего дома и детей, ничего не видели вокруг. Говорят, раньше Якобсены были богаты и даже имели парусники, но это было очень давно. Последний из шкиперов, отец Анны, разорился и в старости был всего только маячным сторожем в Эрасгрунде. Но он успел воспитать свою дочь в Стокгольме. Это была необыкновенная девушка. Итак, представьте себе эту скучную и добрую семью, внезапно втянутую в бурю невероятных и печальных событий. В их доме поселяется молодой русский офицер Бестужев. Его пускают скрепя сердце. Старик боится и не любит русских. Офицер влюбляется в Анну. Анна тоже полюбила его; она была девушка больших чувств и капризов. Старик не хочет и слышать о за-

мужестве с русским.— Доктор замолчал, чтобы закурить папиросу.— Но вот на острове задерживают декабриста. Он пробирался в Швецию по льду замерзшего залива, наткнулся на часовых, и его схватили. Здешние рыбаки и шкипера заволновались. Появилась мысль спасти арестованного, освободить его и увезти на корабле в Швецию. Павел Бестужев стал во главе заговора. Тогда отец Анны смягчился, поверил в благородство русского и разрешил ей выйти за него замуж. Но судьба судила иначе: Бестужев был через несколько дней убит на дуэли. Арестованный бежал при помощи Анны и моряков.

— Из-за чего была дуэль? — спросил Щедрин.

Доктор поговорил по-шведски с Петером и Мартой и ответил:

— Бестужев ударил по лицу офицера за то, что тот грубо обошелся с декабристами. Офицер убил его. Через восемь месяцев после смерти Бестужева у Анны родился от него сын, отец Петера. Анна вскоре умерла. Она долго болела, ее даже считали здесь немного помешанной.

— Спросите их,— сказал Щедрин,— кто тот солдат, что похоронен с Бестужевым?

Доктор снова поговорил по-шведски с Якобсенами и пожал плечами:

— Они не знают. Говорят, что этот солдат умер после порки. За что его пороли — об этом им никто не рассказывал. Думают, что за помощь декабристу.

Щедрин посмотрел на Петера. Петер похлопал его по плечу и засмеялся. Он повернулся к Марте и что-то сказал ей, очевидно, важное. Марта торопливо вышла, вернулась с маленькой старой книгой в кожаном переплете и протянула ее Щедрину.

— Это книга Бестужева,— сказал доктор.— Единственная реликвия. Ее нашли у Анны.

Щедрин бережно взял книгу, открыл титульный лист и прочел: «Эда, финляндская повесть Евгения Баратынского».

Марта что-то застенчиво сказала доктору. Тот перевел:

— В книгу заложено письмо. Оно тоже осталось после Анны. Она с ним никогда не расставалась.

Щедрин перелистал книгу и вынул несколько твердых желтых листков, исписанных гусиным пером. Писавший, видимо, торопился. На странице было много брызг от чернил.

«Анна,— прочел Щедрин,— я совершил великий грех перед тобой, не сказав тебе ни слова о предстоящей дуэли».

От письма шел запах сухой лаванды.

Щедрин читал письмо, хмурился, и руки у него начали дрожать так сильно, что он вынужден был положить письмо на стол, чтобы не выдать своего волнения.

Доктор и Якобсены старались не смотреть на Щедрина. Доктор постукивал пальцами по столу и напевал. Он делал это только в минуты сильного душевного смятения.

...Почти всю ночь Щедрин не спал. Он несколько раз пере-

читывал письмо Павла Бестужева, перечитал «Эду» Баратынского и подолгу задумывался над местами, отчеркнутыми карандашом. Особенно запомнились Щедрину две строки:

Когда, когда сметешь ты, вьюга,
С лица земли мой легкий след?

Светлая ночь теплилась за окнами. Вода блестела, как фольга. В северной мгле тлел закат. Запах травы и влажных камней проникал в комнату вместе с голосами птиц.

В такие ночи все кажется прекрасным, даже самые обыкновенные человеческие лица. Тем более прекрасным казалось лицо Анны.

«Наши мучения и гибель,— прочел Щедрин строчку из письма,— ударят по сердцам с томительною силой».

«Что сделать, чтобы осуществить это пророчество?» — подумал Щедрин. Если бы он был поэтом или народным трибуном, он нашел бы слова, чтобы рассказать тысячам людей о судьбе Павла Бестужева и Анны и вызвать в ответ великую силу сострадания. Но даже в письме к матери он не нашел слов для этого.

«Да и нужно ли это?» — думал Щедрин. И дед и Бестужев верили в расплату. Расплата пришла. Разве матросы, солдаты, рабочие, миллионы крестьян, бросившиеся в революцию как в родную стихию, не мстят за деда, за Бестужева, за Тихонова, не бьются за вольную страну, о которой они тосковали сто лет назад?

Письмо Бестужева Щедрин воспринял как завещание, как призыв, как далекий крик из глубины тяжелого и кровавого столетия: «Не забывайте нас, счастливцы!»

Через несколько дней «Смелый» получил приказ идти в Гельсингфорс. Щедрин перешел на миноносец.

Якобсены относились к нему последние дни, как к близкому родственнику. Марта весь день возилась на кухне и угощала его простыми и вкусными кушаньями. В приготовление их она вкладывала все свое умение. Петер постоянно беседовал с Щедриным о революции, о прошлых временах, о войне, водил на берег и показывал свою старую шлюпку и сети.

Вместе с Мартой и Петером Щедрин был один раз в гостях у доктора. Якобсены хотели показать ему свою дочь. Они уже называли ее племянницей Щедрина и гордились этим новым родством.

В доме у доктора все светилось такой удивительной чистотой, какая бывает только в домах северян. Блистали полы, стены, окна, посуда и даже потолки.

Щедрин ничего не понимал в детях. Если при нем говорили, что ребенок красивый, он соглашался, хотя сам никогда не замечал красивых или безобразных детей. Ему казалось, что все дети, за редким исключением, похожи друг на друга. И сейчас он охотно согласился с тем, что девочка очень славная.

Щедрина усадили на диван. Девочка села с ним. Она долго

смотрела на золотые нашивки на рукаве Щедрина и осторожно царапала их пальцем.

Щедрин заспорил с доктором о том, будет ли революция в скандинавских странах. Спор прервал испуганный возглас толстой жены доктора.

Пока Щедрин спорил, девочка успела отпороть у него на рукаве одну нашивку. Порола она очень осторожно маленькими ножницами.

— Они любят золото, как сороки,— засмеялся доктор.

Девочка смутилась и спрятала голову в коленях у Марты.

Жена доктора надела черепаховые очки, достала шкатулку с иголками и пришила нашивку. Клубки разноцветных ниток лежали в шкатулке, как ежи,— со всех сторон из них торчали иглы.

Перед отъездом Петер пришел к Щедрину и сказал, что он вместе с Мартой просят его взять у них на память не только письмо и книгу, но и портрет Анны. Щедрин был растроган. Они дарили ему то, что в их семье переходило из рода в род как величайшая драгоценность.

Из Гельсингфорса командир миноносца Розен был отозван в Петроград. Полувитя списался с корабля по болезни, и командиром «Смелого» назначили Щедрина.

Дни, недели, месяцы проходили в непрерывном напряжении, митингах, спорах до хрипоты, в ожидании неизбежного взрыва против Временного правительства.

События надвигались стремительно. Июльская демонстрация в Петрограде, уход Ленина в подполье, роспуск Временным правительством Исполнительного комитета моряков Балтийского флота, всеобщая забастовка в Гельсингфорсе. В начале августа немцы прорвали фронт, взяли Ригу, и полки Корнилова двинулись на Петроград.

Часть матросов со «Смелого», под командой Марченко, ушла драться с Корниловым. Миноносец опустел.

Лето стояло безветренное. Оно казалось Щедрину необыкновенно теплым и безмятежным, может быть потому, что вокруг во флоте и в городе бушевала гроза.

Писем от матери не было.

Щедрин часто спускался в машину и вместе с механиками протирал и смазывал холодные части двигателей. Машины, так же как и люди, как будто ждали неотвратимых событий.

Осень пришла сырая и теплая. Туманы пропитали насквозь желтые листья, и под тяжестью холодной и уже ненужной влаги листья отрывались от веток и падали в траву и на гранитные мостовые.

Иногда Щедрин ходил в город к Акерману. Акерман из-за больной ноги не мог служить на миноносце, и его, как специалиста по связи, назначили комиссаром телеграфной станции. За столом, заваленным телеграфными бланками, Акерман читал

Щедрину по длинным бумажным лентам последние, всегда ошеломляющие известия.

Они выходили вместе на улицу, и Акерман затаскивал Щедрина в маленькое кафе, где всегда было пусто, как на острове среди бушующего океана.

Акерман обрывал бледные цветы фуксий, стоявших на столике, и задумчиво говорил:

— Чем это объяснить, Саша? В такие дни особенно начинаешь ценить пустяки. Девушка на тебя только посмотрит, а ты улыбаешься потом весь день, как идиот. Воздух кажется совсем другим. И все другое — и море, и деревья, и даже миноносец.

— Чем же и миноносец другой?

— «Смелый» похож на брошенную дачу. Все прибрали, заколотили и уехали. Остался один сторож. Живет он в одиночестве, топит печи, слушает, как тикают ходики, и ждет, когда приедут новые хозяева.

— Однако ты поэт, Акерман,— сказал Щедрин.— Новые хозяева приедут скоро, ты не волнуйся.

— Да я и не волнуюсь, дурак. Меня не это заботит. Доживем ли мы с тобой до настоящего времени или нет — вот это весьма любопытно. Какую гущу старого придется пробивать и в себе и в окружающих!

Щедрин молча пил крепкий кофе. От сладкого пара слипались ресницы.

— Ты доживешь, я знаю,— сказал Акерман,— а я нет.

— Нога и вообще все у тебя в порядке?

— Что нога! Черт с ней, с ногой. Даже интересно: ходишь хромой, как Байрон. Дело в том, что слишком быстро перегорают нервы. Каждый день — как год. Пойди разберись!

— Ты устал. Поезжай в Питер.

— Я за эту усталость отдам свое прежнее лошадиное здоровье,— ответил Акерман.— Чудесное время! Я ведь не жалуюсь. Это так — лирический разговор около облетающих фуксий.

Они вышли. Туман и сумерки смешались над городом в синюю мглу. Сильно пахло паровозным дымом, кофе и гвоздиками из цветочных магазинов: в те дни покупали только гвоздики — символ революции.

Через неделю вечером на палубе над головой Щедрина загремели торопливые шаги. Судя по звуку шагов, человек хромал. Щедрин догадался, что это Акерман, и вышел ему навстречу.

— Саша! — крикнул Акерман, ковыляя по трапу.— Вот камуфлет! Временное правительство свергнуто. Власть перешла к большевикам.

Он вытащил из кармана измятый бланк телеграммы и начал читать обращение нового правительства ко всем трудящимся.

...В Петроград Щедрин вернулся только зимой, после знаме-

нитого ледяного похода Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. Флот пробивался через тяжелые льды, чтобы не попасть в руки немцам, постепенно занимавшим Финляндию.

«Смелый» шел медленно, держа в кильватер линейному кораблю. Дни и ночи шуршал и трескался около бортов лед, и зеленоватая зернистая вода вспухала за кормой широкими буграми.

Дни были темные, как дым. По всем румбам лежала пасмурность. Глаза искали в ней хотя бы проблеск огня далеких родных берегов, но огней не было. Гудели турбины, пел в широких трубах ветер, ночи пели глухим железным гулом бортов и напирающего льда.

Команда зябла. Отопление работало плохо. Иней медленно пробирался по потолкам и стенам.

Особенно тяжелы были ночи. Их густота была так велика, что дневной свет не мог пересилить ее и отступал. День merк, едва начавшись.

Изредка над кораблями пролетали стаи ворон. Покружившись над палубами, они летели дальше, как бы отмахиваясь крыльями от грозного зрелища обледенелых кораблей.

Из Кронштадта Щедрин пошел пешком по льду в Петергоф. На «Смелом» осталось всего десять матросов; все остальные записались в сухопутные отряды — драться с белыми.

До Петергофа Щедрин шел вместе с матросами. В Петергофе на берегу матросы оглянулись на Кронштадт, и один из них сказал с веселым отчаянием:

— Прощай, Балтика!

Прошли через безлюдный, засыпанный снегом парк. Уже смеркалось. Около дворцовой решетки ходил красногвардеец — пожилой рабочий с винтовкой. Матросы остановились покурить.

— Красная гвардия,— говорили они с уважением и заходили и с тыла и с боку, осматривая рабочего.— Вольные—и те дерутся, а нам сам черт велел. Будем живы—вернемся на свои корабли.

— Ну, чего глаза распялили, молодые люди! — сказал ворчливо рабочий.— Тут останавливаться запрещается.

Матросы загрохотали, зашумели и двинулись дальше. Щедрин отстал. Он разговорился с рабочим.

— Я петергофский,— сказал рабочий.— Мебельщик, специалист по ценному дереву. А теперь состою в охране. Мы по трое дежурим. Но пока что никто не трогает, только зайцы ночью кругом скачут. Вот, глядите, весь снег по откосу затоптали... Пойдемте в сторожку, погрейтесь, небось идти через лед зябко. В сторожке у меня теплота.

Пошли в сторожку. Там было жарко, роса стекала со стен. Закурили, Щедрин сказал:

— Это хорошо, что вы дворцы охраняете.

— А как же! — ответил рабочий, сидя на корточках около печки.— Небось сам Растрелли строил. Большую красоту народ себе отвоевал.

Щедрин покурил, попрощался и ушел на вокзал. Говорили, что на Петроград из Петергофа изредка ходят поезда.

Он вошел в парк и оглянулся: дворец казался вылепленным из легкого снега.

В поезде, набитом матросами и красногвардейцами, Щедрин в два часа ночи добрался до Петрограда.

Петроград был черен, пуст. Щедрин пошел через весь город на Аптекарский остров, где жила его мать. Над громадами домов заунывно шумел ветер. Лязгали поломанные водосточные трубы. Под аркой Главного штаба курили часовые. Они потребовали документы и долго рассматривали их при свете железнодорожного фонаря.

Щедрин перешел Неву. Тускло блестел черный лед. Около биржи было пусто, лежал на боку занесенный снегом вагон трамвая. На востоке светилось бледное электрическое зарево — там был Смольный.

Щедрин долго шел по Кронверкскому проспекту. Великий город лежал вокруг в снегах и мраке ночи. Он был суров, молчалив. «Судьба этого города,— подумал Щедрин,— будет прекрасна, необыкновенна. Я еще доживу до этого».

В окнах в квартире матери горела свеча. Двор был занесен снегом. На старых березах спали галки. Они проснулись и захлопали крыльями, когда Щедрин остановился у дверей и начал сбивать с сапог примерзший снег.

Сердце у Щедрина замирало. Он постучал.

Послышались медленные старческие шаги. Мать открыла дверь, через цепочку крикнула: «Саша!» — и уронила свечу. Прибежала тетя Юля, сняла цепочку, и через минуту Щедрин уже прижимал к мокрой черной шинели дрожащую седую голову матери, плакавшей навзрыд.

— Ну что ты, что ты! — говорил Щедрин.— Видишь, я жив! Успокойся!

Тетки, переселившиеся к матери, торопливо одевались за ширмами, задавали Щедрину бестолковые вопросы, плакали от радости.

На кухне уже гудел старый погнутый самовар. Мать беспрерывно вытирала глаза, суетилась около стола, все забывала, все смотрела на Щедрина и радостно и недоверчиво: уж не обманывает ли он и не надо ли ему завтра же отправляться на какой-нибудь новый фронт?

За ночь ветер засыпал всю палубу «Смелого» лепестками бузины. Щедрин вышел, посмотрел на палубу и вспомнил снег, зимнее плавание в Балтике и ледяной поход.

«Смелый» стоял у крутого берега реки Ковжи. По берегу тянулся заглохший деревенский сад с поломанным забором. Заросли высокой крапивы все время шевелились, и из них выглядывали белоголовые дети.

— Ша-а-а! — кричал на них, как на воробьев, матрос-эстонец Винер.

Дети, прыская от смеха, приседали в крапиве и замолкали. Потом слышался плач. Это значило, что кто-нибудь из ребят обстрекался.

— Пустите их на палубу, Винер,— сказал Щедрин,— пусть посмотрят... Эй, ребята! — крикнул он.— Валите!

Дети выползли из крапивы и собрались у сходней, но дальше они идти боялись и так и стояли около сходней, молча разглядывая миноносец.

«Смелый» шел из Петрограда на Волгу, на колчаковский фронт. Самая трудная часть пути — Мариинская система — осталась позади. Мучения со шлюзами кончились. Впереди были Белое озеро, Шексна, Волга.

Дети сопели на берегу и не спускали глаз с миноносца. Впервые на их реке вместо запыхавшихся грязных буксиров появилось длинное и грозное морское чудовище. «Смелый» на реке был гораздо выше, чем на море,— его временно разоружили и облегчили от балласта.

— Ребята,— спросил Щедрин,— где тут деревня Мегры?

Ребята переглянулись и сделали было попытку бежать.

— Стой! — сказал Щедрин.— Кто посмелей — отвечай!

Дети вытолкнули вперед девочку в рубахе до пят.

— За бугром,— сказала девочка, потупившись, и казалось, что она вот-вот заплачет.

— Где «за бугром»?

— Тута.

— А ну-ка, ведите меня все! — сказал Щедрин и сошел на берег.

Дети, сверкая голыми пятками, побежали вперед. За околицей начался лес, заросший орешником.

Дети бежали, оглядывались на Щедрина, спотыкались. Иные ушибались и хныкали, но продолжали бежать, больше всего боясь отстать и пропустить интересное зрелище.

Деревня Мегры стояла за лесистым холмом, на берегу небольшого озера. Дети открыли околицу, пропустили Щедрина, но в деревню не пошли. Деревня была чужая, из окон выглядывали незнакомые сердитые бабы.

— Где здесь живут Тихоновы? — спросил Щедрин косматого деда с клюкой, гревшегося на солнышке около колодца.

— Да Тихоновых тут, сердешный, четыре семьи. Тебе каких?

Щедрину пришлось объяснять деду, что ему нужны те Тихоновы, где была когда-то, лет восемьдесят назад, бабка Авдотья.

— Ишь, куды загнул! — обрадовался дед.— Твое счастье, что я тебе встретился. Мне самому восьмой десяток пошел. Я старый ворон, даром не каркаю. Авдотья твоя померла, милый, когда меня не было на свете, в древнем возрасте померла.

— А кто из ее Тихоновых здесь живет? — спросил Щедрин.

— Да, почитай, кроме Насти, никто и не живет. Одна Настя с дочкой. Муж у нее убитый с ероплану на германской войне. Вон она белье на озере полощет. Ты туды и иди, иди, милый.

Щедрин пошел к Насте. Она звонко била вальком серое белье и кричала маленькой девочке лет пяти:

— Беги домой, нос утри!

— Вы Настасья Тихонова? — спросил Щедрин.

Женщина живо обернулась и, вытирая руки о подол, испуганно посмотрела на Щедрина.

— Флотский,— сказала она успокоившись.— А чего надо?

— Поговорить надо,— ответил Щедрин.— Да тут неудобно.

— А вы идите в избу,— сказала Настя.— Я сейчас уберусь и приду... Катька! — крикнула она девочке.— Проводи дядю в избу. У-у-у, бессовестная!

«Бессовестная» Катька, сопя и выставляя вперед круглый живот, торжественно повела Щедрина в избу. В избе сидел и чесался старый лохматый пес. Он с недоумением уставился на Щедрина, чихнул, поднял густую пыль и снова начал свирепо чесаться.

— Каштан! — хрипло сказала Катька.— Он больших не трогает. Смирнай.

Вошла Настя. Щедрин стоял. Настя вытерла подолом лавку и пригласила сесть.

— Ну, давайте поговорим. А я все думаю, кто вы такой. Уж не с фронта ли?

— Нет,— ответил Щедрин,— я не с фронта. Была у вас в семье бабка Авдотья и был у нее сын, солдат Семен Тихонов?

— Был,— сказала Настя.— Мне дед рассказывал: запороли насмерть в солдатах где-то в чужой земле.

— Я был на его могиле,— сказал Щедрин.— Это далеко, в Финляндии, на островах.

— Скажи, какой ужас! — вздохнула Настя и покачала головой.— Куды погибать загнали! А моего-то убили, сердешного, на фронте, прямо бомбой убили с ероплана, да-а-а.— Настя вытерла кончиком платка глаза и спросила: — А почему вы тем солдатом интересуетесь?

— Деда моего он спас от смерти,— сказал Щедрин и слегка покраснел.

— Скажи пожалуйста! — покачала головой Настя.— Хороший, значит, был человек.

Щедрин рассказал, что он здесь случайно, с миноносца, идущего на Волгу, что из письма одного офицера, умершего в один год с Семеном, он узнал, откуда родом Тихонов, и зашел кстати проведать. Все равно на миноносце делать нечего — надо сидеть, дожидаться буксирного парохода.

— У вас одна дочка? — спросил Щедрин и поглядел на Катьку.

Она стояла у печки, скребла одной ногой другую и смотрела на Щедрина.

— Мальчик есть еще у меня, так он в Петергофе. Обучается столярному делу у нашего одного, мегринского. Двенадцати лет мальчик. Характером тихий, в отца, а нравом очень смышленый... А ты в Петергофе небось будешь? — спросила Настя, переходя на «ты»,— это означало, что Щедрин уже признан своим человеком.

— Если не убьют, то буду.

— Может, найдешь сынка-то? Найди, навести, сделай милость! Я тебе и адрес скажу.

Щедрин записал адрес: Алексей Тихонов, Дворцовый переулок, у столяра Никанора Никитина.

Щедрин собрался идти, но Настя его не отпускала без чая.

— Чай, правда, морковный, но ты испей, будь мне другом,— сказала она ласково.

Настя дала Катьке звонкий шлепок, и девочка вылетела на улицу — к соседям за сахаром.

Щедрин видел через низкое оконце, как Настя ставила во дворе зеленый маленький самовар и раздувала его подолом. Потом она ушла за перегородку; там послышался плеск воды и вздохи. Настя вышла умытая, прибранная, в новом ситцевом платье. Она застыдилась, раскраснелась и, накрывая на стол, шуршала вокруг Щедрина накрахмаленной розовой юбкой.

Чай пили долго, по-деревенски, высасывая из блюдец желтый кипяток. Настя с хрустом откусывала сахар крепкими зубами, и Щедрин невольно ею залюбовался.

Уходить ему не хотелось. Настя проводила его до околицы, не боясь завистливых и любопытных баб, выглядывавших из окошек.

У околицы они попрощались. Она протянула ему шершавую руку, опустила глаза и неожиданно сказала вполголоса:

— Может, свидимся. Вы бы мне письмо написали.

Щедрин пообещал написать письмо и вышел за околицу. Около леса он оглянулся. Настя стояла, прикрыв платком подбородок, и смотрела ему вслед. Он помахал ей рукой. Она не ответила — стояла все такая же неподвижная, окаменелая.

В лесу Щедрина дожидались дети. Торопясь и вытирая носы рукавами, они снова побежали вперед, разбрасывая песок голыми пятками. Они довели Щедрина до сходен и остановились.

Через час подошел буксирный пароход и начал осторожно, покрикивая гудком, выводить миноносец на фарватер.

Перед вечером «Смелый» шел уже по Белому озеру. Оно было действительно белое — слюдяное и бледное. На низких его берегах стояли, как маяки, колокольни сельских церквей. За колокольнями опускалось в леса громадное чистое солнце.

Неожиданно с берегов долетел запах вянущих полевых цветов.

Там уже косили сено, и бабы пели пронзительно и заунывно.

Миноносец шел по Шексне на юг, а в это время в Петергофе, в тесной квартирке мебельщика Никанора Никитина, происходил переполох.

Приятель Никитина — старый и рассудительный мебельщик Прохор — заболел и прислал сказать, чтобы Никитин поехал за него доделать книжные полки в Петроград, на Кронверкский проспект.

Дело было обычное. Никитину часто приходилось работать на дому у заказчиков, но сейчас заказчик был необыкновенный. Даже бестолковая жена Никитина — Матрена — и то его знала. Имя его было знакомо всей России, Европе, пожалуй всему миру — имя одного из величайших писателей передового человечества.

Никитин поднялся в пять часов утра, всех разбудил, долго брился, поссорился с Матреной и, наконец, сердито сказал:

— Алешка со мной поедет. Подручным. Небось в дом его пустят. Пусть поглядит на настоящего человека.

Алеша Тихонов побледнел и одернул вылинявшую ситцевую рубашку.

Матрена крикнула:

— Ишь, чего придумал, старый черт! Гляди, чтоб тебя одного-то пустили. Не видали твоих подручных!

— Тихо! — сказал Никитин.— Слово мое окончательное!

Матрена плюнула и сказала в пространство:

— Одежи у него нет подходящей.

— Поедет в чем ходит.

Но все-таки Матрена вытащила рывком из старого, рассохшегося комода новую ситцевую рубаху для Алеши и разгладила ее на подоконнике. Алеша торопливо натянул ее. Рубаха была еще горячая и обожгла спину.

— Куда торопишься! — крикнула Матрена.— Шею умой сначала, ходишь тут обормотом. Нет на вас настоящей погибели, на обоих!

За чаем Матрена, не глядя на Никитина, говорила Алеше:

— Ты за им смотри. Он, знаешь, какой! Чуть что, сейчас язык распустит и пойдет чесать, и пойдет трепать, изговорится весь вконец. На одном разговоре душа держится.

— Молчи! — сказал Никитин.— Речи свои в себе держи, имей острастку.

Когда Никитин и Алеша уехали, Матрена побежала к соседкам и, гордая, раскрасневшаяся, рассказала, что ее изверга вместе с Алешкой вызвали на работу к знаменитому человеку. Соседки завистливо вздыхали.

— Да что ты, милая! — говорили они нараспев.— Страх-то какой! Да неужто он так-таки и поехал с мальчонкой? Ему, видать, все нипочем, он у тебя отчаянный мужчина.

А между тем отчаянный мужчина, шагая по заросшим травою торцам, по безлюдным петроградским проспектам, так охрип от волнения, что с трудом разговаривал даже с Алешей.

— Что-то голос у меня стал хриповат, ты не слышишь? — тревожно спрашивал он Алешу.

— Сип у вас сильный, Никанор Ильич,— отвечал Алеша.

Чтобы прочистить голос, Никитин зашел в пивную и выпил кружку кислого пива, похожего по вкусу на квас.

Алешу Тихонова привезли в Петергоф полтора года назад. Ему в Петергофе очень нравилось. Мальчик он был боязливый, на все смотрел долго и внимательно: на серое море, на дворцы, на матросов, хлопавших клешами по пустым петергофским улицам. Изредка, неизвестно откуда доносилась стрельба. Один раз даже забухали пушки, и Алеша робко спросил Никитина, что это значит. Никитин потянул его за нос и ответил:

— Вот для таких, как ты, стараемся, для несмышленышей.

Объяснение было туманное, но Алеша главное понял, а потом путем расспросов выяснил и все остальное: кто такие большевики, чего хочет Юденич, кто пролетариат и кто буржуазия.

Никитин учил мальчишку столярному делу и, за неимением собеседника, часами разглагольствовал с ним о старинной мебели, о различных свойствах дерева, о политуре и о знаменитых мастерах, которые — вечная им память! — давно уже померли. Никитин вспоминал золотильщиков, мастеров по бронзе, лепщиков, паркетчиков. Он знал тайны многих ремесел и старался втолковать их Алеше.

Алеша слушал внимательно. Никитин давал ему книжки — то Пушкина, то Гоголя, то малоизвестного Крестовского, заставлял читать и потом придирчиво требовал, чтобы Алеша рассказывал ему содержание прочитанного. Но Алеша предпочитал рисовать. Кроме цветных карандашей, у него ничего не было, но этими карандашами мальчик делал рисунки, приводившие Никитина в восторг.

— Быть тебе Репиным! — говаривал Никитин.— Рука у тебя сама рисует, без всякого умственного напряжения. Учить тебя, дурака, надо.

На Кронверкском проспекте Никитин и Алеша долго стояли перед высоким серым домом. Никанор Ильич поглядывал на его широкие окна и покашливал. Потом, решившись, вошел в подворотню и спросил какого-то человека, подметавшего двор, где живет знаменитый писатель.

— Налево, первая дверь,— сказал человек и даже не обернулся.

— Нахальный человек, малообразованный,— сказал Никитин Алеше, когда они подымались по лестнице.

Позвонили. Никитин и Алеша плохо помнили, кто им открыл, кто их провел в большую комнату, где не было никого и по

стенам стояли полки с книгами. Сотни книг, тысячи, может быть, десятки тысяч, стояли на полках, лежали на столах, на стульях, на подоконниках и прямо на полу. Алеше захотелось тут же сесть на корточки и рассматривать их с утра до вечера, хотя бы целый год.

Никитин огляделся и дотронулся до полки, начатой Прохором. Она была из красного дерева. Осталось только ее отполировать.

Никитин начал работать. Сначала руки у него дрожали и при каждом шорохе в соседней комнате замирало сердце, но потом от знакомой и любимой работы он успокоился и на постоянные вопросы Алеши: «А сам-то выйдет?» — отвечал:

— Откуда я знаю! Что я, бог?

Неожиданно дверь отворилась и в нее, сутулясь и тяжело шагая, вошел высокий седоватый человек с простым курносым и добрым лицом — настоящий дядя Василий, знакомый и Никитину и Алеше водолив с шекснинской баржи. Сутулый человек был одет в серый тонкий костюм, лежавший на нем свободно и мягко.

Он пожал громадной рукой руку Никитину, измазанную политурой, провел по голове Алеши от затылка ко лбу, отчего волосы сразу взъерошились, взглянул на полировку и сказал, покашливая:

— Великолепно работаете! Великолепно!

Алеша с испугом смотрел на громадного человека: это-то и был знаменитый писатель!

Писатель достал из кармана коробку длинных папирос, раскрыл и протянул Никитину. Алеша смотрел во все глаза. Никанор Ильич деликатно, тремя пальцами взял папироску и закурил, хотя не курил никогда в жизни,— неудобно было отказать такому человеку.

— Тебя как зовут, пузырь? — спросил писатель Алешу.

— Алексеем,— сердито пробормотал Алеша.

— Алексей — человек божий, зашитый в рогожу,— серьезно сказал писатель, но серые его глаза добродушно, по-стариковски улыбались,— гвоздиком прибитый, чтобы не был сердитый. Однако работайте. Я вам мешать не буду.

Он ушел. Из соседней комнаты долго погромыхивал его глухой бас. Он что-то объяснял кому-то и говорил:

— Не мне вас стыдить, не мне. Писатель должен знать все сорта яблок, раз о них пишет. Вот, скажем, грушовка или анисовка. Чем разнятся? У меня на Оке был друг садовник, большой души человек...

Но тут сразу заговорило несколько голосов, и слов писателя уже нельзя было разобрать.

Алеша в оцепенении смотрел, как работает Никитин. Мастер делал чудеса. Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце косо падало в комнату, и в коричневой глубине дерева тлели зо-

лотые волокна. Дерево казалось погруженным в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение — свободное, волнистое и сложное.

Снова вошел писатель. Он долго расспрашивал Никитина о разных тонкостях мебельного дела. Алеша с испугом замечал, что Никанор Ильич все смелее разговаривает с писателем и вот-вот, как говорила Матрена, сорвется и начнет «чесать и трепать» без конца.

— Вы ученый человек,— сказал Никанор Ильич.— Объясните мне, дураку: чем это дерево хуже драгоценного камня? Игра есть, блеску — сколько хочешь, цвет лучше, чем у граната. Однако это дерево показывает себя только при свечах. Электричество на него не действует.

Писатель слушал, хмурился и улыбался.

— Ежели бы у вас были свечи и в комнате было потемней, я бы вам показал настоящий вид этого дерева,— хвастливо сказал Никанор Ильич.

— Чудесно, можно показать! — ответил писатель, подошел к окнам и спустил шторы.

Стало почти темно. Писатель ушел и вернулся со свечкой.

— А ну-ка, светите,— сказал он, и в глазах его Алеша увидел такое же веселое любопытство, как и у своих приятелей-ребят.— Что получится в этом разе?

— В этом разе,— сказал Никанор Ильич,— получится полное превращение.

Он зажег свечу и поставил ее на полку. Дерево сразу же изменилось. Оно казалось теперь бездонным и черным. Пламя свечи плавало в его глубине, как маленькое туманное солнце. Оно было окружено ореолом и зажигало вокруг себя волокна. Они светились багровым винным огнем.

— Моцарт и Сальери,— сказал неожиданно Никанор Ильич, и Алеша затрясся от испуга: предсказание Матрены сбывалось.— Читал я двадцать раз эту пьесу, никак не мог начитаться. Полирую такое вот дерево, а сам вспоминаю. Очень навязчивые слова: «Звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался,— слезы невольные и сладкие текли».

Писатель ухмыльнулся в усы и позвал из соседней комнаты каких-то людей. Он показывал им дерево при свете свечи, любовался и говорил глухим басом отрывистые слова о прелести подлинного искусства — будь то литература или полировка мебели.

Алеша слушал как в тумане. Почему-то разговор перешел на архитектуру, и Никанор Ильич сказал громким и развязным голосом, что Воронихин перед Растрелли — мальчишка и щенок. Все зашумели, а писатель держал Никанора Ильича за руку и говорил сердясь:

— Это вы, батенька, хватили не туда. А Горная академия — разве плохо? А Казанский собор?

— Тяжести много. Здание должно легко и точно стоять

на земле,— ответил Никанор Ильич.

Писатель засмеялся, взял Никанора Ильича за плечи и сильно встряхнул.

Разговор вдруг зашел об Алеше, и мальчик не знал, куда деваться. Никанор Ильич начал «трепать» всем про его рисунки и повторил свои любимые слова:

— Рука у него сама рисует, без всякого умственного напряжения.

— Вот вам и ученик,— сказал писатель, обращаясь к худому человеку с редкой бородкой и сердитыми глазами.— Все вы позапирались в своих мастерских, учеников не создаете. В стране — революция, а вы — как кроты. А как бывало у старинных художников? Какая вокруг них вырастала замечательная семья учеников! Прекрасная была традиция. Плодотворная и великая. Надо ее возвратить нашему времени. Скупцы вы, прабабку мою напоминаете. Она ассигнации закапывала в землю, чтобы другим не достались. Деньги все сгнили, краска слезла. Она их сушила потом на печке, да что толку: никто их не брал.

Худой человек строго посмотрел на Алешу.

— Попробую,— сказал он.— Возьму его к себе в академию.

— Давно пора,— сказал писатель так сердито, как будто он говорил об Алеше этому художнику уже целый год.— Великолепные возможности упускаете.

Алеша и не помнил, как они с Никанором Ильичом ушли от писателя. Над безлюдным Петроградом стояла белая ночь, многоцветные воды тускло поблескивали, и на севере, за черными кущами островов, яснела заря.

— Будешь ты человеком, Алексей,— сказал Никанор Ильич.— Будешь! Слово мое окончательное!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В Ботаническом саду на Аптекарском острове небольшой фотографический аппарат был наведен на голую ветку яблони. Стоял март, на ветке едва заметно завязывались почки.

Через каждые три часа аппарат щелкал и делал снимок. Так он щелкал весь март, апрель и май, пока ветка не расцвела.

Алексей Тихонов часто заходил в Ботанический сад. В стволах деревьев, в рисунке листьев, в разросшихся в беспорядке ветвях он находил разнообразие форм и красок, помогавшее ему работать над своими картинами.

Он сдружился, как с человеком, с маленьким черным аппаратом, спрятанным в листве. Аппарат жил одной жизнью с растениями. Он проводил с ними и дни и ночи, когда в оранжереях было так тихо, что можно было услышать шорох земли, всасывающей падавшие с листьев капли. Когда аппарат

убрали, Тихонов почувствовал сожаление, будто из оранжереи увели маленького зверя, жившего в траве и никому не причинявшего зла.

Сотрудники Ботанического сада показали Тихонову снятую аппаратом пленку. За пять минут они пропустили ее через проекционный фонарь. Тихонов смотрел на белый маленький экран и видел, как почка на глазах росла, набухала, покрылась клейким соком, лопнула и из нее, потягиваясь, как после сна, распрямляя измятые лепестки, расцвел белый цветок и вдруг весь задрожал от упавшего на него солнечного света.

Когда Тихонов думал о долгих годах, прошедших над его страной и над его жизнью, он вспоминал этот как будто внезапно, но на самом деле медленно расцветший цветок.

Тихонов знал, что годы шли с закономерной, давно вычисленной неторопливостью, что страна менялась с каждым месяцем, и с каждым месяцем в сознание входили новые мысли, желания и цели, определявшие лицо иного человека.

Но вместе с тем ощущение прожитых лет было таким, будто стояло все одно и то же утро и до полудня было еще далеко. Время казалось единым, не раздробленным на скучные отрезки лет. Длился монолитный и величавый год революции.

А между тем у Тихонова на висках уже пробивалась ранняя седина, а у дряхлого Никанора Ильича тряслись руки. Он все чаще отрывался от работы и сидел неподвижно, жалуясь на сердце.

Бросать работу он не хотел.

— Помирать уже время,— говорил он,— а я, видишь, работаю. Упираюсь. Почему? Очень просто: я считаю, что должен отблагодарить новую жизнь своей работой, оставить молодым поучительные и богатые подарки.

И он оставлял, старик, эти подарки. Они были в тонкости отделки дерева, в вещах, не уступавших работам лучших мебельных мастеров девятнадцатого века.

— Я самоучка,— говорил он.— Мне бы до хороших образцов дотянуться — и то победа. А вам все дано, молодым,— с вас народ взыщет побольше, чем с нас.

Знаменитый писатель умер. Умер и учитель Тихонова — художник с сердитыми глазами. Умерла и мать Тихонова, Настасья.

Он поехал в Мегры, когда получил письмо от нее с просьбой «приехать, похоронить старуху».

Настасья лежала в избе прозрачная и молчаливая, улыбалась, и зубы у нее блестели, как в молодости. Она рассказала Тихонову, что почти двадцать лет назад приезжал в Мегры какой-то флотский, расспрашивал про деда Семена, запоротого насмерть, и обещал навестить в Петергофе Алешу.

— Был он у тебя? — спрашивала она тревожно.— Говори: был?

— Нет, мать, не был.

— Как же так? — спрашивала Настасья с недоумением.— Такой высокий, ладный. Я об нем сколько лет все помнила, все тужила. Неужто убили его на фронте? — Она заплакала.

На похороны приехала из Череповца Катя — высокая смуглая девушка. Она работала учительницей, но хотела переменить профессию и стать инструктором по спорту. Она брала призы на гребных состязаниях. Любовь к воде и лодкам была у нее ревнивая и неистовая.

Тихонов взял ее с собой в Ленинград, и через месяц она уже работала на водной станции на Крестовском острове.

Тихонов жил все там же, в Петергофе, в домике Никитина. Ленинград сиял чистотой новых домов. В мраморе, в зеркальных стеклах отражался величественный город, сбросивший прежнюю хмурость, но Тихонов полюбил стариков, не хотел их обижать и по-прежнему жил у них в мезонине.

Где бы он ни был — в Севастополе или Баку, во Владивостоке или на Волге,— он всегда знал, что вернется в этот домик, заваленный холстами, подрамниками, кусками ценного дерева, пропахший красками, спиртовым лаком и геранью,— Матрена разводила ее с неизменным упорством.

Деревянные платформы Балтийского вокзала потемнели от росы. Была белая ночь. Электрические поезда на Петергоф ходили без огней. Вагоны мягко гремели на стыках, боясь спугнуть тишину дачных поселков, нарушить безветрие, давно стоявшее над взморьем.

Тихонов спешил в Петергоф. В газетах было опубликовано сообщение о большом празднике искусств в Ленинграде, назначенном на 24 июня. Тихонов хотел порадовать этим сообщением старика Никитина.

Сидя у окна вагона, Тихонов пытался в десятый раз прочесть это сообщение в газете, но свет был очень слаб. Прочесть можно было только напечатанное крупным шрифтом. Тихонов отложил газету и взглянул в окно. Там простиралась неясная и высокая ночь. Единственная звезда преодолела сумрак и медленно плыла над высокими зарослями садов.

«Должно быть, Юпитер»,— подумал Тихонов. Он представил себе ночь над Финским заливом, когда во мгле виднеются только три огня: белый огонь маяка в Кронштадте, пепельный огонь Юпитера и тихий золотой блеск на куполе Исаакиевского собора, освещенном зарей. Заря горела тут же, за краем земли. Утро стояло рядом, и жители верхних этажей ленинградских домов видели его всю ночь из своих окон.

...Старик Никитин не спал. Он окликнул Тихонова из открытого окна. Старик работал: полировал крышку от старого рояля.

— Газету привез, Алеша? — спросил Никитин.— Говорят, там про наш праздник уже напечатано.

Тихонов особенно любил старика за то, что все относившееся к архитектуре, скульптуре и украшению зданий старик считал своим личным делом. Великий зодчий Захаров, строитель

Адмиралтейства, или скульптор Андреев были для него такими же своими и понятными людьми, как и знакомые бронзировщики и плотники.

Старика объединяло с этими людьми знание дела, верный глаз, любовь к материалу — будь то тонкослойное дерево, тертая краска или кусок хорошей звонкой бронзы.

«Должно быть, в этом и заключается преемственность культуры,— решил Тихонов,— в этом тысячелетнем содружестве мастеров, кто бы они ни были — слесари, плотники, зодчие или поэты».

Никанор Ильич попросил Тихонова прочесть сообщение о празднике. Тихонов прочел его вслух, сидя на подоконнике, и простые слова сообщения показались ему созданными для того, чтобы быть высеченными на камне:

«Социалистическая культура, завоеванная кровью и созданная героической работой трудящихся Союза, уверенно идет по пути непрерывного расцвета. Социалистическая эпоха требует создания монументальных памятников и художественных произведений, которые могли бы запечатлеть и передать потомкам ее величие и ее героическую сущность. Создание этих памятников искусства даст применение разнообразным талантам, которыми так богаты народы, населяющие Союз.

Наш город — город Ленина — является не только колыбелью революции и центром передовой индустрии, но и городом знаменитых мастеров искусства.

Закон усвоения нашим обществом культурного наследства имеет в нашем городе наибольшие основания для своего выражения. Достаточно вспомнить имена хотя бы одних только зодчих — строителей города — Баженова, Растрелли, Воронихина, Захарова и других, чтобы ясной стала мысль, что именно здесь, в городе Ленина, молодая социалистическая страна может учиться законам мастерства у славных художников прошлого.

В связи с тем, что в Ленинграде открываются академии, готовящие мастеров архитектуры, скульптуры, живописи и гравюры, мастеров художественной обработки камня, дерева и металла, фарфорового и гранильного дела, Ленинградский Совет решил устроить в Ленинграде 24 июня большой народный праздник. Основная мысль, которой должен быть отмечен этот праздник, заключается в том, что социалистический город, в отличие от городов капиталистических стран, является не только местом расселения людей и средоточием государственных учреждений, общественных организаций и заводов, но и самостоятельным произведением искусства — мощным фактором в деле художественного воспитания масс».

— О чем разговор идет в этом сообщении, как я понимаю? — сказал Никанор Ильич.— О благородстве души человеческой. Я давно примечаю, что народ разный бывает, в полной зависимости от того, что он вокруг себя видит.

— Благородство твое где,— сказала из угла Матрена,— когда заказчик уже телеграмму прислал, тревожится, а крышка у тебя не готова!

— Ничего с ним не сделается, с заказчиком. Заказчик мне все простит за эту крышку. Он у меня моряк, разнообразный человек. Говорить с ним, прямо скажу, затруднительно. Я ему про черное дерево, а он мне про климат. Я ему про темный лак, а он мне про климат. Замучил меня с этим климатом!

— А что с климатом? — спросил Тихонов.

— А с климатом дело сложное. Ежели оно ему удастся, мы будем самой счастливой нацией в мире. Стоит у него в кабинете срез дуба; лет этому дубу четыреста, если не больше. Ну, понятно, на дубе годовые слои. По-нашему это называется «древесный глаз». Одни слои толще, другие тоньше, есть и совсем тонкие, не шире нитки. Вот он и спрашивает: «Что ты перед собой видишь, Никитин, мудрый человек, всезнающий мебельщик?» — «Слои как слои, говорю. Дубовый слой тоже имеет красивый вид, ежели его с умом отполировать». А он начинает спорить: «Не в полировке дело, а в точных выводах. Я, говорит, немного и метеоролог и ботаник. Каждый год слой нарастает в зависимости от влаги. В дождливое лето слой растет больше, в засушливое — меньше, и по этому дубу можно рассказать на пятьсот лет назад, какой климат его окружал».— «А к чему вам это знать? — спрашиваю.— Есть ли из этого хоть самая маленькая польза для нашего брата — человека?» — «Есть, говорит, только рассказывать долго. Пока скажу тебе одно: прочли мы по этим срезам и по другим всяким приметам чудесную вещь; а вещь эта заключается в том, что были времена, когда у нас стоял климат теплый и веселый, как на острове Цейлоне. Леса из магнолий росли кругом по берегам Финского залива. Мы, говорит, будем стараться этот климат вернуть. Сделать это, говорит, можно и нет в этом никаких чудес».

— Помереть не дадут спокойно! — пробормотала Матрена.— Герани им не хватает, старым дуракам, давай им магнолию!

— Герань против магнолии — дрянь! — рассердился Никанор Ильич.— У герани лист надоедливый, шерсткий. Ты со мной не заводись, старая!

Старики заспорили. Тихонов попрощался и ушел к себе в мезонин. Из окон был виден залив. Птица зашевелилась в сырых ветвях и осторожно крикнула, будто кого-то позвала. Часы внизу долго шипели и наконец пробили два медных удара.

Тихонов постоял в раздумье у окна, потом осторожно спустился и пошел в дворцовый парк.

Спать не хотелось. Читать в рассеянном блеске белой ночи было нельзя, так же как нельзя было зажигать свет. Элект-

рический огонь казался крикливым. Он как бы останавливал медленное течение ночи, уничтожал тайны, свернувшиеся, как невидимые пушистые звери, в углах комнаты, делал вещи неприятно реальными, более реальными, чем они были на самом деле.

В аллеях застыл зеленоватый полусвет. Поблескивали золоченые статуи. Фонтаны ночью молчали, не было слышно их быстрого шороха. Падали только отдельные капли воды, и плеск их разносился очень далеко.

Каменные лестницы около дворца были освещены зарей; желтоватый свет падал на землю, отражаясь от стен и окон.

Дворец просвечивал сквозь неясную темноту деревьев, как одинокий золотой лист светится ранней осенью сквозь гущу еще свежей и темной листвы.

Тихонов пошел вдоль канала к заливу. В канале меж заросших тиной камней плавали маленькие рыбы.

Залив был чист, спокоен. Над ним лежала тишина. Море еще не просыпалось. Только розовый отблеск воды предвещал близкий восход солнца.

Океанский пароход шел к Ленинграду. Заря уже горела в его иллюминаторах, и легкий дым тянулся за кормой.

Пароход затрубил, приветствуя великий северный город, конец трудного морского пути. Далеко в Ленинграде, где уже светился бледным золотом шпиль Адмиралтейства, ему ответил протяжным криком другой пароход.

В канале стояли шлюпки. На них, укрывшись брезентом, спали молодые матросы. Тихонов видел их румяные от сна лица, слышал издалека легкий храп. Предрассветный ветер задувал с моря и шевелил листья над головой.

Тихонов прошел на берег. Никого не было, только на самом конце пристани на деревянной скамейке сидела какая-то женщина.

«Что она здесь делает в такой час?» — подумал Тихонов. Черный облезлый кот осторожно ходил по сырому настилу пристани и после каждого шага брезгливо тряс лапой.

Тихонов остановился у перил и заглянул в воду. Кот тоже заглянул, и глаза его сразу почернели: около свай шевелила хвостами стая серебряных длинных рыб.

Женщина встала и пошла к Тихонову. Он смотрел на нее, и чем ближе она подходила, тем все яснее, как из тумана, звучали легкие шаги, и уже была видна ее смущенная улыбка. Маленькая шляпа бросала тень на ее лоб, и поэтому глаза казались очень блестящими. Шелковое платье цвета морской воды поблескивало и шуршало, и Тихонов подумал, что женщине, должно быть, холодно,— предрассветный ветер, как бы он ни был тепел, всегда несет с собой запах снега.

Женщина подошла. Тихонов взглянул ей в лицо и догадался, что это иностранка.

— Скажите... — произнесла женщина медленно, и легкая

морщинка появилась у нее между бровей.— Скажите, скоро будет пароход в Ленинград?

Она, видимо, с трудом подбирала слова и выговаривала их с сильным акцентом.

— Через два часа. Поездом вы доедете скорее.

Женщина отрицательно покачала головой:

— Поездом нет. С поезда я не могу искать в Ленинграде дорогу домой.

— Почему вы здесь в такое время? — спросил Тихонов.

— Я опоздала на последний пароход. Очень глупо. Я сидела всю ночь здесь. Только я и вот этот страшный кот.— Она показала на черного кота и засмеялась.

— Вы француженка? — спросил Тихонов и покраснел: что он, следователь, что ли, что задает ей такие вопросы.

Женщина подняла голову. В твердом овале ее лица и маленьком подбородке было одновременно что-то французское и северное.

— О нет! — сказала она протяжно.— Я шведка. Но я говорю по-французски.

Тихонов смотрел на нее, но думал о себе. Он старался представить себя со стороны.

Несмотря на свой возраст, он чувствовал себя мальчишкой и страдал в обществе взрослых. Его сверстники были уже маститые люди и по внешности и по своему душевному складу. Тихонов же еще плохо верил в свою талантливость и любил все, что любят мальчишки: рыбную ловлю, поезда, вокзалы, лыжи, пароходы и путешествия.

Перед взрослыми он часто терялся, чувствовал себя связанным, знал, что он совсем не такой, каким его представляют другие. Когда он читал о себе в газетах или слышал разговоры товарищей-художников о своей одаренности, он оставался равнодушным, как будто речь шла не о нем, а об его однофамильце или двойнике.

Он знал, что до сих пор его лучшая картина еще не написана, и потому искренне удивлялся шуму, который все чаще подымался вокруг его вещей.

Сейчас он подумал о себе потому, что с особенной силой ощутил себя мальчиком. Он растерялся перед незнакомой женщиной, бывшей моложе его.

Женщина тоже смутилась и, наклонившись, чтобы спрятать лицо, гладила облезлого кота. Кот вопросительно смотрел на нее и мяукал.

Взошло солнце. Сады начали разгораться, сбрасывая рассветную дымку. Живой свет пробежал, как ветер, наискось по лицу женщины, блеснул в ее глазах, осветил ресницы и нервную руку, сжимавшую перила.

Залив покрылся полосами света и тумана. Далеко по воде катился глухой крик парохода, подходившего из Ораниенбаума. Пароход шел в Ленинград.

Худощавый хромой смотритель пристани вышел с удочками на дощатый настил. Он поздоровался с Тихоновым и спросил:

— Что это вы, Алексей Николаевич, так рано собрались в Ленинград?

— Нет, я провожаю,— ответил Тихонов.

Смотритель развернул удочки, сел, свесив ноги с пристани, и начал удить. Он изредка посматривал на Тихонова и незнакомую женщину и сказал про себя со вздохом:

«Мысль о потерянной молодости угнетала его дряхлое сердце».

У него клюнуло, он выругался и вытащил маленькую рыбу.

Подошел пустой пароход. Тихонов проводил женщину до сходен. Она протянула ему руку и рассеянно посмотрела в глаза.

— Ну, прощайте,— сказала она и отвернулась.— Благодарю вас.

— Граждане пассажиры,— сказал с мостика капитан,— пора!

Она взошла по сходням. Пароход сердито закричал, медленно попятился и повернулся носом в море. Высокие вехи блестели на воде.

Тихонов увидел ее на палубе. Ветер обтягивал платье около ее высоких ног и хлопал кормовым флагом.

Тихонов пошел к берегу. Около смотрителя он оглянулся. Женщина все еще стояла на палубе.

— Какое лето! — сказал смотритель.— Я еще никогда не видел такого лета на Балтике. Сплошное солнце.

Тихонов согласился, неторопливо отошел от пристани, но когда скрылся за деревьями парка, быстро пошел к вокзалу.

Первый поезд на Ленинград отходил в шесть часов. Тихонов ждал его, волнуясь и глупо надеясь, что поезд отойдет раньше.

В Ленинграде он взял такси и приказал везти себя на Петергофскую пристань. Город пестрел полосами утреннего света и теней. Сторожа поливали в скверах цветы. Медленный дождь падал из брезентовых рукавов, разлетаясь под ветром. На мостах в окна машины бил невский ветер.

У пристани стоял знакомый пароход. Он был пуст. Босой матрос мыл палубу шваброй.

— Давно пришли из Петергофа? — спросил Тихонов.

— Минут десять.

Тихонов вышел на набережную. Только что она была здесь, может быть, минуту назад. Он знал это по блеску воды, по солнечным отсветам, перебегавшим вдоль гранитных берегов, по добрым глазам чистильщика сапог, задумавшегося над своими щетками, по легкому полету облаков в небе.

...Щедрин жил в новом маленьком доме, выстроенном около водной станции на Крестовском острове.

Все комнаты в этом доме были расположены на разном уровне. Из комнаты в комнату вело две-три ступени, и это придавало дому особенный, морской уют, тем более что на второй этаж вели лестницы с медными поручнями, похожими на трапы, а круглые окна в коридоре напоминали иллюминаторы.

Щедрин сильно поседел, и когда писал, то надевал очки. Он преподавал метеорологию и астрономию в Морской академии.

В его кабинете стояло много медных приборов и висели карты, исчерченные синим и красным карандашами. Приборы теплились в ясные дни, как свечи.

Чистота в доме была корабельная. Убирал комнаты Винер. В бою под Елабугой он потерял руку и с тех пор уже не мог управлять своими любимыми машинами.

Щедрин переписывался с Якобсенами и доктором в Мариегамне. В начале июня из Стокгольма приехала погостить на два месяца Мария Якобсен. И Щедрин и Винер звали ее Мари.

Присутствие молодой веселой женщины преобразило комнаты, бывшие до тех пор спокойными и точными, как астрономические приборы. Появился легкий, приятный беспорядок. Женские перчатки лежали на секстанах, цветы осыпались на письменный стол, на рукописи с вычислениями, запах духов и тонких тканей проникал всюду из комнаты Мари на втором этаже, серебряная бумага от шоколада валялась на диване рядом с начатой и еще не разрезанной до конца книгой. Мари жадно читала, чтобы получше изучить русский язык.

Около портретов Анны Якобсен, Павла Бестужева и матери Щедрина Мари всегда ставила на столик букеты листьев, ветки лип, цветы гелиотропа. Раньше дом был похож на корабль, теперь он стал похож на оранжерею.

Мари была безрассудна и тревожила этим Щедрина. Она оставалась все такой же, как в Мариегамне, когда спорола у него с рукава золотую нашивку.

Она радовалась свободе, была в восторге, что могла одна ходить по городу, радовалась всему, что видела в Ленинграде: дворцам и театрам, жизни, лишенной стеснительных правил и нравоучений, простоте отношений между мужчинами и женщинами, между рабочими и учеными и, наконец, тому, что всюду на нее смотрели с улыбкой. Она в ответ сама улыбалась, хотя и старалась сохранить на лице строгое выражение красивой и немного разочарованной женщины.

Особенно беспокоили Щедрина прогулки Мари. Она уже два раза заблудилась. Однажды ее привел домой худенький пионер, позвонил, сдал с рук на руки и сказал серьезно Винеру:

— Будьте добры, не пускайте ее одну на улицу. Я веду ее от самого Смольного.

Мари расцеловала пионера, втащила его в комнаты, показала модель «Смелого», инструменты, карты, картины, изображавшие морские бури и штили. Мальчика напоили чаем, дали ему конфет, и он ушел счастливый и оглушенный.

Второй случай был гораздо хуже. Мари уехала в Петергоф, опоздала на последний пароход и всю ночь в одном легком платье просидела на петергофской пристани.

Щедрин в два часа ночи начал звонить во все отделения милиции, поднял на ноги десятки людей, а потом, когда Мари нашлась, ему пришлось извиняться и выслушивать шутливые замечания дежурных.

— Глупости! — сказала Мари за утренним чаем. Глаза ее сияли, несмотря на то что ей смертельно хотелось спать.— В вашей стране я ничего не боюсь. Я даже смело подошла ночью к одному человеку на пристани, и мы долго беседовали.

— О чем? — спросил Щедрин.

— Обо всем, — ответила Мари. — А потом пришел хромой человек удить рыбу и поклонился мне, как старой знакомой.

— Да это же, должно быть, Акерман! — воскликнул Щедрин.— Вот старый черт! Он все еще ловит рыбу?

— Да,— сказала Мари.— Вместе с черным котом. Как в сказке.

Мари спала до вечера. Окна были открыты. Ветер перелистывал книгу, забытую на окне. Он переворачивал страницы то вперед, то назад, разыскивая любимые строчки, наконец нашел их и затих: «Из царства вьюг, из царства льдов и снега как чист и свеж твой вылетает май».

Мари проснулась от шелеста в комнате. Ветер сбрасывал со стола разорванные конверты. Было сумрачно. Далеко на взморье громыхнул и покатился в пропасть железный гром.

Мари вскочила. Молния зажглась за окнами, задрожала и погасла в глубине зашумевших садов.

Мари быстро умылась, оделась и сбежала вниз. Щедрин сидел у рояля.

— Гроза,— сказал он Мари.— Вы спали девять часов.

— Что вы играете? — спросила Мари и села в кресло, поджав ноги.

Она смотрела за окно, где горячий ветер уже бушевал в садах и швырял на подоконники сорванные листья. Один лист упал на рояль. Крышки на рояле не было, и лист запутался в стальных струнах. Щедрин осторожно вынул лист и сказал:

— Чайковского. Если бы я был композитором, я написал бы симфонию о климате.

Мари засмеялась.

— Мари, не смейтесь,— сказал Щедрин и тронул струны.— Это все очень просто. Мы можем вернуть Европе миоценовый

климат[1]. Не знаю, учили ли вы в Стокгольме историю Земли. Но вы, должно быть, знаете, что Земля пережила несколько страшных обледенений.

Мари поежилась.

— Не нужно их больше,— серьезно сказала она.

— Конечно, не нужно. Обледенение приходит из Гренландии. Это очень долго рассказывать, чтобы все было понятно, но я скажу только вывод. Мы можем уничтожить гренландские льды. Когда мы их уничтожим, в Европу вернется климат миоцена.

— Теплый?

— Очень,— ответил Щедрин. — Финский залив будет дымиться, как парное молоко. Здесь будут снимать по два урожая. Леса магнолий расцветут на Аландских островах. Вы представляете: белые ночи в магнолиевых лесах! От этого можно совсем одуреть!

— Что это значит — одуреть? — спросила Мари.

— Писать стихи, влюбляться в девушек, одним словом — сходить с ума.

— Очень хорошо! — сказала Мари.— Но что нужно для этого?

— Пустяки! Нужна маленькая революция в Гренландии. Нужно начать в Гренландии громадные работы, чтобы растопить хотя бы на короткое время слой льда в полтора метра на вершинах плоскогорий. Этого будет достаточно.

— Как вы дошли до этого?

Щедрин показал на книги, валявшиеся на столе, на карты, на приборы.

— А это зачем? — сказал он.— Вы знаете, что на Северном полюсе зимовали наши ученые. Их наблюдения мне очень помогли.

Ливень шумел за окнами, и в комнатах стало темно. Пузыри воздуха лопались в лужах в саду, и, может быть поэтому, от луж долетали маленькие волны озона.

— Сыграйте,— попросила Мари.— Каждый день вы рассказываете мне сказки, как глупенькой девочке.

— Это не сказки,— сказал Щедрин и заиграл увертюру из «Евгения Онегина».— Пушкин тоже не сказка. Это все настоящее.

Мари вздохнула и задумалась. Утренняя встреча казалась сейчас далекой, как детство. Была ли она? Кто этот человек — худой, с седыми висками и молодым лицом? Почему она не спросила его, кто он? Трудно встретить второй раз человека в таком громадном городе.

Ливень прошел, и капли громко шуршали, скатываясь с листьев.

---

[1] Миоценовый климат — теплый, почти тропический климат, бывший в Европе во время миоцена — отдаленной геологической эпохи. *(Прим. авт.)*

Мари тихо встала, надела легкий дождевой плащ и вышла. Гроза уходила на восток. На западе горел омытый дождем неяркий закат.

Мари пошла к Летнему саду.

Она побродила по сырым аллеям сада, вышла на Лебяжью канавку и долго смотрела на Михайловский замок.

Призрачная ночь застыла над городом. Шаги прохожих звучали в тишине. Белые фонари на площадях были лишь немного светлее ночи.

Величественные здания, окружавшие Мари, казались нарисованными слабой краской. Выделялись только колонны и мощные аттики, освещенные рассеянным светом. Нельзя было догадаться, откуда он исходил. Было ли это отражение ночи в каналах, или тонкая полоска зари еще тлела на западе, или фонари, смешав свой блеск с сумраком, вызывали это странное освещение,— но свет этот рождал сосредоточенность, раздумье, легкую печаль.

Мари прошла мимо Эрмитажа. Она уже была в нем и старалась сейчас представить себе его ночные залы, тусклый блеск Невы за окнами, столетнее молчание картин.

Мари вышла на площадь у Зимнего дворца, остановилась и сжала руки. Она не знала, чей гений, чья тонкая рука создали этот прекраснейший в мире разворот колоннад, зданий, арок, чугунных решеток, этот простор, наполненный зеленоватой ночной прохладой и величавой архитектурной мыслью.

Обратно Мари возвращалась последним речным катером. Стеклянный и пустой, он нес ее, покачиваясь, по черной Неве мимо Петропавловской крепости, мимо равелинов и кронверков, мимо свай, мостов и парков. Милиционер дремал в углу каюты.

За мостом Свободы в небо поднялся, дымясь и тускнея, широкий луч прожектора. Он опустился и осветил на берегу белое каменное здание, простое и величественное.

Милиционер открыл глаза.

— Начинается подготовка,— сказал он Мари.— Светят по лучшим зданиям.

— Какая подготовка? — спросила Мари.

Ей было холодно. Она побледнела от речной сырости.

— К празднику,— сказал милиционер.— В честь нашего города. Нету на свете красивее города, чем наш Ленинград Я здесь живу с малых лет, а каждый день смотрю не насмотрюсь. Стоишь ночью на посту и не знаешь иной раз, снится ли тебе все это, или на самом деле. Подойдешь к дому, посмотришь — горит фонарь с номером; тогда успокоишься: значит, не снится.

Мари застенчиво улыбнулась.

— Я в гребной школе учусь,— сказал милиционер.— Выезжаю на аутригере[1] в море. Выплывешь вечером — города не видно, он в тумане. Одни фонари блестят на воде. Даже на

[1] Аутригер — особый тип гоночной легкой лодки.

берег возвращаться неохота.

— А вы где стоите в городе? — спросила Мари.

— Вы, видать, не русская: разговор у вас не наш.

— Я шведка.

— А-а-а... — сказал милиционер.— Значит, тоже любуетесь. Я стою у Зимней канавки, в том месте, где Лиза утопилась.

На пристани у реки Крестовки Мари сошла. Милиционер сошел вместе с нею и проводил ее до дому.

— Я не боюсь, зачем! — смущенно говорила Мари.— Вы работали, устали.

— Да вы не беспокойтесь,— уверял ее милиционер.— Я домой не пойду. Пойду на водную станцию, там буду ночевать. Мне утром все равно тренироваться к празднику. Будут гонки. Отсюда — прямо в Сестрорецк. На выдержку.

У калитки своего дома Мари попрощалась с милиционером. Он вежливо пожал ей руку и ушел. Мари немного постояла в саду, потом засмеялась. Она думала: что сказали бы ее подруги в Стокгольме, если бы она там подала руку постовому полицейскому.

К празднику город был разделен на районы. В каждом районе убранство зданий и улиц было поручено художнику и архитектору. Тихонову достался Петергоф. Празднику в Петергофе придавали морской характер. Сюда должны были прибыть из Кронштадта команды военных кораблей, а во дворце решено было устроить бал для старых и молодых моряков — встречу двух поколений.

После случая на пристани Тихонов обнаружил в себе новые свойства. Он начал замечать вещи, мимо которых раньше проходил равнодушно. Мир оказался наполненным удивительными красками, светом, звуками. Он, художник, никогда раньше не видел такого разнообразия красок. Они были всюду, но больше всего их переливалось в морской воде.

Мир стал значителен во всем. Тихонов ощущал жизнь во всем разнообразии ее проявлений, как нечто единое, мощное, созданное для счастья. Этим полным чувством жизни он был обязан своему времени. Это чувство только усилилось под влиянием встречи на рассвете с молодой женщиной.

Что-то было в этой встрече, не поддававшееся ни описанию, ни рассказу. Это что-то было любовью. Но Тихонов еще не признавался себе в этом. В его сознании все слилось в один сверкающий круг: далекий гудок океанского парохода, золотое мерцание города в утренней мгле, тишина воды, шаги женщины, хромой смотритель пристани и его слова о необыкновенном балтийском лете.

В таком состоянии Тихонов начал работать над украшением Петергофа. Работая, он думал о своем времени, о стране и о ней.

Ему вспомнились слова знаменитого писателя, того, что взъерошил когда-то ему волосы и обозвал «пузырем». Он перечитал все его книги и статьи. В одной из статей писатель говорил своему юному современнику:

«Когда будете писать — думайте о ней, хотя бы ее и не было, и о превосходных людях, которым вы — тоже превосходнейший человек — искренне и просто и очень задушевно рассказываете о том, что известно только вам, что необходимо узнать и ей и всем им,— понимаете?»

Она была. И Тихонов думал о ней, думал, что она пройдет здесь, увидит всю прелесть земли, украшенной им, и почувствует, так же как и он, дыхание свободной и веселой страны, куда она приехала как гостья.

Никанор Ильич страшно взволновался, узнав, что Тихонову поручили украшать Петергоф. Несколько дней он волновался впустую. Поговорить было не с кем. Матрена была туга на разговоры, а Тихонов слишком занят. Поэтому старик обрадовался до слез, когда в Петергоф приехала Катя. Приехала она к брату поговорить о том, как украсить к празднику свои лодки и яхты.

От Тихонова она спустилась к старикам, и Никанор Ильич тотчас затеял с ней разговор.

— Люблю я праздники,— сказал Никанор Ильич.— Праздник, я полагаю, иной раз человеку больше нужен, чем хлеб насущный.

— Ох, господи! — вздохнула Матрена.— Сил нет! Уйми хоть ты его, Катюша, проклятущего.

— Тихо! — грозно сказал Никанор Ильич и закашлялся.— Сама к празднику дом будешь мыть, чистить. Небось старые свои обноски не наденешь. Почему это, спрашиваю? Ответь!

Катюша кое-как помирила стариков и ушла. А вечером Никанор Ильич слег. Он жаловался на боль в сердце и позвал к себе Тихонова.

— Алеша... — сказал он и вдруг заплакал.

Матрена тоже сморкалась в своем углу.

— Слабость у меня сердечная. Неужто окачурюсь и ничего не увижу? А мне бы, дураку, жить и жить. Любопытство меня жжет. Все норовил подняться к тебе, посмотреть эскизы — чего ты придумал к празднику,—да боюсь помешать.

Тихонов принес старику эскизы. Никанор Ильич долго смотрел на них, потом похлопал Тихонова по плечу.

— Люблю я в тебе, Алеша, совершенство,— сказал он.— Ты настоящий. Слово мое окончательное.

Прощаясь, он попросил, чтобы Тихонов, когда будет в Ленинграде, заехал к заказчику и передал, что крышка от рояля готова и ее можно забрать.

Только на второй день Тихонов разыскал по адресу, оставленному Никанором Ильичом, маленький дом в саду на Крестов-

ском острове. Накрапывал дождь, земля пахла прибитой дождем пылью.

Открыл Тихонову белобрысый старик без одной руки — Винер. Тихонов спросил гражданина Щедрина. Винер ввел его в комнату с настежь открытыми окнами.

На стене Тихонов увидел два портрета прекрасной работы. На одном был изображен офицер в черном мундире, на другом — молодая женщина с высоко взлетающими, нервными бровями. В ней было ясно ощутимое сходство с незнакомкой, встреченной на пристани.

Тихонов провел рукой по лбу, как бы стараясь отогнать навязчивую мысль, но женщина смотрела на него уже знакомыми глазами, и он невольно все ближе подходил к портрету и все пристальнее вглядывался в него.

Кто-то вошел, но Тихонов обернулся не сразу: ему понадобилось сделать над собой усилие, чтобы оторваться от портрета.

За спиной Тихонова стоял высокий седой моряк и внимательно смотрел на него.

— Я к вам от Никанора Ильича,— сказал Тихонов.— Он болен. Он просил передать, что крышка от рояля готова. За ней можно приехать.

— Садитесь,— сказал моряк и показал Тихонову на кресло.

Если бы Тихонов сел в него, то очутился бы спиной к портрету. Тихонов шагнул к креслу, но передумал и сел в другое — так, чтобы видеть портрет.

Моряк все так же внимательно смотрел на Тихонова.

— Благодарю вас,— сказал он.— А что с Никанором Ильичом?

— Сердце,— коротко ответил Тихонов.

— Вы его сын?

— Нет, я его бывший ученик.

— Вы, очевидно, художник?

— Да.

— Я догадался, когда увидел, как вы вглядываетесь в этот портрет.

— Великолепная работа! Кто это?

— Это прекрасная женщина, дочь одного старого шкипера с Аландских островов.

— Она шведка? — быстро спросил Тихонов.

— Да. Ее зовут Анна Якобсен. Ее жизнь связана с очень трагическими обстоятельствами. Это жена офицера Павла Бестужева, убитого на дуэли на Аланде в начале прошлого века. Она сошла с ума.

— Моего прадеда,— сказал Тихонов,— тоже убили в Финляндии, но только не на дуэли. Его запороли. Он был простой солдат.

— Позвольте,— сказал моряк,— когда это было?

— Я думаю, что тоже в начале прошлого века.

Моряк встал и подошел к окну. Он посмотрел на дождь,

сыпавшийся пылью в лужи на дорожках, потом обернулся и спросил:

— Вы родом не из деревни Мегры на реке Ковже?

— Да,— сказал удивленно Тихонов.— Откуда вы это знаете?

Моряк не ответил.

— Ваш прадед,— сказал он,— похоронен в одной могиле с Павлом Бестужевым. Оба они были убиты в один и тот же день. Их связывала общая судьба. Ваша фамилия Тихонов?

— Да.

— Наконец-то! — Моряк широко улыбнулся и крепко, обеими руками, пожал руку Тихонову.— Меня зовут Щедрин. Я вас долго искал, потом бросил. Во время войны я служил на Аландских островах. Там я узнал подробную историю гибели Павла Бестужева. Он был вольнодумец. Он спас от казни декабриста и был убит на дуэли из-за столкновения с командиром полка. Я был на его могиле и удивился тому, что он зарыт не один, а вместе с солдатом Тихоновым. Я старался узнать, чем были связаны эти два человека — Тихонов и Павел Бестужев,— но никто не мог мне этого объяснить. Местные жители ничего не знали, рыться же в архивах я не мог. Мне бы их не дали, да и было совсем не до этого: начиналась революция. Мне попалось в руки предсмертное письмо Бестужева. В нем я нашел просьбу сообщить о смерти солдата Тихонова его родным, в деревню Мегры на реке Ковже. Во время гражданской войны я случайно попал в Мегры, разыскал потомков солдата Тихонова и видел вашу мать.

— Она меня спрашивала о вас,— перебил Тихонов.

— Она умерла? — спросил моряк.

— Да.

— Я нашел вашу мать, но она ничего об этом не знала. Она дала мне ваш адрес и просила найти вас, но адрес пропал в бою с колчаковской флотилией под Елабугой. Память у меня плохая, я никак не мог его вспомнить... Но все-таки мы встретились! — Щедрин засмеялся.— Ну, теперь я вас не выпущу. Давайте сюда шляпу.

Он отобрал у Тихонова шляпу, принес бутылку вина, печенье и папиросы.

— Выпьем по этому случаю,— сказал он.— Хорошее слабое вино. Его особенно приятно пить в такую серенькую погоду.

Тихонов выпил и почувствовал легкое головокружение. Все события последних дней казались ему невероятными, а встреча с Щедриным еще усилила это ощущение.

— В последнее время,— сказал он Щедрину,— я попал в полосу необыкновенных встреч.

— Тем лучше. Пейте. Недавно приехала с Аландских островов моя родственница, девушка, правнучка Анны Якобсен. Ее зовут Мари. Она мне рассказала более подробно о судь-

бе вашего прадеда. Приемный отец этой девушки — дряхлый чудак доктор — затеял писать историю Аландских островов. Он перерыл все архивы и нашел указания, что солдат Тихонов был засечен шпицрутенами за то, что помог вместе с Павлом Бестужевым бежать декабристу... Давайте выпьем за дедов!

Вино казалось Тихонову растворенными в холодной воде осенними листьями.

Тихонов плохо слушал Щедрина.

«Это она!» — говорил он себе, и сердце его билось до боли.

Он хотел услышать в комнатах женские шаги, но ничего не доносилось, кроме стука стенных часов и отдаленных гудков автомобилей.

«Где же она? Надо дождаться ее, чтобы окончилось это страшное незнание. Может быть, это совсем другая? Может быть, в комнату войдет белобрысая девушка в очках и с крикливым голосом?.. Я дурак,— думал Тихонов.— Мне давно пора уходить.. Пора. Надо встать».

Тихонов уже готов был встать и попрощаться с Щедриным, но его остановила мысль о портрете. Сходство было слишком поразительным. Он снова взглянул на портрет и увидел те же нервные, взлетающие брови и маленькую печальную складку в углу рта.

— Что с вами? — спросил Щедрин, заметив рассеянность Тихонова.— У вас усталый вид.

— Я много работаю. Мне поручили украшать Петергоф. Это очень сложно и даже страшно. Как украсить Растрелли!

Оставаться дольше было невозможно. Тихонов встал. Щедрин взял с него слово, что он в первый же свободный вечер приедет на Крестовский остров, пообещал навестить больного Никанора Ильича, и они расстались.

Тихонов шел через сад, и пока он прошел это небольшое расстояние, сотни мыслей пронеслись перед ним.

Тихонов впервые почувствовал связь с прошлым, с деревней, где сотни лет его отец, дед, прадед ковыряли холодную глину, где в детстве мать присыпала ему порезы золой из печки, где умирали от грыж, от родов, от голодного тифа. Все это было давно мертво. О нем если и вспоминали, то с неохотой.

Но теперь прошлое заговорило другим языком. В нем, в Алеше Тихонове, была кровь этих людей и кровь прадеда — николаевского солдата, убитого за смелость, за бунт, за помощь декабристам.

Мысль, что он должен быть достойным потомком немудрого крестьянина, замуштрованного казармой, одетого в грязную солдатскую шинель, появилась в сознании Тихонова.

Дождь прошел. Тучи медленно сваливались к югу и открывали на западе пустынное небо.

У калитки Тихонов столкнулся с женщиной. Он посторонил-

ся и поднял голову. Это была она, петергофская незнакомка.

Она держалась за железную решетку и смотрела на Тихонова. Тихонов снял шляпу.

— Как хорошо,— сказал он,— что я вас снова встретил! Город так велик, а вы, должно быть, не единственная шведка в Ленинграде.

Мари молчала. Рука ее медленно разжалась, на перчатке осталось серое пятно от решетки. Она прислонилась к ограде и быстро сказала:

— Да, да... Говорите.

— Что? — спросил Тихонов.— Что я могу сказать сейчас? Вы уже, пожалуй, знаете все сами.

— Если бы я знала... — сказала Мари и улыбнулась.— Пойдемте.

Она крепко взяла Тихонова за руку выше кисти и, как мальчика, повела за собой. Они шли молча по улице. Пустынное небо лежало у них под ногами, отраженное в лужах дождевой воды.

— Я думал, что встречу вас,— сказал Тихонов.— Невозможно было не встретить.

Мари наклонила голову, как бы соглашаясь с ним.

Они вышли на пристань речных катеров.

— Поедем в город,— сказала Мари.— Вы покажете мне ваши любимые места. Этот город создан для того, чтобы бродить по нему ночи напролет.

У Мари немного болела голова. Она часто прикладывала ладонь к глазам и болезненно улыбалась.

На катере Тихонов рассказал Мари обо всем, что он узнал от Щедрина: об Анне Якобсен, о Павле Бестужеве и о своем прадеде.

— Значит, Анна завещала мне вас,— сказала Мари по-французски.

До поздней ночи они ходили по городу. Он был в этот вечер особенно прекрасен. Он возникал перед ними мощными колоннадами зданий, горбатыми арками безлюдных мостов, бронзовыми памятниками и кущами столетних лип.

Нева несла огни в глубокой воде. Игла Адмиралтейства блистала над рекой, воспетой поэтами.

Они останавливались около чугунных решеток, смотрели сквозь них на полумрак садов, и Тихонов говорил о воплощенных мечтах знаменитых зодчих, создавших в северных болотах и лесах этот блистательный город. Это был город великих воспоминаний и не менее великого будущего.

Они шли вдоль набережных Невы. Мальчишки ловили рыбу с гранитных парапетов. У берега около какого-то сада стоял пришвартованный стальными тросами старый военный корабль. Ветки лип опускались над его палубой и орудиями, закрытыми брезентом.

— Это «Аврора»,—сказал Тихонов.— Вы знаете?

— Знаю,— ответила Мари.

Они прошли через площадь, где медный всадник скакал на север, и вернулись к Мойке.

На Мойке среди свай, высоких зданий и позеленевших гранитных берегов стояла летняя ночная тишина. Они облокотились о перила и смотрели на воду. В ней дрожала синяя звезда.

— Мари,— сказал Тихонов,— оглянитесь: в этом доме умер Пушкин.

Мари обернулась. Она смотрела на окна, на выступ дома, почти висевший над водой, на каменные, истертые столетиями тумбы, на одуванчики, проросшие среди плит по обочинам узкого тротуара.

— Сюда его привезли, когда он был ранен? — спросила она.

— Да. Его внесли вот в эту дверь.

— Может быть, здесь капала его кровь,— сказала Мари и посмотрела на Тихонова с виноватой улыбкой.

— Это были годы,— сказал Тихонов,— когда был убит Павел Бестужев и мой прадед, и Анна умерла от горя. Лучше всего об этом времени сказал сам Пушкин.

— Как? — спросила Мари.— Что он сказал?

— Простые слова: «И мрачный год, в который пало столько отважных, добрых и прекрасных жертв, едва оставит память о себе в какой-нибудь простой пастушьей песне — унылой и приятной». Правда, хорошо?

Мари не позволила Тихонову себя провожать. Они расстались у Летнего сада. Мари протянула Тихонову обе руки, резко вырвала их и быстро сбежала по каменной лестнице к пристани.

...Тридцать прожекторов поднялись в небо над Петергофом и перепутали свои лучи со звездами. Так начался ночной праздник.

Миноносцы, неся на бортах и мачтах цепи огней, мчались, разбивали в пену воду залива и, круто повернув, стопорили вблизи петергофской пристани.

С палуб миноносцев морякам открывалось невиданное зрелище. Дворец пламенел хрустальным пожаром. Водопады лились среди мрамора и бронзы.

Молодые краснофлотцы и старые командиры подымались по лестницам к дворцу.

Стеклянные чашечки, полные чистого огня, горели по сторонам. Фонтаны били, теряясь в темноте нависших деревьев. Здесь, в парке, явственно ощущались тяжесть и запах листвы, воздух небывалого лета.

Окна дворца были распахнуты настежь.

На балконах, в синих и белых залах стояли моряки, отраженные в зеркалах. Зеркала повторяли их смех, улыбки, загорелые лица.

Испуганные птицы проносились сквозь этот блеск, слепли, ударялись о струи фонтанов и в брызгах и шуме крыльев уле-

тали в ночь, к заливу. Там отражалось в воде привычное небо, забытое на этот вечер людьми.

Но вскоре заговорил и залив. Невидимые форты загремели, выбрасывая вспышки огня. Кронштадт салютовал сто одним выстрелом в честь великого города.

За гулом канонады не было слышно говора самолетов, разлетавшихся по всем румбам горизонта и оставлявших за собой световые дороги.

Потом как будто звездное небо начало падать на землю: самолеты сбросили сотни огненных шаров. Воздушные течения качали их над землей и перепутывали. Они то уносили шары к заливу широкими взмахами — и весь залив пылал, казалось, до самого дна их отражениями,— то сгущали их в облака света, сиявшие над потрясенными берегами.

Ленинград сверкал над Невой, как драгоценный камень. Никогда еще благородство его перспектив не было так ощутительно.

Мари со Щедриным и Винером приехали в Петергоф очень рано.

На террасе дворца Щедрина остановил Никанор Ильич. Матрена, в черном шелковом платье, испуганная и раскрасневшаяся, вела его под руку,— старик слеп от огней и с трудом передвигался.

— Большую красоту народ себе отвоевал, Александр Петрович,— сказал старик Щедрину и украдкой вытер набежавшую слезу.— Большую красоту!

Щедрин вспомнил зимнюю ночь, когда он с матросами шел по льду из Кронштадта в Петергоф и отогревался в сторожке у красногвардейца.

— Никанор Ильич,— спросил он,— так это вы в восемнадцатом году охраняли дворец?

— Я, милый, я. И моя доля есть во всем этом совершенстве.

Глаза Мари блестели, но лицо ее было строгим и бледным. Никанор Ильич посмотрел на нее. Мари вопросительно улыбнулась.

Она взяла старика под руку и повела во дворец.

На крыльце стоял Акерман, выбритый и сухой, в парадной морской форме. Глаза его лукаво смеялись. Он поздоровался со всеми и сказал Щедрину:

— Саша, ты, я помню, когда-то смеялся над сказками? Тебе стыдно, скажи?

— Замолчи, дурак! — сказал Щедрин.— Это ты не верил, что доживешь до хорошего времени.

— Стуча костылем,— сказал Акерман,— он проходил среди кликов народного ликования.

Они вошли во дворец. Моряки расступились. Сдержанный гул прошел по их рядам. Мари осторожно вела дряхлого рабочего. Сзади шла Матрена, а за ней — Щедрин, Винер и Акерман.

Шепот прошел и стих, потом прошел снова: позади взволнованной молодой женщины моряки увидели легендарного капитана Александра Щедрина, прославленного победами над флотилией белых, создателя знаменитой теории о возвращении в Европу климата миоцена.

На площадке лестницы ждал Тихонов. Он видел Мари, и ему казалось, что он не сможет выдержать минут ее приближения. Он думал, что ни одно искусство в мире не может передать красоту молодой женщины, любящей и счастливой.

Моряки собрались в большом позолоченном зале. Люстры звенели, и свечи, зажженные для праздника, тонко дрожали.

Мари остановилась с Тихоновым около окна. Щедрин прошел вперед и повернулся к морякам. Седая его голова белела на темном полотне картины, висевшей за его спиной. Картина изображала старинное морское сражение. В глубине зала играл оркестр.

Щедрин поднял руку. Оркестр умолк. Два поколения моряков затаили дыхание.

— Друзья! — сказал Щедрин.— Старые и молодые моряки! Надо ли говорить о том, что́ каждый носит в сердце,— говорить о гордости своей эпохой, своей родиной! Мы призваны охранять страну, создающую счастье для трудового человечества. Мы дрались за нее. Мы побеждали в прошлом и будем побеждать всегда. Каждый из нас отдаст всю кровь, силы, все мужество для того, чтобы могли спокойно работать и процветать наша страна и ее культура.

Не только мы одни создавали ее. Мы, поколение победителей, не можем быть неблагодарными. Мы всегда будем беречь в своем сердце память о рабочих и крестьянах, поэтах и писателях, ученых и художниках, философах, солдатах и матросах, погибших за народное счастье в далекие времена, отделенные от нас десятками и сотнями лет.

Позвольте мне вместо праздничной речи рассказать вам простую историю, случившуюся больше ста лет назад...

Моряки зашевелились и стихли. Щедрин коротко рассказал историю гибели солдата Семена Тихонова, Павла Бестужева и Анны Якобсен.

Иногда он умолкал и проводил рукой по волосам, стараясь не выдать своего волнения.

— Павел Бестужев перед смертью оставил письмо. Я прочту из него несколько строк.

Щедрин вынул письмо. Свет от люстр был слаб, при нем было трудно читать. Молодой матрос взял с камина канделябр, стал рядом с Щедриным, и чем дальше читал Щедрин, тем заметнее канделябр наклонялся и тем чаще капли воска падали на паркет.

— «Я знаю,— читал Щедрин,— и ты должна знать это вместе со мной, что придут времена великой расплаты. Наши мучения и гибель,— читал Щедрин, и легкий гул шел по рядам моря-

ков, как будто они повторяли за ним вполголоса слова этого письма, подобно словам присяги,— наши мучения и гибель ударят по сердцам с томительною силой. Пренебрежение к счастью народа будет считаться мерзейшим преступлением. Все низкое будет раздавлено в пыли...»

Мари вздрогнула. Зал гулко вздохнул, все моряки встали.

— «...будет раздавлено в пыли,— повышая голос, читал Щедрин,— и счастье человека станет самой высокой задачей народных трибунов, вождей и полководцев. Я думаю об этих временах и завидую прекрасным женщинам и отважным мужчинам, чья любовь расцветет под небом веселой и вольной страны...»

Моряки слушали стоя.

— «Я завидую им,— голос Щедрина нарастал и подымался до грозного крика,— и кричу в душе: «Не забывайте нас, счастливцы!»

Мари глазами, полными слез, смотрела в окно.

В зале молчали.

— Друзья,— сказал Щедрин,— всего несколько слов. Потомок солдата Семена Тихонова — один из лучших наших художников. Великолепием этого праздника мы обязаны ему. Правнучка Анны Якобсен, умершей от горя,— среди вас. Она приехала в нашу страну. Она нашла здесь новую родину и счастье. О нем я не могу говорить.

Щедрин замолчал. Тогда в глубине зала встал Акерман и крикнул:

— А внук спасенного декабриста — это ты!

Зал вздрогнул от бури приветственных криков.

Широкое пламя блеснуло в окнах. Моряки оглянулись. Над Ленинградом подымались к небу сотни световых потоков.

Но Щедрин не смотрел на огни Ленинграда. Он смотрел на Мари, потому что нет в мире большей красоты, чем лицо молодой женщины, любящей и счастливой.

1939

МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ



СУДЬБА ШАРЛЯ ЛОНСЕВИЛЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шарль Лонсевиль, инженер по литью пушек, был взят в плен во время отступления из Москвы наполеоновской армии. У Лонсевиля была отморожена нога. Старый мундир пропах гарью пожарищ, глаза слезились от блеска снегов.

Несколько раз за время жизни в России Лонсевиль упоминал, что был когда-то бонапартистом.

Он был благодарен Бонапарту, бросавшему его как незаметную частицу своей армии из Ломбардии в Моравию и из Пруссии в Россию.

Произнося слово «бонапартизм», Лонсевиль вспоминал вечера Венеции, каналы на окраинах, где артиллеристы купали лошадей, дубовые леса Германии, горячую кровь, капавшую в сырую траву, дым сражений, застилавший полевые дороги и реки...

В плену Лонсевиль понял, что прошлое убито окончательно и возврата к нему нет.

В 1810 году Лонсевиль встретил в почтовом дилижансе по пути в Гренобль высокую и тонкую женщину с живыми глазами. Ее сопровождал кавалерийский офицер в пыльном мундире и мягких сапогах, обшитых мехом. Была зима. Дилижанс поминутно застревал в грязи. Ночью ехать стало невозможно. Остановились в ближайшей деревне, где в кабачке нашлось чудесное вино. Офицер топил камин можжевельником и хвалил сырой ветер, дувший с Альп. Женщина дремала. Почти всю ночь офицер болтал с Лонсевилем. Потом Лонсевиль уснул и сквозь сон слышал, как офицер сказал женщине суровым тоном наставника:

— Мой молодой друг, пределом глупости является желание повторить вчерашний день.

Утром Лонсевиль вспомнил во всех мелочах ночную болтовню, и она показалась ему блестящей и увлекательной. Расставаясь со своими спутниками, Лонсевиль узнал их имена. Женщина оказалась молодой поэтессой Марией Трините. Имя офицера он забыл.

Год спустя Лонсевиль посетил Марию Трините в Париже. Она читала ему стихи о подорожнике и звоне колоколов над Луарой. Через три месяца девица Трините стала женой Лон-

севиля. С ней он прожил всего две недели, потом начались походы.

Изредка он получал от нее письма и читал их в пыльных палатках. Жена писала о жестоком времени, одиночестве, вытоптанной солдатскими конями Европе. Лонсевиль улыбался — за тягостью походов он видел победы. Но они не пришли. Пришли разгром и плен.

Лонсевиль сначала жил в Калуге. Затем его отправили на пушечный завод в Петрозаводск.

Путь был уныл. У Лонсевиля осталась память о тусклых реках и молчаливых людях, глядевших на француза с покорностью и удивлением.

Приезд его в Петрозаводск совпал с посещением завода императором Александром. Царь медленно обошел закоптелые низкие мастерские. Он взял молот у кузнеца, три раза ударил по раскаленному стволу пушки и помахал в воздухе бледной рукой с длинными, будто искусственно оттянутыми, пальцами. Потом он вышел во двор, где у пруда толпой стояли рабочие, лениво вынул золотую монету и швырнул ее в пруд. Тотчас несколько рабочих бросились в воду в одежде, и один из них вынырнул с монетой в зубах.

— Молодец! — внятно сказал царь, вытирая руки мягким фуляром: на пальцы попали брызги прудовой тухлой воды.

— Рад стараться, ваше величество! — хрипло прокричал рабочий.

Лонсевиль смотрел на царя с отвращением и гневом. Так вот каков этот «брат», а потом соперник Бонапарта, метавшийся по своей стране, как мечется рыба с порванным плавательным пузырем!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вскоре после переезда в Петрозаводск Лонсевиль был вызван к начальнику завода, обер-берггауптману[1] англичанину Адаму Армстронгу.

Стояла осень. Черные реки — Неглинка и Лососинка — проносили через город желтые березовые листья и нагромождали их в пышные кучи около зеленых от гнили плотин.

Столбы тусклого пламени из доменных печей озаряли по ночам мертвый город, и в освещении этом он чудился Лонсевилю бредом. Зарево выхватывало из кромешной темноты куски незнакомой и угнетавшей Лонсевиля жизни: страшные усы будочника, поломанные мосты, мокрый нос пьяного, оравшего песню: «Не знаешь, мать, как сердцу больно, не знаешь горя ты мово», обрывки афишек, извещавших, что в знак посещения завода государем с рабочих будут отчислять по две ко-

---

[1] Обер-берггауптман — высший чин инженера по горному делу в XVIII веке. *(Здесь и далее подстрочные примечания принадлежат автору.)*

пейки с заработанного рубля на сооружение церкви в слободе Голиковке.

Армстронг жил в губернаторском доме, построенном двумя полукружьями по обочинам площади, заросшей травой. Дом был благороден и прекрасен, как и все творения зодчего Растрелли.

Лонсевиль долго не мог припомнить, в каком городе он видел подобное здание. Потом вспомнил и улыбнулся. Конечно, в Веймаре, куда они входили июньским утром. Как можно забыть запах воды и лип и росу, падавшую с ветвей на сукно серых мундиров! Как можно забыть дым жаровен и золотую пену — ее приходилось с силой сдувать с тяжелых пивных кружек! Как можно забыть дом Гете, где в тишине, среди бальзаминов, рождались мысли, волновавшие лучшие умы Европы!

Воспоминание о Веймаре являлось, пожалуй, последней вспышкой детского бонапартизма. Портрет императора был потерян во время отступления, и новые мысли волновали Лонсевиля — мысли об удивительной стране, где он находился.

Армстронг принял Лонсевиля в темном кабинете, загроможденном, как старая кузница, образцами изделий завода — ядрами, кандалами, гирями и моделями пушек.

Армстронг был толст и сумрачен. Губы его подергивались неопределенной усмешкой.

Разговор пришлось вести через старичка-переводчика, гувернера детей Армстронга,— англичанин плохо знал французский язык.

— Я докладывал императору о вас,— пролаял Армстронг, не глядя на Лонсевиля.— Его величество повелел оставить вас на заводе до окончания войны и, буде вы покажете старания и опыт в своем деле, заключить с вами контракт на работу в дальнейшем. Вы назначаетесь в литейную мастерскую помощником пушечного мастера Кларка.

— Я пленный,— горячо ответил Лонсевиль.— До окончания войны я принужден жить и работать здесь, но ничто в дальнейшем не заставит меня остаться в этой жестокой стране.

Армстронг поднял темные веки и тяжело взглянул на Лонсевиля. Тот невольно отвернулся. Все в этом англичанине — вплоть до припухлых век и редких бакенбард — казалось отлитым из чугуна. С чугунной усмешкой Армстронг порылся в ящике стола, вынул горсть мелких бляшек и разложил их перед собой.

— Последствия свободы, равенства и братства столь очевидны и отвратительны,— сказал он, перебирая бляшки,— что жестокость необходима. Вы — джентльмен, и я хочу говорить с вами свободно. Россию можно назвать страной не столь жестокой, сколь несчастной. Беззаконие господствует сверху донизу — от приближенных венценосца до последнего городничего. Вот небольшой тому пример: в разгар войны, когда ядра были нужнее хлеба, я получил приказ изготовлять в числе

прочих вещей железные пуговицы с гербами всех губерний Российской империи.

Армстронг придвинул бляшки Лонсевилю. Рука его тяжело прошла по столу, точно он толкал стальную отливку.

Лонсевиль рассеянно взглянул на пуговицы с орлами, секирами и летящими на чугунных крылышках архистратигами и потер лоб,— разговор с англичанином раздражал его и вызывал утомление. Этим утром в литейном цехе он видел обнаженного до пояса старика рабочего, со спиной, исполосованной синими шрамами.

То были следы порки.

— Вы — британец. Вы — сын страны, кричащей на всех перекрестках об уважении к человеку,— Лонсевиль взглянул на крутой лоб Армстронга,— как можете вы терпеть порку?

Армстронг встал, давая понять, что разговор, принявший острый характер, окончен.

— Мне нет дела до чужих законов,— промолвил он сухо.— Я думаю, что в армии Бонапарта тоже было принято хлестать плетьми лошадей, чтобы заставить работать, а не кормить их сахаром. Мой знаменитый предшественник, начальник завода, шотландский инженер и кавалер Гаскойн, потребовал у царского правительства полной независимости от русских властей. Только благодаря этому он создал завод и ввел самый удобный карронский способ литья чугуна[1] в воздушных печах.

Армстронг проводил Лонсевиля до дверей кабинета и пригласил в ближайшее воскресенье к себе на бал. Балы Армстронга славились по Олонецкому краю обилием еды, пышностью и скукой.

Лонсевиль вышел. Ветер с Онежского озера доносил запах мокрой сосновой коры. По черной озерной воде плавала мертвая карта северного звездного неба.

Только к рассвету, когда озеро покрылось редкими хлопьями чаек и рыбачьих парусов, Лонсевиль уснул. Тоска по Франции, по ветру с Альп мучила его в эту ночь с особой силой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гувернера детей Армстронга звали Филипп Бараль. Он был француз, родом из Эльзаса. Подружившись с Лонсевилем, старичок выболтал ему невеселую историю своей жизни.

В 1765 году его старший брат, негоциант, получил от императрицы Екатерины разрешение возвести на месте закрытого чугунолитейного завода в Петрозаводске, построенного еще при Петре, небольшую жестяную фабрику. Брат вызвал Филиппа из Эльзаса и поручил ему вести счетоводство. Фабрика изго-

---

[1] Карронский способ литья чугуна — плавка руды горячим воздухом. Впервые был введен на Карронском литейном заводе в Шотландии.

товляла из сибирской руды жестяную посуду, серпы, наперстки и стальные кирасы.

Бараль с восхищением вспоминал парады кирасирских полков в Петербурге в новеньких баралевских кирасах.

— Мы зажгли на этой холодной стали солнце Прованса! — кричал он пронзительно, как все глуховатые люди, и утирал остренький нос коричневым платком.

Через несколько лет фабрика пришла в упадок: русское правительство отказалось отпускать Баралю сибирскую руду. Бараль-старший вернулся во Францию, где был убит во время революции. Бараль-младший остался распродавать фабричное имущество. Связь с Францией была потеряна, и старик поступил конторщиком на Александровский завод. В то время его восстанавливали, и адмирал Грейг привез на завод из Шотландии множество инженеров, мастеров и художников во главе с кавалером Гаскойном.

Гаскойн умер несколько лет назад, но до сих пор Бараль с ужасом вспоминал этого «бесноватого англичанина». По его словам, Гаскойн был груб, жаден и нетерпим. Не было такого порока, которого бы старик не приписал Гаскойну. Он даже считал его виновником своей глухоты. Помилуйте, разве можно производить такие дикие пробы новых пушек, какие придумал Гаскойн?!

Пробы эти назывались «тягчайшим аглицким коронным испытанием». В пушку забивали порох, пыжи и пять ядер — последнее ядро торчало из дула — и стреляли, полагаясь на милосердие святой девы. Иные пушки разлетались в куски. Во время одного из взрывов погибло трое рабочих, а Бараль оглох на левое ухо. И во всем этом был виноват Гаскойн.

Лонсевиль заинтересовался Гаскойном. Имя его повторялось на заводе непрестанно.

Болтовне пустого и раздражительного гувернера Лонсевиль доверял очень мало, особенно после того, как узнал, что Бараль — роялист. Когда пришло известие о битве при Ватерлоо, в страшный день падения Бонапарта, Бараль устроил для себя праздник. Он надел шелковый камзол, кружевной галстук с вышитыми серебром королевскими лилиями и пошел гулять на набережную. Он постукивал палкой по мшистым валунам и размышлял о плеяде Людовиков, создавших из Франции рай для легкомысленных вельмож и прелестных женщин.

Если бы Лонсевиль не был артиллерийским инженером, он занялся бы составлением биографий замечательных людей. Любимой его книгой всегда оставался Плутарх.

Лонсевиль любил распутывать историю чужих существований, как клубок свалявшихся ниток. Он справедливо считал, что нет ни одной, даже самой ничтожной, человеческой жизни, где не отражалась бы эпоха, то блистательная, то грубая и жестокая, как империя Александра.

Склонность Лонсевиля к изучению биографий вызывала сим-

патии к нему среди окружающих. Следуя своему влечению, Лонсевиль любил беседовать с людьми различных общественных ступеней и молча выслушивать исповеди, давая каждому право считать себя его мимолетным другом и наперсником. В свободные часы Лонсевиль думал над всем услышанным, и лицо его приобретало холодное и острое выражение. Он совсем не был так человеколюбив без разбора, как то могло показаться на первый взгляд.

На Александровском заводе из трех занимавших его людей — Гаскойна, квартирного хозяина, литейщика Мартынова, и чернорабочего, старика Костыля,— Лонсевилю удалось узнать кое-что лишь о Гаскойне и Мартынове. От Костыля Лонсевиль ничего не мог добиться.

На лбу и щеках у Костыля были выжжены три буквы: В, О и З. В ответ на расспросы Лонсевиля Костыль поглядывал испуганно и дико.

Мартынов же побаивался посвятить Лонсевиля в тайну Костыля, мало пока доверяя французскому офицеру.

Гаскойн оказался совсем не таким, каким он чудился жалкому гувернеру. Этот спокойный светлоглазый шотландец был по натуре реформатором и воротилой-дельцом. Он создавал на развалинах Петровского завода лучший пушечный завод в России, названный Александровским. Он ввел карронский способ литья в воздушных печах и начал работать на английском угле.

Он добился больших прав и не терпел ни малейшего вмешательства в дела завода. Он холодно третировал немудрых олонецких губернаторов и окружил себя армией соотечественников — англичан. Он потребовал для себя две тысячи пятьсот фунтов стерлингов в год и крупной доли из прибылей завода. Берг-коллегия[1] согласилась. Гаскойн стал неограниченным правителем завода и почти всего Олонецкого края.

Доходы завода росли с неслыханной быстротой. Это объяснялось просто. Гаскойн ввёл много новых производств, а рабочим платил нищенские деньги — от двадцати пяти до ста рублей в год.

Бараль подарил Лонсевилю отлитый из чугуна тончайшей работы барельеф — «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Литье это было исполнено по распоряжению Гаскойна. Лонсевиль повесил барельеф над койкой. Разглядывая его, он вспоминал фрески итальянских церквей, как бы просвечивавшие через мутную воду.

Лонсевиль всегда чувствовал склонность к архитектуре и считал, что единственное свойство, достойное уважения в «бесноватом англичанине»,— его любовь к литью барельефов, бюстов, балюстрад и садовых решеток.

---

[1] Берг-коллегия — ведомство, управляющее горной промышленностью в XVIII веке; была учреждена Петром I.

Но Гаскойн относился к художественному литью как к забаве и отдыху. Он начал изготовлять на Александровском заводе земледельческие и прядильные машины и отлил огненную (паровую) машину для Воицкого золотого рудника. Это было настоящее дело, достойное английского инженера. Серьезные работы задерживались из-за пустяков: от Гаскойна требовали отливки садовых скамеек, перил для петербургских дворцов и бронзовых ваз для дворцовых парков.

Гаскойн пожимал плечами, соглашался: «Ну что ж, рабская страна взамен машин требует украшений — будем ее украшать!»

То было время, когда великие зодчие — Растрелли, Кваренги, Камерон и Воронихин — создавали каменный величественный ансамбль императорской России. Его густо обкуривал нищий дым деревень. Порфир блестел над Невой, как бы омытый слезами безвестных строителей. Россия боязливо кряхтела, скрывая под отрепьями сизые рубцы от плетей. Блистательные фейерверки взлетали над навозом крепостных погостов, и огненный вензель императрицы — громадная буква *Е* — высовывал насмешливый язык в ответ на проклятья.

Гаскойн добросовестно отливал цветочные вазы, дельфинов и нимф, бюсты Павла с вздернутыми ноздрями и кандалы для каторжан. Вазы принимались по внешнему виду, кандалы — по звону. Лучшими считали те, что звенели от малейшего прикосновения.

Но главной работой была отливка морских пушек, лафетов, бомб, гранат и брандкугелей. Принимать их приезжали чины адмиралтейства — очень схожие друг с другом красноносые старички, пившие в изобилии наливки и нечистые на руку.

Пушки принимали на глаз, грузили на баржи-галиоты и отправляли в Кронштадт.

Незадолго до смерти Гаскойн был назначен директором Кронштадтского и Луганского пушечных заводов. Он приобрел облик русского вельможи: стал ленив, тяжеловат, грубо шутил, толкал палкой в затылок ямщиков и ходил по заводу в халате. Воспоминания о туманной Шотландии, о танцах под звуки волынки, песнях Оссиана и реках, полных форели, приходили к Гаскойну все реже. Только по старой привычке он изредка вздыхал и приговаривал:

— Чу́дно живется в веселом городке Эдинбурге!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лонсевиль не любил англичан и всего английского. Завод работал на английской глине и английском угле. Только руда шла местная, озерная, но в ней было столько воды, что в доменных печах постоянно случались взрывы.

Лонсевиль решил заменить английскую глину олонецкой. Говорили, что на южном берегу озера, около Вытегры, есть

превосходная глина, годная для литейного дела. Лонсевиль получил разрешение от Армстронга поехать в Вытегру. Он взял с собой Мартынова и четырех чиновников заводской конторы.

Три дня они плыли по свинцовому озеру. Изредка оно серебрилось от ряби. Стояло бабье лето. Лонсевиль читал Плутарха и Руссо и беседовал с Мартыновым, коверкая русские слова. Чиновники пили водку. Они условились пить, не произнося самого слова «водка». Каждое утро начинался один и тот же разговор.

— Не плохо бы, а? — спрашивал один из чиновников.

— Да, не вредно бы,— отзывался другой.

— Пожалуй, стоит, как полагаешь?

— Так в чем дело? Я сбегаю в каюту и принесу.

Днем чиновники, напившись, спали на палубе и храпели так, что Лонсевиль не находил себе места. Матросы пинали их сапогами и грозились выбросить в воду. Матросы были раскольники из «поморского согласия» и не потребляли ни водки, ни табаку.

Шкипер, тощий мужик с ястребиными глазами, тяжело икал и хватался за низ живота. Он рассказал Лонсевилю, что у него «вывалилась кишка», и случилось это все из-за того же «подлого англичанина» Гаскойна. Гаскойн отлил несколько икон из чугуна весом по пяти пудов. Шкипер пытался один поднять такую икону во время крестного хода, но в животе лопнула таинственная «жила» и «хряснул мосолок».

На корабле Лонсевиль написал письмо Марии Трините:

«Дорогой друг, я не решаюсь просить вас приехать сюда хотя бы на месяц. Разрешение вы могли бы получить у русского посланника в Париже, но дорога утомительна и угрюма. Я не хочу подвергать ваше воображение столь тяжким испытаниям.

До сих пор я живу подобно пленному и знаю, что отсюда меня не выпустят. Начальник завода англичанин Армстронг в ответ на мою просьбу отпустить меня во Францию рассказал много интересных подробностей о Шлиссельбургской тюрьме, находящейся невдалеке отсюда. Туда царь заточает людей на всю жизнь, и имена их раньше смерти заносятся в списки мертвых.

Я устал. Я часто болею лихорадкой.

Любовь моя к вам прошла ряд тяжких испытаний в ошибках, сражениях и одиночестве. Я берегу ее как последнее ощущение юности. Прошло два года, но я не имею никаких известий от вас».

В Вытегре остановились в подворье женского монастыря. Пахло кислым хлебом и болиголовом. На горах белели церкви и березы. У плотин шумела зеленая вода. Монахини-белички с черным флером, свисавшим до пят, семенили по дорожкам и

опускали перед Лонсевилем глаза. Их пухлые щеки покрывала больная монастырская бледность.

В Вытегре Лонсевиль купался вместе с чиновниками и Мартыновым. Когда чиновники разделись, Лонсевиль вздрогнул от отвращения: на их ягодицах синели тонкие злые шрамы.

— Неужто в России бьют плетьми даже чиновников? — спросил Лонсевиль Мартынова.

— Да ведь они заводские чиновники, сироты,— ответил Мартынов равнодушно.— К нам на завод привозят сирот из Рязани и Тулы, учат счету и письму, потом они и служат здесь до самой смерти. У нас почитай вся контора из сирот. Их, конечно, порют: они не дворяне.

В нескольких верстах от Вытегры Лонсевиль нашел глину. Чиновники были оставлены для добычи глины и отправки ее на завод. Лонсевиль же с Мартыновым выехали обратно в Петрозаводск.

Опять на озере стояло безветрие, и солнце погружалось в серый пепел туч. Лонсевиля трепала жестокая лихорадка. Мартынов сидел рядом с Лонсевилем и вполголоса рассказывал о своей жизни.

— Меня тоже секли, ваше высокородие. Дали мне пятьдесят ударов. Год хворал, все нутро рудой запеклось. Пороли меня за нашего деревенского попа. Пьяница-поп, охальник-поп всю деревню держал в трепете.

Работал я в тогдашнее время на заводе шишельником[1]. Сталь мы делали знаменитую, даже в Англию ее отсылали. При царице Екатерине приезжали за этой сталью аглицкие морские офицеры. Солидные, бело-русые, в синих тонких камзолах, при серебряных шпагах.

Работали мы круглый год без отдыха. Только на рождество да на пасху давали нам на неделю выход. Платили, милок, плохо, как и сейчас платят. Мне назначили сорок рублей серебром в год да на малых ребят по двадцать рублей в год,— у меня их двое. Считай, восемьдесять рублей.

Повиновение у нас на заводе военное. Шагнул не так — получай вычет. Аккуратно надо было себя держать. Особливо с аглицкими мастерами. Вы — человек французского звания, доходчивый к простому народу,— вам не обидно такие слова слышать.

Приехал я как-то на пасху и слышу — поп похваляется по деревне, что женку мою себе забрал. Встретил я его пьяного и плюнул в рыжее рыло. Он — в кулаки. Я, как замечаете, был парень крепкий. Пришлось попу плохо.

Взяли меня в наручники, привезли на завод, судили. И вышла во время суда такая история, ваше высокородие, что почитай по всей Руси другой такой не было.

Суд у нас помещался в губернаторском доме,— сгорел теперь

---

[1] **Шишельник** — рабочий, изготовляющий из глины формы для литья.

тот дом,— а рядом через прихожую жил и сам губернатор, его превосходительство господин Державин. Гимны писал, но человек был тихий. Завел он себе медвежонка по имени Яша.

Судят меня. Поговорили то да се. Поп на суде сидит трезвый и кроткий, как овца, только волос рыжий злым огнем горит. Начали читать приговор, и вдруг — шасть — медвежонок в присутственный зал вкатился, прямо к столу. Схватил лапами красное сукно и со всеми делами, и стаканами, и колокольчиками, и чернильницами — грох на пол. Зачал рвать на мелкие части. Рычит. Зерцало разбил. Писарю руку окровенил. Едва солдаты Яшу поймали.

Судьи объявили: поелику зерцало разбито неосмысленным зверем, приговор силу теряет, и надо, мол, судить сызнова, а на господина Державина послать жалобу в Санкт-Петербург.

Пошло дело в сенат, потом к самой императрице, и повелела она дать мне без всякого суда пятьдесят плетей, а медвежонка того убить.

Однако отсидел я в остроге, дожидаясь царской милости, лишний годок. Да до суда отсидел год пять месяцев. Вот и сочтите, ваше высокородие, сколько выйдет. Ежели правду сказать, то доля моя счастливая. Иные прочие, дожидаясь суда, по десять лет гниют в цепях да в царских ямах. Ко времени суда никакой вины не остается. Вся вина в воздух уходит, и остаются от человека одни вши да смрад.

Рассвет зеленел над туманным озером. На далеком берегу горели костры. Над ними переливалась блеском ключевой воды утренняя звезда Венера.

— Судьбина наша чугунная, а сами мы царские да барские,— промолвил Мартынов.— И вам назначено царской волей помереть на Александровском заводе.

Лонсевиль глухо застонал. Ему приснился фрегат, быстро резавший мутные волны.

В каюте капитана блестел лакированный ларец. В нем лежал пакет — письмо от Марии.

— Зачем вы отправили письмо морем? — спросил Лонсевиль и открыл глаза.

— А-а-ай, а-а-ай! — кричали над ним испуганные чайки. На лбу выступила обильная испарина.

Мартынов отошел на цыпочках и сел покурить у борта. Озеро уже шумело. Начиналась предрассветная качка.

— Судьбина наша чугунная,— пробормотал Мартынов,— и конца ей никак не сыщешь. Вот, милок француз, ваше высокородие, какие наши дела.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Балы у Армстронга поражали Лонсевиля не меньше, чем порка. То были длинные и вялые балы, где надоевшие друг другу люди приправляли провинциальную скуку жареной мед-

вежатиной и острой сплетней. Балы устраивались по любому поводу. На этот раз балом было ознаменовано открытие на заводе мастерских для сверления пушечных жерл по английскому способу.

В официальной переписке новые мастерские назывались «свирелленными», рабочие же звали их попросту «свирельными». Четыре исполинских сверла, вращаемых водой, медленно врезались в пушечные стволы. Работа в «свирельных» мастерских почиталась самой тяжелой. Было трудно почти на глаз, без точных приборов, определить середину ствола и просверлить его до назначенного предела.

В день пуска мастерских на Абрамовском мосту по наущению городничего устроили кулачный бой. Голиковка вышла стенкой на Гористую улицу. Рабочие дрались с купеческими молодцами.

Дым слоился над крышами, закрывая угрюмое солнце.

Посмотреть на бой пришли даже англичане. Русские способы праздновать технические победы казались им занимательными. Но бой начался вяло и разгорелся лишь к темноте, когда гости не могли видеть крови, разъедавшей красными проталинами истоптанный снег.

Победили купеческие молодцы. Рабочие дрались неохотно, лишь бы не ссориться с начальством, пожелавшим отпраздновать пуск новых машин крупным «кулачным делом».

Лонсевиль подошел близко и видел кровь. Он видел сизое от сокрушительных ударов лицо молотобойца Степана, слышал, как выл, катаясь по снегу, десятилетний мальчишка. Мартынов, пытаясь успокоить Лонсевиля, объяснял, что мальчишку нечаянно ударили «под душу», мучиться он будет недолго и вскорости отойдет.

На бал Лонсевиль приехал бледный от неизлитого раздражения.

Чиновники губернских учреждений совместно с женами ставили любительский спектакль. Шла опера под названием «Олонецкая русалка».

То была грубая пародия на «Энеиду», сплошная дичь, усилившая раздражение Лонсевиля. Карфагенские министры пили романеечку, а Дидона плясала «барыню», помахивая платочком. При этом она визгливо пела:

В нашем зеленом саду
Девка рвала лебеду.
Она рвала,
В фартук клала,
Приговаривала.

Припев подхватывали все карфагенские министры:

Кому тошно по нам,
Тот пускай придет сам.
Кому хочется,
Тот сволочится.

Зрители искренне хлопали в ладоши, но после спектакля Лонсевиль слышал, как седовласый толстяк, держа за пуговицу губернера Бараля, громко возмущался, называя оперу якобинской.

— Что означает сия пьеска? — Старик задыхался и поводил желтыми глазами, будто ожидая сочувствия от потемневших портретов. Лицо его вздрагивало при каждом треске нагоравших свечей.— Министры возносятся друг перед другом своей сонливостью и выражаются самыми подлыми речами, как они спокойно почивают при воплях подданных. Не есть ли это самая колкая критика на министерства?

Лонсевиль отошел. Казалось, скука воплотилась в чад свечей и мерцание грубой позолоты приземистых и жарких зал. Декабрьская ночь черным камнем давила на сердце.

«Опять лихорадка»,— подумал Лонсевиль и вытер лоб холодным белоснежным платком.

Но испарина не проходила.

— Где я? — спросил Лонсевиль почти вслух. По привычке одиноких людей он часто говорил сам с собой.— Откуда столько пьяных англичан и русских? Какая тяжелая ночь! Как болит голова от дыма канделябров и сладкой вони жареных уток! Сейчас я должен уйти.

Он оглянулся на залы, откуда доносило тошный запах пачулей.

— Ах, не то, не то! — поморщился Лонсевиль и пошел к выходу.

Кровь! Он видел ее очень много в боях, еще во время революции. То была чистая артериальная кровь. На политой ею земле, как говорила ему мать, расцветают гвоздики. То была кровь борьбы, кровь изорванных в клочья, но победоносных армий санкюлотов, кровь Марсельезы, высыхающая мгновенно от палящих пожаров. Наконец, то была благородная кровь мщения. А здесь? Здесь он видел густую венозную кровь унижений, порок, драк в угоду начальству.

А балы? Как еще памятны балы Гренобля, где девушки прикалывали к корсажам букеты полевых ромашек, а легкое вино, выпитое за счастье товарищей, напоминало по цвету солнечный день.

У выхода Лонсевиля задержал секретарь Армстронга Юрий Ларин. С живостью двадцатилетнего юноши он взял Лонсевиля под руку и мягко, но сильно повел обратно к столу, болтая без умолку. Ларин говорил шепотом, глаза его блестели.

— Ну, какова пьеса? Это наше общее сочинение, наша посильная сатира на министерства. Не правда ли, забавно? Великая революция владеет умами и находит отклик даже в таких медвежьих углах, как наш завод.

Лицо Лонсевиля покрылось бледностью. Они подошли к столу, где, погромыхивая креслами, рассаживалась к ужину петрозаводская знать.

— Сударь,— сказал Лонсевиль,— вы позволяете себе ос

корблять великую революцию моей родины, считая жалкую эту пьеску детищем революционных идей. Вы не знаете революции. Ее дыхание кроваво и беспощадно. Я благодарен небу за то, что был ее участником и очевидцем. Вы, полагающие себя чуть ли не монтаньярами, знаете ли вы, что в новых английских машинах, пущенных сегодня на заводе, в тысячу крат больше революционного пороху, чем в десятке таких глуповатых спектаклей?

Лонсевиль сознавал, что мысли его не совсем ясны от начинавшейся лихорадки. Во время горячечных припадков он начинал плохо видеть и слышать. Иначе он заметил бы тяжелую и грозную тишину, воцарившуюся в зале. Иначе он увидел бы рядом с собой голубую ленту губернаторского мундира и шелковый камзол гувернера Бараля.

— Чем вы ознаменовали начало работ новых машин? — продолжал Лонсевиль. — Кулачным боем и балом, где лишь глупость и жирная пища вызывают веселье гостей. Сегодня я узнал, что в здешнем суде лежит три тысячи нерассмотренных дел. Остроги переполнены. На заводе секут плетьми рабочих. Все это требует жесточайшего конца.

Лонсевиль остановился, пытаясь собрать разбегавшиеся мысли. Треск свечей походил на отдаленную ружейную пальбу.

— Если вы располагаете временем и охотой,— Лонсевиль слегка поклонился Ларину,— я готов в свободное время подробно посвятить вас в ход революции. Тогда вы поймете ее истинные задачи и способы осуществления.

Лонсевиль вышел. Губернатор взглядом подозвал адъютанта и промолвил, почти не шевеля губами:

— Надлежит немедленно поставить в известность канцелярию его величества.

Звон шпор подтвердил, что приказ услышан и будет исполнен.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В конце зимы на завод приехал принимать пушки величественный генерал Ламсдорф.

Мартынов рассказал Лонсевилю, что этот генерал, будучи еще молоденьким офицером, участвовал в подавлении восстания крестьян, приписанных к Александровскому заводу.

Восстание? Это звучало неправдоподобно. Полно, не горячечный ли это сон олонецких пустошей?

Неверие Лонсевиля раздосадовало Мартынова. Он посвятил француза в историю мятежа, длившегося три года.

Народное возмущение! Что может быть благодарнее этой темы для исследователя, каким был по натуре Лонсевиль?

С некоторых пор Лонсевиль переживал странное ощущение времени — оно как бы ускорило свой бег. Эпохи сменяли друг друга, подобно картинам, освещенным короткими вспышками

молний. Будущее, порожденное прошедшим, надвигалось с неясным гулом, а прошедшее таяло безвозвратно.

Лонсевиль решил записывать, хотя бы наспех, все, что касалось переплетения эпох, на переломе которых ему суждено было жить.

Первый толчок к записям дала встреча Ламсдорфа с Костылем.

На пробе пушек присутствовало все заводское начальство. Падал пухлый и теплый мартовский снег. Он был настолько непрочен, что от самого ничтожного звука — от удара кувалды по наковальне и великопостного звона колоколов — слетал с деревьев и падал хлопьями на серые плащи офицеров. Костыль был приставлен сметать снег с бронзовых орудийных стволов. Вензель императора Александра блестел на них самоварной медью.

Ламсдорф пристально взглянул на Костыля и сделал знак, чтобы тот подошел.

Генеральские баки и глаза ничем не отличались от цвета пасмурного неба. Костыль понуро стоял перед Ламсдорфом и смотрел на острые носки генеральских сапог. По привычке ему хотелось нагнуться и смахнуть пыль с черного лака.

Ламсдорф шагнул к Костылю, величественным жестом выпростал руку из-под плаща — золотое шитье мундира тускло блеснуло в глаза окружающим — и сдернул с Костыля шапку. Армстронг поморщился: он ждал грубой вспышки генеральского гнева на непочтительного холопа. Но Ламсдорф улыбнулся сухими губами и спросил:

— Меня знаешь?

— Как не знать, знаю.— Костыль поглядел на шапку: генерал бросил ее в снег около орудий.

— Вот, государи мои,— Ламсдорф положил на голову Костыля тяжелую руку в кожаной перчатке,— вот пример подлинного монаршего благоволения к заблудшим подданным. Глядите сюда.

Ламсдорф взял Костыля за волосы, откинул его голову и медленно обвел пальцами шрамы на его щеках и лбу — клейма В, О и З.

— Сии знаки выжжены по приговору императорского сената.

Он поворачивал голову Костыля решительно и умело, точно показывал собравшимся ручного зверя. Костыль и вправду стал похож на ярмарочного медведя. Он топтался, глядя в снег, и багровая кровь неторопливо растекалась от его шеи к ушам.

— В Кижах был?

— Так точно, был,— тихо ответил Костыль.

— Климку Соболева помнишь?

— Запамятовал, ваша светлость.

— То-то, запамятовал!

Ламсдорф, забыв о том, что рука его крепко держит Костыля

за взъерошенные волосы, взглянул на почтительную толпу, окружавшую его, и медленно заговорил:

— Вот один из девяти тысяч мятежников, возмутившихся против императрицы Екатерины. Приписные к вашему заводу холопы, пользуясь дикостью окрестных лесов и отсутствием гарнизона, безнаказанно буйствовали три года, остановили завод и лишили государство оружия, потребного для войны с турками. Роте Зюдерманландского полка, в коем я служил в то время в малом чине, посчастливилось окружить мятежников в погосте Кижи и принудить к покорности орудийной пальбой. История сия поучительна. О ней надлежало бы рассказывать более пространно вечерком за фараоном и бутылкой рейнвейна.

Армстронг хмуро поклонился, выражая согласие на вечер с фараоном и бутылкой рейнвейна.

Ламсдорф вспомнил, что держит Костыля за волосы, оттолкнул его и отряхнул перчатки.

Торжественный и прямой, он двинулся вперед под унылый перезвон колоколов и шепот инженеров, поспешавших сзади.

Громыхнула первая пушка — началась проба. Солдаты стояли у лафетов, не смея шелохнуться. Талый снег щекотал их лица, капал с носов и стекал по рыжим усам на мокрые мундиры.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О приписных крестьянах Лонсевиль занес в свою тетрадь все, что удалось узнать от Мартынова.

При Петре I к заводу приписали крестьян Вытегрской, Белозерской, Олонецкой и Петрозаводской вотчин. Приписка означала худший вид рабства. Только лопарей, признанных царским правительством ни к чему не годными людишками, освободили от приписки. За это с них драли неслыханные налоги и взятки.

Приписные вместо подушной подати должны были работать на заводе. Расценка для них была в четыре раза меньше, чем для вольных.

Отработка подати требовала непосильного напряжения. Никто из приписных толком не знал расценок. Они менялись с хитрым расчетом, чтобы заставить крестьян работать круглый год, даже в горячую пору пахоты и жатвы.

Приписной получал примерно пять копеек в день. За этот пятак надо было пропитаться самому и задать корм коню.

Приписные возили лес, выжигали уголь, добывали руду, клали заводские здания и плотины, мяли глину и жгли известь.

Зачастую приписных гнали на завод за триста — четыреста верст для работы на два дня. Измываться над приписными вошло в обычай. Этим занимались все — от начальника завода до последнего рыластого писца.

Жалоб не слушали. В ответ на жалобы поминали первого

начальника завода голландца Генина[1], поровшего приписных, и грозили цепями и каторгой.

Зипунное горе настаивалось крепко, подобно кислому хлебу. От приписных за версту несло тоской и беспомощностью. Лошаденки их ходили в кровавых подтеках.

Жить было обидно и подло. И день и ночь над головой свистели батоги. И день и ночь — тоска бесконечных обозов с мокрыми бревнами, урчащие от голода животы, окрики. В 1769 году приписные восстали.

«Память моя ослабевает,— писал Лонсевиль в своей тетради. Метель свирепела над озером и выла в холодных боровах. Этот заунывный звук напоминал ему отдаленные сигналы трубачей к атаке.— Я в упор смотрю в глаза истории и замечаю, как быстро иссякает время великих общих дел. Вопреки этому даже здесь, в России, я переживаю одушевление, присущее смелым и свободным мыслям. Такое состояние напоминает предчувствие далекого рассвета, неизбежного и в этой стране.

Россия имеет свои способы возмущения, называемые бунтами. Примечательно, что поводом для бунтов весьма часто являются подлинные или подложные царские указы.

Пятьдесят лет назад императрица Екатерина подписала указ об увеличении подушной подати с крестьян на один рубль. Слух об этом с непостижимой быстротой дошел до деревень — раньше, чем фельдъегеря прискакали с указом в губернские города, и вызвал бунт, длившийся несколько лет.

Я убедился, что Россия живет ожиданием чуда. О чуде гнусаво бормочут монахини, оплакивая мертвых. О чуде возглашают в церквах спившиеся певчие. Чудо предсказывают нищие, чья одежда блестит от лампадного масла,— их здесь почитают святыми и называют странниками. Наконец, о чудесных капризах царей любят рассказывать старые солдаты, облысевшие от тяжелых париков.

Иногда я ловлю себя на глупой мысли, что действительно только чудо может спасти этих крестьян, скребущих липкую глину полей и хлебающих щи, столь же соленые, как слезы. Наивная вера в милосердие царя до сих пор существует в народе.

В России, так же как и всюду, царская воля получает осуществление в указах, написанных языком торжественным и непонятным.

Указов ждут, но, когда они появляются, их почти никто не читает — нет грамотных людей. Немногочисленным чтецам верят на слово и толкуют указы так, как желательно каждому.

---

[1] Генин в числе других иностранных инженеров и техников поступил на русскую службу при Петре I, был назначен начальником олонецких заводов, способствовал там большим техническим достижениям. Впоследствии был назначен Петром I начальником всех уральских заводов. Построил город Екатеринбург *(ныне Свердловск)*.

Когда был издан указ 1769 года, приписные решили, что царица отменила приписку и взамен работы на Александровском заводе можно вносить в государственное казначейство по семьдесят копеек с души.

Заводское начальство объявило, что царица отнюдь не отменяла приписку и, наоборот, впредь придется отрабатывать вдвое больше. Приписные этому не поверили. Впрочем, возможно, что и поверили, но прикинулись дурачками и упорно толковали указ по-своему.

Приписной Емельян Каллистратов поехал по вотчинам. Он собирал приписных и призывал их не выходить на работу.

Мартынов знавал Каллистратова. Насколько я понял его боязливый рассказ о восстании, Каллистратов был угрюмый и насмешливый мужик. Но он, как и многие в те времена, верил, что в золоченых залах дворца живет, подобно райской птице, нетленная и прекрасная правда, и только министры не дают ей дойти до народа.

На сходах Каллистратов кричал короткие и взволнованные речи. Он называл вельмож захребетниками (людьми, живущими на чужой шее), ругал приписных за робость последними словами и требовал отправки выборных людей в столицу.

Я не могу отказаться от искушения записать речь Каллистратова совершенно так, как передавал ее мне Мартынов:

«Работу кидай! Ни единого коня не ставить, ни единого бревна, ни единой меры руды! Правду спрятали от нас захребетники, как золотое колечко в навоз. Правду надо достать. Царица живет за семью дверьми. Министры и гвардия вокруг нее стенкой стоят. Стенку надо сломать, поднести челобитную,— пусть льется горе мужицкое к царским ногам. Гляди, какие мы. Гляди, чего с нами делают, с верноподданными, с людьми в державе твоей, богом хранимой. Обману положим конец! Правду взыщем. Министрам тем вырвут языки, сгноят их в Пелымских острогах[1]. За что сгноят, пытаешь? За бездолье твое, за раннюю твою смерть, вот за что. Терпежом всю жизнь жили, теперь от терпежа одни крохи остались».

По приписным вотчинам стоял гул. Гудел весь полуостров Заонежье, где начался бунт. Кричали люди, гудели набаты, сзывая крестьян на сходы, плакали от радости женщины. Работы на заводе остановились. Заводское начальство растерялось. Каллистратов с прошением за пазухой уехал в Петербург.

Он присылал оттуда короткие и радостные письма. Он ждал приема у царицы и требовал присылки в Петербург ста выборных крестьян, чтобы вместе с ними подать жалобу Екатерине.

«Чем боле будет нас, мужиков, — писал он, — тем боле горе мужицкое встрянет в глаза царице».

---

[1] Пелым — город в Западной Сибири, к северу от Тобольска; место ссылки в XVIII веке.

(Смысл слова «встрянет» мне никто не мог объяснить. Остается предположить, что это слово соответствует словам «вонзится», «вопьется» или хотя и имеет иное значение, но близко к указанным выше.)

Вскоре письма прекратились. По Заонежью прошел слух, что Каллистратова заковали в цепи и бросили в страшные подвалы Петропавловской крепости.

Слух скоро подтвердился. Подтвердил его сам Каллистратов, выпущенный из заключения.

Он приехал худой и пристыженный. Он снова созывал приписных и говорил, что из столицы едет чрезвычайная комиссия, назначенная царицей, и комиссия эта найдет наконец настоящую правду. Но Каллистратова слушали плохо. Воздух освобождения проветрил головы.

В деревне Кондопоге молодой парень крикнул Каллистратову дерзкие слова:

— Хорошо поет твоя царица, райская птица, только здорово гадит на голову. Что ж не показываешь языки, у министров отрезанные?

Каллистратов погрозил ему кулаком. Приписные зароптали:

— Ты не грози. Мы «кулаченные и перекулаченные». (Эти слова Лонсевиль написал по-русски.) Ты правду про царицу скажи. Много вас, царских угодников!

В июле 1770 года на Александровский завод действительно приехала чрезвычайная следственная комиссия.

По вотчинам разослали гонцов с приказом всем приписным выбрать старост и прислать на завод.

Тогда выступил новый главарь восстания, приписной Клим Соболев».

Он занимал Лонсевиля гораздо больше, чем угрюмый и неуравновешенный Каллистратов.

По словам Мартынова и Костыля, Соболев был весельчак и балагур. Он хорошо знал грамоту. Он составил от имени приписных заявление обо всех беззакониях и подал его председателю комиссии — беззубому и пышному вельможе, распространявшему сладкий запах ландышевых капель.

В заявлении в числе прочих обид было указано, что за последние сорок лет заводское начальство незаконно взыскало с приписных пятьсот тысяч рублей якобы неотработанных денег.

Это же подтвердили все старосты. Они излагали свои жалобы неясно и торопливо. Они стояли перед столом комиссии, как перед церковным аналоем, и дурели от могильного запаха ландышевых капель. Вельможа слушал, закрыв глаза. Когда он открывал их, что означало нежелание слушать дальше, секретарь обрывал допрашиваемого и вызывал следующего. Вельможа зевал и говорил добродушно:

— О-хо-хо! Сие совершенно верно, но польза государственная двулика, как бог Янус. Токмо таковым соображением надлежит комиссии руководствоваться. Понятно вам, государи мои?

Члены комиссии наклоняли головы в белоснежных столичных париках.

Опросив старост, комиссия уехала. Сенат, приславший комиссию, был обескуражен ее работой: вместо крутых мер беззубый вельможа — председатель комиссии — ограничился сонным докладом. Тогда на завод был послан генерал Лыкошин. Он, ознакомившись с делом, вызвал войска. Пока рота солдат и артиллерия под командой подпоручика Ламсдорфа двигалась к заводу, приписные по-прежнему не выходили на работу — ждали вестей из столицы.

Настало затишье, какое часто бывает в разгар народных волнений.

«Дальнейший ход событий не совсем ясен,— записал Лонсевиль. — Следует расспросить о нем не только Мартынова и Костыля, но и Ларина — в его руках находятся все документы, имеющие касательство к восстанию.

Отныне я пишу не биографию великого человека, как предполагал ранее, но биографию крестьянского возмущения».

На этом запись Лонсевиля обрывалась. Дальнейшие события не дали ему возможности закончить начатую работу по изучению мятежа приписных крестьян.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вечеринки у Юрия Ларина носили иногда таинственный характер. Собирались молодые чиновники губернских учреждений. Они играли в фараон, пели песни, пили водку и под шумок вели вольнодумные разговоры. Сборища эти получили наименование «парижского парламента».

Лонсевиль несколько раз бывал у Ларина, стремясь изучить русские нравы и получить новые сведения о Климе Соболеве и конце крестьянского восстания.

Особенно памятным для Лонсевиля был последний вечер, совпавший с приездом Ламсдорфа.

С утра шел снег, падавший густо и совершенно отвесно. В зимнем пейзаже господствовали две краски — серая и белая. Белой была земля, а серым и темным — небо. Поэтому свет, вопреки обычным законам, падал не с неба, а подымался с земли, что придавало редкую причудливость садам, превращенным инеем в гигантские кружевные видения, городу и лицам людей, освещенным снизу.

У Ларина пахло угаром, дымили шандалы, и собравшиеся молодые люди пели излюбленную песенку «парижского парламента»:

Наше вечное согласье
Нам подаст веселы дни.
Насадим народам счастье
Мира сладкого в тени.

На этот раз среди чиновников сидел грузный старик с бегающими глазами вора и льстивым голосом.

Он тер ноги, обутые в меховые сапоги, и охал.

— Вот осколок екатерининского века, бывший полковник Тарновский.— Ларин подвел Лонсевиля к старику. — Очевидец многих событий, вас интересующих. При императоре Павле он был сослан к нам на завод писарем, но до сих пор не получил помилования. Отсюда вы можете судить, как жестоки наши российские законы и как беспощадна Тайная экспедиция.

— За что вы сосланы? — спросил Лонсевиль.

«Явный мошенник»,— подумал он про себя и пожал плечами: неразборчивость Ларина начинала его удивлять.

— Я без водки рассказывать не согласен! — прокричал старец сипло и весело.

Лонсевиль пристально смотрел на Тарновского.

Фамилия эта всплывала в глубине памяти. Она была связана с чем-то давно забытым, от нее осталось одно только ощущение противности и смрада.

Наконец Лонсевиль вспомнил — да, эту фамилию он слышал в городе Кале, где сооружал помосты для погрузки пушек на корабли. Там ему рассказывали об английской авантюристке герцогине Кингстон, жившей в Кале, и об управителе ее имениями и водочными заводами в России полковнике Тарновском. Так вот кто сидел перед ним! Беседа обещала быть занимательной.

— Кстати,— промолвил Ларин,— вы осведомлялись о значении букв В, О и З, выжженных на лице у Костыля? Они составляют слово «Возмутитель».

— Это что! Холопам жгут лбы за дело,— пробормотал Тарновский.— А вот у герцогини Кингстон выжгли позорное клеймо на левой руке за двоемужество, и с тех пор она не могла носить бальных туалетов. То холоп, а то герцогиня несравненной красоты. Разницу постигаете?

Лонсевиль промолчал.

— Юрий Петрович сообщил мне, что вы, будучи историком, интересуетесь бунтом здешних холопов.— Тарновский икнул.— Ну что ж, история — вещь почтенная, хотя и малосовместимая со званием инженера. История — это я.— Старик ударил себя в грудь. Он заметно пьянел.— Я был управителем богатейшей женщины в Европе, затмившей блеском своих брильянтов императриц. Я привел из Лондона в Петербург корабль с картинами, подаренными матушке Екатерине герцогиней Кингстон. Целый фрегат, батенька, одних Рембрандтов. Мы пили чай на ящиках с творениями Рафаэля. Это надо понимать! В этом есть проявление широкой русской натуры!

Когда леди Кингстон прибыла в Петербург на собственной яхте, вся столица заполнила набережную и приветствовала красавицу криками и бросанием цветов. Леди Кингстон блистала на всех балах и, выражаясь фигурально, была летней

розой на всех зимних праздниках и парадах. А чего стоил тот зимний парад, когда холоп Клим Соболев, приписной к Александровскому заводу, подал царице челобитную... Стой, не мешай, дай рассказать по порядку. Я рассказчик отменный.

Было это зимой тысяча семьсот семидесятого года. Слышал я стороной о мятеже на заводе и о посылке следственной комиссии, но делом сим не интересовался.

Говаривали, что восстание стихло и что мятежники сидят, мол, и ждут царицына решения. Ждали, ждали, да заждалися. Прислали в столицу Соболева. День выдался морозный, золотой, солнце блистало, батенька мой, не хуже, чем сабли гвардейцев.

Старик выпил.

— Ты не гляди на меня, Юрий Петрович, точно я бродяга. Когда выпью, во мне поэзия возгорается. Недаром я Державину сказал обидные стишки:

За счастье поруки нету,
И чтоб твой свет светил нетленно свету,
Не бейся об заклад.

— А не тебе ли Державин сказал их? — спросил юноша в грязном малиновом фраке.

— Замолкни, птенец! Слушай, что будет. День был трескучий и снежный. Царица ехала в золоченой карете на полозьях, а за нею невдалеке следовала в открытых санях леди Кингстон.

Внезапно к карете императрицы подбежал молодой холоп в чистом армяке, пал на колени в снег и крикнул весело и требовательно: «Царица-матушка, примай челобитную на великие наши обиды!»

Царица подняла веки,— а надлежит помнить, что подымать их было трудно, ибо они тяжелели от сурьмы,— светлые ее глаза блеснули улыбкой. Улыбку ту она изучила в совершенстве и могла вызывать на устах в любое мгновение.

Лошади остановились. Граф Орлов подъехал к челобитчику. Я заметил, как в гневе тряслась, сжимая повод, его рука с синим родимым пятном на пальце. Признаться, я был напуган

«Ну, что ты? — спросила царица протяжно, что означало приветливость.— Подай сюда. Кто ты таков?»

Холоп, впоследствии оказавшийся Климом Соболевым, подполз на коленях, протягивая перед собой сложенную вчетверо бумагу.

На оную бумагу глядели все: и Екатерина, и Орлов, и герцогиня Кингстон, и шпалеры солдат, что застыли могучим покоем вокруг кареты матушки-царицы, и офицеры, вздымавшие к небу стальные клинки, и тысячное скопление горожан, пестревшее шелковыми салопами щеголих... Эх, пышность! — Старик потер ноги и помолчал.— Вот будто сейчас помню. Поверите ли, стало слышно, как скрипнул снег под ногой покачнув-

шегося солдата. Даже тяжко стало от безмолвия, пока Клим Соболев не крикнул хриплым голосом, ровно из могилы:

«Мы, мол, приписные твоего величества холопы с Александровского завода. Спаси, голубушка, от министров-собак!»

Тут точно ветер прошел по шеренгам солдат — штыки дрогнули. Орлов, натурально, смял челобитчика конем, и карета тронулась. Ударили барабаны, дабы заглушить крик Соболева, схваченного гвардейцами и связанного по рукам.

Дальнейшего я не видел, но рассказываю со слов приятеля — дворцового офицера. Будто поздней ночью прискакал от генерала Лыкошина фельдъегерь и привез донесение, в коем Лыкошин сообщал, что все Заонежье вооружилось и выступило против властей. Посланный отряд под начальством подпоручика Ламсдорфа мятежники привели в расстройство, Ламсдорф отступил к заводу. То было тогда, а сейчас — каким орлом глядит!

Говаривали, что императрица, получив донесение, отложила свою книгу под титлом «Опровержение аббата Дидерота», распорядилась послать Лыкошину подкрепление, дабы бунт прекратить немедленно, и притом добавила: «Народ — точно дети. Решив воспитать в нем добрые начала, его надлежит изредка сечь».

Лонсевиль, чтобы поощрить старика к рассказу, выпил с ним немного водки. Ее подавали в черных бутылках с надписью «Чудлейская мыза».

Рюмки покрылись потом. За окнами тлел закат, придавленный к снегам облачным небом. Галки кружились вокруг церковных крестов.

Вольнодумных разговоров никто не вел: опасались Тарновского и хотели поскорее его выпроводить. С минуты на минуту должен был приехать Ламсдорф в сопровождении Армстронга — игра в фараон была назначена у Ларина.

Тарновскому сунули в карман бутылку рому, и двое чиновников подняли и повели его домой. Остальные притихли, а кое-кто незаметно исчез: встреча с Ламсдорфом и Армстронгом не сулила удовольствия.

Лонсевиль собрался уходить, но вспомнил, что Ламсдорф обещал рассказать о восстании, и замешкался. Воспоминание о Кале неожиданно приобрело ясность,— ну конечно, он знает очень многое о леди Кингстон.

— Имя леди Кингстон,— сказал Лонсевиль, ни к кому не обращаясь,— является напоминанием об одной из самых удушливых и бесплодных эпох. Кстати, известно ли вам, что Александровский завод отливал статуи для ее дома в Петербурге? Но не в том дело. Будучи в Кале с армией Бонапарта, я слышал от обитателей этого города рассказы о герцогине Кингстон.

Весь город трепетал перед ней. Женщины осыпали ее цветами. Мэр приказал покрыть мостовую около ее дома соломой, дабы стук колес не тревожил покоя этой авантюристки и отравительницы. Она хотела поселиться в Кале навсегда.

Благосостояние города зависело от капризов надменной женщины. Ежели бы она стала гражданкой Кале, это обстоятельство сулило бы городу неслыханное благополучие: богатства Кингстон почитались баснословными. Богатства эти приобретались отравлениями, подлогами, спаиванием крестьян и дворцовыми интригами.

То было время, когда города преклонялись перед низостью, усыпанной алмазами. Что может быть позорнее этого зрелища! Что может быть позорнее почета, воздававшегося Кингстон всеми европейскими дворами! Она кричала на королей и била туфлей по лицу придворных дам.

Когда Кингстон находилась в гостях у польского князя Радзивилла, он сжег ей на потеху деревню со всем нищим скарбом своих крепостных. В пламени погибли дети. И все потому, что герцогине наскучили фейерверки непревзойденного пиротехника генерала Мелессино. Ей хотелось более величественного и жизненного зрелища.

Радзивилл устроил в честь герцогини ночную охоту на кабанов при свете факелов. Чтобы попасть на охоту, герцогиня ехала из Риги в Литву, и по всему ее пути согнали крестьян — жечь костры и застилать хворостом дороги. Однажды лошади понесли, и герцогиня едва не была убита перевернувшейся коляской. Вне себя от злобы, она выдумала гнусную историю, что некий холоп швырнул в коней горящей головешкой. Радзивилл приказал засечь двадцать крестьян. Кингстон наградила его за это одной из своих фальшивых улыбок.

Неужто мы можем забыть, что жизнь тысяч людей была отдана на произвол взбалмошных и злых куртизанок? Неужто мы можем без содрогания вспоминать черные времена абсолютизма?

Как примириться с тем, что Европе снова наступил на горло императорский каблук и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны?

Лонсевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу:

— Как он похож на Руже де Лиля!

Он настолько растерялся, что позабыл проводить Лонсевиля до дверей.

Лонсевиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег. В порывах ветра Лонсевиль улавливал похожий на рыданье и радостный крик напев отдаленной «Марсельезы». Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лонсевиль не слышал рассказа Ламсдорфа о подавлении восстания приписных крестьян.

Расспросив Ларина и двух смущенных юношей, присутствовавших при рассказе генерала, он составил ясную картину последних дней восстания.

Поздней осенью 1770 года Соболев бежал из арестного дома в Петербурге и появился в Великой Губе.

Лыкошин, предпочитавший отсиживаться на заводе в надежде, что восстание погаснет само по себе, получил из Петербурга приказ арестовать мятежника.

Лыкошин отправил в Великую Губу солдат, но мятежники разоружили их. Вернувшись, солдаты рассказывали, что крестьяне вооружены, кроме самопалов, рогатинами и пестами.

Лыкошин понял, что дальнейшее бездействие будет стоить чинов, орденов и даже свободы. Он двинул в гнездо восстания — деревню Кижи — крупные силы. После жестокого боя войска опять отступили. Ламсдорф донес, что мятежники идут сражаться, соблюдая все правила военного искусства. Когда солдаты подходили к Кижам, утопая в снегах, отряды лыжников-крестьян окружили их и нанесли сокрушительный удар с тыла.

Численность мятежников Ламсдорф определил в девять тысяч человек. Он высказал предположение, что во главе восставших стоит умелый и упорный руководитель.

— Климка Соболев, не иначе,— заметил Лыкошин, выслушав донесение.

К тому времени обстановка складывалась для Лыкошина благоприятно. В Москве началась чума, и Екатерина как бы забыла о мятеже в Олонецком крае. Можно было выждать еще малость, благо на заводе от безделья шла картежная игра и гремели балы.

Лыкошин во всем, кроме военных дел, был человеком азарта. То был полководец второго ранга, ленивый и хитроватый. Военной славе он предпочитал славу бальных зал, где блеск вышитого мундира не требовал изнурительной погони за наглым холопом.

Губернатор торопил Лыкошина. Он опасался, что в Заонежье воскресли нравы Великого Новгорода и крепнет крестьянская республика, грозящая всему краю жакерией.

— Полноте, ваше сиятельство,— отвечал благодушно Лыкошин,— вот снежок растает, тогда мы и подпалим зад у ваших новгородцев. Воины, как говаривал Юлий Цезарь, даже бездействуя, бывают ужасны врагам.

В начале лета 1771 года пришло известие о возмущении яицких казаков, и Лыкошин получил предписание, где было сказано:

«Поелику олонецкие мятежники могут обнадежиться пре-

ступным возмущением яицкого люда, надлежит их разбить тотчас же с силой и решимостью, не медля, подобно прежнему, и не боясь причинить огорчительность государыне великим пролитием мужицкой крови».

Тогда Лыкошин послал в Кижи с пехотой и артиллерией князя Урусова, Ламсдорфу он уже не доверял. Мятежники так привыкли к лености и бездеятельности войск, что допустили их войти в деревню и засели за церковной оградой.

Начались хитроумные переговоры о сдаче. Клим Соболев отвечал князю резко и весело. Урусов багровел от гнева, чувствуя, что этот смерд находчивее его, князя, чье острословие стало притчей игорных домов.

Дабы внести раздор в ряды мятежников, Урусов подослал к ним Каллистратова, окончательно раскаявшегося и перешедшего на сторону начальства. Мятежники Каллистратова избили и прогнали.

Воспользовавшись сумятицей с Каллистратовым, Урусов подвез пушки и навел их на церковный двор. Мятежники смеялись и показывали артиллеристам кукиши. В церкви шла беспрерывная служба — Соболев был уверен, что офицеры не решатся стрелять по храму во время богослужения. Он ждал предательства, но не допускал мысли о кощунстве,— такова была дикая логика екатерининских времен.

Урусов снял шляпу с плюмажем и махнул артиллеристам.

Ударил первый залп. Мятежники смешались. Раздались крики, брань, потом одиночные выстрелы.

— Картечь, картечь! — кричал в исступлении Урусов, и залпы били в упор, в толпу крестьян.

Три часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви и среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали щепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь, густая как слюна, капала в пыльную крапиву.

К вечеру мятежники сдались. Восемьдесят человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург.

Всем им, по приговору сената, вырвали ноздри, выжгли на лице знаки: на лбу букву В, на правой щеке — О, на левой — З, и погнали на каторгу в Пелым.

Клейма для знаков отлили на Александровском заводе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ранней весной Лонсевиль был арестован и отправлен под конвоем в Петербург.

Везли его небритые солдаты, охрипшие от бессонницы и водки. В возке было тесно. Угловатые тесаки били по ногам. От солдат несло сырым табачищем и потом. На ночлегах конвоиры били вшей, поили Лонсевиля жидким чаем и безо всякого

успеха любезничали со злыми хозяйками, пытаясь выклянчить у них вареной картошки и каши.

В Петербурге Лонсевиль был доставлен к начальнику жандармской команды.

Лонсевилю предъявили обвинение в распространении на Александровском заводе крайних мыслей, подрывающих устои империи.

— Я офицер французской армии.— Лонсевиль посмотрел в глаза жандармского генерала, напоминавшие по цвету спитой чай.— Я имею право высказывать любые мысли. Вам известно, что в вашей стране я нахожусь помимо своей воли. Неразумно требовать, чтобы человек, подчинившийся жестокой судьбе и живущий в обстановке враждебной, оправдывал варварство, столь же ему чуждое, как вам чужды идеи революции.

Лонсевиль замолчал. В кабинете стояла густая тишина. За высокими окнами, за туманом серенького денька во дворе казарм, желтых и величественных до скуки, глухо гремел барабан.

— Да, вы офицер, но бывшей армии Бонапарта,— язвительно ответил генерал, потер сапогами один о другой и вздрогнул от пронзительного скрипа голенищ. Лицо его передернула гримаса отвращения. Обдуманный ответ был сорван. Он вылетел из головы от этого омерзительного скрипа. Генерал никак не мог припомнить ответ и заключить его в полные изящества французские периоды. Он молчал. Молчание длилось так долго, что становилось тягостным и неприличным.

Лонсевиль сказал требовательно:

— Вы не можете карать меня, как подданного иностранной державы. Империя Бонапарта разгромлена. Война окончена. Лучшим исходом из неприятной истории было бы высочайшее разрешение вернуться мне во Францию.

Генерал поднял глаза от сапог. Хотелось поскорее избавиться от изможденного и скупого на слова французского офицера, пойти переменить сапоги и упечь в яму негодяя сапожника.

— Я представлю вашу просьбу на благоусмотрение императора.— Генерал встал, и сапоги, зацепившись один за другой, снова взвизгнули зло и оглушительно.

Лонсевиль посмотрел на ноги генерала. Тот покраснел и пробормотал быстро и резко:

— Вы свободны. Разрешительные бумаги будут вскорости высланы на Александровский завод, где вам надлежит их дожидаться.

Как передать чувство облегчения, охватившее Лонсевиля после этих слов? Оно было подобно порыву соленого ветра с моря. Сбегая по каменной, веющей холодом лестнице, Лонсевиль взглянул на себя в зеркало. Его глаза и волосы молодо блестели. Лонсевиль быстро накинул шинель и вышел на набережную.

Под мостами шуршал зернистый ладожский лед. Величие тумана, несшегося над гранитной столицей, напоминало океан,

берега Бискайского залива, где Лонсевиль провел часть детства.

У Лонсевиля в Петербурге не было друзей. Единственным знакомым был архитектор Воронихин, приезжавший на Александровский завод заказывать чугунные базы для колонн Казанского собора. Лонсевиль пошел к нему.

Перспектива величественного города разворачивалась перед ним, смягченная мглой. О чугунные решетки мостов и бронзовые плечи памятников ударялись капли дождя. Они падали с черных ветвей. Сады источали запах лежалой листвы, сбрызнутой спиртом.

Воронихина Лонсевиль застал за чертежной доской. Сухой и седоватый архитектор заканчивал постройку Казанского собора.

Обстоятельства встречи с Воронихиным Лонсевиль почти забыл, — от утомления у него началась лихорадка. Он запомнил лишь утреннюю прогулку по городу в сопровождении архитектора, рассказ Воронихина о своей жизни — здесь Лонсевиль в последний раз отдал дань склонности к изучению биографий,— строгие мосты и садовые решетки, украшавшие Петербург и изготовленные на Александровском заводе.

Они долго стояли у моста через Мойку, отлитого Гаскойном. Воронихин восхищался изгибом арки и обработкой мельчайших деталей, напоминавших нагромождение индийских плодов. Налет на перилах моста был зеленоват, как цвет петербургского воздуха.

Беседуя с Воронихиным, Лонсевиль вспомнил почему-то о Моцарте, Байроне, Гете, о всех людях, живших блистательно и мудро и возвеличивших эпоху своим неповторимым существованием.

Рассказ о жизни Воронихина, выслушанный Лонсевилем с величайшим вниманием, несколько примирил его с Россией. Прощаясь с архитектором, он даже почувствовал сожаление, что покидает эту страну. Он сравнивал ее с петербургскими туманами,— за грязной их пеленой нет-нет да и проглянет светлое золото адмиралтейской иглы.

Воронихин был крепостным графа Строганова, владетеля Пермского края. Архитектор родился в городе Усолье — диком и сером, как волчья шкура, окруженном болотами, лесами и соляными ва́рницами. Он прожил детство, ничем не отличное от детства других крестьянских детей.

В отрочестве способности к рисованию выделили его из среды неуклюжих и запуганных товарищей. Его послали в ученье. Он жил в Петербурге, Риме, Флоренции, и багряная итальянская осень, гравюры Пиранези[1] и мраморы Рима создали из курносого усольского мальчишки величайшего русского архитектора. Он научился воплощать в бронзе и граните чужие

---

[1] Пиранези — (1720—1778) — итальянский художник-гравер, прославившийся гравюрами, изображавшими архитектурные памятники Италии.

мысли о славе. Он строил величественный Казанский собор, точно невесомый на первый взгляд,— настолько соразмерны были его объемы.

Из Петербурга Лонсевиль уехал на рассвете холодного апрельского дня. В двух верстах от столицы, когда был еще виден шпиль адмиралтейства, возок застрял в грязи.

Грязь и нищета снова окружили Лонсевиля, сменив холодное великолепие петербургских проспектов.

Лонсевиль закутался в шинель, откинулся в глубину возка и уснул. Небо побрызгивало частым дождем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В селе Подпорожье, на Свири, жила знаменитая плакальщица, бабка Анфиса. Изба ее стояла над рекой. По реке несло онежский лед, громыхавший в каменных порогах. Конец апреля выпал жаркий. Березовые рощи качались в зеленом дыму маслянистых почек. Синий ветер раздувал по небу клочья облаков.

Рыжий ямщик Лихарев пришел к бабке с великой просьбой отпеть проезжего, умершего от горячки. Бабка накинула шаль и пошла на почтовую станцию.

Проезжий лежал в амбаре в длинном гробу, сколоченном из неструганых досок.

— Где же его хоронить-то? — спросила бабка.

— Да, надо быть, повезу на завод.

— А какой он веры?

— Французской. Больно строгий до себя человек. Надысь вызвал меня, сам чуть дышит. Письмо дал. Отправь, говорит, с завода на родину. Велел мне достать из баула значок военный, приколол его к вороту шинели, накрылся той самой шинелью и помер.

— Говорил чего?

— Да чего-то говорил не по-нашему. Смотрительша с им была.

Бабка Анфиса вошла в амбар, откинула платок с лица покойника и ахнула — до чего ж похож! Похож на сына Ивана, убитого на германской земле, вот как похож! Бабка обняла тело Лонсевиля, прижалась головой к медному значку на вороте серой шинели — номеру наполеоновского полка, где служил француз, — и запела звенящим томительным голосом.

Анфиса никогда не пела обыкновенных причитаний. Она их придумывала около каждого гроба, и почему-то каждый покойник был ей жалок и мил, как родной.

— Вот весна пришла, за окном стоит, а ты лежишь, соколик милый, ничего не надобно тебе — ни слезы материнской, ни жалости девичьей. Причалила ладья к последнему небесному плоту. Сам господь к тебе идет, сам господь подымает тебя — знает, помер на далекой сторонушке.

Лихарев утер армяком нос — больно жалостливо пела старуха.

— Горе великое ходило за тобой по земле. Сердце кровавое носил, боль сиротскую. Нешто можно жить одному на чужих глазах, помереть в пути да в распутицу?

Только три человека плакали над трупом инженера по литью пушек Шарля Лонсевиля — бабка Анфиса, ямщик и жена смотрителя почтовой станции, молодая приглядная женщина с насурмленными бровями.

Прощаясь, она поцеловала Лонсевиля в лоб, и крупная слеза упала на мертвое лицо и запуталась в ресницах.

Лихарев перекрестился, закрыл гроб крышкой и увязал мокрой веревкой.

В деревне Роп-ручей, вблизи Петрозаводска, тележку Лихарева остановили жандармы. Они отобрали у Лихарева все вещи Лонсевиля. Только письмо Лихарев скрыл у себя на груди.

Жандармы открыли гроб, осмотрели умершего и приказали Лихареву везти тело в Петрозаводск, на немецкое кладбище, да поменьше болтать в дороге. Лихарев повздыхал и поехал. Дорогой он выпил и беседовал со своим немым спутником, бахвалясь, что перехитрил жандармов и не отдал письма, за что будет ему, Лихареву, богатая мзда на небесах.

— Родимый,— бормотал Лихарев, икая на ухабах,— ты на меня надейся. Я все постигаю. В свой срок ты, видать, помер. Не в смерть бы я тебя завез, так в острог, а он, надо быть, горше смерти.

Через сутки тело Лонсевиля лежало в холодной часовне на немецком кладбище в Петрозаводске.

Письмо Лонсевиля Лихарев передал по начальству, и оно попало к Армстронгу.

Армстронг вызвал Бараля, запер кабинет на ключ, вскрыл пакет и потребовал перевести письмо на английский язык.

— Было бы недостойно джентльмена,— сказал он,— вскрывать частные письма, но мы имеем дело с человеком, заподозренным в якобинстве. Прямой долг повелевает мне узнать содержание пакета.

— Письмо на имя женщины... Марии Трините,— тихо промолвил Бараль.

— Все равно, читайте!

— «Я был арестован, отвезен в Петербург, но после допроса получил свободу и разрешение вернуться во Францию.

Впервые за годы сердечных лишений и одиночества я испытал ощущение полного счастья. Но напрасно. На обратном пути в Петрозаводск я заболел тягчайшей лихорадкой.

Я лежу на почтовой станции в деревне Подпорожье, в трех днях пути от Петербурга.

Не пугайтесь, если на этом листе вы найдете следы крови. Невежественный здешний лекарь поставил мне пиявки к вискам, и все лицо у меня залито кровью. Я очень слаб, часто впадаю в беспамятство. Я умру не позже чем ночью.

Я вспоминаю свою жизнь и заклинаю вас: любите память обо мне, иначе мысль о смерти становится невыносимой. Вы знаете, что я был честен, ненавидел рабство и варварство и любил свободу, мудрость и веселье. Всю глубину человеческого несчастья я узнал только в России на Александровском заводе.

Я бы вернулся во Францию иным — не офицером победоносной армии, пахнущим пылью походов и сиренью рейнских садов, а мстителем и солдатом. Я жил бы во имя возмездия, во имя мудрости и блеска человеческого ума, задушенного королевским режимом.

Я любил и люблю вас. Здесь, в черном мраке этой ужасной страны, я готов кричать от отчаяния и плакать по вас, как плачет ребенок по убитой на его глазах матери.

Я поступил предусмотрительно. Прежде всего я написал адрес на конверте, чтобы отправить письмо, даже если оно не будет закончено.

Опять вечер. Над черными елями там, далеко, где Париж, заходит луна. Я прислушиваюсь к собственным стонам. Почему я не умер под Бородином или на Висле? Комната залита заревом луны. Светило ночи восходит над обширной страной очень медленно, и столь же медленно иссякают мои последние силы. Я хотел бы дождаться солнца...»

— Все,— сказал Бараль.— Письмо не дописано.

— «Светило ночи», — пробурчал Армстронг, и кривая усмешка сползла с его губ и исчезла в дыму коротенькой трубки.

— Astre de nuit, — повторил он по-французски.— Господин Бараль, для чего нужны на земле поэты?

— Для усовершенствования в языке, сударь.

— Но не для литья пушек, я полагаю. Каждая страна прекрасно обошлась бы без поэтов. К сожалению, закон разрешает оплачивать человеческую болтовню. Письмо этого поэта отправьте по адресу и сообщите от себя обстоятельства его смерти. Надо уважать чувства близких.

Армстронг выколотил трубку о кандалы, издавшие мелодический звон.

Бараль поклонился и вышел. Он нес письмо, брезгливо держа его за уголок кончиками пальцев. Так выносят в мусорное ведро убитую мышь...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Получив наисекретнейшее предписание вашей светлости, я тотчас же выехал с двумя жандармами на ближайшую к Петрозаводску почтовую станцию Роп-ручей, где и дожидался проезда бывшего офицера французской армии, инженера Александровского завода Шарля-Евгения Лонсевиля.

На четвертые сутки, когда я потерял всяческую надежду задержать оного Лонсевиля, полагая, что он, предупрежденный неизвестными лицами, скрылся, в Роп-ручей приехал ямской

крестьянин Лихарев, доставивший сосновый гроб, обвязанный веревками, и вещи, принадлежавшие Лонсевилю.

Вещи были отобраны и препровождены в канцелярию его высокопревосходительства господина олонецкого губернатора.

Гроб был вскрыт, и в нем обнаружено тело упомянутого Лонсевиля, завернутое в военную французского образца шинель с номерным знаком 37-го Савойского полка.

Из опроса ямского крестьянина Лихарева, равно как и из обозрения тела, оказалось, что Лонсевиль умер от горячки в селе Подпорожье.

Тело по моему приказанию было немедленно отправлено в Петрозаводск и предано земле без всякой огласки.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств мною не мог быть выполнен приказ вашей светлости о тайном задержании государственного преступника Лонсевиля на пути его из Петербурга в Александровский завод и препровождении оного Лонсевиля в Шлиссельбургскую крепость для пожизненного заключения, дабы содержать его там без фамилии под номером 26.

О последующем жду распоряжений.

Вашей светлости покорнейший слуга ротмистр *Тучков*».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В двадцатых годах прошлого столетия, через несколько лет после смерти Лонсевиля, в Петрозаводск приехала французская гражданка Мария Трините, назвавшая себя женою Шарля Лонсевиля.

Узнав о смерти Лонсевиля, Трините решила ехать в Россию, чтобы видеть те места, где он жил, и поговорить с людьми,— свидетелями его последних дней. Готовясь к поездке в течение нескольких лет, Трините изучила русский язык и изъяснялась на нем довольно свободно.

Она прожила в Петрозаводске с весны до поздней осени. Очень часто она отправляла письма во Францию, своей подруге Рашель Мартисон.

Судя по письмам, Мария Трините обладала острой проницательностью и склонностью к меланхолии. Многие места из ее писем заслуживают лучшей участи, нежели медленное тление в пахнущих сухим жасмином семейных архивах Мартисон.

«Сегодня начальник завода мистер Фуллон,— писала Трините,— был настолько любезен, что сам вызвался показать мне мастерские.

Представь себе, Рашель, грязную кузницу в Руане, увеличенную в двадцать раз,— это и будет тот завод, где страдал и умер Шарль.

Помещения блестят от окаменелой копоти. Рабочие похожи на бородатых негров. Едкий дым выжигает глаза. Люди работают молча и безо всякой спешки.

Здесь все из дерева. Весь завод приводится в движение водой, и шум ее господствует над маленьким городом.

Фуллон — весьма просвещенный англичанин. Он лично знал шотландского писателя Вальтера Скотта.

Он рассказал мне историю этого завода со времен царя Петра, добавив, что не удивительно, если твердую копоть на стенах я приму за окаменелую кровь.

— Этот завод,— сказал мне Фуллон,— олицетворяет режим своей страны.

Слова эти были произнесены около исполинской плющильной машины. Вообрази себе стальные плиты. Они сдавливают с чудовищной силой раскаленные шведские пушки, превращая их в куски чугуна.

Фуллон показал тонкой рукой в черной перчатке на эту машину и сравнил ее с Россией. Мы говорили по-французски, и никто нас не мог понять.

— В противоположность своим соотечественникам, английским директорам завода,— добавил Фуллон,— я стремлюсь поскорее покинуть Россию и вернуться в Англию. Я не ощущаю особого удовольствия от мысли о всех своих предшественниках. Завод этот насчитывает свыше ста лет существования. Он был построен еще при Петре. Начальником завода в те времена был голландец Вильям Генин.

Он рассказал мне историю Генина. Она заслуживает того, чтобы передать ее тебе.

Генин отличался суетливостью и добродушием. Еще в молодости, в Голландии, он изводил старушку мать любовью к кошкам. Он подбирал на улицах котят и приносил их домой в карманах камзола. Котята пачкали полы, и старушка весь день затирала кошачьи следы лавандовым маслом.

Однажды Генин привел вместо котенка неотесанного русского парня. Парень заблудился в ночном Амстердаме. Он спал очень неспокойно, тяжело дышал и вскрикивал во сне.

За утренним кофе старушка хотела сказать русскому, что у него в носу полипы, но Генин строго посмотрел на нее и промолвил, что их скромный дом осчастливлен пребыванием русского царя. Тогда старушка пролила кофе, а царь похлопал ее по плечу. Старушка сделала книксен и скрылась на кухне.

Через год Генин уехал с русским царем в Москву. Сначала он обучал боярских сыновей артиллерийскому делу, потом был назначен начальником Петровского пушечного завода.

Завод работал скверно. Управители погрязли в лихоимстве. Рабочие и рекруты разбегались сотнями. Тогда добродушный Генин выпустил кошачьи когти — он не хотел рисковать своей головой. Он порол рабочих, ходил по заводу, охал, кричал и жаловался на жестокость Петра.

Слух об этом дошел до царя, и на завод прислали следить за Гениным фискала Ижорина.

Генин обиделся. Он заваливал Петербург жалобами на несносные притеснения Ижорина.

Он хвастал своими успехами и угрожал бросить завод, если фискал немедленно не будет отозван.

Царь молчал.

Сообщения Генина, что из отлитой им тысячи пушек разорвалось только три, что шпажные клинки с Петровского завода на хуже золингенских, что ружья завод изготовляет по лучшему, штеттинскому способу, оставались без ответа.

Царь молчал, а Генин пугался и учащал порки.

Вокруг завода по топким дорогам были выставлены караулы, ловившие беглых рабочих.

Рабочий завода Рябоев открыл вблизи Кончозера источник целебной воды. Генин дал Рябоеву три рубля и приказал молчать. Он поставил около источника камень с надписью, что воды открыты им, Вильямом Гениным, и отправил в Петербург донесение, где именовал новые воды марциальными и звал царя попользоваться ими.

Тотчас же пришло повеление построить около источника летний дворец. Царь приехал с царицей и принял несколько ванн. Воды помогли. Генин в благодарность был произведен в генералы.

Я вполне согласилась с Фуллоном — не очень весело иметь за спиной таких предшественников.

Ты знаешь, только здесь, на заводе, я поняла, отчего умер Шарль. Возвращение во Францию его не спасло бы. Как может радостно смотреть на небо человек, видевший, как истязают людей!

Ты представь себе наглые бакенбарды военных инженеров, невежественных и пьющих водку целыми ведрами, картежную игру, где нет места даже азарту, рабочих, обреченных быть скотами, и скотов, обреченных работать до последнего издыхания, муштровку солдат — их бьют по щекам за дрогнувший носок сапога,— полную невозможность протеста, рассказы о Сибири, плетях и каторге, злых женщин и тоску этих неописуемых непролазных дорог, где ямщики хрипнут от самой подлой брани,— представь все это в сиянии чистейшего неба, в свежем ветре с озер, в душистом молчании лесов, и ты поймешь, как прекрасна эта страна и как терпелив народ, ее населяющий.

На заводе отливают надгробный памятник Шарлю. Я поставлю его и уеду во Францию. Но я привезу землю с могилы Шарля, землю этой страны, и посажу в нее в нашем саду лучшие цветы, какие мне даст отец. Пусть хоть эта холодная земля радуется их благоуханию».

«Третьего дня, наконец,— писала Трините,— поставили над могилой Шарля чугунный памятник и ограду, похожую по тонкости работы на кружево.

Теперь мне здесь больше нечего делать. На днях я уезжаю. Меня пугает обратный путь. Какая предстоит горечь от зре-

лища плоских и бесцветных озер под таким же плоским и серeньким небом...

Мне придется ехать водой. Как передать тебе монотонность этого пути по каналам на скрипучих и медленных баржах, простаивающих сутками около безлюдных деревень?

Все будет пропитано смрадом воды, гниющей в трюмах, и едким табаком — его курят здешние рабочие.

Необходимо брать пищу до Петербурга. В дороге ничего нельзя купить, кроме чая, постного сахара, пахнущего салом, и черствого хлеба. Когда я вижу этот хлеб, колючий от соломы, я почему-то вспоминаю слезящиеся глаза мужиков и их растрепанные ветром рыжие бороденки — одно из самых ярких впечатлений моего путешествия по России.

Да, путь будет печален, как возвращение с похорон. Здесь я оставляю свое сердце. Здесь умер Шарль, который так жестоко и наивно страдал в силу своего чистосердечия и жажды высшей справедливости».

«Вчера я пережила первый радостный день в России.

Не помню, писала ли я тебе, что мистер Фуллон посоветовал мне познакомиться с его секретарем Юрием Лариным. По словам Фуллона, Ларин, человек весьма начитанный и обладающий живым умом, был искренним другом Шарля.

Но, к несчастью, незадолго до моего приезда в Россию Ларин был послан в Англию, чтобы завербовать там для завода несколько литейных мастеров, и возвратился в Петрозаводск только третьего дня.

Вчера, 15 августа, завод не работал по случаю праздника успения, и я совершила большую бестактность: я пошла к Ларину, даже не предупредив его о своем визите. Я уверена, что ты меня не осудишь. Ты знаешь, как мне дорога память о каждом слове и каждом поступке Шарля. Кто лучше Ларина мог рассказать о его последних днях?

Я очень волновалась. Меня встретил высокий приветливый человек с пытливыми и несколько насмешливыми глазами.

— Чем могу служить вам, сударыня? — спросил он меня по-русски.

Я назвала себя. Спазмы сжимали мое горло.

— Так это вы жена Лонсевиля? — тихо спросил Ларин по-французски. — Бог мой, какую радость вы принесли мне своим приездом!

Он волновался не меньше меня. Он нервно ходил по комнате и непрерывно говорил. Он вспоминал день за днем жизнь Шарля, передавал его рассказы, его гневные речи. Он говорил о любви к Шарлю простых людей и рабочих, о неожиданном аресте, о том, что только смерть спасла Шарля от пожизненного заключения и что, может быть, только благодаря этой смерти он избавился от потери рассудка в глухих казематах Шлиссельбургской крепости.

— Лонсевиль был человеком прекрасных душевных поры-

вов,— сказал он, остановившись и глядя в окно, где золотые березы осторожно сбрасывали на землю легкие листья.— Ему я обязан тем, что перестал быть глупым юнцом, вздыхающим о революции, как о любимой женщине. Он зажег меня ненавистью к тирании и холодной решимостью. Он вложил в меня мысль, что освобождение невозможно без жестокого уничтожения угнетателей. Он заставил меня изучить историю французской революции и творения великих мыслителей. Вскоре после знакомства с ним я с дрожью в сердце понял, что этот человек любит наш народ умной и горячей любовью борца, тогда как мы только и делаем, что проливаем слезы над жалкой долей холопов в армяках лишь за бутылкой водки.

Ларин быстро отошел от окна и засмеялся, всплеснув руками.

— Сударыня, мы попали с вами в поповскую мышеловку. Сегодня праздник. По нашим обычаям, священники с причтом ходят по домам и служат молебны. Вон, видите, отец Серафим направляется ко мне, и мы уже не успеем скрыться. Утешительно лишь то, что эта церемония продлится две минуты, ибо отец Серафим изрядно пьян.

Отец Серафим вошел в дом в сопровождении дьякона с таким шумом, точно в залу впустили стадо слонов. Покричав и покадив две минуты около иконы, он сунул в губы Ларину и мне холодный серебряный крест и торопливо сел к столу.

Слуга подал вино и закуску. Выпив рюмку водки, отец Серафим начал несносно хвастаться своим дедом, священником Семеном, жившим в селе Кижи. Он рассказал, что некогда царь Петр на пути в Петербург остановился в этой деревне и зашел в церковь. Он рассеянно слушал торжественную службу и ковырял пальцем иконы, отлитые из чистой меди.

После службы царь подошел к Семену,— по словам Серафима, то был черный поп с дикими глазами,— и спросил, указывая на иконы:

— Кто отливал?

Семен ответил, что иконы и кресты отлил голландец Бутенат, державший при царе Алексее медный завод в Кижах.

Бутенат был лютеранин, и поп Семен не мог этого снести. Несколько раз собирал крестьян, бил в колокола и устраивал на заводе погромы. Бутенат не выдержал войны с попом и бежал в Голландию, а завод крестьяне разворовали по бревнам.

— Поп,— сказал Петр тихо,— про тебя мне доносили многое. Кожу сдеру!

Поп воздел руки, вытаращил глаза и крикнул:

— Еретиков изведу заодно с их семенем — царя не побоюся!

Петр сплюнул и вышел.

— Каков прадед, таков и правнук,— сказал мне Ларин по-французски. Он был раздосадован хвастовством и нечистоплотностью священника, евшего мясо руками.

Отец Серафим вытер бороду, где застряли кусочки вареной

моркови, попрощался и ушел, сотрясая прихожую топотом глубоких кожаных калош.

— Я не могу выносить дым ладана,— поморщился Ларин,— он напоминает мне похороны и вызывает мигрени. Ежели вы не устали, то не лучше ли нам пройти на набережную.

Я с радостью согласилась.

Мы ходили на набережной до позднего вечера. Свечи в редких фонарях горели неподвижно и тускло — над озером установилось безветрие. В темной воде отражались печальные звезды. Из заброшенных садов был слышен запах вянувших листьев.

— Вы не должны ненавидеть нашу страну,— говорил мне вполголоса Ларин.— Жажда освобождения терзает лучшие умы. Молодые люди, совершившие поход во Францию, привезли оттуда не только зажившие раны и обветренные лица, но и порох революционных надежд. Россия охвачена предрассветным холодом и тревогой. Не принимайте этот холод за дыхание смерти. Разве иначе, как не предвозвестником зари, мы можем назвать нашего поэта Пушкина? Известны ли вам его стихи о карающем кинжале? «Как адский луч, как молния богов, немое лезвие злодею в очи блещет, и, озираясь, он трепещет среди своих пиров». Пушкин — это поистине молния богов.

Над озером блеснула тусклая зарница, и лишь минуту спустя прокатился далекий гром. Ларин засмеялся.

— Осенняя гроза,— промолвил он и остановился.— Прекрасное будущее приближается неотвратимо. Когда оно наступит, нам не дано знать. Ради него жил последние годы ваш муж, беспощадно вырвавший из своего сердца все черты наивности и благодушия. Не впадайте в отчаяние. Какая беда в том, что он страдал нашими горестями? Неужто вы склонны к мысли, что революции достоин лишь народ французский?

— Сударыня,— продолжал, помолчав, Ларин и показал мне на небо,— звезды светят с неизмеримо меньшей яркостью, чем солнце, но в наши зимние ночи они освещают путь и служат путеводными знаками. Нет великих и малых дел, ежели человек всем сердцем стремится к великому и справедливому, ибо в этом случае все дела имеют великие вес и последствия.

В город мы вернулись через темный и облетевший сад. Листья шумно пересыпались под нашими ногами. Я как бы выпила легкого вина,— внезапно Россия показалась мне страной, любимой до боли в сердце».

«Завтра я уезжаю. Безоблачные дни сменились ненастьем. С Белого моря дует неровный ветер и несет снег вперемежку с дождем. Как говорят русские, «дождь сечет». Какое иное сравнение мог придумать народ, привыкший к тому, что его секут постоянно?

Дождь сечет.

Пейзаж за моими окнами приобрел вид картины, косо повешенной на стене. Косые струи дождя, косой дым из низких заводских труб, косые деревья, наклонившиеся люди, проби-

вающиеся через дождь и ветер, наконец косой полет ворон, зловеще каркающих над пустырями.

Перед отъездом я видела забавное зрелище — богослужение под дождем, панихиду по императрице Екатерине.

Шеренги солдат стояли в жидкой грязи. Генералы кутались в черные плащи. С желтых волос отца Серафима вода текла на черную ризу, и певчие пели уныло и хрипло, прикрывая рты посиневшими руками.

Рабочие стояли поодаль, глядя в землю и крестясь быстро и машинально. Они все были в черном, в тяжелых сапогах и напоминали толпу галерников, слушающих напутствие перед отправкой на каторжные работы.

Потом запели «вечную память». Генералы, солдаты, рабочие, чиновники и женщины в кринолинах опустились на колени в желтую от навоза грязь. Хоругви склонились до земли от налетевшего ветра. Повалил серый липкий снег.

У меня болит сердце от сострадания к этому народу.

Я прошла на кладбище и положила на могилу Шарля несколько белых астр.

Ветер тотчас же унес их, будто Шарль отбросил их рукой, протестуя против моего отъезда.

Я расплакалась. Боже, что мне делать? В этой стране я оставляю свою душу. Мне не следовало приезжать сюда».

«Ларин, провожая меня, дал мне несколько писем своим друзьям в Петербурге.

Рашель, я впервые увидела людей, столь же полных нервическим ощущением нашего грозного времени, как полон им был Шарль. Я встретила русских, соединявших в себе гражданскую доблесть с самой привлекательной мягкостью славянской натуры.

Один из них,— я не буду называть тебе его имени,— выслушав горестную историю Лонсевиля, сказал мне:

— Сударыня, придет время, когда наши потомки вычеканят новую надпись на надгробном памятнике Лонсевиля. Благородные его стремления не получили развития. Императорская Россия убила его, как убивает лучших детей народа. Отныне он наш.

— Какую надпись? — спросила я.

— Вы владеете русским языком?

Я утвердительно наклонила голову. Он понизил голос и прочел, волнуясь:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Мы стояли на набережной Невы около Летнего сада. Я подняла голову и сквозь слезы увидела в лунной голубой полночи корабль, который должен был увезти меня во Францию. Матросы зажигали на его бортах фонари. Облака, подобные низкому дыму, быстро неслись со стороны моря.

— Он наш,— повторил русский, и я поняла, что отныне эта прекрасная и несчастная страна так же близка мне, как Франция».

1932

ОЗЕРНЫЙ ФРОНТ

Капитан Тренер пожевал жареную репу и вздохнул. Вкус репы отдавал горечью, как воздух лесистого и холодного Заонежья, где стояла флотилия.

Кончался май. Грязный лед все еще таял на берегах Онежского озера. По ночам казалось, что озеро превращается в море,— запах льда напоминал запах сырых приморских песков.

Лес шумел за окнами избы, нагоняя сон. Канонерские лодки кланялись берегу, поблескивая огнями. То были старые буксирные пароходы, приплюснутые, как клопы. В Петрозаводске их выкрасили в цвет мокрого полотна и поставили им на палубы орудия.

— О чем вздыхаешь, старик? — спросил Тренера штурман Ерченко, прозванный «Сарвингом».

На морском языке сарвингом называют старую, истлевшую парусину. Наступили жестокие дни. Лучшим напитком считался спитой чай, великолепной едой — болтушка из затхлой муки. Толстый штурман лишился своего объема и посерел, подобно видавшему виды рыбачьему парусу. «Сарвинг» — сказал о нем Тренер. Прозвище немедленно было узаконено всей Онежской озерной флотилией.

— Погано! — ответил Тренер.— Сиди в этой дыре и дожидайся английских истребителей. Жуй репу и любуйся на «консервные банки»,— он кивнул за окно, где огни канонерок продолжали качаться с монотонностью маятников.— К тому же холодно. Наступает второй ледниковый период.

Комиссар Мартайнен неодобрительно ухмыльнулся.

Хозяйка избы, старуха Кузьминишна, поставила на стол тарелку с вареной ряпушкой. Тренер ковырнул вилкой перепрелую кашу из рыбы и рассердился.

— Что вы хмыкаете? Надо наконец научиться уважать науку. Флотилия на собственной шкуре испытывает приближение льдов.

Сарвинг заскрипел стулом.

Тренер гневно взглянул на штурмана.

— Не лезь в пузырь, Эдуард,— прохрипел Сарвинг.— Я тебя всегда с удовольствием слушаю.

— Надо иметь голову на плечах,— сказал Тренер.— Почему англичане устроили в Медвежьей Горе базу? Почему поставили на берегу судовые орудия и спустили на озеро истребители?

Если бы не лед в мае, в половине мая, было бы это или нет? Я тебя спрашиваю, старый обалдуй. Конечно, нет. Наши коробки от сардин не могли форсировать лед. Мы бегали около кромки льда и грызли собственные кулаки. Май, видите ли, чудесный месяц май, стоял над этим чертовым озером, и лед таял с такой же скоростью, с какой растет борода у флагмана.

(Было известно, что флагман брился раз в неделю не из-за отсутствия времени, а за полной ненадобностью делать это чаще.)

— Холодная весна,— согласился Мартайнен.

— Холодная весна? — язвительно переспросил Тренер.— Вы в этом уверены? А вы знаете, что здесь в доисторические времена был климат Сицилии?

— Все может быть,— согласился Мартайнен. Ему хотелось спать. Сарвинг уже всхрапывал.

— Да, все может быть,— ответил Тренер и оглянулся.

Из темного угла избы, где стояла кровать, послышался тихий плач.

Мартайнен смотрел за окно, где между сосен дрожали звезды. Сарвинг проснулся и встал.

— Опять! — сказал он испуганно и начал застегивать рваную шинель, похожую на больничный халат.— Пора на канонерку В пять часов снимаемся в дозор к Мэг-острову. Хоть бы часика три поспать.

— Мертвого не воротишь,— пробормотал Мартайнен. — Идемте, штурман.

Тренер остался. Еще третьего дня он забрел в избу Кузьминишны в поисках молока. В избе он застал старуху и молодую плачущую женщину. Пока старуха кормила Тренера простоквашей, женщина не переставала плакать.

Тренер торопливо глотал простоквашу, не чувствуя ее вкуса, потом тихо спросил старуху, кто эта женщина.

— Учительша,— прошептала старуха.— Беда у нее случилась. Девочку убили.

Тренер больше ничего не спрашивал. У себя, на канонерской лодке «Номер два», он рассказал о необыкновенной избе, где кормят густой простоквашей. В избу началось паломничество.

Старуха притворно негодовала, но в простокваше не отказывала.

Когда простокваша иссякала, Кузьминишна кормила моряков жареной репой и ряпушкой.

Избу прозвали «Кафе Колдунчик». Каждый вечер там можно было застать посетителей, отдаленно напоминавших моряков. Об их профессии можно было догадаться по случайно уцелевшим признакам: фуражкам с золочеными «крабами», рваным клешам, пуговицам с якорями, татуировке под рукавами ватных телогреек и старомодных пиджаков, но больше всего — по обветренным и озябшим лицам.

Сарвинг и Мартайнен ушли. Тренер остался. Он был любо-

пытен. Жгучее любопытство преследовало его все время. Несмотря на свои сорок лет, он увлекался множеством вещей. Он походил на мальчика, старающегося во что бы то ни стало сломать игрушку, чтобы заглянуть внутрь. Жизнь была для Тренера подобна этой игрушке. Он любил разбирать механизмы, расспрашивать людей, читать научные исследования, спорить. Из накопленных за долгие годы наблюдений он делал ошеломляющие выводы. Это занятие его радовало. Потому, может быть, через всю жизнь Тренер прошел легко, точно посвистывая, и заслужил кличку чудака.

Тренеру не давала покоя учительница. Он хотел узнать причину ее слез. На этот раз им меньше всего руководило любопытство. Он испытывал несвойственную ему досадную жалость.

— Как это случилось? — спросил он Кузьминишну.

Рассказ старухи не успокоил Тренера. Откровенно говоря, он ничего не понял. Ясно было одно — дочь учительницы, двухлетняя девочка, погибла от взрыва ручной гранаты.

Необходимо оговориться. Дело происходило в 1919 году в селе Толвуе, на полуострове Заонежье. С севера на Петрозаводск наступали две белые армии. Олонецкая добровольческая армия, состоявшая из финнов, пробивалась из Финляндии к Лодейному Полю. Северная добровольческая — густая смесь из английских, сербских, американских и русских белых отрядов — двигалась из Мурманска вдоль железной дороги. Последнюю армию называли «англичане».

В мае 1919 года англичане заняли Медвежью Гору — самый северный пункт на Онежском озере. Они укрепились там и послали в Заонежье отряды с продовольствием и оружием — поднять восстание среди хозяйственных заонежских рыбаков.

Восстание началось в Толвуе и Шуньге, но было быстро подавлено.

Сарвинг на своей канонерской лодке доставил в Толвуй из Петрозаводска музыкантскую команду. Этого оказалось достаточно, чтобы восставшие подняли белый флаг и сдались.

В то время на Карельском фронте не было войск и винтовок. Каждые десять вооруженных людей считались хорошей боевой частью. Довольно того, что единственный батальон целый месяц сдерживал натиск превосходящих сил белых вдоль Мурманской дороги, яростно защищая каждую шпалу и каждый телеграфный столб. В конце концов этот потрепанный и голодный батальон остановил наступление белых.

Все главные силы были оттянуты против Юденича.

Сарвинг заслуженно гордился «толвуйским делом». Барабанщики и трубачи, умевшие с грехом пополам сыграть «Интернационал», оказались надежными бойцами.

Правда, после этого Сарвингу долго не давали покоя. Каждый раз, когда его канонерка, прозванная «Музыкантом», вползала, шлепая колесами, в петрозаводскую гавань, команды сторожевых катеров встречали ее варварским маршем. Его на-

игрывали на гребенках, жестяных кружках и попросту хлопая себя кулаками по надутым щекам.

На это развлечение командующий флотилией смотрел сквозь пальцы. Сарвинг багровел и ругался.

Несчастье с учительницей случилось в день высадки музыкантского десанта.

Сарвинг внезапно открыл по селу огонь из кормового орудия. Началась паника. Отряд из нескольких американских солдат во главе с лейтенантом Шервудом бежал в лес, не сделав ни одного выстрела.

Шервуд бежал впереди. В узком переулке он натолкнулся на учительницу. Она спешила с девочкой в единственный каменный амбар, чтобы спрятаться от обстрела. Шервуд задел учительницу плечом и отскочил. Раздался взрыв. Шервуд бросился дальше. Солдаты бежали за ним. Один из них перепрыгнул через упавшую девочку, остановился, показал себе на голову, что-то яростно прокричал по-английски и побежал дальше.

Девочка была убита осколком ручной гранаты в висок. Очевидно, Шервуд уронил гранату, наткнувшись на учительницу.

— Непонятно,— пробормотал Тренер.— Чтобы граната взорвалась, необходимо сбить кольцо, а для этого надо остановиться. Тут что-то не так.

Учительница взяла убитую на руки и ушла в лес. Она ходила до утра, баюкала посиневшую девочку и пела ей песни.

Утром сигнальщик, матрос Федор Гущин, привел учительницу в деревню. Вот все, что удалось узнать Тренеру.

Тренер надвинул форменную кепку на глаза и пошел на канонерку. В туманном озере плескались мелкие волны. Над ними в теплом воздухе, опровергавшем опасения Тренера о нашествии льдов, подымалась опухшая луна.

Тренер поморщился. В лунные ночи он спал тревожно. Значит, опять бессонница.

Учительница напомнила ему молодость, когда он гардемарином приехал к себе на родину, в Псков. Тогда у него был еще свежий голос. Каждый вечер он выезжал в лодке на реку Великую, становился под мостом и пел. Мост давал гулкий резонанс. Тренер пел старинный романс. Теперь он его забыл, в памяти осталась только одна строчка:

Кто ты, певунья, я не знаю...

Вокруг Тренера толпой собирались лодки. Он запомнил одну, выкрашенную в белый цвет. В ней приезжала девушка, удивительно похожая на эту учительницу — те же зеленоватые, немного косые глаза, тот же застенчивый взгляд. Такая же милая дурнушка.

«Вот молодость! — подумал Тренер.— Пенье до рассвета, холодная вода Великой, запах цветущих лип...»

У себя в каюте он сейчас тоже тихо запел: «Кто ты, певунья, я не знаю», но прислушался и осекся. Начало сердито стрекотать радио. Через несколько минут радист принес синий бланк — зашифрованный приказ командующего немедленно сниматься и идти из Онежского озера в Ладожское, к пристани Свирице.

Тренер сказал про себя: «Есть идти в Свирицу». Он не знал тогда, что присутствует при начале смелой и блестящей видлицкой операции.

В три дня флотилия прошла несколько сот миль из Онежского озера в Ладогу и отдала якоря в Свирице, вблизи впадения Свири в Ладожское озеро.

Путь был совершен в глубочайшей тайне. Готовился быстрый удар в тыл финнам — удар на Видлицу, главную базу Олонецкой добровольческой армии.

Финны ничего не подозревали. На Ладожском озере советских судов не было. Переброска их из Онежского озера казалась невероятной. По законам стратегии это было равносильно безумию, ибо фронт против англичан оказывался обнаженным. К тому же петрозаводская газета печатала успокоительные сообщения, что Онежская флотилия до последней крайности будет защищать город от англичан и жители могут спокойно предаваться своим занятиям.

Финские шпионы доставляли номера газеты в штаб Олонецкой армии, где большевистской газете верили беспрекословно и наивно.

В Свирице Тренер поднялся на мостик. Холодные луга лежали вокруг. В прибрежном тальнике шумел ладожский ветер. Глыбами лакированного серого льда застыли на воде эскадренные миноносцы «Уссуриец» и «Амурец», пришедшие из Балтики.

Медные поручни на миноносцах были надраены до той степени блеска, какая носит у моряков название «чертова глаза». Закат рассыпал по меди десятки маленьких угрюмых солнц.

Над рекой дымилось тяжелое небо. Солнце прорвало в тучах окровавленную щель.

Мартайнен принес на мостик приказ командующего флотилией Панцержанского. Он был передан с посыльного судна, где командующий держал свой флаг.

Тренер читал приказ с нескрываемым удовольствием. Он любил язык приказов, короткий, будто блеск световых сигналов, которыми перекликаются боевые корабли во время ночных походов.

— «Общая задача,— читал Тренер,— сбить неприятельские батареи у посада Видлица и высадить десант в устье реки.

Корабли собираются в Свирице. По моему сигналу все снимаются с якоря и вступают в строй кильватера. В Видлице эсминцы подходят к берегам севернее реки и начинают обстрел батарей на правом ее берегу, стараясь створить батареи и имея их на норд-ост от себя. Затем миноносцы переносят огонь

на Видлицкий Посад. Заградитель «Яуза» обстреливает батареи южнее реки и прекращает огонь не ранее, чем батареи замолчат.

Дивизиону сторожевых судов держаться на вест от заградителя «Яуза» и по сигналу последнего идти в устье реки. Подойдя к устью, открыть огонь и остановиться у пристани».

— Это нам,— сказал Тренер.— Будет шумно.

«После высадки десанта с транспортов всякая артиллерийская стрельба прекращается. Корабли остаются на местах и ждут моего распоряжения.

Миноносцы имеют трехфлажную сигнальную книгу. Для пароходов средство связи — только голос».

— Всё? — спросил Мартайнен.

— Всё, — ответил Тренер и повторил: — «Для пароходов средство связи — только голос».

— Собственно говоря, одним голосом и воюем. И, между прочим, бьем. Под островом Мэг на Онежском озере — это было еще до вас — налетели английские гидро. Летчики хамили, почти цепляли за мачты. А у нас ни одного зенитного орудия. Пулеметы вверх не бьют из-за перекоса лент. Пришлось отстреливаться из винтовок и грозить кулаками. Но зато мы идеально научились увертываться на своих консервных банках. У англичан не было ни одного попадания.

— Бывает,— промолвил Мартайнен.

Комиссар принадлежал к породе людей, разговаривающих глазами. Он даже редко говорил «да» или «нет». Обычно о согласии или отказе Тренер узнавал по его взгляду. На Тренера он смотрел одобрительно, целиком ему доверял, на только что присланного из Петрограда старшего артиллериста — со скукой, считал его безвредным шаркуном.

Мартайнен никогда не ругался. В тех случаях, когда надлежало сказать крепкое слово, у него краснел затылок и белели глаза.

Выход в озеро был назначен ночью. Тренер приказал разбудить себя в полночь и спустился в каюту. Он лег и укрылся шинелью.

— «Сражения — это дым»,— пробормотал он сквозь дремоту. «Кто это сказал? Какая чепуха! Должно быть, кто-нибудь из английских военачальников. По старым английским традициям, каждый боевой генерал, умирая, говорил какую-нибудь глупость, вроде того, что «война, как и все явления в мире, необходима». «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг» — это самое неудачное из выражений Нельсона.

Кстати, почему Нельсон выиграл Трафальгарскую битву? В маневрировании парусных линейных кораблей не было правильного расчета. Нельсоном руководили каприз, полет фантазии, безрассудная смелость.

— У нас — иное. Мы выигрываем благодаря простому плану, скрепленному мужеством и верой в дело».

— Трафальгар,— промолвил Тренер и натянул шинель на голову.

Дремоту Тренера прервал короткий стук в дверь. Пришел Мартайнен. Он сел в ногах Тренера, скрутил папиросу и будто невзначай обронил:

— Артиллерист дрейфит.

— Я проверял дальномеры и крепления. Всё в порядке.

— Да, но человек не в порядке.

— Будем следить.

Тренер поморщился и сел на койке. Болела голова. Перед боем это было совсем напрасно.

— А я здесь лежал, думал.

— Мечты о магнолиях в Петрограде? — усмехнулся Мартайнен.

— Да, все те же мечты о магнолиях,— вздохнул Тренер.

Его беспокоил артиллерист. Маленький, черный, очень вежливый, он выдавал свое сухопутное происхождение бледным лицом и множеством угрей на щеках. В боях он еще не был.

Артиллерист сам стриг себе усы по-английски. В каюте у него пахло филодермином и парикмахерской. На стенах веерами висели открытки золотоволосых девушек с розовыми носами и глазками цвета капусты. С матросами артиллерист говорил вкрадчиво, но мало. Команда его невзлюбила и прозвала «пассажиром».

— Ему бисером вышивать, а не плавать,— проворчал Тренер и натянул шинель. Пора было подыматься на мостик.— Что с ним происходит?

— Он дрожит,— ответил Мартайнен, и затылок его побагровел.

Тренер крякнул, выругался и застегнул шинель. Внезапно лицо его стало каменным, глаза похолодели. Он засунул руку в карман и вынул старые кожаные перчатки. Мартайнену показалось, что этим незаметным жестом Тренер небрежно спрятал в карман недавние мечты о магнолиях. Тренер сказал резко:

— Сейчас снимаемся.

— Есть! — невольно ответил Мартайнен и пропустил Тренера вперед.

Ветер с Ладоги пересчитывал редкие огни флотилии. Гулкий пар рвался вверх из труб миноносцев. После дремоты бледная северная ночь показалась Тренеру сном. Речные волны шумели в прибрежных кустах. Над болотами скрипели коростели.

В эту минуту старый буксирный пароход «Сильный» — ныне канонерская лодка «Номер два» — показалась Тренеру грозным истребителем. Корабль затих. Люди говорили шепотом. Только машина, разогреваясь, посапывала паром.

На посыльном судне замигал сигнал. Все вздрогнули, хотя ждали его именно в этот час. Сигнал был дан строго в назначенное время.

Тотчас же две низкие тени миноносцев сдвинулись и, вздохнув машинами, пошли за посыльным судном. Флотилия вытягивалась белой линией кильватерных огней.

Вышли в озеро. Ветер свежел. С веста шла короткая волна. Через час канонерская лодка «Номер два» уже отыгрывалась, принимая волну. Тренер слушал нарастающий шум и не мог отделаться от мысли, что шумят не прибрежные сосновые леса, а Ладожское озеро.

По пути в Видлицу, около устья реки Олонки, флотилию ждали транспорты с десантом. К ним подошли в три часа ночи. Рассвет зарождался на востоке отблеском бесконечных болот. Ветер стих.

В полной тишине флотилия перестроилась. Сторожевые суда окружили кольцом транспорты. Финская батарея как бы спросонок открыла огонь. Снаряды ложились между судами флотилии и берегом. Командующий приказал на огонь финнов не отвечать.

Тренер считал недолеты и посматривал на артиллериста.

Артиллерист потирал руки.

— Зябнете? Надо было выспаться раньше,— жестко сказал Тренер.— От дрожи может случиться расстройство желудка.

Артиллерист покраснел и сошел с мостика.

В пять часов флотилия подошла к Видлице. На берегах стояла предрассветная тишина. Если прислушаться, то слышится свист просыпающихся птиц. Было туманно и сыро.

Миноносцы отделились от флотилии, ушли к северу, круто повернули, и тотчас два гулких залпа, повторенных эхом, блеснули над серой водой.

Залпы участились. Дым сражения — о нем недавно вспоминал Тренер — качался над палубами, взрываясь звонким треском огня.

Заградитель «Яуза» открыл огонь по видлицкому заводу. Завод вспыхнул исполинским костром. Финны отвечали торопливо и ожесточенно. Чайки с детским визгом неслись на юг, оглушенные боем.

Берега глухо дрожали. Дым взвивался над лесом то белыми, то багровыми клубами,— «Яуза» вела жестокую дуэль с батареей на южном берегу. Тренер посмотрел на часы, было уже шесть. Бой длился ровно час.

Подняв глаза от часов, Тренер увидел, как артиллерист пригнулся у орудия. Тренер, пораженный, смотрел на него,— были видны блестящие глаза на смуглом лице. «Прямо Лермонтов»,— подумал Тренер.

Канонерка вздрогнула, отшатнулась, и завыл, ввинчиваясь в небо, снаряд. Взрыв! Он пышно и долго расплывался над землей. Вместо четырех орудий неприятельская батарея начала отвечать из трех.

— Пассажир подбил орудие,— сказал штурвальный.

Тренер оглянулся и в упор посмотрел в его смеющиеся глаза.

— Не пассажир, а старший артиллерист,— сказал он голосом, покрывшим гул боя.— Шутки в бою считаю неуместными.

Бой разгорался. Финны отстреливались с редким упорством. Сарвинг на своей канонерке, окутанной дымом, был ясно виден издалека: казалось, на мостике стоял памятник.

«Яуза» тремя залпами сбила батарею на южном берегу реки. Миноносцы носились вдоль северного берега, на крутых поворотах полыхая желтым огнем.

— Огонь достигает степени ураганного,— промолвил Тренер и поднял бинокль.

Смотреть мешали частые выстрелы с канонерки, поле зрения в бинокле смещалось после каждого удара.

Наконец Тренер нащупал неприятельскую батарею и выругался. То, что он увидел, поразило даже его, привыкшего к боям. Броневые катера в дыму и пене мчались вдоль самого берега, почти царапая бортами о камни, и расстреливали орудийную прислугу из пулеметов. Финны метались, не ослабляя огня.

В семь часов батареи неприятеля наконец замолчали. Финский штаб горел. Миноносцы перенесли огонь на Видлицкий Посад, где медленно подымалась в небо гора бурого дыма.

«Яуза» просемафорила Тренеру приказ немедленно войти в реку. Тренер ворвался в устье на полном ходу, ведя обстрел обоих берегов из орудий и пулеметов.

Оглянувшись, он увидел, что миноносцы прекратили огонь и застопорили машины.

«Ша и ре!» — просигналил ему по-дружески Сарвинг. На языке старых моряков это означало: «Все кончено».

— Брось трепаться,— ответил Тренер.

Сзади подходили транспорты. Началась высадка десанта. Тренер пошел вверх по реке, обстреливая правый берег шрапнелью. Когда он вернулся, высадка кончилась. Огонь стих.

— Неужели ша и ре?

Тренер достал из кармана склянку от рыбьего жира и отхлебнул несколько глотков коньяку. В это время в лесу швейными машинами застрочили пулеметы. Со всех судов тяжелым громом ударил залп. Финны делали последнюю попытку сбить десант в озеро.

С «Ласки», прошедшей у самого борта, Тренеру крикнули, что сейчас финны откроют пулеметный огонь. Тренер дал залп по опушке, но в ответ пулемет лопнувшим железным тросом хлестнул по палубным надстройкам, выбивая щепки в пыль.

Тренер выхватил руку из кармана. С рукава капала на палубу яркая кровь, но боли он не чувствовал. Второй залп колыхнул воздух. Тренер пошатнулся, сел на кнехт, медленно стал на колени и упал головой на планшир. Мартайнен бежал с бака.

— Санитара! — крикнул он, и глаза его побелели.— Санитара скорей!

Огонь быстро стих.

Тренер, стиснув зубы, ждал, пока неопытный санитар резал тупыми ножницами толстый шинельный рукав.

После перевязки Тренер потерял сознание. Очнулся он, когда вся флотилия вытянулась на рейд и стала на якорь.

«Яуза» и «Сом» грузили трофеи — одиннадцать орудий, две тысячи винтовок, двенадцать пулеметов, множество снарядов, патронов, продовольствие и даже генеральские брюки начальника штаба, бежавшего к финской границе в одном белье. Брюки эти брезгливо принес на кончике штыка красноармеец с черным чубом и бросил на палубу.

— Ну что? — спросил Тренер Мартайнена.

— Разгром.— Мартайнен впервые за время службы на канонерке улыбнулся. Улыбка у него была ослепительная и открытая.— Руку прострелило? Ничего! Будем плавать вместе.

Тренер еще не знал, что «Музыкант» прославился вторично. В разгар боя Сарвинг перехватил радио на немецком языке из Сердоболя, где стояла финская флотилия. Очевидно, до Сердоболя дошли отголоски боя. Радио запрашивало: «Сообщите, что случилось. Нужна ли помощь?» Сарвинг ответил: «Все благополучно. В помощи не нуждаемся». Финская флотилия продолжала мирно качаться на сердобольском рейде и не выслала в район Видлицы даже разведки.

Весь день Тренер пролежал в каюте. За иллюминаторами душным паром лежал туман. В пелене тумана грозно и нежно пропели сирены миноносцев, прощавшихся с флотилией. Миноносцы уходили в Петроград.

К вечеру зашлепали колеса, зажурчала вода, залязгали рулевые цепи,— флотилия снялась обратно в Свирицу.

Мартайнен принес Тренеру чашку настоящего черного кофе. Впервые он долго и внимательно расспрашивал Тренера о ледниковом периоде. Тренер оживился, даже боль в простреленной руке стала меньше.

— Меня занимает,— Тренер смущенно улыбнулся,— одна мысль. Когда кончится война, я попытаюсь изложить ее на бумаге. Я хочу написать книгу. Мне кажется, я найду способ предотвратить новое нашествие льдов.

Мартайнен встал. Пора было уходить и дать раненому отдых,— начинался бред. Комиссар внезапно подумал, что на койке лежит не капитан сорока лет, а мальчик, взволнованный чтением Жюля Верна.

Никогда в жизни — ни в Финляндии, где Мартайнен работал на верфи в Ганге, ни в Кронштадте на флоте — он не встречал таких странных и привлекательных людей.

В своей каюте Мартайнен долго стоял, широко расставив ноги. Потом он открыл сундучок, достал растрепанную книгу «История кораблекрушений» и пошел к Тренеру. Раненый спал. Мартайнен положил книгу на стол — пусть почитает завтра.

В коридоре Мартайнен встретил вахтенного, свирепо посмотрел на него и сделал замечание за плохо вымытую палубу. Этим он как бы расквитался с собой за несвойственную ему мягкость и, успокоившись, ушел спать.

Утром пришло радио, что после видлицкой операции белый фронт дрогнул и финны бегут к границе.

Флотилия возвращалась по Свири в Онежское озеро. Река несла пену, отражения неба, облаков, березовых рощ, свисавших над берегами. Суда флотилии кроили серыми бортами на части волнующийся весенний мир, стремительно плывший по реке. Он разлетался на тысячи осколков на каменных порогах, но быстро возникал вновь.

На палубе пели. Тренеру доставляло удовольствие думать, что канонерка идет в солнечные страны и матросы хохочут, не в силах сдержать избыток веселья.

— Победа,— прошептал он и уснул.

Напрасно искать описание этого случая в истории войны, изданной американским военным министерством.

Сто тринадцатый американский полк, пришедший воевать против «красных боло» — большевиков, расквартировали в Медвежьей Горе и по бревенчатым блокгаузам вдоль Мурманской дороги.

Летейнант Шервуд был офицером этого полка, состоявшего из румяных и сытых солдат.

В блокгаузах пахло инжирными конфетами и трубочным табаком «вирджиния». Солдаты брились каждый день. Консервные банки радовали глаз пестротой этикеток.

— Офицеры носили в карманах безделушки — то плюшевых зайчат, то брелоки из неаполитанских камней — в качестве талисманов от бед. Патефоны наигрывали веселые военные песенки.

— Война — это охота,— говаривал лейтенант Шервуд.

В широком свитере и с трубкой в крепких зубах он был похож на городского охотника, приехавшего в леса с веселой компанией друзей бить волков и ставить западни на лисиц.

Шервуд был игроком. За картами его лицо чернело. Он обыгрывал всех и деньги прятал небрежно и безжалостно. Он обладал всеми качествами игрока: сухим равнодушием, истерической раздражительностью и глубоким убеждением, что окружающие созданы только для того, чтобы ему, Шервуду, было легче и приятнее жить.

До войны с «красными боло» Шервуд никогда не знал страха. Первый страх он испытал в селе Толвуе. Он старался о нем не вспоминать.

В Толвуе Шервуд со своим отрядом устраивал восстание против большевиков.

Может быть, если бы к Толвую подошел крейсер, чистый и сверкающий, Шервуд не испугался бы. Может быть, он даже вступил бы в бой с десантом — румяными матросами, одетыми в удобную и дорогую форму. То была бы лихая стычка с товарищами по оружию, отличавшимися от Шервуда лишь тем, что они люди другой национальности.

Но вместо крейсера Шервуд увидел грязный и низкий пароход, который топили дровами. Вместо новеньких орудий —

облезлую пушку, бившую растрепанно и часто. Вместо чистых матросов на берег выбегали оборванные люди, и, наконец, вместо блестящего офицера он заметил грузного женоподобного мужчину в шинели, похожей на больничный халат.

Шервуд понял, что это — смерть и ни о какой веселой перестрелке не может быть и речи. Перед ним были не товарищи по оружию, а враги. В их глазах Шервуд прочел свой приговор.

Нервы игрока не выдержали. Шервуд бежал, не сделав ни одного выстрела.

В Медвежьей Горе он сочинил рапорт, где бегство было заключено в такое количество шаблонных военных выражений, что теряло характер бегства и становилось «совершенно необходимым отступлением под натиском превосходящих сил противника».

Военный пыл сто тринадцатого полка быстро выветривался. Наступление на Петрозаводск шло медленно. От наседавших американцев яростно отбивался единственный батальон, прозванный американцами «батальоном помешанных».

— Взбешенная кошка может испугать даже льва,— говорил по этому поводу помощник Шервуда Тоуз.

Шервуд начал замечать, что солдаты — с ними в прежнее время было так приятно шутить — начали больше помалкивать. Они шептались по блокгаузам и внимательно рассматривали офицеров, будто видели их в первый раз.

Чутьем игрока Шервуд догадался, что солдаты прикупили хорошую карту, но никак не мог решить — какую. Все дело в том, когда они с нее пойдут и чья комбинация будет сильнее.

Ясно, что игру со стороны солдат будет вести сержант Кейри. Это успокаивало Шервуда. Что может выкинуть этот бывший садовник?

Прежняя профессия Кейри, подстригавшего плодовые деревья в садах Калифорнии, должна была выработать в нем качества, свойственные садовникам: доброту и склонность к размышлениям, особенно по утрам, когда сады пахнут воском и цветами померанца.

Шервуд рассказал о своих опасениях Тоузу.

Тоуз начал философствовать — это было его единственным недостатком.

— Божья коровка,— сказал он, радуясь собственной находчивости,— всегда ползет по пальцам вверх. Кейри — божья коровка. Имея дело с ним, никогда не опускайте руку, а держите ее пальцами вверх. Показывайте на небо, и Кейри невольно поползет к небесам.

— Бред,— пробормотал Шервуд.— Говорите серьезнее.

— Необходимо поддерживать возвышенный образ мыслей этого солдата. Надлежит делать вид, что мы вегетарьянцы и убивать «красных боло» нам так же неприятно, как собственноручно резать петухов. Станьте его единомышленником, обез-

оружьте его этим. Ругайте командира полка. Пойте почаще «Звезду отчизны». Тоскуйте по родине. Это верный путь избавить себя от неприятностей.

Шервуд послал Тоуза ко всем чертям и решил развлекаться. Их рота стояла в тылу около Диановой горы. Стычек с «боло» не случалось, это очень успокаивало солдат. Тоуз предложил устроить пикник на ближайшем озере.

День пикника напомнил Шервуду калифорнийское лето. Солнечный свет заливал траву, где трещали кузнечики. Казалось, в озеро с большой высоты сыплется бисер.

От рома голова гудела перетянутой гитарной струной. Патефон насвистывал лихую военную песенку:

Милей солдата
На свете нет.
Об этом знает
Красотка Кэт!

Тоуз, как всегда в таких случаях, говорил о величии солдатской жизни. Речь его звучала неподдельным пафосом.

— Что такое солдат? — кричал он отрывисто и чокался с русской женщиной, приглашенной на пикник из Медвежьей Горы.— Солдат — это человек, знающий цвет воды всех океанов и цвет небес всех материков. Вот что такое солдат! Полки идут всюду — и по снегам России, и по земле Палестины. Чужой ветер шумит в наших знаменах. Ваше здоровье, но, поверьте, я не пьян! Слава горит над нами, как солнце,— слава побед и прелесть опасности. На своих штыках мы носим цветы родных полей. Мы посылаем мысленные поцелуи девушкам, оставленным за океаном. Жизнь солдата прекрасна. Жизнь солдата гремит, как марш. Но, к сожалению, слишком часто она бывает так же коротка, так же коротка.

Тоуз впал в грустное состояние и предложил русской покататься на лодке.

Шервуд незаметно привязал к лодке тонкий канат и, когда она отошла на несколько шагов от берега, стремительно потянул ее обратно. Тоуз греб, брызгал веслами и ругался.

Шервуд отпустил лодку, но снова потянул ее с той же силой. Лодка врезалась в берег. Женщина упала. Ее легкое шелковое платье промокло. Она принужденно улыбалась. Шервуд хохотал.

В эту минуту появился Кейри. Он двигался по лесной тропинке и был виден издалека. Он держал винтовку наперевес. Перед ним шел высокий худой человек с завязанными руками. Порванный клеш бил его по ногам.

Наступила неприятная тишина.

Шервуд опрокинул в горло алюминиевый стаканчик рома, нащупал в кармане револьвер и встал. Тоуз и женщина подошли сзади.

— Пленный,— сказал Кейри, стукнул прикладом о землю и замер.

— Матрос? — спросил Шервуд пленного на ломаном русском языке.

Пленный молчал.

— Из какой части?

Пленный молчал.

— Если вы не перестанете молчать, я буду вынужден поступить с вами, как со шпионом.

Пленный молчал.

— Сын вора,— сказал Шервуд тихо,— если вы назовете свою часть и количество штыков, я отпущу вас обратно. Ваше присутствие в банде «боло» их не спасет.

Шервуд подождал, но пленный ничего не ответил.

— Комиссар? — догадался Шервуд и взглянул в лицо пленного.

Пленный смотрел на Шервуда пристально и спокойно. Шервуд отступил. Пленный сделал шаг вперед, не спуская с Шервуда глаз. Кейри стукнул прикладом и тоже сделал шаг вперед.

— Мне эта комедия не нравится! — крикнул Шервуд, чувствуя прилив истерического раздражения.— Заговоришь ты или нет, собачье мясо?

Пленный продолжал рассматривать Шервуда.

— Что он, немой? — спросил Шервуд Кейри.

— Нет, сэр, он разговаривал и даже смеялся.

Глаза Шервуда побагровели. В голове гудела готовая лопнуть струна.

— Говори! — Он плеснул на пленного остатками рома из стакана. Стакан во время допроса Шервуд держал в руке.

Пленный сделал шаг вперед и плюнул Шервуду в лицо. Женщина вскрикнула. Кейри все еще стоял навытяжку.

— А-а-а! — Шервуд отскочил к сосне. Тоуз знал, что сейчас начнется припадок.— Сержант, не тратить на него больше одного патрона. Сколько у вас патронов в винтовке? Пять? Через полчаса Тоуз проверит вашу винтовку. В ней должно остаться четыре патрона, или вы будете болтаться на первом семафоре.

— Слушаюсь,— глухо ответил Кейри, тронул пленного за рукав и пошел с ним в глубь леса.

«Об этом знает красотка Кэт»,— свистел равнодушный ко всему патефон.

Пикник был сорван. Тоуз и русская женщина вернулись в поселок. Шервуд остался. У него разболелась голова. Ему хотелось отдышаться.

Через полчаса сержант Кейри явился к Тоузу и молча подал винтовку. Тоуз лениво проверил патроны. Их было четыре.

Через два часа на берегу озера обнаружили труп лейтенанта Шервуда. Выстрел был произведен в голову.

В тот вечер в солдатских бараках было шумно и неспокойно. Тоуз слышал, как солдаты пели свою любимую песенку:

Взойди скорей, звезда моей отчизны,
Далекий край измучил сердце мне.
Что делать, брат? Беду солдатской жизни
Не утопить в вине.

Через неделю солдаты сто тринадцатого полка отказались сражаться и потребовали немедленной отправки на родину.

Полк стянули к океану и посадили на транспорты.

Через шесть месяцев сержант сто тринадцатого полка Джон Кейри был приговорен к смертной казни за убийство лейтенанта того же полка Гордона Томаса Шервуда.

На суде Кейри показал следующее:

— Лейтенанта Гордона Шервуда убил я, и убил потому, что он был негодяй.

Весной тысяча девятьсот девятнадцатого года меня послали с ним в село Толвуй, на берегу Онежского озера, с целью поднять восстание против большевиков.

Мы пробыли в Толвуе три дня. На четвертый день к берегу подошла канонерская лодка большевиков, открыла огонь и высадила десант. Он состоял, как потом выяснилось, из полковых музыкантов, едва умевших владеть винтовками. Мы бежали, не истратив ни одного патрона.

На улице в очень узком месте лейтенант Шервуд столкнулся с женщиной. Она вела за руку девочку лет трех. Я бежал сзади и все видел. Лейтенант Шервуд находился в том состоянии страха, когда кажется, что каждая секунда дорога для спасения собственной жизни. Он предполагал, что женщина с ребенком задержит его бегство. Не останавливаясь, он выхватил ручную гранату, сбил кольцо и швырнул ее в женщину. Взрывом была убита девочка.

Уже тогда у меня появилась мысль убить этого офицера.

Мы вернулись в Медвежью Гору. Здесь я встретил большевиков, пробравшихся в наш тыл.

Я узнал, что мы были глупо обмануты. Я увидел людей, в тысячу раз более близких мне по крови и духу, чем офицеры американских полков.

Председатель суда предупредил, что это замечание усугубляет вину и усиливает наказание.

— Больше, чем казнить меня, вы со мной ничего не можете сделать.

— Продолжайте,— поморщился председатель.

— Во время стоянки нашей части в резерве около Медвежьей Горы патруль из трех солдат задержал в лесу матроса-большевика. Я доставил его к лейтенанту Шервуду. Лейтенант пьянствовал на берегу озера со своим помощником Тоузом и неизвестной мне русской женщиной. Пленный отказался дать показания. Лейтенант пришел в ярость и плеснул в него остатками рома из своего стакана. За это он заслужил от пленного плевок в лицо.

Кейри остановился.

— Лейтенант приказал мне расстрелять пленного. Я отвел его за четверть мили и отпустил, дав ему на дорогу табаку и спичек. Потом я вернулся к лейтенанту. «Негодяй убит?» — спросил он меня. «Так точно!» — ответил я и выстрелил ему

в лицо. Я сделал то, что нахожу нужным. Все дальнейшее хорошо известно.

— Вы большевик? — спросил председатель.

— Кончайте,— ответил Кейри.

В зале суда наступила тишина.

Из комнаты конвоя долетало заглушенное пение:

Взойди скорей, звезда моей отчизны,
Далекий край измучил сердце мне.
Что делать, брат? Беду солдатской жизни
Не утопить в вине.

Председатель послал секретаря прекратить пение.

В августе канонерка «Музыкант», получив приказ произвести разведку, подошла к восточному берегу озера, к селу Песчаный Погост.

Ранняя осень уже засыпала лесные дороги мокрыми листьями. Ветер сносил их в кучи около ветхой ограды Песчаного монастыря.

Боцман с «Музыканта» Миронов пошел на берег, долго бродил около монастырских стен, искал грибы, зашел к монахам, побеседовал, посмеиваясь, о кончине мира, а вечером доложил Сарвингу, что одного из монахов нужно немедленно арестовать.

— Почему?

— Коротковолосый,— ответил Миронов.— На пальце у него след от кольца. Монахи колец не носят.

Сарвинг согласился.

Вечером Миронов взял двух матросов и пошел в монастырь. Почти задевая за лицо крыльями, метались вокруг летучие мыши. Над пустошами, заросшими низким лесом и желтой травой, над порубками и болотами подымалась заржавленная луна.

— Вот,— сказал Миронов, поглядев на луну.— Был я в Америке. Там в ресторанах бьют в такие медные гонги, созывают господ в дининг-рум обедать.

Миронов до революции был матросом торгового флота. Он плавал на французских пароходах между Шербургом и Рио-де-Жанейро. Бразилию он не любил.

На жадные расспросы товарищей об этой фантастической стране он отвечал односложно:

— Жарко очень. Нет моготы, как жарко. Никакой бани не нужно. Пот с тебя вытекает, как сало с жареного поросенка. Народ мелкий и нервный. Ходят, вертятся, чирикают, как воробьи,— нету силы в народе.

Миронов говорил с натугой, заикался, краснел.

Разговор для него был каторжной работой. Он предпочел бы перекрасить своими руками всю канонерку от киля до клотика, чем отвечать на приставания матросов.

Миронова тотчас же прозвали «оратором». Когда заходил

разговор о выступлении где-нибудь на сельском сходе, шутники кричали, прячась за спинами надежных соседей:

— Даешь Миронова! У него язык работает механически!

Миронов выискивал обидчика глазами, потом говорил в пространство:

— Гляди, как кокну, мокро станет!

Монастырские ворота были заперты. Миронов постучал рукояткой маузера. Монах с гнилым запахом изо рта приоткрыл калитку.

— Ты бы, батя, водку пил, нутро у тебя от святости гниет,— сказал Миронов, протискиваясь в калитку.

Монах поклонился в пояс.

— Веди к настоятелю.

— Они богу молятся,— просипел монах и мигнул облезлыми глазками.— Нельзя их нынче тревожить.

— Говорю, веди!

Монах шустро побежал по заросшему бурьяном двору.

В покоях настоятеля бегали по стенам худые тараканы. Мутно светили лампадки, и только луна за пыльным окном сияла круглой золотой иконой.

Настоятель вышел молча. Он сжимал сухими руками железный крест на груди и тонко посапывал носом.

— Где ваш святой странник, папаша? — спросил Миронов.— Подайте его на бочку.

— Пошто он вам нужен, матросики? — спросил настоятель басом.— Пошто нарушаете иноческий покой? Неужто нельзя призывать господа среди ваших братоубийственных дел? Игрушку спрячь,— настоятель кивнул на револьвер.— Бог жизнь дал, бог и приберет в положенное время.

— Не бузи, патриарх! — Миронов начинал сердиться.— Мы заместо бога приберем кого полагается.

Настоятель воздел руки к небу и затряс головой. Миронов оттолкнул его и вошел в заднюю комнату. С лавки встал худой человек в старой рясе.

— Их высокородие командир канонерской лодки капитан Ерченко,— сказал Миронов,— просят ваше благородие пожаловать к нам на корабль на чашку чаю.

— Веди,— сказал странник и твердым военным шагом пошел к двери. Лицо его было спокойно и устало.— Веди,— повторил он.— Все равно, такое уж твое счастье.

На канонерке странника обыскали. Под рясой и вонючим тряпьем нашли пакет с английскими донесениями, напечатанными на папиросной бумаге. Донесения на имя великобританского поверенного в Вологде были подписаны генералом Уолшем и, судя по содержанию, переправлялись из Мурманска.

На груди у странника обнаружили шрам от пулевой раны. Но особенно удивило матросов то обстоятельство, что подмышки у странника были чисто выбриты.

— На какого дьявола это нужно? — спросил Миронов.

— От вшей,— спокойно ответил странник.— Опасности меньше. Когда же твой командир меня допросит?

— Дай срок. Управится, тогда и допросит.

— А к стенке когда?

— А за стенку ты не журись. Стенка никого не минует. Может, заместо стенки ты у нас будешь коком — свиней палить. Останешься на сверхсрочную службу. Всякое случается, господин офицер.

Сарвинг перевел донесения и приказал привести арестованного. На столе в кают-компании лежала записка, найденная у пленного, с двумя цифрами — 13 и 57, браунинг и золотая пуговица с орлом.

— Садитесь, поручик. Сарвинг говорил очень медленно, и на его обрюзгшем лице, вопреки обыкновению, не было даже тени улыбки.

— Я не поручик, а подполковник. Но сейчас это не важно.

Сарвинг усмехнулся.

— Сейчас важно лишь то, что вы обыкновенный шпион,— промолвил он, перебирая бумаги.— Но не будем вспоминать о неприятных вещах. Поговорим на более интересные темы. Например, не встречали ли вы в Мурманске англичанина со шрамами на лице? Такие шрамы остаются на обмороженных местах. Чего вы хотите, пятьдесят градусов ниже нуля — это вам не жук потрогал лапкой. В бураны и при плохой пище все кончается гангреной и смертью. Так вот, не случалось ли вам беседовать с человеком, покрытым такими шрамами?

Офицер помолчал

— Да. Такого я, кажется, видел, но не говорил с ним Я не знаю английского языка

— Значит, вы не знаете и содержания этих документов? — Сарвинг положил руку на листок папиросной бумаги.

— Нет.

— Вы плохой шпион.— Сарвинг поднял на офицера серые глаза, во взгляде его была брезгливость и усталость.— Вы не интересуетесь людьми. Вы не интересуетесь даже секретными пакетами, из-за которых рискуете жизнью. Поэтому-то вы так легко и попались.

— Не потому,— ответил офицер, скручивая толстую папиросу из махорки.— Я прошел пешком от Повенца до Песчаного Погоста. Я устал. Мне все надоело. Один конец.

— Раскаяние после ареста не имеет никакой силы.

Офицер молчал.

— Куда вы шли?

— В Вологду.

Сарвинг тихо свистнул — далеконько! Он повертел золотую пуговицу и бумажку с цифрами 13 и 57.

— Это что?

— Пустяки. В Вологде я должен был пришить эту пуго

вицу к косоворотке, чтобы меня опознали свои. А тринадцать и пятьдесят семь — это пароль и отзыв. На пристани в Вологде я должен был встретить человека с такой же золотой пуговицей и сказать ему «тринадцать». Есть он ответит «пятьдесят семь»,— значит, свой. Я передаю ему пакет и получаю новое задание. Вот и все.

Сарвинг спрятал пуговицу и записку в карман вытертой до блеска синей куртки.

— Пошлете кого-нибудь в Вологду? — спросил офицер.

— Как придется.

— Мне безразлично. Скоро вы отправите меня в «штаб Духонина»?

Сарвинг побарабанил пальцами по столу. Бледные звезды за окнами казались страшно далекими, будто канонерка стояла среди Тихого океана. За переборкой кто-то сердито сказал:

— Пес вас знает, выбленочный узел завязать не умеете! Бархатные стали, черти!

— Сперва я отправлю вас в штаб флотилии. Если шпион дается в руки живым, то его обыкновенно разменивают. Таков неписаный закон. Но, в общем, в штабе посмотрят.

Два матроса с винтовками отвели арестованного в каюту.

Ночью канонерка снялась и пошла на соединение с флотилией.

Сарвинг сидел в каюте, сдвинув фуражку на затылок, много курил и перечитывал документы, отобранные у офицера. Огня он не зажигал. В окна светила пасмурная северная ночь.

Сарвинг волновался. Он бормотал про себя ругательства, пытался встать, но снова со скрипом садился на койку и подолгу смотрел на белесую карту озера, где берега и глубины проступали тонкими, почти стертыми линиями. Ему нужен был собеседник, чтобы излить свое волнение. Собеседника не было. Но если бы он и был, то Сарвинг все равно не мог бы высказать ему свои мысли, ибо они касались документов, совершенно секретных. Поэтому Сарвинг беседовал с картой.

— Паршивая получается комбинация,— говорил он, часто задумываясь.— Вот я, Ерченко, штурман дальнего плавания... Плавал я и в Атлантическом океане, и в Тихом, и к берегам не жался, как каботажники. Плевали мы на маяки! Мы маяков по две недели в глаза не видели.

С детства, понимаешь ты, с самого детства я всосал в себя вместе с чаем и табаком уважение к своей профессии. Моряки — это не озерные трепачи. Кто открывал новые земли? Кто описывал берега, изучал течения, погибал у полюсов? Наш брат моряк. Благодаря кому открыта теория Дарвина? Благодаря морякам и кораблю «Бигль». Не будь кораблей и плаваний, Дарвин сидел бы себе библиотекарем в Лондоне и жевал бутерброды с крутыми яйцами. Вся история прошита, как

парус прошивается манильским тросом, именами моряков. Колумб, Магеллан, Кук, Лаперуз, Беринг, Нансен да, наконец, этот самый Шекльтон.

Да... Шекльтон... Мужество отчаянное, полярные ночи, вылазки на лыжах к Южному полюсу. Человек смотрел смерти в лоб, смотрел и смеялся. Газеты писали о величии... Нет, я не сомневаюсь. Это было настоящее величие. Еще в морском училище историк Шервинский говорил нам: «Морякам присущи сильные характеры». Так вот этот самый Шекльтон был одним из немногих... Как это сказать? Ну, человек с железными скулами и запасом жизни, которого хватило бы на десять капитанов... И вот — сгнил. Осталась одна мертвая хватка. И все Англия. Лондонские коммерсанты, чертовы старички, чтоб они пропали!

Сарвинг наклонился над столом. Выцветшая ночь разливала по каюте свет, как бледную воду.

Было холодно. Хотелось закутаться с головой в шинель, согреться, уснуть и увидеть во сне родную Одессу, теплую воду в Бакалейной гавани, солнце, мокрые букеты гвоздики, что продают девчонки.

Сарвинг поежился. Если наскочат английские истребители, то так, может быть, и придется умереть, не выспавшись. Он начал медленно читать:

«Уполномоченному правительства его величества.

Вам необходимо знать, что бывший офицер королевского флота Шекльтон, прославленный своей экспедицией к Южному полюсу, заключил с губернатором Северной области генералом Миллером соглашение о передаче в концессию английскому акционерному обществу под председательством упомянутого Шекльтона всех богатств Кольского полуострова. Общество обладает капиталом в два миллиона фунтов стерлингов. Оно состоит из англичан с наилучшей деловой и финансовой репутацией. Концессия заключается на 99 лет.

Общество Шекльтона получает Мурманский район со всеми минеральными залежами, железнодорожную линию от Мурманска до Сороки, право вывозить лес в неограниченных размерах, строить лесопильные заводы, дороги и порты, ловить рыбу и вообще всячески использовать русский Север в интересах развития великобританского капитала.

Генерал Миллер получает взамен крупный транспорт продовольствия и обмундирования. Будут также доставлены иные предметы, необходимые для успешных действий русской добровольческой армии».

— Иные предметы! — Сарвинг усмехнулся.

«Директор-распорядитель компании Шекльтон прибыл в Мурманск для работы.

Вам необходимо поддерживать среди организации русских офицеров уверенность (основанную на подлинном положении дела), что работа английских промышленников на севере не только облегчит борьбу с большевиками на фронте, но упорядочит тыл добровольческой армии, каковой, как вам должно быть известно, носит черты беспорядка и анархии.

Сообщаю вам для сведения, что флотилия его величества на реке Северной Двине пополнилась броненосной канонерской лодкой речного типа «Умбер», пришедшей из Бразилии и тремя номерными мониторами».

Утром канонерка подходила к острову Хед. Шли у самого берега. Солнце переливалось в воде выпуклыми зеркалами. Пахло теплыми листьями ивы.

На баке слышался смех. Боцман Миронов рассказывал матросам, как английская речная канонерка «Умбер» во время плаванья по Амазонке запуталась в водяных лилиях и потеряла винт.

За островом открылась флотилия. Со сторожевого катера заиграли на гребешках неистовый марш — обычное приветствие «Музыканту». Миронов погрозил насмешникам кулаком и обозвал их «халамидниками».

Сарвинг просемафорил флагманскому кораблю: «Имею на борту пленного белого офицера с секретными документами».

От флагманского корабля отвалила шлюпка. Вода разлеталась с весел гребцов тяжелыми каплями ртути. Оловянные лососи выскакивали из воды, окруженные брызгами и бледными радугами от солнца.

До осени Тренер пролежал в петрозаводском лазарете. Рука долго не заживала. Началось глубокое нагноение — в рану попал кусок шинельного сукна.

В начале августа рука прошла. Тренер собирался выписываться, но заболел сыпным тифом.

Вместе с Тренером лежал сигнальщик с «Музыканта», Федор Гущин, раненный в ногу.

Судьба как бы нарочно сталкивала Тренера с Гущиным. Оба были ранены в одном бою под Видлицей, в один и тот же день заболели сыпняком и вместе вышли из лазарета.

Гущин был низкорослый матрос с прищуренными глазами. В лазарете он зачитывал до дыр пухлый томик Пушкина. Каждый раз, откладывая книгу, Гущин говорил:

— Окончательно хорошо!

— Чем тебе Пушкин нравится, Федя? — спрашивал Тренер.

— Душа от него горит, Эдуард Петрович.

Душа у Гущина горела не только от Пушкина. Она горела и от воспоминаний, и от жгучей боли. Гущин не мог забыть буйные митинги на Якорной площади в Кронштадте, дождливую ночь, когда он стоял в карауле у Смольного, и гром башенных орудий «Авроры», стрелявшей по Зимнему дворцу.

Пламя костров и огни выстрелов в тумане — такими запомнились ему первые дни Октября. От них тянуло свежестью балтийских волн. Со щек не сходил кирпичный румянец. Бушлат был всегда нараспашку. Сердце холодело от волнения,— казалось, прямо в сердце дул ветер революции.

От боли душа начала гореть недавно. Гущин шептал в потолок: «Окончательные гады»,— и отворачивался от Тренера к стене.

Он скрывал от капитана страшную новость: канонерка «Номер два» и сторожевое судно «Баян» выбросились на камни около Толвуя после боя с английскими истребителями и гидропланами.

В первых числах августа истребители наскочили на канонерку и «Баяна», стоявших в дозоре у острова Сал. Истребители носились с неимоверной скоростью. Они развивали шестьдесят узлов в час, а наши канонерки едва натягивали четырнадцать узлов.

Истребители вертелись угрями, вспарывали воду и, пользуясь преимуществом хода, спасались от выстрелов. Гидро засыпали наши суда бомбами, снижаясь к самой воде.

Когда орудия на канонерке и «Баяне» раскалились и отказались стрелять, оба корабля, полузатопленные и окутанные паром, выбросились на камни. Команда спаслась вплавь. Гидро расстреливали плывущих из пулеметов.

Канонерка «Номер шесть» до последней минуты отражала набеги истребителей, прикрывая собой израненные суда. Расстреляв все снаряды, она ушла на юг, отбиваясь из винтовок от англичан, наседавших, как стая гончих.

Гущин боялся рассказать об этом Тренеру: капитан был еще слаб.

— Труба! — бормотал Гущин.— Ну, ничего, посчитаемся.

Посчитаться пришлось только поздней осенью, когда Тренер и Гущин вернулись во флотилию.

В первых числах октября флотилия вышла в Толвуй.

Около Толвуя, на острове Мэг, белые поставили сильные судовые орудия. Остров запирал вход в Повенецкий залив.

Был получен приказ уничтожить батареи противника на острове Мэг, уничтожить белую флотилию и высадить десант в тылу у белых, в Медвежьей Горе.

Хмурая осень моросила над озером. Лесные гари затянули берега серой дымкой.

В Толвуе Тренер пошел с Гущиным к Кузьминишне в «Кафе Колдунчик». Старуха узнала капитана, обрадовалась и снова накормила его простоквашей. Учительницы Тренер не застал. Она уехала в Петрозаводск, и Кузьминишна даже не знала ее адреса.

От Кузьминишны пошли побродить в лес. Приближался вечер. В тумане падали желтые листья.

Гущин сорвал ветку мокрой калины и сказал задумчиво:

— «Люблю я пышное природы увяданье».

После лазарета он часто вспоминал кстати и некстати пушкинские стихи.

— Здесь я ее нашел, учительницу,— он показал Тренеру на тропинку.— Сердце горит, как вспомню.

На канонерку они вернулись в темноте. Звезды отражались в озере, как в матовом стекле. Леса опадали. В ушах Тренера стоял еще шорох сухой листвы, свист последних птиц. Не верилось, что рядом рыщут истребители белых и что вот в этом переулке лейтенант Шервуд бросил ручную гранату в трехлетнюю девочку.

Гущина радовало, что завтра бой и он наверняка примет сигнал командующего лечь на створ острова Мэг и открыть огонь залпами. Опять матросы зовут его «Копченым глазом», как принято дразнить сигнальщиков. Но даже это радовало Гущина.

Тренер проснулся еще до рассвета. За перегородкой каюты барабанил по палубе дождь.

Тренер натянул сырую шинель. Его знобило. Сквозь изморось с трудом просачивалось слякотное утро. На востоке лежала розовая грязная муть. Она предвещала ненастье.

Гущин не ошибся — с флагманского корабля просемафорили приказ лечь на створ острова Мэг.

К десяти часам утра открыли низкий остров. Розовый свет на горизонте потух. Навстречу кораблям бежали бесконечные волны. Начало качать.

Кабельтовы уменьшались, но остров молчал. На сигнальной мачте был виден в бинокль трехцветный флаг.

На судах заиграли боевую тревогу.

Остров полыхнул шестью желтыми огнями. Угрюмый гром потряс воздух. Дождь пошел гуще.

Флотилия открыла ответный частый огонь. Суда маневрировали, ложась на разные курсы.

— «Дым багровый клубами всходит к небесам»,— громко сказал Гущин.— Садят из шести орудий. Красота! Однако спасения им не будет.

Все было непривлекательно: и небо, и озеро, и пасмурные дали, и низкий остров. Только желтые вспышки орудий разрывали замешанный на пепле дым. Вспышки эти казались Тренеру праздничными хлопушками.

Внезапно Тренер ощутил прилив мальчишеской радости. Непонятная уверенность, что и его, и Мартайнена, и всю флотилию ожидает необыкновенное счастье, заставила его рассмеяться. Такое чувство он изредка испытывал в жизни. Оно никогда не обманывало. Гущин с удивлением взглянул на смеющегося командира: боевой парень, даром что сказочник и чудак!

Тренер повернул канонерку бортом и дал залп по острову, дымившемуся от разрывов и дождя.

Неожиданно спустился туман. Огни выстрелов на острове

едва пробивали его пелену. Тренер с раздражением взглянул на часы,— всего восемь часов утра, но впечатление такое, что на озеро опускается ночь.

Бой быстро затихал. Остров растаял в тумане. Дождь монотонно гудел по палубам кораблей. Подойти ближе к острову было невозможно: белые поставили под берегом мины.

С флагманского судна передали приказ прекратить огонь и стягиваться к Кузаранде. Надо было экономить снаряды и пополнить запас дров.

— Ну и паршивые места! — рассердился Тренер.

На следующее утро флотилия снова подошла к острову и открыла жестокий и частый огонь.

Сперва остров отвечал из всех орудий, потом начал отвечать все реже, как огрызающийся зверь. На острове возник пожар.

Внезапно Тренер выругался и засвистел, что во время боя считается верхом бестактности. Но событие действительно было необычайное: снаряды белых ложились перед самым островом — там, где никаких судов не было. Белые били в чистую воду.

— Они ошалели! — крикнул Гущин.

Старший артиллерист пожал плечами.

— Забавно,— промолвил Мартайнен и показал глазами на всплески снарядов, подымавшиеся далеко позади флотилии.

Белые стреляли суетливо и неумело.

— Что происходит? Что за кабак! Какие немыслимые дистанции.

— Или повальное сумасшествие,— предположил артиллерист,— или испортились дальномеры.

Можно было подумать, что орудия на острове попали в руки детей и они забавляются, расстреливая прибрежные скалы. Одна скала взлетела на воздух каменным дождем.

Тренер укоризненно покачал головой. Суда флотилии постепенно прекратили огонь.

С флагманского корабля затрещало радио. Командующий предлагал острову сдаться во избежание излишнего кровопролития.

Через минуту на уцелевшей сигнальной мачте на острове поднялся красный флаг. «Ура» прокатилось над судами флотилии и далеким громом отозвалось на лесистых берегах. Вздрогнула вода.

Флагманский корабль принял с острова радио: «Не стреляйте». Остров Мэг сдался.

Командующий приказал гарнизону прислать делегацию с замками от орудий. Остров не ответил. Он сдался, но поведение гарнизона казалось подозрительным, хотя орудия на острове молчали.

Ждали весь день. Лишь к вечеру от острова отвалила шлюпка. На судах флотилии наступила глубокая тишина, будто все

затаили дыхание, надеясь услышать разговор делегатов с командующим.

Делегаты поднялись на палубу флагманского корабля. Впереди шел молоденький офицер без оружия и со споротыми погонами. Он отдал командующему честь.

— Гарнизон острова деморализован,— сказал он высоким вздрагивающим голосом.— Часть людей вместе с офицерами бежала на берег, часть перепилась. Остальные сдаются.

— Почему вы не ответили на радио о присылке делегации?

— Вашим последним снарядом разбило радиостанцию. Мы доставили пулеметы и шифры.

— Чем объяснить вашу сдачу? Ведь остров хорошо укреплен.

Офицер покраснел.

— Иностранцы ушли. Мы остались одни, и потом... это было безнадежное дело.

Командующий улыбнулся. Он вспомнил утреннюю сумасбродную стрельбу.

— Почему вы вели такой странный, чтобы не сказать больше, огонь?

— Орудийная прислуга была пьяна.

Матросы стояли поодаль. Офицер оглянулся, побледнел и сделал шаг назад. Он ждал, что по бокам вырастут конвойные с примкнутыми штыками, но командующий приказал отвести делегатов в кают-компанию и напоить чаем.

— Я очень прошу,— сказал офицер более твердым голосом,— по возможности не расстреливать нас, а использовать в качестве бойцов. Иностранцы третируют нас, офицеров и солдат Северной добровольческой армии, как собак. Даже наши союзники плюют нам в лицо, втайне считая нас изменниками родине. Это невыносимо. Лейтенант Смолл устраивает массовые порки крестьян. Адмирал Кетлинский убит в Мурманске за то, что противился интервенции. В тылу разбой, пьянство и хабарничество.

— По возможности мы вас не расстреляем.— Командующий снова улыбнулся своим мыслям.— Вы бывший студент, должно быть?

— Так точно.

В кают-компании офицер жадно пил чай, и на глазах его блестели слезы. Он был еще очень молод. Слезы он глотал вместе с жидким чаем и сухарями.

— Совсем птенец,— сказал командующий комиссару флотилии.— Трудно такому без мамы, ой, трудно!

Делегаты сообщили, что вокруг острова стоит пояс мин.

Всю ночь к Мэгу ощупью подходили шлюпки с судов флотилии. К утру на остров был высажен отряд моряков. Он захватил восемь орудий и богатые запасы обмундирования и продовольствия.

Около судов флотилии плавали вспоротые консервные банки

от английского корнбифа и французской солонины.

Потеплело.

Половина неба затянулась красным дымом — за облаками заходило солнце.

Тренер тянул воздух всей грудью. Он проглотил одним залпом десятки свежих запахов: онежской воды, рыбы, осени, смолистых палуб, березового дыма из корабельных труб.

Вторую победу он ощутил как отдых.

Обстоятельства смерти сигнальщика Гущина передавались из уст в уста и ко времени прихода флотилии из-под Медвежьей Горы в Петрозаводск приобрели характер легенды. На самом же деле смерть эта была для гражданской войны вполне обыкновенна.

Официальный рапорт сообщает следующее:

«В ночь на 5 ноября флотилия вышла из Толвуя к Медвежьей Горе для высадки десанта в тылу у белых.

Вблизи Аженского маяка к кораблям флотилии присоединились транспорты с отрядом красноармейцев. Несмотря на сильный мороз, половина бойцов не имела шинелей.

В полной темноте, с потушенными огнями флотилия продвигалась малым ходом вдоль самого берега, дабы не наскочить на мины, расставленные белыми в некотором отдалении от береговой полосы.

Не замеченная неприятелем, флотилия достигла мыса Крестовый Наволок и приступила к высадке десанта. Пошел мокрый и настолько густой снег, что с мостика не было видно собственного форштевня. Десант свозили на шлюпках в темноте и пурге.

При подходе транспорта к берегу шлюпки были обнаружены неприятельским дозором. Сделав несколько ружейных залпов, дозор отошел.

Спустя недолгое время флотилия белых открыла ураганный орудийный огонь из Пергубы, находящейся в миле от Крестового Наволока. Попаданий не было. Белые либо совсем не знали местонахождения нашей флотилии, либо в темноте не могли ориентироваться, так как своим молчанием мы не давали противнику возможности определить наше местоположение.

После получасовой стрельбы в расположении белой флотилии произошло несколько сильных взрывов.

К рассвету высадка десанта окончилась. Десант перерезал шоссейную дорогу Медвежья Гора — Любские Пески и захватил обоз белых.

Утром мороз усилился, и ветер развел большую волну. Флотилия начала обстрел Медвежьей Горы. На наш огонь отвечал только бронепоезд противника.

Днем обстрел Медвежьей Горы возобновился и вызвал в поселке большой пожар.

К вечеру от командира десантного отряда была получена записка. Он сообщал, что белые получили сильное подкрепление, наступают с двух сторон, и пока не поздно — надо дать суда для приема десанта обратно.

Десант был взят на заградители, и флотилия отошла к югу.

Десант не мог развить наступления ввиду пурги, а также голода и крайнего утомления бойцов предыдущими беспрерывными боями.

Во время десантной операции погибло 16 бойцов, в том числе сигнальщик Онежской флотилии Федор Гущин, добровольно вступивший в ряды десантного отряда».

Из рапорта никак нельзя сделать вывод, что десантная операция под Медвежьей Горой нанесла тяжелый удар белым.

В рапорте нет ни слова о ночной панике в Пергубе, как нет и подробностей смерти сигнальщика Гущина.

В рапорте сказано, что дозор белых, сделав несколько ружейных залпов по транспортам, быстро отошел. Дозор сообщил в Пергубу на суда белой флотилии, что к мысу Крестовый Наволок подошло с юга много пароходов. Ночь и буран преувеличили их размеры. По словам дозорных, пароходы были полны людей и на палубах ржали лошади,— очевидно, в тылу белых высаживалась кавалерийская часть.

Белая флотилия, стоявшая на якорях, открыла ураганный огонь. Били вслепую, в ночь, ожидая, когда ответят красные, чтобы по вспышкам выстрелов определить место высадки десанта. Но красные упорно молчали.

Мокрый снег лепил комьями в лица наводчиков. Страшная ночь душила со всех сторон, как петля.

Командующий белой флотилией страдал астмой. Он стоял на мостике, задыхался от раздражения, стучал кулаком по поручням и вскрикивал:

— Отвечайте же, черт вас дери! Отвечайте!

Временами командующему казалось, что дозор напутал, никаких большевиков нет и белая флотилия стреляет по пустому месту. Но тут же всем существом он ощущал крадущийся ход красных канонерок, запиравших его в Пергубе.

— Как они прошли по минам? — спрашивал он помощника. Не дожидаясь ответа, хватал бинокль и дрожащей рукой нащупывал разрывы.

Сначала он ничего не видел, кроме черной непроглядной воды, заливавшей озеро. Потом широкий круг бинокля загорался грязным огнем, взлетали бурные фонтаны, и снова глаза залепляло крепчайшим мраком.

— Противник молчит. Заставьте его отвечать! — кричал он помощнику и судорожно расстегивал шинель. Грудная жаба сосала сердце, то прикусывая его крепким ртом, то отпуская. Командующий знал, что это его последняя ночь на земле.

— Может быть, там никого нет?

Помощник пожал плечами.

— Есть. Прислушайтесь.

Командующий перестал ходить по мостику. Со стороны Любских Песков отчетливо гремели орудия. Командующий узнал огонь белого бронепоезда.

Что может быть страшнее врага, который без единого выстрела берет вас в кольцо в такую собачью ночь? По шоссе мчались обозы. Начиналась паника. Суетливые винтовочные выстрелы распарывали темноту. Со стороны железной дороги донесся тяжелый и медленный удар.

— Красные обходят! Мост взорвали! — крикнул в темноте надорванный голос.

Бронепоезд замолк. Сухопутная батарея белых стреляла очередями. Вспышки выстрелов освещали черные палубы, заваленные снежной жижей, хмурые берега, серый снег, летевший стремительным туманом над лесами.

Суда белой флотилии стреляли беспорядочно, то затихая, то сразу срываясь и перегоняя друг друга.

— Истерика! — пробормотал помощник командующего и вздрогнул от вопля с бака: «Суда по левому борту! Суда!»

— Дайте ракету,— приказал командующий.

Теперь все было ясно: красные канонерки заперли его в смертельной яме, поймали в западню, в чертов капкан.

Ракета свистнула и загорелась больным синеватым светом.

— Вот оно, вот! — крикнул командующий и показал в сторону озера, где в черной воде и шторме мчался, валясь с борта на борт, залепленный снегом до мачт миноносец с красным флагом на стеньге.

Командующий схватил себя за горло. Колючая боль свела скулы. Казалось, они трещат и лопаются на части. Был ясно слышен гул машин и порывистое хрипение пара, рвущегося из труб миноносца.

— «Уссуриец»,— пробормотал командующий.— Откуда? Как он прошел в Онежское из Балтики? Каюк! Взорвать флотилию!

Миноносец налетел белой бурей. Небо дрогнуло. Рев орудий обрушился на мокрые палубы.

Командующий упал. Помощник схватил его за плечи — он был мертв. Ракета погасла.

Помощник сбежал с мостика. С флагманского судна замигал жалкий в ночном шторме световой сигнал: взорвать суда белой флотилии, а командам отступать пешим порядком в Медвежью Гору.

Был миноносец или не был — помощник командующего не знал. Он отдал приказ о взрыве флотилии в силу ясного чувства, что все потеряно.

Через десять минут удары взрывов остановили на минуту буран. Снег пошел медленнее.

Об этом случае в приведенном выше рапорте сказано глу-

хо: «После получасовой стрельбы в расположении белой флотилии произошло несколько сильных взрывов».

На рассвете разрозненные отряды белых моряков отходили к Медвежьей Горе. Свинцовый ветер нес колючую крупу. На месте, где недавно стояла флотилия, гуляла ледяная волна.

Отступавшие остановились — тяжелый залп стряхнул снег с сосен. Красная флотилия наконец открыла огонь. Орудия ворчали уверенно и неторопливо. Ночные страхи давно прошли. Стало ясно, что никакого миноносца не было.

Мурманские гимназисты в матросских шинелях, весь странный сброд, составлявший команду белой флотилии, понуро брел вдоль берега на север, где подымался дым громадного пожара. Горела Медвежья Гора.

Федор Гущин погиб на рассвете на второй день высадки десанта. Он ушел с корабля с отрядом бойцов.

Гущин знал, что поступок его сочтут дезертирством, но ему смертельно надоели неуклюжие пароходы, надоели бои, где не видишь врага, надоело холодное и неспокойное озеро, надоело, наконец, вылавливать мины игрушечными катерными тралами.

Сухопутные стычки казались очень заманчивыми. Там приходилось перебегать, прятаться, хитрить, вообще действовать, тогда как на корабле во время боя стой и жди, влепит или не влепит неприятельская батарея снаряд в твою «консервную коробку».

Весь день Гущин с бойцами отстреливался от наседавших с севера белых. Пальцы сводило от холода. Временами было невозможно спустить курок. Пули мяукали среди сосен и с чавканьем падали в мокрый снег.

Кое-кто из бойцов жевал сухари, но у большинства сухарей не было. Хотелось пить. Гущин стряхивал снег с еловых веток и глотал его. От снега шел слабый запах соленых огурцов.

К вечеру бронепоезд белых вырвался из леса и обстрелял отряд частой картечью. Бойцы падали в снег, дули, ругаясь, на красные пальцы, с натугой оттягивали затворы. Некоторые так и остались лежать на снегу, и нельзя было понять, убиты они или уснули от непомерной усталости.

К ночи под прикрытием бронепоезда с юга подошли свежие белые части. Десант зажимали в тиски. Он медленно отходил к озеру.

По пути перешли вброд ледяную бурую реку. Один из бойцов упал в воду и начал биться, как пойманная рыба. Гущин понял, что боец пропал. Подобрать его не успели. Белые поливали реку частым огнем из автоматов.

Стало слышно, как далеко на озере громыхала флотилия, бомбардируя Медвежью Гору.

Неопытный в сухопутных боях, Гущин видел одно: десант

сбивают к берегу, железная дорога не тронута, белые с двух сторон. Одним словом — «труба». О панике, вызванной десантом в тылу у белых, Гущин не знал. Он ее попросту не видел. О том, что белым, чтобы сбить десант, пришлось снять части с фронта, он тоже не знал.

К вечеру первого дня Гущин совершил второе дезертирство. Он скрылся из отряда, захватив четыре ручных гранаты. Ночью он прошел через лес до полотна железной дороги и залег в кустах около деревянного моста.

Он лежал и слушал, толком не зная, что будет делать. К полночи он задремал. Приснился ему родной Белозерск, осень, дождь, приходская школа и поп Иосаф, обучавший его грамоте по растрепанному учебнику Ветхого завета. Поп сидел в классе в глубоких калошах, из-под дверей дуло мокрым холодом.

Гущин проснулся и сплюнул,— приснится же такая мура!

Густо шел снег с дождем. Спокойно погромыхивали рельсы. По звуку Гущин решил, что идет бронепоезд. Он подполз к мосту. Никого вокруг не было. Из лесу осторожно, как бы пятясь, выкатился первый бронированный вагон.

— Эх, чайку бы! — вздохнул Гущин, сбил кольцо с гранаты и швырнул в мост.

Мост осел только после третьего взрыва.

Сбивая кольцо с четвертой гранаты, Гущин замешкался. Граната разорвалась в воздухе. Гущин сел на землю, почувствовал во рту теплую жидкость и глотнул ее. Она была соленая, от нее тошнило.

— Вот так чаек! — пробормотал он растерянно, сплюнул на снег окрошку из зубов с кровью и лег на насыпь.

Поезд набегал с протяжным гулом.

Гущин опять забылся, увидел Тренера, шедшего к нему через лес, крикнул ему: «Душа у меня горит, Эдуард Петрович!» — но Тренер не слышал. Он шел и пел свою любимую песенку:

Кто ты, певунья, я не знаю,
Но звонким песням на реке
Я часто издали внимаю
В своем убогом челноке.

Гущин вздохнул и закрыл глаза.

Бронепоезд с чугунным лязгом и громом валился под откос, разворачивал землю и вздрагивал, как недобитая змея. В синеватом свете зари он был страшен и отвратителен.

Гущин лежал на боку, свернувшись калачиком. Казалось, на насыпи спит мальчик. Вокруг его головы снег превратился в розовую грязную кашу.

— Так и быть, поговорим о героизме,— согласился Сарвинг.— Понятие, конечно, туманное. Например, ваш угреватый артиллерист, когда заело зенитное орудие, грозил английскому

летчику кулаком. Героизм это или нет? Летчик капнул на него бомбой и оторвал руку. Ставлю этот вопрос на обсуждение Вот черт, как скребет!

Флотилия пробивалась через лед к Петрозаводску. Летняя кампания закончилась. На палубах стоял визг от трущихся о льдины железных корпусов. Черный туман, носивший название «соуса», лежал по горизонту.

— Тоже нашли героя,— рассердился Мартайнен – Если бы ему не оторвало руку, я упек бы его под арест. Он должен был чинить орудие, а не махать кулаками.

— Ну, хорошо! Возьмем другой случай с тем же самым артиллеристом. Под Видлицей он блевал от страха, но во время боя сбил неприятельские батареи. Что вы на это скажете?

— Это героизм, согласился Мартайнен.

— Героизм, героизм,— насмешливо повторил Тренер.— Величайший героизм не в том, чтобы подставлять лоб под шальную пулю, а в том, чтобы понять величие совершающихся событий и верить в победу. Сигнальщик Гущин жил как герой, но смерть его я не считаю героической, хотя вы на этом и настаиваете. Позвольте, дайте мне кончить. Гущин жил как герой. Почему? Совершенно ясно, потому что за коркой черствого хлеба, за тифом, дырявыми канонерками и вынужденной жестокостью он видел конечную цель. Она была великолепна, и, поверьте мне, Гущин ни на минуту в этом не сомневался.

— «Туманно, туманно, как все туманно кругом»,— хрипло пропел Сарвинг.

— Для тебя все туманно, толвуйский барабанщик, даже таблица умножения.

— Вы считаете, что Гущин погиб бессмысленно? — спросил Мартайнен.

— Да В наше время смерть должна быть целесообразной, как и любое человеческое действие. Умирать следует тогда, когда это дает наибольший, если хотите, деловой эффект. Гущин погиб, как восторженный поэт на баррикаде. Он не имел права бросить корабль.

Мартайнен укоризненно покачал головой.

Тренер вспылил.

— В героизме должны сочетаться ум и верный расчет. Иначе это галиматья. Поняли? Революция не крестовые походы, где рыцари умирали ради того, чтобы поцеловать землю Иерусалима. Красивые жесты сейчас не нужны.

— Ну, если вы считаете взрыв бронепоезда красивым жестом... — пробормотал Сарвинг.— Это уж слишком.

Тренер наговорил сгоряча кучу несуразностей и, хлопнув дверью, вышел на палубу.

Он не умел спорить. В пылу спора он зачастую говорил совсем не то, что думал, потом спохватывался и ругал себя

дураком. Так было и сейчас. Смерть Гущина потрясла его. Он прекрасно видел ее величие.

«Что может заставить людей с легким сердцем бросаться в бой?» — спрашивал он себя.

Очень многое. Начиная от идей, потрясающих человека до последнего нервного волокна, и кончая вот такой смертью, какой умер Гущин.

Тренер прошел на бак. Холодный туман наплывал густыми полосами, и в нем отрывисто звенели склянки. Звон склянок вызывал у Тренера множество воспоминаний. В сущности, вся жизнь прошла под этот звон, всегда одинаковый и всегда немного печальный.

— Не жизнь, а целая история с географией,— усмехнулся Тренер и неожиданно сказал в пространство: — Вот за это спасибо!

Он благодарил неизвестно кого за то, что ему привелось родиться в эту величавую и грозную эпоху, слышать гул величайших портов мира, гром сражений, видеть ржавые берега Миссолунги, где умер Байрон, и заросший чертополохом Белозерск, где родился матрос Федор Гущин, читать умные книги и драться за революцию.

— Честное слово, хорошо жить! — сказал Тренер Сарвингу, вышедшему вслед за ним на палубу.— Я чего-то там наболтал. Ты не обращай внимания. Если ты умрешь, как Гущин, я начну тебя уважать.

— Ты меня живого уважай,— захохотал Сарвинг.

Золотые пуговицы с якорями болтались на его шинели и дрожали от смеха.

Со сторожевого судна долетело глухое пение сирены. Вдали возник Петрозаводск. Спускался вечер, но в городе не зажигали огней — там ждали налета неприятельских аэропланов. Только над Онежским заводом хмуро светилось зарево литейных печей.

Вскоре после десанта у Медвежьей Горы северный фронт был прорван, и белые в беспорядке отошли к океану.

1932

СОЗВЕЗДИЕ ГОНЧИХ ПСОВ

Всю осень дули ветры с океана. Воздух дрожал, и наблюдать звезды по ночам было очень трудно.

Астроном Мэро был болен и стар. Он не мог сам раздвинуть маленький купол обсерватории и звал на помощь садовника. Они вдвоем тянули за тонкий канат. Створки купола тихо визжали, расходились, и, как всегда, в совершенной темноте появлялось холодное звездное небо.

Мэро садился отдохнуть на лесенку и горестно качал головой: «Ну, конечно, опять ветер! Опять воздух разной плотности летит над землей, перепутывая световые лучи».

Сухие дубовые листья залетали в обсерваторию. Деревья шумели за стенами, и садовник говорил, что если ветер срывает даже дубовые листья, то, значит, будет дуть очень долго.

Мэро любил поговорить с садовником. В горной обсерватории жило всего восемь человек. До ближайшего городка было тридцать километров каменистой трудной дороги. Товарищи Мэро — астрономы — отличались молчаливостью. Они разговаривали редко,— все, что можно рассказать, уже было рассказано. Они избегали расспросов и делали вид, что поглощены вычислениями.

Старуха Тереза — тоже молчаливая и суровая — готовила астрономам скромный обед. С каждым месяцем обед в одни и те же часы, в обществе одних и тех же людей становился все тягостнее. С каждым годом все крепче овладевала людьми привычка к одиночеству. Тишина была так постоянна, что даже случайно прочитанные книги Мэро воспринимал как шум. Читая книгу, он, конечно, не слышал никаких звуков, но живо представлял их себе и сердился тем сильнее, чем больше было в книге сутолоки и громких разговоров.

— Какая крикливая книга! — говорил он и морщился.— В ней люди невыносимо орут, спорят, плачут... Нет сил разобраться в этом вопле.

Слух его за несколько лет жизни в обсерватории очень окреп. Он слышал много звуков, которых раньше не замечал. Они были однообразны. Ветер посвистывал в проволочных канатах, поддерживающих мачту; на ней по праздничным дням подымали флаг. Тогда прибавлялся еще один звук — веселое хло-

панье флага. Оно вызывало воспоминания о праздниках в детстве, когда их городок так шумел от флагов, что у бабушки Мэро начиналась мигрень.

В детстве было много солнца, гораздо больше, чем теперь, и солнце тогда было совсем иное — очень яркое, огромное, занимавшее полнеба.

— Мне кажется,— говорил Мэро садовнику,— что солнце остывает на наших глазах. Свет уже не тот, да, не тот, как будто его закрыли пыльным стеклом.

Садовник соглашался со всем,— не ему было спорить с таким ученым человеком, как Мэро.

Кроме шума ветра, были еще другие звуки. Зимой мистраль нес через горные перевалы сухой снег и шуршал им, как песком, по окнам лабораторий. Изредка кричали орлы. Иногда дождь журчал в каменных водостоках. Летом был слышен редкий гром. Его раскаты возникали не над головой, как обычно, а внизу, в долинах. Грозовые тучи теснились гораздо ниже высот, на которых стояла обсерватория.

Этим, пожалуй, исчерпывались все звуки, если не считать плача заблудившихся коз и крика автомобиля,— раз в неделю шофер привозил из городка продукты, газеты и почту.

Газеты забирал к себе в комнату молодой астроном Ньюстэд — неуклюжий норвежец — и никогда не возвращал. Сначала астрономы ворчали на невежливого норвежца, потом привыкли к этому и забыли о существовании газет. Изредка они спрашивали Ньюстэда, что происходит внизу, в человеческом мире, откуда можно было ждать одних неприятностей. Ньюстэд неизменно отвечал, что мир по-прежнему сходит с ума. Этот ответ удовлетворял всех.

В конце осени Мэро, проводивший ночи около телескопа,— он изучал в то время созвездие Гончих Псов,— впервые услышал новые звуки. Они напоминали гул отдаленных горных обвалов. Вначале они были так слабы, что Мэро их плохо различал. Мэро терялся в догадках, но даже не пытался рассказывать о своих наблюдениях астрономам,— его и так считали чудаком. Но звуки усиливались. В одну из ночей сотрясение было уже так велико, что звезды сместились и раздвоились в зеркале телескопа.

Звуки шли со стороны побережья. Мэро вышел на железный балкон обсерватории и долго всматривался в горы.

Он видел все то же: снега, лунный блеск, звезды, лежавшие прямо на утесах, как сигнальные огни,— но нигде не было белой пыли, обычной спутницы снежных лавин.

— Матвей,— окликнул Мэро садовника,— вы ничего не слышали? Должно быть, в горах снежные обвалы.

— Слишком мало снега для обвалов,— ответил садовник.— Надо прислушаться.

Они замолчали. За оградой был слышен мерный плеск воды, будто падавшей на стекло. Это шумел ручей, кое-где уже по-

крытый коркой льда. Тишина длилась долго. Потом тяжелый удар прокатился с востока и, отраженный горами, вернулся обратно на запад и стих.

— Это не обвал,— пробормотал садовник.

— Что же тогда?

— Это дальнобойные,— ответил неуверенно садовник.— Война бродит кругом, но сюда она не подымется. Слишком высоко. Здесь ей нечего делать.

Тогда Мэро вспомнил скупые рассказы Ньюстэда о гражданской войне, опустошавшей в долинах старинные города и скудные поля крестьян. Вспомнил жалобы шофера на то, что в городке остались одни женщины и старики и ему приходится самому грузить продукты и потому опаздывать. Вспомнил, что Тереза начала готовить обеды гораздо худшие, чем раньше, но на это никто не обратил внимания.

Надо было тотчас все узнать. Мэро закрыл обсерваторию и спустился к жилому дому.

Астрономы сидели за ужином. Каминная труба в столовой пела глухо и сонно,— так она пела уже много лет.

— Друзья,— сказал, задыхаясь, Мэро. Он остановился в дверях и торопливо разматывал теплый шарф.— Я слышу отдаленную канонаду.

Астрономы подняли головы от тарелок.

— Ньюстэд,— продолжал Мэро очень громко и возбужденно, и астрономы оглянулись, но не на Мэро, а куда-то в угол, как бы не допуская мысли, что громкий голос может принадлежать больному старику.— Ньюстэд, вы должны подробно рассказать нам, что происходит.

Ньюстэд не ответил. Он взглянул на часы, встал и подошел к радиоприемнику. Все с удивлением наблюдали за ним.

Ньюстэд наклонился над рычагами. Красным накалом загорелись электрические колбы, и печальный мужественный голос начал говорить об уличных боях в Мадриде, о воздушных бомбардировках, о сотнях изуродованных снарядами детей и о гибели дворца Альбы, где горят полотна Веласкеса и Риберы.

Астрономы слушали молча. Голос умолк так же внезапно, как и начал говорить.

— Что вы думаете об этом? — спросил Мэро в наступившей тишине и понял, что вопрос его был не совсем уместен.

Ньюстэд лениво вернулся к столу. Он сидел, вытянувшись, как бы прислушиваясь, и крепко держался за стол большими руками.

Сухой старик в сером костюме, сейсмолог Дюфур, отличавшийся изысканностью речи, первый нарушил молчание.

— Каждый из нас,— сказал он, усмехаясь,— чувствует себя в осажденной крепости с того дня, как он прибыл в обсерваторию. Мы окружены горами, где нет ни лесов, ни руды, ни угля. Нас осаждают ветры и снега. Миру нет дела до нас — и нам нет дела до мира. Люди безумствуют в долинах, но сюда им неза-

чем подыматься. Здесь только звезды. Нельзя перелить их на орудия или добыть из них ядовитые газы. Они бесполезны для разумного человечества. Поэтому мы в безопасности.

— Не шутите так, Дюфур,— сказал Ньюстэд.— Война длится уже пять месяцев.

— Глупости, глупости,— пробормотал дребезжащим голосом молчавший до сих пор Эрве. Это был человек, словно лишенный возраста: ему можно было дать, не ошибившись, и сорок и шестьдесят лет.— Меня интересует другое: как может человек огорчаться из-за того, что сгорел кусок холста, хотя бы и покрытый красивыми красками? Я говорю о картинах Веласкеса. Всю жизнь я вожусь со звездами, это научило меня не волноваться из-за пустяков. Что может быть более непрочным, чем кусок полотна? А ради него люди мучаются, радуются и даже умирают. Это непонятно! Как можно связывать свою жизнь с такими вещами, когда существуют мысль и небо!

Разговор прервал Дюфур. Он быстро вышел и вернулся с тонкой бумажной полоской.

— Вот,— сказал он с торжеством,— еще одно доказательство точности моего сейсмографа. Он записал за последние дни около двухсот небольших сотрясений земли. Очевидно, это и есть разрывы снарядов. Я только сейчас об этом догадался.

Астрономы наклонились над бумажной полоской. Карандаш вычертил на ней ломаную линию, отражавшую колебания земной коры.

Ньюстэд провел пальцем по изломанной линии. Глаза его были прищурены, а папироса крепко зажата прокуренными выпуклыми зубами,— Ньюстэд злился.

— Каждый излом,— сказал он,— означает удар снаряда. Ваша машина, Дюфур, лучше всего записывает убийства.

Дюфур хотел возразить, но не успел,— ясный удар возник за окнами. Горное эхо превратило его в раскаты и обрушило вниз, в каменные пропасти. Все притихли.

Мэро молчал. Ему не хотелось участвовать в бесплодном разговоре. Всю жизнь он думал, что изучение неба, так же как раскрытие всех других загадок вселенной, роднит человека с землей. Мэро был стар, добр и весь запас своих знаний берег не для себя. Он начал даже писать книгу о небе для тех веселых и вихрастых школьников, что должны были завидовать ему, старику, там, далеко, в глубоких земных долинах.

Непривычные мысли и воспоминания владели им в последнее время. Он вспоминал детство, а старики очень не любят вспоминать эту пору своей жизни. Он вспоминал елку. Пока ее не зажигали, она таинственно жила в соседней комнате за закрытой дверью, и только слабый запах хвои тревожил детское воображение. Потом дверь распахивалась, он робко входил и видел сверкающее дерево. Он мог рассматривать его, трогать хвою и золотые орехи, стеклянные нити и хлопушки, мог нюхать апельсины и инжир, висевшие на ветках,— он мог изучать елку, но,

несмотря на это, ощущение тайны и прекрасных вещей, наполнявших комнату, не покидало его ни на минуту.

Такое же чувство он испытывал от познания вселенной.

— Все существует для человека,— говорил Мэро.— Если исчезнут люди, то, боюсь, мне, астроному, будет ненужно даже звездное небо.

Эти мысли Мэро не решался высказывать часто,— они не встречали сочувствия. Сегодняшний разговор в столовой вызвал у него раздражение. Он не замечал раньше у своих собратьев по науке такой сухости мыслей и чувств. Грубый и ленивый Ньюстэд был, пожалуй, лучше их всех.

Гражданская война в долинах, отзвуки сражений и неприятный разговор в столовой как будто не нарушили жизни ученых. Астрономы работали по ночам, спали первую половину дня, а вечера проводили в лабораториях. Там они сличали снимки звездного неба за многие годы, стремясь найти незначительные изменения. Каждое изменение в знакомой путанице звезд являлось открытием и давало повод для интересных догадок.

Ничто не изменилось, но все же непонятная тревога овладела учеными. Ее мог заметить только опытный глаз.

Мэро, сидя у телескопа, что-то сердито и подолгу бормотал. Ньюстэд два раза был замечен в том, что среди дня наводил искатель телескопа на край отдаленных гор. Остальные делали вид, что не замечают этого,— по астрономической традиции, рассматривание в телескоп земли считалось занятием для дураков.

Дюфур изредка говорил, что ощущение близкой, но безопасной для него войны укрепляет его нервы. Когда падал снег, астрономы бывали не в духе,— облачное небо останавливало работу. Больше всех негодовал Эрве. Теперь же, когда пошел густой снег, Эрве заметил, что снег, к счастью, сделает дорогу в обсерваторию непроходимой для вооруженных отрядов. Дюфур ядовито усмехнулся.

Библиотекарь Бодэн начал отбирать газеты у Ньюстэда и прочитывал их от доски до доски. При этом он так морщился, будто газетные заметки причиняли ему назойливую боль.

Как-то декабрьской ночью в обсерваторию Мэро вошел Ньюстэд. Это было нарушением правил,— никто не должен был мешать друг другу во время наблюдений. Мэро оглянулся и встал.

Ньюстэд остановился. Он расставил ноги и засунул руки в карманы брюк. Оба молчали.

Мэро почувствовал легкий запах вина. Это было уже слишком. Поведение норвежца делалось вызывающим.

— Я пришел,— сказал Ньюстэд так громко, будто он говорил с глухим,— помочь вам закрыть купол, потому что удар будет внезапным.

«Он пьян,— подумал Мэро. Впервые он видел пьяного человека в обсерватории.— О каком ударе он говорит?»

— Удар будет внезапным,— сердито повторил Ньюстэд.— Не упрямьтесь. Выйдите и посмотрите.

Ньюстэд закрыл купол, взял Мэро за локоть и вывел на железный балкон. Мэро шел безропотно,— в словах Ньюстэда он почувствовал тревогу и угрозу.

— Вот,— Ньюстэд кивнул на горы.— Какое прекрасное зрелище!

Над зубцами гор подымалась отвесная облачная стена. Она была освещена неизвестно откуда исходившим тусклым светом Она протянулась от одного края горизонта до другого и на глазах росла, светлела, как бы распухала, закрывала звезды.

— Ураган,— сказал Ньюстэд и засмеялся.— Через десять минут он будет здесь. Дайте только ветру прорваться через горы

— Почему же так тихо? — спросил Мэро.

— Ураганы всегда подходят в тишине.

Тишина была такой напряженной, что звуки собственных голосов казались им надтреснутыми и неприятными. Не было слышно даже привычного шума ручья. Горы уже курились серым дымком.

— Надвигается,— прошептал Ньюстэд.

Мэро наклонился вперед. Он вслушивался. В невыносимой тишине далеко и слабо жужжал мотор.

— Там человек.— Мэро показал на горы.

Снежные смерчи уже взлетали взрывами к черному небу.

— Где? — спросил Ньюстэд.

Мэро схватил его за плечо.

— Там, там! — кричал он и показывал на вершины, где Ньюстэд не видел уже ничего, кроме урагана, стремительно падавшего в ущелья дымными потоками.— Я слышу аэроплан.

— Вы...— крикнул Ньюстэд, но удар ветра оборвал его хриплый крик.

Земля вздрогнула, и тяжелый непрерывный вой урагана уничтожил все звуки. Ветер оторвал Мэро от перил балкона и прижал к стене обсерватории. Снег хлестал в глаза, в рот, не давал дышать. Ньюстэд схватил Мэро за руку и потащил вниз,— норвежец был уже весь белый от снега.

Они пробивались через тяжелые потоки воздуха к жилому дому, хватались за деревья, за кусты, почти падали на землю, закрывали руками глаза от мелкой гальки, больно бившей по лицу. Все дрожало вокруг и выло на разные голоса. Мачта напряженно гудела, голый сад свистел, как сотни яростных флейт, трещала разбитая черепица, звенели стекла, коротким непрерывным громом гремели железные крыши.

Фонари на столбах не качались на проволочных канатах, а были вытянуты наискось к земле,— ветер не давал им качаться, он отклонял их в сторону и каждую минуту мог сорвать и унести.

Ньюстэд втащил Мэро в столовую и только тогда окончил прерванную ветром фразу.

— Вы ошиблись,— сказал он, снимая пиджак и стряхивая с него снег,— аэроплана не было. А если он и был, то теперь его уже нет. Осталась только куча щепок.

Мэро не возражал.

Вскоре в столовую собрались астрономы. Буря объединяет людей. Она подогревает воображение. Даже скучные люди находят во время бури слова, чтобы передать легкое возбуждение, что охватывает человека, когда за стенами безумствует ветер.

Астрономы разошлись очень поздно. Мэро не спал. Он лежал на своей узкой кровати, прислушивался к вою ветра, и чувство одиночества сжимало ему сердце. Неужели так и придется жить до смерти в этих горах, в белой комнате, похожей на больничную палату? Неужели никто не придет не погладит седую голову и не скажет: «Спи, я посижу около тебя и почитаю, пока ты уснешь?»

Мэро лежал свернувшись и казался себе мальчиком. Он вспомнил слова Эрве: «Астрономы не должны иметь любимых людей». «Да и старики, должно быть, тоже»,— подумал Мэро.

Он встал, поднял штору и снова лег. Ему хотелось быть поближе к урагану, а опущенная штора казалась железным занавесом. Теперь ураган был совсем рядом, за двойными рамами окон. Он не только визжал, распевал в скалах и плескал снегом в стекла, но и светил. Тихий свет сочился от снегов. Он был чуть синеватым, будто за окнами кто-то зажег большие спиртовые горелки.

— Не надо засыпать,— пробормотал Мэро и начал думать об аэроплане, пролетевшем перед бурей над горами. Летчик не мог оглянуться,— впереди торчали отвесные скалы,— и только спиной, одной беспомощной спиной он ощущал ураган, догонявший его, как гончая зайца.

Ветер стучал ставнями. Болело сердце, и мысли медленно запутывались, пока Мэро не задремал.

Ему приснился странный сон. Будто он садится в запыленный серый автомобиль, чтобы ехать на юг Испании. Вместе с ним садится высокий тощий старик с седой дрожащей бородкой. Потертый костюм старика топорщится и гремит, и Мэро с испугом замечает под пиджаком у своего спутника заржавленные старые латы.

— Мы поедем туда и обратно,— говорит старик, и латы его скрежещут и скрипят в тесной машине,— и вы увидите всё. Постарайтесь сдержать слезы.

И вот они мчатся по узким дорогам среди гор, и с каждого перевала открываются внизу громадные, как море, пространства разноцветной земли, то коричневой и сожженной небом, то черной от листвы лимонных деревьев, то медной от спелых колосьев, то голубой от воздуха, застоявшегося над лесами. И каждый раз при виде новых долин старик в латах встает, протягивает руку вперед и с торжеством кричит одно и то же слово:

— Испания!

Так они мчатся мимо городов, где столько солнца, что оно не помещается на черепичных крышах и стенах домов и проникает даже в самые дальние углы погребков, где Мэро пьет со стариком вино и ест сыр, пахнущий гвоздикой.

Так они мчатся мимо старинных соборов, как будто покрытых серой копотью жары, мимо рек, из которых лениво пьют чистую воду терпеливые быки, мимо школ, где поют дети, мимо дворцов, где за полотняными занавесями сверкают в сумраке картины великих мастеров, мимо садов и полей, где каждый комок земли взвешен на руке и растерт твердыми ладонями спокойных поселян, мимо парков и заводов, жужжащих, как шмели, колесами горячих машин, мимо страны, летящей навстречу в ветре, хохоте, песнях, приветствиях и разнообразных отзвуках прекрасного труда.

В пустынном городке они проносятся мимо памятника какому-то высокому старику с седой бородкой. Мэро узнает в этой бронзовой фигуре своего спутника и успевает прочесть на памятнике надпись: «Мигель Сервантес».

— Так это вы — Сервантес? — кричит Мэро старику.

Старик снимает шляпу и рассеянно отвечает:

— Да, я когда-то жил в этом городе.

Они поворачивают обратно и снова несутся мимо тех же городов, теперь уже лежащих в развалинах, наполненных тяжелым смрадом трупов, мимо школ, где на порогах валяются убитые дети с жалобно открытыми ртами, мимо безумных женщин, бегущих по дорогам с остекленевшими глазами, мимо расстрелянных, привязанных за руки к ручкам дверей, мимо облетевших от пожара садов, мимо надписей, сделанных сажей на белых оградах: «Смерть всем, кто думает о свободе и справедливости! Смерть всем, кто не с нами!», мимо дворцов, превращенных в кучи черного мусора.

Отряд пехотинцев останавливает машину. У солдат тяжелые сапоги, похожие на ведра, красные лица, рыжеватые усы. Командует ими белобрысый офицер с оттопыренными ушами и сухим затылком.

— Вы кто? — кричит офицер.

Старик в латах встает, глаза его чернеют от гнева, руки трясутся.

— Собаки! — кричит он.— Наемные убийцы, обросшие кровавой шерстью! Прочь из моей страны! Я — Мигель Сервантес, я сын и поэт Испании, я солдат и честный человек!

Старик широко расставляет руки, он хочет задержать солдат.

— Огонь! — кричит офицер и взвизгивает от злости.

Солдаты стреляют, и Мэро слышит, как пули бьют по заржавленным латам старика, и старик падает лицом в пыль, и, умирая, гладит худыми теплыми руками щебень родной дороги.

— Испания! — говорит он страстно, и редкие слезы падают на горячую землю.— Испания, мать моя, страна моих детей!

Снова щелкают пули по латам, но почему-то очень негромко.

Мэро проснулся. Как будто кто-то стучал в дверь. Он прислушался. Ветер еще шумел, но не так сильно, как вечером. Ураган уставал. Хлопнула ставня, и кто-то застучал в дверь сильнее.

— Кто там? — спросил Мэро почти шепотом.

— Я, сударь,— ответил из-за двери садовник.

— Что случилось?

— В ущелье, за ручьем, стреляют,— сказал садовник.— Может быть, вы встанете, и мы послушаем. Я думаю, что случилась беда.

Мэро начал поспешно одеваться. Неужели война поднялась и сюда, в никому не нужные горы? Он вспомнил только что виденный сон, и ему показалось, будто кто-то медленно стискивает ему горло.

— Должно быть, это хлопают ставни, Матвей,— сказал он шепотом, боясь разбудить Эрве, спавшего за стеной. Ему хотелось верить, что садовник ошибся и никаких выстрелов нет. Кто и в кого может посылать пули в этой пустыне?

Садовник ничего не ответил. Они вышли. Снег уже не падал. Ветер стихал, и на востоке смутно виднелись громады туч, задержанных горами. Начинался рассвет. Он просачивался сквозь разрывы тяжелого неба, и можно было уже различить деревья, покрытые снежными шапками, и зеленую воду в бассейне, где плавали маленькие вылинявшие рыбки.

Садовник провел Мэро к ограде. За ней дымилась пропасть и бормотал ручей. Дна пропасти не было видно,— темнота в горах дольше всего держится в ущельях и уходит оттуда медленно — пожалуй, не быстрее, чем испаряется снег.

— Это здесь,— сказал садовник и показал за ограду.

Мэро заглянул вниз, но ничего не увидел.

— Мое зрение ослабло,— сказал он печально.— Я ничего не вижу. Может быть, вы увидите лучше меня.

— Страшновато заглядывать,— ответил садовник.— Давайте лучше немного послушаем.

Они замолчали. И тогда Мэро услышал как будто слабый человеческий стон или хриплый короткий крик. Он был очень неожиданным. Потом два глухих выстрела прогремели в темноте на берегу ручья.

Мэро отшатнулся от ограды и быстро пошел к жилому дому. Садовник, ничего не понимая, растерянно шел следом. Снова прогремели два коротких выстрела.

Мэро прошел в лабораторию. Садовник шел за ним. Мэро открыл нишу в стене. Руки его дрожали. Он нажал кнопку, и пять колоколов начали яростно звонить в разных концах дома и в обсерваториях. Это был сигнал тревоги. Его давали только в случае серьезной опасности или необходимости немедленно созвать всех обитателей обсерватории.

Колокола гремели оглушительно.

В комнатах зажегся свет, захлопали двери,— и через несколько минут в лаборатории собрались взволнованные астрономы.

Один Ньюстэд был спокоен. Он подошел к Мэро, крепко взял его за плечо и слегка встряхнул.

— Что случилось? — спросил он очень громко.

Никто не обратил внимания на грубый поступок Ньюстэда.

— В ущелье,—ответил Мэро,— кто-то погибает. Он просит помощи.

— Откуда вы это взяли? — рассердился Дюфур.— Он кричит?

— Он кричит и стреляет через равные промежутки времени.

Наступило молчание.

— Кто пойдет со мной? — спросил неожиданно Ньюстэд.— Если он разбился, надо идти вчетвером. Иначе мы его не вытащим.

— Я бы пошел с вами,— сказал садовник.

— Этого мало.

— Тогда возьмите меня,— тихо попросил Бодэн.

— Все равно мало. Надо идти вчетвером,— повторил Ньюстэд.

Мэро молчал. Он не мог спуститься в ущелье. Даже в автомобиле, когда машина подымалась в горы, и то Мэро уставал. Ему передавалось напряжение мотора.

— Ну что же,— сказал Эрве,— я очень вынослив, хотя и выгляжу стариком.

— Это не имеет значения,— ответил Ньюстэд.— Идемте.

Когда они оделись и вышли, было уже светло, но туманно Ньюстэд первый перелез через ограду и начал спускаться. В руках у него был канат. Вторым перелез садовник. Бодэн и Эрве спускались последними. Щебень осыпался у них из-под ног и громко шуршал по откосам.

Мэро и Дюфур стояли около ограды. Взошло солнце, снег начал таять, с деревьев падали крупные капли воды.

Ньюстэд и его спутники растворились в тумане. Сначала ничего не было слышно, кроме стука скачущих по обрыву камней, потом Ньюстэд закричал:

— Эге-гей, эге-гей! — И в ответ где-то очень близко хлопнул выстрел.

Ньюстэд крикнул:

— Стреляйте вверх, а не в скалы, черт вас возьми! Может быть рикошет.

Чей-то незнакомый голос несколько раз позвал:

— Сюда, сюда! Перейдите ручей, сюда!

Голоса были слышны отчетливо, будто из соседней комнаты

— Рикошет,— повторил Мэро с удивлением. Он знал значение этого слова, но произнес его в первый раз в жизни и удивился.— Какое неприятное слово — рикошет.

— Думаю, что мы услышим еще худшие слова,— холодно сказал Дюфур.

Из тумана доносились голоса, но гораздо лучше, чем раньше

Дайте нож разрезать веревки, он сильно запутался,

послышался голос Ньюстэда.— Все равно, давайте садовый, только скорей.

— Что там? — крикнул Мэро, но никто не ответил.

Была слышна возня, потом слабый крик, и Бодэн сказал сердито:

— Да не спотыкайтесь вы, ради бога!

Разговоры надолго стихли, и было слышно только хриплое дыхание взбирающихся по откосу людей.

— Пусть отдохнет,— сказал садовник где-то совсем рядом.

— Ничего, идите,— ответил Бодэн.

Мэро уже различал темное пятно, медленно подымавшееся по склону.

— Держите крепче, Матвей,— попросил Эрве.

— Ничего,— ответил глухо садовник.— У меня руки липкие от крови, я не выпущу.

Наконец они поднялись к самой ограде, и Мэро увидел у них на руках окровавленного человека в синем брезентовом костюме. Лица его нельзя было различить из-за спутанных и слипшихся волос. Серые брюки Ньюстэда были измазаны кровью.

Человека быстро внесли в комнату Эрве и положили на кровать. Бодэн, исполнявший в обсерватории обязанности не только библиотекаря, но и врача, раздел неизвестного, промыл раны и наложил перевязки. Ему помогал Ньюстэд.

В комнатах запахло лекарствами. Полы были затоптаны, на них стояли лужи от растаявшего снега.

Обитатели обсерватории собрались в столовой. Они смотрели на капли густой крови, тянувшейся наискось по ковру, и ждали Ньюстэда и Бодэна. Те долго не шли.

У Мэро дрожали руки.

— Надо бы истопить камин, Тереза,— сказал он служанке, но она, сидя в углу, что-то шептала, должно быть молилась, и не расслышала просьбы Мэро.

Первым вошел Ньюстэд. Он подошел к камину и начал греть руки, хотя огонь в камине не горел. Потом он заметил это, деланно засмеялся и набил трубку.

— Ну вот,— сказал он,— война наконец добралась и до нас. Поздравляю с ней всех собравшихся.

— Что с ним? — спросил Мэро.

— Он, должно быть, умрет,— ответил Ньюстэд.— У него переломано все, что может быть переломано у человека. Он летел из Франции в Мадрид.

— Военный? — спросил Дюфур.

— Нет, он поэт.

— Я не настроен шутить,— сказал ледяным голосом Дюфур.

— А я вам говорю, что это так,— рассердился Ньюстэд.— Ураган перевел машину в штопор, он успел выброситься с парашютом. Все остальное понятно.

— Главное никому не понятно,— пробормотал Дюфур.— Вы что-то упомянули насчет войны.

Вошел Бодэн. Он снял очки и посмотрел на всех красными близорукими глазами.

— Нужен настоящий врач,— сказал он растерянно.— Я слишком мало знаю, чтобы спасти этого человека.

Решение было принято тут же. Машина пойдет в городок за врачом. Поедут шофер и Ньюстэд. Бодэн и Мэро должны дежурить около разбившегося человека. Тереза им будет помогать. Все астрономические наблюдения будут пока вести Дюфур и Эрве.

— Настоящий ученый никогда не поступил бы так опрометчиво, как Мэро и Ньюстэд,— сказал Дюфур Эрве, когда Ньюстэд уехал.— Я не уверен в том, что можно срывать многолетние наблюдения из-за бесполезной суеты вокруг этого человека. Он все равно не выживет.

Эрве молчал.

— Война,— сказал он наконец и вздохнул.— Я знаю, что астрономы никогда не будут стрелять друг в друга. А об остальном я предпочитаю не думать.

— А следовало бы подумать о том, что наша французская обсерватория находится на испанской земле,— сказал Дюфур.

Ньюстэд уехал. Снег стаял, и мокрые горы блестели под солнцем. По скалам бежала ледяная вода. Небо подымалось все выше, делалось бледнее, из пустынной долины потянуло теплом.

Шофер резко затормозил и показал Ньюстэду на красные скалы. У их подножия валялась куча железа и дерева.

— Это его машина,— сказал шофер.

Ньюстэд вышел, собрал в тени от скалы слежавшийся снег и очистил им со своих брюк бурые пятна крови.

— Едемте,— сказал он шоферу.— Как бы наши старики его не уморили.

Они легко понеслись вниз. Казалось, что машина сорвалась, тормоза лопнули и они не смогут остановиться до самого городка. На поворотах машину заносило, и она с размаху сбрасывала в пропасти груды щебня.

Ньюстэд был доволен. Он пел. Земля приближалась. Он уже слышал запах дыма из нищих очагов. На голых склонах паслось маленькое стадо коз. Его сторожила высокая старуха в черном платке. Она стояла у дороги и даже не оглянулась, когда машина промчалась рядом.

Городок был пуст и тесен. Толпа худых крикливых женщин окружила машину. Женщины говорили все сразу. Ньюстэд плохо знал испанский язык. Он с трудом разобрал из их слов, что негодяй доктор бежал с семьей в Уэску, а в городе остался только аптекарь.

Одна из женщин держала за руку девочку в черном платке, таком же, как у всех женщин и у старухи, сторожившей коз. Девочка исподлобья смотрела на Ньюстэда, а женщина о чем-то просила, вытирая глаза грязным фартуком.

— Чего она хочет? — спросил Ньюстэд шофера.

— Она просит, чтобы мы взяли эту девочку с собой. У девочки фашисты недавно убили отца. Под Уэской. Она говорит — в горах не так опасно, они туда не придут.

— Кто «они»?

Шофер пожал плечами:

— Понятно.

— Мы не можем ее взять,— сказал Ньюстэд.— Кто с ней будет возиться? И так у нас раненый человек.

Шофер молчал.

— Кто с ней будет возиться? — повторил Ньюстэд.

— Мое дело — руль, а ваше дело — решать все остальное.

— Ах, так?!

Ньюстэд открыл дверцу машины и втащил девочку. Мать засмеялась и что-то закричала девочке, поправляя черные седеющие волосы.

Шофер дал ход. Машина рванулась вверх по улице, к аптеке. Ньюстэд обернулся. Женщины махали вслед черными платками и были похожи на стаю худых птиц, бесшумно хлопающих крыльями. Девочка упрямо смотрела в спину шофера глазами, полными слез.

— Скажите ей, чтобы она не боялась,— сказал шоферу Ньюстэд.— Когда все пройдет, мы ее привезем обратно.

Шофер кивнул головой.

Аптекарь спал. Ньюстэд попросил разбудить его. Вышел желтый горбун. Он сонно поздоровался и стал на скамейку за прилавком, чтобы быть выше.

Ньюстэд не знал, что нужно купить для разбившегося человека. Он коротко рассказал о случившемся и попросил совета. Аптекарь удивленно посмотрел на Ньюстэда и сдержал зевоту.

— У меня ничего нет. Могу поклясться. Есть немного гипса, марли и шесть ампул морфия. Это все что я могу дать. Без врача вы не справитесь. Йод есть у вас в обсерватории. Господин Бодэн год назад купил столько йоду, что его хватит на всю республиканскую армию, а не только на одного человека из этой армии.

— Почему вы думаете, что он республиканец?

— Кто же будет лететь из Франции ночью? Вы нашли самолет?

— Нет,— ответил Ньюстэд. Он не был расположен к болтовне.

— Дело не в человеке, а в самолете,— проворчал аптекарь и пошел в заднюю комнату. Он что-то бормотал там, долго копался и наконец вынес небольшой пакет.

Ньюстэд попрощался. Аптекарь вышел за ним на каменное крыльцо. Серый свет стоял над городком. Снег на горах казался отсюда очень тусклым.

— А где сейчас дерутся? — спросил Ньюстэд.

— Всюду,— ответил аптекарь и усмехнулся.

Обратно ехали медленно: подъем делался все круче. Девочка сидела сгорбившись, уставившись круглыми, полными слез глазами в спину шофера. Ньюстэд не знал, как ее утешить, молчал и насвистывал.

Снова встретилась высокая старуха около маленького стада коз. Она, нахмурившись, оглянулась на машину.

Выцветшее небо простиралось над головой. Горы были рыжие, покрытые голыми дубовыми кустами. Долину затянуло сероватым дымом.

Ньюстэд впервые понял, как ему надоело жить в обсерватории, хотя бы и так близко от звездного неба. Хорошо бы очутиться в Мадриде, где люди живые, шумные и упорные, где они дерутся за очень понятные вещи! Может быть, все это будет длиться очень недолго, но что с того?

— Что с того? — вслух повторил Ньюстэд.

Девочка не оглянулась. Она сидела все так же неподвижно.

«Большое горе»,— думал Ньюстэд, глядя на нее. Он хотел потрепать ее по плечу, но не решился.

Отсюда, из долины, обитатели обсерватории показались ему мертвецами, которые только притворяются живыми и спорят, говорят, едят и наблюдают звезды, как заводные куклы. Особенно раздражал Дюфур — ходячий часовой механизм с изысканным звоном. Тихоня Эрве казался неплохим человеком, но жизнь в обсерватории вышелушила его и иссушила, как мумию.

— Один Мэро,— пробормотал Ньюстэд,— но он так стар, что может умереть от сильного порыва ветра.

За одним из поворотов, откуда уже была видна обсерватория, шофер остановил машину.

— Теперь не стоит торопиться,— сказал он.— Посмотрите на мачту.

Ньюстэд всмотрелся и увидел флаг. Он был приспущен до половины. Эта традиция была близка Ньюстэду. Сын морского капитана, любителя астрономии, он хорошо знал морские нравы, и приспущенный флаг — знак траура — всегда вызывал у него ощущение несчастья. С давних пор многие обсерватории Европы придерживались этого морского обычая.

Ньюстэд понял, что опоздал.

Ворота обсерватории были закрыты. Несмотря на гудки, никто не вышел навстречу. Шофер вылез из машины и сам открыл ворота.

Ньюстэд взял девочку за руку и повел ее к Терезе.

— Как тебя зовут? — спросил он ее по дороге.

— Си,— шепотом ответила девочка.

— Сесиль? — переспросил Ньюстэд.

— Си,— повторила девочка, и из глаз ее потекли слезы. Больше Ньюстэд ничего не спрашивал.

Заплаканная Тереза встретила девочку спокойно, будто только ее и ждала. Она вытерла руки о передник и, присев на кор-

точки, начала разматывать на девочке рваный черный платок. Она заговорила с ней своим грубым, мужским голосом. Девочка отвечала шепотом, но не плакала. Ньюстэд ушел, недоумевая,— он так и не понял, в чем заключена эта чертовская тайна общения с детьми.

Он прошел в комнату Эрве, где лежал умерший. В столовой зеркало было завешено старым холстом.

В коридоре он встретил Матвея. Садовник нес только что срезанные ветки сосен и тиса с темной листвой. Они вместе вошли в комнату.

Человек лежал, вытянувшись, под простыней, на кровати. Волосы его были причесаны, и через лоб тянулся запекшийся шрам.

Матвей разбросал по полу хвою. На столике горели две восковые свечи. Пламя трещало. Шторы были спущены.

— Это зажгла Тереза,— сказал тихо садовник.— Женщины знают, как обряжать умерших.

Ньюстэд посмотрел на лицо неизвестного. Оно было молодым, но очень измученным. Две глубокие морщины, как шрамы, лежали на щеках. Выражение губ было таким, будто человек кого-то вполголоса звал.

— Вот и смерть погостила у нас, сударь,— сказал Матвей.— Профессор Эрве приказал вырыть могилу около ограды, под старым тисом.

— Где Мэро? — спросил Ньюстэд.

— Он у себя. Он очень расстроен. Человек умер у него на руках.

Ньюстэд медлил идти к Мэро. Вошел Эрве.

— Ньюстэд,— сказал он и криво улыбнулся,— вот видите, жизнь впервые ворвалась в нашу обитель, но и то под видом смерти.

— Не только,— ответил Ньюстэд.— Я привез из города маленькое существо. Оно нуждается в помощи.

— Неужели мы еще кому-нибудь нужны? — спросил Эрве с искренним удивлением.

Мэро сидел в своей комнате за письменным столом. Он сжимал виски слабыми руками — хотел сдержать слезы.

Стол был пуст. Он не написал за этим холодным лакированным столом ни одной строчки любимому человеку, здесь он писал только вычисления и вежливые письма астрономам. Ни любимых, ни любящих не было. Нет, они были когда-то, но Мэро забыл о них. Должно быть, они давно уже умерли, как умер этот человек. «Нельзя забывать любящих, лучше их убить, чем забыть»,— говорила его мать, и Мэро теперь понял, что она была права.

Человек умер во время дежурства Мэро. Он почти не говорил. Он все время стонал и один только раз окликнул Мэро.

— Отец,— сказал он, и Мэро вздрогнул от этого забытого слова,— возьмите в сумке письмо и бумаги... Прочтите... Отправьте... Если приедет, вы расскажете... Я думаю только о ней,

бесполезно думать о другом... Совсем бесполезно...

Мэро нашел письмо и бумаги. Человек затих, потом начал бредить. В бреду он пел. Это было очень страшно, и Мэро позвал Бодэна.

Когда Бодэн пришел, человек уже был мертв.

Письмо и бумаги Мэро забрал к себе и все никак не мог дочитать до конца,— множество мыслей возникало после каждой прочитанной строчки.

Человека похоронили в сумерки. Все стояли молча, обнажив головы, пока садовник и Ньюстэд засыпали могилу мокрым щебнем. На могиле поставили маленький деревянный столб с дощечкой. На ней Бодэн написал:

> Виктор Фришар, поэт, француз.
> Разбился во время перелета из Франции в Мадрид.
> Пусть к именам людей, отличавшихся мужеством,
> прибавится еще одно имя неизвестного нам,
> но благородного человека!
>
> Астрономы и сотрудники французской обсерватории
> Сиерра дель Кампо (Пиренеи)

После похорон астрономы собрались в лаборатории. Ньюстэд созвал всех, чтобы сделать, как он сказал, чрезвычайное сообщение. Все были утомлены и молчали,— прожитый день стоил нескольких лет прежней невозмутимой жизни.

— Профессор Мэро,— сказал Ньюстэд и встал, этим он подчеркнул важность своих слов,— передал мне бумаги и письмо, оставшиеся после умершего. Перед смертью он просил огласить их и отправить по назначению. Я выполняю волю неизвестного мне человека с тем большей охотой, что содержание этих бумаг,— Ньюстэд положил на них тяжелую руку,— заставляет меня отказаться на время от работы в обсерватории и спуститься в долины, где вот уже пять месяцев, как вам известно, свирепствует гражданская война.

— Я знал, что вы филантроп,— заметил Дюфур.

— Это делает честь вашей проницательности,— спокойно ответил Ньюстэд.— Человек, которого мы пытались спасти и только что похоронили,— французский поэт. Поэты — братья астрономов. Прекрасное содержание окружающей жизни проявляется не только в законах звездного неба, но и в законах поэзии.

— Понятно,— пробормотал Дюфур.— Читайте письмо!

— Если бы вам это было понятно,— ответил Ньюстэд,— то вы бы не занимались сейчас вычислением орбиты планеты за номером тысяча двести двенадцать. Диаметр этой планеты не больше километра. Я считаю эту работу такой же ненужной, как подсчет пылинок на земле.

— Спасибо! — воскликнул Дюфур и деланно засмеялся.— И после этого вы считаете себя ученым?

— Да,— грубо ответил Ньюстэд.— Вы — Дюфур, я — Нью-

стэд, и мы никогда не поменяемся мозгами. Но я еще не окончил. Поэты и писатели Франции приобрели несколько аэропланов и оружие для помощи испанской Народной армии. Фришар вызвался перебросить эти аэропланы в Мадрид. Причина его гибели известна. В разбитом самолете осталось оружие — винтовки, патроны и пулеметы.

— Очень хорошо,— сказал Эрве,— но мы-то ими не воспользуемся.

— Письмо адресовано в Бриэк, женщине,— сказал Ньюстэд, как будто не слыша всех замечаний.— Вряд ли нужно называть ее имя. Я читаю письмо.

«Это письмо отправят тебе, если я умру. Ты помнишь последний день в Бриэке, когда я уезжал, помнишь черные скалы и запах старых рыбачьих сетей? Дул очень холодный ветер с океана, и у тебя зябли маленькие милые руки. Мы были одни в нищем городке. Мы были тогда совсем одиноки с тобой, и ты была для меня не только любимой, но и матерью, сестрой, самым преданным другом.

Через час я вылетаю в Испанию. Я храню в своей памяти твои слова о том, что ты не могла бы любить ничтожного человека. Для иных людей трудно сохранить достоинство в наше время, когда низость, вооруженная пулеметами и фосгеном, начала схватку со всем лучшим, чем жило и будет жить человечество. Для иных лучше бежать за край земли и спрятаться в теплые норы, размышляя о том, что жизнь дается только раз и ее надо прожить для себя. Но во имя того, что она дается только раз, что она неповторима и замечательна,— во имя этого мне легче идти навстречу опасности с открытым лицом и завоевать эту жизнь или умереть за нее, чем писать красивые слова и страдать от дурного запаха собственной совести.

Ты поймешь меня, я знаю. Я не умею утешить тебя. Я люблю землю, потому что ты живешь на ней, люблю воздух, потому что он прикасается к твоему лицу, люблю каждую травинку, на которой останавливаются твои глаза, люблю каждый твой след на сыром песке и ночную тишину, потому что тогда я слышу твое дыхание,— и вместе с тем я лечу умирать. Я почти уверен в этом.

— Прощай! Ты расскажи о своем горе рыбачкам, если у тебя хватит сил рассказать. Никто лучше этих простых, рано постаревших женщин не сможет понять его,— ведь у них нет ни одной семьи, где бы не было горя».

Ньюстэд окончил читать и, наклонив голову, перебирал на столе бумаги. Все молчали. Эрве начал задыхаться, судорожно вынул платок и высморкался.

— Хорошо, что вы прочли письмо,— тихо сказал Мэро.— Хорошо, я знаю... Но позвольте мне уйти, я не могу дольше оставаться.

Мэро вышел. Дюфур сидел с потухшей папиросой во рту

Мэро заперся в своей комнате, подошел к окну и заплакал. Колючая тяжесть в груди причиняла боль. Мэро думал, что она растворится от слез, стекавших по его желтым щекам, но она все усиливалась, и Мэро уж ничего не видел за окном, – звезды мутными пятнами расползались по стеклу.

Ему было жаль умершего, жаль молодую осиротевшую женщину, жаль себя, Эрве, всех, кто так бесприютен, затерян в этом громадном и неласковом мире.

Поздно вечером Мэро вошел в комнату Ньюстэда. Норвежец стоял у стола и рвал какие-то бумаги.

— Ньюстэд,— сказал Мэро,— я уезжаю. Я хочу сам отвезти письмо в Бриэк. Я, как и вы, на время бросаю обсерваторию

— Что ж,— ответил Ньюстэд,— ведь у вас нет ни сына, ни дочери... Это понятно.

Мэро с благодарностью посмотрел на Ньюстэда. Ньюстэд обнял его за плечи и сказал:

— Мы никогда не должны забывать друг друга.

— Конечно,— ответил Мэро.

У себя в комнате Мэро увидел на столе последние астрономические вычисления и тщательно спрятал их в ящик.

Созвездие Гончих Псов играло далеким светом за стеклами, и Мэро, взглянув на него, подумал, что Бриэк лежит как раз в той стороне.

Утром ни Ньюстэд, ни Мэро не уехали. На рассвете в обсерваторию прибежала из города измученная женщина, мать девочки. Голосом, хриплым от волнения, она рассказала, что городок занят небольшим отрядом фашистов, что аптекарь донес командиру отряда, будто в обсерватории скрывается раненый человек, летевший из Франции в Мадрид, и утром отряд выступает в обсерваторию.

— Они думают, что он вез секретные бумаги, и хотят его расстрелять,— сказала женщина.— Так хвастались солдаты.

— Единственная секретная бумага погибшего у меня,— сказал Мэро.— Я ее никому не отдам.

Женщина посмотрела на Мэро с удивлением. Она не поняла слов этого старика.

Снова был созван военный совет.

— Что же делать?— спросил Бодэн.

— Не выдавать его, даже мертвого,— ответил Ньюстэд.

Дюфур не удержался.

— Придется защищать от них звезды,— сказал он, усмехаясь.— Их много?— спросил он женщину.

— Тридцать человек.

— Все равно,— сказал Ньюстэд.— Начнем действовать.

— Конечно,— согласился Дюфур.— Для астрономов не составит труда разбить эту воинскую часть. Тем более что в ней нет наших собратьев по науке, и потому даже Эрве может участвовать в схватке.

Через час шофер и Ньюстэд привезли на машине двадцать

винтовок, патроны и пулемет. Они подобрали их среди обломков самолета. Несколько винтовок было испорчено, пулемет тоже. Шофер к полудню починил его и хотел испробовать, но Ньюстэд запретил пробу,— звуки выстрелов могли заставить отряд насторожиться раньше времени.

Ньюстэд распоряжался невозмутимо. По молчаливому соглашению он был избран начальником вооруженной обсерватории. Вопреки его ожиданиям, никто не сомневался в необходимости дать отпор отряду, подымавшемуся из долины. Непонятное веселье охватило обитателей обсерватории,— очевидно, то возбуждение, какое появляется у человека во время большой опасности.

План обороны был прост. Он был рассчитан на то, чтобы ошеломить нападавших и взять их под перекрестный огонь. Это, по мнению Ньюстэда, должно было привести к бесспорной победе.

Невдалеке от обсерватории, на скале, установили пулемет. Со скалы было удобно обстреливать поворот дороги. У пулемета лежал шофер. Около него дежурили с винтовками садовник и Ньюстэд. Садовник замаскировал пулемет и скалу сухими дубовыми ветками.

Дюфур наблюдал за дорогой в искатель малого телескопа. За пятнадцать километров были хорошо видны ее белые безлюдные изгибы.

Вход в обсерваторию был забаррикадирован тяжелыми ящиками от инструментов.

Бодэн, Эрве и Мэро сидели на скамейке около ограды, откуда им был виден тот же поворот дороги, что и Ньюстэду, засевшему на скале. Эрве впервые за многие годы закурил. Три старика тихо беседовали, и только по сухому блеску их глаз можно было догадаться, что они взволнованы.

Винтовки стояли поодаль, прислоненные к стене. Был солнечный день, с гор дул прохладный ветер, и белый петух взлетел на ограду и кричал, хлопая крыльями. Было слышно, как в кухне Тереза громко беседовала с горожанкой и говорила, что старики, пожалуй, еще могут постоять за себя.

Никто из астрономов не верил, что бой действительно будет. Мэро следил за тенью от мачты. Она сначала закрыла одну винтовку, потом другую и уже подходила к третьей.

— Может быть, они повернули обратно? — спросил Бодэн, и в голосе его послышалась тревога.

— Эй, вы,— сказал Мэро,— старый, наполеоновский гвардеец! Потерпите еще час-другой, не огорчайтесь!

Мэро смотрел на тень мачты. Она закрыла уже третью винтовку. Что-то темное поползло рядом с тенью. Мэро поднял голову и увидел флаг. Он подымался вверх, раскрываясь и шурша. Это Дюфур давал знать Ньюстэду, что на дороге замечен отряд.

— Наконец-то старина Дюфур высмотрел то, что ему нужно,— сказал Бодэн.

Он вздрагивал от волнения. Быстро подошел Дюфур.

— Двадцать пять! — прокричал он возбужденно.— Двадцать пять королевских молодчиков! Впереди идет командир, рыжий, как огонь.

— Почему вы думаете, что это командир? — спросил Мэро.

— С каких пор вы начали сомневаться в точности наших приборов? Я видел нашивки на его воротнике.

— Ну, в таком случае мы не спорим,— сказал, улыбаясь, Эрве.

— Они будут на повороте через двадцать минут,— сказал Дюфур.

— Если не ошибаюсь,— пробормотал Бодэн,— тот способ обстрела, который предложил нам Ньюстэд, носит название флангового огня?

— Совершенно верно,— подтвердил Дюфур.— Они попадут в в засаду. Но вы подумали, что нам делать, если они все же прорвутся через ограду?

— Они не прорвутся,— сказал Мэро,— или мы умрем.

— Надо предвидеть всё,— возразил Эрве.— Мы можем отступить на наблюдательные вышки. Их три, и все они построены из гранита. Посмотрите: лесенка, балкончик, железная дверь. Два узких окна заменят бойницы. Других окон нет.

— Замечательные боевые сооружения! — воскликнул Бодэн.— Как мы раньше не видели этого?

— Это будет лучше всего,— сказал Мэро.— По крайней мере, мы погибнем, как принято писать в военных приказах, на боевом посту, около своих спектрографов и зеркал.

Все засмеялись. Никто не верил в возможность настоящего боя.

— Но в общем,— сказал Дюфур,— пора идти за Терезой.

Он позвал Терезу. Ее появление прекратило шутки. Тереза была в короткой юбке, а грудь она крест-накрест туго перевязала черным платком. Она осмотрела винтовки, выбрала себе самую новую и сказала:

— Девчонкой отец учил меня стрелять по коршунам. Они часто воровали у нас цыплят.

— Ну, друзья,— сказал Бодэн,— давайте приготовимся.

Старики взяли винтовки. Каждый из них уже давно выбрал себе выступ ограды, из-за которого собирался стрелять.

Дюфур посмотрел на часы.

— Очень скоро,— сказал он шепотом.

Все, кроме Мэро, заняли свои места. Мэро решил подойти к ограде в последнюю минуту,— ему было трудно стоять.

— Как будто видна пыль,— таинственно сказал Бодэн.

— Посмотрите, Тереза.

— Недавно стаял снег,— ответила так же тихо Тереза.— Откуда же быть пыли?

Мэро потрогал карман. В нем зашуршало письмо в Бриэк. Он предупредил всех, что письмо у него, и потому был спокоен.

— А! — тихо вскрикнул Дюфур.

Мэро торопливо подошел к своему выступу. Все, не двигаясь, смотрели на дорогу. Из-за поворота медленно выходили солдаты. Они несли винтовки на ремнях и шли вразброд.

— Когда будете нажимать спуск, старайтесь не дышать,— предупредила Тереза.

— Вы настоящая маркитантка, Тереза,— ответил Дюфур.— Но почему же Ньюстэд так долго молчит?

— Наш шофер был на фронте. Он знает, когда начинать.

Дорога уже чернела от солдат. Они остановились, пропуская вперед офицера, и в ту же минуту торопливо забил и залаял пулемет Ньюстэда. Желтые дубовые листья полетели вихрем. Горное эхо перебрасывало стук пулемета со скалы на скалу; он отскакивал от отвесных стен, шарахался с размаху на дно пропастей, падал, подымался, звучал то глухо, то нарастал до оглушительного треска, будто стальные молотки били по пустым пароходным котлам. Щебень и пули свистели по дороге. Солдаты бросились за каменный парапет. Офицер что-то кричал, закрывая рукой голову, потом упал и больше не двигался. Дюфур насчитал на дороге десять упавших, но в это время первая пуля звякнула об ограду и с тихим воем прошла рикошетом через сад, сбив несколько веток со старой сосны.

— Друзья, — крикнул Бодэн,— не зевайте!

Солдаты, лежавшие за парапетом, не были видны Ньюстэду, но их легко было обстреливать из-за ограды. Первым выстрелил Бодэн. Тереза щурилась, у нее из-под платка выбилась прядь седых волос, и она, сердясь, судорожно и часто ее поправляла. Дюфур долго целился и стрелял спокойно. Эрве старался попасть в парапет: от удачных выстрелов над ним взвивались белые струйки пыли. У Мэро после первого же выстрела заболело плечо от удара прикладом, но он продолжал стрелять, почти не целясь.

Часть солдат перенесла огонь на ограду. Все чаще щелкали пули. Белый петух, испуганный выстрелами, с кудахтаньем взлетел на сосну, сорвался и тяжело ударился о землю,— он был разорван пулей.

Огонь учащался. Мэро слышал за своей спиной звон стекла. Пули били по окнам второго этажа. Он подумал, что лаборатория в первом этаже, и это очень хорошо,— все приборы останутся целы.

Пулеметные пули прошли по верхушке ограды и запорошили пылью глаза.

— Все по пулеметчику! — приказал Бодэн.— У них один пулемет, больше нет. Как они успели его поставить!

Мэро стрелял, почти не сознавая, что происходит. Очень трудно было вставлять обойму в винтовку. Он несколько раз больно защемил себе кожу на ладони, из пальца текла кровь.

Он видел, как солдаты медленно отползли вниз по склону, прячась за камнями. Судя по выражению их лиц, они что-то кричали и ругались. Он хорошо видел ноги пулеметчика — очень худые и кривые, в грязных обмотках. Потом он увидел, как пулеметчик привстал, упал на бок и покатился по крутому склону, точно зеленый мешок. Он докатился до дубового куста и застрял в нем.

Пулемет затих. Теперь работал только пулемет Ньюстэда. Солдаты вскочили и побежали, пригибаясь к земле. Они прыгали вниз, с камня на камень, некоторые бросали винтовки.

Мэро видел, как Ньюстэд и шофер быстро спустили пулемет со скалы на дорогу, бегом прокатили его до поворота и залегли. Снова пулемет задрожал и залаял, и по дороге понеслись длинные ленты пыли. Ньюстэд махал рукой.

— Поздравляю вас, старики,— сказал Дюфур.— Они отступают.

— Значит, это конец? — спросил Эрве.

— Да, мы, кажется, ловко отделались,— ответил Бодэн.

Пулемет стих. Раздался последний одинокий выстрел. Это еще стреляла Тереза. Эрве потряс ее за плечо. На дороге видно было всего несколько солдат, бежавших вниз. Они исчезли за поворотом.

Мэро бросил винтовку и выпрямился. Солнце сверкало над головой. Тишина плыла над горами. Мэро вздохнул. Воздух был напитан запахом листьев и корней.

Снова стало слышно, как ручей шумит на дне пропасти. Амфитеатр гор, залитых солнцем, сверкал и переливался красками поздней осени, и Мэро улыбнулся. Он знал: у него есть дочь где-то там, в Бриэке, есть родная душа в этом мире, есть друзья — астрономы, старые, но храбрые люди. Он чувствовал себя так, будто только что завоевал право на жизнь, на обладание всем миром, шумевшим внизу, в когда-то чуждых долинах.

Тереза улыбнулась Мэро. Он обнял ее, и они расцеловались, как старики — брат и сестра. Было слышно, как Ньюстэд пел на дороге какую-то норвежскую песенку.

В тот же день остатки фашистов были выбиты одним ударом из городка отрядом басков, и Мэро и Ньюстэд тотчас уехали. Их провожали очень шумно, но никто не мог скрыть грусти этого прощания.

Снова тишина завладела обсерваторией, и, как всегда, звездное небо сверкало над ней по ночам и до рассвета прислушивалось к тихим голосам астрономов, медленным шагам садовника и к плеску старого ручья на дне ущелья.

1936

ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ

Поздней осенью 1836 года в устье Невы против Галерного острова бросил якорь грязный итальянский корабль. Он пришел из Ливорно.

Падал первый снег. Он сваливался пластами с грубых парусов, но тонким серебром ложился на реи. В сумерки корабль, занесенный снегом и освещенный огнем фонарей, казался даже собственным матросам нарядным и легким.

Корабль привез редкий груз — последние картины русских художников, живших в то время в Риме. Полотна Брюллова и Бруни, портреты Кипренского и гравюры Иордана были бережно завернуты и сложены в пустой каюте.

Прихода корабля долго ждали петербургские любители живописи. Первым на пристань приехал писатель Нестор Кукольник. Он стряхнул сырой снег с плаща и цилиндра и прошел в каюту капитана.

Свеча дрожала на черном столе. Она освещала в пыльной стеклянной вазе несколько апельсинов.

Капитан ел апельсины. Пахучий сок стекал по его загорелым пальцам. Кукольник, усмехнувшись, сказал, что наконец он чувствует и здесь, в Петербурге, воздух Италии.

Капитан пробормотал что-то невнятное и, дожевывая апельсин, выдвинул ящик стола. Там среди истрепанных географических и игральных карт лежало письмо. Капитан протянул его Кукольнику. Кукольник вскрыл конверт и начал читать.

«В конце сентября,— читал Кукольник,— Орест Кипренский занемог жестокой горячкой, от которой усердием доктора начал было оправляться и стал выходить, как простудился снова, и горячка возвратилась. Художник не вставал более. Он скончался здесь, в Риме, третьего прошедшего октября».

Кукольник встал.

— Вы привезли тяжелую весть,— сказал он несколько напыщенно капитану.— В Риме умер один из величайших художников нашего века, мой соотечественник Орест Кипренский.

Капитан не ответил. Он перебирал апельсины. Вверху, на палубе, перекликались матросы. Итальянский язык казался особенно звонким в густом снегу, засыпавшем пустынные проспекты и дворцы Петербурга.

Капитан выбрал самый большой апельсин и подбросил его на ладони.

— Вот — возьмите,— сказал он и улыбнулся. Блеск зубов преобразил его угрюмое лицо.— В Италии никогда не перестанут созревать апельсины и художники.

Кукольник попрощался и вышел. Он спрятал апельсин в карман плаща и всю дорогу чувствовал его тяжесть и запах.

Кукольник медленно шел, прикрывая рукою рот от ветра, и

думал, что не только в Италии, но и в Петербурге никогда не перестанут рождаться художники. Умер милый волшебник Орест, но живы Брюллов, Иванов и Уткин.

Петербургские дома, выкрашенные в зеленоватый, лимонный и серый цвета, казались фарфоровыми. Свет фонарей дрожал на античных фронтонах домов.

— Великий Рим среди болот и северных лесов! — сказал Кукольник, думая о Петербурге.— Великий Рим в снегах и мраке ночи. Судьба его будет прекрасна.

Эта мысль принесла утешение.

Ни одна газета и ни один журнал не откликнулись на смерть Кипренского. Кукольник недоумевал. Трудно было понять причины молчания, окружившего смерть этого мастера.

Почти через месяц после смерти Кипренского Кукольник напечатал в «Художественной газете» несколько печальных строк.

«Смерть Ореста Кипренского,— писал он,— столь неожиданно лишившая Россию одного из блистательнейших художников, промелькнула в повременных изданиях как тень, наведенная мимолетной тучей, гонимой сильным ветром. Правда, немногие подробности о последних днях Кипренского достигли до северной столицы,— но отчего не раздались даже обычные газетные элегии над гробом знаменитым? Отчего не отдана последняя дань уважения художнику? Отчего? Решить не можем, но причины обнаружатся».

Причина была проста. Кипренский был ненужен тогдашней николаевской России, как были ей ненужны Федотов и Пушкин, Рылеев и Лермонтов, Гоголь и Иванов.

Кипренский прожил короткую жизнь. Она началась блестяще, но окончилась глупо и печально. Россия сжала его за шею и медленно пригибала к земле, пока не поставила на колени перед знатью, перед царем и Бенкендорфом. И Кипренский-художник сбился с пути и умер гораздо раньше, чем спился и умер Кипренский-человек.

Итальянский апельсин долго лежал у Кукольника на письменном столе. Он придавал особую мягкость воздуху, наполненному запахом старых книг и слабой копотью свечей.

Кукольник берег его и все время старался вспомнить слышанный давно, лет пять назад, рассказ Кипренского об апельсине. Потом он все же вспомнил его и записал, но, как всегда, потерял запись среди множества заметок о живописи и неоконченных стихов.

Помнится, Кипренский рассказывал о своем детстве. Упоминал он о нем неохотно. Оно прошло на мызе под Ораниенбаумом. «Ораниенбаум» по-немецки означает «оранжевое, или апельсиновое дерево».

Старики, помнившие век Елисаветы, говорили, что название это было дано не зря. При основателе Ораниенбаума Меншикове в теплицах тамошнего дворца вызревали апельсины. Даже на гербе Ораниенбаума было изображено серебряное поле с апельсиновым деревом, усыпанным созревшими плодами.

Старики, помнившие век Елисаветы, были матросы из морской богадельни в Ораниенбауме — первые наставники и учителя мальчика Кипренского. Их звали «сурками». Все время они проводили в неторопливых беседах и сне.

Чаще всего они рассказывали о морских бурях, налетавших на линейные корабли, грохоте волн и треске снастей. После их рассказов казалось, что вся земля наполнена холодными ураганами, тяжелым дымом туч, ветрами, дождями и грозами. Старые матросы хвастались бурями, как будто сами их вызывали.

Мрачность их рассказов соответствовала окружавшей природе,— белесое небо простиралось над болотистым берегом Финского залива, и томительно проходили тусклые осени и зимы.

Нетерпеливый мальчик — а Кипренский всю жизнь был нетерпелив и горяч — дожидался лета, когда солнце превратит наконец в бледное золото воды залива и зашевелится светлыми стрелами в листве дворцовых садов.

Летом матросы выползали на солнце. Их беззубые рты улыбались шуму деревьев и робкому свисту птиц. Менялись и матросские рассказы. В них среди вечных непогод наступало короткое затишье. Матросы вспоминали Италию, путали названия южных морей. Их память с натугой проникала через вереницу тяжелых матросских лет, через свинцовые туманы, через мутную воду старческой слепоты и вдруг озарялась светом полуденных стран, тонущих в оливковых рощах и перезвоне колоколов.

Крепкая вера моряков в то, что за пеленой дождей и бурь их ждут тихие гавани, сказывалась в этих летних рассказах матросов с особенной силой.

Мальчик Кипренский — побочный сын бригадира Дьяконова, отданный отцом на воспитание своему крепостному Адаму Швальбе,— был с ранних лет предоставлен себе. Он мог часами слушать рассказы матросов или бегать из дому в ораниенбаумские сады и прятаться там от сторожей и садовников.

Эти сады славились каналами. Веснами в них отражались заросли цветущей сирени. Мраморные статуи смотрели в зеленоватую воду холодных прудов, где плавали форели.

Ораниенбаум пугал мальчика своим безлюдьем.

Театр и дворец, построенные Растрелли, давно пустовали. На Катальной горке ни разу за многие годы не было слышно грохота увеселительных колясок. Сады, казалось, навсегда застыли в пышном запустении. Дворцовые зеркала не отражали

никого, а холодные залы годами не слышали шума шагов и военной музыки времен императора Павла.

Мальчик был волен населять эти залы выдуманными героями и прекрасными женщинами. Он делал это со страстью и с полной верой в их существование.

Так с детства Кипренский привык мечтать. Спустя много лет эта героическая мечтательность сообщила особое очарование его работам. Это было в те годы, когда Кипренский превратился из крепостного мальчика в художника и о его «магической кисти» заговорила вся Европа.

В Ораниенбауме Кипренскому изредка удавалось пробираться мимо полосатой будки гренадера к самому дворцу. Мальчик осторожно подымался на террасу и, прижав лоб к холодному стеклу дверей, долго, до ломоты в висках, рассматривал старинные портреты, висевшие в залах.

Короли и императоры неторопливо скакали на этих портретах в желтом пороховом дыму. Багровые вспышки мортир освещали крутые и надменные лица. Блестели кирасы. Знамена развевались в синих грозовых тучах, обрезанных тяжелой золоченой рамой.

Дома Кипренский по памяти рисовал эти портреты, а добродушный Адам Швальбе тайком от него показывал их своему барину Дьяконову. Рисунки были хорошие, и Дьяконов решил отдать совсем еще маленького мальчика в Академию художеств.

Несмотря на то что Кипренский был сыном Дьяконова, по казенным бумагам отцом его считался Швальбе. Тотчас после рождения мальчика Дьяконов приказал Швальбе усыновить его и дать ему при крещении фамилию Копорский — по месту рождения мальчика в городке Копорье, вблизи Ораниенбаума. Под этой фамилией Кипренский и жил вплоть до поступления в Академию.

В Академии ему переменили фамилию на Кипренский. В то время «незаконным» детям можно было выдумывать и менять фамилии сколько угодно. Это считалось в порядке вещей.

В Академии художеств прошли детство и вся юность Кипренского.

Рассказы «сурков» о бурях, дворцовые сады и темные портреты остались в памяти Кипренского на всю жизнь.

Может быть, старым матросам он был обязан тем, что любовь к бурям, грозе и непогоде была выражена у него с особенной резкостью.

То было время французской революции, когда ветер романтики шумел над Европой.

Бледные поэты — в зарницах, в бурях и громах — пели вдохновенные песни о прелести дружбы, благородных порывах, свободе и мужестве. Наполеоновские солдаты разносили по самым глухим городкам славу побед, революционные декреты, шелест

изорванных знамен. Тревога очищала умы от сытости и жеманства восемнадцатого века.

Во время учения в Академии Кипренский был покорен романтикой. Он искал ее всюду. После утомительного сидения в классах за срисовыванием гипсовых Зевсов и Афродит Кипренский уходил на набережную Невы, бродил по ней и читал нараспев стихи неведомого поэта:

Ночь опустила тьму на старые сады.
Холодный ветр свистит и бьется на полянах.
И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды.
Увы, любимцы муз, свершился жребий мой!
Поет военный рог той полночью стоокой,
Бушуют облака. И точно! Дланью рока
Замахнут тяжкий меч над юною главой.

Эти стихи вызывали у Кипренского слезы. В них было все, что он любил еще с детства,— старые сады, холодный ветер, ночные тучи и нежное сердце. Потом эта любовь к бурной природе и неспокойному человеческому сердцу окрепла под влиянием времени.

«Мне часто мерещится,— писал Кипренский впоследствии,— черная качающаяся аллея дерев. Земля, кажется, окаменела, и до сих пор сохраняет она вид ужаса».

Недаром на всех портретах, написанных Кипренским в юношескую пору, позади взволнованных людей, позади поэтов, воинов и печальных женщин всегда стоит непроницаемое грозовое небо. Невольно кажется, что далекий гром и дыхание ливней покрывают нервной бледностью их лица.

Толпа этих странных и привлекательных людей как будто только что сошла на берега Невы с корабля, пришедшего из земли, созданной Байроном, из страны, где мудрые беседы и пылкие страсти сообщают существованию необычайную прелесть.

Учителя Кипренского по Академии Угрюмов и Дойен относились к живописи со страстью и строгостью. Они требовали от учеников умения рисовать с закрытыми глазами.

Дойен заставлял воспитанников Академии накладывать краски на полотно так, чтобы даже под лупой почти не было заметно следов кисти. Поверхность картины должна была быть гладкой, как полированная кость. Только после этого Дойен разрешал молодым художникам работать широкими и свободными мазками.

Все время уходило на рисование. Кипренский научился владеть карандашом с такой точностью, как хирург работает скальпелем. На чтение не оставалось времени.

Над умами художников властвовал тогда Левицкий — хитрый и добродушный украинец, создавший гениальные портреты кавалеров и дам екатерининской эпохи.

Все пытались подражать золотистому теплому тону его картин. Этот тон молодые художники ловили и изучали всюду — в пыльных классах Академии, когда закатное солнце бросало косые лучи на паркет, в отблесках куполов и игре бронзовых шандалов, в зрачках красавиц, позлащенных пламенем свечей.

На последних картинах Левицкого золотистый тон исчез. Он сменился фиолетовым и малиновым — холодным и старческим тоном.

Это дало повод Дойену произнести перед учениками речь о различном ощущении красок в юности, зрелом возрасте и старости.

— Юности свойственна пестрота красок, зрелости — тонкая мера в употреблении теплых и глубоких тонов, а старости — синеватые и холодные краски, столь похожие на цвет жил на старческих руках,— говорил Дойен и восхищался собственной проницательностью.— Не только каждый возраст человека имеет свои любимые краски, но также и каждая страна и каждое столетие на всем протяжении рода человеческого. Изучайте лица людей и краски своего века, если хотите стать его живописцами.

Кипренский следовал совету Дойена. Он изучал лица людей и краски своего века с присущей ему горячностью.

Подобно Пушкину, только что выпущенному из Лицея, Кипренский вел в то время жизнь петербургского повесы.

Но и в беспокойстве легкой жизни, среди балов, бессонных ночей и бесчисленных увлечений красавицами у Кипренского бывали минуты сосредоточенности и внимания.

Они приходили внезапно. Они застигали художника то среди улицы, то на извозчике во время возвращения с товарищеской пирушки, то в разгаре беседы с друзьями.

Как бы от сильного внутреннего толчка окружающий мир внезапно преображался. Куда ни взглянешь, всюду лежали чистые краски, то плотные, то совершенно прозрачные, созданные светом северного солнца, снегом, огнем фонарей.

Привычная земля казалась в такие минуты творением гениальных художников или архитекторов. Цвет неба и облака были как будто написаны венецианцами, а горизонты, синие от прохладного воздуха, провел своим безошибочным карандашом Растрелли.

Однажды на зимнем рассвете Кипренский возвращался из гостей. Он шел по мосту через Неву, опустив голову, и ни о чем не думал,— ему хотелось спать. Запоздалая тройка пронеслась мимо. Колкая морозная пыль посыпалась в лицо.

Кипренский очнулся, поднял голову и остановился. То, что он увидел вокруг, было больше похоже на торжественный сон, чем на петербургское утро.

Ночь не хотела уходить из столицы. Она лежала пластами тяжелого сизого воздуха у подножия зданий и в глубине садов.

Взошло солнце. Багровый свет уже загорался в окнах двор-

цов и падал вниз, в темноту, вырывая из нее то полосатую будку часового, то бронзовый памятник полководцу, седой от снежной пыли, то капитель колонны, украшенную замерзшими листьями аканта.

Небо Италии простиралось в зените, чистое и прекрасное, с грядой легких розовеющих облаков. Летел густой, медленный снег. При ясности неба это казалось непонятным. Чудилось, что снег зарождается в чистом воздухе между землей и небесным сводом.

Кипренский долго смотрел на торжественное падение снега среди немоты и безлюдья петербургских площадей. Снег осторожно ложился на чугунные перила мостов, на меховой ворот шинели и спины спящих извозчиков.

Столица покрывалась белым блеском. Далекие куранты пробили семь. Вокруг был разлит запах лесов, подступавших к Петербургу с севера и востока.

«Как я счастлив, что родился в России»,— подумал Кипренский.

У себя в комнате Кипренский сбросил мокрую шинель и сел к топившейся печке.

— Где,— сказал он с тоской,— где я возьму красок, чтобы изобразить это зимнее безмолвие, и этот блеск, и дворцы, утратившие объем и тяжесть, и, наконец, волнение своего сердца? Какой божественной кистью я смогу передать немой восторг этого утра?

А назавтра после этих мыслей молодой художник — снова щеголь и повеса — забывал обо всем, откладывал кисти и спешил на вахтпарад. Там, стоя на одной ноге и вытянув носки, замирали под водянистым и бешеным взглядом императора Павла полки. Там ждала Кипренского знакомая девушка — любительница военных учений.

Сверкание сабель, поднятых к небу, грохот барабанов и мерный топот полков, вращавшихся вокруг курносого императора,— все это вызывало ее восхищение.

— Я могла бы отдать сердце только военному,— сказала она однажды Кипренскому.

На следующем вахтпараде Кипренский прорвался сквозь строй солдат, бросился к Павлу и крикнул:

— Ваше величество! Я художник, но я хочу променять кисть на саблю. Молю принять меня в армию.

Павел, сморщившись, посмотрел на молодого франта и придержал коня.

— Убрать его,— сказал он сквозь зубы.— Военный парад есть таинство. Никому не вольно нарушать его безрассудными криками.

Кипренский получил жестокий выговор от начальства. Выговор был прочитан в присутствии всех учеников Академии.

Товарищи обидно пожимали плечами. Трудно было понять,

как юноша, обладающий таким талантом, столь легкомысленно хотел променять его на расположение женщины.

Кипренский мучился тяжелым стыдом, но вскоре забыл о случае на вахтпараде. Он был легкомыслен не только в молодости, но и потом, в зрелые годы. Детская неустойчивость и погоня за внешним блеском в конце концов погубили его.

Еще в Академии Кипренский написал пейзаж «Пруд» — один из прекраснейших пейзажей русской живописи. Он полон тишины и прелести.

Пруд неподвижен. Вода в нем гладкая и дымная,— такою она бывает ранним утром или после заката.

Стены высоких деревьев, темные чащи неподвижно стоят по берегам пруда. В небе висят серые, насыщенные росой облака. Мраморная статуя женщины на берегу печально смотрит в светлую воду.

По своей простоте и мягкости эта картина Кипренского равна пушкинским элегиям. Поэзия сумерек выражена в ней с тончайшим мастерством.

Друзья Кипренского говорили, что он, как ночная птица, начинал жить только в сумерки.

Невольно кажется, что к Кипренскому относятся две позабытые пушкинские строчки, начало неоконченных стихов:

Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак
Мне радостней...

Последняя строка оборвана, но содержание ее ясно. Мрак ночи радостнее разоблачающего дневного света. Романтиков всегда привлекали сумерки, когда не только природа, но и лица людей чудятся таинственными и вдохновенными.

Почти в то же время Кипренский написал портрет своего отца.

Много лет спустя он выставил этот портрет в Неаполе. Неаполитанские художники пришли в величайшее волнение. Кипренский был вызван к президенту Неаполитанской академии художеств Николини.

Старый и желчный итальянец встретил Кипренского подозрительно и сказал, что лучшие знатоки живописи тщательно исследовали портрет и нашли, что он не мог быть написан художником девятнадцатого века. Портрет был признан работой Рубенса, которую Кипренский выдает за свою. Правда, голоса знатоков разделялись. Иные считали портрет работой Ван-Дейка, другие — Рембрандта.

Кипренский расхохотался в лицо президенту. Николини закричал, что неаполитанские академики не позволят столь наглым образом обманывать себя какому-то иностранцу.

Конечно, Кипренский без труда доказал, что портрет принадлежит его кисти, и долго потом издевался над неаполитанцами.

В 1803 году Кипренский блестяще окончил Академию. Начались лучшие годы его жизни.

Недаром Кипренский следовал совету Дойена и изучал лица людей своего века. Он создал галерею портретов, где каждое лицо передавало законченный внутренний образ человека, самые примечательные черты его характера.

Изучение портретов Кипренского вызывает такое же волнение, как если бы вы долго беседовали со многими полководцами, писателями, поэтами и женщинами начала девятнадцатого века.

Кипренский писал свежо, широко и законченно.

На его портретах существуют не только лица, но как бы вся жизнь написанных им людей — их страдания, порывы, мужество и любовь. Все это оставило след на их облике и было перенесено на холст.

Один из современников Кипренского говорил, что, оставаясь наедине с его портретами, он слышит голоса людей.

В этом была доля правды. Живость впечатления так велика, что, глядя на портрет Пушкина, как будто слышишь давно знакомый голос поэта, обращенный к нам, его далеким потомкам.

Галерея работ Кипренского разнообразна. Это великолепные автопортреты, портреты детей и его современников — поэтов, писателей, государственных мужей, полководцев, любителей живописи, купцов, актеров, крестьян, моряков, декабристов, художников, масонов, скульпторов, коллекционеров, просвещенных женщин и архитекторов.

Достаточно перечислить несколько имен, чтобы понять, что Кипренский был подлинным живописцем своего времени: Пушкин, Крылов, Батюшков, слепой поэт Козлов, Ростопчин, графиня Кочубей, знаток искусств Оленин, Голенищев-Кутузов, масоны Комаровский и Голицын, адмирал Кушелев, Брюллов, актер Мочалов, переводчик «Илиады» Гнедич, легендарный кавалерист Денис Давыдов — «боец чернокудрявый с белым локоном на лбу», партизан Фигнер, строитель одесского порта де Воллан, декабрист Муравьев, поэты Вяземский и Жуковский, архитектор Кваренги.

Этот список юношеских работ Кипренского далеко не полон. Кипренский оставил еще несколько автопортретов.

Он писал себя то подмастерьем живописи, то мечтательным мальчиком, читающим стихи, то изящным и оживленным светским юношей, объединившим в себе образы Моцарта и Евгения Онегина.

Но на всех этих портретах он одинаков — нервный, легкомысленный, тонкий, с косыми взлетающими бровями. Товарищи звали его «нежным франтом», а один из них оставил о Кипренском скупую, но выразительную запись:

«Был он среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более любил делать себя красивым».

Незадолго до войны 1812 года Кипренский был послан в Москву в помощники скульптору Мартосу. Мартос работал в то время над памятником Минину и Пожарскому.

В Москве Кипренский продолжал писать с прежней горячностью и мастерством.

Он мечтал о поездке в Италию, о Риме — второй родине художников, но границы были закрыты.

Армия Наполеона шла по Европе в громе сражений и побед. Музеи сотрясались от гула канонады. Ядра скакали по бульварам музыкальной Вены. Художники ушли с полей, уступив место лафетам, пыльной гвардии и санитарным повозкам.

Кипренский смирился и усердно помогал Мартосу — умному скульптору, уже прославленному памятником герцогу Ришелье в Одессе.

В это время талант Кипренского достиг полного выражения. Легкомыслие как бы покинуло художника. Он чувствовал глубоко и сильно и со смелостью и тактом передавал то, что чувствовал.

Работа ему давалась легко. Он был подлинным «баловнем счастья».

Из Москвы Кипренский переехал в Тверь, где в то время жила дочь Павла Первого, принцесса Екатерина Павловна. Она пригласила Кипренского к себе и окружила заботами.

Дворец Екатерины Павловны был превращен в своего рода клуб литературы и изящных искусств. Многие выдающиеся люди Москвы бывали здесь запросто.

Окна дворца каждый вечер пылали сотнями свечей. В гостиных курили, спорили, читали стихи и острословили московские поэты и писатели, меценаты и художники.

Приближалась война. Дыхание боевых дней, передвижение армии, тревога, охватившая страну,— все это способствовало напряженной и взволнованной мысли.

Иногда в полночь быстро входил новый неожиданный гость. От его плаща шел запах ветра и полей. Он нетерпеливо скакал из Москвы в Тверь на перекладных, чтобы сообщить последние вести о баталиях и выслушать чтение высокопарных стихов и шум страстных споров.

Тусклый фонарь у тверского шлагбаума и ленивый сторож-инвалид перевидали в то время много приезжих, памятных всей России.

Кипренский жил вместе со всеми приподнятой и бессонной жизнью.

Но однажды вечером никто не приехал. На городскую площадь вошел на рысях полк угрюмых улан и расположился биваком. Горели костры, освещая черные капли дождя. Громко жевали лошади. Запах дыма, навоза, лошадиного пота и хлеба был неотделим от хриплой брани и дребезжащего голоса трубы. Москва была занята Наполеоном.

В Твери стало тихо. Больше никто не приезжал. Кипрен-

скому было некого рисовать. Тогда он начал писать портреты крестьян и пейзажи на окраинах Твери и берегах Волги.

Карандаш сменил кисть. Кипренский только подцвечивал свои рисунки с удивительной тонкостью.

Слава молодого Кипренского росла стремительно.

Он вернулся из Твери в Петербург, почти признанным гением. Слух о нем проник в Западную Европу. Вся столица говорила о «волшебном карандаше» художника. Легкость, с какою он создавал свои портреты, казалась чудом.

Кипренский был приглашен ко двору писать портреты великих князей. Все именитые люди столицы добивались чести быть увековеченными Кипренским.

Законное признание художника знатоками живописи преобразилось в петербургском высшем свете в пустую и трескучую моду. Кипренский стал моден, как в то время были модны коралловые ожерелья среди женщин и звонкие брелоки — «шаривари» — среди мужчин.

Кипренский начал писать еще лучше. Мастерство его портретов, особенно портрета Хвостовых, достигает как бы предела человеческих возможностей. Петербург подхватывает брошенное кем-то крылатое слово, что краски Кипренского действуют на людей, как рейнвейн. Они рождают резкие переходы от улыбки к необъяснимой печали, от восторга к задумчивости.

Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, но лишенный многих необходимых знаний, упорства и мужества, погружался в блеск славы. Он не жалел себя. Вдохновение — непередаваемое состояние, предел мечтаний художников и поэтов — длилось дни, недели, месяцы.

Вдохновение заставляло его смеяться от радости при каждом удачном ударе кисти, страдать от бессонницы, бродить по Петербургу в зелени и блеске белых ночей, всматриваться в спящие многоцветные воды, чтобы потом перенести эти краски на полотно.

Вера в могущество и светлый дар своих рук, глаз, своего ощущения мира держала художника в непрерывном внутреннем напряжении.

Из мастерской, пахнущей лаком, он едет в императорские дворцы, где воздух кажется ему благородным от множества картин, мебели и бронзы, сделанных руками славных мастеров. Выйдя из дворца, он встречает друзей, приветствующих его молодо и радостно. Он встречает женщин, открыто улыбающихся ему, его славе, его счастливой юности,— женщин прекрасных и ждущих столь же прекрасной любви.

Кружится голова. Дни мелькают в жестоком напряжении. Где-то в глубине мозга уже родилась, как мышь, усталость и начинает грызть, пока еще осторожно и робко, вызывая приступы головной боли. Усталость и головную боль Кипренский заглушал вином.

Кипренский не знал, да и не мог знать, что слава для таких людей, как он,— страшнее смерти.

Он любовался славой, гордился ею. Он искренне верил лести и трескучим тирадам журналистов. Он думал, что мир уже лежит у ног, покоренный его мастерством.

Он не знал, что талант, не отлитый в строгие формы культуры, после мгновенного света оставляет только чад. Он забыл, что живопись существует не для славы. Он пренебрег словами Пушкина о том, что «служенье муз не терпит суеты; прекрасное должно быть величаво...».

За это он расплатился впоследствии тяжело и жестоко.

Кто знает, чем бы кончились эти напряженные дни, если бы не наступила передышка. Кипренскому было разрешено уехать в Рим «для усовершенствования в живописном мастерстве».

Может быть, Кипренский надорвался бы и умер молодым, как умирали многие талантливые люди в тогдашней России. Может быть, живя вблизи Жуковского и Пушкина, живя в кругу людей, знавших его душевную неуравновешенность, он никогда не сделал бы искусство средством для жизненного успеха. Кто знает?

Сам он втайне сознавал, что совершает ошибку, но, не привыкший разбираться в своих душевных состояниях, не мог решить, как найти от нее избавление.

Он неясно тосковал о друге, который удержал бы его от погони за удачей и внешним блеском, вылечил бы от безволия и внушил мудрость большого человека и скромность подлинного гения. Тоска о друге-хранителе преследовала Кипренского до самой смерти, но жажда легкой жизни и удача преодолела все.

От Петербурга до Любека Кипренский плыл на корабле. Море бушевало. Кипренский восхищался. Ему казалось, что корабль несет его в туманные страны романтики, взлелеянные в мечтах еще с детства.

Любек поразил его пустынностью. Недавно из города ушли последние наполеоновские полки. Германия встретила художника шелестом придорожных тополей и шумом быстро текущего Рейна. Наконец коляска Кипренского достигла Швейцарии. Он увидел Альпы.

«Я видел,— восклицает он в письме к Оленину,— горы, осужденные на вечные льды».

Кипренский остановился в Женеве, где написал несколько портретов и был избран членом художественного общества. Это избрание он встретил как должное.

Из Женевы он выехал в Италию. Радость не покидала его. Цветение чуждой природы создало вокруг него новый живописный мир.

Густые леса на берегах Лаго-Маджоре встречали его легким гулом. Свет солнца трепетал на их листве, как на поверхности моря. «Винограды горели, как яхонты. Селения улыбались своему изображению в лазоревой воде». Голоса пастухов звучали непонятно и весело в теплом неподвижном воздухе.

В Милане Кипренский целые дни проводил около «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Сторожа, хранители картины, рассказывали ему, как сам Наполеон несколько часов сидел перед творением Леонардо в глубокой задумчивости. Созерцание «Тайной вечери» внушило Кипренскому новую веру в свои силы.

«При виде творений гения,— писал он,— рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности».

В миланском театре Кипренский впервые услышал «Волшебную флейту» Моцарта.

Чистые звуки моцартовской музыки, похожие на голоса серебряных труб, привели его в восхищение. В музыке Моцарта Кипренский хотел найти оправдание для себя,— ведь создал же Моцарт, капризный и ветреный, как женщина, проводивший ночи в пирушках и похождениях, эту высокую музыку.

Но Кипренский не знал, что Моцарт никогда не подчинял музыку низкому житейскому успеху.

Дилижанс въехал в Рим поздним вечером. Он задержался в Альбани, где ленивые жандармы окуривали серой вещи путешественников. В окрестностях Рима свирепствовала холера.

Когда стих грохот колес по каменной мостовой, Кипренский услышал свежий шум воды в городских фонтанах. Вода журчала и пела, наполняя ночь усыпительным плеском.

Сердце у Кипренского тяжело билось. Его провели в темную сводчатую комнату гостиницы и зажгли свечи.

Он тотчас же погасил их и распахнул окно. Ночь, великая, как далекое прошлое, стояла над Римом. Казалось, атланты держали ночное небо на широких плечах и от усталости все ниже склонялись к земле, приближая к ней звезды.

Неразгаданный город лежал у ног художника. Кипренский долго всматривался, пытаясь различить величественные руины, и внезапно вздрогнул,— в темноте высился огромный тяжелый купол собора, более черный, чем ночь. Это был храм святого Петра.

Кипренскому стало страшно. Он вспомнил последние петербургские годы. Внезапная усталость спутала его мысли.

«Не исчерпал ли я себя петербургским неистовством? — подумал Кипренский, отходя от окна.— Хватит ли сил продолжать начатое столь же успешно? Достигну ли я вершин Рафаэля? А достигнуть надобно».

«Нет!» — мерно сказал кто-то из темноты за окном.

Кипренский быстро обернулся,— это тяжелый церковный колокол отсчитывал часы.

«Нет!» — повторил колокол и стих, но темнота еще долго гудела от его медного голоса.

Было два часа ночи. Силы оставили Кипренского. Он уснул не раздеваясь.

А утром в лицо полилось густое римское небо. Голубой воздух наполнял комнату. Пели фонтаны. Звонили колокола. Внизу на тесной площади бранились итальянки, продавщицы овощей, и отчаянно вопили погонщики ослов.

Кипренский быстро умылся, сбежал, насвистывая, с лестницы и смешался с пестрой толпой, расступившейся перед красной каретой кардинала.

Ветер пролетал над Римом и нес сухие и пышные облака, такие же, как на картинах старых мастеров.

Кипренский, отравленный славой, растерялся в загадочном Риме.

С каждым днем он все больше убеждался, что вершины Рафаэля ему не по силам. Он испытал чувство, описанное Гоголем: «Могучие создания кисти возносились сумрачно перед ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания».

В чем была тайна Рафаэля? В чем было очарование старых мастеров? Как открыть эту тайну и перенести на свои холсты легкость чужой кисти?

Кипренский не знал. Он хотел покорить Рим, как недавно покорил Петербург. Он торопился и потому пошел по самому легкому пути.

Картины Рафаэля были выписаны тонко и гладко. Кипренский решил выписывать свои работы так же тщательно, как Рафаэль и Корреджо. Выходило сухо, мертво. Художник изменил себе. Глаза его как будто не видели живых красок.

Вместо великолепных портретов он начал писать скучные композиции Христа, окруженного детьми, и слащавые головки цыганок с розами в волосах.

Он хотел покорить Рим, но не знал Рима.

Однажды Кипренский услышал, как на улице весело распевали песню о Брюллове. Впервые зависть вошла в сердце. Рим — вечный Рим! — пел песню о молодом русском художнике, но не о нем, не о блистательном Оресте.

Кипренский был чужд Риму. Галерея Уффици во Флоренции заказала ему его собственный портрет. Но Кипренскому было мало этого. О портрете знали многие, но не весь Рим.

Кипренскому хотелось быть блестящим не только в живописи, но и в повседневной жизни. Он мечтал о том, как всюду — в остериях и дворцах, в Ватикане и академиях, среди прелестных римлянок и завистливых художников — громкая слава

летит за ним, кружит головы, дает богатство, беспечность, любовь, преклонение.

В Риме для Кипренского пришло время последнего выбора между суровой жизнью подлинного художника и позолоченным существованием модного живописца. Кипренский выбрал последнее.

В то время военная гроза уже отшумела. Наполеон был сослан на пустынный остров в океане. Громы революции затихли в сонном воздухе Европы.

Романтика умирала, не находя опоры в окружающей жизни. Место прежних героев и бледных от нежности женщин заняли Чичиков и Хлестаков. Романтика умирала, и вместе с ней медленно умирал художник Кипренский.

Русские художники, жившие в Риме, скоро наскучили Кипренскому.

Все дни напролет они свистели, как дрозды, за мольбертами в своих тесных комнатах, а по вечерам заполняли остерии на Испанской площади, затевая за дешевым вином бесплодные споры.

Они отращивали бороды, чтобы быть похожими на мастеров Возрождения, небрежно закидывали через плечо плащи, мечтали о славе Кановы, болели римской лихорадкой «терцаной» и время от времени умирали от чахотки. Рим был губителен для северян.

Только двое русских привлекали Кипренского — Брюллов и застенчивый чахоточный Тамаринский.

Дружба с Брюлловым не ладилась. Он обидно молчал, рассматривая последние итальянские работы Кипренского. Мнительный Кипренский объяснял это завистью.

Тамаринский тоже молчал, но в глазах его не было осуждения. Даже в Риме он кутал в шарф худую шею и жаловался на сырость ночей,— по вечерам ветер приносил из Кампаньи запах болот.

Тамаринский был сыном дьякона. Его отец надорвался, читая Евангелие на литургии в присутствии императора Павла. Этим обстоятельством друзья Тамаринского объясняли хилое здоровье художника, родившегося через год после этого случая.

Тамаринский был знаком со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, соперником итальянского скульптора Кановы, жившим в то время в Риме.

Торвальдсен только что закончил бюст лорда Байрона. Весь Рим говорил о недавнем посещении города английским поэтом.

Кипренский еще с петербургских дней хранил в своем сердце память о Байроне. Он горько досадовал на судьбу, приведшую его в Рим уже после отъезда Байрона. Он завидовал даже слугам в остериях, видевшим прекрасного британца.

Кипренский уговорил Тамаринского вместе пойти к Торвальдсену посмотреть бюст Байрона и поговорить о поэте.

В то время Кипренский писал картины на аллегорические сюжеты — «Анакреонтову гробницу» и «Цыганку с миртовой

веткой в руке». Писал он вяло, стараясь приятностью красок и зализанностью мазка вызвать восхищение итальянской публики.

Картины хвалили, особенно «Анакреонтову гробницу». Итальянский поэт Готти даже воспел ее в тяжеловесных стихах. Но все это было не то,— в похвалах не хватало искреннего волнения, как и в картинах уже не было живой игры красок и свободной кисти.

Посещение Торвальдсена доставило Кипренскому величайшую торечь и радость.

Светловолосый датчанин — обычно ленивый и беспечный — был в тот вечер сердит и взволнован.

Когда Кипренский вместе с Тамаринским поднимались в мастерскую Торвальдсена по железной грохочущей лестнице, из дверей мастерской выскочил толстый человек. Обмахивая шляпой потное лицо, он промчался мимо Кипренского и едва не сбил его с ног. Кипренский узнал в нем скульптора-итальянца, известного своими ловко сделанными, безжизненными статуями.

Внезапно дверь мастерской распахнулась. В ней появился Торвальдсен.

— Я зубами высеку из мрамора лучше, чем ты резцом! — крикнул он вслед убегавшему скульптору и захлопнул дверь.

Кипренский поколебался и осторожно постучал. Слуга открыл дверь. Торвальдсен быстро ходил по мастерской. На диване с цилиндром в руке сидел красавец Камуччини — известный Риму исторический живописец — и смеялся, глядя на Торвальдсена.

— Я удивляюсь, как развитой человек может сейчас смеяться! — сказал Торвальдсен и обернулся. Гнев быстро сошел с его лица. Через минуту он уже наливал в стаканы вино и отгонял мохнатых собак, царапавших лапами бархатные жилеты гостей.

Оживленно беседовали о скульптуре. Кипренский сказал, что мраморы Ватикана представляются ему мертвыми и не вызывают волнения, свойственного великим творениям искусства.

— Мой русский друг,— сказал Торвальдсен, посмеиваясь и разглядывая на свет вино,— мой знаменитый друг, позвольте мне сегодняшней ночью показать вам эти мраморы, и вы измените ваше легкомысленное суждение.

— Как, ночью? — воскликнул Кипренский.

— Не будем раньше времени разглашать нашу тайну,— хитро сказал Торвальдсен.

Камуччини снисходительно улыбнулся.

— Нельзя оскорблять мрамор! — воскликнул Торвальдсен.— Ничто лучше мрамора не может выразить чистоту человеческого тела. Он слишком тонок для моих грубых рук. Я преклоняюсь перед благородным резцом Кановы. С детства я привык высекать статуи из дерева. Я помогал отцу. Мой отец -

исландец, резчик по дереву в Копенгагене,— делал деревянные фигуры для носов кораблей. Он был плохой художник. Его деревянные львы были похожи на толстых собак, а нереиды — на торговок рыбой.

Торвальдсен засмеялся.

— Отец очень горевал, что ему не удается работа. Вечером, за несколько часов перед моим рождением, мать сидела за прялкой. Она ждала родов, была рассеянна и забыла завязать нитку на прялке. Это у нас, датчан, считается счастливой приметой. «Петер,— сказала мать отцу уже после того, как я родился,— не горюй. Я забыла завязать нитку на прялке. Значит, сын принесет нам счастье».— «Я не знаю, что это такое»,— сказал отец. «Я тоже хорошенько не знаю,— ответила мать,— но я думаю, что счастлив тот, кто доставляет счастье многим людям».

Торвальдсен налил Кипренскому вина.

— Пейте! Все матери ошибаются, когда говорят о своих детях. И моя мать ошибалась, когда так думала обо мне. Я рассказал вам это затем, мой знаменитый русский друг, чтобы привести наивные слова моей матери о счастье. Я завидую вам. Вы должны быть беззаботно счастливым человеком. Я знаю ваши петербургские работы. Поэтому пейте и не спрашивайте меня о бюсте Байрона. Я его не покажу.

— Почему?

— Об этом мы поговорим по дороге в Ватикан.

Торвальдсен встал.

— Ночь уже достаточно темна,— сказал он,— чтобы смотреть античные статуи.

Кипренский недоумевал. Они вышли. Римская ночь была полна тьмы, огней, затихающего грохота колес и запаха жасмина.

— Почему вы не хотите показать нам бюст Байрона? — спросил Камуччини.— Неужели мы не достойны этого?

Торвальдсен остановился около лавчонки с фруктами и закурил трубку от толстой свечи, прилепленной к прилавку. Связки сухой кукурузы висели вперемежку с гроздьями апельсинов.

— Друзья,— сказал Торвальдсен,— не обижайтесь. Я не покажу вам Байрона потому, что эта работа несовершенна и не передает души поэта. Когда Байрон вошел в мою мастерскую, я обрадовался так сильно, как исландские дети радуются после зимы летнему солнцу. Я пел, работая над бюстом, хотя Байрон позировал ужасно. Его лицо было все время в движении. Ни на одно мгновение оно не могло застыть. Тысячи выражений срывались с этого прекрасного лица точно так же, как с его губ срывались тысячи то веселых, то острых, то печальных слов. Я делал ему замечания, но это не помогало. Когда я кончил бюст, Байрон мельком взглянул на него и сказал: «Вы сделали не меня, а благополучного человека. На вашем бюсте я не

похож».— «Что же дурного, если человек счастлив?» — спросил я. «Торвальдсен,— сказал он, и лицо его побледнело от гнева,— счастье и благополучие так же различны, как мрамор и глина. Только глупцы или люди с низкой душой могут искать благополучия в наш век. Неужели на моем лице нет ни одной черты, говорящей о горечи, мужестве и страданиях мысли?» Я поклонился ему и ответил: «Вы правы. Мой резец мне изменил. Я радовался, глядя на вашу голову, а радость туманит глаза».— «Мы еще встретимся»,— сказал Байрон, пожал мою руку и вышел. На днях один богатый русский предложил мне за бюст тысячу цехинов.

— И что? — живо спросил Кипренский.

— Ничего. Я сказал ему: «Если бы вы, сударь, предложили мне деньги за то, чтобы разбить бюст, я взял бы их охотно. Свои ошибки я не продаю».

Торвальдсен засмеялся. Кипренский молчал. Все, что говорил Торвальдсен, причиняло ему боль. Датчанин бередил открытую рану.

«Даю ли я сейчас счастье многим людям, как это было ранее? — думал Кипренский.— Неужели только глупцы пытаются устроить благополучие своей жизни?»

Размышления эти были прерваны приходом в Ватикан. Торвальдсен передал привратнику пропуск от кардинала.

При свете тусклой свечи они прошли по темным и гулким залам, где столетиями жили в тишине статуи, фрески, картины и барельефы. Лысый старик монах шел следом за Торвальдсеном.

Торвальдсен остановился посреди обширного зала. В нишах тускло белели мраморы.

— Отец! — негромко позвал Торвальдсен монаха.

Старик подошел. Торвальдсен взял из его рук факел, не замеченный ранее Кипренским, и поднес к нему свечу.

Багровое пламя рванулось к потолку, и под стенами внезапно засверкали статуи, озаренные колеблющимся светом.

— Теперь смотрите! — негромко сказал Торвальдсен.

Художники стояли неподвижно. Кипренский всматривался в неясную игру огня на теплом камне. Он старался закрепить в памяти движения теней, сообщавшие необычайную живость лицам героев и мраморных богинь. Знакомая по петербургским дням, давно позабытая душевная дрожь овладела им. Слезы комком подступили к горлу.

— Ну, что же, камень живет? — тихо спросил Торвальдсен.

— Живет,— глухо ответил Кипренский.

— Живет,— повторили Камуччини и Тамаринский.

— Друзья,— веско сказал Торвальдсен,— только так рождаются образы от античной скульптуры и создаются в тайниках нашей души законы мастерства.

Художники все еще стояли неподвижно. Они молчали. Огонь шумел, освещая бесконечные залы.

Всю эту ночь Кипренский не спал. Как всегда, звонили колокола, и от тяжелых слез болело сердце.

«Где, на каких путях я потерял законы мастерства? Смогу ли я быть снова свободным?» — спрашивал себя Кипренский, но тотчас же эта мысль тонула в дремоте и в пении старых позабытых строк:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды...

Утомленный художник уснул. Рассвет разгорался над Римом.

Потрясение, пережитое в залах Ватикана, не прошло бесследно. Снова с прежним волнением Кипренский начал работать над портретом князя Голицына — одним из самых поэтических полотен русской живописи.

С прежним проникновением изображен у Кипренского этот мистик и аристократ, личный друг императора Александра.

Эта работа Кипренского написана в глубоких, бархатистых коричневатых и синих тонах. Позади сидящего бледного князя виден Рим, купол собора святого Петра, темные деревья и небо, покрытое пышными грозовыми облаками — такими, как на картинах старых мастеров.

Второй портрет — княгини Щербатовой — Кипренский написал в мягких и блестящих красках, таких же мягких, как шелковая шаль, накинутая на плечи княгини. Все лучшее, что осталось в Кипренском от житейских встреч с женщинами, он воплотил в образе Щербатовой — задумчивость, нежность, девическую красоту.

Это, пожалуй, были последние работы Кипренского, если не считать прекрасного портрета Голенищевой-Кутузовой и нескольких рисунков. В последний раз Кипренский вызывал своей кистью из глубин воображения любимых героев и женщин,— их уже не было в подлинной жизни. Это была вспышка перед концом.

После этого Кипренский писал слащавые и фальшивые вещи — жеманных помещиц, скучных богатых людей, представителей равнодушной знати. Он пытался заменить прежние острые характеристики изображением бытовых подробностей. Он наивно думал, что одежда, перстни, кресла и трубки смогут рассказать о человеке больше, нежели рассказывала раньше его гениальная кисть.

Свободные движения людей на портретах сменила деревянная и тупая поза. Краски сделались грязными, мутными и угнетали глаз. Заказы сыпались сотнями. В ящике письменного стола кучами валялись ассигнации и звенело золото.

В это время случилось событие загадочное, оставившее черную тень на всей дальнейшей жизни Кипренского.

Для картины «Анакреонтова гробница» Кипренский разыскал красивую натурщицу. У нее была дочь — маленькая девочка Мариучча. Кипренский рисовал и мать и дочь.

Однажды утром натурщицу нашли мертвой. Она умерла от

ожогов. На ней лежал холст, облитый скипидаром и подожженный.

Через несколько дней в городской больнице «Санта-Спирито» умер от неизвестной болезни слуга Кипренского — молодой и дерзкий итальянец.

Глухие слухи поползли по Риму. Кипренский утверждал, что натурщица убита слугой. Медлительная римская полиция начала расследование уже после смерти слуги и, конечно, ничего не установила.

Римские обыватели, а за ними и кое-кто из художников открыто говорили, что убил натурщицу не слуга, а Кипренский.

Рим отвернулся от художника. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи — ремесленники и торговцы — грозили убить.

Кипренский не выдержал травли и бежал из Рима в Париж.

Перед отъездом он отвел маленькую сироту Мариуччу в сиротскую школу для девочек, в «консерваторию», и поручил ее настоятелю-кардиналу. Он оставил деньги на воспитание девочки и просил немногих художников, еще не отшатнувшихся от него, заботиться о Мариučче и сообщать ему о ее судьбе.

В Париже русские художники, бывшие друзья Кипренского, не приняли его. Слух об убийстве дошел и сюда. Двери враждебно захлопывались перед ним. Выставка картин, устроенная им в Париже, была встречена равнодушно. Газеты о ней промолчали.

Кипренский был выброшен из общества. Он затаил обиду. В Италию возврата не было. Париж не хотел его замечать. Осталось одно только место на земле, куда он мог уехать, чтобы забыться от страшных дней и снова взяться за кисть. Это была Россия, покинутая родина, видевшая его расцвет и славу.

В 1823 году, усталый и озлобленный, Кипренский вернулся в Петербург.

Сырое небо Петербурга залечивало раны медленно. Старые друзья не знали, о чем говорить. Никто из них не расспрашивал Кипренского об Италии. Их нарочито веселые и однообразные возгласы при встрече: «Ба, Орест, да ты все таков же!» — смертельно надоели художнику.

Кипренский понял, что дружба хиреет от долгой разлуки. Прошлое вспоминалось со вздохом, а иной раз с равнодушием и скукой.

Только сады, холодная Нева и небо оставались все те же,— их дружба была неразделимой и вечной. Она не требовала ответных чувств.

Кипренский работал, получая достойные заказы, бывал при дворе, где рисовал с бюста Торвальдсена портрет только что умершего императора Александра Первого, изредка его навещали покровители и друзья.

Но все это было не то. Потускнели глаза, в них появилось

беспокойное выражение, ослаб голос. По утрам художник часами лежал в постели, ни о чем не думая и ни к чему не прислушиваясь.

Иногда, накладывая на полотно серую или молочно-розовую краску и как бы не замечая ее мертвого тона, Кипренский вдруг бросал с бешенством кисть на пол, срывал с вешалки плащ и выбегал на улицу. Он шел, не замечая людей, на окраины города, где гнили в тумане тусклые домишки, и возвращался только к ночи.

Бывало это всякий раз в то время, когда что-нибудь в окружающей Кипренского петербургской жизни напоминало ему Италию. Глухая сердечная боль по светлому воздуху, по древним колоннам, горячим от солнца, по запаху жасмина приходила все чаще и чаще. С непонятным упорством Кипренский показывал друзьям картины, написанные в Италии, и требовал похвал. Все сделанное в Италии казалось ему прекрасным. Друзья хмурились и пожимали плечами.

Кипренский писал сейчас ни хорошо, ни плохо,— что-то погасло внутри. Однажды к нему прислали от Бенкендорфа. Граф просил Кипренского написать портреты его детей.

Кипренский махнул рукой и согласился. Теперь ему было все равно — писать ли Пушкина или Бенкендорфа, Кюхельбекера или Аракчеева. Слабость свою Кипренский пытался прикрыть напускным легкомыслием и старался не вспоминать слов, сказанных им много лет назад, когда ему посоветовали писать портрет Аракчеева:

— Писать его надо не красками, а грязью и кровью, а таких вещей на моей палитре не водится.

Только два события запомнились Кипренскому из этих последних петербургских лет: наводнение 1824 года и работа над портретом Пушкина.

В день наводнения Кипренский ни разу не вспомнил об Италии. Утром он проснулся от пушечных ударов, сотрясавших стены. Ветер свистел в темных коридорах пустого дома. Кипренский распахнул дверь мастерской и засмеялся,— его, еще горячего от сна, сразу же обдуло запахом морской воды. За окнами непрерывно мчалось к востоку черное угрюмое небо.

— Буря! — крикнул Кипренский и подбежал к окну.

Буря бушевала над Петербургом, как возвращенная молодость. Редкий дождь хлестал в окна. Нева вспухала на глазах и переливалась через гранит. Люди пробегали вдоль домов, придерживая шляпы. Ветер хлопал черными шинелями. Неясный свет, зловещий и холодный, то убывал, то разгорался, когда ветер вздувал над городом полог облаков.

Кипренский спустился на улицу. Пушки били все тревожнее и чаще. Мокрые уланы неслись вскачь по затопленным мостовым, шумно взбивая пену. Смоленые лодки качались на привязи около чугунных оград. Нева шла громадой железной воды и грозно рокотала около мостовых устоев. В домах горели свечи.

Непонятный восторг вселился в душу Кипренского,— он дрожал от холода и возбуждения. Художник торопливо вернулся домой, зажег огонь в круглой чугунной печке и схватил краски. Чем было лучше всего передать цвет этого ненастного дня? Кипренский выбрал сепию. Рисунок он нанес нервным брызгающим гусиным пером. Так появилось его «Наводнение».

Когда Кипренский писал портрет Пушкина, поэт был озабочен, хотя и пытался шутить.

Кипренский решил всю прелесть пушкинской поэзии вложить не в лицо поэта, бывшее в то время утомленным и даже чуть желтоватым, а в его глаза и пальцы. Глазам художник сообщил почти недоступную человеку чистоту, блеск и спокойствие, а пальцам поэта придал нервическую тонкость и силу.

— Ты мне льстишь, Орест,— промолвил грустно Пушкин, глядя на оконченный портрет.

Однажды Пушкин прочел Кипренскому стихи об Италии, как бы чувствуя тоску художника по недавно покинутой «стране высоких вдохновений»:

Где пел Торквато величавый;
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы;
Где Рафаэль живописал;
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал...

Кипренский слушал, опустив голову и задержав кисть на полотне. Он в то время набрасывал губы поэта, а чтение стихов нарушало их замкнутую линию, столь похожую на линию юношеских губ.

— Александр Сергеевич,— сказал Кипренский, не подымая головы,— я хотел бы унести твой голос с собой в могилу.

— Полно, Орест,— ответил Пушкин и вдруг закричал тонким голосом, каким кричали на улицах торговки-чухонки: — Клюква, клюква, ай ягода-клюква!

Кипренский рассмеялся и легко ударил кистью по холсту.

В 1827 году Кипренский вновь уехал в Рим. Ему все казалось, что в Риме вернется былая слава. Но жизнь уже приближалась к концу, и талант был тяжело подорван.

В Риме Кипренский скучал. Он ждал событий, перемен. Мариучча выросла, стала стройной и милой девушкой. Кипренский полюбил ее, но долго скрывал это и от себя и от Мариуччи, и от немногих друзей.

От тоски и необъяснимой тревоги художник начал пить. Работа быстро утомляла его, а без нее не было денег. И Кипренский работал, как сотни итальянских художников-ремесленников, снимавших копии с Рафаэля, Корреджо и Микеланджело для

богатых иностранцев. Он часто писал по заказу портреты безразличных ему людей и зевал от скуки.

Рим был прежним, несмотря на медленное умирание художника. «Все тот же теплый ветер верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все — есть смерть».

Так же пылали величественные закаты, так же, как и раньше, художники ходили смотреть на них с холма Пинчио. Грозный свет и сумрак римских вечеров любил Гоголь. Вместе с художниками он смотрел на закаты и приходил в раздражение, когда его окликали.

— Не мешайте мне,— восклицал он,— хотя бы на одно мгновение стать прекрасным человеком в этом неласковом мире.

Все так же пахли плесенью и вином каменные полы в остериях, где Кипренский встречался по вечерам со своим новым другом, гравером Иорданом. Иордан любил Кипренского и называл его «предоброй душой».

Десять лет, проведенных в Риме, Иордан потратил на гравировку рафаэлевского «Преображения». В кирпичном полу своей комнаты около гравировального станка он протер ногами глубокую яму. Об этой яме любил рассказывать художникам Гоголь. Художники почитали Гоголя, но стеснялись его,— писатель был необщителен и молчалив.

Иванов в то время уже писал свое «Явление Христа народу».

Кипренский же сидел в остериях. Он носил с собой хлеб и кормил им бродячих собак. Собаки ходили за художником стаями, но в остерии их не пускали. Тогда они садились у дверей и терпеливо ждали, помахивая хвостами.

По стаям собак, сидевших то у одной, то у другой остерии, заказчики разыскивали Кипренского. Они заставали его за столом, уставленным бутылками. Он всегда требовал у слуги свечу, ставил ее перед собой и, прежде чем выпить вино, долго рассматривал его на свет.

— Жаль, друг мой милый,— сказал он однажды Иордану,— что нельзя писать картины вином. Сколько бы света и трепета мы вкладывали тогда в свои творения.

— Ваши краски, Орест Адамович,— ответил вежливый Иордан,— не уступают игре вина.

Кипренский досадливо поморщился и отвернулся.

— Что было, то быльем поросло,— сказал он глухо.

Кипренский не знал, что оставалось ему делать в жизни. Существовать было одиноко и неуютно. Тогда измученный Кипренский совершил последнюю ошибку — женился на Мариучче. Она его не любила, но была привязана к нему, как к человеку спасшему ее от нищеты и голода. Чтобы жениться на Мариучче. Кипренский принял католичество.

Вместе с Мариуччей Кипренский уехал в Неаполь.

Ненадолго жизнь стала светлее. Каждый час больной и печальный художник чувствовал рядом с собой присутствие пре

красной юной итальянки. Она читала ему книги по истории Италии, трактаты о живописи и стихи.

Кипренский следил за каждым ее движением, пытаясь уберечь Мариуччу от самых ничтожных житейских неприятностей и оградить от скуки.

Уходило много денег. Кипренский ради заработка был готов на все. Он начал писать модные в то время сладкие пейзажи с дымящимся Везувием, продавал в Петербург копии с картин знаменитых итальянцев, унижался перед графом Шереметьевым, снабжавшим его деньгами, и писал ему жалкие шутовские письма в стихах:

Уж времечко катилось к лету,
А у меня денег нету.

Он просил у Бенкендорфа взаймы двадцать тысяч рублей на пять лет. Он намекал на то, что ему, Кипренскому, следовало бы пожаловать какой-нибудь орден за прошлые его заслуги живописца. Но Петербург молчал.

Падение художника шло с неизбежностью. Кто знает, понимал ли Кипренский всю глубину своего душевного несчастья, вызванного слабостью воли, погоней за житейским успехом, отсутствием твердых вкусов и взглядов?

Если он и не понимал этого, то все же чувствовал, как крепнет в нем человек ничтожный и пошлый и теряется в туманах прошлого образ гениального и веселого юноши, сына романтического века.

В Неаполе Кипренский написал, собрав последние силы, полный высокой поэзии портрет Голенищевой-Кутузовой. Этот портрет возник среди дешевых и вымученных его работ, как последнее сверкание прошлого.

Из Неаполя Кипренский уехал с Мариуччей во Флоренцию и Болонью, а оттуда вернулся в Рим.

Погасшими глазами он смотрел на эти пустынные величественные города, вяло бродил по улицам, заросшим цветущей травой, и не предавался воспоминаниям. Очарование прошлого было ему уже недоступно. Хотелось покоя, вина, беспечных снов, действующих как лекарство, помогающих забыть тревогу последних лет.

В Риме Кипренский поселился в старом дворце Клавдия, где когда-то жил французский художник Лоррен.

Кипренский сильно пил. Каждую ночь он возвращался пьяный и приводил с собой подозрительных завсегдатаев остерий.

«Молодая жена его,— пишет Иордан,— не желая видеть великого художника в столь неприглядном виде, часто не впускала его, и он ночевал под портиком своего дома».

В одну из таких ночей в октябре 1836 года Кипренский простудился, несколько дней перемогался, а потом слег.

Мариучча вызвала старого доктора Риккарди, лечившего всех русских художников.

Лысый и вертлявый старик, похожий на запыленное чучело птицы, вошел вприпрыжку в низкую комнату, где лежал Кипренский. От каменных пустых стен тянуло холодом. Риккарди огляделся и высоко поднял брови — в комнате знаменитого художника висела только одна картина — неоконченный портрет Мариуччи, сидящей у окна.

Кипренский бредил.

Эхо чьих-то торопливых шагов доносилось из далеких пустующих комнат. Густая темнота в углах и в длинных каменных коридорах. Жить в таком доме было сиротливо и холодно.

Риккарди выслушал больного. Ночной осенний ветер шумел над Римом. Старый дворец был полон странного гула, низкого пения каминных труб, хлопанья ставен, скрипа дверных петель.

Риккарди долго смотрел на бледное лицо Кипренского, откинув с его лба блестящие от испарины темные волосы.

— Синьора,— сказал он Мариучче,— у вашего мужа грудная горячка. Шум ветра не дает мне возможности выслушать его со всей тщательностью. Он очень плох. Надо пустить кровь.

Мариучча молчала. Ей было страшно оставаться одной с этим бредящим, внезапно ставшим совсем чужим человеком.

В бреду Кипренский говорил по-русски. Мариучча почти ничего не понимала. Она заплакала. Кипренский очнулся, пристально посмотрел на Риккарди и схватил его за руку.

— Александр Сергеевич,— сказал он очень тихо, и слезы поползли по его небритым щекам.— Спасибо... как же ты шел так далеко, милый... Ночь какая ненастная, а ты меня не хотел оставить...

Риккарди наклонился к больному.

— Это кто? — спросил тревожно Кипренский.— Цирюльник?

— Я доктор,— сказал медленно Риккарди.— Очнитесь. Я доктор. Говорите.

— У меня тяжелая кровь,— спокойно сказал Кипренский.— Краски застыли в жилах. Выпустите кровь, она не греет. Она холодит сердце.

— Прекрасно! — сказал Риккарди.

— Что вы понимаете,— прошептал Кипренский.— Люди великие, благородные, блиставшие умом и талантом, благословляли мое имя. Жуковский поцеловал меня в голову, Пушкин писал мне элегии, и знаменитые воины считали мою руку столь же верной, как их стальные клинки.

Он поднял худую руку и долго рассматривал ее на свет. Риккарди быстро сжал Кипренского за локоть, подставил оловянную чашку и проткнул острым скальпелем кожу. Брызнула темная кровь.

— Miserere mi, Domine,— сказал Кипренский и глубоко вздохнул.— Никто не знает... Лишь один я их помню, милые слова, любовь моего сердца...

Он помолчал и сказал тихо:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды...

Слезы снова потекли по его щекам.

— Друзей! — вдруг дико закричал Кипренский и сел на постели. Оловянная чашка опрокинулась и кровь растеклась из нее по простыне и подушке.— Друзей!

Он упал на постель, на кровавые пятна, и лицо его начало медленно и торжественно бледнеть. Тихо дрожали свечи. Риккарди приложил щеку к губам Кипренского.

Старый дворец гудел от ветра, как громадный струнный оркестр, играющий под сурдинку реквием.

Эхо чьих-то торопливых шагов неслось по пустующим залам. Быстро вошел Торвальдсен. Он увидел лицо Кипренского, очищенное от страданий, от следов пороков и болезней,— лицо более прекрасное, чем мрамор античных скульптур.

Торвальдсен снял шляпу, стал на колени у тела Кипренского и прижался лбом к его свисавшей с постели руке.

Осенний ветер шумел над Римом.

1936

ИСААК ЛЕВИТАН

У художника Саврасова тряслись худые руки. Он не мог выпить стакан чая, не расплескав его по грязной суровой скатерти. От седой неряшливой бороды художника пахло хлебом и водкой.

Мартовский туман лежал над Москвой сизым самоварным чадом. Смеркалось. В жестяных водосточных трубах оттаивал слежавшийся лед. Он с громом срывался на тротуары и раскалывался, оставляя груды синеватого горного хрусталя. Хрусталь трещал под грязными сапогами и тотчас превращался в навозную жижу.

Великопостный звон тоскливо гудел над дровяными складами и тупиками старой Москвы — Москвы восьмидесятых годов прошлого века.

Художник пил водку из рюмки, серой от старости. Ученик Саврасова Левитан — тощий мальчик в заплатанном клетчатом пиджаке и серых коротких брюках — сидел за столом и слушал Саврасова.

— Нету у России своего выразителя,— говорил Саврасов.— Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки... Тихая была старушенция, все моргала красными глазками, а когда померла, оставила мне икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: «Вот, внучек, учись так-

то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты». А на иконе были изображены травы и цветы — самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником. Вот какая оказалась хитрая бабка! Я в то время писал акварели на продажу, носил их на Трубу мелким барышникам. Что писал — совестно припомнить. Пышные дворцы с башнями и пруды с розовыми лебедями. Чепуха и срам. С юности и до старинных лет приходилось мне писать совсем не то, к чему лежала душа.

Мальчик застенчиво молчал. Саврасов зажег керосиновую лампу. В комнате соседа — скорняка защелкала и запела канарейка.

Саврасов нерешительно отодвинул пустую рюмку.

— Сколько я написал видов Петергофа и Ораниенбаума — не сосчитать, не перечислить. Мы, нищие, благоговели перед великолепием. Мечты создателей этих дворцов и садов приводили нас в трепет. Куда нам после этого было заметить и полюбить мокрые наши поля, косые избы, перелески да низенькое небо. Куда нам!

Саврасов махнул рукой и налил еще рюмку. Он долго вертел ее сухими пальцами. Водка вздрагивала от грохота кованых дрог, проезжавших по улице. Саврасов воровато выпил.

— Работает же во Франции,— сказал он, поперхнувшись,— замечательный мастер Коро. Смог же он найти прелесть в туманах и серых небесах, в пустынных водах. И какую прелесть! А мы... Слепые мы, что ли, глаз у нас не радуется свету. Филины мы, филины ночные,— сказал он со злобой и встал.— Куриная слепота, чепуха и срам!

Левитан понял, что пора уходить. Хотелось есть, но полупьяный Саврасов в пылу разговора забыл напоить ученика чаем.

Левитан вышел. Перемешивая снег с водой, шли около подвод и бранились ломовые извозчики. На бульварах хлопья снега цеплялись за голые сучья деревьев. Из трактиров, как из прачечных, било в лицо паром.

Левитан нашел в кармане тридцать копеек — подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность,— и вошел в трактир. Машина звенела колокольцами и играла «На старой Калужской дороге». Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и громко сказал хозяину:

— Еврейчику порцию колбасы с ситным.

Левитан — нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии,— сидел, сгорбившись, за столом в московском трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, ныли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола.

Левитан сидел долго,— спешить ему было некуда. Ночевал он в холодных классах училища на Мясницкой, прятался там

от сторожа, прозванного «Нечистая сила». Единственный родной человек — сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он и мать так скоро умерли, оставив Левитана с сестрой на улице,— мальчик не понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.

— Еврейчику еще порцию ситного,— сказал хозяину половой с болтающимися, как у петрушки, ногами,— видать ихний бог его плохо кормит.

Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать. От теплоты сильно болели ноги. А ночь все лепила и лепила на окна пласты водянистого мартовского снега.

В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дачную местность Салтыковку. Вышел царский указ, запрещавший евреям жить в «исконной русской столице». Левитану было в то время восемнадцать лет.

Лето в Салтыковке Левитан вспоминал потом как самое трудное в жизни. Стояла тяжелая жара. Почти каждый день небо обкладывали грозы, ворчал гром, шумел от ветра сухой бурьян под окнами, но не выпадало ни капли дождя.

Особенно томительны были сумерки. На балконе соседней дачи зажигали свет. Ночные бабочки тучами бились о ламповые стекла. На крокетной площадке стучали шары. Гимназисты и девушки дурачились и ссорились, доигрывая партию, а потом, поздним вечером, женский голос пел в саду печальный романс:

Мой голос для тебя и ласковый, и томный...

То было время, когда стихи Полонского, Майкова и Апухтина были известны лучше, чем простые пушкинские напевы, и Левитан даже не знал, что слова этого романса принадлежали Пушкину.

Он слушал по вечерам из-за забора пение незнакомки и запомнил еще один романс о том, как «рыдала любовь».

Ему хотелось увидеть женщину, певшую так звонко и печально, увидеть девушек, игравших в крокет, и гимназистов, загонявших с победными воплями деревянные шары к самому полотну железной дороги. Ему хотелось пить на балконе чай из чистых стаканов, трогать ложечкой ломтик лимона, долго ждать, пока стечет с той же ложечки прозрачная нить абрикосового варенья. Ему хотелось хохотать и дурачиться, играть в горелки, петь до полночи, носиться на гигантских шагах и слушать взволнованный шепот гимназистов о писателе Гаршине, написавшем рассказ «Четыре дня», запрещенный цензурой. Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины,— глаза поющих всегда полузакрыты и полны печальной прелести.

Но Левитан был беден, почти нищ. Клетчатый пиджак протерся вконец. Юноша вырос из него. Руки, измазанные масля-

ной краской, торчали из рукавов, как птичьи лапы. Все лето Левитан ходил босиком. Куда было в таком наряде появляться перед веселыми дачниками!

И Левитан скрывался. Он брал лодку, заплывал на ней в тростники на дачном пруду и писал этюды,— в лодке ему никто не мешал.

Писать этюды в лесу или в полях было опаснее. Здесь можно было натолкнуться на яркий зонтик щеголихи, читающей в тени берез книжку модного тогда писателя Альбова, или на гувернантку, кудахчущую над выводком детей. А никто не умел презирать бедность так обидно, как гувернантки.

Левитан прятался от дачников, тосковал по ночной певунье и писал этюды. Он совсем забыл о том, что у себя, в Училище живописи и ваяния, Саврасов прочил ему славу Коро, а товарищи — братья Коровины и Николай Чехов — всякий раз затевали над его картинами споры о прелести настоящего русского пейзажа. Будущая слава Коро тонула без остатка в обиде на жизнь, на драные локти и протертые подметки.

Левитан в то лето много писал на воздухе. Так велел Саврасов. Как-то весной Саврасов пришел в мастерскую на Мясницкой пьяный, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку.

— Что пишете! — кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь.— Табачный дым? Навоз? Серую кашу?

За разбитым окном неслись облака, солнце жаркими пятнами лежало на куполах, и летал обильный пух от одуванчиков,— в ту пору все московские дворы зарастали одуванчиками.

— Солнце гоните на холст! — кричал Саврасов, а в дверь уже неодобрительно поглядывал старый сторож — «Нечистая сила».— Весеннюю теплынь прозевали! Снег таял, бежал по оврагам холодной водой,— почему не видел я этого на ваших этюдах? Липы распускались, дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба,— где все это на ваших холстах? Срам и чепуха!

Со времени этого жестокого разноса Левитан начал работать на воздухе. Вначале ему было трудно привыкнуть к новому ощущению красок. То, что в прокуренных комнатах представлялось ярким и чистым, на воздухе непонятным образом жухло, покрывалось мутным налетом.

Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую травинку, каждый лист и стог сена. Все вокруг казалось погруженным в нечто спокойное, синеющее и блестящее. Левитан называл это нечто воздухом. Но это был не тот воздух, каким он представляется нам. Мы дышим им, мы чувствуем его запах, холод или теплоту. Левитан же ощущал его как безграничную среду прозрачного вещества, которое придавало такую пленительную мягкость его полотнам.

Лето кончилось. Все реже был слышен голос незнакомки.

Как-то в сумерки Левитан встретил у калитки своего дома молодую женщину. Ее узкие руки белели из-под черных кружев. Кружевами были оторочены рукава платья. Мягкая туча закрыла небо. Шел редкий дождь. По-осеннему горько пахли цветы в палисадниках. На железнодорожных стрелках зажгли фонари.

Незнакомка стояла у калитки и пыталась раскрыть маленький зонтик, но он не раскрывался. Наконец он подался, и дождь зашуршал по его шелковому верху. Незнакомка медленно пошла к станции. Левитан не видел ее лица,— оно было закрыто зонтиком. Она тоже не видела лица Левитана, она заметила только его босые грязные ноги и подняла зонтик, чтобы не зацепить Левитана. В неверном свете он различил бледное лицо. Оно показалось ему знакомым и красивым.

Левитан вернулся в свою каморку и лег. Чадила свеча, гудел дождь, на станции рыдали пьяные. Тоска по материнской, сестринской, женской любви вошла с тех пор в сердце и не покидала Левитана до последних дней его жизни.

Этой же осенью Левитан написал «Осенний день в Сокольниках». Это была первая его картина, где серая и золотая осень, печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителей сердце.

По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей листвы шла молодая женщина в черном — та незнакомка, чей голос Левитан никак не мог забыть. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный...». Она была одна среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее ощущением грусти и задумчивости.

«Осенний день в Сокольниках» — единственный пейзаж Левитана, где присутствует человек, и то фигуру человека написал Николай Чехов. После этого люди ни разу не появлялись на полотнах Левитана. Их заменили леса и пажити, туманные разливы и нищие избы России, безгласные и одинокие.

Годы учения в Училище живописи и ваяния окончились. Левитан написал последнюю, дипломную работу — облачный день, поле, копны сжатого хлеба.

Саврасов мельком взглянул на картину и написал мелом на изнанке: «Большая серебряная медаль».

Преподаватели училища побаивались Саврасова. Вечно пьяный, задиристый, он вел себя с учениками, как с равными, а напившись, ниспровергал все, кричал о бесталанности большинства признанных художников и требовал на холстах воздуха, простора, света.

Неприязнь к Саврасову преподаватели переносили на его любимого ученика — Левитана. Кроме того, талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа,— это было делом коренных русских художников. Картина была признана недостойной медали. Левитан не получил звания художника, ему дали всего лишь диплом учителя чистописания.

С этим жалким дипломом вышел в жизнь один из тончайших художников своего времени, будущий друг Чехова, первый и еще робкий певец русской природы.

На сарае в деревушке Максимовке, где летом жил Левитан, братья Чеховы повесили вывеску: «Ссудная касса купца Исаака Левитана».

Мечты о беззаботной жизни наконец сбылись. Левитан сдружился с художником Николаем Чеховым, подружился с чеховской семьей и прожил три лета рядом с нею. В то время Чеховы проводили каждое лето в селе Бабкине около Нового Иерусалима.

Семья Чеховых была талантливой, шумной и насмешливой. Дурачествам не было конца. Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы, разрастался в веселое событие. С утра за чайным столом уже начинались невероятные рассказы, выдумки, хохот. Он не затихал до позднего вечера. Каждая забавная человеческая черта или смешное слово подхватывались всеми и служили толчком для шуток и мистификаций.

Больше всех доставалось Левитану. Его постоянно обвиняли во всяческих смехотворных преступлениях и, наконец, устроили над ним суд. Антон Чехов, загримированный прокурором, произнес обвинительную речь. Слушатели падали со стульев от хохота. Николай Чехов изображал дурака-свидетеля. Он давал сбивчивые показания, путал, пугался и был похож на чеховского мужичка из рассказа «Злоумышленник»,— того, что отвинтил от рельсов гайку, чтобы сделать грузило на шелеспера. Александр Чехов — защитник — пропел высокопарную актерскую речь.

Особенно попадало Левитану за его красивое арабское лицо. В своих письмах Чехов часто упоминал о красоте Левитана. «Я приеду к вам, красивый, как Левитан»,— писал он. «Он был томный, как Левитан».

Но имя Левитана стало выразителем не только мужской красоты, но и особой прелести русского пейзажа. Чехов придумал слово «левитанистый» и употреблял его очень метко.

«Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас»,— писал он в одном из писем. Даже картины самого Левитана различались,— одни были более левитанистыми, чем другие.

Вначале это казалось шуткой, но со временем стало ясно, что в этом веселом слове заключен точный смысл — оно выражало собою то особое обаяние пейзажа Средней России, которое из всех тогдашних художников умел передавать на полотне один Левитан.

Иногда на лугу около бабкинского дома происходили странные вещи. На закате на луг выезжал на старом осле Левитан, одетый бедуином. Он слезал с осла, садился на корточки и начинал молиться, обратясь лицом на восток. Он подымал руки кверху, жалобно пел и кланялся в сторону Мекки. То был мусульманский намаз.

В кустах сидел Антон Чехов со старой берданкой, заряженной бумагой и тряпками. Он хищно целился в Левитана и спускал курок. Тучи дыма разлетались над лугом. В реке отчаянно квакали лягушки. Левитан с пронзительным воплем падал на землю, изображая убитого. Его клали на носилки, надевали на руки старые валенки и начинали обносить вокруг парка. Хор Чеховых пел на унылые похоронные распевы всякий вздор, приходивший в голову. Левитан трясся от смеха, потом не выдерживал, вскакивал и удирал в дом.

На рассвете Левитан уходил с Антоном Павловичем удить рыбу на Истру. Для рыбной ловли выбирали обрывистые берега, заросшие кустарником, тихие омуты, где цвели кувшинки и в теплой воде стаями ходили красноперки. Левитан шепотом читал стихи Тютчева. Чехов делал страшные глаза и ругался тоже шепотом,— у него клевало, а стихи пугали осторожную рыбу.

То, о чем Левитан мечтал еще в Салтыковке, случилось,— игры в горелки, сумерки, когда над зарослями деревенского сада висит тонкий месяц, яростные споры за вечерним чаем, улыбки и смущение молодых женщин, их ласковые слова, милые ссоры, дрожание звезд над рощами, крики птиц, скрип телег на ночных полях, близость талантливых друзей, близость заслуженной славы, ощущение легкости в теле и сердце.

Несмотря на жизнь, полную летней прелести, Левитан много работал. Стены его сарая — бывшего курятника — были сверху донизу завешаны этюдами. В них на первый взгляд не было ничего нового — те же знакомые всем извилистые дороги, что теряются за косогорами, перелески, дали, светлый месяц над околицами деревень, тропки, протоптанные лаптями среди полей, облака и ленивые реки.

Знакомый мир возникал на холстах, но было в нем что-то свое, не передаваемое скупыми человеческими словами. Картины Левитана вызывали такую же боль, как воспоминания о страшно далеком, но всегда заманчивом детстве.

Левитан был художником печального пейзажа. Пейзаж печален всегда, когда печален человек. Веками русская литература и живопись говорили о скучном небе, тощих полях, кособоких избах. «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые — как слезы первые любви!»

Из рода в род человек смотрел на природу мутными от голода глазами. Она казалась ему такой же горькой, как его судьба, как краюха черного мокрого хлеба. Голодному даже блистающее небо тропиков покажется неприветливым.

Так вырабатывался устойчивый яд уныния. Он глушил все, лишал краски их яркости, игры, нарядности. Мягкая разнообразная природа России долгое время считалась слезливой и хмурой. Художники и писатели лгали на нее, не сознавая этого.

Левитан был выходцем из гетто, лишенного прав и будущего,

выходцем из Западного края — страны захудалых еврейских местечек, чахоточных ремесленников, черных синагог, тесноты и скудности.

Бесправие преследовало Левитана всю жизнь. В 1892 году его вторично выслали из Москвы, хотя он уже был художником со всероссийской славой. Ему пришлось скрываться во Владимирской губернии, пока друзья не добились отмены высылки.

Левитан был безрадостен, как безрадостна была история его народа, его предков. Он дурачился в Бабкине, увлекался девушками и красками, но где-то в глубине сознания постоянно жила мысль, что он парий, отверженный, сын расы, испытавшей унизительные гонения.

Иногда эта мысль целиком завладевала Левитаном. Тогда начинались приступы болезненной хандры. Она усиливалась от недовольства своими работами, от сознания, что рука не в силах передать в красках то, что давно уже создало его свободное воображение.

Когда приходила хандра, Левитан бежал от людей. Они казались ему врагами. Он становился груб, дерзок, нетерпим. Он со злобой соскабливал краски со своих картин, прятался, уходил с собакой Вестой на охоту, но не охотился, а без цели бродил по лесам. В такие дни одна только природа заменяла ему родного человека,— она утешала, проводила ветром по лбу, как материнской рукой. Ночью поля были безмолвны,— Левитан отдыхал такими ночами от человеческой глупости и любопытства.

Два раза во время припадков хандры Левитан стрелялся, но остался жив. Оба раза спасал его Чехов.

Хандра проходила. Левитан возвращался к людям, снова писал, любил, верил, запутывался в сложности человеческих отношений, пока его не настигал новый удар хандры.

Чехов считал, что левитановская тоска была началом психической болезни. Но это была, пожалуй, неизлечимая болезнь каждого требовательного к себе и к жизни большого человека.

Все написанное казалось беспомощным. За красками, наложенными на полотно, Левитан видел другие — более чистые и густые. Из этих красок, а не из фабричной киновари, кобальта и кадмия он хотел создать пейзаж России — прозрачный, как сентябрьский воздух, праздничный, как роща во время листопада.

Но душевная угрюмость держала его за руки во время работы. Левитан долго не мог, не умел писать светло и прозрачно. Тусклый свет лежал на холстах, краски хмурились. Он никак не мог заставить их улыбаться.

В 1886 году Левитан впервые уехал из Москвы на юг, в Крым.

В Москве он всю зиму писал декорации для оперного театра, и эта работа не прошла для него бесследно. Он начал смелее

обращаться с красками. Мазок стал свободнее. Появились первые признаки еще одной черты, присущей подлинному мастеру,— признаки дерзости в обращении с материалами. Свойство это необходимо всем, кто работает над воплощением своих мыслей и образов. Писателю необходима смелость в обращении со словами и запасом своих наблюдений, скульптору — с глиной и мрамором, художнику — с красками и линиями.

Самое ценное, что Левитан узнал на юге,— это чистые краски. Время, проведенное в Крыму, представлялось ему непрерывным утром, когда воздух, отстоявшийся за ночь, как вода в гигантских водоемах горных долин, так чист, что издалека видна роса, стекающая с листьев, и за десятки миль белеет пена волн, идущих к каменистым берегам.

Необъятные просторы воздуха лежали над южной землей, сообщая краскам резкость и выпуклость.

На юге Левитан ощутил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками. Величайшая живописная сила заключена в солнечном свете, и вся кажущаяся серость русской природы хороша лишь потому, что является тем же солнечным светом, но приглушенным, прошедшим через слои влажного воздуха и тонкую пелену облаков.

Солнце и черный свет несовместимы. Черный цвет — это не краска, это труп краски. Левитан сознавал это и после поездки в Крым решил изгнать со своих холстов темные тона. Правда, это не всегда ему удавалось.

Так началась длившаяся много лет борьба за свет.

В это время во Франции Ван Гог работал над передачей на полотне солнечного огня, превращавшего в багровое золото виноградники Арля. Примерно в то же время Моне изучал солнечный свет на стенах Реймского собора. Его поражало, что световая дымка придавала громаде собора невесомость. Казалось, что собор выстроен не из камня, а из разнообразно и бледно окрашенных воздушных масс. Надо было подойти к нему вплотную и провести рукой по камню, чтобы вернуться к действительности.

Левитан работал еще робко. Французы же работали смело, упорно. Им помогало чувство личной свободы, культурные традиции, умная товарищеская среда. Левитан был лишен всего этого.

Со времени поездки на юг к обычной хандре Левитана присоединилось еще постоянное воспоминание о сухих и четких красках, о солнце, превращавшем в праздник каждый незначительный день человеческой жизни.

В Москве солнца не было. Левитан жил в меблированных комнатах «Англия» на Тверской. Город за ночь так густо заволакивало холодным туманом, что за короткий зимний день он не успевал поредеть. В номере горела керосиновая лампа. Желтый свет смешивался с темнотой промозглого дня и покрывал грязными пятнами лица людей и начатые холсты.

Снова, но уже ненадолго, вернулась нужда. Хозяйке за комнату приходилось платить не деньгами, а этюдами.

Тяжелый стыд охватывал Левитана, когда хозяйка надевала пенсне и рассматривала «картинки», чтобы выбрать самую ходкую. Поразительнее всего было то, что ворчание хозяйки совпадало со статьями газетных критиков.

— Мосье Левитан,— говорила хозяйка,— почему вы не нарисуете на этом лугу породистую корову, а здесь под липой не посадите парочку влюбленных? Это было бы приятно для глаза.

Критики писали примерно то же. Они требовали, чтобы Левитан оживил пейзаж стадами гусей, лошадьми, фигурами пастухов и женщин.

Критики требовали гусей, Левитан же думал о великолепном солнце, которое рано или поздно должно было затопить Россию на его полотнах и придать каждой березе весомость и блеск драгоценного металла.

После Крыма в жизнь Левитана надолго и крепко вошла Волга.

Первая поездка на Волгу была неудачна. Моросили дожди, волжская вода помутнела. Ветер гнал по ней короткие скучные волны. От надоедливого дождя слезились окна избы в деревне на берегу Волги, где поселился Левитан, туманились дали, все вокруг съела серая краска.

Левитан страдал от холода, от скользкой глины волжских берегов, от невозможности писать на воздухе.

Началась бессонница. Старуха хозяйка храпела за перегородкой, и Левитан завидовал ей и писал об этой зависти Чехову. Дождь барабанил по крыше, и каждые полчаса Левитан зажигал спичку и смотрел на часы.

Рассвет затерялся в непроглядных ночных пустошах, где хозяйничал неприветливый ветер. Левитана охватывал страх. Ему казалось, что ночь будет длиться неделями, что он сослан в эту грязную деревушку и обречен всю жизнь слушать, как хлещут по бревенчатой стене мокрые ветки берез.

Иногда он выходил ночью на порог, и ветки больно били его по лицу и рукам. Левитан злился, закуривал папиросу, но тотчас же бросал ее,— кислый табачный дым сводил челюсти.

На Волге был слышен упорный стук пароходных колес,— буксир, моргая желтыми фонарями, тащил вверх, в Рыбинск, вонючие баржи.

Великая река казалась Левитану преддверием хмурого ада. Рассвет не приносил облегчения. Тучи, бестолково теснясь, неслись с северо-запада, волоча по земле водянистые подолы дождей. Ветер свистел в кривых окнах, от него краснели и мерзли руки. Тараканы разбегались из ящика с красками.

У Левитана не было психической выносливости. Он приходил в отчаяние от несоответствия между тем, чего он ожидал,

и тем, что видел в действительности. Он хотел солнца,— солнце не показывалось; Левитан слеп от бешенства и первое время даже не замечал прекрасных оттенков серого и сизого цвета, свойственных ненастью.

Но в конце концов художник победил неврастеника. Левитан увидел прелесть дождей и создал свои знаменитые «дождливые работы»: «После дождя», и «Над вечным покоем».

Картину «После дождя» Левитан написал за четыре часа. Тучи и оловянный цвет волжской воды создали мягкое освещение. Оно могло и исчезнуть каждую минуту. Левитан торопился.

Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков.

В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке. Блестят лужи. Облака уходят за Волгу, как низкий дым. Пар из пароходных труб ложится на воду. Баржи у берега почернели от сырости.

В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за открытыми окнами шумит от падающих капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле. Его ослабевшие струны звенят, как гитара. Темный фикус стоит в кадке рядом с роялем. Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Тургенева. Старый кот бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает,— он слушает, не застучат ли в кухне ножи.

С улицы пахнет рогожами. Завтра — ярмарка, и на Соборную площадь съезжаются телеги. Пароход уходит вниз по реке, догоняет дождевую тучу, закрывавшую полнеба. Гимназистка глядит вслед пароходу, и глаза ее делаются туманными, большими. Пароход идет к низовым городам, где театры, книги, заманчивые встречи.

А вокруг городка день и ночь мокнут растрепанные ржавые поля.

В картине «Над вечным покоем» поэзия ненастного дня выражена с еще большей силой. Картина была написана на берегу озера Удомли в Тверской губернии.

С косогора, где темные березы гнутся под порывистым ветром и стоит среди этих берез почти сгнившая бревенчатая церквушка, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга, громадное облачное небо. Тяжелые тучи, напитанные холодной влагой, висят над землей. Косые холстины дождя закрывают просторы.

Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие.

Вторая поездка на Волгу была удачнее первой. Левитан поехал не один, а с художницей Кувшинниковой. Многие, да и сам Левитан, считали, что эта трогательно любившая его женщина была описана Чеховым в рассказе «Попрыгунья». Левитан жестоко обиделся на Чехова за этот рассказ. Дружба была нарушена, а примирение шло туго и мучительно. До конца жизни Левитан не мог простить Чехову этого рассказа.

Левитан уехал с Кувшинниковой в Рязань, а оттуда спустился на пароходе вниз по Оке до слободы Чулково. В слободе он решил остановиться.

Солнце садилось в полях за глинистым косогором. Мальчишки гоняли красных от заката голубей. На луговом берегу горели костры, в болотах угрюмо гудели выпи.

На пристани в Чулкове к Левитану подошел низкий старик с вытекшим глазом. Он нетерпеливо потянул Левитана за рукав чесучового пиджака и долго мял шершавыми пальцами материю.

— Тебе чего, дед? — спросил Левитан.

— Суконце,— сказал дед и икнул.— Суконцем охота полюбоваться. Ишь скрипит, как бабий волос. А это кто, прости господи, жена, что ли? — Дед показал на Кувшинникову. Глаза его стали злыми.

— Жена,— ответил Левитан.

— Та-ак,— зловеще сказал дед и отошел.— Леший вас разберет, что к чему, зачем по свету шляетесь.

Встреча не предвещала ничего хорошего. Когда на следующее утро Левитан с Кувшинниковой сели на косогоре и раскрыли ящики с красками, в деревне началось смятение. Бабы зашмыгали из избы в избу. Мужики, хмурые, с соломой в волосах, распояской, медленно собирались на косогор, садились поодаль, молча смотрели на художников. Мальчишки сопели за спиной, толкали друг друга и переругивались.

Беззубая баба подошла сбоку, долго смотрела на Левитана и вдруг ахнула:

— Господи Сусе Хресте, что ж это ты делаешь, охальник?

Мужики зашумели, Левитан сидел бледный, но сдержался и решил отшутиться.

— Не гляди, старая,— сказал он бабе,— глаза лопнут.

— У-у-у, бесстыжий,— крикнула баба, высморкалась в подол и пошла к мужикам. Там уже трясся, опираясь на посох, слезливый монашек, неведомо откуда забредший в Чулково и прижившийся при тамошней церкви.

— Лихие люди! — выкрикивал он вполголоса.— Чего делают — непонятно. Планы с божьих лугов снимают. Не миновать пожару, мужички, не миновать бяды.

— Сход! — крикнул старик с вытекшим глазом.— Нету у нас заведения картинки с бабами рисовать! Сход!

Пришлось собрать краски и уйти.

В тот же день Левитан с Кувшинниковой уехали из слободы.

Когда они шли к пристани, около церкви гудел бестолковый сход и были слышны визгливые выкрики монашка:

— Лихие люди. Некрещеные. Баба с непокрытой головой ходит.

Кувшинникова не носила ни шляпы, ни платка.

Левитан спустился по Оке до Нижнего и там пересел на пароход до Рыбинска. Все дни он с Кувшинниковой просиживал на палубе и смотрел на берега — искал места для этюдов.

Но хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и жаловался на усталость. Берега наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными селами, ни задумчивыми и плавными поворотами.

Наконец в Плесе Левитан увидел с палубы старинную маленькую церковь, рубленную из сосновых кряжей. Она чернела на зеленом небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая.

В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах баб, продававших на пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плесе.

С этого времени начался светлый промежуток в его жизни.

Маленький городок был беззвучен и безлюден. Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам — колотушки сторожей. По уличным косогорам и оврагам цвел репейник и росла лебеда. В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет.

Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. Русское лето, чем ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета. Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля, и вечерами над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем.

Хандра прошла. Было стыдно даже вспоминать о ней.

Каждый день приносил трогательные неожиданности — то подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак, то дети, подталкивая друг друга в спину, попросят нарисовать их, потом прыснут от смеха и разбегутся, то придет тайком молодая соседка-староверка и будет певуче жаловаться на свою тяжелую долю. Ее Левитан прозвал Катериной из «Грозы» Островского. Он решил вместе с Кувшинниковой помочь Катерине бежать из Плеса, от постылой семьи. Бегство обсуждалось в роще за городом. Кувшинникова шепталась с Катериной, а Левитан лежал на краю рощи и предупреждал женщин об опасности тихим свистом. Катерине и впрямь удалось бежать.

До поездки в Плес Левитан любил только русский пейзаж, но народ, населявший эту большую страну, был ему непонятен. Да и кого он знал? Грубого училищного сторожа «Нечистую силу», трактирных половых, наглых коридорных из меблированных комнат, диких чулковских мужиков. Он часто видел злобу, грязь, тупую покорность, презрение к себе, еврею.

До жизни в Плесе он не верил в ласковость народа, в его разум, в способность многое понимать. После Плеса Левитан ощутил свою близость не только к пейзажу России, но и к ее народу — талантливому, обездоленному и как бы притихшему не то перед новой бедой, не то перед великим освобождением.

В эту вторую поездку на Волгу Левитан написал много полотен. Об этих вещах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже есть улыбка».

Свет и блеск впервые появились у Левитана в его «волжских» работах — в «Золотом Плесе», «Свежем ветре», «Вечернем звоне».

Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц.

В зрелом возрасте эти воспоминания возникают с поразительной силой по самому ничтожному поводу,— хотя бы от мимолетного пейзажа, мелькнувшего за окнами вагона,— и вызывают непонятное нам самим чувство волнения и счастья, желание бросить все: города, заботы, привычный круг людей — и уйти в эту глушь, на берега неизвестных озер, на лесные дороги, где каждый звук слышен так ясно и долго, как на горных вершинах,— будто то гудок паровоза или свист птицы, перепархивающей в кустах рябины.

Такое чувство давно виденных милых мест остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана.

Жизнь Левитана была бедна событиями. Он мало путешествовал. Он любил только Среднюю Россию. Поездки в другие места он считал напрасной тратой времени. Такой показалась ему и поездка за границу.

Он побывал в Финляндии, Франции, Швейцарии и Италии.

Граниты Финляндии, ее черная речная вода, студенистое небо и мрачное море нагоняли тоску. «Вновь я захандрил без меры и границ,— писал Левитан Чехову из Финляндии.— Здесь нет природы».

В Швейцарии его поразили Альпы, но вид этих гор ничем не отличался для Левитана от видов картонных макетов, размалеванных крикливыми красками.

В Италии ему понравилась только Венеция, где воздух полон серебристых оттенков, рожденных тусклыми лагунами.

В Париже Левитан увидел картины Моне, но не запомнил их. Только перед смертью он оценил живопись импрессионистов, понял, что он сам отчасти был их русским предшественником,— и впервые с признанием упомянул их имена.

Последние годы жизни Левитан проводил много времени около Вышнего Волочка на берегах озера Удомли. Там, в семье помещиков Панафидиных, он опять попал в путаницу человеческих отношений, стрелялся, но его спасли...

Чем ближе к зрелости, тем чаще мысль Левитана останавливалась на осени.

Правда, Левитан написал несколько превосходных весенних вещей, но почти всегда это была весна, похожая на осень. В «Большой воде» затопленная разливом роща обнажена, как поздней осенью, и даже не покрылась еще зеленоватым дымом первой листвы. В «Ранней весне» черная глубокая река мертво стоит среди оврагов, еще покрытых рыхлым снегом, и только в картине «Март» передана настоящая весенняя яркость неба над тающими сугробами, желтый солнечный свет и стеклянный блеск талой воды, каплющей с крыльца деревянного дома.

Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени.

Левитан, так же как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года.

Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Изменялся не только цвет земли, но и самый воздух. Он делался чище, холоднее, и дали были гораздо глубже, чем летом. Так у великих мастеров литературы и живописи юношеская пышность красок и нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством.

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На них были изображены знакомые с детства вещи: стога сена, почернелые от сырости; маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, увядающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю.

Исподволь, из года в год, у Левитана развивалась тяжелая сердечная болезнь, но ни он, ни близкие ему люди не знали о ней, пока она не дала первой бурной вспышки.

Левитан не лечился. Он боялся идти к врачам, боялся услышать смертный приговор. Врачи, конечно, запретили бы Левитану общаться с природой, а это для него было равносильно смерти.

Левитан тосковал еще больше, чем в молодые годы. Все чаще он уходил в леса,— жил он в лето перед смертью около Звенигорода,— и там его находили плачущим и растерянным. Он знал, что ничто — ни врачи, ни спокойная жизнь, ни исступлен-

но любимая им природа не могли отдалить приближающийся конец.

Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту.

В то время в Ялте жил Чехов. Старые друзья встретились постаревшими, отчужденными. Левитан ходил тяжело опираясь на палку, задыхался, всем говорил о близкой смерти. Он боялся ее и не скрывал этого. Сердце болело почти непрерывно.

Чехов тосковал по Москве, по северу. Несмотря на то что море, по его собственным словам, было «большое», оно суживало мир. Кроме моря и зимней тихой Ялты, казалось, ничего не оставалось в жизни. Где-то очень далеко за Харьковом, за Курском и Орлом лежал снег, огни нищих деревень мигали сослепу в седую метель; она казалась милой и близкой сердцу, гораздо ближе бёклиновских кипарисов и сладкого приморского воздуха. От этого воздуха часто болела голова. Милым казалось все: и леса, и речушки — всякие Пехорки и Вертушинки, и стога сена в пустынных вечерних полях, одинокие, освещенные мутной луной, как будто навсегда позабытые человеком.

Больной Левитан попросил у Чехова кусок картона и за полчаса набросал на нем масляными красками вечернее поле со стогами сена. Этот этюд Чехов вставил в камин около письменного стола и часто смотрел на него во время работы.

Зима в Ялте была сухая, солнечная, с моря дули тепловатые ветры. Левитан вспомнил свою первую поездку в Крым, и ему захотелось в горы. Его преследовало воспоминание об этой поездке, когда с вершины Ай-Петри он увидел у своих ног пустынное облачное небо. Над головой висело солнце,— здесь оно казалось гораздо ближе к земле, и желтоватый его свет бросал точные тени. Облачное небо дымилось внизу в пропастях и медленно подползало к ногам Левитана, закрывая сосновые леса.

Небо двигалось снизу, и это пугало Левитана так же, как пугала никогда не слыханная горная тишина. Изредка ее нарушал только шорох осыпи. Шифер сползал с откоса и раскачивал сухую колючую траву.

Левитану хотелось в горы, он просил отвезти его на Ай-Петри, но ему в этом отказали — разреженный горный воздух мог оказаться для него смертельным.

Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву. Он почти не выходил из своего дома в Трехсвятительском переулке.

Двадцать второго июля 1900 года он умер. Были поздние сумерки, когда первая звезда появляется над Москвой на страшной высоте и листва деревьев погружена в желтую пыль и в отсветы гаснущего солнца.

Лето было очень поздним. В июле еще доцветала сирень. Ее тяжелые заросли заполняли весь палисадник около дома. Запах листвы, сирени и масляных красок стоял в мастерской, где умирал Левитан, запах, всю жизнь преследовавший художника, передавшего на полотне печаль русской природы,— той

природы, что так же, как и человек, казалось, ждала иных, радостных дней.

Эти дни пришли очень скоро после смерти Левитана, и его ученики смогли увидеть то, чего не видел учитель,— новую страну, чей пейзаж стал иным потому, что стал иным человек, наше щедрое солнце, величие наших просторов, чистоту неба и блеск незнакомых Левитану праздничных красок.

Левитан не видел этого потому, что пейзаж радостен только тогда, когда свободен и весел человек.

Левитану хотелось смеяться, но он не мог перенести на свои холсты даже слабую улыбку.

Он был слишком честен, чтобы не видеть народных страданий. Он стал певцом громадной нищей страны, певцом ее природы. Он смотрел на эту природу глазами измученного народа,— в этом его художественная сила и в этом отчасти лежит разгадка его обаяния.

1937

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Други мои, искренние мои!
Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда!

О, край мой милый! Моя судьбина!

Шевченко

Дед мой — старый николаевский солдат — любил поговорить о Тарасе Шевченко.

— Было это в давние времена,— говорил дед,— когда служил я, хлопчик, в Оренбургском крае...

Эти давние времена казались мне похожими на рисунки в старых, побуревших журналах. Они были тусклыми, выгоревшими, от них тянуло горькой плесенью.

— Было это в давние времена,— повторял дед и тщетно старался выбить трясущимися руками искру из кремня, чтобы закурить трубку,— еще при царе Николае. Стояла наша рота в Гурьеве, на реке Урале. Кругом, куда ни кинь глазом, степь да степь, одна соленая земля, одна пустынная местность. И от великой сухости пропадали в той местности солдаты.

Я смотрел на деда и удивлялся — как это у него за столько лет жизни не сошли с лица ожоги от каспийского солнца. Щеки у деда были черные, шея жилистая, привыкшая к красному солдатскому воротнику, и только в глазах поблескивала голубоватая вода — спутник дряхлости, признак недалекой смерти.

— И прогоняли в то время через Гурьев,— неторопливо

говорил дед,— известного впоследствии человека, бывшего крипака Шевченко. Забрил его царь в солдаты за мужицкие песни. Гнали его, хлопчик, на Мангышлак, в самое киргизское пекло, где тухлая вода и нет ни травы, ни лозы, никакого даже ледащего дерева. Рассказывали старослуживые солдаты, что подобрал рядовой Шевченко у нас в Гурьеве сухой прут из вербы, увез на Мангышлак, а там посадил и поливал его три года, пока не выросло из того прута шумливое дерево. В наше время солдата гоняли сквозь строй, били беспощадно мокрыми прутьями из вербы. Называлось это занятие у командиров «зеленая улица». Один такой прут и подобрал Шевченко. В память забитого тем прутом солдата он его посадил, и выросло на крови солдатской да на его слезах веселое дерево в бедняцкой закаспийской земле. И по нынешний день шумит оно листами на Мангышлаке, рассказывает про солдатскую долю. Да некому его слушать, хлопчик. Шевченко давно лежит в высокой могиле по-над Днепром, а слышно тот разговор только пескам да сусликам, да пыльному ветру. Дует он там день и ночь с бухарской стороны. День и ночь порошит глаза, сушит горло, тоску прибавляет. А теперь, по прошествии многих времен, может, на том месте, где сажал Шевченко вербу, уже вырос сад и какая-нибудь птица сидит в том саду и свиристит в тени, в холодке, про свои птичьи небольшие дела.

Я мог слушать деда весь день. В коноплянике жужжали зеленые мухи. Горох на горячем плетне рассыхался, трещал, и струилась, шумела за плетнем по камням быстрая река Рось.

Я знал от деда, что она несла свою воду сначала к Белой Церкви, а потом в степи, где «мрияла» голубая жара и задувал с Босфора, шевелил бурьян тепловатый черноморский ветер.

После солдатчины дед чумаковал в степях, возил из Крыма на волах перекопскую желтую соль и сушеную рыбу. С тех пор осталась у него привычка петь дребезжащим голосом заунывные, как скрип чумацких возов, запорожские песни. То были песни о сиротах, о злых мачехах, о сказочных маленьких реках, текущих из вишневых садов, о могилах и ястребах. «Засинели издалече старые курганы». Потом я узнал, что это были любимые песни Шевченко.

«По прошествии многих времен», летом 1931 года, я, внук этого безответного деда, сошел со старого каспийского парохода на берег в Александровском форте (бывшем Новопетровском укреплении), на полуострове Мангышлак, в месте ссылки Тараса Шевченко.

Я вспомнил рассказы деда и разыскал в пустынном, пришибленном поселке несколько жалких деревьев. Тусклый свет поблескивал на их выгорающих листьях. Пыль лежала над горизонтом — пыль ссыльных пустынь, мертвых солончаковых пространств. По дворам ревели облезлые верблюды. Солнце казалось глазом слепого.

Я пошел в степь. Желтоватые грязные облака стояли на

небе. При первом взгляде на них было ясно, что они стоят здесь неделями, месяцами, как бы прилипнув к этому сухому небу.

На земле, очень редко, шагах в ста друг от друга, росли кусты горькой солянки. За холмом я наткнулся на казахскую могилу. Около выветренного камня стояла пиала с теплой водой. На пиале сидели, покачиваясь, маленькие птицы.

Я вспомнил взволнованные слова Шевченко в его дневнике о киргизских детях. Они приносят на могилы своих родных чашки с водой, чтобы птицы, залетающие в эти мертвые земли, не погибли от жажды.

Здесь, в этих местах, бродил постаревший поэт в пыльном солдатском мундире. Здесь, по приказу Николая Первого, у него отобрали единственный карандаш, чтобы он не мог ни писать, ни рисовать. Здесь он думал о детях, жалеющих маленьких птиц, тосковал о своей «прекрасной, бедной Украине во всей ее непорочной и меланхолической красоте».

Я возвращался на пароход. Я торопился. Мне казалось, что пароход может уйти раньше времени и оставить меня на этих надрывающих сердце пустырях. Тогда я понял все великое отчаяние Шевченко, томившегося здесь семь лет в ссыльной казарме, отчаяние народного певца, которому заткнули железным кляпом рот.

В старое время на полях Украины часто можно было встретить пугливых мальчиков-пастухов — босоногих, в холщовых рубашках и штанах, с торбами за спиной. В торбы полагалось прятать краюху хлеба и кусок сала. Но в них большей частью не было ничего, кроме черствой корки и щербатого ножа, чтобы вырезать из вербы свистки и свирели. Иногда в торбе попадались сухие жуки, сломанные подковы и кремни — нехитрый запас пастушьих игрушек для непонятных взрослым, удивительных игр, где главным героем было воображение.

Вот таким хлопчиком-пастушонком со старой торбой на веревочной перевязи и был в детстве Тарас Шевченко.

Детство его ничем не отличалось от детства сотен таких же боязливых, погруженных в свои детские раздумья пастушат. Детские эти раздумья были горькими, как сама судьба детей, как печально было их будущее — рекрутчина, батоги, бедность, вечный труд и, наконец, лишний рот — постылая старость. Напрасно девушки гадали о будущем по знаменитым «оракулам», напрасно видели счастливые сны. Все знали, что эти сны редко сбываются в такой клятой стране, как николаевская Россия.

Родился Тарас в семье крепостного крестьянина Григория Шевченко в селе Моринцах, Звенигородского уезда, Киевской губернии. Родился в 1814 году, когда русская армия утверждала могущество империи Александра на полях Европы и сумрачным крипакам-украинцам как будто остались на долю только воспоминания. И они вспоминали при свете каганцов Железняка и Гонту, уманскую резню, колиивщину — украинскую жакерию,

когда их отцы поднялись на панов, вооруженные деревянными кольями. Среди этих рассказов о потерянной вольности, среди гнева на панщину и вырос Шевченко.

Семья Шевченко принадлежала помещику Энгельгардту — «напыщенному и ничтожному животному», по отзывам беспристрастных современников. Но у этого ничтожества была железная рука. Шевченко с ненавистью вспоминал о ней до конца жизни.

Когда Тарасу пошел девятый год, умерла его мать. Отец, переехавший в деревню Кирилловку, женился на вдове с детьми. У маленького Тараса началась сиротская жизнь, полная обид и невыплаканных слез.

Об этой жизни было сложено много песен в тогдашней сирой России. О сиротах гнусавили убогие люди на папертях сельских церквей, о сиротах пели слепцы-кобзари по ярмаркам. И пели недаром. Песни о сиротстве детей выдавали потаенные думы о сиротстве народа. Слепые певцы, может быть сами того не зная, пели грозные и мрачные песни о великой народной печали.

Единственной утешительницей маленького Тараса была старшая сестра Катруся — его терпеливая, нежная нянька. Она уводила его, плачущего, в леваду. Она рассказывала ему сказки о том, что небо стоит над землей на высоких синих столбах. Если идти й день и два, то подойдешь к этим столбам и увидишь небо так близко, что его можно будет потрогать рукой.

Мальчик затихал, слушал, а наутро убегал в степь искать эти синие небесные столбы, сбивался с дороги, засыпал, обессиленный, в бурьяне, и его привозили домой чумаки.

Через два года после смерти матери умер и отец. Тарас остался круглым сиротой.

Когда перед смертью Григорий Шевченко делил между детьми свое нищенское наследство (должно быть — черную солому, холсты и казаны), он сказал, что Тарасу не надо оставлять ничего, потому что Тарас — мальчик не такой, как все: выйдет из него или замечательный человек, или большой негодяй,— ни тому, ни другому бедняцкое наследство не понадобится.

Мачеха, чтобы избавиться от пасынка, отдала его в пастухи. Пастухом Тарас был плохим. Пасти овец и свиней ему мешало живое воображение. Мальчик часами лежал на старых могилах, разглядывал небо, рассматривал украденную у дьячка книгу с картинками или играл сам с собою в тихие игры.

Пришлось взять его из пастухов и отдать в ученье к сельским дьячкам. Их было несколько, этих спившихся учителей грамоты. Они заставляли Тараса добывать им водку и читать по ночам псалтырь над покойниками.

Двенадцатилетним мальчиком Тарас уже знал всю невеселую судьбу крепостного: от рождения и до последней гробовой его свечи. Смерть казалась отдыхом. В прибранной пустой хате лежал восковой человек. Его черные заскорузлые руки

впервые в жизни были бездельно сложены на груди. Ему не надо было вставать до рассвета, идти на барщину, подымать сохой неподатливую землю, думать все одну и ту же унылую думу, как прокормить жену и детей.

Потрескивала свеча. Воск капал на тонкие страницы псалтыри. Привычно вздыхали женщины, и голос Тараса бормотал неясные утешения о светлых местах, где будет покоиться рядом с умершими панами душа крипака, потому что, как учила церковь, все люди после смерти становятся братьями.

Уже с этих лет Тарас невзлюбил подневольную крестьянскую жизнь. Все попытки мачехи и брата приучить его к хлеборобству наталкивались на безмолвное сопротивление. Уже с этих лет Тарас мечтал о живописи. Он украл у учителя-дьячка пять копеек, купил на них бумаги, сшил тетрадь и разрисовал ее цветами и узорами.

В конце концов Тарас не выдержал ежедневных побоев дьячка и ночных бдений над покойниками, сбежал из своей деревни и начал бродить по окрестным селам, разыскивать учителя живописи.

Живописью занимались все те же пьяницы дьячки, писавшие иконы для церквей. Иные брали к себе Тараса в ученье, но заставляли его батрачить или без конца тереть краски; другие прогоняли его в первый же день, считая ни к чему не способным. Только маляр в селе Хлипновке взялся испытать приблудного мальчика. Две недели он заставлял его рисовать, потом сказал, что из Тараса выйдет хороший художник, но взять его в обучение он боится, потому что Тарас — беглый крипак. Маляр потребовал у Тараса письменного разрешения от помещика Энгельгардта.

Тарас простодушно пошел за разрешением к управляющему имениями Энгельгардта. Тот посмотрел его рисунки и отправил Тараса на господскую дворню.

В то время Энгельгардту, жившему в Вильно, понадобились новые слуги. Тараса посадили на телегу вместе с другими дворовыми и отправили в далекую Литву. В донесении Энгельгардту о новых слугах управляющий против имени Тараса написал: «Годен на комнатного живописца».

В 1829 году в Вильно стояла снежная зима. Глубокие снега приглушали звон католических костелов. Это не была страшная зима 1812 года,— о ней виленцы вспоминали с содроганием. Город еще жил памятью о походе Наполеона, о балах Александра, о сражениях и гибели на обледенелых горах около Вильно всей артиллерии Наполеона — маршал Ней приказал ее сжечь.

Здесь, в Вильно, был последний привал погибавшей многоязычной армии. Еще при Шевченко в подвалах виленских монастырей находили скелеты французских солдат.

Польша волновалась. Адам Мицкевич томился в позоло-

ченной тюремной клетке — в литературных салонах ненавистного ему Петербурга. Молодежь зачитывалась его «Конрадом Валленродом». Медленно, но явственно приближалось польское восстание.

Но мальчик Тарас ничего не знал об этом,— только гораздо позже он выучил польский язык и впервые прочел Мицкевича. Сейчас он целыми днями сидел в темноватой прихожей на конике — сундуке, где хранились принадлежности лакейского звания, ждал барского оклика, подавал Энгельгардту трубки. Вместо комнатного живописца помещик сделал его комнатным казачком.

В Вильно страсть к живописи у Тараса еще усилилась. В редкие свободные часы мальчик убегал в город. В Острой Браме, в бернардинских монастырях он видел старинные иконы, написанные безвестными художниками пышно и театрально. В доме Энгельгардта он рассматривал портреты героев войны двенадцатого года и суздальские образа. В Вильно мальчик впервые полюбил архитектуру и сохранил эту любовь на всю жизнь. Потом, на Украине и в Нижнем Новгороде, он зарисовывал старинные здания, восторгался их пропорциями, строгостью линий и позабытыми строителями этих зданий — большей частью «простыми крестьянами-холопами».

В Вильно Шевченко испытал первую любовь. Она была неудачна, как и все его увлечения. Всю жизнь он прожил бобылем.

Об этой первой любви Шевченко мы знаем мало. Он полюбил девушку-польку. Встретил он ее в одном из виленских костелов. Костелы всегда были местом встреч, взглядов, мимолетных и неясных знакомств.

Девушка была «вольная». Тарас был холоп. В этом одном уже заключалась безысходность его первой любви.

В палатах помещика Тарас впервые понял, как он унижен. У него появилась ясная мысль о необходимости освобождения холопов. Мысль эта росла, крепла, закалялась на протяжении жизни и сделала из безвестного мальчика великого «мужицкого поэта» и революционера.

Зимой в Вильно гремели балы. Паркеты дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры, звенели шпоры. Ветер от шелковых шлейфов холодил ноги старикам, глядевшим на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки.

Однажды Энгельгардт уехал на бал. Бал давали в день именин Николая. Челядь Энгельгардта могла наконец отдохнуть,— бал должен был затянуться до утра.

Когда в большом гулком доме все успокоились, Шевченко зажег свечу, прокрался в барские комнаты и начал срисовывать портрет генерала Платова.

Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валя-

лись замерзшие французы. Конь Платова гарцевал, как будто позировал мальчику.

Шевченко увлекся. Свеча оплывала. Ночь медленно приближалась к рассвету. Шевченко не слышал стука в дверь, суеты, грозных окриков Энгельгардта. Очнулся он от того, что рука барина схватила его за ухо и сбросила со стула. Взбешенный Энгельгардт кричал, что казачок палит всю ночь свечи и может сжечь дом и весь город. Тогда еще не стерлось воспоминание о пожаре Москвы, сгоревшей якобы от копеечной свечки.

— На конюшню! — кричал Энгельгардт.— Не твое холопское дело производить копии с этих портретов!

Утром Шевченко выпороли на конюшне. Порку он перенес, но несколько дней после нее думал о самоубийстве.

Через год, когда он получил от Энгельгардта новый удар, он думал уже не о самоубийстве, а об убийстве своего барина: «С ножом в господские палаты я шел, не чувствуя земли». А через несколько лет он уже звал народ тащить на плаху первого крепостника и помещика всей России — царя Николая.

Порка не испугала Тараса — он был тих, но упрям и продолжал втихомолку срисовывать портреты. Тогда Энгельгардт сдался. Он решил сделать из Тараса своего крепостного художника. В то время, как известно, помещики считали признаком просвещенности иметь дворовых художников, хотя нередко и засекали их до смерти.

Вблизи Москвы, в деревне Марфино — бывшем поместье князя Голицына, сохранилась около церкви могила крепостного архитектора Белозерова. Белозеров построил в Марфино церковь, но отказался, несмотря на приказ Голицына, поставить внутри церкви столбы. Столбы испортили бы легкую архитектуру. Голицын приказал засечь Белозерова, похоронить у стен построенной им церкви и выбить на могильной плите надпись о причинах его смерти в назидание непокорным холопам.

Энгельгардт вскоре переехал в Варшаву и отдал Шевченко в учение австрийскому хитроватому портретисту Лампи.

У Лампи Шевченко проучился недолго. Кончался 1830 год. Готовилось восстание. Польские полки волновались. Слово «повстание» произносилось во весь голос на городских площадях и в кофейнях. Наместник Константин заперся у себя в Бельведере. У французского консульства, где развевался трехцветный флаг, стояли возбужденные, восторженные толпы варшавян.

Энгельгардт решил бежать. Оставаться в Польше было опасно. Всю дворню он отправил в Петербург вслед за телегами, нагруженными барским добром. Стояла зима. Путь от Варшавы до Петербурга Шевченко прошел пешком.

В Петербурге Энгельгардт отдал Шевченко в учение к «комнатному живописцу» Ширяеву. Ширяев держал малярное и стекольное заведение.

Шевченко, вместе с другими учениками, жил у Ширяева на чердаке, носил ветхий тиковый халат и ходил на работу — красить стены, расписывать потолки и вывески.

Ширяев был подрядчиком. Это был человек необразованный, крутой и грубый. О том, чтобы научиться у него даже самым простым приемам живописи, нечего было и думать. Шевченко, как и все ширяевские ученики, боялся своего хозяина. Ширяев знал только один способ обучения — зуботычину.

По вечерам на чердаке у Ширяева старшие ученики рассказывали Шевченко о красотах Петербурга, о знаменитых петергофских гуляниях и фонтанах. Громадный город — туманный и прямолинейный, холодный и блистательный — первое время пугал Шевченко. Разнообразие живописных богатств, заключенных чуть ли не в каждом доме, казалось ему сказочным после лубочных картинок, которые он воровал на Украине у своих учителей-дьячков. Все это надо было рассмотреть, изучить, срисовать.

Как-то летом Шевченко сбежал с работы и пошел пешком в Петергоф. В кармане его халата было несколько медных грошей и кусок хлеба.

В Петергофе Шевченко увидел нарядные толпы петербуржцев, любовавшихся струями воды, летевшими ввысь, к вершинам столетних деревьев, увидел Ширяева с его толстой женой, испугался и тотчас повернул обратно.

Он был так голоден и слаб, что фонтаны не произвели на него того впечатления, которого он ожидал. Кроме того, было страшно увидеть рядом с мраморными статуями и блещущими фонтанами, рядом с праздничной листвой садов тяжелое лицо самодура и кулака Ширяева.

Так жизнь шаг за шагом давала Тарасу трудные, но нужные уроки. Рабство и пышные придворные праздники, тиковый халат и шелестящие наряды женщин, подрядчик, торжественно шествующий среди творений Растрелли и Воронихина,— все это возвращало мысль к обездоленности народа.

Народ, только народ имел право созерцать красоту и облагораживать себя этим созерцанием, а не Ширяевы и Энгельгардты. Надо было научиться высокому искусству живописи, чтобы отдать его народу, чтобы картины — «изящнейшие произведения человеческого духа» — висели не в дворцовых залах, а в народных галереях.

Никто не мог помочь Шевченко в трудном искусстве, и он начал изучать его сам. По пути с работы на ширяевский чердак он заходил в Летний сад и срисовывал мраморные статуи, поставленные еще во времена Елисаветы.

В Летнем саду Тарас начал писать и свои первые стихи. «О первых моих литературных опытах,— говорил он впоследствии,— скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещи-

чьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах. Но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне».

Днем рисовать было некогда. Помогали белые ночи. Их сумрак был светел. Он не скрывал очертания статуй. Наоборот, в прозрачном блеске ночей статуи казались особенно ясными на темной листве, вычерченными более чистыми линиями, чем днем. Днем они были грубее.

Шевченко сидел около статуй и рисовал. Никто не мешал ему. Летний сад был пуст, безмолвен.

В одну из таких ночей преподаватель Академии художеств Сошенко проходил через Летний сад и увидел мальчика, сидевшего на перевернутом малярном ведре перед статуей Сатурна. Сошенко тихо подошел. Мальчик обернулся и что-то быстро спрятал за пазуху.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Сошенко.

— Да ничего,— ответил растерянно мальчик.— Ничего я не делаю такого... Шел с работы и зашел в сад.

Сошенко молчал.

— Я рисую,— прошептал мальчик и покраснел.

— Покажи.

Мальчик показал художнику измятый набросок статуи Сатурна. Набросок был очень хорош.

Сошенко дал мальчику свой адрес и наказал непременно прийти в ближайшее воскресенье и принести свои рисунки.

С этой встречи начался перелом в жизни Шевченко. Сошенко первый открыл в Летнем саду этот «алмаз в кожухе», как он называл впоследствии Шевченко.

В первое же воскресенье Тарас пришел к Сошенко. Художник открыл ему дверь и протянул руку. Тарас схватил ее и хотел поцеловать. Сошенко вырвал руку. Тарас испугался, бросился вон из дверей и убежал.

Сошенко был возмущен «раболепием» мальчика. Он не знал, что Тарас — крепостной. Сгоряча он не понял, что запуганный мальчик хотел поцеловать ему руку не из раболепия, а из благодарности — так же, как поцеловал бы руку приласкавшего его отца.

Сошенко был взволнован не меньше Тараса. На следующий вечер он пошел в Летний сад, чтобы отыскать мальчика, и увидел его перед статуей Аполлона Бельведерского. Сошенко забрал мальчика и повел в трактир. Мальчик был худ, бледен; было видно, что он голодает.

В трактире Тарас рассказал Сошенко свою немудрую жизнь. Сошенко был в отчаянии: талантливый мальчик оказался крепостным. Не было никакой надежды вырвать его у помещика и сделать художником. Тарас смотрел в глаза Сошенко, но художник только махнул рукой.

Они молча вышли из трактира. Великолепный город лежал вокруг, расчерченный гениальными архитекторами. Казалось, неизмеримое горе было заключено в продуманной классической красоте петербургских зданий.

Около трактира встретился известный художник, старик Венецианов. Сошенко рассказал ему о Тарасе. Венецианов долго приглядывался к украинскому юноше, потом тихо сказал Сошенко:

— Добейтесь хотя бы некоторого улучшения его участи, а потом уже будем хлопотать о свободе. Все возможно на этом свете, лишь бы было непреклонное желание.

Сошенко пошел к Ширяеву. Долго он уговаривал угрюмого подрядчика отпускать Шевченко в свободное время к нему, художнику Сошенко, для обучения живописи. Ширяев подозрительно посматривал на художника и упирался. Занятие чистой живописью было, по его мнению, вредным баловством и ничего не могло принести крепостному, кроме несчастья. Но Сошенко был настойчив, и подрядчик сдался.

С тех пор Тарас все свободное время проводил в мастерской у Сошенко. Здесь он встретился с блиставшим в то время в Петербурге Карлом Брюлловым.

Имя Брюллова, недавно вернувшегося из Италии, было окружено трескучей славой. Петербуржцы знали восторженные отзывы Вальтера Скотта о полотнах Брюллова. Рассказывали, что в Риме, когда Брюллов появлялся в театре, зрители встречали его рукоплесканиями. О Брюллове создавались легенды. Его ставили в один ряд с Микеланджело и Рафаэлем. Его великолепная мастерская приводила в трепет измотанных нуждой художников и нищих учеников Академии. Пушкин восхищался Брюлловым и просил его написать портрет жены — Натальи Гончаровой.

Преклонение перед Брюлловым легко понять. Брюллов внес в русскую живопись живую нарядность и приподнятость красок. Вместе со своими полотнами он как бы целиком перенес в Россию клочок Италии. Все на его холстах золотилось, смуглело, сверкало лукавством, улыбкой, театральной грацией. Брюллову завидовал даже Кипренский.

Брюллову понравились рисунки Шевченко. Сбылось то, о чем Тарас не мог и мечтать. Один из величайших художников Европы не только держал в руках, но и искренне хвалил его «мазню».

Брюллову понравился Тарас — «мальчик с некрепостным лицом». Он заинтересовался его судьбой и обещал Сошенко подумать о ней.

После встречи с Брюлловым Тарас несколько дней ходил, ничего не видя, не слыша. Он беспричинно смеялся, забывал о работе, не замечал ругани Ширяева. Слезы радости часто появлялись у него на глазах.

Сошенко устроил так, что Тарас начал посещать классы

Академии художеств. Там он рисовал античные гипсы. Он все сильнее втягивался в живопись, знакомился с вольнолюбивыми художниками, начинал понимать язык линий и следовать традициям живописного мастерства. И тем отвратительнее делалось для него прозябание раба, малярная работа, мусорный ширяевский чердак.

Брюллов рассказал о судьбе талантливого украинского юноши Жуковскому и музыканту Виельгорскому. Сообща было решено добиться освобождения Тараса.

Брюллов поехал к Энгельгардту. Он вернулся от помещика в бешенстве. «Это самая грязная свинья, какую я когда-либо встречал в жизни,— сказал он Сошенко.— Завтра он обещал назначить цену за Шевченко. Сходите к нему и узнайте, сколько он запросит».

Так начался страшный торг с Энгельгардтом за свободу Шевченко.

Сошенко не решился сам пойти к Энгельгардту. Он попросил об этом Венецианова. Сошенко думал, что Энгельгардт постыдится затеять торговлю с простодушным стариком, пользовавшимся всеобщей известностью и уважением. Венецианов охотно согласился идти к помещику,— всю жизнь он помогал людям, «впадавшим в крайность». Он считал это таким же естественным для себя делом, как и писание картин.

Энгельгардт заставил старика Венецианова больше часа дожидаться в передней, среди челяди и лакеев. Принял он Венецианова грубо, надменно. Он не захотел слушать разговоров о талантливости Шевченко и необходимости свободы для его дальнейшего развития.

— Все это вздор! — сказал он Венецианову.— Все это филантропия! Не в том, батенька, дело.

Тогда Венецианов, краснея за собеседника, спросил, во сколько Энгельгардт оценивает свободу Шевченко.

— Наконец-то я слышу достойные слова! — воскликнул Энгельгардт и начал уклончивый разговор о том, что Шевченко ему надобен, потому что он, Энгельгардт, заказывает ему портреты знакомых и даже платит крепостному художнику за каждый портрет рубль серебром.

Торг длился долго. Энгельгардт в конце концов назначил за Шевченко выкуп в две тысячи пятьсот рублей и не захотел уступить ни копейки.

Сумма по тем временам была огромна. Она делала освобождение Шевченко почти невозможным. Венецианов пришел к Сошенко обескураженный и сердитый.

Снова совещались Брюллов, Сошенко, Венецианов и Жуковский и решили деньги эти достать во что бы то ни стало.

Шевченко страшно волновался. Он задумал убить Энгельгардта. Чтобы успокоить его, Сошенко добился у Ширяева отпуска для Тараса на один месяц. Но Ширяев был не такой

человек, чтобы согласиться на это даром,— Сошенко должен был бесплатно написать портрет Ширяева.

Отпуск не помог Шевченко. Он знал, что нигде двух с половиной тысяч достать нельзя, что не стоит думать о свободе, и с каждым днем томился все больше. Он притих, был подавлен, растерян. Мысль об убийстве Энгельгардта он оставил: вместо свободы это принесло бы еще худшую неволю — каторгу, Сибирь.

Тоска заполняла дни. Мысли путались, и как леденящее железо входило в сердце отчаяние. Тарас не выдержал этого напряжения и заболел горячкой.

Его свезли в больницу. Гнилая весна медленно одолевала зимнюю стужу. Бурый дым падал из труб на закисающий снег. Лед на Неве чернел и трещал. С залива дули мокрые ветры.

Шевченко смотрел из окна больницы,— никакое солнце в мире, даже солнце его родной Украины, не могло бы пробить толщу облаков, волочившихся по озябшей земле. Дни, холодные как казарма, стояли над промозглым Петербургом. Шевченко чудилось, что худой николаевский солдат заглядывает на него в окна, не спускает с больного бескровных глаз, моргает белыми ресницами. Но за окнами никого не было,— там шел реденький снег.

Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева,— по реке двинулся лед. А утром в больницу пришел Ширяев — тихий, смущенный, совсем не похожий на прежнего матерого хозяина.

Он помял в руке черный картуз, сел и сказал:

— Ну, Тарас, не взыскивай с меня за обиду. Выкупили тебя господа художники. Теперь ты человек вольный.

Шевченко отвернулся, и губы у него задрожали.

Он не поверил хозяину. Ширяев повздыхал, потоптался — и ушел.

Вскоре пришел Сошенко. Шевченко сел на койке и спросил:

— Это правда?

— О чем ты говоришь, Тарас? — спросил Сошенко.

— Это правда, что вы... что я...— сказал Тарас и замолчал. Он боялся выговорить последнее слово — невероятное слово «свободен».

Сошенко догадался.

— Правда, Тарас,— сказал Сошенко.

Шевченко упал лицом на соломенный больничный тюфяк и зарыдал. Сошенко вынул из кармана «вольную» и отдал ее Шевченко. Тот прочел ее несколько раз, поцеловал и спрятал под подушку.

Было это 22 апреля 1838 года.

Болезнь Тараса заставила его друзей поторопиться с поисками денег. Жуковский и Брюллов придумали выход. Брюллов написал портрет Жуковского. Портрет этот был разыгран в лотерею. Лотерея дала две с половиной тысячи рублей. Деньги тотчас отвезли Энгельгардту и получили от него «вольную»

на «ревизскую душу крестьянина Тараса Григорьевича Шевченко».

Освобождение Шевченко почти совпало со смертью Пушкина. Пушкин умер только за год до этого. Только год назад Тарас робко вошел, вместе с притихшей толпой, в небогатую квартиру поэта. Пушкин лежал в гробу, в прихожей. Витые розовые свечи горели около изголовья. В квартире был беспорядок, обычно сопутствующий смерти.

Великий поэт напомнил Тарасу его родных крипаков, по которым он читал псалтырь,— так же было измучено его лицо, так же, должно быть впервые в жизни, были спокойно сложены на груди его сухие маленькие руки.

Тарас принес с собой лист бумаги и огрызок карандаша. Он спрятался в угол и начал срисовывать безжизненную голову поэта. Он смущался, вздрагивал, когда кто-нибудь задевал его полой тяжелой шубы.

Тогда уже Пушкин вошел в жизнь Тараса как недосягаемый друг, как величайший учитель поэзии.

Весна наконец победила холодную слякоть. По Неве прошел ладожский лед. Голубые дни подымались с востока и медленно уходили на запад, в тихую воду залива. Золотые шпили сверкали над шумным, оживающим городом. Шевченко был свободен.

От радости он даже не мог рисовать. Он бродил по городу, светлый, улыбающийся, часто вынимал из кармана «вольную» и перечитывал ее при свете северной ночи. Потом долго стоял задумавшись, глядел, как над островами зеленеет заря. Она казалась ему зарей его новой, удивительной жизни.

Тарас поселился у Сошенко и начал работать в Академии художеств под руководством Брюллова. С грязного чердака он перешагнул в мастерскую великого художника, где, как в лавке антиквара, были собраны превосходные вещи. Каждая из них была достойна рассказов, споров и размышлений.

В этой мастерской Тарас впервые понял прелесть бесед, переливающихся острой мыслью, шуткой, веским замечанием. Здесь вспоминали о Пушкине как о недавнем госте этой мастерской. Здесь во время работы читали вслух научные трактаты, говорили о Риме, качестве красок, рассказах Гоголя, Рембрандте и античности, музыке Гайдна и декабристах.

Брюллов открыл Шевченко свою богатую библиотеку. Шевченко впитывал содержание книг, как земля впитывает внезапный ливень. Он узнал о Гете, Шиллере, старике Гомере и Вальтере Скотте. Он изучал историю средних веков и Греции, французский язык, прошел курс зоологии, физики и анатомии.

Но особенно охотно Шевченко искал и прочитывал книги по истории Украины. Он не забыл ее в тревогах и радостях последних лет. Он всегда носил в сердце память о родных крипаках, лирниках, курганах, шумящих седою травою.

Брюллов тоже любил Украину. Тарас подолгу рассказывал ему о защитнике сельской бедноты — Кармелюке, песнях и праздниках, о мягком работящем народе, загнанном Екатериной в крепостное ярмо.

Иногда Брюллов брал Шевченко с собой в Эрмитаж или на загородные прогулки. Однажды они ездили на пароходе в Петергоф. Теперь Шевченко не был голоден. Петергоф предстал перед ним совершенно иным, чем в первый раз. Он ощутил прелесть этих садов, где в глубине аллей шумят балтийские волны, где морской ветер покрывает рябью пруды и из мраморных изваяний льются по ступеням, покрытым илом и бронзой, прозрачные водопады.

Эти прогулки были праздниками для Шевченко. Брюллов читал ученикам лекции о том, как живописать воду, небо, деревья и травы. Шевченко все больше привязывался к своему учителю. Почтительное, почти благоговейное отношение к Брюллову он сохранил надолго. Шевченко был тверд в привязанностях. Он прощал Брюллову все. Когда много лет спустя он узнал о скупости Брюллова, то старался внушить себе, что эта черта является только «случайной гримасой гения».

Годы учения в Академии художеств были самым легким временем в жизни Шевченко.

Он поселился в мансарде с товарищами по Академии: Михайловым и Штернбергом. Дни проходили в посещении академических классов, в работе и чтении. Шевченко любил слушать чтение во время работы и сам любил читать вслух товарищам.

Постепенно завязывались знакомства с передовыми людьми своего времени и с украинцами, жившими в Петербурге,— писателем Гребенкой, знаменитым математиком Остроградским.

Впервые Тарас начал слушать музыку Бетховена, Гайдна, Моцарта. Музыку он любил. Она всегда напоминала ему об Украине. Из тончайших и разнообразных мелодий возникал образ родной певучей страны. Шевченко тосковал по ней. Припадки этой тоски приобретали порой характер болезни, в эти минуты Шевченко писал на клочках бумаги первые свои украинские стихи. Поэзия уже боролась в нем с увлечением живописью. Поэзия уже стала его «странным, неугомонным призванием». Тогда же он написал свои знаменитые «Думы»:

Думы мои, думы мои,
Цветы мои, дети!
Я растил вас, я берег вас.
Где ваш кров на свете?
В край родной идите, дети,
К нам на Украину,
Под плетнями сиротами,
А я здесь уж сгину.

Там найдете сердце друга,
Оно не лукаво,
Там найдете, дети, правду,
А может, и славу.
Привечай же, мать-отчизна,
Моя Украина,
Моих деток неразумных,
Как родного сына!

Жизнь шла легко, несмотря на отсутствие денег. Когда пере падал лишний рубль, приятели бежали в трактир «Рим» на

Васильевском острове и заказывали сочные бифштексы. Однажды они украли живого гуся у смотрителя Академии. Гуся сварили в самоваре и съели, а крылья его подарили художнику Петровскому. Петровский писал конкурсную картину «Агарь в пустыне». Ему нужны были крылья какой-нибудь большой птицы, как образец для крыльев ангела, утешающего Агарь. За свою «Агарь» Петровский получил заграничную командировку. Шевченко со смехом рассказывал всем, как гусиные крылья создали счастье художника.

В своих живописных работах Шевченко начал постепенно уходить от академичности и ложноклассической трактовки образов к ясному и простому реализму. Характерно, что один из академических этюдов Шевченко изображает нищего мальчика, который делится милостыней с бродячей собакой. Это была дань художника своему детству.

Шевченко получил от Академии две серебряные медали за свои работы, но работы эти его уже не радовали. Он увлекся акварельным портретом. В этой области учителем Шевченко был портретист Соколов. Тарасу нравились его просвечивающие краски, изящество рисунка.

Портреты работы Шевченко вскоре стали славиться в Петербурге. Посыпались заказы. Нужда окончилась. Шевченко стал кормильцем целой ватаги молодых художников-украинцев. Он начал хорошо одеваться, бывать в театрах. Это вызвало жестокие упреки его наставника Сошенко. Он негодовал на «безалаберную жизнь» Тараса. «Мы — плебеи,— говорил Сошенко,— и вести легкомысленную жизнь нам с тобой не пристало».

Однако ничего странного в таком поведении Шевченко не было. Он оставался в те годы еще настоящим ребенком. Купленный им непромокаемый плащ казался ему чем-то необыкновенным. Он гордился им и с восторгом показывал знакомым. Его, бывшего пастуха, помнившего дырявые, насквозь промокшие свитки, радовало, что вот хитрые люди придумали материю, которая и в дождь остается сухой. Недолгое увлечение Шевченко внешней стороной петербургской жизни было естественным у юноши, только что вырвавшегося из нищеты.

Оставаясь наедине с собой в пыльной комнате, заваленной начатыми холстами, Шевченко до слез грустил по Украине, и все думы, вся страсть, вся любовь его были далеко от Петербурга, были со своим обездоленным народом. Оставаясь один в своей каморке, Тарас писал стихи о родине. Над нею «орел черный сторожем летает, кобзари о ней народу песни распевают». О стихах этих никто не знал, и, может быть, долго не узнал, если бы не случай. Произошел он в конце 1839 года.

Шевченко писал портрет полтавского помещика Мартоса. Мартос приходил позировать Шевченко. Однажды Мартос заметил на полу комнаты исписанный клочок бумаги. Он поднял его — и прочел украинские стихи, поразившие Мартоса ясностью

языка, певучестью, скорбью о судьбе Украины. Это был отрывок «Тарасовой ночи».

— Что это? — спросил Мартос.— Чьи это стихи?

— Мои,— неохотно ответил Шевченко.— Так... Баловство. Когда плохо делается на сердце, я и начинаю портить бумагу. У меня их много, этих стихов.

Шевченко вытащил из-под кровати корзину, доверху набитую изорванными скомканными листами, исписанными крупным неправильным почерком.

— Вот все мое добро,— сказал.— Тут сам черт вывихнет лапу.

Мартос начал разбирать рукописи. Шевченко смотрел на него с недоумением. Рукописи были в таком беспорядке, что Мартос не мог в них разобраться. Он взял их с собой, чтобы дома привести в порядок, и ушел.

Но пошел он не домой, а к украинскому писателю Гребенке. Они вдвоем разобрали рукописи, прочли их и долго молчали. Они были потрясены. Они впервые узнали о существовании большого народного поэта, чьи стихи были так неотделимы от страданий и мыслей народных, что даже не верилось, что они написаны одним человеком, а не созданы всем народом в течение многих лет на шляхах, на полях Украины.

Молчат горы, стонет море,
Могилы в тумане,
Стонут дети казацкие
Во вражеском стане.

На следующий день Мартос снова пришел к Тарасу позировать для портрета. Тарас молчал. Молчал и Мартос. Он ждал, когда Тарас спросит его о стихах. Но Тарас был угрюм, работал с ожесточением и не говорил ни слова. Наконец Мартос не выдержал.

— Прочел я ваши стихи, Тарас Григорьевич,— сказал он.

Шевченко молчал.

— Великолепные стихи! Их надо тотчас напечатать.

Шевченко испугался.

— Что вы! — заговорил он быстро и недовольно.— Какие это стихи! Засмеют меня за эти стихи, а то, пожалуй, и побьют поэты.

С большим трудом Мартосу удалось добиться от Шевченко разрешения напечатать стихи отдельной книгой. Она была названа «Кобзарь» и вышла в свет в феврале 1840 года. Вскоре вышли отдельными книгами и две великолепные поэмы Шевченко «Катерина» и «Гайдамаки».

Петербург заговорил о новом «мужицком» поэте. На Украине появление «Кобзаря» произвело впечатление потрясающее. Его выучивали наизусть, над ним плакали, его хранили в сундуках. Чудесным казалось, что из северного Петербурга раздался свободный голос бывшего раба-украинца, и голос этот прозвучал

по всей стране как плач о бедняках, как призыв к освобождению от рабства.

Тогда Тарас еще не знал, что «своими стихами он сам себе кует кандалы». Узнал он об этом через несколько лет, в Петропавловской крепости. Со времени выхода «Кобзаря» Третье отделение уже тайно следило за поэтом.

Летом 1843 года сбылась наконец мечта Тараса. Он вернулся к себе на Украину прославленным поэтом и художником.

Поездка была связана с печатанием большого художественного альбома «Живописная Украина». В альбом должны были входить зарисовки украинских пейзажей, старых городов, быта, картины из истории Украины, написанные и выгравированные самим Шевченко. Текст к гравюрам должны были писать известный историк Бодянский и украинский писатель Кулиш.

Украина встретила Тараса ласково, но вскоре же нанесла удар его юношеским представлениям о родине. Все украинцы были на отдалении одинаково милы Шевченко, как была мила сама Украина. Шевченко думал, что ее единственное несчастье заключалось в порабощении царским самодержавием. Стоило сбросить гнет царской России — и тотчас возродится былая вольность и слава, мирный труд расцветет на черноземных полях, и песни польются от края до края степей.

На Украине Шевченко был желанным гостем — и в хатах крипаков, и в усадьбах помещиков-украинцев. Но как только Тарас переступил порог первого же помещичьего дома, он понял, что он крепостной, хотя и носит в кармане «вольную». Его принимали охотно, но временами давали почувствовать, что он — бывший холоп и ему не по плечу равняться со шляхтой и дворянством. Шевченко не мог смотреть в глаза казачка́м, подававшим трубки, дворне, снимавшей шапки перед ним, знатным столичным человеком.

Он был костью от кости этих холопов, он был поэтом бедняцкой Украины. Ненависть к помещикам, к панам, независимо от того, кто они были — украинцы, поляки или русские,— вошла с тех пор в его сердце и крепла с каждым годом.

Он резко порвал знакомство с помещиками. В ответ на это один из помещиков, Лукашевич, прислал ему письмо. «Таких мужиков и олухов, как ты,— писал Лукашевич Шевченко,— у меня триста душ».

Однажды Шевченко гостил у полтавского помещика, «стихоплета» Родзянко, дружившего одно время даже с Пушкиным. Несмотря на кажущуюся дружбу с Пушкиным, Родзянко написал на него донос в стихах в то время, когда Пушкин был уже в ссылке. Пушкин, предупрежденный друзьями, не мог поверить этому. «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости»,— писал Пушкин. Он думал, что на это не способен даже Родзянко.

В доме Родзянко Шевченко увидел, как дворецкий ударил по лицу дворового мальчика. Шевченко ночью ушел из дома

Родзянко, уехал в Миргород и больше с Родзянко не встречался.

Была одна только помещичья семья, с которой Шевченко мирился,— просвещенная и гуманная семья князя Репнина.

Дочь Репнина, Варвара, экзальтированная, порывистая женщина, полюбила Шевченко. Варвара была воспитана в отвращении к крепостному праву. Ее преклонение перед Шевченко — бывшим крипаком, теперешним разночинцем и талантливым поэтом — было безгранично. Она довела это преклонение до смешного. Каждая выпитая Шевченко рюмка водки, каждая вольная шутка казались ей недостойными гения и заставляли искренне и долго страдать. О своей любви она не сказала Шевченко ни слова. Это была безмолвная, но самоотверженная любовь.

Когда Шевченко находился в ссылке, Варвара Репнина настойчиво хлопотала о его освобождении. Она прекратила хлопоты только после грубой угрозы со стороны Третьего отделения подвергнуть за это преследованию всю ее семью.

От идиллических мечтаний о патриархальной Украине Шевченко резко перешел к мыслям об освобождении народа от власти царя и панов. Он понял, что единственный путь к этому — восстание. Он знал, что его слова о судьбе украинских помещиков, о том, что «кровь их детей польется в далекое море сотнею рек», станут словами пророческими.

Вы, разбойники и воры,
Жадная орава!
По какому вы людскому
Божескому праву
И землей, от века общей,
И людьми живыми

Торгуете? Берегитесь,
Встретитесь вы с нами!
Он настанет, день веселый,
Вас настигнет кара,
Пламя новое повеет
С Холодного Яра!

Второй раз Шевченко приехал на Украину из Петербурга после окончания Академии художеств — весной 1844 года.

Весна стояла дружная, туманная. Полая вода задерживала Шевченко в пути. Есть нечто величавое в разливах русских рек. Они наполняют воздух самых убогих уголков земли блеском воды, отражающей весеннее небо. Блеском, похожим на блеск мелких морей, что вплотную подступили к порогам курных изб, к голым березовым рощам. Шевченко не досадовал на задержку в пути.

Он поселился в Киеве, сразу же был окружен украинской молодежью, но жил в Киеве мало. Он исколесил всю Украину. Шевченко начал работать в археологической комиссии и по ее поручению зарисовывал памятники старины, сохранившиеся на Украине. Это дало ему прекрасное знание страны.

Он побывал в Подолии, на Волыни и на Полтавщине, во многих местах около Киева, в Чернигове, Нежине и Чигирине. Он напряженно работал как художник, но еще больше как поэт. В это время им была написана поэма о Яне Гусе и много стихотворений.

Однажды во время своих скитаний Шевченко попал на яр-

марку в город Ромны. Здесь он увидел настоящую гоголевскую Украину.

Над Ромнами стояла непроницаемая мелкая пыль. На ярмарку пригнали громадные табуны лошадей и съехались со всей России кавалерийские ремонтеры покупать лошадей для армии. Лошадей гоняли на корде перед покупателями. Неистово кричали цыгане. Лудильщики били в медные тазы.

В ярмарочном балагане выступал знаменитый украинский актер Соленик. Это был выдающийся актер, равный по дарованию Щепкину, но рано умерший. Шевченко считал его актером даже большего мастерства, чем Щепкин. Со Щепкиным к тому времени Шевченко познакомился и сдружился.

Выступление Соленика перед ярмарочным сборищем Шевченко воспринял как унижение театрального искусства.

В тот же вечер на ярмарке выступал хор московских цыган. Они разухабисто пели «Горные вершины»:

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

Пьяные ремонтеры ревели от восторга и швыряли в цыганок измятыми кредитками. Шевченко ушел взбешенный.

«Думал ли великий германский поэт,— писал об этом Шевченко,— а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко поэтические стихи будут отвратительно-дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия».

Во время скитаний по Украине Шевченко много времени проводил среди крепостных крестьян. По ночам в темных хатах собирались родные его «гречкосеи» и безнадежно жаловались на угнетения, на обиды, на жестокости панов и шляхтичей. Для помещиков и шляхтичей, наводнявших Украину, «гречкосеи» были только «быдлом» — рабочим скотом. Гнев охватывал Шевченко — великий, беспощадный гнев поэта, трибуна, революционера. Этот гнев сообщил его стихам характер неистовых проклятий.

Да, он клял этот барский «смердящий» мир, клял царя, всех предателей и насильников.

А слез! А крови! Напоить
Всех императоров бы стало.
Князей великих утопить
В слезах вдовиц! А слез девичьих,
Ночных и тайных слез привычных,
А материнских горьких слез!

А слез отцовских, слез кровавых!
Не реки — море разлилось!
Пылающее море... Слава
Борзым, и гончим, и псарям,
И нашим батюшкам-царям...

Шевченко был «вольный». Его вольное слово звучало по всей Украине, его стихи читали шепотом, но этот шепот гремел в сердцах как набатный колокол, от него закипали слезы в глазах и холодели руки.

— Что делать, Тарас? — спрашивали измученные крипаки.— Вот ты вышел в люди — дай совет, открой очи, научи, как добиться до правды.

Шевченко в то время уже знал, что делать. Сбросить царя и помещиков. Взять землю. Он открыто звал к этому крестьян. Он писал об этом. Его «археологические прогулки» по Украине превращались в страстные агитационные поездки. Всюду, где был Тарас, усиливался крестьянский гнев, разгоралось возмущение. Он подымал в сознании крипаков задавленные рабством пласты человеческого достоинства и негодования.

В это время в Киеве вокруг историка Костомарова собрался кружок либеральной украинской молодежи. Молодежь эта была враждебна крепостному праву и считала, что оно может быть уничтожено с помощью самих же «раскаявшихся» помещиков. Надлежало только вдохновить на освобождение крестьян лучших из помещиков и сделать это, воздействуя на них наукой и поэзией.

Постепенно кружок вокруг Костомарова рос и превратился, наконец, в тайное общество, названное Кирилло-Мефодиевским братством. Члены братства мечтали о политическом объединении славян и уничтожении «рабства и всякого унижения низших классов». Государственный строй славянских стран члены братства представляли себе в виде Славянских Соединенных Штатов.

Костомаров преклонялся перед поэзией Шевченко. По его словам, «Тарасова муза прорвала какой-то подземный заклеп, уже несколько веков запертый многими замками, запечатанный многими печатями».

Костомаров привлек в братство Тараса Шевченко, хотя Шевченко не разделял в своих политических взглядах той половинчатой либеральной теории, какую проповедовало братство. Путь Шевченко был путь революционной борьбы, путь уничтожения царской и помещичьей власти. Шевченко знал, что революция будет беспощадной и кровавой. Но он примкнул к Кирилло-Мефодиевскому братству, так как вокруг него все же объединились передовые люди Украины.

Братство не было искушено в конспирации. В его среду проник предатель — студент Попов. Он донес властям, и братство было разгромлено. Костомаров и другие видные члены братства были арестованы.

Шевченко арестовали 5 апреля 1847 года, когда он возвращался из Чернигова в Киев и переправлялся на пароме через Днепр.

Участие Шевченко в Кирилло-Мефодиевском братстве было для правительства, как выяснилось впоследствии, только удобным поводом для ареста. Третье отделение давно подозревало о ходивших по рукам «дерзких» стихах Шевченко и о его агитации среди крепостных.

Семнадцатого апреля Шевченко был под конвоем доставлен

в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Началось следствие.

На допросе в Третьем отделении на вопрос: «Какими случаями вы были доведены до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя императора?» — Шевченко ответил: «Возвратясь в Малороссию, я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и шляхтичами. И все это делалось и делается именем государя и правительства».

Следствие закончилось быстро. Результаты его были неожиданны. Шеф жандармов Орлов доложил Николаю, что дело Кирилло-Мефодиевского братства раздуто. Приговоры были очень мягкими для тогдашнего режима. Очевидно, правительство знало цену разговорам пылких юношей о моральном перевоспитании крепостников. Костомаров получил только год тюрьмы. Почти все обвиняемые были освобождены. Только один Шевченко был приговорен к ссылке рядовым солдатом в Оренбургский батальон «с правом выслуги», то есть на неопределенное время, почти на пожизненную каторгу.

В своем докладе царю Орлов сказал прямо: «Шевченко не принадлежал к братству, но он виновен по своим собственным отдельным действиям».

Николай мстил Шевченко за ненависть поэта к царям. Николай понимал, что «мужицкая» поэзия Шевченко была во много раз страшнее для самодержавия, чем либеральная болтовня юношей из Кирилло-Мефодиевского братства.

На приговоре о ссылке Шевченко Николай написал слова, изумившие даже жандармов: «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать». Это была гражданская смерть для Шевченко. Художнику связали руки, поэту заткнули рот и бросили его в каторжную жизнь захолустного гарнизона.

Второго июня Шевченко выехал в сопровождении жандармов в Оренбург. Громадный путь в две тысячи километров жандармы проскакали в девять дней.

Шевченко был отправлен тайно. Никто не знал, куда сослан поэт. Первое время по Петербургу ходили слухи, что он увезен на Аландские острова и там повешен.

Из Оренбурга Шевченко отправили в Орскую крепость, в пятый линейный батальон.

Если бы Шевченко не обладал мужеством и волей, если бы он не был «одарен крепким телосложением», как было сказано даже в приговоре о ссылке, он не вынес бы десятилетней ссыльной тоски.

Тяжесть этой тоски трудно передать словами. Даже в русском языке мало этих слов,— а кому, как не русскому народу, была знакома острожная кандальная тоска! С давних времен до самого начала двадцатого века, вплоть до революции, народ этот пропадал по каторгам, шагал по унылым «владимиркам» и томился на вшивых этапах. Но за черными сибирскими ночами, за

мраком и пылью азиатских степей этот великий замученный народ видел правду, синеющую как далекий рассвет.

И Шевченко думал в ссылке о том, чтобы «солнце правды хоть сквозь сон увидеть», чтобы «хотя бы раз еще взглянуть на народ свой».

Мертвая степь окружала Орск со всех сторон, тусклая степь, откуда изредка приходили в город толпы кочевников менять верблюжью шерсть на водку и махорку. Кочевники называли Орск «злой крепостью».

Первые люди, которых Шевченко увидел, въезжая в Орск, были колодники с черными клеймами, выжженными на лбу.

Шевченко отвели в казарму. От нее шла застарелая кислая вонь. Ротный командир осмотрел поэта и пригрозил ему розгами, если он не будет «молодцевато служить государю» и выполнять по всей строгости ружейные приемы. Но до конца солдатской жизни Шевченко так и не выучил ни одного ружейного приема.

Казарма встретила поэта равнодушно. Люди тупели здесь годами. Казалось, их ничто не занимало, кроме еды, сна, водки и картежной игры.

Командиры твердо следовали аракчеевскому правилу: «Сто человек забей — одного выучи». Это была, по словам Шевченко, «кабацкая шваль, прикрытая офицерским мундиром».

Каждый день из месяца в месяц Шевченко вставал на заре, чистил сапоги, фабрил усы и выходил на казарменный плац обучаться шагистике, ружейным приемам, колке чучел и «словесности» — самому тупоумному порождению николаевского армейского строя.

Унтера со злорадством следили за тем, чтобы поэт ничего не писал и не смел даже брать в руки карандаш.

«Стань навытяжку!» — этот крик преследовал поэта с утра до ночи. Но и ночь не давала покоя. Ночью солдаты дрались в казарме из-за украденных портянок и понюшки табаку, вели бесконечные споры, кого в какой роте пороли и кого будут пороть завтра, или разгоняли тоску — рвали всей пятерней струны балалаек. Среди старослуживых солдат крепко жили выработанные годами интересы — зависть из-за лишней манерки щей, мечты о лазарете. Когда Шевченко заболел цингой и лег в лазарет, вся рота жестоко завидовала ему. Болезнь была затаенной мечтой каждого солдата.

Пили все: офицеры, солдаты, все население никому не нужного Орска. Пили жестоко, тупо; заливали водкой, заглушали похабными песнями и рассказами казарменную тоску.

В Оренбурге у Шевченко нашлись друзья. Одним из них был чиновник Михаил Лазаревский. Он всячески старался облегчить участь поэта, но это было невозможно.

Единственный путь избавиться хотя бы в незначительной доле от муштровки, от скотского быта казармы, нелепый, но единственный путь, был в «угощении» офицеров. От каждого

угощения водкой офицеры размякали, смотрели сквозь пальцы на отлучки Шевченко и не требовали от него лихой выправки,— на нее он был совершенно неспособен.

Во время этих отлучек Шевченко уходил в степь, за город, или на берег глинистого мутного Урала, доставал из-за голенища сапога, из-за солдатской «халявы» маленькую истрепанную тетрадку и записывал в нее стихи.

Это были короткие стихи об одиночестве, о многоцветных радугах, пьющих там, на далекой родной Украине, днепровскую воду, о жестокой бедняцкой доле. Временами все прошлое — Украина, и Петербург, и милые сердцу друзья, и Академия художеств — казалось обманом, навеянным степною сон-травой.

Но эти отлучки, короткие передышки были куплены тяжелой ценой,— Шевченко должен был пить вместе с теми, кого он угощал. Так полагалось по традиции пьяниц. Нарушение этой традиции приводило к жестоким унижениям. Это и случилось впоследствии, когда Шевченко был переведен в Новопетровское укрепление. Инженерный офицер Кампиони затащил Шевченко к себе в офицерский флигель, где пьянствовали офицеры. Они лежали в одних рубахах на кошме и тянули по очереди сивуху из полуведерной бутыли. Шевченко тоже хотели напоить сивухой, но он вырвался и вышел. Кампиони выскочил вслед за ним с отчаянным криком, что он, рядовой Шевченко, оскорбил офицера. Шевченко был арестован. На следующий день Кампиони подал рапорт коменданту о том, что Шевченко оскорбил действием его, Кампиони, и потому надлежит начать следствие.

Было это в 1857 году, накануне освобождения Шевченко, когда из Петербурга пришли известия о «помиловании». По тогдашним порядкам, дело грозило новой каторгой. Комендант посоветовал Шевченко единственный выход — извиниться перед Кампиони и уговорить его взять рапорт обратно. На карту ставилась вся дальнейшая жизнь, и Шевченко не выдержал: надел солдатский мундир и пошел к Кампиони. Он долго дожидался в передней. Потом Кампиони впустил Шевченко в комнату, покуражился над ним и наконец согласился взять рапорт обратно за четверть сивухи.

Так, среди отчаяния, сивухи, безвестности прошел год в Орске. Друзья ничего не писали. Они не скоро узнали, куда сослан Шевченко. Первые письма он получил от Варвары Репниной и от своего украинского друга Лизогуба. Репнина прислала Тарасу книги, а Лизогуб — ящик с красками. Это был печальный подарок. Лизогуб не знал приказа Николая, запрещавшего Шевченко рисовать.

Весной 1848 года просвещенный моряк лейтенант Бутаков приехал в Оренбургский край, чтобы произвести подробную опись берегов Аральского моря.

От Михаила Лазаревского Бутаков узнал о судьбе поэта и

настоял, чтобы Шевченко был включен в состав Аральской экспедиции. Бутакову нужен был художник для зарисовки берегов Аральского моря. Шевченко был обрадован этим назначением и тотчас же выехал из Орска в Оренбург.

Экспедиция прошла на верблюдах от Оренбурга до берегов Аральского моря, построила две шхуны и вышла в плавание. Шевченко был назначен на шхуну «Константин». Он жил в одной каюте с офицерами и ссыльным солдатом, геологом Вернером.

Плаванье по Аралу было для Шевченко коротким отдыхом. Аральское море, похожее на синюю ртуть, налитую в песчаные берега, монотонные дни, самый характер работы, связанный с промером глубин, с исследованием необитаемых островов, с долгими стоянками в тихих, безжизненных бухтах — все это позволяло хоть на время забыть казарму.

Экспедиция, закончив летние работы, зазимовала в глухом форте Кос-Арал.

Зимовка была тяжелая. Шумели холодные ветры, день и ночь трещали сухие камыши. Не было ни книг, ни писем. Почта в Кос-Арал приходила один раз в шесть месяцев.

Шевченко снова переболел цингой. У него началась бессонница. Много лет спустя, при воспоминании о ночах в Кос-Арале, у него, по его собственному признанию, холодело сердце. А тут еще изводили казаки-староверы, несшие в Кос-Арале сторожевую службу. Они приняли Шевченко из-за его бороды за ссыльного раскольничьего попа и преследовали поэта назойливыми выражениями своей почтительности.

Но хуже всего была бессонница. Туманная луна подымалась над Голодной степью,— там лежали неведомые страны, откуда Сыр-Дарья несла мутную и мертвую воду.

Шевченко выходил по ночам на палубу и тихо, чтобы не слышал капитан, пел любимые украинские песни,— томился, вспоминал об Украине. Слушал эти песни только вахтенный матрос. А пел Шевченко прекрасно. Некоторые из его современников говорят, что талантливость Шевченко якобы ярче всего была выражена не в его стихах и картинах, а в пении старинных запорожских песен.

Трещали камыши, холодная ночь простиралась над миром, и одиночество камнем лежало на сердце. Иногда в такие ночи великий поэт и замуштрованный солдат, преждевременно состарившийся от каторжной муки, плакал, сидя на палубе шхуны, и вытирал глаза рукавом колючей шинели. Плакал о своей недоле, милых друзьях, о заброшенности и беспомощности среди окружавших его равнодушных, казенных людей. В ссылке он вспомнил о матери:

...Счастье, мама,
Что ты так рано спать легла,
А то бы бога прокляла
За мой удел.

Никому не было дела до Шевченко. Каждый нес на душе свою заботу, каждый думал о покинутой семье. Один только лейтенант Бутаков был спокоен,— его спасала выдержка исследователя.

В Кос-Арале Шевченко написал за зиму много стихов и поэм. Его гнев на царя и панщину еще больше окреп, еще усилился в ссылке:

Пусть палачи царей карают.
Конец им, палачам людским!

Весной экспедиция закончила опись аральских берегов, вернулась в Оренбург и занялась разработкой полученных материалов. Бутаков сообщил начальству, что Шевченко не может быть возвращен в свою часть, пока не закончит отделки «живописных видов Арала».

Шевченко остался в Оренбурге. Образованный и гуманный офицер капитан Герн поселил его у себя и отвел под жилье и мастерскую поэта флигель в саду. Шевченко снял ненавистную солдатскую форму, ходил в штатской одежде, много писал и рисовал. Командующий краем генерал Обручев заказал ему портрет своей жены.

После отчета о блестящей работе Аральской экспедиции генерал Обручев выдал Шевченко в награду... пять рублей серебром. Начальник Отдельного Оренбургского корпуса генерал Перовский возбудил в Петербурге ходатайство о производстве Шевченко в унтер-офицеры и разрешении ему рисовать. Петербург отказал. Петербург выразил неудовольствие тем, что, несмотря на приказ Николая, Шевченко было разрешено заниматься в экспедиции рисованием. Лейтенант Бутаков был взят под тайный надзор полиции.

В Оренбурге Шевченко сблизился с поляками, сосланными за восстание 1830 года. Среди них был разжалованный в солдаты польский офицер Сераковский. Он провел несколько лет в гарнизонах на берегу Сыр-Дарьи, видел ежедневные порки солдат, и у него возникла идея — ей он отдал всю жизнь — добиться отмены телесных наказаний в русской армии. После смерти Николая Сераковский был помилован, уехал в Петербург, поступил офицером в Главный штаб и настойчиво добивался уничтожения шпицрутенов, розог, палочных избиений, заковывания в колодки.

Когда в 1863 году началось второе польское восстание, Сераковский примкнул к нему, был схвачен и повешен по приказу Муравьева. О Сераковском, как о мужественном и благородном человеке, проникнутом идеями социализма, писали Герцен и Чернышевский.

В Оренбурге жить стало немного легче. Шевченко знал, что в столице друзья хлопочут о нем, что по просьбе добряка Лазаревского генерал Обручев согласился отправить Шевченко не в Орск, а вместе с Вернером на полуостров Мангышлак, в горы

Каратау для поисков каменного угля. Это уже сулило некоторую независимость, отодвигало все дальше «смердячую» казарму в Орске.

Но случилось предательство. Некий прапорщик Исаев донес генералу Обручеву, что Шевченко ходит в штатском платье и, вопреки царскому приказу, пишет стихи и рисует картины. Обручев это прекрасно знал,— ведь не кто иной, как Шевченко, рисовал портрет его жены,— но раз донос был получен, ему, по правилам, надлежало дать ход. У Шевченко был произведен обыск. Нашли «партикулярные ношебные вещи», тетради со стихами, альбомы с рисунками и книги Шекспира, Пушкина и Лермонтова.

Полетели срочные донесения в Петербург. Петербург предписал рядового Шевченко держать под арестом и внушить ему, чтобы в дальнейшем он не осмеливался нарушать приказа Николая. Но рвение местных военных властей обогнало Петербург. Шевченко был посажен в тюрьму — уже не за рисование и не за стихи, а за то, что появлялся на улицах в штатской одежде.

Больше полугода он просидел в тюрьмах Оренбурга, Орска и Уральска и был наконец, поздней осенью 1850 года, выслан в Новопетровское укрепление, на полуостров Мангышлак, на восточный бесплодный берег Каспийского моря. Это было место, носившее у видавших виды николаевских солдат название «могилы» и «вонючего пекла».

Ссылка на Мангышлак означала то же, что смерть. О человеке, загнанном в эту пустыню, начисто забывали. Он существовал только в порыжевших от времени списках. Списки эти валялись в рассохшихся шкафах захолустных военных канцелярий. Пьяные писаря крутили из них цигарки, и в сизом чаду махорки исчезала порой самая память о сосланном. Если Петербург запрашивал о нем, то проходили месяцы, пока бумажные следы ссыльного отыскивались по канцеляриям.

Орск и Арал были только преддверием ссылки. Настоящая каторга началась на Мангышлаке.

Ротный Потапов — багроволицый, неряшливый, беспрерывно отрыгивающий сивухой,— придумал простой способ, чтобы отравить существование Шевченко. Он не кричал, не сажал поэта в «курятник» — на гауптвахту, а назойливо придирался к мелочам.

К Шевченко был приставлен дядька-солдат. Он следил, чтобы у Шевченко не было ни перьев, ни карандашей, ни чернил, ни бумаги. Каждый раз, когда Шевченко выходил из казармы, его обыскивали, заставляли снимать сапоги. Начальству было известно, что в Орске поэт прятал стихи за голенища сапог.

Мангышлак — глинистый, перегоревший от солнца полуостров, окруженный мелководным морем. На востоке, за солончаками, подымаются горы Каратау. Они похожи на сухой чело-

вечеcкий мозг — громадные купола из песчаника, изрытые трещинами.

На этом клочке земли было выстроено Новопетровское укрепление — самое скучное место во всей тогдашней Российской империи.

Изредка приходила из Гурьева парусная лодка с почтой, и еще реже — колесный пароход из Астрахани. Два-три раза за несколько лет заходил старый маленький крейсер, и морские офицеры — «невежды и брехуны», по словам Шевченко,— забавлялись тем, что рассказывали одичавшим жителям форта всяческие страхи: на днях, мол, приедет корпусный командир, отдаст под суд за пьянство офицеров и перепорет для порядка всех ссыльных солдат.

Солдаты в Новопетровском были другие, чем в Орске. В Орске было много старослуживых солдат, взятых в армию по рекрутчине на двадцать пять лет. Здесь же было много юношей, отправленных в армию по воле родителей за «дурной нрав» (эта мера широко применялась в помещичьем быту), и бывших офицеров, разжалованных в солдаты за уголовщину — «загибание» углов в картежной игре, воровство, продажу казенного имущества.

Жалованье офицерам и солдатам привозил пароход из Астрахани. Его ждали с нетерпением целыми месяцами только затем, чтобы, получив мешки с деньгами и раздав деньги по рукам, начать «гомерическое» пьянство.

Деньги целиком отсылались маркитанту или «спиртомеру» — целовальнику винной лавки Зигмонтовскому. Денщики притаскивали бутылки с водкой. В офицерские флигеля вызывали из казарм песенников, и начиналось пьянство. Длилось оно несколько дней и кончалось обыкновенно кровавой дракой.

Но в пьянстве соблюдался известный порядок. Солдатам жалованье выдавали не раньше, чем кончали пить офицеры. В этом сказывалась «мудрость» начальства. Солдаты пили во вторую очередь, когда офицеры уже успевали проспаться, и таким образом форт не оставался покинутым на произвол сплошной пьяной толпы.

Пили и зимой и летом — в удушающей жаре, в испарине, пили до белых чертей.

Ссыльные солдаты могли бы легко бежать из укрепления во время офицерских попоек, но бежать было некуда. Вокруг простиралась смертоносная пустыня, такая голая пустыня, что «не на чем было даже повеситься», как горько шутил Шевченко.

Население Новопетровского состояло из солдат, а это было «самое бедное, самое жалкое сословие в нашем отечестве», из офицеров — подонков армии, и немногих гражданских личностей — прощелыг и авантюристов.

Шевченко сдружился только с одним солдатом — служителем при лазарете, Андреем Обеременко. Они были земляки и,

сидя по вечерам на пороге лазарета, вспоминали Украину и пели вполголоса украинские песни.

В свободные от тяжелых работ и муштровки часы Шевченко заходил к целовальнику Зигмонтовскому. Это был лживый, невежественный старик, утомительно хваставшийся своей феерической жизнью. Жизнь эта сплошь состояла из «стечения удивительных обстоятельств». Зигмонтовский был и актером и якобы прогремел в роли Дмитрия Донского. Под видом морского лейтенанта он плавал с адмиралом Лазаревым к Южному полюсу, а будучи заседателем Одесского земского суда, примкнул к декабристам, за что и сидел будто бы в одиночном заключении в крепости Измаиле. Все, на что бы ни бросал даже мимолетный взгляд этот беспокойный старик, вызывало у него жажду вранья. Однажды, угощая Шевченко селедкой, он обильно поливал ее прованским маслом и при этом рассказывал, что во время плавания с адмиралом Лазаревым ему, Зигмонтовскому, удалось досконально узнать, откуда берется это самое прованское масло. Корабли Лазарева остановились около острова Прованс, лежащего между Италией и «городом Сингапуро». На этом острове росли громадные деревья. Стоило только надрезать на них кору, чтобы в бутылки хлынуло чистейшее прованское масло.

Но среди обитателей укрепления даже Зигмонтовский и его бесцветная старушка жена казались прекрасными людьми, и Шевченко часто заходил к ним почитать газету (Зигмонтовский получал «Петербургские ведомости») и послушать безобидное вранье старика.

Прошло три года. Ротного Потапова перевели в Уфу. Вместо него был назначен ротным служака и фронтовик капитан Косарев. Он показался после Потапова «ангелом доброты». Комендантом укрепления был назначен полковник Усков — человек мягкий, увлекавшийся впервые появившейся в то время фотографией. Наконец, начальником края вместо Обручева был назначен генерал Перовский — взбалмошный, жестокий, но предприимчивый и своеобразный человек, гордившийся знакомством с Пушкиным, Гоголем и Жуковским.

Под влиянием друзей Шевченко Перовский в предписании к Ускову намекнул на необходимость послаблений ссыльному поэту. Шевченко был освобожден от тяжелых работ, муштровки, выправки. Перовский, будучи в Петербурге, просил шефа жандармов Дубельта разрешить наконец Шевченко рисовать, но Дубельт отказал.

Тогда Шевченко решил заняться лепкой. Бродя по окрестностям укрепления, он нашел хорошую глину и начал лепить из нее фигуры киргизов. Усков сначала обеспокоился, но потом решил, что раз лепка не запрещена,— значит, позволена, и смотрел на эти занятия Шевченко снисходительно.

Жизнь скрашивалась письмами — снова начали писать друзья,— посещениями семьи Ускова и редкими наездами в ук-

репление людей из России. Ненадолго приезжал писатель Писемский. Он обрадовал поэта рассказами о необычайном успехе его стихов. Два раза приезжали с экспедицией, изучавшей рыбные богатства Каспийского моря, ученый Бэр и молодой ученый Данилевский. С ними Шевченко отводил душу, но каждый раз после отъезда этих людей его охватывала новая тоска.

Бэр посоветовал Тарасу написать о своей судьбе президент Академии художеств, известному скульптору и медальеру графу Федору Толстому. Шевченко написал, но без всякой надежды на помощь Толстого, только чтобы не обидеть Бэра.

Пустыня сторожила укрепление. В самой монотонности ее горизонта, в бесплодности земли, в мутном небе была заключена огромная тоска.

По вечерам Шевченко часто ходил вокруг стен укрепления. Сонные волны набегали на берега. Перекликались часовые. Звездное небо, такое же, как на родине, сверкало над головой, и от этого было еще горше, еще труднее на сердце.

Шевченко облысел, глаза его сузились и потеряли блеск, походка стала тяжелой и медленной. Жизнь как бы кончалась, но не кончалась каторга. Шевченко подолгу смотрел на запад, где за ночной мглой, за шумом тусклого моря лежали блещущие росой, цветистые от радуг степи и небеса Украины. Ему снились томительные сны, дрожащие песни кобзарей, деревни, пестрые как писанки, гром днепровских порогов. Но наступало пробуждение, и поэт с горечью признавался:

Сердце старое черствеет,
И очи не видят
Ни хатенки этой белой
Под синью небесной,
Ни долины приветливой
У темного леса...

В Новопетровском Шевченко не написал за семь лет ни одного стихотворения. Казалось, что воображение иссякло, пролилось, как вода на сухую землю. И все чаще ярость подымалась к горлу, и Шевченко проклинал страшным неистовым проклятием палача Николая, обрекшего поэта на медленную смерть в изгнании, на худшую казнь, какую мог придумать «коронованный фельдфебель».

В 1855 году до глухого форта дошла радостная весть — Николай умер. Скрытое ликование охватило всех, даже некоторых офицеров. Упала тяжесть, ломавшая кости всей стране.

Говорили, что Николай отравился, не выдержав исхода Крымской кампании, и огромный его труп, надушенный и обложенный цветами, был так страшен, что придворные дамы от одного вида мертвого императора падали в обморок.

Шевченко ждал освобождения, ждал амнистии от нового царя — Александра.

Александру Второму были поданы списки ссыльных, подлежащих освобождению. Он прочел их и тщательно вычеркнул

из списков имя Шевченко. Он вежливо улыбнулся и сказал: «Этот слишком сильно оскорбил мою бабку и моего отца, чтобы я мог его простить».

Последняя надежда на освобождение пропала. И солдаты, и Усков, и даже иные отпетые офицеры Новопетровского укрепления были поражены царской несправедливостью и старались утешить Шевченко.

Одинокий, лишенный родных и друзей, Шевченко увлекся женой коменданта Ускова. Он бывал у Усковых каждый день. Дети Ускова полюбили поэта и звали его Горичем, сокращая трудное отчество.

Жена Ускова была красивая, приветливая женщина. Она обласкала Шевченко, а он полюбил ее по-юношески, с трепетом и благоговением. Но это была любовь неразделенная и скрытая. О ней нельзя было говорить никому. О ней Шевченко не мог даже намекнуть самой Усковой.

Любовь ссыльного солдата к жене коменданта сулила им обоим только несчастье.

О первых днях этой любви Шевченко писал, что дыхание поэзии появилось в мертвой пустыне. Но каторга — это «безграничное вместилище безграничных мерзостей» — оказалась сильнее молодой женщины. На глазах у поэта Ускова менялась. Сначала она грустила и плакала, а через два года уже бойко играла в карты до утренней зари, ссорилась за ломберным столиком, сплетничала, вырывала страницы из Лермонтова и скручивала из них папильотки.

Шевченко перенес двойной удар — неразделенной любви и медленного морального падения любимой женщины. Но он уже привык к ударам и научился переносить их.

Во время припадков тоски он уходил в степь, где разбили свои кибитки киргизы. Кочевники с недоумением смотрели на пожилого солдата с желтым лицом и добрыми глазами, бродившего по пустыне. Шевченко любил киргизов за их чистосердечие, живость, за детское любопытство.

Опять, как на Арале, началась бессонница. Шевченко выходил с вечера к стенам укрепления и бродил всю ночь вокруг этих стен, пока не появлялась на чистом небе утренняя Венера. Он бродил и думал о том, что тюрьма убила его как художника и поэта.

Но на следующий день он записывал в своем дневнике: «Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, на берегу его горели в красноватом свете скалы, а на одной из скал блестели белые стены укрепления. Я невольно залюбовался своей семилетней тюрьмой». Такую запись, где были скупые и точные краски, мог сделать только настоящий художник. Нет, глаз был еще зорок, и сердце негодовало на людскую неправду — значит, каторга еще не совсем замучила поэта.

Шевченко не знал, что Федор Толстой обивал в это время в Петербурге пороги дворцовых приемных и требовал освобождения поэта. Толстой был человеком широкого сердца и душевной мягкости. Ему отказывали, но он упрямо возобновлял просьбы. Хлопотал он, хлопотала его жена, Настасья Ивановна Толстая. Они заинтересовали судьбой поэта всех петербургских литераторов. Они ездили к великим княгиням и министрам. Они доказывали, что дальнейшее заточение Шевченко — бессмысленная жестокость. Им помогали Сераковский, поэт Алексей Толстой, братья Жемчужниковы.

И вот, наконец, свершилось: второго мая 1857 года Шевченко получил письмо из Петербурга от Михаила Лазаревского Лазаревский поздравлял Шевченко со свободой.

Поэт, не дочитав письма, заплакал и долго не мог унять своих слез. Потом он прочел, что обязан своим освобождением Федору Толстому, но больше всего — его жене, Настасье Ивановне Толстой.

Шевченко написал письмо Толстой, похожее на крик благодарности, на молитву,— письмо, полное громадного волнения, почти экстаза.

«Сестра моя...— написал он и долго не мог продолжать: слезы капали на бумагу, не давали Шевченко дышать.— Сестра моя, богу милая, никогда мною не виденная! Чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обняла, восхитила мою бедную, тоскующую душу? Слезы! Слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное сердце».

Второе письмо он написал Федору Толстому и впервые подписал его не словом «рядовой», а словом «художник» Шевченко.

Шевченко ликовал, а приказ об освобождении медленно переползал из одной канцелярии в другую, писаря рылись в пыльных списках, пакеты дожидались оказии, и путь в три тысячи верст приказ шел почти три месяца. Поэт был обречен на ежедневное, изматывающее душу ожидание. Без приказа Усков не имел права освободить Шевченко. Он утешал поэта, а в ответ на гневные жалобы вздыхал и говорил одно только слово: «Форма!» Да, это была бесчеловечная «форма», но почему же, когда надо было сослать Шевченко, тот же длинный путь жандармы проделали всего за девять дней?

После письма Лазаревского Усков освободил Шевченко из казармы и разрешил ему жить в беседке, в комендантском саду. Сад был насажен с громадным трудом. Для него специально привозили на шхунах чернозем из Астрахани.

Шевченко любил этот сад, ухаживал за ним, и в беседке, в этом саду, дожидаясь приказа об освобождении, написал свои повести на русском языке и начал дневник. По своей искренности этот дневник является одним из исключительнейших явлений нашей литературы.

Начав писать, Шевченко успокоился. Ему казалось, что

каторга его еще не сломала, что он все такой же, каким был десять лет назад.

О том, какой скудной, какой нищенской была солдатская жизнь Шевченко, можно судить по той неудержимой радости, с какой он пишет в дневнике, что купил себе, незадолго до отъезда, медный чайник. Это было уже богатство. Он ставил чайник на стол в беседке, писал, потом наливал себе чай в кружку, любовался чайником и гордился им, как живым существом.

Чтобы скрасить ожидание, Шевченко решил прочитывать по одной странице в день биографию Гоголя. Но биография была прочитана, а бумаги из Оренбурга все не было. Тогда Шевченко начал читать так же медленно книгу Кулиша «Записки о Южной Руси». И эта книга была прочитана до конца и выучена почти наизусть, а приказа все не было.

Шевченко много думал о будущем. Он мечтал после возвращения из ссылки заняться гравюрой. Он считал, что живопись существует для народа, а единственный путь показать ему величайшие произведения живописи — это гравюра.

«Быть хорошим гравером,— писал он в своем дневнике,— значит, быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит, быть полезным людям. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера! Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца».

Дни проходили в ожидании. Шли теплые, тихие дожди. Шевченко не спал по ночам, лежа в своей беседке. Он все думал о будущем и слушал, как застенчиво шуршит дождь — редкий гость пустыни — по скудной зелени, по крыше беседки. Потом Шевченко вставал, зажигал свечу, кипятил воду в чайнике и писал до утра свой дневник.

Наконец приказ об освобождении пришел. По правилам, Шевченко должен был выехать сначала в Оренбург, а уже оттуда, оформив свою «отставку из армии», возвращаться в Россию. Но комендант Усков на свой страх и риск выдал поэту пропуск от Новопетровского укрепления до Петербурга без заезда в Оренбург.

Второго августа 1857 года, после десятилетней ссылки, Шевченко сел в парусную рыбачью лодку. Она отплывала в Астрахань. Шевченко был так взволнован, так торопился, что плохо помнил, как уехал, с кем прощался, кто провожал его на пристань.

Когда лодка отошла, он оглянулся на мрачные берега, где темнели батареи, где чей-то женский платок еще белел, еще трепетал в воздухе. Шевченко снял шапку. Любовь ушла, забылась. Каспийское море гудело, накатывало на берега тяжелую воду. Над пустыней подымалась тихая мгла, как дым по-

жара. Ветер заливал брызгами лицо. Это была свобода. Ветер теребил рваную солдатскую шинель, как будто хотел сбросить с поседевшего Тараса последнюю память о ссылке.

Тарас задумался. Значит, не сбылись его слова, а он их когда-то считал пророческими:

В неволе вырос меж чужими
И, не оплаканный своими,
В неволе, плачущий, умру.

В пропыленной Астрахани Шевченко прожил несколько дней, дожидаясь парохода на Нижний Новгород. Здесь он встретил земляков — киевлян. Они были потрясены видом поэта. Изможденный, в изорванном солдатском мундире, он был больше похож на беглого, чем на освобожденного из ссылки.

Новые друзья одели Шевченко и устроили в его честь шумную вечеринку.

Только в Астрахани Шевченко понял, как измучила его ссыльная казарма: простое человеческое отношение к себе он воспринимал как счастье,— он отвык от него на протяжении последних десяти лет.

Астрахань казалась Шевченко «огромной кучей мусора, которую венчают зубчатые белые стены кремля и стройный великолепный собор XVII века». Шевченко был рад этому впечатлению от Астрахани. После семилетнего прозябания в пустыне он думал, что Астрахань должна была произвести на него громадное впечатление. Значит, он еще не потерял взыскательности художника. «Стало быть,— пишет Шевченко,— я еще не совсем одичал».

Он был тронут до слез, когда в грязном астраханском трактире завели «машину» и она хрипло заиграла увертюру из «Роберта-Дьявола». Семь лет Шевченко слышал только треск барабанов и раздирающие сердце звуки военного горна.

Собор так заинтересовал Шевченко, что он хотел зарисовать его, но не хватило времени. Он всех расспрашивал об этом соборе, о его строителе, но узнал только, что строил его «простой мужичок». Это было правдой. Это прекрасное и величественное здание, видное за тридцать километров, было построено крепостным Дорофеем Мякишевым в начале восемнадцатого века. За постройку этого здания — оно могло соперничать с лучшими зданиями знаменитейших зодчих — Мякишев получил всего сто рублей серебром. Постройка длилась двенадцать лет.

В ссылке Шевченко ничего не читал. В Астрахани он тотчас пошел в библиотеку. Старик библиотекарь с гренадерскими усами, одетый в сюртук с красным солдатским воротом, очень дивился любопытству приезжего и рассказал Шевченко, что он был всего пятнадцатым посетителем за весь последний год.

Шевченко увидел на полках книжки «Русского вестника» и тут же, стоя около полок, начал читать их,— там были напечатаны незнакомые ему вещи Гоголя, Аксакова и Соловьева.

В Астрахани жил рыбопромышленник Сапожников, учившийся живописи у Шевченко в Петербурге в 1842 году. Он узнал о приезде поэта и предложил ему место на пароходе «Князь Пожарский», нанятом Сапожниковым для переезда со своей семьей в Нижний Новгород. Поэт с радостью согласился.

Плавание по Волге было для Шевченко праздником. Пароход шел от Астрахани до Нижнего целый месяц. Шевченко все время бегал по палубе, смотрел на берега, перезнакомился со всем населением парохода, сдружился с капитаном Кишкиным.

У Кишкина была «секретная тетрадь» с запрещенными стихами Рылеева, Беранже и Барбье. По вечерам собирались в каюте, и Кишкин читал эти стихи вслух. Особенно понравились Шевченко гневные стихи Барбье:

Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке,
С зажженным фитилем, приложенным к орудью,
В дымящейся руке.

Иногда в каюту к Шевченко приходил бывший крепостной, пароходный буфетчик Панов и играл для поэта на скрипке лучшие вещи Шопена. Панов был необыкновенный скрипач, «крепостной Паганини». Игра его радовала и печалила Шевченко. Поэт радовался неиссякаемой талантливости народа и печалился о его судьбе,— Паганини должен был с салфеткой под мышкой с утра до ночи подавать всяческие расстегаи, солянки и водку пассажирам и владельцам парохода.

На пароходе Шевченко впервые прочел «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина. Они вызвали у него восторженное восклицание: «О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих!»

Книга Салтыкова-Щедрина была для Шевченко первым громким голосом революционной демократии, нарождавшейся в России. Шевченко был взволнован,— теперь он не чувствовал одиночества. Появилось новое могучее течение общественной мысли — течение искреннее, смелое, подавшее голос «за бедную грязную чернь». Новые люди были сродни Шевченко,— он уже знал это по тем отдельным словам, рассказам, намекам, которые доходили до него во время волжского плавания.

Шевченко все реже вспоминал Костомарова, Кулиша, либеральных дворянских юношей из Кирилло-Мефодиевского братства. Голоса Герцена, Чернышевского заглушали наивную болтовню «братчиков», постепенно превращавшихся в реакционеров, в преданных царских чиновников, в казенных профессоров.

Стояла осень. Кончался сентябрь. Дубовые леса по берегам Волги уже заржавели от первых утренних морозов, но на полях и в сырой траве еще попадались последние лесные цветы. Каждый раз, когда пароход останавливался у глухих пристаней,

Шевченко уходил в леса и возвращался румяный, мокрый от росы, с громадным букетом цветов, которые тут же раздавал пассажирам.

Казалось, ничто не предвещало нового испытания. Но в Нижнем Новгороде Шевченко узнал еще об одной подлости правительства. Нижегородский губернатор был извещен, что как только в городе появится Тарас Шевченко, то его, упомянутого бывшего рядового Шевченко, надлежит препроводить на жительство в Оренбург.

Кроме того, в предписании губернатору было сказано, что Шевченко запрещен въезд в обе столицы — Петербург и Москву.

В Нижнем Новгороде Шевченко сказался больным. Местные власти сочли его заявление вполне достаточным и разрешили ему оставаться в городе до выздоровления.

Мягкость местных властей объяснялась тем, что нижегородским губернатором был причастный к декабристам, отсидевший ссылку в Верхнеудинске, полковник Александр Муравьев.

Нужно было выиграть время, чтобы Федор Толстой и петербургские друзья могли успеть выхлопотать поэту разрешение жить в Петербурге. Шевченко стремился в Петербург, к друзьям-разночинцам, туда, где билась новая революционная мысль, наконец — в Академию художеств, чтобы изучить граверное мастерство.

Всю зиму поэт прожил в Нижнем Новгороде. Местное общество встретило его ласково. Он перезнакомился со множеством «любопытных личностей». Нижний Новгород был не только городом купцов, разбогатевших около Волги, но и городом многих чудаков и многих просвещенных людей.

Шевченко часто бывал у Якоби — любезного и едкого либерала, аристократа, презиравшего «фельдфебелей на троне» — Николая и Александра. Якоби снабжал Шевченко первыми брошюрами Герцена, вышедшими за границей. Когда Якоби показал Шевченко номер герценовского «Колокола», поэт поцеловал страницы газеты. Герцен был для Шевченко «апостолом» свободы.

Шевченко дружил с известным собирателем народных песен — тихим, застенчивым библиотекарем Варенцовым.

Он слушал игру на рояле местного виртуоза Татаринова, великолепно исполнявшего Мейербера.

В Нижнем Новгороде был очень хороший театр, и Шевченко был постоянным его посетителем. В театре он познакомился с чудаком Улыбышевым, дряхлым старцем, знатоком музыки, написавшим биографии Бетховена и Моцарта.

И Шевченко и Улыбышев приходили в театр не столько посмотреть пьесы, сколько послушать музыку,— в старые времена в театре перед спектаклем и в антрактах играли оркестры. Шла какая-нибудь кровавая драма или балаганный водевиль

«Коломенский нахлебник» («дрянь с подробностями», по выражению Шевченко), а в антракте зрители слушали прекрасную увертюру из моцартовского «Дон-Жуана». Прекрасную, конечно, лишь в том случае, если оркестранты не были мертвецки пьяны и если от духоты не гасли к третьему действию все лампы и спектакль на этом не прекращался.

В Нижнем Новгороде в то время жил Даль. Тарас его побаивался за холодный характер и за увлечение теософией.

Шевченко предпочитал людей простых, общительных, разговорчивых,— он сам очень любил поговорить. Говорить он мог с одинаковой охотой обо всем — о Брюллове и ценах на муку, об отвратительных дорогах в России и мерзости военного сословия, о нижегородском кремле и «неудобозабываемом унтере» Николае Первом, о том, как делать настоящую вишневку, о картинах Цампиери.

В доме Якоби Шевченко впервые встретился с декабристом. Это был Анненков. Шевченко отнесся к нему с величайшей почтительностью. Анненков был седой, величественный старик — настоящий «благовеститель свободы».

Преклонение Шевченко перед декабристами было безграничным. Он разыскал в Новгороде дочь декабриста Пущина, учившуюся в тамошнем институте, нарисовал ее портрет и всячески ее баловал.

Декабристам он посвятил взволнованные строки:

А ты, всевидящее око!
Знать, проглядел твой взор высокий,
Как сотнями в оковах гнали
В Сибирь невольников святых?
Как истязали, распинали
И вешали?! А ты не знало?
Ты видело мученья их
И не ослепло?! Око, око!
Не очень видишь ты глубоко.
Ты спишь в киоте, а цари...
Да чур проклятым тем неронам!

Пусть тешатся кандальным звоном,—
Я думой полечу в Сибирь,
Я за Байкалом гляну в горы,
В вертепы темные и норы
Без дна, глубокие, и вас,
Поборников священной воли,
Из тьмы, и смрада, и неволи
Царям и людям напоказ
Вперед вас выведу, суровых,
Рядами длинными, в оковах...

В Нижнем Новгороде Шевченко много работал. Он написал поэму «Неофиты» и несколько стихотворений — свои знаменитые «Долю», «Музу», «Славу», и привел в порядок все стихи, написанные в ссылке, всю свою «невольницкую» поэзию. Работал он над прозой — над «Матросом» и другими повестями.

Несмотря на снежную и очень морозную зиму, Шевченко много рисовал на воздухе. Он срисовывал новгородские церкви и башни кремля. Тяготение к старой суровой архитектуре было по-прежнему его «слабостью».

Шла деятельная переписка с друзьями. Один из этих друзей — знаменитый актер Щепкин — приехал на несколько дней в Нижний из Москвы, чтобы повидаться с Шевченко. Для Шевченко это было «торжество из торжеств». Сдружила Шевченко со Щепкиным общая судьба — оба были украинцами и бывшими крепостными.

В марте 1858 года пришло из Петербурга известие о том, что Шевченко разрешено жить в столице.

Восьмого марта Шевченко выехал в Москву.

В Москве он несколько дней прожил у Щепкина, виделся с Аксаковым, с декабристом Волконским, с Варварой Репниной. Она не узнала его так осунулся и постарел Шевченко. По ее словам, он был «совсем потухший». Встреча не дала радости и поэту.

Из Москвы Шевченко выехал по железной дороге в Петербург

Петербургские друзья встретили Шевченко восторженно. Федор Толстой и Лазаревский приехали на вокзал встречать поэта. Шевченко остановился у Лазаревского.

На следующий день Федор Толстой привез его к себе. Когда взволнованный Шевченко вошел в комнату, графиня Настасья Ивановна бросилась к нему. Шевченко протянул к ней руки, воскликнул: «Серденько мое!» — обнял ее и заплакал.

Шевченко хотел очень много сказать этой женщине, спасшей его от неволи. Он думал об этой встрече, ждал ее с нетерпением, но сказать ничего не смог — спазмы душили его.

Петербург очень радостно встретил поэта. В нем видели мученика, его приветствовали как страшную жертву николаевского царствования.

Каждый день его приглашали в дома тогдашних просвещенных людей. Он познакомился со Львом Толстым, Меем, Даргомыжским, Полонским, Щербиной, Достоевским, Курочкиным. На вечере, где Шевченко выступал вместе с Достоевским, Майковым и Писемским, публика устроила ему восторженную овацию Шевченко от волнения сделалось дурно.

С утра до вечера комната Шевченко была полна друзьями. Они тащили его в театр, в цирк, в Эрмитаж, на художественные выставки, на званые обеды, на дружеские пирушки. Эта бурная радость оглушала и утомляла Шевченко. Иногда он прятался от друзей и одиноко бродил по Петербургу, возвращался на старые места, вспоминал молодость.

Ссылка кончилась. Петербург был перед ним. Свобода казалась неограниченной. Но к желанной цели Шевченко пришел физически усталым. На Волге, в Нижнем, в Москве он еще крепился. Только в Петербурге он понял, что сделали с ним ссылка и казарма. Доктора признали его организм «преждевременно и навеки искалеченным и обессиленным».

Физическая разбитость особенно удручала Шевченко потому, что в Петербурге он встретился и сошелся с великим представителем революционной русской демократии — Чернышевским. Шевченко вошел в круг передовых людей, группировавшихся около журнала «Современник» Всем существом, всеми помыслами Шевченко был с этими людьми. Это было естественно, — ведь, по словам Добролюбова, «весь круг дум и сочувствий Шевченко



находился в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни».

Впервые Шевченко встретился с Чернышевским на «вторниках» у Костомарова. Чернышевский поразил Шевченко ясным сознанием цели, умом, волей. Костомаров опасался влияния Чернышевского на Шевченко. Костомарову был враждебен «мужицкий демократизм» Чернышевского. Костомаров хотел сохранить Шевченко для себя — для украинских либеральных националистов. Но Тарас резко и определенно стал на сторону «мужицких демократов» — его подлинных братьев по духу.

Охлаждение между Шевченко и Костомаровым было неизбежным. Костомаров был далеко не прежним либералом. Многим стало известно, что во время ссылки в Саратове он ведал секретным столом при губернаторе и участвовал в обвинении саратовских евреев в ритуальном убийстве. А Шевченко в это время выступил вместе с Чернышевским с резким протестом против антисемитских статей одного петербургского журнала.

Шевченко начал изучать гравюру. Лучшие граверы, Иордан и Уткин, показали ему приемы этого сложного, тонкого мастерства. Шевченко с необыкновенным, почти подвижническим упорством погрузился в работу. Лучшие гравюры Шевченко сделал с картин Рембрандта. В 1860 году он получил звание академика гравюры и офорта.

В свободные минуты он писал стихи. В этих последних его стихах много горечи, много неистовой ненависти к общественному строю России, к ее «псарям-императорам», много насмешек над богом с его «свинцовыми ушами», предчувствия близкого конца:

Что ж, не пора ли понемногу
С тобою, спутницей убогой,
Нам вирши слабые бросать
И помаленьку собирать
Телеги в дальнюю дорогу?

Шевченко жил в маленькой квартире при Академии. Старый солдат-дядька приносил ему еду, чистил платье, изредка пытался прибрать в комнате, но Шевченко каждый раз его выгонял. Он не позволял никому прикасаться к своим гравировальным доскам, к резцам, рукописям, к бутылям с кислотами для протравления гравюр. На столе всегда лежало монисто, цветные украинские бусы, а над постелью на стене висели пучки сухих украинских трав — барвинка, руты, полыни.

Но жизнь порадовала Шевченко еще одной редкой и верной дружбой. В то время в Петербурге играл на сцене великий негритянский трагик Айра Олдридж. Он первый показал русским подлинного Шекспира. Это был актер гениальный. Он разрушал традиции ложноклассического театра. Он даже играл спиной к публике, что тогда считалось совершенно невозможным для актера. Каждый его жест потрясал, каждая фраза была ясна, несмотря на то что Олдридж играл на английском языке.

Шевченко впервые увидел Олдриджа в «Отелло». Поэт ушел со спектакля в глубоком смятении.

Через несколько дней Шевченко познакомился с Олдриджем у Толстых. Беседа шла при помощи переводчиков — детей Толстого. Олдридж рассказал Шевченко свою жизнь. Он был негром из Судана. Миссионер привез его из Африки в Лондон, где он, сын племени рабов, стал величайшим трагическим актером. Много общего было в судьбах Шевченко и Олдриджа, и это общее сдружило их.

Они много времени проводили вместе. Один раз Олдридж посетил Шевченко. В этот день Шевченко впервые разрешил старому солдату прибрать комнату, и тот выкинул во двор сухую траву и рассыпанное монисто. Шевченко промолчал.

Шевченко написал портрет Олдриджа. Олдридж пел для Шевченко негритянские песни.

Когда Олдридж уезжал, его провожал весь театральный Петербург. С пути Олдридж прислал письмо русским актерам. «Вы изъявили в моем лице,— писал Олдридж,— сочувствие всему моему угнетенному племени».

Приближалась старость. Появилось желание уехать на родину, на Украину, поселиться в чистой маленькой хате, в покое, читать, писать стихи и гравировать прекрасные произведения живописи.

Шевченко рвался на Украину, хотел переиздать «Кобзаря», но ни того, ни другого власти ему не разрешали.

С большим трудом было все же добыто разрешение поехать на родину. Летом 1859 года Шевченко приехал в родное село Кирилловку, где жили его брат и сестра.

Сестра не сразу его узнала,— не узнала своего Тараса в измученном, старом, тяжело дышащем человеке. Жить в Кирилловке было тяжко: Шевченко был единственный «вольный» среди всей своей крепостной семьи.

...в благодатном том селе
Земли чернее, по земле
Блуждают люди; оголились
Сады зеленые; в пыли
Погнили хаты, покосились;
Пруды травою заросли.
Село как будто погорело,
Как будто люди одурели,—
Без слов на барщину идут
И за собой детей ведут!..

Тарас уехал в местечко Корсунь, к родственнику Варфоломею Шевченко, и вместе с ним начал поиски клочка земли.

Землю нашли под Каневом, на высоком крутояре над Днепром, где Шевченко был потом похоронен.

Во время переговоров о покупке земли,— как водится, неторопливых и хитрых переговоров за бутылкой наливки,— присутствовал какой-то захудалый шляхтич Козловский. Шевченко уже дошел до той степени раздражения против помещиков и

шляхтичей, что не мог спокойно разговаривать с людьми этого сословия. Он сказал Козловскому несколько колкостей, потом разговор зашел о «божественных вещах», и Шевченко весьма вольно высказался о христианских святых.

Козловский донес. Через шесть дней Шевченко был арестован, просидел в тюрьме в Черкассах и в Киеве, был допрошен и выпущен.

Он прожил около месяца в Киеве и возвратился в Петербург. Он увез с собой новую обиду и память о запуганной, опутанной доносчиками стране.

В Петербург Шевченко приехал уже больным

Здесь он хлопотал об освобождении от крепостной зависимости своих родных. Хлопоты эти были связаны с утомительным хождением по канцеляриям, переговорами со взяточниками С Шевченко все чаще случались припадки неистового гнева. Он легко раздражался, плакал, подолгу никого к себе не пускал. Усталость усиливалась. Врачи исследовали Шевченко и нашли у него водянку. Ему запретили выходить из дому

Он засел за гравюру, торопился работать, как будто сам назначил себе сроки приближавшейся смерти.

Девятнадцатого февраля 1860 года к Шевченко зашел его знакомый — Черненко. В этот день ждали опубликования манифеста об освобождении крестьян.

— Ну, что, что? Есть воля? Есть манифест? — судорожно спросил Шевченко.

Еще нет,— ответил Черненко.

Шевченко тяжело выругался, закрыл лицо руками, упал на кровать и заплакал.

Болезнь усиливалась. Шевченко очень страдал. Друзья навещали его, но он стеснялся этих посещений. Большую часть дня он сидел один в своей неуютной холостяцкой комнате

Старый солдат не понимал, что Шевченко болен, и все ходил вокруг, ворчал на беспорядок, на то, что лампа горит по ночам и со стен, с пучков сухих украинских трав, сыплется мусор

Двадцать пятого февраля был день рождения Шевченко Квартиру поэта посетило много знакомых. Когда все ушли и остался один Лазаревский, Шевченко сказал:

Да, если бы на родину, на Украину,— там бы я, может быть, выздоровел

Ночь прошла без сна Мокрый снег шел над Петербургом В этом снегу, среди холода невских льдов, среди каменных уснувших громад, в душной комнате, пропитанной запахом кислот и лекарств, в комнате, как бы отрезанной от мира ночным мраком, сидел и задыхался одинокий, стекший от водянки, плачущий старик с загубленной жизнью. Старик, которому едва минуло сорок шесть лет.

Двадцать шестого февраля утром Шевченко позвал старого солдата, приказал прибрать комнату и пошел в свою мастерскую. В дверях он остановился, вскрикнул и тяжело упал на порог

А через несколько часов он уже лежал в комнате на столе покрытый простыней, спокойный и величавый. Тонкие свечи трещали в изголовье и озаряли измученное лицо ссыльного солдата и великого народного певца.

Черное солнце поднялось в тот день над милой его Украиной.

1938

МЕЩОРСКАЯ СТОРОНА

ОБЫКНОВЕННАЯ ЗЕМЛЯ

В Мещорском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещорском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь и ветер налетал косыми ударами.

В Мещорском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещорском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.

Что можно услышать в Мещорском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда

каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере — с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещорского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда с Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещорские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась от татарских набегов древняя Русь.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Впервые я попал в Мещорский край с севера, из Владимира.

За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг задыхавшегося «мерина». Запах дикой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.

Пассажиры с вещами сидели на площадках — вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Мещорских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:

— Чуть что, сейчас берут меня за бороду — езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советско правительство собирает карточки, прейскуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.

— Чего брешешь?

— Ты гляди — вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.

— Манька, прочти,— сказала баба девчонке, тершейся носом об окно.

Манька обтянула платье на исцарапанных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

— «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели,— надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов»

— Вот,— сказал дед горестно,— за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва — страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

— Вот оно существование наше,— повторил дед.— Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!

— Чего в летошний год нашли? — спросила баба.

— Торчак!

— Чегой-то?

— Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. Вконец измучился народ.

— На кой он сдался? — спросила баба.

— Ребят по ём будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее

«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с Мещорой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

СТАРИННАЯ КАРТА

С большим трудом я достал карту Мещорского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года». Карту эту мне пришлось исправлять самому. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.

Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

— Ты, милый человек,— кричит местный житель,— других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная — через мшары до самого озера.

— А сколько километров?

— А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немереные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда меня не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРИМЕТАХ

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом — каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную

тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды.

Глядя на дым, можно определенно сказать, будет ли завтра дождь, ветер или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

Это всё очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАРТЕ

Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещорского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается

знание карты — уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки.

На карте Мещорского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и болотистая низина, к югу — давно обжитые, населенные рязанские земли. Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещорские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещорского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озер одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном — семнадцать метров.

МШАРЫ

К востоку от Боровых озер лежат громадные мещорские болота — «мшары» или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера — «материк» — с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником,— бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались — около него были какие-то «зеленущие трясины».

— Как ступишь ногой,— рассказывали бабы,— так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти — сказать невозможно. А самое озеро

без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет враз сомлеет.

— Отчего сомлеет?

— От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещорском крае колками.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели — меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками.

— Это его тропа на водопой,— сказал Гайдар.

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень

трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.

Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились — Гайдар не мог не найти дорогу обратно.

Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым, медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них трудно спастись — огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи, и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» — огонь почему-то обходил иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары — туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер — быстро темнело,— и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого голоса, и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико — откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в

последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ними и наш товарищ тот, что ушел с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать — подражать автомобилю

До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.

— Почему? — спросили мы его.

— Очень страшное озеро,— ответил он. Ну его к черту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а прошли мшарами в сторону «материка» — лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сегден, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещорские болота — мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были плавучие — не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал плавучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые

водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте и не хотела уходить.

Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все.

— Вовсе отчаянные мужчины,— говорили они нараспев.— Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

ЛЕСНЫЕ РЕКИ И КАНАЛЫ

Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зеленой тусклой краской), о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Солотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут «суровой». На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течет из озер северной Мещоры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек, в Мещорском крае много каналов.

Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить мещорские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещору была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться - она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещоре множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы.

Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль — споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы Есть крысы, совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещоры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещоры это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещоры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

ЛЕСА

Мещора — остаток лесного океана. Мещорские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещорском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому ковру,— на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны.

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как

волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолетов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца.

Леса в Мещоре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев, торжественный свет и, наконец, лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия стен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет наконец озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду, ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом — боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как подымается огромное белое солнце — солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой — этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок — ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба все время шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно; волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная.

В Мещоре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин. Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на

воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли — от их отражения в воде.

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене — желтоватая, в Великом озере — оловянного цвета, а в озерах за Прой чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.

Но большинство озер все же черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озер чем старее торф, тем темнее вода.

Я упомянул о мещорских челнах. Они похожи на полинезийские пироги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким притокам.

ЛУГА

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга.

В сумерки луга похожи на море. Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же как в море, над лугами дуют свежие ветры, и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, старыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плес на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег,— травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром — это голубой туман, днем - белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, ро-

зовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками подлистниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже самый опытный глаз старика колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель. то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь — луна подымается в настороженной тишине. Она появляется, как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив... И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное,— все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго,

мерно — двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно; кажется, ей не будет конца Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо — узнать, не взошел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета

С каждым часом ночь холодеет К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают и трава седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает Прибрежные пески делаются темными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки — на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду и в глубине возникает живой серебряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом — щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведенным на Прорве целиком относятся слова Аксакова:

«На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе»

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче, около Прорвы, было взволновано. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной — искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался:

— Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы — завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю — клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Итак, старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блесен, ходил весь в крови и волдырях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

— Виноват! — сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошел к озерку, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шел и, спотыкаясь о травы, повторял:

Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах «жундели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

— Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

— Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд, в ней было не меньше пуда.

— Тащите ее подальше от воды! — крикнул я.

Но старик зашипел на меня и дрожащими руками вынул из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

— Здорово похожа на крокодила! — сказал Ленька.

Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

— Голубушка! — воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.

— Увы! — крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне приплясывал Ленька и кричал нахальным голосом

— Ага! Получили! Не ловите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

ЕЩЕ О ЛУГАХ

В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и, наконец, Лангобардское.

На дне Хотца лежат черные мореные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелесперы. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюет полчаса К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника.

На Старице по берегам – песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток.

Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безымянное озеро Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа - «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника.

СТАРИКИ

В лугах в землянках и шалашах живут болтливые старики Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики или корзинщики Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установ-

ленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после него — несколько неопределенных слов о погоде («заладили дожжи» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь»). И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке, французской пище («из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях».

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

— Возится этот дождь, как дитё,— сказал Степан.— Чисто ребенок — то тут шелохнет, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом.

— Вот, приблудилась дурочка из Заборья! — сказал ласково дед.— Телку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана жёлтый огурец и дал девочке

— Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку.

— Вот, милые вы мои,— сказал дед, закуривая,— бродите вы, как нанятые, по лугам, по озерам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга, и озера, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай на сто верст, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой

— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.

— А пес их знает за что! Бабы-дуры говорили — за святость. Грехи они наши замаливали перед матерью божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас почитай никаких и не было. Эх, темнота, темнота!

Дед вздохнул.

— Ходил и я по церквам, был грех, — пробормотал смущенно дед. — Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба.

— Житьишко наше было плохое,— сказал он, сокрушаясь.— Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда — мужик, по крайности, к водке прибьется, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчет червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

— Ужасти! — тихо вздохнула девочка.

— А ты не пужайся,— сказал дед.— У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ране народ думал — живет оно, счастье, на теплых водах, в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке,— дед постучал корявым пальцем по лбу.— Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночасье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось. Что ни день — у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает!

— Откуль? — спросила девочка.

— Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, говорят — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу: схватило меня за сердце, а чего - не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде все как будто рано и рано — никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.

— Жить бы нам и жить, Егорыч,— сказал он из шалаша.— Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящими глазами и думала о чем-то о своем.

РОДИНА ТАЛАНТОВ

На краю Мещорских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фонарей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой

девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали вековушей — весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей.

В ее чисто умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал — в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

— Чей это дом? — спросил я вековушу.

— Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравер Пожалостин — один из лучших русских граверов, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов или нет.

Пожалостин — бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал? Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы были когда-то знаменитыми богомазами.

Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку — на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко: дочь его читала до рассвета. Изредка она, вероятно, поднимала очки на лоб и прислушивалась — стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у них старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры — портреты людей прошлого века. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался взглядом с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и мне почему-то становилось неловко.

Солотчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в поневе — принесла продавать сметану.

Ежели тебе еще сметана потребуется,— сказала она ласково,— так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

- Есенин Сергей не твой родственник?

— Поет? — спросила бабка.

— Да, поэт.

— Племянничек мой, - вздохнула бабка и вытерла рот концом платка.— Был он поет хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно — лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес — никак не хочет умирать.

Как его ни корми, все равно тощает,— говорит Кузьма.— Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын — еще совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Както летом Миша привез домой старую скрипку без струн — купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке,- осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву — показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел.

— Если окажется ценной, — сказал он мне,— подарю комунибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня,— учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время

отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася еще учится в школе. На озере школы нет — там всего четыре избы,— и Васе приходится бегать в школу через лес за семь километров.

Вася — знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник Он взял Васю к себе в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают Мещору. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте,— писал Вася.— Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей — охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой — смотришь — и сидит заяц! Остаюсь *Вася Зотов*».

МОЙ ДОМ

Маленький дом, где я живу в Мещоре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, черные, серые

и белые с подпалинами — берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой — он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они подымаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную, лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою

песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

БЕСКОРЫСТИЕ

Можно еще много написать о Мещорском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещорский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд - это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было,— этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

1939

РАЗЛИВЫ РЕК

Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную.

Весна выдалась непохожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемуха. И реки запоздали и долго не могли войти в берега.

Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке.

Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать сломя голову? Под чеченскую пулю?

Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему заманчивым исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас.

Все чаще вспоминались слова: «И может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешения матери. И тогда раскроется сердце, и он поймет наконец, какое оно, это человеческое счастье.

Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в «Номерах для проезжающих» можно было рассмотреть совсем рядом — рукой подать — поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними.

Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок.

— Когда пройдет это кружение сердца? — спросил себя Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на стул.— Круженье сердца! Кипенье дум! Высокие слова! Но иначе как будто и не скажешь.

Вошел слуга.

— Тут какие-то офицеры картежные стоят,— доложил он Лермонтову.— В этих номерах. Хрипуны, охальники — не дай бог! Про вас спрашивали.

— Будет врать! Откуда они меня знают?

— Ваша личность видная. Играть с ними будете? Ай нет?

— Отстань!

— А то я вам мундир почищу. В таком мундире к столу сесть совестно. Одна пыль!

— Не трогай мундир! — приказал Лермонтов и добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством: — Станешь ты меня слушать или нет?

— Как придется,— уклончиво ответил слуга.— Я перед вашей бабкой Евангелие целовал за вами смотреть.

— Знаешь что,— спокойно сказал Лермонтов,— ступай ты подальше! Надоел.

Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову.

В дощатом домишке рядом с «номерами» сидел у окна худой паренек и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив,— должно быть, совсем ошалел от скуки: «Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!»

Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену Там было старательно выведено синим карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе Российской».

Российская держава, Россия! Нескладная родная страна!

Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело.

— Кем он тебе приходится, этот солдат? — спросил Лермонтов девочку.

— Да никем. Я сирота. А ему пушечным огнем глаза выжгло.

— В бою под Тарутином! — хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял.

«Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!» — повизгивала гармоника.

Лермонтов дал солдату полтинник.

Слуга лежал на подоконнике в «номерах» и смотрел на улицу.

— Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич,— сказал он укоризненно из окна.

Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы!

Да, Россия... В Москве, на вечере у Погодина, Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. В этот день было народное гулянье. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.

Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова — чуть сутуловатого офицера — и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косьбе — тогда, пожалуй, вы сможете — и то в малой мере — судить о доле народа».

Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.

Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.

Одно было ясно Лермонтову: Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича. Но мало ли кому удаются хорошие

стихи! Писательство — это богослужение, тяжкая схима. А офицер этот никак не похож на схимника».

В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри».

— Еще что-нибудь,— приказал Гоголь.

Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла.

Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:

— Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!

Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель.

В аллее Гоголь остановился и повторил:

Как ночи Украйны
В мерцании звезд незакатных
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных.

Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:

— «Ночи Украйны в мерцании звезд незакатных...» Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас: берегите свою юность.

Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе.

За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади; топоча сапогами, скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голосом: «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру», и гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу.

Лермонтов встал с койки и подошел к окну.

Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова – высокая, тонкая, с бронзовым блеском в волосах

Лермонтов отшатнулся от окна Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге.

Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом Наталья Иванова променяла его на проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача.

Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего

не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил: городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами.

Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви сосредоточилась в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо.

Он был благодарен за это Щербатовой. Не важно, знала она об этом или нет. Достаточно того, что она жила и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах.

Он позвал слугу и велел получше почистить мундир.

Мария Щербатова была здесь! Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И наконец он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски:

— Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай! Тогда передай ему вот это.

«Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга.

В записке было два слова:

«Приходите скорей!»

Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова.

Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова.

В них было все смятение ее любви, утаенной печали.

С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас — сбылось!

Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, и она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был не прав, когда упрекал ее в этом.

Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый сон, жила надежда: может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утешительное слово — «наугад».

И вот — сбылось! Лермонтов здесь. И она должна решиться и сказать ему наконец, как он ей дорог. И потом плакать от нежности, от безнадежности добиться хотя бы недолгого счастья.

Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар!», каждую щепку на горбатой мостовой

— Я думаю совсем не о том, не о том! — шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом.— Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится. Никогда! Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих «номерах»! Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть, там кладбище.

Но встреча, как это всегда бывает, получилась совсем не такой, как ожидала Щербатова.

Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь, по лестнице и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу.

Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах и тотчас исчезла.

И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил:

— Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале.

Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора.

Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы...

Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для самых простых впечатлений.

Он говорил с ней, как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск.

Он рассказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Они весь день не выходили у него из головы.

— Михаил Юрьевич! — Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова.— Я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские

песни «Закувала та сыва зозуля раным-рано на зори» Вы понимаете? «Закуковала серая кукушка на ранней заре».

Я понимаю,– ответил Лермонтов и начал чертить ножнами шашки по песку

– Михаил Юрьевич! – сказала с отчаянием Щербатова. - Опять у вас тоска! Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было.

– Все кончится,— спокойно ответил Лермонтов.— Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь.

– Да, не решусь,– призналась Щербатова и опустила голову.

Вы не виноваты,- сказал, успокаивая ее, Лермонтов.— Мне грустно оттого, что я вас люблю, и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров. И среди них один. Я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня, как тень. Некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа.

– Ну, вот. – Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая помочь ему подняться с низкой садовой скамейки.— Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама

Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в глаза — поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо.

И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а только разрывающая сердце нежность.

Слепой солдат зашел в ренсковый погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребке, а отнес на «квартиру» — солдат ночевал на окраине городка, в Слободке, в дальней кривой избе.

Хозяин избы, непутевый шорник, вдовец, увидев штоф с вином, засуетился, постлал на стол дырявое, но чистое рядно, насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной, заржавевшей солью.

В избе было по-весеннему сыро. Пахло гнилой кожей. Изо рта валил пар.

Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников.

Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги, и жевала корку. Тощая, только что окотившаяся кошка терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными, пустыми глазами, потом отломила кусок корки и бросила кошке.

Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь,– урча, давясь и встряхивая ушами.

— Ишь ты,— сказал хозяин избы,— мамзель какая! Хлеб животному стравливает. Это, я считаю, безобразие.

Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину:

— Тысячи нас, солдат, сполняют царскую службу! Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит...

— То-то вас порют через каждого третьего,— заметил хозяин.— Ты лучше расскажи, откуда ты родом.

— А я и не помню! — бесшабашно ответил солдат.— Ей-богу, забыл. Одно помню: стояла мать под ракитой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка!

— Ну, бреши, утешайся,— согласился хозяин избы.— Куда ты только подаяние деваешь? У самого в брюхе щелк. И девочка у тебя засохла, насквозь светится.

— Она вроде немая,— ответил солдат.— Только милостыню за меня просит. А чтобы другое слово сказать, так этого за ней не водится. Катька! — крикнул он.— Хочешь вина?

Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки.

— Слушай! — закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу.— Слушай мое объяснение, сиворайдовский мужик! — Меня сам командир за бой под Тарутином облобызал. Видишь, крест егорьевский! Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти — часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу: «Доложи государю, такой-растакой сын, что старослужащий солдат желает ему представиться на предмет вспоможения». И генерал — ни-ни, ни пикнет! Только забренчит орденами и побегит к царю докладать.

— Да ну! — притворно удивился хозяин избы. Так-таки и побегит?

— Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит — молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают! Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел. Полководца! Одноглазый генерал. Облик львиный. Скачет в дыму, знамена над ним шумят, «ура» катится до самой Москвы. И кричит он нам: «Ребята, умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!»

Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя навытяжку, придерживая на груди почернелый Георгиевский крест.

— Все герои, а пока что в дерьме преем,— вздохнул хозяин.— Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен. По уставу.

— Видит бог, должен! — закричал солдат с натугой, лицо его начало чернеть, и он запел:

Ах ты сукин сын, камаринский мужик!

Солдат тяжело затопал ногами под столом.

Ты, видать, видать, к веселию привык!

— Дедушка,— испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшую узлами руку солдата.— Ты не пой: закашляешься.

— Полк, слуша-а-ай! — закричал солдат и тотчас закашлялся.

Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата.

— Чего ж ты сидишь? — сказал он наконец девочке.— Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает.

Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку, на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке.

Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову.

— Дедушка! — закричала она. Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе?

— Тихо! – прохрипел солдат.— Слушай мою команду. Офицер дал мне полтинник. Душа-офицер! Доложи ему: помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается.

Ах ты сукин сын, камаринский мужик!

— Дедка! — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи.

И должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь.

— Темно мне помирать,— сказал он.— Хоть бы солнышко вполглаза увидеть! Ты не кричи. Жизнь солдатская — портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру, скажи... хоронить надо солдата по правилам службы.

Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы.

— Вот тоже,— сказал он наконец,— навязались постояльцы на мой загривок. Погодь!

Он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата.

— Мошна-то глубока, да пуста,— зло бормотал он.— Голь перекатная! А вино пьют. Да еще угощают! Мне двугривенный полагается за постой.

Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы.

Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать все.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом.

Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает: серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов.

Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии.

Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие, старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки.

Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее проявилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.

Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову:

— Я его берегла для праздника. А вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?

Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно смахнула ее мизинцем.

Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность, снежная, почти мраморная красота и горделивость движений? Сейчас перед ним была простая ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова.

Только к вечеру они вернулись в «номера». Огромное солнце склонялось к разливу.

Из большой комнаты в «номерах», занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение:

Коперник весь свой век трудился,
Чтоб доказать Земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился,—
Тогда бы не было сомненья!

Под стеной «номеров» сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился.

— Почему ты одна? — спросил он.— Где солдат?

Девочка подняла голову, но не встала.

— Где солдат? — повторил Лермонтов.

— На Слободке. Лежит в хате.

— Что с ним?

— А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал.

— Зачем?

— А я не знаю,— шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало.— Велел добежать до вас, а я не дослушала.

— Испугалась?

— Ага! — еще тише ответила девочка.

Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным. Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ей сердце.

— Я не знала, что вы так чувствительны.

Лермонтов пристально взглянул на нее.

— Я не люблю благодеяний,— сказал он, чуть сердясь.— Все это вздор! Но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь.

Слуга Лермонтова, по своему обыкновению, лежал на подоконнике и, сощурив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку.

Когда Лермонтов проходил со Щербатовой по тесному коридору «номеров», дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь.

— Извините, мне надобно отлучиться,— сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату.

Шум за дверью оборвался. Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, а остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова.

«Господи! — сказала она про себя.— Дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?!»

Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда придется расставаться надолго, может быть, навсегда?

Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд. Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России! Остановить, чтобы никогда не наступал завтрашний день...

Офицеры играли и пили вторые сутки.

Лермонтов вошел, не постучавшись. Он уронил на пороге белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал:

«Да, с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в пулю».

Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый! А может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры. Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилием воли он сдержал нервную дрожь, кивнул всем и сказал:

— Жаль, что так поспешно ушел господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним.

Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге.

— Я к вашим услугам,— сказал он добродушно и слегка поклонился.— Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом.

— Насколько я знаю,— спокойно ответил Лермонтов,— вы играете только втемную. Ну что ж, сыграем и втемную.

Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз его прищурился от злобы.

— Играю на тысячу,— сказал Лермонтов.— Не больше. Без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?

Ротмистр кивнул.

— Идет! — ответил за него банкомет, белобрысый драгунский капитан.— Остановка за малым — за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов.

— Мысли ваши держите в кармане рейтуз,— резко ответил Лермонтов.

— Ежели бы вы не ехали на Кавказ, под пули...— сказал, краснея, банкомет и осекся.

Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно.

— То что бы случилось, позвольте узнать? — спросил он с вежливым любопытством.

— Да так... ничего,— пробормотал банкомет.

Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций.

Лермонтов тоже вынул деньги.

— Здесь тысяча,— сказал он.— Иду на все!

— Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта.

Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал:

Вам не видать таких сражений!

— Замолчите! — ласково сказал ему Лермонтов

Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты.

— Ваша тысяча! — сказал банкомет с наигранным равнодушием.

— Посмотрим, как вы отыграетесь,— сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел.

С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним.

— Индюк! — зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками.— Тюфяк! — повторил ротмистр.— Пропустил такой случай расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул и скис. «Да так... ничего...» — передразнил он банкомета.

— От такого и тремя откупишься,— пробормотал конопатый пехотный капитан.— По всем повадкам видно — головорез!

Тогда вдруг зашумел чиновник.

— Стреляться с Лермонтовым? — закричал он.— Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!

— Проспитесь сначала, фитюк! — брезгливо ответил ротмистр.

А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван.

После выигрыша Лермонтов пошел на Слободку.

К себе в «номера» он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече.

От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде в Благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным. Он не сдержался, сказал княжне дерзость. Но тогда этот гнев был понятен. Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому, что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги.

— Подай мне мокрое полотенце,— хрипло сказал Лермонтов.— Свеча чадит, а ты сидишь как истукан. Где девочка?

Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.

– Пить бы вам надо поменьше,— сказал он наставительно.

– Где девочка? — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел.

– Кабы вы приказали мне ее караулить...— обиженно начал слуга, но Лермонтов не дал ему окончить.

— Где?! – крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.

– Княгиня сюда заходили и увели ее к себе,— скороговоркой пробормотал слуга.– Что ж я, силком ее, что ли, буду держать, христарадницу эту!

Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову

— Ступай к себе,— сказал он, сдерживаясь.- И собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы. К черту!

— Это как же? — спросил, прищурившись, слуга.

— Ступа-а-ай! – повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.

За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду,— подумал он.— А то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный!»

Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову. Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.

«Надо пойти к Щербатовой,— думал Лермонтов.— Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия». Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». Но вот сейчас и невзгода, и есть кому руку подать, а тоска растет, как лавина, вот-вот раздавит сердце.

Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А теперь... У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он так обеспокоен ее судьбой.

Он смутно помнил свою мать, вернее, ему казалось, что помнил,— ее голос, теплые слабые руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.

За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз по-иному: то три года, то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет ему, пожалуй, хватит.

За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.

— Опять ты здесь,— сказал устало Лермонтов.— Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.

Теплые руки обняли Лермонтова за голову, горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.

Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побелевшими пальцами. Лермонтов обнял ее.

— Радость моя! — сказала она.— Серденько мое! Что же делать! Что делать!

Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви.

Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Внезапная мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долог — ему не дойти!

— Мария,— сказал он, и голос его дрогнул,— если бы вы только знали, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!

Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал — тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез.

— Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя? — шептала Щербатова.

Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью.

— Пойдем сейчас ко мне,— шептала Щербатова.— Я покажу тебе девочку. Она спит. Я вымыла ее, расчесала. Я возьму ее к себе.

— Хорошо,— сказал он.— Иди. Я сейчас умоюсь и приду.

— Только скорее, милый.

Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать:

> Мне грустно, потому что я тебя люблю,
> И знаю: молодость цветущую твою
> Не пощадит молвы коварное гоненье.

Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел. Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож.

Рано утром Лермонтов снова ушел на Слободку и вернулся только к полудню. Перед уходом он послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски:

«Я обязан сегодня отдать последний долг солдату. Если у вас есть черное платье, то, прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой».

Щербатова достала простое черное платье и торопливо переоделась. Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на Слободку.

Солдат лежал в неструганом гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядном. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы.

Высокая старуха читала псалтырь, проглатывая слова, точно боясь, что ее остановят. По столу около гроба суетливо бегали рыжие тараканы. Старуха смахивала их ладонью.

Хозяин избы, уже успевший опохмелиться на полученную

от Лермонтова трешку, не то плакал, не то кряхтел, стоя в углу и вытирая лицо ситцевым рукавом.

Пришел рыжий веселый священник с дряхлым дьячком, надел через голову старую ризу, выпростал жирные волосы, вытер лицо коричневым платком, попробовал голос и начал отпевание.

Щербатова стояла, опустив голову. Воск капал ей на пальцы с тонкой, согнувшейся свечи. Но она не замечала этого. Она думала о бездомном солдате, о своей нарядной и утомительной жизни в Петербурге и вдруг удивилась: зачем ей эта жизнь? И зачем ради нее она должна отказаться от любви, от радости, от веселья, даже от того, чтобы пробежать босиком по мокрой траве? Она думала о Лермонтове. Их родственная и светлая близость не может пройти никогда. Она думала обо всем этом, и ей казалось, что она молится за солдата, за Лермонтова, за свою самую печальную на свете любовь.

Девочка, одетая в серенькое, наспех подшитое на ней платье, смотрела, не мигая, за окно.

За окно смотрел и Лермонтов. Там сияла последняя для солдата весна. Легкий сквозняк уносил дым ладана. Небо и деревья светились сквозь этот дым тусклой позолотой.

«Может быть, это и моя последняя весна»,– подумал Лермонтов, но тотчас начал торопливо думать о другом — о Щербатовой, о том, что уже починили, должно быть, паром и через несколько часов он расстанется с ней.

— Кутузовский кавалер! — вздыхал позади хозяин.— Царствие ему небесное, вечный спокой!

Лермонтов улыбнулся. Щербатова с тревогой подняла на него глаза. Со времени встречи в городке малейшее его душевное движение тотчас передавалось ей. А он подумал, что вот эти слова будут когда-нибудь петь и над ним. Петь о вечном покое над человеком, созданным для вечного непокоя. Ну что ж, тогда ему будет все равно!

Кладбище оказалось в той маленькой роще за городом, где Щербатова хотела встретиться с Лермонтовым. Дымные тени от недавно распустившихся берез шевелились под ногами.

Хозяин избы подошел к гробу с молотком и гвоздями, чтобы заколотить крышку. Гвозди он держал во рту. Лермонтов отстранил его, наклонился и поцеловал бугристую руку солдата. Смуглое лицо его побледнело. Щербатова опустилась на колени перед гробом, тоже поцеловала холодную солдатскую руку и подумала, что никогда она не забудет об этом дне.

Не забудет о шуме ветра в березах, застенчивом солнечном тепле, дрожащих губах девочки, голосе Лермонтова, о каждом сказанном им слове, об этих двух днях, что останутся в памяти, как святая святых,— коротких днях, затерянных среди тысячи других дней в потоке времени.

Все неподвижно смотрели, как сырая земля сыпалась на крышку гроба. Щербатова взяла руку Лермонтова и незаметно и нежно поцеловала ее. За все: за прошлые его страдания, за

погибшую молодость, за счастье жить с ним под одним небом
Щербатова сидела в коляске, закрыв глаза, закутав голову Она сослалась на нездоровье, чтобы ее не тревожили.

После разлуки с Лермонтовым она не могла смотреть ни на степь, ни на людей, ни на попутные села и города. Они как бы заслоняли воспоминание о нем, тогда как все ее сердце принадлежало только ему. Все, что не было связано с ним, могло бы совсем не существовать на свете.

С детских лет она слышала разговоры, что любовь умирает в разлуке. Какая ложь! Только в разлуке бережешь, как драгоценность, каждую малость, если к ней прикасался любимый

Вот и сейчас к подножке коляски прилип листок тополя. Когда Лермонтов, прощаясь со Щербатовой, вскочил на подножку, он наступил на него.

Щербатова смотрела на этот трепещущий от ветра жалкий лист и боялась, что его оторвет и унесет в поле. Но он не улетал. Лист оторвался и улетел только на третий день к вечеру, когда из-за днепровских круч ударил в лицо грозовой ветер и молнии, обгоняя друг друга, начали бить в почерневшую воду.

Гроза волокла над землей грохочущий дым и ликовала, захлестывая поля потоками серой воды.

Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне. Испуганные кони скакали, прижав уши, храпя, косясь на раскаты грозы, обгонявшие коляску то справа, то слева. Щербатова привстала, сбросила шаль. Тополевого листка на подножке не было.

Гром расколол над головою небо.

«Зачем я не бросила все,— подумала с тоской Щербатова, — и не поехала с ним на Кавказ?»

Ничего не нужно сейчас — ни покоя, ни прочности в жизни Только бы увидеть его, взять за руки. И знать, что он здесь, рядом, и что никакая сила в мире не сможет теперь оторвать их друг от друга.

Девочка испугалась грозы. Щербатова обняла ее, прижала к себе и тогда только заметила, что девочка плачет.

— О ком ты плачешь? — спросила Щербатова порывисто.

Девочка только затрясла головой и крепче прижалась к Щербатовой.

Гроза несла над ними на юг, к Кавказу, обрывки разодранного в клочья неба. И старик-украинец в накинутой на голову свитке торопливо отворял перед взмыленными лошадьми скрипучий плетень и говорил:

— В такую грозу разве мыслимо ехать! Убьет и размечет. Заходите скорийше до хаты.

Опять задержка. Но теперь не из-за поломанного парома, а из-за грозы. Она долго кружила над ночной степью в полыхании синего небесного огня. Серебряная путаница сухих стеблей и колосистых трав вдруг возникала во мраке по сторонам степного шляха и тотчас гасла, чтобы через мгновение вспыхнуть снова с нетерпимой, пугающей яркостью.

Каждый раз при вспышке молнии Лермонтов видел ее вороватый отблеск на эфесе своей шашки и на медной бляхе на спине ямщика. И каждый раз появлялась и снова тонула в кромешном мраке припавшая к широким балкам степная станица. Она как бы прилегла к земле, спасаясь от грозы.

В одной из хат Лермонтов остановился переждать грозу. Он думал назавтра ехать дальше, но черноземные дороги превратились от ливня в озера липкой грязи. Надо было дождаться, пока они немного просохнут.

Хата была ветхая. На жердях под потолком висели пучки пересохшей полыни. Жили в хате старуха Христина, промышлявшая знахарством и гаданием, и ее муж, сельский скрипач Захар Тарасович. Он играл на крестинах и свадьбах. Скрипочка у него была совсем детская, высохшая от старости, как пучки полыни под потолком. И такая же легкая, как эти пучки.

Лермонтов прожил в станице два дня. Все время напролет он писал. Слугу он отправил в Тарханы, и никто не мешал ему, не приставал с разговорами.

Мысли были ясные, как безоблачная ночь. На душе было легко от этих мыслей и от ощущения, что все вокруг подвластно поэзии. Разлука со Щербатовой, воспоминания, тоска по юной любящей женщине — все это помогало Лермонтову писать. Он с грустью думал, что в сердце поэта, кажется, нет большей привязанности, чем привязанность к поющей строфе.

В последний вечер перед отъездом из станицы Захар Тарасович зазвал Лермонтова с собой на свадьбу. Лермонтов согласился. В этот вечер ему не хотелось оставаться одному. Он был встревожен, и его тянуло к людям. Днем он видел, как ротмистр с черной повязкой на глазу вошел в хату, где жила молодая шинкарка. Опять этот ротмистр вьется около него.

На свадьбе Лермонтов сидел в углу на темной от времени лавке. Девушки в венках из бумажных цветов искоса поглядывали на него, опускали глаза и заливались румянцем. Сваты, повязанные вышитыми рушниками, степенно пили пшеничную водку и закусывали розовым салом и квашеной капустой.

Девушки тихо пели:

Ой, в Ерусалиме
Рано зазвонили.
Молода дивчина
Сына спородыла.

Невеста украдкой вытирала слезы, а Захар Тарасович подыгрывал девушкам на скрипке.

В полночь Лермонтов попрощался с хозяевами и вышел. Звезды медленно роились над головой. Ночь была южная, непроглядная. Из степи тянуло чабрецом.

Невдалеке от своей хаты Лермонтов столкнулся с пьяным. Пьяный молча загородил Лермонтову дорогу, Лермонтов сделал шаг в сторону, чтобы обойти его, но пьяный засмеялся и снова загородил дорогу.

— Ты со мной не шути, приятель, – сказал, сдерживая гнев, Лермонтов.— Дай мне пройти.

— Куда? – тихо спросил пьяный и крепко схватил Лермонтова за руку.

Лермонтов вырвался. Ни пистолета, ни шашки при нем не было.

— Долго ты у меня не находишься,- сказал со смешком пьяный.

Лермонтов с силой оттолкнул его и тут только заметил, что от пьяного не пахнет водкой.

Лермонтов пошел к своей избе. Сзади было тихо. Лермонтов оглянулся, и в то же мгновение сверкнул тусклый огонь из пистолетного дула, и пуля, подвывая, прошла около плеча и ударила в стену хаты. Посыпалась сухая белая глина.

Лермонтов в ярости бросился назад. Но там уже никого не было. Только брехали по всей станице собаки, встревоженные ночным выстрелом. Лермонтов вернулся в хату, зажег свечу и при ее свете заметил, что левый погон у него оторван. Он потрогал плечо. Оно чуть болело. Бабка лежала на печке.

— Вот клятый иуда! - сказала она.— Злодий, чтобы добра ему не было! Не поранил он вас?

— Нет. А откуда ты знаешь, что это в меня стреляли?

— Да так... ниоткуда,— ответила бабка.— Свечку лучше задуйте да отойдите от окна. А то он упорный.

— Кто это «он»?

— А кто ж его знает,— неохотно ответила бабка.— Он всего третий год как приехал до нашей станицы. За карбованец любого подпалит, а за два карбованца — так и до смерти забьет. Он кат, палач, людей вешал. Свое отслужил, так начальство и заховало его к нам в станицу, в скрытность.

Лермонтов зарядил пистолет, погасил свечу, лег на лавку и укрылся буркой. Он думал, что год назад ни за что бы не погасил свечу, а наоборот, сел бы при свете к окну, чтобы бросить вызов судьбе. А сейчас он берег каждый час своей жизни.

Сейчас он не имеет права играть собой. Он отвечал за все, еще не свершенное им, за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми, перед своей совестью, перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал, но, конечно, никому не сознавался в этом. Разве он не написал слова, что «звезда с звездою говорит»? Ради этого стоило погасить свечу и лежать тихо, прислушиваясь, трогая время от времени теплую сталь пистолета.

— Ну что ж, пока вам еще не удалось отыграться, господин ротмистр,— сказал вслух Лермонтов.

Он задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть ночи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь холод родников, что журчат по

всюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады губы Щербатовой, приникшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упал на лицо Лермонтова.

Лермонтов проснулся. Сердце билось медленно. На печке Христина шепталась с Захаром Тарасовичем, вернувшимся со свадьбы,— рассказывала ему о ночном происшествии с Лермонтовым. Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате, затерянной в широкой степи под неохватным небом, лежал, укрывшись буркой. Он вспомнил, как девочка-нищенка на кладбище обняла плечи солдата худыми руками и на мгновение прижалась к его груди. Что бы он дал теперь, чтобы почувствовать на себе эту детскую ласку!

— Нет, не успеть! — сказал он и покачал головой.

Было слышно, как где-то, должно быть в соседней хате, плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество? Лермонтов сел на лавке. Старики на печке зашевелились и затихли. Не зажигая свечи, Лермонтов начал писать карандашом на обертке от табака:

Не смейся над моей пророческой тоскою;
Я знал: удар судьбы меня не обойдет;
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет;
Я говорил тебе: ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти; настанет час кровавый,
И я паду..

А потом были длинные жаркие месяцы, ветер с невысоких гор под Ставрополем, пахнущий бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, схватки у лесных завалов с чеченцами, визг пуль. Пятигорск, чужие люди, с которыми надо было держать себя, как с друзьями. И снова мимолетный Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и взлетающие к небу, как облака над вершинами гор. И дуэль. И последнее, что он заметил на земле,— одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял.

Кавказ сотрясался от раскатов грома. Лермонтов упал. Тотчас, вся в летнем прозрачном солнце, склонилась над ним Мария Щербатова, и он сказал ей:

— Не плачьте. Я видел смерть. Значит, я буду жить вечно На мне они не отыграются.

Гром не затихал в теснинах Кавказа. Это было 27 июля 1841 года — сто одиннадцать лет назад.

1952

Моему преданному другу
Татьяне Алексеевне Паустовской

ЗОЛОТАЯ РОЗА



Литература изъята из законов тления
Она одна не признает смерти.

Салтыков-Щедрин

Всегда следует стремиться
к прекрасному.

Оноре Бальзак

Многое в этой работе выражено отрывочно и, быть может, недостаточно ясно.

Многое будет признано спорным.

Книга эта не является ни теоретическим исследованием, ни тем более руководством. Это просто заметки о моем понимании писательства и моем опыте.

Важные вопросы идейного обоснования нашей писательской работы не затронуты в книге, так как в этой области у нас нет сколько-нибудь значительных разногласий. Героическое и воспитательное значение литературы ясно для всех.

В этой книге я рассказал пока лишь то немногое, что успел рассказать.

Но если мне хотя бы в малой доле удалось передать читателю представление о прекрасной сущности писательского труда, то я буду считать, что выполнил свой долг перед литературой.

ДРАГОЦЕННАЯ ПЫЛЬ

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своем квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые ллавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «Дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну — девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время молчала. Даже на рыб, вылетавших из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет, как мог, заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги.

В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего такого, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя все новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда и не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это давно ушедшее время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятью в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил,

как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск — несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу — грех, потому что ее подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.

— Таких золотых роз мало на свете,— говорила мать Шамета.— Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине. Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник — бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

— Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

— Все может быть,— ответил Шамет.— Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это было во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за какой-то челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли,— престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

— Где же это случилось? — спросила с сомнением Сузи.

— Я же тебе сказал — в Аннаме. В Индокитае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатыми желтыми губами — тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея.

Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

— Ничего! — шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо.— Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи — синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов — их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко — старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.

Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем позабыла.

Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледно-сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

— Сударыня, вода в Сене в эту пору очень холодная. Давайте-ка я лучше провожу вас домой.

— У меня теперь нет дома, - быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.

Шамет уронил свою шляпу.

— Сузи! — сказал он с отчаянием и восторгом.— Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я — Жан-Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

– Жан! — вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала. – Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!

Э-э, глупости! проборМОтал Шамет Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане,- погладил и поцеловал ее блестящие волосы Тут же он отстранился, боясь что Сюзанна услышит мышиную вонь от его куртки. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.

Что с тобой, девочка? — растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял: пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.

— У меня,— торопливо сказал он,— есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто – хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности

Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.

Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сю-

занны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.

Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

— Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу,— проворчал ей напоследок Шамет,— то будь счастлива.

— Я ничего еще не знаю,— ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.

— Ты напрасно волнуешься, моя крошка,— недовольно протянул молодой актер и повторил: — Моя прелестная крошка.

— Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! — вздохнула Сюзанна.— Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

— Кто знает! — ответил Шамет.— Во всяком случае, не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему когда-то мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал о своей затее. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкотворам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось

столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег — любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность старого урода! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя — эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку — и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету — у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек — тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь. От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной.

«Чего не дает жизнь, то приносит смерть»,— подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка — Жана-Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал:

«Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже,— все это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою «золотую розу» — повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но, подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце»

НАДПИСЬ НА ВАЛУНЕ

> Для писателя полная радость наступает
> только тогда, когда он убеждается,
> что совесть его находится
> в соответствии с совестью ближних
>
> *Салтыков-Щедрин*

Я живу в маленьком доме на дюнах. Все Рижское взморье в снегу. Он все время слетает с высоких сосен длинными прядями и рассыпается в пыль.

Слетает он от ветра и оттого, что по соснам прыгают белки Когда очень тихо, то слышно, как они шелушат сосновые шишки

Дом стоит у самого моря. Чтобы увидеть море, нужно выйти за калитку и немного пройти по протоптанной в снегу тропинке мимо заколоченной дачи

На окнах этой дачи еще с лета остались занавески. Они шевелятся от слабого ветра. Должно быть, ветер проникает сквозь незаметные щели в пустую дачу, но издали кажется, что кто-то подымает занавеску и осторожно следит за тобой.

Море не замерзло. Снег лежит до самой кромки воды. На нем видны следы зайцев.

Когда на море подымается волна, то слышен не шум прибоя, а хрустенье льда и шорох оседающего снега.

Балтика зимой пустынна и угрюма.

Латыши называют ее «Янтарным морем» («Дзинтара юра»). Может быть, не только потому, что Балтика выбрасывает много янтаря, но еще и потому, что ее вода чуть заметно отливает янтарной желтизной.

По горизонту весь день лежит слоями тяжелая мгла. В ней пропадают очертания низких берегов. Только кое-где в этой мгле опускаются над морем белые косматые полосы — там идет снег.

Иногда дикие гуси, прилетевшие в этом году слишком рано, садятся на воду и кричат. Тревожный их крик далеко разносится по берегу, но не вызывает отклика — в прибрежных лесах зимой почти нет птиц.

Днем в доме, где я живу, идет привычная жизнь. Трещат дрова в разноцветных кафельных печах, приглушенно стучит пишущая машинка, молчаливая уборщица Лиля сидит в уютном холле и вяжет кружево. Все обыкновенно и очень просто.

Но вечером кромешная темнота окружает дом, сосны придвигаются к нему вплотную, и когда выходишь из ярко освещенного холла наружу, тебя охватывает ощущение полного одиночества, с глазу на глаз, с зимой, морем и ночью.

Море уходит на сотни миль в черно-свинцовые дали. На нем не видно ни одного огонька. И не слышно ни одного всплеска.

Маленький дом стоит, как последний маяк, на краю туманной бездны. Здесь обрывается земля. И поэтому кажется удивительным, что в доме спокойно горит свет, поет радио, мягкие ковры заглушают шаги, а на столах лежат раскрытые книги и рукописи.

Там, к западу, в сторону Вентспилса, за слоем мглы лежит маленький рыбачий поселок. Обыкновенный рыбачий поселок с сетями, сохнущими на ветру, с низкими домами и низким дымом из труб, с черными моторками, вытащенными на песок, и доверчивыми собаками с косматой шерстью.

В поселке этом сотни лет живут латышские рыбаки. Поколения сменяют друг друга. Светловолосые девушки с застенчивыми глазами и певучим говором становятся обветренными, кряжистыми старухами, закутанными в тяжелые платки. Румяные юноши в щегольских кепках превращаются в щетинистых стариков с невозмутимыми глазами.

Но так же, как и сотни лет назад, рыбаки уходят в море за салакой. И так же, как и сотни лет назад, не все возвращаются обратно. Особенно осенью, когда Балтика свирепеет от штормов и кипит холодной пеной, как чертов котел.

Но что бы ни случилось, сколько бы раз ни пришлось стаскивать шапки, когда люди узнают о гибели своих товарищей, все равно надо и дальше делать свое дело — опасное и тяжелое, завещанное дедами и отцами. Уступать морю нельзя.

В море около поселка лежит большой гранитный валун. На нем еще давно рыбаки высекли надпись: «В память всех, кто погиб и погибнет в море». Эту надпись видно издалека.

Когда я узнал об этой надписи, она мне показалась печальной, как все эпитафии. Но латышский писатель, рассказавший мне о ней, не согласился с этим и сказал:

— Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди никогда не сдадутся и, несмотря ни на что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпиграфом к любой книге о человеческом труде и упорстве. Для меня эта надпись звучит примерно так: «В память тех, кто одолевал и будет одолевать это море».

Я согласился с ним и подумал, что этот эпиграф подходил бы и для книги о писательском труде.

Писатели не могут ни на минуту сдаться перед невзгодами и отступить перед преградами. Что бы ни случилось, они должны непрерывно делать свое дело, завещанное им предшественниками и доверенное современниками. Недаром Салтыков-Щедрин говорил, что если хоть на минуту замолкнет литература, то это будет равносильно смерти народа.

Писательство — не ремесло и не занятие. Писательство — призвание. Вникая в некоторые слова, в самое их звучание, мы находим их первоначальный смысл. Слово «призвание» родилось от слова «зов».

Человека никогда не призывают к ремесленничеству. Призывают его только к выполнению долга и трудной задачи.

Что же понуждает писателя к его подчас мучительному, но прекрасному труду?

Прежде всего — зов собственного сердца. Голос совести и вера в будущее не позволяют подлинному писателю прожить на земле, как пустоцвет, и не передать людям с полной щедростью всего огромного разнообразия мыслей и чувств, наполняющих его самого.

Тот не писатель, кто не прибавил к зрению человека хотя бы немного зоркости.

Писателем человек становится не только по зову сердца. Голос сердца чаще всего мы слышим в юности, когда ничто еще не приглушило и не растрепало по клочкам свежий мир наших чувств.

Но приходят годы возмужалости — и мы явственно слышим, кроме призывного голоса собственного сердца, новый мощный зов — зов своего времени и своего народа, зов человечества.

По велению призвания, во имя своего внутреннего побуждения человек может совершать чудеса и выносить тягчайшие испытания.

Одним из примеров, подтверждающих это, была судьба голландского писателя Эдуарда Деккера. Он печатался под псевдонимом «Мультатули». По-латыни это означает «Многострадальный».

Возможно, что я вспомнил о Деккере именно здесь, на берегу сумрачной Балтики, потому, что такое же бледное северное море расстилается у берегов его родины — Нидерландов. О ней он сказал с горечью и стыдом: «Я — сын Нидерландов, сын страны разбойников, лежащей между Фрисландией и Шельдой».

Но Голландия, конечно, не страна цивилизованных разбойников. Их меньшинство, и не они выражают лицо народа. Это страна трудолюбивых людей, потомков мятежных «гезов» и Тиля Уленшпигеля. До сих пор «пепел Клааса стучит» в сердце многих голландцев. Стучал он и в сердце Мультатули.

Выходец из семьи потомственных моряков, Мультатули был назначен правительственным чиновником на остров Яву, а недолгое время спустя — даже резидентом одного из округов этого острова. Его ждали почести, награды, богатство, возможный пост вице-короля, но... «пепел Клааса стучал в его сердце». И Мультатули пренебрег этими благами.

С редким мужеством и упорством он пытался взорвать изнутри вековую практику порабощения яванцев голландскими властями и негоциантами.

Он всегда выступал в защиту яванцев и не давал их в обиду. Он жестоко карал взяточников. Он насмехался над вице-королем и его приближенными,— конечно, добрыми христианами,— ссылаясь, в объяснение своих поступков, на учение Христа о любви к ближнему. Ему ничего нельзя было возразить. Но его можно было уничтожить.

Когда вспыхнуло восстание яванцев, Мультатули принял сторону восставших, потому что «пепел Клааса продолжал стучать в его сердце». Он с трогательной любовью писал о яванцах, об этих доверчивых детях, и с гневом — о своих соотечественниках.

Он разоблачил военную гнусность, придуманную голландскими генералами.

Яванцы очень чистоплотны и не выносят грязи. На этом их свойстве и был построен расчет голландцев.

Солдатам приказали забрасывать яванцев во время атак человеческим калом. И яванцы, встречавшие, не дрогнув, ожесточенный ружейный огонь, не выдерживали этого вида войны и отступали.

Мультатули был смещен и отправлен в Европу.

Несколько лет он добивался от голландского парламента справедливости для яванцев. Он всюду говорил об этом. Он писал петиции министрам и королю.

Но тщетно. Его выслушивали неохотно и торопливо. Вскоре его объявили опасным чудаком, даже сумасшедшим. Он нигде не мог найти работы. Семья его голодала.

Тогда, повинуясь голосу сердца, иными словами, повинуясь жившему в нем, но до тех пор еще неясному призванию, Мультатули начал писать. Он написал разоблачительный роман о голландцах на Яве: «Макс Хавелаар, или Торговцы кофе». Но

это была только первая проба. В этой книге он как бы нащупывал еще зыбкую для него почву литературного мастерства.

Но зато следующая его книга — «Письма любви» — была написана с потрясающей силой. Эту силу давала Мультатули исступленная вера в свою правоту.

Отдельные главы книги напоминают то горький крик человека, схватившегося за голову при виде чудовищной несправедливости, то едкие и остроумные притчи-памфлеты, то нежные утешения любимым людям, окрашенные печальным юмором, то последние попытки воскресить наивную веру своего детства.

«Бога нет, или он должен быть добр,— писал Мультатули.— Когда же наконец перестанут обкрадывать нищих!»

Он уехал из Голландии, надеясь заработать на кусок хлеба на стороне. Жена осталась с детьми в Амстердаме — у него не было лишней копейки, чтобы взять их с собой.

Он нищенствовал по городам Европы и писал, писал непрерывно, этот неудобный для благоприличного общества, насмешливый и замученный человек. Он почти не получал писем от жены, потому что у нее не хватало денег на марки.

Он думал о ней и о детях, особенно о маленьком мальчике с синими глазами. Он боялся, что этот маленький мальчик разучится доверчиво улыбаться людям, и умолял взрослых не вызывать у него преждевременных слез.

Книги Мультатули никто не хотел издавать.

Но вот наконец свершилось! Крупное издательство согласилось купить его рукописи, но с условием, что он нигде больше не будет их издавать.

Измученный Мультатули согласился. Он вернулся на родину. Ему даже дали немного денег. Но рукописи купили просто для того, чтобы обезоружить этого человека. Рукописи были изданы в таком количестве экземпляров и по такой недоступной цене, что это было равносильно их уничтожению. Голландские купцы и власти не могли чувствовать себя спокойно, пока эта пороховая бочка была не у них в руках.

Мультатули умер, так и не дождавшись справедливости. А он мог бы написать еще много превосходных книг,— тех книг, о каких принято говорить, что они написаны не чернилами, а кровью сердца.

Он боролся, как мог, и погиб. Но он «одолел море». И, может быть, вскоре на независимой Яве, в Джакарте, будет поставлен памятник этому бескорыстному страдальцу. Такова была жизнь человека, слившего воедино два великих призвания.

По неистовой преданности своему делу у Мультатули был собрат, тоже голландец и его современник,— художник Винсент Ван-Гог.

Трудно найти пример большего отречения от себя во имя искусства, чем жизнь Ван-Гога. Он мечтал создать во Франции «братство художников» — своего рода коммуну, где ничто не отрывало бы их от служения живописи.

Ван-Гог много перестрадал. Он опустился на самое дно человеческого отчаяния в своих «Едоках картофеля» и «Прогулке заключенных». Он считал, что дело художника — противостоять страданию всеми силами, всем своим талантом.

Дело художника — рождать радость. И он создавал ее теми средствами, какими владел лучше всего,— красками.

На своих холстах он преобразил землю. Он как бы промыл ее чудотворной водой, и она осветилась красками такой яркости и густоты, что каждое старое дерево превратилось в произведение скульптуры, а каждое клеверное поле — в солнечный свет, воплощенный во множестве скромных цветочных венчиков.

Он остановил своей волей непрерывную смену красок, чтобы мы могли проникнуться их красотой.

Разве можно утверждать после этого, что Ван-Гог был равнодушен к человеку? Он подарил ему лучшее, чем обладал,— свою способность жить на земле, сияющей всеми возможными цветами и всеми их тончайшими переливами.

Он был нищ, горд и непрактичен. Он делился последним куском с бездомными и хорошо узнал на собственной шкуре, что значит социальная несправедливость. Он пренебрегал дешевым успехом.

Конечно, он не был борцом. Героизм его заключался в фанатической вере в прекрасное будущее людей труда — пахарей и рабочих, поэтов и ученых. Он не мог быть борцом, но он хотел внести и внес свою долю в сокровищницу будущего — свои картины, воспевающие землю.

Из всех видов этой красоты Ван-Гог выбрал только один: цвет. Его всегда поражало свойство природы к безошибочному соотношению красок, неисчислимое множество их переходов, та раскраска земли, которая все время меняется, но одинаково хороша во все времена года и под всеми широтами.

Пора восстановить справедливость по отношению к Ван-Гогу, к таким художникам, как Врубель, Борисов-Мусатов, Гоген, и многим другим.

Нам нужно все, что обогащает внутренний мир человека социалистического общества, все, что возвышает его эмоциональную жизнь. Неужели нужно доказывать эту прописную истину?!

По существу, мы должны быть владетелями искусства всех времен и всех стран. Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то только, что она существует независимо от их воли.

Прошу извинить меня за эти отступления из области литературы в живопись. Я считаю, что все виды искусства помогают писателю в усовершенствовании его мастерства. Но об этом будет особый разговор.

Нельзя терять чувство призвания. Его не заменить ни трез-

вым расчетом, ни литературным опытом.

В истинном писательском призвании совершенно нет тех качеств, какие ему приписывают дешевые скептики,— ни ложного пафоса, ни напыщенного сознания писателем своей исключительной роли.

Пришвин был человеком безусловно писательского призвания. Он подчинил ему жизнь. Но он же и сказал замечательные слова, что «величайшее счастье писателя — не считать себя особенным, одиноким, а быть таким, как все люди».

ЦВЕТЫ ИЗ СТРУЖЕК

Часто я спрашиваю себя, когда думаю о своих занятиях литературой: когда же это началось? И как это вообще начинается? Что впервые заставляет человека взять в руки перо, чтобы не выпускать его до конца жизни?

Труднее всего вспомнить, когда это началось. Очевидно, писательство возникает в человеке, как душевное состояние, гораздо раньше, чем он начинает исписывать стопы бумаги. Возникает еще в юности, а может быть, и в детстве.

В детстве и юности мир существует для нас в ином качестве, чем в зрелые годы. В детстве жарче солнце, гуще трава, обильнее дожди, ярче небо и смертельно интересен каждый человек.

Для детей каждый взрослый кажется существом немного таинственным — будь это плотник с набором инструментов, пахнущих стружкой, или ученый, знающий, почему трава окрашена в зеленый цвет.

Поэтическое восприятие жизни, всего окружающего нас — величайший дар, доставшийся нам от поры детства.

Если человек не растеряет этот дар на протяжении долгих трезвых лет, то он поэт или писатель. В конце концов разница между обоими невелика.

Ощущение жизни как непрерывной новизны — вот та плодородная почва, на которой расцветает и созревает искусство.

Когда я был гимназистом, я, конечно, писал стихи, такое множество стихов, что за месяц исписывал толстую общую тетрадь.

Стихи были плохие — пышные, нарядные и, как мне тогда казалось, довольно красивые.

Сейчас я забыл эти стихи. Помню только отдельные строфы. Например, такие:

О, срывайте цветы на поникших стеблях!
Тихо падает дождь на полях.
И в края, где горит дымно-алый осенний закат,
Пожелтелые листья летят...

Чем дальше, тем больше я нагромождал в стихах всяческие, даже бессмысленные, красивости:

И опалами блещет печаль о любимом Саади
На страницах медлительных дней...

Почему печаль «блещет опалами» — этого ни тогда, ни сейчас я объяснить не могу. Просто меня увлекало самое звучание слов. Я не думал о смысле.

Больше всего я писал стихов о море. В ту пору я его почти не знал.

Это не было какое-то определенное море — Черное, Балтийское или Средиземное,— а праздничное «море вообще». Оно соединяло в себе все разнообразие красок, всю безудержную романтику, далекую от подлинной жизни, времени и реального географического пространства. Тогда эта романтика окружала в моих глазах земной шар, подобно плотной атмосфере.

Это было пенистое, веселое море — родина крылатых кораблей и отважных мореплавателей. Изумрудами горели на его берегах маяки. В портах ключом бурлила беззаботная жизнь. Смуглые женщины неслыханной прелести были ввергнуты по моей авторской воле в кипение жестоких страстей.

Правда, с годами мои стихи делались менее нарядными. Из них постепенно начала выветриваться экзотика.

Но, честно говоря, детские и юношеские годы никогда не обходятся без экзотики, будь то экзотика тропических стран или гражданской войны.

Кто в детстве не осаждал старинные замки, не погибал на корабле с изодранными в клочья парусами у берегов Магелланова пролива или Новой Земли, не мчался в тачанке вместе с Чапаевым по зауральским степям, не искал сокровища, так ловко запрятанные Стивенсоном на таинственном острове, не слышал шума знамен в Бородинском бою или не помогал Маугли в непролазных дебрях Индостана?

Экзотика сообщает жизни ту долю необыкновенности, которая необходима каждому юному и впечатлительному существу.

Дидро был прав, когда говорил, что искусство заключается в том, чтобы найти необыкновенное в обыкновенном и обыкновенное в необыкновенном.

Во всяком случае, я ничуть не жалею о детском своем увлечении экзотикой.

Это увлечение, конечно, не исчезло у меня сразу. Оно держалось долго, как держится стойкий запах сирени в садах. Оно преображало в моих глазах знакомый, немного даже надоевший Киев. Золото закатов пылало в его садах. За Днепром мигали во мраке молнии. Мне казалось, что там раскинулась неведомая — грозовая и влажная — страна, наполненная бегущим шумом листьев.

Весна сыпала на город желтоватые цветы каштанов с красными крапинками на лепестках. Их было так много, что во время дождевой плотины из опавших цветов задерживали сток дождевой воды и некоторые улицы превращались в мелкие озера.

А после дождей небо над Киевом светилось, как купол из лунного камня. И с неожиданной силой приходили на память стихи:

Царит весны таинственная сила
С звездами на челе.—
Ты, нежная! Ты счастье мне сулила
На суетной земле.

С этим временем у меня была связана первая влюбленность — то удивительное состояние, когда почти все девушки казались прекрасными. Любая черта девичества, мелькнувшая на мгновение на улице, в саду, в трамвае,— застенчивый, но внимательный взгляд, запах волос, блеск зубов за полуоткрытыми губами, обнаженное ветром маленькое колено, прикосновение холодных пальцев — все это напоминало, что рано или поздно, но и меня настигнет в жизни любовь. Я был уверен в этом. Так мне хотелось думать, и так я думал.

Каждая такая встреча была для меня началом непонятной тоски.

В стихах и неясном волнении прошла большая часть моей бедной и, по существу, довольно горькой молодости.

Вскоре я бросил писать стихи. Я понял, что это мишура, цветы из хорошо раскрашенных стружек, сусальная позолота.

Вместо стихов я написал свой первый рассказ. У него была своя история. О ней я расскажу в следующей главе.

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ

Я возвращался на пароходе по Припяти из местечка Чернобыль в Киев. Лето я прожил под Чернобылем, в запущенном имении отставного генерала Левковича. Мой классный наставник устроил меня в семью Левковича в качестве домашнего учителя. Я должен был подготовить генеральского сынка-балбеса к двум осенним переэкзаменовкам.

Старый помещичий дом стоял в низине. По вечерам курился вокруг холодный туман. Лягушки надрывались в окрестных болотах, и до головной боли пахло багульником.

Шалые сыновья Левковича били диких уток из ружей прямо с террасы во время вечернего чая..

Сам Левкович — тучный, сивоусый, злой, с вытаращенными черными глазами — весь день сидел на террасе в мягком кресле и задыхался от астмы. Изредка он хрипло кричал:

— Не семья, а шайка бездельников! Кабак! Всех выгоню к чертовой тетке! Лишу наследства!

Но никто не обращал внимания на его сиплые крики. Имением и домом заправляла его жена — «мадам Левкович»,— еще не старая, игривая, но очень скупая женщина. Все лето она проходила в скрипучем корсете.

Кроме шалопаев сыновей, у Левковича была дочь — девушка лет двадцати. Звали ее «Жанна д'Арк». С утра до ночи она носилась верхом на бешеном караковом жеребце, сидя на нем по-мужски, и разыгрывала из себя демоническую женщину.

Она любила повторять, чаще всего совершенно бессмысленно, слово «презираю».

Когда меня знакомили с ней, она протянула мне с коня руку и, глядя в глаза, сказала:

— Презираю!

Я не чаял, как вырваться из этой оголтелой семьи, и почувствовал огромное облегчение, когда наконец сел в телегу, на сено, покрытое рядном, и кучер «Игнатий Лойола» (в семье Левковичей всем давали исторические прозвища), а попросту Игнат, дернул за веревочные вожжи, и мы шагом поплелись в Чернобыль.

Тишина, стоявшая в низкорослом полесье, встретила нас, как только мы выехали за ворота усадьбы.

В Чернобыль мы притащились только к закату и заночевали на постоялом дворе. Пароход запаздывал.

Постоялый двор держал пожилой еврей по фамилии Кушер.

Он уложил меня спать в маленьком зальце с портретами предков — седобородых старцев в шелковых ермолках и старух в париках и черных кружевных шалях.

От кухонной лампочки воняло керосином. Как только я лег на высокую, душную перину, на меня изо всех щелей тучами двинулись клопы.

Я вскочил, поспешно оделся и вышел на крыльцо. Дом стоял у прибрежного песка. Тускло поблескивала Припять. На берегу штабелями лежали доски.

Я сел на скамейку на крыльце и поднял воротник гимназической шинели. Ночь была холодная. Меня знобило.

На ступеньках сидели двое незнакомых людей. В темноте я их не мог разглядеть. Один курил махорку, другой сидел, сгорбившись, и будто спал. Со двора слышался мощный храп Игнатия Лойолы,— он лег в телеге, на сене, и я теперь завидовал ему.

— Клопы? — спросил меня высоким голосом человек, куривший махорку.

Я узнал его по голосу. Это был низенький хмурый еврей в калошах на босу ногу. Когда мы с Игнатием Лойолой приехали, он отворил нам ворота во двор и потребовал за это десять копеек. Я дал ему гривенник. Кушер заметил это и закричал из окна:

— Марш с моего двора, голота! Тысячу раз тебе повторять!

Но человек в калошах даже не оглянулся на Кушера. Он подмигнул мне и сказал:

— Вы слышали? Каждый чужой гривенник не дает ему спать. Таки он подохнет от жадности, попомните мое слово!

Когда я спросил Кушера, что это за человек, он неохотно ответил:

— А, Иоська! Помешанный. Ну, я понимаю — если тебе не с чего жить, то по крайности уважай людей. А не смотри на них, как царь Давид со своего трона.

— За тех клопов,— сказал мне Иоська, затягиваясь, и я увидел щетину у него на щеках,— вы еще заплатите Кушеру

добавочные гроши. Раз человек пробивается до богатства, он ничем не побрезгует.

— Иося! — неожиданно сказал глухим и злым голосом сгорбленный человек.— За что ты загубил Христю? Второй год нету у меня сна...

— Это ж надо, Никифор, не иметь ни капли разума, чтобы говорить такие поганые слова! — сердито воскликнул Иося.— Я ее загубил?! Пойдите до вашего святого отца Михаила и спросите, кто ее загубил. Или до исправника Сухаренки.

— Доня моя! — сказал с отчаянием Никифор.— Закатилось мое солнце по-за болотами на веки вечные.

— Хватит! — прикрикнул на него Иося.

— Панихиду по ней отслужить — и то не позволяют! — не слушая Иосю, сказал Никифор.— Дойду в Киеве до самого митрополита. Не отстану, пока не помилует.

— Хватит! — повторил Иося.— За один ее волос я бы продал всю свою паршивую жизнь. А вы говорите!

Он вдруг заплакал, сдерживаясь и всхлипывая. Оттого что он сдерживался, из горла у него вырывался слабый писк.

— Плачь, дурной,— спокойно, даже одобрительно, сказал Никифор.— Кабы не то, что Христя тебя любила, мишуреса несчастного, я бы разом кончил с тобой. Взял бы грех на душу.

— Кончайте! — крикнул Иося.— Пожалуйста! Может, я того и хочу. Мне же лучше гнить в могиле.

— Дурной ты был и остался дурной,— печально ответил Никифор.— Вот ворочусь из Киева, тогда и кончу тебя, чтобы ты не травил мне сердце. Забедовал я совсем.

— А на кого вы хату покинули? — спросил Иося, перестав плакать.

— Ни на кого. Заколотил — и годи! Нужна мне теперь та хата, как мертвому понюшка!

Я слушал этот непонятный разговор. Над Припятью стеной подымался туман. Сырые доски пахли лекарственно и резко. По местечку нехотя брехали собаки.

— Хоть бы знать, когда припрется та чертова макитра, тот пароход! — с досадой сказал Никифор.— Выпили бы мы, Иосиф, косушку. Оно бы на душе и полегчало. Да где ее теперь взять, косушку?

Я согрелся в шинели и задремал, прислонившись к стене.

Утром пароход не пришел. Кушер сказал, что он заночевал где-нибудь из-за тумана и беспокоиться нечего — все равно пароход простоит в Чернобыле несколько часов.

Я напился чаю. Игнатий Лойола уехал.

От скуки я пошел побродить по местечку. На главной улице были открыты лавчонки. Из них несло селедкой и стиральным мылом. В дверях парикмахерской с висевшей на одном костыле вывеской стоял в халате веснушчатый парикмахер и грыз семечки.

От нечего делать я зашел побриться. Парикмахер, вздыхая,

намылил мне щеки холодной пеной и начал обычный в провинциальных парикмахерских деликатный допрос — кто я и зачем попал в это местечко.

Вдруг по дощатому тротуару мимо окна промчались, свистя и гримасничая, мальчишки, и знакомый голос Иоськи прокричал:

Не разбужу я песней удалою
Роскошный сон красавицы моей.

— Лазарь! — крикнул из-за дощатой перегородки женский голос.— Закрой на засов двери! Опять Иоська пьяный. Что ж это делается, боже мой!

Парикмахер закрыл дверь на засов и задернул занавеску.

— Как увидит кого в парикмахерской,— объяснил он со вздохом,— так сейчас же зайдет и будет петь, танцевать и плакать.

— А что с ним? — спросил я.

Но парикмахер не успел ответить. Из-за перегородки вышла молодая растрепанная женщина с удивленными, блестящими от волнения глазами.

— Слушайте, клиент! — сказала она.— Во-первых, здравствуйте! А во-вторых, Лазарь ничего не сообразит рассказать, потому что мужчина не в состоянии понять женское сердце. Что?! Не качай головой, Лазарь! Так слушайте и хорошо подумайте про то, что я вам скажу. Чтоб вы знали, на какой ад идет девушка от любви к молодым людям.

— Маня,— сказал парикмахер,— не увлекайся.

Иоська кричал где-то уже в отдалении:

Как умру, так приходите
На мою могилку,
Колбасы мне принесите
Да ханжи бутылку!

— Какой ужас! — сказала Маня.— И это Иоська! Тот Иоська, что должен был учиться на фельдшера в Киеве, сын Песи — самой доброй женщины в Чернобыле. Слава богу, она не дожила до такого позора. Вы понимаете, клиент, как надо женщине полюбить мужчину, чтобы пойти из-за него на пытку!

— Что ты такое говоришь, Маня! — воскликнул парикмахер.— Клиент же ничего от тебя не поймет.

— Была у нас ярмарка,— сказала Маня.— На ту ярмарку приехал вдовый лесник Никифор из-под Карпиловки со своей единственной дочерью Христей. Ох, если бы вы ее видели! Вы бы потеряли рассудок! Я вам скажу,— глаза были синие, как то небо, а косы светлые, будто она их мыла в золотой воде. А ласковая! А тонкая, как я не знаю что! Ну, Иоська увидел ее и потерял дар речи. Полюбил. Так в этом, я вам скажу, ничего удивительного я не нахожу. Сам царь, если бы ее встретил, тоже начал бы сохнуть. Удивительно то, что она его полюбила. Вы же его видели? Маленький, как тот мальчик, весь рыжий, голос писклявый, ничего не делает без причуд. Одним словом,

кинула Христя отца и пришла до Иоськи в дом. Вы пойдите посмотрите этот дом! Полюбуйтесь! Козе в нем тесно было бы жить, не то что им втроем. Одно только, что чисто. И что же вы скажете — Песя ее приняла, как королевскую принцессу. И Христя жила с Иоськой, как жена, и он был такой веселый, Иоська,— светился, как фонарь. А вы знаете, что это значит, когда еврей живет с православной? Их же нельзя повенчать. Все местечко закудахтало как сто квочек. Тогда Иоська решил выкреститься и пошел в церковь до отца Михаила. А тот ему говорит: «Раньше следовало бы выкреститься, а потом портить христианскую девушку. Ты сделал навыворот, и теперь без разрешения митрополита я тебя, иерусалимский дворянин, не окрещу». Иоська обозвал его нехорошим словом и ушел. Тогда вмешался наш раввин, наш ребе. Он узнал, что Иоська ходил креститься, и проклял его за это в синагоге до десятого колена. А тут еще приехал Никифор, валялся в ногах у Христи, просил, чтобы вернулась домой. Так она только плакала и ни за что не вернулась. Ну, конечно, мальчишек кто-то подговорил. Они как увидят Христю, так и кричат: «Эй, Христя, кошерная! Хочешь кусочек трефного мяса?» И показывают ей дули. На улице все оглядываются, смотрят ей вслед, смеются. А другой раз кто-нибудь возьмет да и кинет ей в спину из-за забора кусок навоза. Весь дом тети Песи измазали дегтем, вы представляете?

— Ой, тетя Песя! — вздохнул парикмахер.— Это была женщина!

— Постой, дай рассказать! — прикрикнула на него Маня.— Раввин позвал до себя тетю Песю и сказал: «Вы развели блуд в своем доме, уважаемая Песя Израилевна. Вы преступили закон. За это я прокляну ваш дом и Иегова покарает вас, как продажную женщину. Поимейте жалость к своей седой голове». Так вы знаете, что она ему ответила! «Вы не раввин,— сказала она.— Вы городовой! Люди любят друг друга, так какое ваше дело лезть до них со своими жирными от смальца лапами!» Плюнула и ушла. Тогда раввин и ее проклял в синагоге. Вот как у нас умеют мордовать людей. Только вы никому этого не передавайте. Все местечко только и жило, что этим делом. Наконец Иоську и Христю потребовал до себя исправник Сухаренко и сказал: «Тебя, Иоська, за кощунственное оскорбление иерея греко-российской церкви отца Михаила я отдаю под суд. И ты попробуешь у меня каторги. А Христю я силой верну отцу. Даю три дня на размышление. Вы мне взбаламутили весь уезд. Я за вас получу нагоняй от господина губернатора».

Тут же Сухаренко посадил Иоську в холодную,— говорил потом, что хотел только попугать. И что же случается, как вы думаете? Вы мне не поверите, но Христя умерла от горя. На нее было жалко смотреть. Прямо сердце останавливалось у добрых людей. Она плакала несколько дней, а потом у нее уже и слез не хватило, и глаза высохли, и она ничего не ела. Только про-

сила, чтобы допустили ее до Иоськи. А в самый Иом-Кипур, в Судный день, она, как уснула вечером, так и не проснулась. И лежала такая белая и счастливая,— должно быть, благодарила бога, что он взял ее от этой паскудной жизни. Зачем ей такая кара, что она полюбила того Иоську? Скажите же мне: зачем?! Нету разве других людей на свете? Иоську Сухаренко тут же выпустил, но он сделался совсем психический и с того дня начал пить и выпрашивать у людей на хлеб.

— Я б на его месте предпочел умереть,— сказал парикмахер.— Пустил бы себе пулю в лоб.

— Ой, какие вы храбрецы! — воскликнула Маня.— А как дойдет до дела, то будете обходить смерть за сто верст. Вы же не имеете понятия, как любовь может спалить до пепла женское сердце.

— Что женское, что мужское сердце,— ответил парикмахер и пожал плечами,— какая разница!

Из парикмахерской я пошел на постоялый двор. Ни Иоськи, ни Никифора там не было. Кушер сидел в потертом жилете у окна и пил чай. В комнате жужжали жирные мухи.

Маленький пароход пришел только к вечеру. Он простоял в Чернобыле до ночи. Мне дали место в салоне на облезлом клеенчатом диване.

Ночью опять нанесло туман. Пароход приткнулся носом к берегу. Так он простоял до позднего утра, пока туман не рассеялся. Никифора я на пароходе не нашел. Должно быть, он запил вместе с Иоськой.

Я так подробно рассказал об этом случае потому, что, вернувшись в Киев, тотчас сжег тетради с первыми ранними своими стихами. Без всякой жалости я смотрел, как превращались в пепел изысканные фразы и гибли без возврата «пенные хрустали», «сапфирные небеса», таверны и пляски гитан.

Отрезвление пришло сразу. Любовь, оказывается, сопровождалась не «томлением умирающих лилий», а комьями навоза. Его бросали в спину прекрасной, любящей женщине.

Думая об этом, я решил написать свой первый, как я говорил себе, «настоящий рассказ» о судьбе Христи.

Я долго мучился над ним и не понимал, почему он выходит у меня вялым и бледным, несмотря на трагическое содержание. Потом я догадался. Во-первых, потому, что рассказ был написан с чужих слов, и, во-вторых, потому, что я увлекся любовью Христи и оставил в стороне изуверский быт местечка.

Я заново переписал рассказ. Меня самого удивляло, что в него никак «не ложились» изысканные и красивые слова. Он требовал правды и простоты.

Когда я принес этот свой первый рассказ в редакцию журнала, где раньше печатали мои стихи, редактор сказал:

— Зря тратили порох, молодой человек. Рассказ напечатать нельзя. За одного исправника нам пропишут кузькину мать. Но вообще рассказ сделан крепко. Принесите нам что-нибудь дру-

гое. И подписывайтесь, пожалуйста, только псевдонимом. Вы же гимназист. Вас за это выгонят из гимназии.

Я забрал рассказ и спрятал его. Только на следующую весну я достал его, прочел и понял еще одно обстоятельство: в рассказе не чувствовалось автора — ни его гнева, ни мыслей, ни преклонения перед любовью Христи.

Тогда я снова переделал рассказ и отнес его редактору — не для печатания, а для оценки.

Редактор прочел его при мне, встал, похлопал меня по плечу и сказал только одно слово:

— Благословляю!

Так впервые я убедился в том, что главное для писателя — это с наибольшей полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи, даже в таком маленьком рассказе, и тем самым выразить свое время и свой народ. В этом выражении себя ничто не должно сдерживать писателя — ни ложный стыд перед читателями, ни страх повторить то, что уже было сказано (но поиному) другими писателями, ни оглядка на критиков и редактора.

Во время работы надо забыть обо всем и писать как бы для себя или для самого дорогого человека на свете.

Нужно дать свободу своему внутреннему миру, открыть для него все шлюзы и вдруг с изумлением увидеть, что в твоем сознании заключено гораздо больше мыслей, чувств и поэтической силы, чем ты предполагал.

Творческий процесс в самом своем течении приобретает новые качества, усложняется и богатеет.

Это похоже на весну в природе. Солнечная теплота неизменна. Но она растапливает снег, нагревает воздух, почву и деревья. Земля наполняется шумом, плеском, игрой капель и талых вод — тысячами признаков весны, тогда как, повторяю, солнечная теплота остается неизменной.

Так и в творчестве. Сознание остается неизменным в своей сущности, но вызывает во время работы вихри, потоки, каскады новых мыслей и образов, ощущений и слов. Поэтому иногда человек сам удивляется тому, что написал.

Писателем может быть только тот, у кого есть что сказать людям нового, значительного и интересного, тот человек, который видит многое, чего остальные не замечают.

Что касается меня, то очень скоро я понял, что могу сказать до обидного мало. И что порыв к творчеству может так же легко угаснуть, как и возник, если оставить его без пищи. Слишком небогат и узок был запас моих житейских наблюдений.

В то время книга стояла у меня над жизнью, а не жизнь над книгой. Нужно было наполнить себя жизнью до самых краев.

Поняв это, я совершенно бросил писать — на десять лет — и, как говорил Горький, «ушел в люди», начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.

Но это не была искусственно созданная жизнь. Я не был профессиональным наблюдателем или сборщиком фактов.

Нет! Я просто жил, не стараясь хоть что-нибудь записывать или запоминать для будущих книг.

Я жил, работал, любил, страдал, надеялся, мечтал, зная только одно — что рано или поздно, в зрелом возрасте или, может быть, даже в старости, но я начну писать, вовсе не оттого, что я поставил себе такую задачу, а потому, что этого требовало мое существо. И потому, что литература была для меня самым великолепным явлением в мире.

МОЛНИЯ

Как рождается замысел?

Почти не бывает двух замыслов, которые бы возникали и развивались одинаково. Очевидно, ответ на вопрос, «как рождается замысел», надо искать не вообще, а в связи с каждым отдельным рассказом, романом или повестью.

Легче ответить на вопрос, что нужно для того, чтобы замысел появился, или, говоря более сухим языком, чем должно быть обусловлено рождение замысла. Появление его всегда бывает подготовлено внутренним состоянием писателя.

Возникновение замысла, пожалуй, лучше всего объяснить путем сравнения. Сравнение вносит иногда удивительную ясность в самые сложные вещи.

Астронома Джинса спросили однажды, каков возраст нашей Земли.

— Представьте себе,— ответил Джинс,— исполинскую гору, хотя бы Эльбрус на Кавказе. И вообразите единственного маленького воробья, который беспечно скачет и клюет эту гору. Так вот, этому воробью, чтобы склевать до основания Эльбрус, понадобится примерно столько же времени, сколько существует Земля.

Сравнение, которое дало бы понять возникновение замысла, гораздо проще.

Замысел — это молния. Много дней накапливается над землей электричество. Когда атмосфера насыщена им до предела, белые кучевые облака превращаются в грозные грозовые тучи и в них из густого электрического настоя рождается первая искра — молния.

Почти тотчас же вслед за молнией на землю обрушивается ливень.

Замысел, так же как молния, возникает в сознании человека, насыщенном мыслями, чувствами и заметками памяти. Накапливается все это исподволь, медленно, пока не доходит до той степени напряжения, которое требует неизбежного разряда. Тогда весь этот сжатый и еще несколько хаотический мир рождает молнию — замысел.

Для появления замысла, как и для появления молнии, нужен чаще всего ничтожный толчок.

Кто знает, будет ли это случайная встреча, запавшее в ду-

шу слово, сон, отдаленный голос, свет солнца в капле воды или гудок парохода.

Толчком может быть все, что существует в мире вокруг нас и в нас самих.

Лев Толстой увидел сломанный репейник — и вспыхнула молния: появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате.

Но если бы Толстой не был на Кавказе, не знал и не слышал о Хаджи-Мурате, то, конечно, репейник не вызвал бы у него этой мысли. Толстой был внутренне подготовлен к этой теме, и только потому репейник дал ему нужную ассоциацию.

Если молния — замысел, то ливень — это воплощение замысла. Это стройные потоки образов и слов. Это книга.

Но, в отличие от слепящей молнии, первоначальный замысел зачастую бывает неясным.

«И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще неясно различал».

Лишь постепенно замысел зреет, завладевает умом и сердцем писателя обдумывается и усложняется. Но это так называемое «вынашивание замысла» происходит совсем по-иному, нежели представляют себе иные наивные люди. Оно не выражается в том, что писатель сидит, стиснув голову руками, или бродит, одинокий и дикий, выборматывая свои думы.

Совсем нет! Кристаллизация замысла, его обогащение идут непрерывно, каждый час, каждый день, всегда и повсюду, во всех случайностях, трудах, радостях и горестях нашей «быстротекущей жизни».

Чтобы дать замыслу созреть, писатель никогда не должен отрываться от жизни и целиком уходить «в себя». Наоборот, от постоянного соприкосновения с действительностью замысел расцветает и наливается соками земли.

Вообще о писательской работе существует много предвзятых мнений и предрассудков. Некоторые из них могут привести в отчаяние своей пошлостью. Больше всего опошлено вдохновение.

Почти всегда оно представляется невеждам в виде выпученных в непонятном восхищении, устремленных в небо глаз поэта или закушенного зубами гусиного пера.

Многие, очевидно, помнят кинокартину «Поэт и царь». Там Пушкин сидит, мечтательно подняв глаза к небу, потом судорожно хватается за перо, начинает писать, останавливается, вновь возводит глаза, грызет гусиное перо и опять торопливо пишет.

Сколько мы видели изображений Пушкина, где он похож на восторженного маньяка!

На одной художественной выставке я слышал любопытный разговор около скульптуры кургузого и как бы завитого перманентом Пушкина с «вдохновенным» взором. Маленькая девочка

долго смотрела, сморщившись, на этого Пушкина и спросила мать:

— Мама, он мечту мечтает? Или что?

— Да, доченька, дядя Пушкин мечтает мечту,— разнеженно ответила мать.

Дядя Пушкин «грезит грезу!» Тот Пушкин, что сказал о себе: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в наш жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал!»

А если «святое» вдохновение «осеняет» (обязательно «святое» и обязательно «осеняет») композитора, то он, вздымая очи, плавно дирижирует для самого себя теми чарующими звуками, какие, несомненно, звучат сейчас в его душе,— совершенно так, как на слащавом памятнике Чайковскому в Москве.

Нет! Вдохновение — это строгое рабочее состояние человека. Душевный подъем не выражается в театральной позе и приподнятости. Так же как и пресловутые «муки творчества».

Пушкин сказал о вдохновении точно и просто: «Вдохновение есть расположение души к живому приятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных». «Критики,— сказал он вдобавок,— смешивают вдохновение с восторгом». Так же как читатели смешивают иногда правду с правдоподобием.

Это было бы еще полбеды. Но когда иные художники и скульпторы смешивают вдохновение с «телячьим восторгом», то это выглядит как полное невежество и неуважение к тяжелому писательскому труду.

Чайковский утверждал, что вдохновение — это состояние, когда человек работает во всю свою силу, как вол, а вовсе не кокетливо помахивает рукой.

Прошу извинить меня за это отступление, но все, о чем я говорил выше,— совсем не пустяк. Это признак того, что жив еще пошляк и обыватель.

Каждый человек хотя бы и несколько раз за свою жизнь, но пережил состояние вдохновения — душевного подъема, свежести, живого восприятия действительности, полноты мысли и сознания своей творческой силы.

Да, вдохновение — это строгое рабочее состояние, но у него есть своя поэтическая окраска, свой, я бы сказал, поэтический подтекст.

Вдохновение входит в нас как сияющее летнее утро, только что сбросившее туманы тихой ночи, забрызганное росой, с зарослями влажной листвы. Оно осторожно дышит нам в лицо своей целебной прохладой.

Вдохновение — как первая любовь, когда сердце громко стучит в предчувствии удивительных встреч, невообразимо прекрасных глаз, улыбок и недомолвок.

Тогда наш внутренний мир настроен тонко и верно, как некий волшебный инструмент, и отзывается на все, даже самые скрытые, самые незаметные звуки жизни.

О вдохновении написано много превосходных строк у писателей и поэтов. «Но лишь божественный глагол до слуха чуткого коснется» (Пушкин). «Тогда смиряется души моей тревога» (Лермонтов). «Приближается звук. И, покорна щемящему звуку, молодеет душа» (Блок). Очень точно сказал о вдохновении Фет:

Одним толчком согнать ладью живую
С наглаженных отливами песков,
Одной волной подняться в жизнь иную,
Учуять ветр с цветущих берегов,

Тоскливый сон прервать единым звуком,
Упиться вдруг неведомым, родным,
Дать жизни вздох, дать сладость тайным мукам,
Чужое вмиг почувствовать своим...

Тургенев называл вдохновение «приближением бога», озарением человека мыслью и чувством. Он со страхом говорил о неслыханном мучении для писателя, когда он начинает претворять это озарение в слова.

Толстой сказал о вдохновении, пожалуй, проще всех: «Вдохновение состоит в том, что вдруг открывается то, что можно сделать. Чем ярче вдохновение, тем больше должно быть кропотливой работы для его исполнения».

Но как бы мы ни определяли вдохновение, мы знаем, что оно плодотворно и не должно исчезнуть бесследно, не одарив собою людей.

БУНТ ГЕРОЕВ

В старое время, когда люди переезжали с квартиры на квартиру, для переноски вещей нанимали иногда арестантов из местной тюрьмы.

Мы, дети, всегда ждали появления этих арестантов со жгучим любопытством и жалостью.

Арестантов приводили усатые надзиратели с огромными револьверами «бульдогами» на поясах. Мы во все глаза смотрели на людей в серой арестантской одежде и серых круглых шапочках. Но почему-то с особенным уважением разглядывали мы тех арестантов, у которых были подвязаны ремешком к поясу звенящие тонкие кандалы.

Все это было очень таинственно. Но самым удивительным представлялось то обстоятельство, что почти все арестанты оказывались обыкновенными усталыми людьми и до того добродушными, что никак нельзя было поверить, что они злодеи и преступники. Наоборот, они были не то что вежливы, а просто деликатны, и больше всего боялись кого-нибудь ушибить при переноске громоздкой мебели или что-нибудь поломать.

У нас, детей, по соглашению со взрослыми, был выработан хитрый план. Мама уводила надзирателей на кухню пить чай, а мы в это время торопливо засовывали в карманы арестантам

хлеб, колбасу, сахар, табак, а иногда и деньги. Их нам давали родители.

Мы воображали, что это рискованное дело, и были в восторге, когда арестанты благодарили нас шепотом, подмигивая в сторону кухни, и перепрятывали наши гостинцы подальше, во внутренние потайные карманы.

Иногда арестанты незаметно давали нам письма. Мы наклеивали на них марки и потом шли всей гурьбой бросать в почтовый ящик. Перед тем как бросить письмо в ящик, мы оглядывались: нет ли поблизости пристава или городового? Как будто они могли догадаться, какое письмо мы отправляем.

Среди арестантов я помню человека с седой бородой. Его называли старостой.

Он распоряжался переноской вещей. Вещи, особенно шкафы и пианино, застревали в дверях, их трудно было развернуть, а иногда они никак не становились на предназначенное для них новое место, сколько арестанты с ними ни бились. Вещи явно сопротивлялись. В таких случаях староста говорил по поводу какого-нибудь шкафа:

— Ставьте его там, где ему хочется. Что вы его мордуете! Я пять лет перевожу вещи и характер ихний знаю. Раз вещь стоять здесь не желает, так сколько на нее ни жми — не уступит. Поломается, а не уступит.

Я вспомнил об этой сентенции старого арестанта в связи с писательскими планами и поступками литературных героев. В поведении вещей и этих героев есть что-то общее. Герои часто вступают в борьбу с автором и почти всегда побеждают его. Но разговор об этом еще впереди.

Конечно, почти все писатели составляют планы своих будущих вещей. Некоторые разрабатывают их подробно и точно. Другие — очень приблизительно. Но есть писатели, у которых план состоит всего из нескольких слов, как будто не имеющих между собой никакой связи.

И только писатели, обладающие даром импровизации, могут писать без предварительного плана. Из русских писателей таким даром обладал в высокой степени Пушкин, а из современных нам прозаиков — Алексей Николаевич Толстой.

Я допускаю мысль, что писатель гениальный тоже может писать без всякого плана. Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет вызывает у него неиссякаемый поток ассоциаций.

Молодой Чехов сказал Короленко:

— Вот у вас стоит на столе пепельница. Хотите, я напишу сейчас же о ней рассказ.

И он бы написал его, конечно.

Можно представить себе, что человек, подобрав на улице измятый рубль, начнет с этого рубля свой роман, начнет как бы шутя, легко и просто. Но вскоре этот роман пойдет и вглубь и вширь, заполнится людьми, событиями, светом, красками и

начнет литься свободно и ровно, подгоняемый воображением, требуя от писателя все новых жертв, требуя, чтобы писатель отдавал ему драгоценные запасы образов и слов.

И вот уже в повествовании, начавшемся со случайности, возникают мысли, возникает сложная судьба людей. И писатель уже не в силах справиться со своим волнением. Он, как Диккенс, плачет над страницами своей рукописи, стонет от боли, как Флобер, или хохочет, как Гоголь.

Так в горах от ничтожного звука, от выстрела из охотничьего ружья начинает сыпаться по крутому склону блестящей полоской снег. Вскоре он превращается в широкую снежную реку, несущуюся вниз, и через несколько минут в долину срывается лавина, сотрясая грохотом ущелье и наполняя воздух искристой пылью.

Об этой легкости возникновения творческого состояния у людей гениальных и к тому же обладающих даром импровизации упоминают многие писатели.

Недаром Баратынский, хорошо знавший, как работал Пушкин, сказал о нем:

...Пушкин молодой, сей ветреник блестящий,
Все под пером своим шутя животворящий...

Я упомянул о том, что некоторые планы кажутся набором слов.

Вот небольшой пример. У меня есть рассказ «Снег». Перед тем как ему появиться, я исписал лист бумаги, и из этих записей и родился рассказ. Как же выглядят эти записи?

«Забытая книга о севере. Основной цвет севера — фольга. Пар над рекой. Женщины полощут белье в прорубях. Дым. Надпись на колокольчике у Александры Ивановны: «Я вишу у дверей,— звони веселей!» «И колокольчик, дар Валдая, звенит уныло под дугой». Их зовут «дарвалдаями». Война. Таня. Где она, в каком глухом городке? Одна. Тусклая луна за облаками,— страшная даль. Жизнь сжата в небольшой круг света. От лампы. Всю ночь что-то гудит в стенах. Ветки царапают о стекла. Мы очень редко выходим из дома в самую глухую пору зимней ночи. Это надо проверить... Одиночество и ожидание. Старый недовольный кот. Ему ничем нельзя угодить. Все как будто видно — даже витые свечи (оливковые) на рояле, но пока что ничего больше нет. Искала квартиру с роялем (певица). Эвакуация. Рассказ об ожидании. Чужой дом. Старомодный, по-своему уютный, фикусы, запах старого табака Стамболи или Месаксуди. Жил старик и помер. Ореховый письменный стол с желтыми пятнами на зеленом сукне. Девочка. Золушка. Нянька. Больше пока никого нет. Любовь, говорят, притягивает на расстоянии. Можно написать рассказ только об ожидании. Чего? Кого? Она сама не знает этого. Это разрывает сердце. На пересечении сотен дорог случайно стал-

киваются люди, не зная, что вся их прошлая жизнь была подготовкой к этой встрече. Теория вероятности. Применительно к человеческим сердцам. Для дураков все просто. Страна тонет в снегах. Неизбежность появления человека. От кого-то все приходят на имя умершего письма. Их складывают стопкой на столе. В этом — ключ. Какие письма? Что в них? Моряк. Сын. Страх перед тем, что он приедет. Ожидание. Нет предела доброте ее сердца. Письма превратились в действительность. Снова витые свечи. В ином качестве. Ноты. Полотенце с дубовыми листьями. Рояль. Березовый дым. Настройщик,— все чехи хорошие музыканты. Закутанный до глаз. Все ясно!»

Вот то, что можно с большой натяжкой назвать планом этого рассказа. Если прочесть эту запись, не зная рассказа, то станет понятно, что это хотя и медленное и неясное, но упорное нащупывание темы и сюжета.

Что же происходит с самыми точными, продуманными и выверенными писательскими планами? Правду сказать, жизнь у них большей частью короткая.

Как только в начатой вещи появляются люди и как только эти люди по воле автора оживают, они тотчас же начинают сопротивляться плану и вступают с ним в борьбу. Вещь начинает развиваться по своей внутренней логике, толчок для которой дал, конечно, писатель. Герои действуют в соответствии с их собственным характером, несмотря на то что творцом этих характеров является писатель.

Если же писатель заставит героев действовать вопреки внутренней логике, если он силой вернет их в рамки плана, то герои начнут мертветь, превращаясь в ходячие схемы, в роботов.

Эту мысль очень просто высказал Лев Толстой.

Кто-то из посетителей Ясной Поляны обвинил Толстого в том, что он жестоко поступил с Анной Карениной, заставив ее броситься под поезд.

Толстой улыбнулся и ответил:

— Это мнение напоминает мне случай с Пушкиным. Однажды он сказал какому-то из своих приятелей: «Представь. какую штуку удрала со мной Татьяна. Она замуж вышла. Этого я никак не ожидал от нее». То же самое и я могу сказать про Анну Каренину. Вообще герои и героини мои делают иногда такие штуки, каких я не желал бы! Они делают то, что должны делать в действительной жизни и как бывает в действительной жизни, а не то, что мне хочется.

Все писатели хорошо знают эту неподатливость героев. «Я в самом разгаре работы,— говорил Алексей Николаевич Толстой,— не знаю, что скажет герой через пять минут. Я слежу за ним с удивлением».

Случается, что второстепенный герой вытесняет остальных,

сам становится главным, поворачивает весь ход повествования и ведет его за собой.

Вещь по-настоящему, со всей силой, начинает жить в сознании писателя только во время работы над ней. Поэтому в ломке и крушении планов нет ничего особенного и ничего трагического.

Наоборот, это естественно и свидетельствует только о том, что подлинная жизнь прорвалась, заполнила писательскую схему и раздвинула и сломала своим живым напором рамки первоначального писательского плана.

Но это ни в коей мере не опорочивает и план, так как роль писателя далеко не сводится лишь к тому, чтобы записывать все по подсказке жизни. Ведь жизнь образов в его произведении обусловлена сознанием писателя, его памятью, воображением, опытом, всем строем его души.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОВЕСТИ

«ПЛАНЕТА МАРЦ»

Попытаюсь вспомнить, как возник замысел моей повести «Кара-Бугаз». Как все это произошло?

Во времена моего детства в Киеве, на Владимирской горке над Днепром, каждый вечер появлялся старик в пыльной шляпе со свисающими полями. Он приносил облезлый телескоп и долго устанавливал его на трех погнутых железных ногах.

Старика этого звали «Звездочетом» и считали итальянцем, потому что он нарочно коверкал русские слова на иностранный лад.

Установив телескоп, старик говорил заученным, монотонным голосом:

— Любезные синьоры и синьорины! Буона джиорно! За пять копеек вы уноситесь с Земли на Луна и разные звезды. Особенно рекомендую смотреть зловещую планету Марц, имеющую тон человеческой крови. Кто родился под знаком Марца, может враз погибнуть на войне от фузильерской пули.

Однажды я был с отцом на Владимирской горке и смотрел в телескоп на планету Марс.

Я увидел черную бездну и красноватый шар, бесстрашно висевший без всякой опоры среди этой бездны. Пока я смотрел на него, шар начал подбираться к краю телескопа и спрятался за его медный ободок. Звездочет слегка повернул телескоп и вернул Марс на прежнее место. Но тот опять начал сдвигаться к медному ободку.

— Ну как? — спросил отец.— Ты видишь что-нибудь?

— Да,— ответил я.— Я даже вижу каналы.

Я знал, что на Марсе живут люди — марсиане — и что они выкопали, неизвестно для чего, на своей планете громадные каналы.

— Ну, положим! — сказал отец.— Не выдумывай! Никаких каналов ты не видишь. Их заметил только один астроном — итальянец Скиапарелли — и то в большой телескоп.

Имя соотечественника Скиапарелли не произвело на Звездочета никакого впечатления.

— И еще я вижу какую-то планету налево от Марса,— сказал я неуверенно.— Но она почему-то бегает по небу во все стороны.

— Да яка ж це планета! — добродушно воскликнул Звездочет.— То якась гадючка заскочила тебе в глаз.

Он крепко взял меня за подбородок и ловко вытащил у меня из глаза соринку.

От зрелища Марса мне стало холодно и жутко. Я с облегчением оторвался от телескопа, и киевские улицы с их неяркими огнями, грохотом извозчичьих пролеток и пыльным запахом отцветающих каштанов показались мне уютными и надежными.

Нет, в то время у меня не было никакой охоты унестись с Земли на Луну или Марс!

— Почему он красный? — спросил я отца.

Отец рассказал мне, что Марс — умирающая планета, что она была такой же прекрасной, как наша Земля,— с морями, горными кряжами и буйной зеленью, но постепенно моря и реки высохли, зелень умерла, горы выветрились до основания, и Марс превратился в исполинскую песчаную пустыню. Должно быть, горы на Марсе были из красного камня, поэтому и песок на Марсе красноватый.

— Значит, Марс — шар из песка? — спросил я.

— Да, пожалуй,— согласился отец.— То, что случилось с Марсом, может случиться и с нашей Землей. Она превратится в пустыню. Но это будет через многие миллионы лет. Так что ты не пугайся. Да в конце концов люди что-нибудь придумают к тому времени и прекратят это безобразие.

Я ответил, что совершенно не пугаюсь. Но на самом деле мне было и страшно и обидно за нашу Землю. К тому же дома я узнал от старшего брата, что уже сейчас пустыни занимают чуть ли не половину всей площади на Земле.

С тех пор боязнь пустыни (хотя я ее еще тогда и не видел) приобрела у меня навязчивый характер. И хотя я и читал в журнале «Вокруг света» заманчивые рассказы о Сахаре, самумах и «кораблях пустыни» — верблюдах, но они меня не прельщали.

Вскоре мне пришлось испытать первое знакомство с пустыней. Это еще усилило мой страх перед ней.

На лето мы всей семьей поехали в деревню к деду Максиму Григорьевичу.

Лето было дождливое, теплое. Густо росли травы. Крапива около плетней вытянулась в человеческий рост. Жито колосилось на полях. От огородов тянуло сочным укропом. Все предвещало богатый урожай.

Но однажды, когда я сидел с дедом на берегу реки и удил пескарей, дед вдруг поспешно встал, прикрыл ладонью глаза от солнца, долго всматривался в поля за рекой, потом с досадой плюнул и сказал:

— Катится, кат, чертяка! Чтоб ему сгинуть навеки!

Я посмотрел в ту сторону, куда глядел дед, но ничего не увидел, кроме длинного мутного вала. Он быстро приближался. Я думал, что это подходит гроза, но дед сказал:

— Та то же суховей! Пекло проклятое! Ветер из Бухары, с пустыни. Все попалит! От какое несчастье наближается, Костик. Не буде чем даже дыхаты.

Зловещий вал несся по земле прямо на нас. Дед торопливо сматывал свою длинную удочку из орешины и говорил мне:

— Тикай до хаты, а то забьет глаза пылью. А я поплетусь следом. Тикай!

Я побежал к хате, но суховей настиг меня в пути. Вихри неслись, шурша песком и подымая к небу птичий пух и щепки. Тяжелая муть заволокла все вокруг. Солнце вдруг сделалось косматым и багровым, как Марс. Закачались и засвистели ракиты. Сзади дохнуло таким жаром, будто у меня на спине затлела рубашка. Пыль трещала на зубах и порошила глаза.

На пороге хаты стояла моя тетушка Феодосия Максимовна и держала в руках икону, завернутую в шитый рушник.

— Господи, спаси и помилуй! — испуганно бормотала она.— Пречистая богородица, пронеси краем!

На хату налетел, кружась, смерч. Зазвенели плохо замазанные стекла. Солома на стрехе задралась. Из-под нее, как черные пули, залпом вылетели воробьи.

Отца с нами в то время не было — он остался в Киеве. Мама была заметно встревожена.

Я помню, что тяжелее всего был нарастающий жар. Я думал, что через час-два загорится солома на крыше, а потом и у нас затлеют волосы и платье. Поэтому я заплакал.

К вечеру листья на густых ракитах поникли и висели, как серые тряпки.

У всех плетней ветер намел сугробы мелкой, как мошкара, черноватой пыли.

К утру листва пожухла и высохла. Сорванные листья можно было растереть пальцами в порошок. Ветер усилился. Он начал срывать эту мертвую, грязную листву, и многие деревья стояли уже обнаженные и черные, как поздней осенью.

Дед ходил на поля и вернулся растерянный и жалкий. Он никак не мог развязать завязку у ворота своей посконной рубахи, руки у него тряслись, и он говорил:

— Когда за ночь не утихомирится, то чисто попалит все жито. И садочки и огороды.

Но ветер не утихомирился. Он дул две недели, потом немного стих и задул с новой силой. Земля на глазах превращалась в серое пепелище.

По хатам голосили женщины. Мужики понуро сидели на завалинках, прячась от ветра, ковыряли палками-дрючками землю и изредка говорили:

— Каменюка, а не земля! Прямо смерть ухопила тебя за свитку, и некуда кинуться человеку.

Из Киева приехал отец и забрал нас в город. Когда я начал расспрашивать его про суховей, он неохотно ответил:

— Пропал урожай. Пустыня идет на Украину.

— А можно что-нибудь сделать? — спросил я.

— Ничего. Не выстроишь же высокую каменную стену в две тысячи верст длиной.

— Почему? — спросил я.— Построили ведь китайцы свою Великую стену.

— Так то китайцы,— ответил отец.— Они были великие мастера, да и когда это было.

Эти детские впечатления с годами как будто забылись. Но конечно, они продолжали жить в глубине моей памяти и изредка прорывались наружу. Чаще всего во время засух, всегда вызывавших у меня непонятное беспокойство.

К зрелым своим годам я полюбил Среднюю Россию. Возможно, что толчком к этой любви была свежесть ее природы, обилие чистых и прохладных вод, сырые лесные чащи, моросящие, пасмурные дожди.

Поэтому, когда засуха докатывалась до Средней России и врезалась в нее палящим клином, мое беспокойство сменялось бессильной яростью против пустыни.

ЛИВЕНСКИЕ ГРОЗЫ

Прошло много времени, и пустыня опять напомнила о себе.

В 1931 году я поехал на лето в город Ливны Орловской области. Я готовил тогда к печати мой первый, давно написанный роман, и меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где нет ни души знакомых, где можно сосредоточиться и никто и ничто не помешает работать.

В Ливнах я никогда не был. Городок понравился мне чистотой, множеством цветущих подсолнухов, своими мостовыми из цельных каменных плит и рекой Быстрая Сосна, вырывшей ущелье в толще желтого девонского известняка.

Я снял комнату на окраине, в деревянном ветхом доме. Он стоял на обрыве над рекой. Позади дома тянулся и переходил в береговые заросли наполовину высохший сад.

У пожилого и робкого хозяина — продавца газет в станционном киоске — была мрачная, тощая жена и две дочери: старшая — Анфиса и младшая — Полина.

Полина — слабенькая, прозрачная,— когда разговаривала со мной, все время расплетала и заплетала от смущения русую косу. Ей было семнадцать лет.

Анфиса была статная девушка лет девятнадцати, с бледным лицом, строгими серыми глазами и низким голосом. Она ходила в черном, как послушница, и почти ничего не делала по дому,— только часами лежала в саду на сухой траве и читала.

На чердаке у хозяина было свалено много тронутых мышами книг, главным образом сочинений иностранных классиков в издании Сойкина. Я тоже брал с чердака эти книги.

Несколько раз я замечал сверху, из сада, Анфису на берегу Быстрой Сосны. Она сидела под крутым обрывом, около куста боярышника, рядом с хилым подростком, лет шестнадцати, светловолосым, тихим, с большими пристальными глазами.

Анфиса приносила ему тайком на берег чего-нибудь поесть. Мальчик ел, а Анфиса смотрела на него с нежностью и иногда гладила его по волосам.

Однажды я видел, как она вдруг закрыла лицо ладонями и затряслась от рыданий. Мальчик перестал есть и смотрел на нее с испугом. Я незаметно ушел и долго старался не думать об Анфисе и мальчике.

А я-то наивно рассчитывал, что в тихих Ливнах никто не вырвет меня из круга тех людей и событий, о которых я писал в своем романе! Но жизнь тотчас же разбила вдребезги мои наивные надежды. Конечно, ни о какой сосредоточенности, ни о каком покое для работы не могло быть и речи, пока я не узнаю, что с Анфисой. Еще до того, как я увидел ее с мальчиком, я подумал, глядя на ее измученные глаза, что в жизни у нее есть какая-то горькая тайна.

Так оно и оказалось.

Через несколько дней я проснулся среди ночи от раскатов грома. Грозы в Ливнах бывали очень часто. Жители объясняли это тем, что Ливны стоят на залежах железной руды и будто бы эта руда и «присасывает» грозы.

Ночь металась за окнами, то распахиваясь стремительным белым огнем, то сжимаясь в непроглядную тьму. За стеной были слышны взволнованные голоса. Потом я услышал, как Анфиса гневно крикнула:

— Кто это придумал? В каком это законе написано, что мне нельзя его полюбить? Покажите мне этот закон! Дали мне жизнь, так не отымайте. Он с каждым днем чахнет, как свечечка. Как свечечка! — крикнула она и задохлась.

— Мать, уймись! — неуверенно прикрикнул хозяин на жену.— Пусть живет, дура, по своему сердцу. С ней не сладишь. А денег я тебе, Анфиса, все одно не дам.

— Не нужны мне ваши проклятые деньги! — крикнула Анфиса.— Я сама заработаю, увезу его в Крым. Может, там он хоть лишний год проживет. Уйду я от вас все равно. Сраму вам не миновать. Так и знайте!

Я начал догадываться, что происходит. За дверью в коридорчике кто-то тоже плакал и сморкался.

Я открыл дверь и при воровском блеске молнии увидел По-

лину. Она стояла, прижавшись лбом к стене, закутанная в длинную шаль.

Я тихо окликнул ее. Гром расколол небо и, казалось, одним ударом вогнал домишко в землю по самую крышу. Полина испуганно схватила меня за руку.

— Господи! — прошептала она.— Что же это будет? А тут еще такая гроза!

Она рассказала мне шепотом, что Анфиса полюбила всем сердцем Колю, сына вдовы Карповны. Карповна ходит по домам, занимается стиркой. Женщина она тихая, бессловесная. А Коля больной, у него туберкулез. Анфиса нравная, горячая, с ней никто не справится. Она или сделает по-своему, или наложит на себя руки.

Голоса за стеной неожиданно замолкли. Полина убежала к себе. Я лег, но долго прислушивался и не мог заснуть. У хозяев все было тихо. Тогда я задремал. Сквозь дремоту я слышал ленивые раскаты грома и лай собак. Потом я уснул.

Проспал я, должно быть, очень недолго. Разбудил меня сильный стук в дверь. Стучал хозяин.

— Беда у нас,— сказал он за дверью мертвым голосом.— Не взыщите, что обеспокоил.

— А что случилось?

— Анфиса убежала. В чем была. Я пойду на Слободку, к Карповне. Наверное, она туда кинулась. А вы уж, пожалуйста, побудьте с моими. Жена лежит без памяти.

Я торопливо оделся, отнес хозяйке валерьянку. Полина окликнула меня, и я вышел с ней на крыльцо. Не могу объяснить почему, но я знал, что сейчас случится несчастье.

— Пойдемте на берег,— тихо сказала Полина.

— Фонарь у вас есть?

— Есть.

— Несите скорей.

Полина принесла тусклый фонарь, и мы спустились по скользкому обрыву к реке.

Я был уверен, что Анфиса где-то здесь, рядом.

— Анфиса-а-а! — вдруг отчаянно закричала Полина, и этот крик почему-то напугал меня. «Напрасно она закричала! — подумал я.— Напрасно!»

Молнии полыхали за рекой, уже обессиленные и тихие. Гром едва докатывался. В кустах на обрыве шуршали капли.

Мы пошли вниз по течению реки. Фонарь чуть светил. Потом прямо над головой небо загорелось от запоздалой молнии, и в ее свете я увидел, что впереди на берегу что-то белеет.

Я подошел к этому белому и нагнулся над ним. Я увидел платье Анфисы и ее сорочку. Тут же валялись ее мокрые туфли.

Полина закричала и бросилась назад, к дому. Я добежал до парома, разбудил перевозчика. Мы сели в дощаник и поплыли, все время пересекая реку от одного берега к другому и вглядываясь в воду.

— Нешто ночью найдешь, да еще при таком дожде! — говорил перевозчик и зевал — сон у него еще не прошел.— Пока не всплывет, все равно не сыщешь. Знать, и красивых смерть не щадит. Вот оно как, милый мой. Разделась, значит, чтобы легче было ей помирать. Ну и девица!

Нашли Анфису на следующее утро около плотины.

В гробу она лежала невыразимо прекрасная, со своими влажными, тяжелыми косами червонного золота и виноватой улыбкой на бледных губах.

Какая-то старушка сказала мне:

— Ты на нее не гляди, милый. Нельзя. Ведь это ж красота такая, что сердце невзначай разорвется.

Но я не мог не смотреть на Анфису. Впервые в жизни я сам оказался свидетелем той безмерной женской любви, которая сильнее смерти. До тех пор я читал о ней только в книгах и слышал о ней. Почему-то мне тогда подумалось, что такой любви больше всего отпущено на долю русских женщин.

На похоронах было много народу. Коля шел далеко позади — боялся родных Анфисы. Я хотел было подойти к нему, но он бросился от меня, свернул в переулок и исчез.

Все было перевернуто на сердце, и я не мог больше написать ни строчки. Пришлось переехать с окраины в город, вернее — не в город, а на станцию, в низкий, темноватый дом железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой.

Незадолго до смерти Анфисы я проходил через городской сад. Около летнего кино сидело на земле множество мальчишек. Они, видимо, чего-то дожидались и трещали, как воробьи.

Но вот из кино появился седой человек, роздал мальчишкам билеты, и они, теснясь и переругиваясь, ринулись в зал.

Судя по моложавому лицу, седому человеку было не больше сорока лет. Он добродушно прищурился, посмотрел на меня, помахал мне рукой и ушел.

Я решил разузнать у мальчишек, что это за чудак. Вошел в кино и просидел полтора часа на старой картине «Красные дьяволята», слушая свист, топанье, возгласы восторга и ужаса и сопенье мальчишек. Когда сеанс окончился, я вышел вместе с ними и спросил, что это за седой человек покупал им билеты.

Тотчас вокруг меня собрался крикливый мальчишеский митинг, и все более или менее прояснилось.

Оказалось, что седой человек — брат железнодорожного врача Марии Дмитриевны Шацкой. Он больной, «тронутый мозгами». Получает от Советского правительства большую пенсию. А за что — неизвестно. Раз в месяц, в тот день, когда ему приносят пенсию, он собирает всех станционных мальчишек и ведет их в кино.

Мальчишки точно знали, когда придет пенсия. В этот день они с раннего утра толклись около дома Шацкого, сидели в привокзальном палисаднике и делали вид, что очутились там совершенно случайно.

Вот все, что мне удалось узнать от мальчишек. Не считая, конечно, подробностей, не имевших отношения к делу. Например, что мальчишки из Ямской слободы тоже хотели примазаться к Шацкому, но станционные дали им сокрушительный отпор.

Моя хозяйка после смерти Анфисы так и не вставала с постели, все жаловалась на сердце. Однажды к ней пришел врач — Мария Дмитриевна Шацкая, и я с ней познакомился. Это была высокая, весьма решительная женщина в пенсне. До пожилых лет она сохранила внешность курсистки.

От нее я узнал, что брат ее геолог, что он психически болен и действительно получает персональную пенсию за свои научные труды, широко известные и у нас и в Европе.

— Незачем вам здесь жить,— тоном врача, не привыкшего к возражениям, сказала мне Мария Дмитриевна.— Скоро осень, польют дожди, тут будет непролазная слякоть. Да и обстановка мрачноватая, куда тут работать! Переезжайте ко мне. У меня мать-старушка, брат да я, а квартира при станции в пять комнат. Брат деликатный человек и мешать вам не будет.

Я согласился и переехал к Марии Дмитриевне. Так я познакомился с геологом Василием Дмитриевичем Шацким — одним из будущих героев моей повести «Кара-Бугаз».

В доме было действительно тихо, даже как-то сонно. Мария Дмитриевна весь день пропадала в амбулатории и по больным, старушка-мать сидела за пасьянсом, а геолог редко выходил из своей комнаты. С утра он прочитывал от доски до доски газеты, потом почти до ночи что-то быстро писал, исписывая за день толстую общую тетрадь.

Изредка с пустынной станции доносились гудки единственного маневрового паровоза.

Шацкий сначала дичился меня, потом привык и начал разговаривать. В этих разговорах выяснился характер его болезни. С утра, пока Шацкий не уставал, он был совершенно здоровым человеком и интересным собеседником. Он много знал. Но при малейшей усталости начинался бред. В основе этого бреда лежала маниакальная идея, но развивалась она с неумолимой логикой.

История болезни Шацкого описана в «Кара-Бугазе». Во время геологической экспедиции в Среднюю Азию он попал в плен к белым. Его вместе с остальными пленными каждый день выводили на расстрел. Но Шацкому везло. Когда расстреливали по счету каждого пятого, он оказывался третьим, когда каждого второго — он оказывался первым. Он уцелел, но сошел с ума. Сестра с трудом отыскала его в Красноводске, где он жил в разбитом товарном вагоне.

Каждый день к вечеру Шацкий ходил на ливенскую почту и сдавал заказное письмо в Совет Народных Комиссаров. По просьбе Марии Дмитриевны, начальник почты эти письма в Москву не отправлял, а возвращал ей, и она их сжигала.

Меня интересовало, что пишет Шацкий в этих своих донесениях. Вскоре я это узнал.

Как-то вечером он вошел ко мне, когда я лежал и читал. Мои туфли стояли около койки, носками к середине комнаты.

— Никогда так не ставьте туфли,— сердито сказал Шацкий.— Это опасно.

— Почему?

— Сейчас узнаете.

Он вышел и через минуту принес мне лист бумаги.

— Прочтите! — сказал он.— Когда кончите, то постучите в стенку. Я приду и, если вы чего-нибудь не поняли, объясню.

Он ушел. Я начал читать:

«В Совет Народных Комиссаров. Неоднократно я предупреждал Совет Народных Комиссаров о приближении грозной опасности, сулящей гибель нашей стране.

Всем известно, что в геологических пластах заключена мощная материальная энергия (как, например, в каменном угле, нефти, сланце). Человек научился освобождать эту энергию и использовать ее.

Но мало кто знает, что в этих же пластах спрессована и психическая энергия тех эпох, когда эти пласты слагались.

Город Ливны стоит на самых мощных в Европе толщах девонского известняка. В девонский период на земле только что зарождалось сумеречное сознание, жестокое, лишенное малейших признаков человечности. Тусклый мозг панцирных рыб был тогда преобладающим.

Эта зачаточная психическая энергия сконцентрировалась в моллюсках-аммонитах. Окаменелыми аммонитами буквально насыщены пласты девонского известняка.

Каждый аммонит — маленький мозг того периода и заключает в себе огромную и злую психическую энергию.

За много веков люди, к счастью, не научились освобождать психическую энергию геологических напластований. Я говорю «к счастью» потому, что эта энергия, если бы ее удалось вывести из состояния покоя, погубила бы всю цивилизацию. Люди, отравленные ею, превратились бы в жестоких зверей и ими руководили бы только низменные, слепые инстинкты. А это означало бы гибель культуры.

Но, как я уже неоднократно сообщал Совету Народных Комиссаров, фашисты нашли способ развязывать психическую энергию девона и оживлять аммониты.

Поскольку самые богатые толщи девона лежат под нашими Ливнами, то именно здесь фашисты и собираются выпустить эту энергию. Если это удастся, то невозможно будет предотвратить моральную, а затем и физическую гибель всего человеческого рода.

План освобождения психической энергии девона в районе Ливен разработан фашистами до мельчайших подробностей.

Как все сложнейшие планы, он легко уязвим. Стоит не предусмотреть пустую мелочь — и план сорвется.

Поэтому, помимо необходимости немедленно окружить Ливны крупными воинскими соединениями, следует дать строжайшее распоряжение жителям города, чтобы они отказались от привычных поступков (поскольку план фашистов рассчитан именно на привычное течение жизни в Ливнах) и совершали бы поступки как раз обратные тем, каких могли бы ожидать фашисты. Поясню это примером. Все граждане Ливен, ложась спать, ставят свою обувь около постели носками к середине комнаты. Впредь следует ставить ее носками к стене. Именно эта частность, возможно, не предусмотрена планом, и от такого, в сущности, пустяка он будет сорван.

Должен добавить, что естественное (правда, ничтожное) просачивание психической заразы из пластов девона в Ливнах приводит к тому, что нравы этого города гораздо грубее, чем в других такого же размера и типа городах. Три города стоят на толщах девонского известняка: Кромы, Ливны и Елец. Недаром о них существовала старая поговорка: «Кромы — всем ворам хоромы, Ливны — ворами дивны, а Елец — всем ворам отец».

Эмиссаром фашистского правительства в Ливнах является местный аптекарь».

...Теперь мне стало ясно, почему Шацкий повернул мои туфли носками к стене. Вместе с тем мне стало жутко. Я понял всю непрочность спокойствия в семье Шацких. Каждую минуту можно было ждать взрыва.

Вскоре я заметил, что эти взрывы случались не так уж редко, но мать Шацкого и Мария Дмитриевна умели скрывать их от посторонних.

На следующий вечер, когда все мы сидели за чайным столом и мирно разговаривали о гомеопатии, Шацкий взял крынку с молоком и спокойно вылил молоко в самоварную трубу. Старушка-мать вскрикнула. Мария Дмитриевна строго посмотрела на Шацкого и сказала:

— Ты чего чудишь?

Шацкий, виновато улыбаясь, начал объяснять, что именно такой дикий поступок с молоком и самоваром наверняка не предусмотрен фашистами в их плане и потому, конечно, разрушит этот план и спасет человечество.

— Иди к себе! — так же строго сказала Мария Дмитриевна, встала и с сердцем открыла настежь окна, чтобы выпустить из комнаты чад пригорелого молока.

Шацкий, опустив голову, покорно ушел к себе.

Но в свои «ясные часы» Шацкий охотно и много говорил. Тогда-то я и узнал, что он больше всего работал в Средней Азии и был одним из первых исследователей Кара-Бугазского залива.

Он обошел его восточные берега. В то время это считалось

предприятием почти смертельным. Он описал их, нанес на карту и открыл в сухих горах вблизи залива присутствие каменного угля.

От Шацкого я впервые узнал о Кара-Бугазе — устрашающем и загадочном заливе Каспийского моря, о неисчерпаемых запасах мирабилита в его воде, о возможности уничтожения пустыни.

Пустыню Шацкий ненавидел так, как можно ненавидеть только живое существо,— страстно и неумолимо. Он называл ее сухой язвой, струпом, раком, разъедающим землю, непонятной подлостью природы.

— Пустыня умеет только убивать,— говорил он.— Это смерть. Человечество должно понять это. Если оно, конечно, не спятило с ума.

Странно было слышать такие слова от сумасшедшего.

— Ее надо скрутить в бараний рог, не давать ей дохнуть, бить ее непрерывно, смертельно, беспощадно. Бить без устали, пока она не сдохнет. И на ее трупе вырастить влажный тропический рай.

Он разбудил во мне дремавшую ненависть к пустыне — отголосок моих детских переживаний.

— Если бы люди,— говорил Шацкий,— потратили на истребление пустыни только половину средств и сил, какие они тратят на взаимное убийство, то пустыня давно бы исчезла. Войне отдают все народные богатства и миллионы человеческих жизней. И науку и культуру. Даже поэзию сумели сделать сообщницей массовой резни.

— Вася! — громко сказала из своей комнаты Мария Дмитриевна.— Успокойся! Войны больше не будет. Никогда.

— Никогда — это ерунда! — неожиданно ответил ей Шацкий.— Не дальше как сегодня ночью оживут аммониты. И знаете где? Около Адамовской мельницы. Пойдемте прогуляемся и проверим.

Начинался бред. Мария Дмитриевна увела брата, дала ему «бехтеревки» и уложила в постель.

Мне же хотелось поскорей закончить роман, чтобы начать новую книгу об уничтожении пустыни. Так появился еще неясный замысел «Кара-Бугаза».

Из Ливен я уехал поздней осенью. Перед отъездом я пошел к прежним хозяевам попрощаться.

Старуха все еще лежала. Старика не было дома. Полина пошла проводить меня до города.

Были сумерки. Лед трещал в колеях. Сады почти осыпались, но кое-где еще висели на яблонях сухие розовые листья. В застывшем небе гасло последнее облако, освещенное холодным закатом.

Полина шла рядом со мной и доверчиво держала меня за руку. От этого она казалась мне маленькой девочкой, и нежность к ней — одинокой и застенчивой — заполнила мое сердце.

Из городского кино долетала заглушенная музыка. В домах зажигались огни. Самоварный дымок висел над садами. За голыми ветками деревьев уже блестели звезды.

Непонятное волнение сжало мне сердце, и я подумал, что ради этой прекрасной земли, даже ради одной такой девушки, как Полина, нужно звать людей к борьбе за радостное и осмысленное существование. Все, что угнетает и печалит человека, все, что вызывает хотя бы одну слезу, должно быть вырвано с корнем. И пустыни, и войны, и несправедливость, и ложь, и пренебрежение к человеческому сердцу.

Полина дошла со мной до первых городских домов. Там я попрощался с ней. Она потупилась, начала расплетать свою русую косу и неожиданно сказала:

— Я буду много читать теперь, Константин Георгиевич.

Она подняла смущенные глаза, протянула мне руку и быстро пошла домой.

•

Я ехал в Москву в переполненном жестком вагоне.

Ночью я вышел покурить в тамбур, опустил окно и высунулся наружу.

Поезд несся по насыпи сквозь облетевшие леса. Их почти не было видно. Они больше угадывались по звуку — по тому торопливому эху, которое рождал в их чащах грохот колес. Воздух, будто остуженный на зернистом снегу, веял в лицо запахом подмерзшей листвы.

А над лесами мчалось, не отставая от поезда, дымясь от нестерпимо ярких звезд, осеннее полуночное небо. Коротко гремели мосты. Несмотря на быстрый ход поезда, можно было заметить под ними мгновенные отблески звезд в темной — не то болотной, не то речной — воде.

Поезд грохотал, гремел, в пару, в дыму. Пылали, догорая, свечи в дребезжащих фонарях. За окнами пролетали по траектории багровые искры. Паровоз ликующе кричал, опьяненный собственным стремительным ходом.

Я был уверен, что поезд мчит меня к счастью. Замысел новой книги уже роился у меня в голове. Я верил в то, что напишу ее.

Я пел, высунувшись из окна, какие-то бессвязные слова о ночи, о том, что нет на свете милее края, чем Россия. Ветер щекотал лицо, как распустившиеся душистые девичьи косы. Мне хотелось целовать эти косы, этот ветер, эту холодную родниковую землю. Но я не мог этого сделать и только бессвязно пел, как одержимый, и удивлялся красоте неба на востоке, где проступала очень слабая, очень нежная синева.

Я удивлялся прелести неба на востоке, его чистому, слабому сиянию, пока не сообразил, что это занимается новая заря.

Все, что я видел за окном, и весь тот хаос радости, что бился в груди, соединились непонятным для меня образом в решении — писать, писать и писать!

Но о чем писать? В тот миг для меня было безразлично, вокруг чего соберутся, к какой теме будут притянуты, как магнитом, мои мысли о прелести земли, мое страстное желание оградить ее от истощения, чахлости и смерти.

Через некоторое время эти мысли вылились в замысел «Кара-Бугаза». А могли вылиться и в замысел какой-нибудь другой книги, но обязательно наполненной тем же главным содержанием, теми же чувствами, что владели мной в то время. Очевидно, замысел почти всегда исходит из сердца.

С тех пор началась новая полоса жизни — так называемое «вынашивание» замысла, вернее — наполнение его реальным содержанием.

ИЗУЧЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ

В Москве я достал подробную карту Каспийского моря и долго странствовал (в своем воображении, конечно) по его безводным восточным берегам.

Еще в детстве у меня появилось пристрастие к географическим картам. Я мог сидеть над ними по нескольку часов, как над увлекательной книгой.

Я изучал течения неведомых рек, прихотливые морские побережья, проникал в глубину тайги, где маленькими кружочками были отмечены безыменные фактории, повторял, как стихи, звучные названия — Югорский Шар и Гебриды, Гвадаррама и Инвернесс, Онега и Кордильеры.

Постепенно все эти места оживали в моем воображении с такой ясностью, что, кажется, я мог бы написать вымышленные путевые дневники по разным материкам и странам.

Даже мой романтически настроенный отец не одобрял этого чрезмерного увлечения географическими картами.

Он говорил, что оно сулит мне много разочарований.

— Если жизнь сложится удачно,— говорил отец,— и ты сможешь путешествовать, то наживешь себе одни огорчения. Ты увидишь совсем не то, что выдумал. Например, Мексика может оказаться пыльной и нищей страной, а небо над экватором — серым и скучным.

Я не верил отцу. Я не мог представить, чтобы экваториальное небо бывало хоть когда-нибудь серым. По-моему, оно было таким густым, что даже снега на Килиманджаро приобретали его индиговый цвет.

Но как бы то ни было, я ничего не мог поделать с этим увлечением. А потом, в зрелом возрасте, для меня с очевидностью выяснилось, что отец был не совсем прав.

Когда я впервые попал, например, в Крым (его я до того вдоль и поперек изучил по карте), то, конечно, он оказался совсем другим, чем я о нем думал.

Но мое предварительное представление о Крыме заставило меня увидеть его с гораздо большей зоркостью, чем если бы я

приехал в Крым без всякого понятия о нем.

На каждом шагу я находил то, чего не было в моем воображении, и эти новые черты Крыма особенно хорошо запоминались.

Мне кажется, что так же велика и роль нашего заочного «знакомства» с некоторыми людьми.

У каждого есть свое представление, скажем, о Гоголе. Но если бы могло случиться так, что мы увидели его в жизни, то заметили бы много черт, не совпадающих с нашим представлением о нем. И именно эти черты свежо и сильно врезались бы в память.

А если бы этого предварительного представления не было, то, может быть, мы многого и не заметили бы в Гоголе и он оставался бы для нас совершенно обычным человеком.

Мы привыкли представлять себе Гоголя несколько унылым, мнительным и флегматичным. Поэтому мы сразу заметили бы те его качества, которые далеки от этого образа,— блеск глаз, живость, даже некоторую вертлявость, смешливость,— изящество одежды и сильный украинский акцент.

Эти мысли мне трудно выразить с полной убедительностью, но я думаю, что это именно так.

Привычка странствовать по картам и видеть в своем воображении разные места помогает правильно увидеть их в действительности.

На этих местах всегда остается как бы легчайший след вашего воображения, дополнительный цвет, дополнительный блеск, некая дымка, не позволяющая вам смотреть на них скучными глазами.

Итак, в Москве я уже странствовал по угрюмым берегам Каспийского моря и одновременно с этим читал много книг, научных докладов и даже стихов о пустыне — почти все, что мог найти в Ленинской библиотеке.

Я читал Пржевальского и Анучина, Свена Гедина и Вамбери, Мак-Гахама и Грум-Гржимайло, дневники Шевченко на Мангышлаке, историю Хивы и Бухары, докладные записки лейтенанта Бутакова, труды путешественника Карелина, геологические изыскания и стихи арабских поэтов.

Великолепный мир человеческой пытливости и знаний открылся передо мной.

Наконец пришла пора ехать на Каспий, в Кара-Бугаз, но у меня не было денег.

Деньги я все же, хотя и с великим трудом, достал и поехал в Саратов, а оттуда спустился по Волге до Астрахани. Там я и застрял. Скудные мои средства кончились, и мне пришлось, чтобы двинуться дальше, написать в Астрахани несколько очерков для журнала «Тридцать дней» и для астраханской газеты.

Для того чтобы написать эти очерки, я ездил в Астраханскую степь и на Эмбу. Эти поездки также помогли мне написать книгу о Кара-Бугазе.

На Эмбу я плыл по Каспийскому морю вдоль берегов, заросших широкой полосой тростника. Старый колесный пароход назывался странно — «Гелиотроп». Как на всех старых пароходах, на нем было много красной меди. Поручни, компасы, бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают — все это было медное. «Гелиотроп» напоминал начищенный кирпичом до яркого блеска бокастый дымящийся самовар, болтающийся на невысоких волнах мелкого моря.

Тюлени лежали в теплой воде этого моря вверх брюхом, как купальщики. Изредка они лениво шевелили пухлыми ластами.

На рыбачьих плавучих пристанях — рыбницах — свистели и хохотали вслед «Гелиотропу» белозубые девушки в синих матросских робах. Щеки у них были залеплены чешуей.

Белые облака и белые песчаные острова отражались в глянцевитой воде, и временами их было невозможно отличить друг от друга.

Городишко Гурьев курился кизячным дымком, а на Эмбу я ехал через безводную степь в только что пущенном моторном поезде.

В Доссоре на Эмбе сопели среди озер с ярко-розовой водой нефтяные насосы, пахло рассолом. В окнах домов не было стекол. Их заменяли частые металлические сетки. На них сидело снаружи столько гнуса, что в комнатах было темно.

При мне одного из инженеров укусила фаланга. Он через день умер.

Средняя Азия дышала зноем. Звезды по ночам светили сквозь пыль. Старые казахи ходили по улицам в широких коротких шароварах из набивного ситца с пестрым рисунком — по розовой ткани были разбросаны огромные черные пионы и зеленые листья.

Но из каждой поездки я возвращался в Астрахань, в деревянный домик одного из сотрудников астраханской газеты. Он затащил меня к себе, и я у него прижился.

Домик стоял на берегу Варвациева канала, в маленьком саду, где горами цвела настурция.

Я писал свои очерки в беседке — такой крошечной, что там мог поместиться только один человек. Там же я и ночевал.

Жена журналиста, болезненная и приветливая молодая женщина, весь день тайком плакала на кухне, перебирая распашонки,— у нее два месяца назад умер только что родившийся мальчик.

Из Астрахани я уехал в Махачкалу, Баку и Красноводск. Все дальнейшее описано у меня в «Кара-Бугазе».

Я возвратился в Москву, но через несколько дней мне опять пришлось уехать корреспондентом на Северный Урал — в Березники и Соликамск.

Из неправдоподобной азиатской жары я попал в край сумрачных елей, болот, покрытых лишаями гор и ранней зимы.

Там я начал писать «Кара-Бугаз» — в гостинице в Соли-

камске. Она помещалась в бывшем монастырском здании.

В гостинице пахло XVII веком — ладаном, хлебом, кожами. По ночам сторожа в тулупах отбивали часы в чугунные доски. В мутном свете снегов белели древние алебастровые соборы времен «царствования Строгановых».

Ничто здесь не напоминало об Азии, и от этого мне было почему-то легче писать о ней.

Вот очень короткая, переданная скороговоркой, история «Кара-Бугаза». Нет возможности не только рассказать, но просто перечислить все встречи, поездки, разговоры и случаи, которые были связаны у меня с Кара-Бугазом.

Вы, конечно, заметили, что только часть — и то, пожалуй, небольшая — собранного материала вошла в повесть. Бо́льшая часть его осталась за бортом книги.

Но жалеть об этом не стоит. Этот материал в любое время может ожить на страницах новой книги.

Я писал «Кара-Бугаз» и не думал о правильном расположении материала. Я располагал его в той последовательности, в какой он накапливался во время поездки по берегам Каспийского моря.

После выхода «Кара-Бугаза» критики нашли в этой повести «композицию по спирали» и очень этому радовались. Но я в этом не виноват ни умом, ни сердцем.

Когда я работал над «Кара-Бугазом», я думал главным образом о том, что многое в нашей жизни наполнено лирическим и героическим звучанием, которое можно выразить живописно и точно. Будь то повесть о глауберовой соли или о постройке бумажной фабрики в северных лесах.

Все это способно с огромной силой ударить по сердцам, но при непременном условии, что человек, пишущий эти повести, стремится к правде, верит в силу разума, в спасительную власть сердца и любит землю.

ЗАРУБКИ НА СЕРДЦЕ

> О, память сердца! Ты сильней
> Рассудка памяти печальной...
>
> *Батюшков*

Читатели часто спрашивают людей пишущих, каким образом и долго ли они собирают материал для своих книг. И обыкновенно очень удивляются, когда им отвечают, что никакого нарочитого собирания материала нет и не бывает.

Сказанное выше не относится, конечно, к изучению материала научного и познавательного, необходимого писателю для той или иной книги. Речь идет только о наблюдениях живой жизни.

Жизненный материал — все то, что Достоевский называл «подробностями текущей жизни»,— не изучают. Просто писатели живут, если можно так выразиться, внутри этого материала,— живут, страдают, думают, радуются, участвуют в больших и

малых событиях, и каждый день жизни оставляет, конечно, в их памяти и сердце свои заметы и свои зарубки.

Необходимо, чтобы у читателей (а кстати, и у иных молодых писателей) исчезло представление о писателе как о человеке, бродящем повсюду с неизменной записной книжкой в руках, как о профессиональном «записывателе» и соглядатае жизни.

Тот, кто будет заставлять себя накапливать наблюдения и носиться со своими записями («как бы чего не забыть»), конечно, наберет без разбору груды наблюдений, но они будут мертвыми. Иначе говоря, если эти наблюдения перенести из записной книжки в ткань живой прозы, то почти всегда они будут терять свою выразительность и выглядеть чужеродными кусками.

Никогда нельзя думать, что вот этот куст рябины или вот этот седой барабанщик в оркестре понадобятся мне когда-нибудь для рассказа, и потому я должен особенно пристально, даже несколько искусственно, их наблюдать. Наблюдать, так сказать, «по долгу службы», из чисто деловых побуждений.

Никогда не следует насильственно втискивать в прозу хотя бы и очень удачные наблюдения. Когда понадобится, они сами войдут в нее и станут на место. Писатель часто бывает удивлен, когда какой-нибудь давно и начисто позабытый случай или какая-нибудь подробность вдруг расцветают в его памяти именно тогда, когда они бывают необходимы для работы.

Одна из основ писательства — хорошая память.

Может быть, все эти мысли станут яснее, если я расскажу о том, как был написан мною рассказ «Телеграмма».

Я поселился поздней осенью в деревне под Рязанью, в усадьбе известного в свое время гравера Пожалостина. Там одиноко доживала свой век дряхлая ласковая старушка — дочь Пожалостина, Катерина Ивановна. Единственная ее дочь, Настя, жила в Ленинграде и совсем позабыла о матери — она только раз в два месяца присылала Катерине Ивановне деньги.

Я занял одну комнату в гулком, большом доме с почернелыми бревенчатыми стенами. Старушка жила на другой половине. К ней надо было проходить через пустые сени и несколько комнат со скрипучими, пыльными половицами.

Кроме старушки и меня, в доме больше никто не жил. Дом этот считался мемориальным.

Позади двора с обветшалыми службами шумел на ветру большой и такой же запущенный, как и дом, сырой и озябший сад.

Я приехал работать и первое время писал у себя в комнате с утра до темноты. Темнело рано. В пять часов надо было уже зажигать старую керосиновую лампу с абажуром в виде тюльпана из матового стекла.

Но потом я перенес работу на вечер. Было жаль просиживать немногие дневные часы в комнате, когда я мог в это

время бродить по лесам и лугам, уже готовым к приходу зимы.

Я бродил подолгу и видел много примет осени. По утрам в лужах под стеклянной коркой льда были видны пузыри воздуха. Иногда в таком пузыре лежал, как в полом хрустальном шаре, багровый или лимонный лист осины или березы. Мне нравилось разбивать лед, доставать эти замерзшие листья и приносить их домой. Скоро у меня на подоконнике собралась целая куча таких листьев. Они отогрелись, и от них тянуло запахом спирта.

Лучше всего было в лесах. По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая ледком сумрачная тишина. Может быть, в лесах было особенно тихо от темных облаков. Они так низко нависали над землей, что кроны сосен закутывались подчас туманом.

Иногда я ходил удить рыбу на протоки Оки. Там в зарослях от терпкого запаха ивовых листьев как будто сводило кожу на лице. Вода была черная, с глухим зеленоватым отливом. Рыба брала по осени редко и осторожно.

А потом полили дожди, растрепали сад, прибили к земле почернелую траву. В воздухе запахло водянистым снегом.

Много было примет осени, но я не старался запоминать их. Одно я знал твердо — что никогда не забуду этой осенней горечи, чудесным образом соединенной с легкостью на душе и простыми и ясными мыслями.

Чем угрюмее были тучи, волочившие по земле мокрые, обтрепанные подолы, чем холоднее дожди, тем свежее становилось на сердце, тем легче, как бы сами по себе, ложились на бумагу слова.

Важно было ощущение осени, тот строй чувств и мыслей, какой она вызывала. А все, что называется материалом,— люди, события, отдельные частности и подробности,— это, как я знал по опыту, надежно спрятано до поры до времени где-то внутри этого ощущения осени. И как только я вернусь к этому ощущению в каком-нибудь рассказе, то все это тотчас появится в памяти и перейдет на бумагу.

Я не изучал тот старый дом, где жил, как материал для рассказа. Я просто полюбил его за угрюмость и тишину, за бестолковый стук ходиков, постоянный запах березового дыма из печки, старые гравюры на стенах (их осталось очень мало, так как почти все гравюры у Катерины Ивановны забрал областной музей): «Автопортрет» Брюллова, «Несение креста», «Птицелов» Перова и портрет Полины Виардо.

Стекла в окнах были старенькие и кривые. Они переливались радужным блеском, и язычок свечи отражался в них почему-то два раза.

Вся мебель — диваны, столы и стулья — была сделана из светлого дерева, блестела от времени и пахла кипарисом, как иконы.

В доме было много смешных и уже ненужных вещей: мед-

ные ночники в виде факелов, замки с секретом, фарфоровые пузатые флакончики с окаменелыми кремами и надписью на этикетках «Париж», запыленный букетик камелий, сделанный из воска (он висел на огромном заржавленном костыле), круглая щеточка, чтобы стирать с ломберного стола записанные мелком карточные взятки.

Было три толстых календаря — за 1848, 1850 и 1852 годы. Там в списках придворных дам я нашел Наталью Николаевну Ланскую — жену Пушкина — и Елизавету Ксаверьевну Воронцову — женщину, связанную с Пушкиным любовью. И почему-то мне стало грустно от этого. До сих пор не понимаю: почему? Может быть, оттого, что в доме было мертвенно-тихо. Далеко на Оке, около Кузьминского шлюза, кричал пароход, и неотступно вспоминались стихи:

Ненастный день потух; ненастной ночи мгла
По небу стелется одеждою свинцовой;
Как привидение, за рощею сосновой
Луна туманная взошла...

По вечерам я приходил к Катерине Ивановне пить чай.

Она сама уже плохо видела, и к ней прибегала раза два-три за день для всяких мелких хозяйственных поделок соседская девочка Нюрка, по характеру своему угрюмая и всем недовольная.

Нюрка ставила самовар и пила с нами чай, громко высасывая его из блюдечка. На все тихие речи Катерины Ивановны Нюрка отзывалась только одними словами:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Я ее стыдил, но она и мне говорила:

— Ну вот еще! Будто я ничего не понимаю, будто я совсем серая!

Но на деле Нюрка, пожалуй, единственная любила Катерину Ивановну. И вовсе не за то, что иногда Катерина Ивановна дарила ей то старую бархатную шляпу с чучелом птицы колибри, то стеклярусовую наколку или желтое от времени кружевце.

Катерина Ивановна жила когда-то с отцом в Париже, знала Тургенева, была на похоронах Виктора Гюго. Она рассказывала мне об этом, а Нюрка говорила:

— Ну вот еще! Чего выдумали!

Но Нюрка долго не засиживалась и уходила домой укладывать спать «своих младшеньких».

Катерина Ивановна никогда не выпускала из рук старенькую атласную сумочку. Там у нее хранились все ее богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, фотография той же Насти — красивой женщины с тонкими изломанными бровями и затуманенным взглядом — и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны, когда она была еще девушкой,— воплощение нежности и чистоты.

Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. Но я знал от соседей и от

бестолкового доброго старика Ивана Дмитриевича, сторожа при пожарном сарае, что у Катерины Ивановны не жизнь, а одно горе горькое. Настя вот уже четвертый год как не приезжает,— забыла, значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. Не ровен час, так и умрет она, не повидав дочери, не приласкав ее, не погладив ее русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина Ивановна).

Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то, бывало, с перерывами. Как Катерина Ивановна жила во время этих перерывов — никому не известно.

Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить ее в сад,— в нем она не была с ранней весны, все не пускала слабость.

— Дорогой мой,— сказала Катерина Ивановна,— уж вы не взыщите с меня, со старой. Хочется мне напоследок посмотреть сад. В нем я еще девушкой зачитывалась Тургеневым. Да и кое-какие деревья я посадила сама.

Она одевалась очень долго. Надела старый теплый салопчик, теплый платок и, крепко держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка.

Уже вечерело. Сад облетел. Палые листья мешали идти. Они громко трещали и шевелились под ногами. На зеленеющей заре зажглась звезда. Далеко над лесом висел серп месяца.

Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о нее рукой и заплакала.

Я крепко держал ее, чтобы она не упала. Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь своих слез.

— Не дай вам бог, родной мой,— сказала она мне,— дожить до такой одинокой старости! Не дай вам бог!

Я осторожно повел ее домой, а вечером Катерина Ивановна дала мне почитать связку желтых от старости писем, оставшихся от отца.

Там были письма художника Крамского и гравера Иордана из Рима. Иордан писал о своей дружбе со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, об удивительных мраморных статуях Латерана.

Я читал эти письма, как всегда, ночью. Ветер проносился за стеной, шумел в мокрых голых кустах, и лампа потрескивала, как бы разговаривая от скуки сама с собой. Почему-то странно и хорошо было читать эти письма из Рима именно здесь, в ненастную ночь, слушая, как деревенский сторож стучит у околицы в колотушку.

Тогда я заинтересовался Торвальдсеном, достал потом в Москве все, что можно было прочесть о нем, узнал о его дружбе со сказочником Христианом Андерсеном и несколько лет спустя написал об Андерсене рассказ. Этим рассказом я тоже был обязан старому деревенскому дому.

А еще через несколько дней Катерина Ивановна слегла и уже не вставала. У нее ничего не болело. Жаловалась она только на усталость.

Я послал телеграмму Насте в Ленинград. Нюрка перебралась в комнату Катерины Ивановны, чтобы на всякий случай быть поближе.

Однажды ночью Нюрка сильно застучала ко мне в стенку и крикнула испуганным голосом:

— Идите! Бабка помирает!

Катерина Ивановна лежала без сознания и только чуть заметно дышала. Я попробовал пульс — он не бился, а тихо дрожал, тоненький, как паутинка.

Я оделся, зажег фонарь и пошел в сельскую больницу за доктором. Больница стояла далеко в лесу. Черный ветер нес с порубки запах опилок. Была поздняя ночь, даже не лаяли собаки.

Врач впрыснул Катерине Ивановне камфору, повздыхал и ушел, сказав напоследок, что это агония, но длиться она будет долго, потому что у Катерины Ивановны хорошее сердце.

Умерла Катерина Ивановна к утру. Мне пришлось закрыть ей глаза. Я, должно быть, никогда не забуду, как я осторожно прижал ее полузакрытые веки и неожиданно из-под них скатилась тусклая слеза.

Нюрка, задыхаясь от плача, дала мне помятый конверт и сказала:

— Тут Катерина Ивановна велела, в чем ее хоронить.

Я вскрыл конверт, прочел несколько слов, написанных дрожащей старческой рукой,— пожелание о том, что надеть на нее после смерти,— и отдал записку женщинам, что пришли утром приготовить Катерину Ивановну в последний ее путь.

Потом я пошел на кладбище выбрать место для могилы, а когда вернулся, Катерина Ивановна уже лежала, прибранная, на столе, и я остановился, пораженный.

Она лежала тоненькая, как девушка, в старинном бальном платье золотистого цвета, со шлейфом. Шлейф был свободно обернут вокруг ее ног. Из-под него были видны маленькие черные замшевые туфли. На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя белые лайковые перчатки. Букет из шелковых алых роз был приколот к корсажу.

Лицо было закрыто фатой, и если бы не сухие, сморщенные локти, видневшиеся между рукавом и краем белых перчаток, можно было бы подумать, что это лежит молодая и стройная женщина.

Настя опоздала на три дня и приехала уже после похорон.

Все рассказанное выше — это и есть тот писательский житейский материал, из которого рождается проза.

Характерно, что все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени — все это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны, с той тяжелой душевной драмой, какую она переживала в последние свои дни.

Но, конечно, далеко не все увиденное и передуманное мною

тогда вошло в «Телеграмму». Многое осталось за рамками рассказа, как это обычно и происходит.

Сплошь и рядом для короткого рассказа нужно, как говорится на писательском языке, «поднять» большой материал, чтобы выбрать из него самое ценное.

Мне не раз пришлось наблюдать работу хороших актеров, игравших второстепенные роли. У героя, которого играл такой актер, было всего две-три фразы на протяжении всей пьесы, но актер придирчиво расспрашивал автора не только о характере и внешности этого человека, но и о его биографии, о той среде, из которой он вышел.

Это точное знание нужно было актеру, чтобы правильно произнести свои две-три фразы.

То же самое происходит и с писателями. Запас материала должен быть гораздо больший, чем то количество его, которое понадобится для рассказа.

Я рассказал о «Телеграмме». Но у каждого рассказа своя история и свой материал.

Однажды зимой я жил в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. Они ползали от ветра по полу и шуршали. Это были листья не вековых дубов, а того низкорослого кустарникового дубняка, каким зарастают склоны крымской Яйлы.

По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Снег магически сверкал в свете шевелящихся звезд.

Поэт Асеев, живший рядом, писал стихи о героической Испании (это было во время испанских событий), о «древнем небе Барселоны».

Поэт Владимир Луговской пел своим мощным басом старинные песни английских матросов:

> Прощай, земля! Корабль уходит в море,
> И чайки след остался за кормой...

По вечерам мы собирались около радио и слушали сводки о боях в Испании.

Мы ездили в Симеизскую обсерваторию. Седой астроном показывал нам звездное небо — сияние редких и головокружительных далеких огней в необъятных провалах неба.

Изредка до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекатывался по Яйле, запутывался в сосновой хвое и затихал.

Ночью в небе рокотали невидимые самолеты.

Я читал книгу немецкого писателя Бруно Франка о Сервантесе. Книг было мало, и потому я прочел ее несколько раз.

В то время четырехлапая свастика начала быстро расползаться по Европе. Генрих Манн, Эйнштейн, Ремарк, Стефан Цвейг — благородные люди Германии — покинули свою родину, не желая быть сообщниками «коричневой чумы» и беснова-

того негодяя Гитлера. Изгнанники унесли в своих сердцах непоколебимую веру в победу гуманизма.

Гайдар привел в наш дом огромную лохматую овчарку со смеющимися желтыми глазами. Он говорил, что это пастушеская горная собака.

Гайдар прикидывался, что ничего не понимает в литературе. Он вообще любил прикидываться простаком.

Черное море заунывно шумело по ночам. Шумело оно и днем, но тогда его не было так хорошо слышно. Под шум моря было легче писать.

Вот целый ряд подробностей тогдашней «текущей жизни». Из них сложился рассказ «Созвездие Гончих Псов». В этом рассказе вы найдете почти все, о чем я упоминал выше: сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо верящих в победу гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое.

Все это спаяно, конечно, в определенном соотношении и вошло в определенный сюжет.

Когда я писал этот рассказ, я все время старался сохранить в себе ощущение холодного ветра с ночных гор. Это было как бы лейтмотивом рассказа.

АЛМАЗНЫЙ ЯЗЫК

> Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное название еще драгоценнее самой вещи.
>
> *Гоголь*

РОДНИК В МЕЛКОЛЕСЬЕ

Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому как драгоценные камни излучают таинственный блеск.

Я понимаю, конечно, что ничего таинственного в их блеске нет и что любой физик легко объяснит это явление законами оптики.

Но все же блеск камней вызывает ощущение таинственности. Трудно примириться с мыслью, что внутри камня, откуда льются сияющие лучи, нет собственного источника света.

Это относится ко многим камням, даже к такому скромному, как аквамарин. Цвет его нельзя точно определить. Для него еще не нашли подходящего слова.

Аквамарин считается по своему имени (аквамарин — морская вода) камнем, передающим цвет морской волны. Это не совсем так. В прозрачной его глубине есть оттенки мягкого зеленоватого цвета и бледной синевы. Но все своеобразие аквамарина заключается в том, что он ярко освещен изнутри совершенно серебряным (именно серебряным, а не белым) огнем.

Кажется, что если вглядеться в аквамарин, то увидишь тихое море с водой цвета звезд.

Очевидно, эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных камней и вызывают у нас чувство таинственности. Их красота все же кажется нам необъяснимой.

Сравнительно легко объяснить происхождение «поэтического излучения» многих наших слов. Очевидно, слово кажется нам поэтическим в том случае, когда оно передает понятие, наполненное для нас поэтическим содержанием.

Но действие самого слова (а не понятия, которое оно выражает) на наше воображение, хотя бы, к примеру, такого простого слова, как «зарница», объяснить гораздо труднее. Самое звучание этого слова как бы передает медленный ночной блеск далекой молнии.

Конечно, это ощущение слов очень субъективно. На нем нельзя настаивать и делать его общим правилом. Так я воспринимаю и слышу это слово. Но я далек от мысли навязывать это восприятие другим.

Бесспорно лишь то, что большинство таких поэтических слов связано с нашей природой.

Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому, кто кровно любит и знает «до косточки» свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли.

Для всего, что существует в природе: воды, воздуха, неба, облаков, солнца, дождей, лесов, болот, рек и озер, лугов и полей, цветов и трав,— в русском языке есть великое множество хороших слов и названий.

Чтобы убедиться в этом, чтобы изучить емкий и меткий наш словарь, у нас есть, помимо книг таких знатоков природы и народного языка, как Кайгородов, Пришвин, Горький, Алексей Толстой, Аксаков, Лесков, Бунин и многие другие писатели, главный и неиссякаемый источник языка — сам народ: крестьяне, паромщики, пастухи, пасечники, охотники, рыбаки, старые рабочие, лесные объездчики, бекенщики, ку тари, сельские живописцы, ремесленники и все те бывалые люди, у которых что ни слово, то золото.

Особенно ясными для меня стали эти мысли после встречи с одним лесником.

Мне кажется, что я где-то уже рассказывал об этом. Если это верно, то прошу простить меня, но придется повторить старый рассказ. Он имеет значение для разговора о русской речи.

Шли мы с этим лесником по мелколесью. В незапамятные времена здесь было большое болото, потом оно высохло, заросло, и сейчас о нем напоминал только глубокий, вековой мох, небольшие окна-колодцы в этом мху да обилие багульника.

Я не разделяю распространенного пренебрежения к мелколесью. В мелколесье много своеобразной прелести. Юные деревца всех пород — ель и сосна, осина и береза — растут друж

но и тесно. Там всегда светло и чисто, как в прибранной к празднику крестьянской горнице.

Каждый раз, когда я попадаю в мелколесье, мне кажется, что именно в этих местах художник Нестеров нашел многие черты своего пейзажа. Здесь каждый стебелек и веточка живут своей отдельной живописной жизнью и потому особенно заметны и хороши.

Кое-где по мху, как я уже говорил, попадались маленькие круглые окна-колодцы. Вода в них казалась неподвижной. Но если приглядеться, то можно было увидеть, как из глубины оконца все время подымается тихая струя и в ней вертятся сухие листики брусники и желтые сосновые иглы.

Мы остановились у одного такого оконца и напились воды Она попахивала скипидаром.

— Родник! — сказал лесник, глядя, как из оконца всплыл и тотчас пошел на дно неистово барахтавшийся жук.— Должно, Волга тоже начинается из такого оконца?

— Да, должно быть,— согласился я.

— Я большой любитель разбирать слова,— неожиданно сказал лесник и смущенно усмехнулся.— И вот скажи на милость! Бывает же так, что пристанет к тебе одно слово и не дает покоя.

Лесник помолчал, поправил на плече охотничье ружье и спросил:

— Вы, говорят, вроде книги пишете?

— Да, пишу.

— Значит, соображение слов у вас должно быть обдуманное. А я вот как ни прикидываю, а редко какому слову найду объяснение. Идешь по лесу, перебираешь в голове слово за словом,— и так их прикинешь и этак: откуда они взялись? Да ничего не получается. Познаний у меня нет. Не обучен. А бывает, найдешь слову объяснение и радуешься. А чему радоваться? Мне не ребят учить. Я лесной человек — простой обходчик.

— А какое слово к вам привязалось сейчас? — спросил я.

— Да вот этот самый «родник». Я это слово давно приметил. Все его обхаживаю. Надо думать, получилось оно оттого, что тут вода зарождается. Родник родит реку, а река льется-течет через всю нашу матушку-землю, через всю родину, кормит народ. Вы глядите, как это складно выходит,— родник, родина, народ. И все эти слова как бы родня между собой. Как бы родня! — повторил он и засмеялся.

Простые эти слова открыли мне глубочайшие корни нашего языка.

Весь многовековой опыт народа, вся поэтическая сторона его характера заключались в этих словах.

Я уверен, что для полного овладения русским языком, для ого чтобы не потерять чувство этого языка, нужно не только постоянное общение с простыми русскими людьми, но также общение с пажитями и лесами, водами, старыми ивами, с пересвистом птиц и с каждым цветком, что кивает головой из-под куста лещины.

Должно быть, у каждого человека случается свое счастливое время открытий. Случилось и у меня одно такое лето открытий в лесистой и луговой стороне Средней России — лето, обильное грозами и радугами.

Прошло это лето в гуле сосновых лесов, журавлиных криках, в белых громадах кучевых облаков, игре ночного неба, в непролазных пахучих зарослях таволги, в воинственных петушиных воплях и песнях девушек среди вечереющих лугов, когда закат золотит девичьи глаза и первый туман осторожно курится над омутами.

В это лето я узнал наново — на ощупь, на вкус, на запах — много слов, бывших до той поры хотя и известными мне, но далекими и непережитыми. Раньше они вызывали только один обычный скудный образ. А вот теперь оказалось, что в каждом таком слове заложена бездна живых образов.

Какие же это слова? Их так много, что трудно решить даже, с каких слов начинать. Легче всего, пожалуй, с «дождевых».

Я, конечно, знал, что есть дожди моросящие, слепые, обложные, грибные, спорые, дожди, идущие полосами,— полосовые, косые, сильные окатные дожди и, наконец, ливни (проливни).

Но одно дело — знать умозрительно, а другое дело — испытать эти дожди на себе и понять, что в каждом из них заключена своя поэзия, свои признаки, отличные от признаков других дождей.

Тогда все эти слова, определяющие дожди, оживают, крепнут, наполняются выразительной силой. Тогда за каждым таким словом видишь и чувствуешь то, о чем говоришь, а не произносишь его машинально, по одной привычке.

Между прочим, существует своего рода закон воздействия писательского слова на читателя.

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чем он пишет, то и читатель ничего не увидит за ними.

Но если писатель хорошо видит то, о чем пишет, то самые простые и порой даже стертые слова приобретают новизну, действуют на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и состояния, какие писатель хотел ему передать.

В этом, очевидно, и заключается тайна так называемого подтекста.

Но вернемся к дождям.

С ними связано много примет. Солнце садится в тучи, дым припадает к земле, ласточки летают низко, без времени голосят по дворам петухи, облака вытягиваются по небу длинными туманными прядями — все это приметы дождя. А незадолго перед дождем, хотя еще и не натянуло тучи, слышится нежное дыхание влаги. Его, должно быть, приносит оттуда, где дожди уже пролились.

Но вот начинают крапать первые капли. Народное слово «крапать» хорошо передает возникновение дождя, когда еще редкие капли оставляют темные крапинки на пыльных дорогах и крышах.

Потом дождь расходится. Тогда-то и возникает чудесный прохладный запах земли, впервые смоченной дождем. Он держится недолго. Его вытесняет запах мокрой травы, особенно крапивы.

Характерно, что независимо от того, какой будет дождь, его, как только он начинается, всегда называют очень ласково — дождиком. «Дождик собрался», «дождик припустил», «дождик траву обмывает».

Разберемся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это помогает писателю безошибочно им пользоваться.

Чем, например, отличается спорый дождь от грибного?

Слово «спорый» означает — быстрый, скорый. Спорый дождь льется отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом.

Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, еще видна на дне этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг.

При этом по всей реке стоит стеклянный звон. По высоте этого звона догадываешься, набирает ли дождь силу или стихает.

А мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. Лужи от этого дождя всегда теплые. Он не звенит, а шепчет что-то свое, усыпительное, и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист, то другой.

Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие маслята, желтые лисички, боровики, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки.

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо берет хитрая и осторожная рыба — плотва.

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слезы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, как не сказочной красавице царевне!

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого звона в водосточной трубе до сплошного, напряженного гула, когда дождь льет, как говорится, стеной.

Все это — только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. Но и этого довольно, чтобы возмутиться словами одного писателя, сказавшего мне с кислой гримасой:

— Я предпочитаю живые улицы и дома вашей утомительной и мертвой природе. Кроме неприятностей и неудобств, дождь, конечно, ничего не приносит. Вы просто фантазер!

Сколько превосходных слов существует в русском языке для так называемых небесных явлений!

Летние грозы проходят над землей и «заваливаются» за горизонт. В народе любят говорить, что туча не прошла, а свалилась.

Молнии то с размаху бьют в землю прямым ударом, то полыхают на черных тучах, как вырванные с корнем ветвистые золотые деревья.

Радуги сверкают над дымной, сырой далью. Гром перекатывается, грохочет, ворчит, рокочет, встряхивает землю.

Недавно в деревне один маленький мальчик пришел во время грозы ко мне в комнату и, глядя на меня большими от восторга глазами, сказал:

— Пойдем смотреть грома́!

Он был прав, сказав это слово во множественном числе: гроза была обложная, и гремело сразу со всех сторон.

Мальчик сказал «смотреть грома», и я вспомнил слова из «Божественной комедии» Данте о том, что «солнца луч умолк». И тут и там было смещение понятий. Но оно придавало слову необычайную выразительность.

Я уже упоминал о зарнице.

Чаще всего зарницы бывают в июле, когда созревают хлеба. Поэтому и существует народное поверье, что зарницы «зарят хлеб» — освещают его по ночам,— и от этого хлеб наливается быстрее. В Калужской области зарницы называют «хлебозар».

Рядом с зарницей стоит в одном поэтическом ряду слово «заря» — одно из прекраснейших слов русского языка.

Это слово никогда не говорят громко. Нельзя даже представить себе, чтобы его можно было прокричать. Потому что оно сродни той устоявшейся тишине ночи, когда над зарослями деревенского сада занимается чистая и слабая синева. «Развидняет», как говорят об этой поре суток в народе.

В этот заревой час низко над самой землей пылает утренняя звезда. Воздух чист, как родниковая вода.

В заре, в рассвете, есть что-то девическое, целомудренное. На зорях трава омыта росой, а по деревням пахнет теплым парным молоком. И поют в туманах за околицами пастушьи жалейки.

Светает быстро. В теплом доме тишина, сумрак. Но вот на бревенчатые стены ложатся квадраты оранжевого света, и бревна загораются, как слоистый янтарь. Восходит солнце.

Осенние зори иные — хмурые, медленные. Дню неохота просыпаться: все равно не отогреешь озябшую землю и не вернешь убывающий солнечный свет.

Все никнет, только человек не сдается. С рассвета уже горят печи в избах, дым мотается над селами и стелется по земле. А потом, глядишь, и ранний дождь забарабанил по запотевшим стеклам.

Заря бывает не только утренняя, но и вечерняя. Мы часто путаем два понятия — закат солнца и вечернюю зарю.

Вечерняя заря начинается, когда солнце уже зайдет за край земли. Тогда она овладевает меркнущим небом, разливает по нему множество красок — от червонного золота до бирюзы — и медленно переходит в поздние сумерки и в ночь.

Кричат в кустах коростели, бьют перепела, гудит выпь, горят первые звезды, а заря еще долго дотлевает над далями и туманами.

Северные белые ночи, летние ночи Ленинграда — это непрерывная вечерняя заря или, пожалуй, соединение двух зорь, вечерней и утренней.

Никто не сказал об этом с такой поразительной точностью, как Пушкин:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Эти строки — не только вершины поэзии. В них не только точность, душевная ясность и тишина. В них еще все волшебство русской речи.

Если бы можно было представить, что исчезла бы русская поэзия, что исчез бы самый русский язык, а остались от него только эти несколько строк, то и тогда богатство и певучая сила нашего языка были бы ясны каждому. Потому что в этих стихах Пушкина собраны, как в магическом кристалле, все необыкновенные качества нашей речи.

Тот народ, который создал такой язык,— поистине великий и счастливый народ.

ГРУДЫ ЦВЕТОВ И ТРАВ

Не только лесник искал объяснения слов. Ищут их многие люди. И не успокаиваются, пока не находят.

Я помню, как меня поразило однажды слово «свей» в стихах у Сергея Есенина:

И меня по ветряному свею,
По тому ль песку,
Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

Я не знал, что значит «свей», но чувствовал, что в этом слове заложено поэтическое содержание. Это слово как бы само по себе излучало его.

Я долго не мог узнать значение этого слова, а все догадки ни к чему не приводили. Почему Есенин сказал «ветряной свей»? Очевидно, это понятие было как-то связано с ветром. Но как?

Узнал я смысл этого слова от писателя-краеведа Юрина.

Юрин был придирчиво-любопытен ко всему, что имело хотя бы малейшее отношение к природе, укладу жизни и истории Средней России.

Этим он напоминал тех знатоков и любителей своего края, кропотливых исследователей и собирателей по зернышкам и по капелькам всяких интересных черт из краевой, а то и из районной географии, флоры, фауны и истории, что еще сохранились по маленьким российским городам.

Юрин приехал ко мне в деревню, и мы пошли с ним в луга, за реку. Мы шли к мостушкам по чистому речному песку. Накануне был ветер, и на песке, как всегда бывает после ветра, лежала волнистая рябь.

— Вы знаете, как это называется? — спросил меня Юрин и показал на песчаную рябь.

— Нет, не знаю.

— Свей,— ответил Юрин.— Ветер свевает песок в эту рябь. Потому и такое слово.

Я обрадовался, как, очевидно, радовался лесник, когда находил разъяснение слову.

Вот почему Есенин написал «ветряной свей» и упомянул про песок («по тому ль песку...»). Больше всего я был рад, что это слово выражало, как я и предполагал, простое и поэтическое явление природы.

Родина Есенина — село Константиново (теперь Есенино) находилось недалеко за Окой.

В той стороне всегда садилось солнце. И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не то туман, не то синеватый дымок с лесных гарей.

В этих, как будто безлюдных, лугах было у меня много всяких случаев и неожиданных встреч.

Однажды я ловил рыбу на небольшом озере с высокими крутыми берегами, заросшими цепкой ежевикой. Озеро обступили старые ивы и осокори. Поэтому на нем всегда было безветренно и сумрачно, даже в солнечный день.

Сидел я у самой воды, в таких крепких зарослях, что сверху меня совершенно не было видно. По краю берега цвели желтые

ирисы, а дальше в иловатой, но глубокой воде все время струились со дна пузырьки воздуха,— должно быть, караси копались в иле, отыскивали пищу.

Наверху, надо мной, где по пояс стояли цветы, деревенские дети собирали щавель. Судя по голосам, там было три девочки и маленький мальчик.

Две девочки изображали в разговорах между собой многодетных деревенских женщин. Каждая, должно быть, подражала своей матери. Это у них была такая игра. Третья девочка все помалкивала и только запевала тоненьким голосом:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь...

Дальше она слов не знала и, помолчав, снова заводила свою песню о «воздушной трявоге».

— Трявога, трявога! — сердито сказала девочка с хрипловатым голосом.— Маешься цельный день, чтобы в школу их определить, всю эту ораву, всю братию, а чему они в школе научаются? Слово сказать и то не умеют по-людски! «Тревоги» надо говорить, а не «трявоги»! Вот скажу отцу, он тебя проучит.

— А мой Петька анадысь,— сказала другая девочка,— двойку приволок. По арифметике. Уж я его утюжила-утюжила. Аж руки замлели.

— Врешь ты все, Нюрка! — сказал басом маленький мальчик.— Петьку маменька утюжила. И то чуть.

— Ишь сопливый! — прикрикнула Нюрка.— Разговаривай у меня!

— Слушайте, девочки! — радостно вокликнула хрипловатая.— Ой, что я вам сейчас расскажу! Где-то тут около Птичьего брода растет куст. Как ночь, так он весь, до самой макушки, как почнет гореть синим огнем! Как почнет! И так горит и не сгорает до самой зари. А подойти к нему страшно.

— А чего ж он горит, Клава? — испуганно спросила Нюрка.

— Клад показывает,— ответила Клава.— Клад под ним закопан. Золотой карандашик. Кто возьмет тот карандашик, напишет свои горячие желания — они тут же и сбудутся.

— Дай! — требовательно сказал мальчик.

— Чего тебе дать?

— Карандашик!

— Отвяжись ты от меня!

— Дай! — крикнул мальчик и неожиданно заревел противным, оглушительным басом.— Дай карандашик, дурная!

— Ах, ты так? — крикнула Нюрка, и тотчас же раздался звонкий шлепок.— Несчастье мое! На что только я тебя породила!

Мальчик непонятно почему, но сразу затих.

— А ты, милая,— сказала Клава притворным, сладеньким голосом,— не бей ребятишек своих. Недолго и паморки отбить. Ты вот, как я, действуй — учи их разуму. А то вырастут обал-

дуи — ни себе, ни людям никакой корысти.

— Чему его учить-то? — с сердцем ответила Нюрка.— Попробуй поучи его! Он те дасть!

— Как не поучить! — возразила Клава.— Их всему надо учить. Вот увязался за нами, скулит, а кругом, гляди, один цвет не похож на другой. Их тут сотни, этих цветов. А что он знает? Ничегошеньки он не знает. Даже как зовется вот этот цвет — и то не знает.

— Курослеп,— сказал мальчик.

— Да не курослеп это, а медуница. Сам ты курослеп!

— Мядуница! — даже с некоторым восхищением повторил мальчик.

— Да не «мядуница», а «медуница». Скажи правильно.

— Мядуница,— поспешно повторил мальчик и тут же спросил: — А это какой, розовый?

— Это мята. Повтори за мной: мята!

— Ну, мята! — согласился мальчик.

— Ты не нукай, а чисто за мной повторяй. А вот это таволга. Такая пахучая-пахучая! Такая нежная-пренежная! Хочешь, сорву?

Мальчику, видимо, понравилась эта игра. Он, посапывая, добросовестно повторял за Клавой названия цветов. А она так ими и сыпала:

— Вот глянь, это подмаренник. А это купава. Вот та, с белыми колокольцами. А это кукушкины слезки.

Я слушал и только удивлялся. Девочка знала множество цветов. Она называла дрему, ночную красавицу, гвоздику, пастушью сумку, копытень, мыльный корень, шпажник, валерьяну, чабрец, зверобой, чистотел и много других цветов и трав. Но этот удивительный урок ботаники был неожиданно сорван.

— Я обстрекалси-и-и! — вдруг опять густо заревел мальчик.— Куды вы меня завели, дурные?! В самые колючки! Теперь я домой не дойду!

— Эй, девчонки! — крикнул издали стариковский голос.— Вы чего малого обижаете?

— Да он, дед Пахом, сам обстрекался! — крикнула в ответ поборница чистого произношения Клава и добавила вполголоса: — У-у-у, бессовестный! Ты сам всякого изобидишь!

Слышно было, как к детям подошел старик. Он заглянул вниз, на озеро, увидел мои удочки и сказал:

— Тут человек рыбу лавит, а вы калган подняли на весь свет. Мало вам, что ли, лугов!

— Где лавит? — поспешно спросил мальчик.— Пусть мне дасть поудить!

— Куда полез? — крикнула Нюрка.— Еще сорвешься в воду, неслух окаянный!

Дети вскоре ушли, и я их так и не видел. А старик постоял на берегу, подумал, деликатно покашлял и спросил неуверенным голосом:

— У вас, гражданин, покурить не найдется?

Я ответил, что найдется, и старик со страшным шумом, цепляясь за петли ежевики, срываясь на откосе и чертыхаясь, спустился ко мне за папироской.

Старик оказался щуплый, маленький, но с огромным ножом в руке. Нож был в кожаном футляре. Сообразив, что я, чего доброго, обеспокоюсь из-за этого ножа, старик поспешно сказал:

— Я лозу пришел резать. Для корзин да вентерей. Плету помаленьку.

Я сказал старику, что вот какая тут была замечательная девочка — знает все цветы и травы.

— Это Клавка-то? — спросил он.— Да это колхозного конюха Карнаухова дочка. А чего ж ей не знать, когда у нее бабка первая травница на всю область! Вы с бабкой поговорите. Заслушаетесь. Да,— сказал он, помолчав, и вздохнул.— У каждого цвета свое наименование... Паспортизация, значит.

Я с удивлением взглянул на него. Старик попросил еще папироску и ушел. Вскоре ушел и я.

Когда я выбрался из зарослей на луговую дорогу, то увидел далеко впереди трех девочек. Они несли огромные охапки цветов. Одна из них тащила за руку маленького босого мальчика в большом картузе.

Девочки шли быстро. Было видно, как мелькают их пятки. Потом донесся тоненький голосок:

Так во время воздушной трявоги
Народилась красавица дочь...

Солнце уже садилось за Окой, за селом Есенино, и освещало косым красноватым светом тянувшиеся стеной на востоке леса.

СЛОВАРИ

Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка (кроме, конечно, уже существующих общих словарей).

В одном таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к природе, в другом — хорошие и меткие местные слова, в третьем — слова людей разных профессий, в четвертом — мусорные и мертвые слова, всю канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык.

Этот последний словарь нужен для того, чтобы отучить людей от скудоумной и ломаной речи.

Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как хрипловатая девочка перечисляла разные травы и цветы.

Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое касательство к этому слову.

Например, после слова «сосулька» можно напечатать отрывок из Пришвина:

«Повислые под кручей частые длинные корни деревьев теперь под темными сводами берега превратились в сосульки и, нарастая больше и больше, достигли воды. И когда ветерок, даже самый ласковый, весенний, волновал воду и маленькие волны достигали под кручей концов сосулек, то волновали их, они качались, стуча друг о друга, звенели, и этот звук был первый звук весны, эолова арфа».

А после слова «сентябрь» хорошо бы напечатать отрывок из Баратынского:

И вот сентябрь! замедля свой восход,
Сияньем хладным солнце блещет,
И луч его, в зерцале зыбком вод,
Неверным золотом трепещет.

Думая об этих словарях, особенно о словаре «природных» слов, я делил его на разделы: слова «лесные», «полевые», «луговые», слова о временах года, о метеорологических явлениях, о воде, реках и озерах, растениях и животных.

Я понимал, что такой словарь нужно составить так, чтобы его можно было читать, как книгу. Тогда он давал бы представление как о нашей природе, так и о неисчерпаемых богатствах языка.

Конечно, эта работа была бы не под силу одному человеку. У него не хватило бы на нее всей жизни.

Каждый раз, когда я думал об этом словаре, мне хотелось сбросить со счета лет двадцать, чтобы, конечно, не самому составлять такой словарь — для этого у меня не было необходимых познаний,— но хотя бы участвовать в работе над ним.

Я даже начал делать кое-какие записи для этого словаря, но, как водится, растерял. Восстановить же их по памяти почти невозможно.

Однажды почти все лето я занимался сбором трав и цветов. Я узнавал их названия и свойства по старому определителю растений и заносил все это в свои записи. Это было увлекательное занятие.

Никогда до тех пор я не представлял себе так отчетливо целесообразности всего, что происходит в природе, всей сложности и совершенства каждого листка, цветка, корня или семени.

Эта целесообразность напоминала иногда о себе чисто внешне и даже болезненно.

Как-то осенью я со своим другом провел несколько дней на рыбной ловле на глухом, старом русле Оки. Оно потеряло связь с рекой несколько столетий назад и превратилось в глубокое и

длинное озеро. Его окружали такие заросли, что пробраться к воде было трудно, а в иных местах и невозможно.

Я был в шерстяной куртке, и к ней пристало много колючих семян череды (похожих на плоские двузубцы), репейника и других растений.

Дни стояли ясные, холодные. Мы спали в палатке, не раздеваясь.

На третий день прошел небольшой дождь, куртка моя отсырела, и среди ночи я почувствовал в нескольких местах у себя на груди и руках резкую боль, будто от уколов булавки.

Оказалось, что круглые плоские семена какой-то травы, пропитавшись влагой, задвигались, начали разворачиваться спиралью и ввинчиваться в мою куртку. Они провинтили ее насквозь, потом прокололи рубашку и среди ночи добрались, наконец, до моей кожи и начали осторожно покалывать ее.

Это был, пожалуй, один из самых ярких примеров целесообразности. Семя падало на землю и лежало там неподвижно до первых дождей. Ему не было смысла пробиваться в сухую почву. Но как только земля становилась влажной от дождя, семя, скрученное спиралью, набухало, оживало, ввинчивалось в землю, как бурав, и начинало в назначенный ему срок прорастать.

Я опять отвлекся от «основной нити повествования» и заговорил о семенах. Но пока я писал о семенах, мне вспомнилось еще одно удивительное явление. Я не могу не упомянуть о нем. Тем более, что оно имеет некоторое, хотя и очень отдаленное, я бы сказал — чисто сравнительное, отношение к литературе, в частности к вопросу о том, какие книги будут жить долго, а какие не выдержат испытания временем и умрут, как тот сентиментальный цветок, что «не расцвел и отцвел в утре пасмурных дней».

Дело идет о пряном запахе цветов обыкновенной липы — романтического дерева наших парков.

Этот запах слышен только на отдалении. Вблизи дерева он почти неощутим. Липа стоит как бы окруженная на большом расстоянии замкнутым кольцом этого запаха.

В этом, очевидно, есть своя целесообразность, но она нами еще не разгадана.

Настоящая литература — как липовый цвет.

Часто нужно расстояние во времени, чтобы проверить и оценить ее силу и степень ее совершенства, чтобы почувствовать ее дыхание и неумирающую красоту.

Если время может погасить любовь и все другие человеческие чувства, как и самую память о человеке, то для подлинной литературы оно создает бессмертие.

Следует вспомнить слова Салтыкова-Щедрина, что литература изъята из законов тления. И слова Пушкина: «Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит». И слова Фета: «Этот листок, что иссох и свалился, золотом вечным горит в песнопенье».

Можно привести много других таких же высказываний писателей, поэтов, художников и ученых всех времен и народов.

Эта мысль должна побуждать нас к «усовершенствованию любимых дум», к постоянному непокою, к завоеванию новых вершин мастерства. И к сознанию неизмеримого расстояния, лежащего между подлинными творениями человеческого духа и той серой, вялой и невежественной литературой, что совершенно не нужна живой душе человеческой.

Да, вот как далеко может завести разговор о свойствах липового цвета!

Очевидно, все может быть пособником человеческой мысли и ничем нельзя пренебрегать. Ведь рождаются же сказки при скромной помощи таких незначительных и даже ненужных вещей, как сухая горошина или горлышко от разбитой бутылки.

После этих отступлений я все же попытаюсь вкратце восстановить по памяти некоторые из тех записей, какие я делал для предполагаемых (почти фантастических) словарей.

У некоторых наших писателей, насколько я знаю, есть такие «личные» словари. Но они никому их не показывают и упоминают о них неохотно.

То, что я недавно говорил о роднике, дождях, грозах, заре, «свее» и именах разных трав и цветов,— тоже возобновленные в памяти «записки для словаря». Первые мои записи были о лесах. Я вырос на безлесном юге, и потому, может быть, больше всего в среднерусской природе полюбил леса.

Первое «лесное» слово, какое меня совершенно заворожило, было — глухомань. Правда, оно относится не только к лесу, но я впервые услышал его (так же как и слово «глушняк») от лесников. С тех пор оно связано в моем представлении с дремучим, замшелым лесом, сырыми чащами, заваленными буреломом, с йодистым запахом прели и гнилых пней, с зеленоватым сумраком и тишиной. «Сторона ли моя, ты сторонушка, вековая моя глухомань!»

А затем уже шли настоящие лесные слова: корабельная роща, осинник, мелколесье, песчаный бор, чапыга, мшары (сухие лесные болота), гари, чернолесье, пустошь, опушка, лесной кордон, березняк, порубка, корье, живица, просека, кондовая сосна, дубрава и много других простых слов, наполненных живописным содержанием.

Даже такой сухой технический термин, как «лесной межевой столб» или «пикет», полон неуловимой прелести. Если вы знаете леса, то согласитесь с этим.

Невысокие межевые столбы стоят на пересечении узких просек. Около них всегда есть песчаный бугор, заросший подсохшей высокой травой и земляникой. Этот бугор образовался из того песка, который выбрасывали из ямы, когда копали ее для столба. На стесанной верхушке столба выжжены цифры — номер «лесного квартала».

Почти всегда на этих столбах греются, сложив крылья,

бабочки и озабоченно бегают муравьи.

Около этих столбов теплее, чем в лесу (или, может быть, так только кажется). Поэтому здесь всегда садишься отдохнуть, прислонившись к столбу спиной, слушая тихий гул вершин, глядя на небо. Оно хорошо видно над просеками. По нему медленно плывут облака с серебряными краями. Должно быть, можно просидеть так неделю и месяц и не увидеть ни одного человека.

В небе и облаках — тот же полуденный покой, что и в лесу, в склонившейся к подзолистой земле синей сухой чашечке колокольчика, и в вашем сердце.

Иногда через год-два узнаешь старый знакомый столб. И каждый раз думаешь, сколько воды утекло, где ты за это время побывал, сколько пережил горя и радости, а этот столб стоит здесь и ночи и дни, и зиму и лето, будто дожидается тебя, как верный и безропотный друг. Только больше появилось на нем желтых лишаев да повилика заплела его до самой макушки. Она цветет и горьковато пахнет миндалем, разогревшись от лесной теплоты.

Лучше всего смотреть на леса с пожарных вышек. Тогда хорошо видно, как они уходят за горизонт, подымаются на увалы, спускаются в лощины, стоят крепостными стенами над песчаными ярами. Кое-где поблескивает вода — зеркало тихого лесного озера или омут лесной речки с красноватой «суровой» водой.

С вышки можно охватить взглядом все дремучее полесье, весь торжественный лесной край — неизмеримый и неведомый, властно зовущий человека в свои загадочные чащи.

Этому зову невозможно противиться. Нужно тотчас брать рюкзак, компас и уходить в леса, чтобы затеряться в этом зеленом хвойном океане.

Так мы и сделали однажды с Аркадием Гайдаром. Шли мы лесами весь день и почти всю ночь без дорог, под звездами, светившими сквозь кроны сосен одним только нам (потому что все вокруг спало непробудным сном), пока перед рассветом не вышли к извилистой лесной речке. Она была плотно закутана в туман.

Мы развели на берегу костер, сели около него и долго молчали, слушали, как где-то бормотала вода под корягой, а потом печально протрубил лось. Мы сидели, молчали и курили, пока на востоке не заголубела нежнейшая заря.

— Вот так бы сто лет! — сказал Гайдар.— Тебе бы хватило?

— Вряд ли.

— И мне бы не хватило. Давай котелок. Поставим чай.

Он пошел в темноту к реке. Я слышал, как он чистил котелок песком и ругал его за то, что у того отвалилась проволочная ручка. Потом он тихо замурлыкал незнакомую мне песню:

Лес дремучий, разбойничий
Темен с давних времен.
Нож булатный за пазухой
Горячо наточен.

От его голоса было спокойно на душе. Лес стоял безмолвно, тоже слушал пение Гайдара, и только река все бормотала, ворчала, сердясь на мешавшую ей корягу.

Есть еще много слов и не лесных, но они с такой же силой, как и лесные, заражают нас скрытым в них очарованием.

Очень богат русский язык словами, относящимися к временам года и к природным явлениям, с ними связанным.

Возьмем хотя бы раннюю весну. У нее, у этой еще зябнущей от последних заморозков девочки-весны, есть в котомке много хороших слов.

Начинаются оттепели, ростепели, капели с крыш. Снег делается зернистым, ноздреватым, оседает и чернеет. Его съедают туманы. Постепенно развозит дороги, наступает распутица, бездорожье. На реках появляются во льду первые промоины с черной водой, а на буграх — проталины и проплешины. По краю слежавшегося снега уже желтеет мать-и-мачеха.

Потом на реках происходит первая подвижка льда (именно подвижка, а не движение), когда лед начинает косо надкалываться и смещаться, и из лунок, продухов и прорубей выступает наружу вода.

Ледоход начинается почему-то чаще всего темными ночами после того как «пойдут овраги» и полая, талая вода, звеня последними льдинками — «черепками», сольется с лугов и полей.

Невозможно перечислить приметы всех времен года. Поэтому я пропускаю лето и перехожу к осени, к первым ее дням, когда уже начинает «сентябрить».

Увядает земля, но еще впереди «бабье лето» с его последним ярким, но уже холодным, как блеск слюды, сиянием солнца, с густой синевой небес, промытых прохладным воздухом, с летучей паутиной («пряжей богородицы», как кое-где называют ее до сих пор истовые старухи) и палым, повялым листом, засыпающим опустелые воды. Березовые рощи стоят, как толпы девушек-красавиц, в шитых золотым листом полушалках. «Унылая пора! очей очарованье!»

Потом — ненастье, обложные дожди, ледяной северный ветер «сиверко», бороздящий свинцовые воды, стынь, стылость, кромешные ночи, ледяная роса, темные зори.

Так все и идет, пока первый мороз не схватит, не скует землю, не выпадет первая пороша и не установится первопуток. А там уже и зима с вьюгами, метелями, поземкой, снегопадом, седыми морозами, вешками на полях, скрипом подрезов на розвальнях, серым снеговым небом.

Много у нас слов связано с туманами, ветрами, облаками и водами.

Особенно богато представлены в русском словаре реки с их плесами, бочагами, паромами и перекатами, где в межень с трудом проходят пароходы и, чтобы не сесть на мель, надо держать только по «главной струе».

Я знал нескольких паромщиков и перевозчиков. Вот у кого можно учиться русскому языку!

Паром — это шумный деревенский базар. Он заменяет собой народные сборища и деревенские чайные.

Где и поговорить, как не на пароме, пока женщины, притворно ругая лодырей мужиков, медленно перебирают проволочный трос, пока косматые и покорные своей судьбе лошаденки дергают с соседних возов сено и торопливо жуют его, косясь на грузовик, где предсмертно визжат и барахтаются в мешках поросята, пока не докурены до ногтей цигарки из ядовитого зеленого самосада!

Чтобы узнать все деревенские — и не только деревенские — новости, чтобы наслушаться всяких мудрых и неожиданных сентенций и невероятных рассказов, надо пойти именно на заваленный сенной трухой щелястый паром и только посиживать там, покуривать да слушать, переправляясь с берега на берег.

Почти все паромщики — люди словоохотливые, острые на язык и бывалые. Особенно они любят поговорить к вечеру, когда народ перестает валандаться взад-вперед через реку, когда спокойно опускается солнце за крутояром — высоким берегом — и толчется в воздухе и зудит мошкара.

Тогда, сидя на лавочке около шалаша, можно деликатно взять загрубевшими от канатов пальцами папироску у залетного человека, который никуда не торопится, сказать, что, конечно, «легкий табак — одно баловство, не доходит он до нашего сердца», но все же с наслаждением закурить, прищуриться на реку и начать разговор.

Вообще вся шумная и разнообразная жизнь на речных берегах, на пристанях (их зовут дебаркадерами или «конторками»), около наплавных мостов-плашкоутов со множеством толкущегося там речного народа, с его особыми нравами и традициями, дает богатую пищу для изучения языка.

Необыкновенно богаты в языковом отношении Волга и Ока. Мы не можем представить себе жизнь нашей страны без этих рек, как не можем представить ее без Москвы, без Кремля, без Пушкина и Толстого, Чайковского и Шаляпина, без Медного всадника в Ленинграде и Третьяковской галереи в Москве.

Языков, обладавший, по словам Пушкина, удивительным огнем языка, в одном из своих стихотворений великолепно описал Волгу и Оку. Особенно хорошо изображена Ока.

Языков приносит здесь поклон Рейну от великих русских рек, в том числе и от Оки:

...поемистой, дубравной,
В раздолье муромских песков
Текущей царственно, блистательно и плавно
В виду почтенных берегов...

Ну что ж, запомним «почтенные берега» и будем благодарны за это Языкову.

Не менее чем «природными» словами, богата наша страна местными речениями и диалектами.

Злоупотребление местными словами обычно говорит о незрелости и недостаточной художественной грамотности писателя. Слова берутся без разбора, мало понятные, а то и вовсе непонятные широкому читателю, берутся больше из щегольства, чем из желания придать живописную силу своей вещи.

Существует вершина — чистый и гибкий русский литературный язык. Обогащение его за счет местных слов требует строгого отбора и большого вкуса. Потому что есть немало мест в нашей стране, где в языке и произношении, наряду со словами — подлинными перлами, есть много слов корявых и фонетически неприятных.

Что касается произношения, то, пожалуй, больше всего режет слух произношение с выпадением гласных — все эти «быват» вместо «бывает», «понимат» вместо «понимает». И пресловутое «однако». Писатели, пишущие о Сибири и Дальнем Востоке, считают это слово священной принадлежностью речи почти всех своих героев.

Местное слово может обогатить язык, только если оно образно, благозвучно и понятно.

Для того чтобы оно стало понятным, совсем не нужно ни скучных объяснений, ни сносок. Просто это слово должно быть поставлено в такой связи со всеми соседними словами, чтобы значение его было ясно читателю сразу, без авторских или редакторских ремарок.

Одно непонятное слово может разрушить для читателя самое образцовое построение прозы.

Чем прозрачнее воздух, тем ярче солнечный свет. Чем прозрачнее проза, тем совершеннее ее красота и тем сильнее она отзывается в человеческом сердце. Коротко и ясно эту мысль выразил Лев Толстой: «Простота есть необходимое условие прекрасного».

Из многих местных слов, которые я услышал, к примеру, во Владимирской и Рязанской областях, часть, конечно, малопонятна и малоинтересна. Но попадаются слова, превосходные по своей выразительности,— например, старинное, до сих пор бытующее в этих областях слово «окоём» — горизонт.

На высоком берегу Оки, откуда открывается широкий горизонт, есть сельцо Окоемово. Из Окоемова, как говорят его жители, «видно половину России».

Горизонт — это все то, что способен охватить наш глаз на земле, или, говоря по-старинному, все то, что «емлет око». Отсюда и происхождение слова «окоём».

Очень благозвучно и слово «Стожары»,— так в этих областях (да и не только в них) народ называет созвездие Ориона.

Это слово, по созвучию, вызывает представление о холодном небесном пожаре (Плеяды и впрямь очень яркие, особенно осенью, когда они полыхают в темном небе действительно как серебряный пожар).

Такие слова украсят и современный литературный язык, тогда как, например, рязанское слово «уходился» вместо «утонул» невыразительно, малопонятно и потому не имеет никакого права на жизнь в общенародном языке. Так же как и очень интересное в силу своего архаизма слово «льзя» вместо «можно».

По рязанским деревням вы еще и теперь услышите примерно такие укоризненные возгласы:

— Эй, малый, да нешто льзя так баловаться! Совершенно даже нельзя.

Все эти слова — и окоем, и Стожары, и льзя, и глагол «сентябрит» (о первых осенних холодах) — я услышал в обыденной речи от старика с совершенно детской душой, истового труженика и бедняка, но не по бедности, а потому, что он довольствовался в своей жизни самым малым,— от одинокого крестьянина села Солотчи Рязанской области Семена Васильевича Елесина. Он умер зимой 1954 года.

Дед Семен был чистейшим образцом русского характера — гордого, благородного и щедрого, несмотря на внешнюю скудость своей жизни.

Обо всем он говорил по-своему и так, что это запоминалось на всю жизнь. Он любил рассказывать о трактирах, где «мужики кипели до утра» в спорах, чаепитии и махорочном дыму. Колхозную чайную он долго не признавал, потому что там кормят «по квитанции» (по чеку). Это ему казалось диким: «На што она мне, эта квитанция! Я заплатил,— значит, давай мне закуску, и все!»

У деда Семена была своя заветная и несбывшаяся мечта — стать столяром, но таким великим артистом-столяром, чтобы весь свет дивился на его волшебную работу.

Но на деле мечта эта сводилась к продолжительным и горячим спорам о том, как надо пригнать «заподлицо» оконный наличник или поправить сломанную ступеньку. Тут шла в ход такая замысловатая терминология, что запомнить ее было невозможно.

Как человек озаряет те места, где он живет! Семен умер, и с тех пор эти места потеряли так много своей прелести, что трудно собраться с духом, чтобы поехать туда, где на песчаном кладбищенском бугре над рекой, среди плакучих ветел, лежит, говорят, на его могиле зернистый серый жернов.

В поисках слов нельзя пренебрегать ничем. Никогда не знаешь, где найдешь настоящее слово.

Изучая море, морское дело и язык моряков, я начал читать лоции — справочные книги для капитанов. В них были собра-

ны все сведения о том или ином море: описание глубин, течений, ветров, берегов, портов, маячных огней, подводных скал, мелей и всего, что необходимо знать для благополучного плавания. Существуют лоции всех морей.

Первая лоция, попавшая мне в руки, была лоция Черного и Азовского морей. Я начал читать ее и был поражен великолепным ее языком, точным и неуловимо своеобразным.

Вскоре я узнал причину этого своеобразия: безыменные лоции издавались с начала XIX века через равные промежутки лет, причем каждое поколение моряков вносило в них свои поправки. Поэтому вся картина языковых изменений больше чем за сто лет с полной наглядностью отражена в лоции. Рядом с современным языком мирно сосуществует язык наших прадедов и дедов.

По лоции можно судить, как резко изменились некоторые понятия. Например, о самом жестоком и разрушительном ветре — новороссийском норд-осте (боре) — в лоции говорится так:

«Во время норд-оста берега покрываются густою мрачностью».

Для наших прадедов «мрачность» означала черный туман, для нас она — наше душевное состояние.

Вся морская терминология, так же как и разговорный язык моряков, великолепна. Почти о каждом слове можно писать поэмы, начиная от «розы ветров» и кончая «гремящими сороковыми широтами» (это не поэтическая вольность, а наименование этих широт в морских документах).

А какая крылатая романтика живет во всех этих фрегатах и баркантинах, шхунах и клиперах, вантах и реях, кабестанах и адмиралтейских якорях, «собачьих» вахтах, звоне склянок и лагах, гуле машинных турбин, сиренах, кормовых флагах, полных штормах, тайфунах, туманах, ослепительных штилях, плавучих маяках, «приглубых» берегах и «обрубистых» мысах, узлах и кабельтовых — во всем том, что Александр Грин называл «живописным трудом мореплавания».

Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он заслуживает отдельного исследования, так же как и язык людей многих других профессий.

СЛУЧАЙ В МАГАЗИНЕ АЛЬШВАНГА

Зимой 1921 года я жил в Одессе, в бывшем магазине готового платья «Альшванг и компания». Я занял явочным порядком примерочную на втором этаже.

В моем распоряжении были три большие комнаты с зеркалами из бемского стекла. Зеркала так крепко были вмурованы в стены, что все попытки — и мои и поэта Эдуарда Багрицкого — выломать эти зеркала, чтобы обменять их на продукты на Новом базаре, ни к чему не привели. Ни одно зеркало даже не треснуло.

В примерочной не было никакой мебели, кроме трех пустых ящиков с гнилой стружкой. Хорошо еще, что стеклянная дверь легко снималась с петель. Каждый вечер я снимал ее, клал на два ящика и устраивал на этой двери свою постель.

Стеклянная дверь была очень скользкая, и потому по нескольку раз за ночь старый тюфяк сползал с нее вместе со мной и сваливался на пол.

Как только тюфяк начинал двигаться, я тотчас просыпался и лежал не дыша, боясь пошевелить даже пальцем, глупо надеясь, что, может быть, тюфяк остановится. Но он сползал медленно и неумолимо, и моя хитрость не помогала.

Это было совсем не смешно. Зима стояла свирепая. Море замерзло от порта до Малого Фонтана. Жестокий норд-ост полировал гранитные мостовые. Снег не выпал ни разу, и от этого холод казался гораздо холоднее, чем если бы на улицах лежал снег.

В примерочной стояла маленькая жестяная печка-«буржуйка». Топить ее было нечем. Да и невозможно было согреть этой жалкой печуркой три огромные комнаты. Поэтому на «буржуйке» я только кипятил морковный чай. Для этого хватало нескольких старых газет.

На третьем ящике был устроен стол. На нем по вечерам я зажигал коптилку.

Я ложился, наваливал на себя все теплое, что у меня было, и читал при свете коптилки стихи Хосе Мариа Эредиа в переводе Георгия Шенгели. Стихи были изданы в Одессе в этот голодный год, и я могу засвидетельствовать, что они не ослабили нашего мужества. Мы чувствовали себя стойкими, как римляне, и вспоминали стихи того же Шенгели: «Друзья, мы римляне, мы истекаем кровью...»

Кровью мы, конечно, не истекали, но все же и нам, молодым и веселым людям, бывало иногда чересчур холодно и голодно. Но никто не роптал.

Внизу, в первом этаже магазина, развертывала суетливую и несколько подозрительную деятельность некая художественная артель. Во главе этого предприятия стоял старый ворчливый живописец, известный в Одессе под кличкой «Король вывесок».

Артель принимала заказы на вывески, шитье женских шапочек, изготовление «деревяшек» (женских туфель, производство которых отличалось античной простотой: к деревянной подошве приколачивалось всего несколько тесемок!) и на рисование реклам для кино (их писали клеевыми красками на кривой фанере).

Но однажды мастерской повезло, и она получила заказ на так называемое «носовое украшение» для единственного в то время черноморского парохода «Пестель». Он собирался идти первым рейсом в Батум.

Сооружение это сделали из листового железа, а затем расписали по черному фону золотым растительным орнаментом.

Эта работа увлекла всех, и даже милиционер Жора Козловский отлучался иной раз с соседнего поста, чтобы посмотреть на нее.

Я работал тогда секретарем в газете «Моряк». В ней вообще работало много молодых писателей, в том числе Катаев, Багрицкий, Бабель, Олеша и Ильф. Из старых, опытных писателей часто заходил к нам в редакцию только Андрей Соболь — милый, всегда чем-нибудь взволнованный, неусидчивый человек.

Однажды Соболь принес в «Моряк» свой рассказ, раздерганный, спутанный, хотя и интересный по теме и, безусловно, талантливый.

Все прочли этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде было нельзя. Предложить Соболю исправить его никто не решался. В этом отношении Соболь был неумолим — и не столько из-за авторского самолюбия (его-то как раз у Соболя почти не было), сколько из-за нервозности: он не мог возвращаться к написанным своим вещам и терял к ним интерес.

Мы сидели и думали: что делать? Сидел с нами и наш корректор, старик Благов, бывший директор самой распространенной в России газеты «Русское слово», правая рука знаменитого издателя Сытина.

Это был неразговорчивый человек, напуганный своим прошлым. Всей своей солидной фигурой он совершенно не вязался с оборванной и шумной молодежью нашей редакции.

Я забрал рукопись Соболя с собой в магазин Альшванга, чтобы прочесть ее еще раз.

Поздним вечером (было не больше десяти часов, но город, погруженный в темноту, пустел уже в сумерки, и только ветер злорадно выл на перекрестках) милиционер Жора Козловский постучал в дверь магазина.

Я свернул тугой жгут из газеты, зажег его и пошел с ним, как с факелом, открывать тяжелую магазинную дверь, заложенную ржавым куском газовой трубы. Коптилку брать с собой было нельзя — она гасла не только от самого слабого колебания воздуха, но даже от пристального взгляда.

— К вам гражданин просится,— сказал Жора.— Удостоверьте его личность, тогда я его впущу. Тут мастерские. Одних красок, говорят, на триста миллионов рублей.

Конечно, если принять во внимание, что я, например, получал в «Моряке» миллион рублей в месяц (по базарным ценам их хватало на сорок коробков спичек), то эта сумма была не такой уж баснословной, как казалось Жоре.

За дверью стоял Благов. Я удостоверил его личность. Жора впустил его в магазин и сказал, что часа через два он придет к нам погреться и попить кипятку.

— Вот что,— сказал Благов.— Я все думаю об этом рассказе Соболя. Талантливая вещь. Нельзя, чтобы она пропала.

У меня, знаете, как у старого газетного волка, привычка не выпускать из рук хорошие рассказы.

— Что же поделаешь! — ответил я.

— Дайте мне рукопись. Клянусь честью, я не изменю в ней ни слова. Я останусь здесь, потому что возвращаться домой, на Ланжерон, невозможно,— наверняка разденут. И при вас я пройдусь по рукописи.

— Что значит «пройдусь»? — спросил я.— «Пройтись» — это значит выправить.

— Я же вам сказал, что не выброшу и не впишу ни одного слова.

— А что же вы сделаете?

— А вот увидите.

В словах Благова я почувствовал нечто загадочное. Какая-то тайна вошла в эту зимнюю штормовую ночь в магазин Альшванга вместе с этим спокойным человеком. Надо было узнать эту тайну, и поэтому я согласился.

Благов вынул из кармана огарок необыкновенно толстой церковной свечи. Золотые полоски вились по ней спиралью. Он зажег этот огарок, поставил его на ящик, сел на мой потрепанный чемодан и склонился над рукописью с плоским плотницким карандашом в руке.

Среди ночи пришел Жора Козловский. Я как раз вскипятил воду и заваривал чай, но на этот раз не из сушеной моркови, а из мелко нарезанных и поджаренных кусочков свеклы.

— Поимейте в виду,— сказал Жора,— что издали вы похожи на вылитых фальшивомонетчиков. Чего это вы тут делаете?

— Исправляем рассказ,— ответил я.— Для очередного номера.

— Поимейте в виду,— снова сказал Жора,— что не каждый работник милиции поймет, чем вы занимаетесь. Благодарите бога, которого, конечно, нет, что тут я стою на посту, а не какой-нибудь другой тютя. Для меня культура выше всего. А что касается фальшивомонетчиков, то это такие артисты, что из одного и того же куска навоза сделают доллары и удостоверение на право жительства. В музее Лувр в Париже лежит, говорят, на черной бархатной подушке мраморная рука неописуемой красоты. Так то не рука Сары Бернар, Шопена или Веры Холодной. То слепок с руки самого знаменитого фальшивомонетчика в Европе. Забыл, как его звали. В свое время ему отрубили голову, а руку выставили, как будто он был скрипач-виртуоз. Поучительная история?

— Не очень,— ответил я.— У вас есть сахарин?

— Есть,— ответил Жора.— В таблетках. Могу поделиться.

Благов кончил работу над рукописью только к утру. Мне он рукописи не показал, пока мы не пришли в редакцию и машинистка не переписала ее начисто.

Я прочел рассказ и онемел. Это была прозрачная, литая проза. Все стало выпуклым, ясным. От прежней скомканности и

словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного слова.

Я посмотрел на Благова. Он курил толстую папиросу из черного, как чай, кубанского табака и усмехался.

— Это чудо! — сказал я.— Как вы это сделали?

— Да просто расставил правильно все знаки препинания. У Соболя с ними форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это великая вещь, милый мой. Еще Пушкин говорил о знаках препинания. Они существуют, чтобы выделить мысль, привести слова в правильное соотношение и дать фразе легкость и правильное звучание. Знаки препинания — это как нотные знаки. Они твердо держат текст и не дают ему рассыпаться.

Рассказ был напечатан. А на следующий день в редакцию ворвался Соболь. Он был, как всегда, без кепки, волосы его были растрепаны, а глаза горели непонятным огнем.

— Кто трогал мой рассказ? — закричал он неслыханным голосом и с размаху ударил палкой по столу, где лежали комплекты газет. Пыль густым облаком взлетела над столом.

— Никто не трогал,— ответил я.— Можете проверить текст.

— Ложь! — крикнул Соболь.— Брехня! Я все равно узнаю, кто трогал!

Запахло скандалом. Робкие сотрудники начали быстро исчезать из комнаты. Но, как всегда, на шум примчались, стуча «деревяшками», обе наши машинистки — Люсьена и Люся.

Тогда Благов сказал спокойным и даже унылым голосом:

— Если вы считаете, что правильно расставить в вашем рассказе знаки препинания — это значит тронуть его, то извольте: трогал его я. По своей обязанности корректора.

Соболь бросился к Благову, схватил его за руки, крепко потряс их, потом обнял старика и троекратно, по-московски, поцеловал его.

— Спасибо! — сказал взволнованно Соболь.— Вы дали мне чудесный урок. Но только жалко, что так поздно. Я чувствую себя преступником по отношению к своим прежним вещам.

Вечером Соболь достал где-то полбутылки коньяка и принес в магазин Альшванга. Мы позвали Благова, пришли Багрицкий и Жора Козловский, сменившийся с поста, и мы выпили коньяк во славу литературы и знаков препинания.

После этого я окончательно убедился, с какой поразительной силой действует на читателя точка, поставленная в нужном месте и вовремя.

КАК БУДТО ПУСТЯКИ

Почти у каждого из писателей есть свой вдохновитель, свой добрый гений, обыкновенно тоже писатель.

Стоит прочесть хотя бы несколько строк из его книги — и тотчас же захочется писать самому. Как будто бродильный сок

брызжет из некоторых книг, опьяняет нас, заражает и заставляет браться за перо.

Удивительно, что нередко такой писатель, добрый гений, бывает далек от нас по характеру своего творчества, по манере и по темам.

Я знаю одного литератора — крепкого реалиста, бытовика, человека трезвого и спокойного. Для него таким добрым гением является безудержный фантаст Александр Грин.

Гайдар называл своим вдохновителем Диккенса. Что касается меня, то любая страница из «Писем из Рима» Стендаля вызывает желание писать, хотя я пишу вещи, настолько далекие от прозы Стендаля, что это удивляет даже меня самого Однажды осенью, читая Стендаля, я написал рассказ «Кордон 273» — о заповедных лесах на реке Пре. Ничего общего со Стендалем в этом рассказе найти совершенно нельзя.

Признаться, я не задумывался над этим случаем. Упомянул же о нем лишь для того, чтобы поговорить о множестве незначительных, на первый взгляд, обстоятельств и привычек, помогающих писателям работать.

Всем известно, что Пушкин лучше всего писал осенью. Не даром «Болдинская осень» стала синонимом поразительной твор ческой плодовитости.

«Осень подходит,— писал Пушкин Плетневу.— Это — любимое мое время — здоровье мое обыкновенно крепнет, пора моих литературных трудов настает».

Догадаться, в чем тут дело, пожалуй, легко.

Осень — это прозрачность и холод, «прощальная краса» с ее четкостью далей и свежим дыханием. Осень вносит в природу скупой рисунок. Багрец и золото лесов и рощ редеют с каждым часом, усиливая резкость линий, оставляя обнаженные ветви.

Глаз привыкает к ясности осеннего пейзажа. Эта ясность постепенно завладевает сознанием, воображением, рукой писателя. Ключ поэзии и прозы бьет чистой ледяной водой, в ней изредка лишь позванивают льдинки. Голова свежа, сердце стучит сильно и ровно. Только немного зябнут пальцы.

К осени созревает урожай человеческих дум. Об этом хо рошо сказал Баратынский: «И спеет жатва дорогая, и в зернах дум ее сбираешь ты, судеб людских достигнув полноты».

Пушкин, по его собственным словам, каждой осенью расцветал вновь. Каждую осень он молодел. Очевидно, прав был Гете, когда утверждал, что у гениев на протяжении жизни бывает несколько возвратов юности.

В один из таких осенних дней Пушкин написал стихи, выражающие необычайно наглядно сложный процесс поэтического творчества:

И забываю мир, и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
Душа стесняется лирическим волненьем,

Трепещет, и звучит, и ищет, как во сне,
Излиться наконец свободным проявленьем —
И тут ко мне идет незримый рой гостей,
Знакомцы давние, плоды мечты моей.

И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута — и стихи свободно потекут

Это поразительный по тонкости анализ творчества. Его можно было сделать только в порыве высокого душевного подъема

У Пушкина была еще одна особенность. Те места в своих вещах, которые ему не давались, он просто пропускал, никогда на них не задерживался и продолжал писать дальше. Потом он возвращался к пропущенным местам, но лишь в минуты вдохновенья, которое он никогда не старался вызвать насильственно

Я видел, как работал Гайдар. Это было совсем не похоже на то, как обычно работают писатели.

Мы жили тогда в мещерских лесах, в деревне. Гайдар поселился в большом доме, выходившем на сельскую улицу, а я — в бывшей баньке, в глубине сада.

В то время Гайдар писал «Судьбу барабанщика». Мы сговорились честно работать с утра до обеда и не соблазнять в это время друг друга рыбной ловлей.

Однажды я писал в баньке около открытого окна. Не успел я написать и четверти страницы, как из большого дома вышел Гайдар и прошел мимо моего окна с совершенно независимым и равнодушным видом.

Я притворился, что не замечаю его. Гайдар походил по саду, что-то ворча про себя, потом опять прошел мимо окна, но теперь уже явно стараясь задеть меня. Он насвистывал и притворно кашлял.

Я молчал. Тогда Гайдар прошел мимо в третий раз и посмотрел на меня с раздражением. Я все молчал.

Гайдар не выдержал.

— Слушай,— сказал он,— не валяй дурака! Все равно ты пишешь так быстро, что тебе ничего не стоит оторваться Подумаешь, какой Боборыкин! Если бы я так писал, то у меня уже было бы полное собрание сочинений в ста восемнадцати томах.

Ему очень понравилась эта цифра. Он с удовольствием повторил:

— В ста восемнадцати томах! Ни томом меньше!

— Ну,— сказал я,— выкладывай: что тебе нужно?

— А мне нужно, чтобы ты послушал, какую я чу́дную фразу придумал.

— Какую?

— Вот, слушай: «Пострадал старик, пострадал!» — говорили пассажиры» Хорошо?

— Откуда я знаю! — ответил я.— Смотря по тому, где она стоит и к чему относится.

Гайдар рассвирепел.

— «К чему относится», «к чему относится»! — передразнил он меня.— К тому, к чему надо, к тому и относится! Ну, черт с тобой! Сиди, выписывай свои сочинения. А я пойду запишу эту фразу.

Но долго он не выдержал. Через двадцать минут он опять ходил у меня под окном.

— Ну, какую еще гениальную фразу ты придумал? — спросил я.

— Слушай,— сказал Гайдар,— раньше я только смутно подозревал, что ты размагниченный интеллигент и насмешник. А теперь я в этом убедился. И притом — с горечью.

— Иди ты знаешь куда! — сказал я.— Честью прошу, не мешай!

— Подумаешь, какой Лажечников! — сказал Гайдар, но все-таки ушел.

Через пять минут он возвратился и еще издали прокричал мне новую фразу. Она, правда, была неожиданной и хорошей. Я похвалил ее. Гайдару только этого было и надо.

— Вот! — сказал он.— Теперь я к тебе больше не приду. Никогда! Как-нибудь напишу и без твоей помощи.

И вдруг добавил на ужасающем французском языке:

— О ревуар, месье л'экривен рюс совьетик![1]

Он очень увлекался в то время французским языком и только что начал его изучать.

Гайдар еще несколько раз возвращался в сад, но мне не мешал, а ходил по дальней дорожке и что-то бормотал про себя.

Так он и работал — придумывал на ходу фразы, потом записывал их, потом опять придумывал. Весь день он ходил из дома в сад. Я удивлялся и был уверен, что повесть у Гайдара едва-едва движется. Но потом оказалось, что он хитрил и записывал гораздо больше, чем по одной фразе.

Недели через две он окончил «Судьбу барабанщика», пришел ко мне в баньку веселый, довольный и спросил:

— Хочешь, я прочту тебе повесть?

Я, конечно, очень хотел послушать ее.

— Так вот, слушай! — сказал Гайдар, остановился посреди комнаты и засунул руки в карманы.

— Где же рукопись? — спросил я.

— Только никудышные дирижеры,— наставительно ответил Гайдар,— кладут перед собой на пюпитр партитуру. Зачем мне рукопись! Она отдыхает на столе. Ты будешь слушать или нет?

И он прочел мне повесть наизусть, от первой до последней строчки.

— Ты где-нибудь чего-нибудь все-таки здорово напутал,— сказал я с сомнением.

---

[1] До свидания, господин русский советский писатель!

— На пари! — крикнул Гайдар.— Не больше десяти ошибок! Если ты проиграешь, то завтра же поедешь в Рязань и купишь мне на барахолке старинный барометр. Я его уже присмотрел. У той старухи — помнишь? — которая во время дождя надевает на голову абажур. Сейчас я принесу рукопись.

Он принес рукопись и второй раз прочел повесть наизусть. Я следил по рукописи. Только в нескольких местах он ошибся, да и то незначительно. Из-за этого у нас несколько дней шла распря, выиграл ли Гайдар пари или нет.

В общем, я купил, к великой его радости, барометр. Мы решили сообразовать с этим медным громоздким сооружением свою рыболовную жизнь, но сразу же попали в дурацкое положение и промокли до костей, когда барометр предсказал «великую сушь», а на самом деле три дня лил дождь.

То было чудесное время непрерывных шуток, «розыгрышей», споров о литературе и рыбной ловли по озерам и старицам. Все это каким-то неуловимым образом помогало нам писать.

Мне пришлось быть при том, когда Федин начал писать свой роман «Необыкновенное лето».

Да простит меня Федин, что я пишу об этом. Но мне кажется, что манера работы каждого писателя, особенно такого мастера, как Федин, интересна и полезна не только для писателей, но и для всех людей, любящих литературу.

Жили мы в Гаграх, в небольшом доме на самом берегу моря. Дом этот, похожий на дореволюционные дешевые «меблирашки», представлял из себя порядочную трущобу.

Во время бурь он трясся от ветра и ударов волн, скрипел, трещал и, казалось, разваливался на глазах. От сквозняков двери с вырванными замками сами по себе медленно и зловеще отворялись и, постояв неподвижно несколько секунд и подумав, вдруг захлопывались с таким звоном, что с потолка сыпалась штукатурка.

Все бродячие псы из Новых и Старых Гагр ночевали под террасой этого дома. Иногда, пользуясь временным отсутствием хозяев, они залезали в комнаты, ложились на кровати и мирно похрапывали.

Входить в свою комнату надо было с опаской, независимо от характера пса, захватившего вашу кровать. Пес совестливый и робкий вскакивал и с отчаянным визгом бросался вон. Если вы попадались ему под ноги, то он со страха мог вас укусить.

Если же пес попадался нахальный и опытный, то он, лежа на кровати и следя за вами ненавидящим глазом, начинал так страшно рычать, что приходилось вызывать на подмогу соседей.

Окно из комнаты Федина выходило на террасу над морем. Во время штормов плетеные кресла с террасы сваливали в кучу около этого окна, чтобы они не намокали от брызг. На этой куче кресел всегда сидели собаки и смотрели сверху на Федина, писавшего за столом. Псы подвывали от желания попасть в его освещенную и теплую комнату.

Сначала Федин жаловался, что псы его просто бросают в дрожь. Стоило ему оторваться от рукописи и, задумавшись, посмотреть на окно, как десятки горящих ненавистью собачьих глаз впивались в него. Он чувствовал от этого даже некоторую неловкость, как будто был виноват, что живет в тепле и занимается явно бессмысленным делом, водя пером по бумаге.

Это, конечно, в какой-то мере мешало Федину работать, но он скоро привык и перестал считаться с собаками.

Мне думается, что простота и неустроенность нашей жизни напомнили ему молодость, когда мы могли писать на подоконнике, при свете коптилки, в комнате, где замерзали чернила,— при любых условиях.

Большинство писателей пишут по утрам, некоторые пишут и днем и очень немногие — ночью.

Федин мог работать, и зачастую работал, в любой час суток. Лишь изредка он отрывался, чтобы передохнуть.

Он писал по ночам под немолчный гул моря. Этот привычный шум не только не мешал, но даже помогал ему. Мешала, наоборот, тишина.

Однажды поздней ночью Федин разбудил меня и взволнованно сказал:

— Ты знаешь, море молчит. Пойдем послушаем на террасу.

Глубокая, казалось, космическая тишина остановилась над берегом. Мы затихли, чтобы уловить в темноте хотя бы слабый плеск волны, но ничего не могли услышать, кроме звона в ушах. Это звенела наша кровь. В высокой, тоже какой-то космической мгле тускло светили звезды. Мы, привыкшие к беспрерывному морскому шуму, были даже подавлены этой тишиной. Федин в ту ночь не работал.

Невольно наблюдая за Фединым, я узнал, что он садился писать только в том случае, если очередная глава была строго обдумана, выверена, обогащена размышлениями и воспоминаниями, если она складывалась в сознании вплоть до отдельных фраз.

Федин писал только о том, что ясно видел, и притом в законченной связи с целым.

Ясный, твердый ум и строгий глаз Федина не могли мириться с зыбкостью замысла и его воплощения. Проза должна была быть, по мнению Федина, отработана до предельной точности и закалена до твердости алмаза.

Флобер провел всю жизнь в мучительной погоне за совершенством слога. В своем стремлении к кристальности прозы он порой не мог остановиться, правка рукописей делалась для него в некоторых случаях не дорогой к совершенствованию прозы, а самоцелью. Он терял способность верной оценки, уставал, приходил в отчаяние и явно засушивал и омертвлял свои вещи, или, как говорил Гоголь, «рисовал, рисовал, да и зарисовался».

Федин всегда умеет остановиться вовремя. Критик в нем никогда не дремлет, но и не подавляет писателя.

...Флоберу в высокой степени было присуще то свойство писателя, которое теоретики литературы называют «персонификацией», а говоря проще — способностью перевоплощаться в своих героев с такой силой, что все происходящее с ними (по воле писателя) переживается самим писателем необыкновенно живо.

Известно, что, описывая смерть Эммы Бовари от яда, Флобер почувствовал все признаки отравления и ему пришлось прибегнуть к помощи врача.

Флобер был истинным мучеником. Он писал так медленно, что с отчаянием говорил: «Стоит самому себе набить морду за такую работу».

Для Бальзака все его герои были тоже живыми и близкими людьми. Он то хрипел от ярости, обзывал их негодяями и дураками, то посмеивался и одобрительно похлопывал по плечу, то неуклюже утешал их в несчастье.

Вера в реальность своих героев и в непреложность того, что он о них написал, была у Бальзака поистине фантастической. Об этом свидетельствует любопытный случай из его жизни.

В одном из рассказов Бальзака есть молодая монахиня (имя ее я не помню, но предположим, что звали ее Жанной). Настоятельница монастыря послала кроткую Жанну в Париж по каким-то монастырским делам. Молодая монахиня была потрясена блестящей, суетной, ослепительной жизнью столицы. В свете газовых рожков она часами рассматривала неслыханные богатства в витринах магазинов. Она видела женщин в тончайших душистых платьях. Эти платья как бы раздевали этих красавиц и подчеркивали всю прелесть их тонких спин, высоких ног, маленьких острых грудей.

Она слышала странные, опьяняющие слова признаний, намеков, вкрадчивый шепот мужчин. Она была молода и красива. Ее преследовали на улицах. Ей говорили такие же странные слова. У нее дико колотилось сердце. Первый поцелуй, вырванный у нее силой в густой тени платана в каком-то саду, был оглушителен, как гром, и лишил ее рассудка.

Она осталась в Париже. Она истратила все монастырские деньги на то, чтобы превратиться в обольстительную парижанку.

Через месяц она пошла на панель.

В этом рассказе Бальзак упомянул название одного из существовавших в то время женских монастырей. Книга Бальзака случайно попала к его настоятельнице. В монастыре как раз была молоденькая монахиня Жанна. Настоятельница вызвала ее к себе и грозно спросила:

— Вы знаете, что пишет о вас господин Бальзак?! Он опозорил вас! Он очернил нашу обитель. Он клеветник и богохульник. Читайте!

Девушка прочла рассказ и разрыдалась.

— Немедленно! — сказала громовым голосом настоятельница.— Немедленно собирайтесь, поезжайте в Париж, разыщите там господина Бальзака и потребуйте, чтобы он сообщил всей Франции, что это клевета и что он унизил чистую девушку, никогда даже не бывавшую в Париже. Он оскорбил монастырь и всю нашу паству. Пусть он покается в этом своем безумном грехе. Вы должны добиться этого. В противном случае лучше не возвращайтесь.

Жанна уехала в Париж. Она отыскала Бальзака и с трудом добилась, чтобы он принял ее.

Бальзак сидел в старом халате, задыхающийся, как боров. Дым табака наполнял его комнату. Стол был завален горами торопливо исписанных листов бумаги.

Бальзак хмурился. Ему было некогда — жизнь заранее была рассчитана так, чтобы успеть написать не меньше пятидесяти романов. Но глаза Бальзака остро блестели. Он не спускал их с Жанны.

Жанна потупилась, покраснела и, призывая на помощь имя божье, рассказала господину Бальзаку всю историю в монастыре и попросила снять с нее позорную тень, которую господин Бальзак неизвестно зачем бросил на ее целомудрие и святость.

Бальзак явно не понимал, чего от него хочет эта красивая и нежная монахиня.

— Какую позорную тень? — спросил он.— Все, что я пишу, всегда святая правда.

Жанна повторила свою просьбу и тихо добавила:

— Сжальтесь надо мной, господин Бальзак. Если вы не захотите помочь мне, то я не знаю, что делать.

Бальзак вскочил. Глаза его гневно сверкнули.

— Как?! — закричал он.— Вы не знаете, что делать? У меня же совершенно ясно написано все, что случилось с вами! Совершенно ясно! Какие же могут быть сомнения?

— Неужели вы хотите сказать, чтобы я осталась в Париже? — спросила Жанна.

— Да! — закричал Бальзак.— Да, черт возьми!

— И вы хотите, чтобы я...

— Нет, черт возьми! — снова закричал Бальзак.— Я только хочу, чтобы вы сняли этот черный балахон. Чтобы ваше молодое тело, прекрасное, как живой жемчуг, узнало, что такое радость и любовь. Чтобы вы научились смеяться. Идите же! Идите! Но не на панель!

Бальзак схватил Жанну за руку и потащил к выходной двери.

— У меня ведь все там написано,— говорил он.— Идите! Вы очень милы, Жанна, но из-за вас я уже потерял три страницы текста. И какого текста!

Жанна не могла вернуться в монастырь, так как господин

Бальзак не снял с нее позорного пятна. Она осталась в Париже. Говорят, что через год ее видели среди молодежи в студенческом кабачке, который назывался «Серебряный вьюк». Она была весела, счастлива и прелестна.

Сколько писателей — столько же и навыков работы.

В том деревенском доме под Рязанью, о котором я уже упоминал, я нашел письма нашего известного гравера Иордана к граверу Пожалостину (об этих письмах я тоже упоминал).

В одном из писем Иордан пишет, что потратил два года на то, чтобы выгравировать копию одной из итальянских картин. Работая, он все время ходил вокруг стола с гравировальной доской и протер в кирпичном полу заметный след.

«Я уставал,— пишет Иордан.— Но я все-таки ходил, двигался. Как же должен был уставать Николай Васильевич Гоголь, привыкший писать стоя за конторкой! Вот уж истинно мученик своего дела».

Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писателе сидит и свой собственный критик. Злее всего этот критик бывает по утрам, а ночью он спит, и потому по ночам писатель всецело предоставлен самому себе, работает без острастки и пишет много дурного и лишнего. Толстой ссылался при этом на Руссо и Диккенса, работавших только по утрам, и считал, что Достоевский и Байрон, любившие работать ночью, грешили этим против своего таланта.

Тягость писательской работы Достоевского была, конечно, не только в том, что он работал по ночам и при этом беспрерывно пил чай. Это в конце концов не так уж сильно отражалось на качестве его работы.

Тягость была в том, что Достоевский не выходил из безденежья и долгов и потому вынужден был писать очень много и всегда наспех.

Он садился писать, когда времени оставалось в самый обрез. Ни одну из своих вещей он не написал спокойно, в полную силу. Он комкал свои романы (не по количеству написанных страниц, а по широте повествования). Поэтому они выходили у него хуже, чем могли бы быть, чем были задуманы. «Гораздо лучше мечтать о романе, чем писать его»,— говорил Достоевский.

Он всегда старался подольше жить со своим ненаписанным романом, все время изменяя и обогащая его. Поэтому он всеми силами оттягивал писание,— ведь каждый день и час могла родиться новая идея, а ее задним числом в роман, конечно, не вставишь.

Долги заставляли его торопиться, хотя он часто сознавал, садясь писать, что роман еще не дозрел. Сколько мыслей, образов, подробностей пропадало зря только потому, что они пришли в голову слишком поздно, когда роман или был уже окончен, или, по мнению писателя, непоправимо испорчен!

«От бедности,— говорил о себе Достоевский,— я принужден торопиться и писать для дела, следовательно — непременно портить».

Чехов в молодости умел писать на подоконнике в тесной и шумной московской квартире. А рассказ «Егерь» он написал в купальне. Но с годами эта легкость в работе исчезла.

Лермонтов писал свои стихи на чем попало. Все кажется, что они сразу слагались у него в сознании, пели у него в душе и он потом только наспех записывал их без всяких поправок.

Алексей Толстой мог писать, если перед ним лежала стопа чистой, хорошей бумаги. Он признавался, что, садясь за письменный стол, часто не знал, о чем будет писать. У него в голове сидела одна какая-нибудь живописная подробность. Он начинал с нее, и она постепенно вытаскивала за собой, как за волшебную нитку, все повествование.

Рабочее состояние, вдохновение Толстой называл по-своему — накатом. «Если накатит,— говорил он,— то я пишу быстро. Ну, а если не накатит, тогда надо бросать».

Конечно, Толстой был в значительной степени импровизатором. Мысль у него опережала руку.

Все писатели, должно быть, знают то замечательное состояние во время работы, когда новая мысль или картина появляются внезапно, как бы прорываются, как вспышки, на поверхность из глубины сознания. Если их тут же не записать, то они могут так же бесследно исчезнуть.

В них свет, трепет, но они непрочны, как сны. Те сны, которые мы помним только какую-то долю секунды после пробуждения, но тут же забываем. Сколько бы мы ни мучились и ни старались вспомнить их потом, это не удается. От этих снов сохраняется только ощущение чего-то необыкновенного, загадочного, чего-то «дивного», как сказал бы Гоголь.

Надо успеть записать. Малейшая задержка — и мысль, блеснув, исчезнет.

Может быть, поэтому многие писатели не могут писать на узких полосках бумаги, на гранках, как это делают журналисты. Нельзя слишком часто отрывать руку от бумаги, потому что даже эта ничтожная задержка на какую-то долю секунды может быть гибельной. Очевидно, работа сознания совершается с фантастической быстротой.

Французский поэт Беранже писал свои песенки в дешевых кафе. И Эренбург, насколько я знаю, тоже любил писать в кафе. Это понятно. Потому что нет лучшего одиночества, как среди оживленной толпы, если, конечно, никто и ничто непосредственно не отрывает тебя от мыслей и не покушается на твою сосредоточенность.

Андерсен любил придумывать свои сказки в лесах. У него было хорошее, очень сильное зрение. Поэтому он мог рассматривать кусок коры или старую сосновую шишку и видеть на

них, как сквозь увеличительную линзу такие подробности, из которых легко составлять сказки.

Вообще всё в лесу — каждый замшелый пень и каждый рыжий муравей-разбойник, который тащит, как похищенную прелестную принцессу, маленькую мошку с прозрачными зелеными крылышками,— все это может обернуться сказкой.

Мне не хотелось бы говорить о своем собственном литературном опыте. Это вряд ли прибавит что-либо существенное к тому, что уже сказано. Но все же несколько слов от себя я добавлю.

Если мы хотим добиться наивысшего расцвета нашей литературы, то надо понять, что самая плодотворная форма общественной деятельности писателя — это его творческая работа. Скрытая от всех до выхода книги работа писателя превращается после ее выхода в общечеловеческое дело.

Нужно беречь время, силы и талант писателей, а не разменивать их на изнурительную окололитературную возню и заседания.

Писателю, когда он работает, нужны спокойствие и, по возможности, отсутствие забот. Если впереди ждет какая-нибудь, даже отдаленная, неприятность, то лучше не браться за рукопись. Перо будет валиться из рук или из-под него поползут вымученные пустые слова.

Я несколько раз в своей жизни работал с легким сердцем, сосредоточенно и неторопливо.

Однажды я плыл зимой на совершенно пустом теплоходе из Батума в Одессу. Море было серое, холодное, тихое. Берега тонули в пепельной мгле. Тяжелые тучи, будто в летаргическом сне, лежали на хребтах отдаленных гор.

Я писал в каюте, иногда вставал, подходил к иллюминатору, смотрел на берега. Тихо пели в железной утробе теплохода могучие машины. Пищали чайки. Писать было легко. Никто не мог оторвать меня от любимых мыслей. Ни о чем, совершенно ни о чем не надо было думать, кроме как о рассказе, который я писал. Я ощущал это как величайшее счастье. Открытое море защищало меня от всяких помех.

И еще очень помогало работать сознание движения в пространстве, смутное ожидание портовых городов, куда мы должны были заходить, предчувствие, может быть, каких-то неутомительных и коротких встреч.

Теплоход резал стальным форштевнем бледную зимнюю воду, и мне казалось, что он несет меня к неизбежному счастью. Так мне казалось, очевидно, потому, что удавался рассказ.

И еще я помню, как легко было работать в мезонине деревенского дома, осенью, в одиночестве, под потрескиванье свечи.

Темная и безветренная сентябрьская ночь окружала меня и так же, как море, защищала от всяких помех.

Трудно сказать, почему, но очень помогало писать сознание,

что за стеной всю ночь напролет облетает старый деревенский сад. Я думал о нем, как о живом существе. Он был молчалив и терпеливо ждал того времени, когда я пойду поздним вечером к колодцу за водой для чайника. Может быть, ему было легче переносить эту бесконечную ночь, когда он слышал бренчанье ведра и шаги человека.

Но, во всяком случае, ощущение одинокого сада и холодных лесов, тянущихся за околицей на десятки километров, лесных озер, где в такую ночь, конечно, не может быть и нет ни единой человеческой души, а только звезды отражаются в воде, как отражались сто и тысячу лет назад,— это ощущение помогало мне. Пожалуй, я могу сказать, что в эти осенние вечера я был действительно счастлив.

Хорошо писать, когда впереди тебя ждет что-нибудь интересное, радостное, любимое, даже такой пустяк, как рыбная ловля под черными ивами на отдаленной старице реки.

СТАРИК В СТАНЦИОННОМ БУФЕТЕ

Худой старик с колючей щетиной на лице сидел в углу станционного буфета в Майори. Над Рижским заливом свистящими полосами проносились зимние шквалы. У берегов стоял толстый лед. Сквозь снежный дым было слышно, как грохочет прибой, налетая на крепкую ледяную закраину.

Старик зашел в буфет, очевидно, погреться. Он ничего не заказывал и понуро сидел на деревянном диване, засунув руки в рукава неумело заплатанной рыбачьей куртки.

Вместе со стариком пришла белая мохнатая собачка. Она сидела, прижавшись к его ноге, и дрожала.

Рядом за столиком шумно пили пиво молодые люди с тугими, красными затылками. Снег таял у них на шляпах. Талая вода капала в стаканы с пивом и на бутерброды с копченой колбасой. Но молодые люди спорили о футбольном матче и не обращали на это внимания.

Когда один из молодых людей взял бутерброд и откусил сразу половину, собачка не выдержала. Она подошла к столику, стала на задние лапы и, заискивая, начала смотреть в рот молодому человеку.

— Пети! — тихо позвал старик.— Как же тебе не стыдно! Зачем ты беспокоишь людей, Пети?

Но Пети продолжала стоять, и только передние лапы у нее все время дрожали и опускались от усталости. Когда они касались мокрого живота, собачка спохватывалась и подымала их снова.

Но молодые люди не замечали ее. Они были увлечены разговором и то и дело подливали себе в стаканы холодное пиво.

Снег залеплял окна, и дрожь пробегала по спине при виде людей, пьющих в такую стужу совершенно ледяное пиво.

— Пети! — снова позвал старик.— А Пети! Ступай сюда!

Собачка несколько раз быстро мотнула хвостом, как бы давая понять старику, что она его слышит и извиняется, но ничего с собой поделать не может. На старика она не взглянула и даже отвела глаза совсем в другую сторону. Она как бы говорила: «Я сама знаю, что это нехорошо. Но ты же не можешь купить мне такой бутерброд».

— Эх, Пети! Пети! — шепотом сказал старик, и голос его чуть дрогнул от огорчения.

Пети снова вильнула хвостом и вскользь, умоляюще посмотрела на старика. Она как бы просила его больше ее не звать и не стыдить, потому что у нее самой нехорошо на душе и она, если бы не крайность, никогда бы, конечно, не стала просить у чужих людей.

Наконец один из молодых людей, скуластый, в зеленой шляпе, заметил собаку.

— Просишь, стерва? — спросил он.— А где твой хозяин?

Пети радостно вильнула хвостом, взглянула на старика и даже чуть взвизгнула.

— Что же это вы, гражданин! — сказал молодой человек.— Раз собаку держите, так должны кормить. А то некультурно получается. Собака у вас милостыню выпрашивает. Нищенство у нас запрещено законом.

Молодые люди захохотали.

— Ну и отмочил, Валька! — крикнул один из них и бросил собачке кусок колбасы.

— Пети, не смей! — крикнул старик. Обветренное его лицо и тощая, жилистая шея покраснели.

Собачка сжалась и, опустив хвост, подошла к старику, даже не взглянув на колбасу.

— Не смей брать у них ни крошки! — сказал старик.

Он начал судорожно рыться в карманах, достал немного серебряной и медной мелочи и пересчитывал ее на ладони, сдувая мусор, прилипший к монетам. Пальцы у него дрожали.

— Еще обижается! — сказал скуластый молодой человек.— Какой независимый, скажи пожалуйста.

— А, брось ты его! На что он тебе сдался! — примирительно произнес один из его товарищей, наливая всем пиво.

Старик не проронил ни слова. Он подошел к стойке и положил несколько монет на мокрый прилавок.

— Один бутерброд! — сказал он хрипло.

Собачка стояла рядом с ним, поджав хвост.

Продавщица подала старику на тарелке два бутерброда.

— Один! — сказал старик.

— Берите! — тихо сказала продавщица.— Я на вас не разорюсь...

— Палдиес! — сказал старик.— Спасибо!

Он взял бутерброды и вышел на платформу. Там никого не было. Один шквал прошел, второй подходил, но был еще далеко на горизонте. Даже слабый солнечный свет упал на

белые леса за рекой Лиелупа.

Старик сел на скамейку, дал один бутерброд Пети, а другой завернул в серый носовой платок и спрятал в карман.

Собачка судорожно ела, а старик, глядя на нее, говорил:

— Ах, Пети, Пети! Глупая собака!

Но собачка не слушала его. Она только ела. Старик смотрел на нее и вытирал рукавом глаза — верно, они слезились у него от ветра.

Вот, собственно, и вся маленькая история, случившаяся на станции Майори на Рижском взморье.

Зачем я ее рассказал?

Размышляя о значении подробностей в прозе, я вспомнил эту историю и понял, что если передать ее без одной главной подробности — без того, что собака всем своим видом извинялась перед хозяином, без этого заискивающего жеста маленького существа, то история эта станет грубее, чем она была на самом деле.

А если выбросить и другие подробности — неумело заплатанную куртку, свидетельствующую о вдовстве или одиночестве, капли талой воды, капавшие со шляп молодых людей, ледяное пиво, мелкие деньги с прилипшим к ним сором из кармана да, наконец, даже шквалы, налетавшие с моря белыми стенами, то рассказ от этого стал бы значительно суше и бескровнее.

В последние годы подробности начали исчезать из нашей беллетристики, особенно в вещах молодых писателей.

Но без подробности вещь не живет. Любой рассказ превращается тогда в ту сухую палку от копченого сига, о какой упоминал Чехов. Самого сига нет, а торчит одна тощая щепка.

Смысл подробности заключается в том, чтобы, по словам Пушкина, мелочь, которая обычно ускользает от глаз, мелькнула бы крупно, стала видной всем.

С другой стороны, есть писатели, страдающие утомительной и скучной наблюдательностью. Они заполняют свои сочинения грудами подробностей — без отбора, без понимания того, что подробность имеет право жить и необходимо нужна только в том случае, если она характерна, если она может сразу, как лучом света, вырвать из темноты любого человека или любое явление.

Например, чтобы дать представление о начавшемся крупном дожде, достаточно написать, что первые его капли громко щелкали по газете, валявшейся на земле под окном.

Или, чтобы передать страшное ощущение смерти грудного ребенка, достаточно сказать об этом так, как сказал Алексей Толстой в «Хождении по мукам»:

Измученная Даша уснула, а когда проснулась, ее ребенок был мертв.

«Схватила его, развернула,— на высоком черепе его светлые и редкие волосы стояли дыбом.

...Даша сказала мужу:

— Покуда спала, к нему пришла смерть... Пойми же — у него волосики стали дыбом... Один мучился... Я спала...

Никакими уговорами нельзя было отогнать от нее видения одинокой борьбы мальчика со смертью».

Эта подробность (легкие детские волосы, вставшие дыбом) стоит многих страниц самого точного описания смерти.

Обе эти подробности верно бьют в цель. Только такой и должна быть подробность — определяющей целое и, кроме того, обязательной.

В рукописи одного молодого писателя я наткнулся на такой диалог:

«— *Здорово, тетя Паша!* — сказал, входя, Алексей. (Перед этим автор говорит, что Алексей открыл дверь в комнату тети Паши рукой, как будто дверь можно открыть *головой.)*

— *Здравствуй, Алеша,* — приветливо воскликнула тетя Паша, оторвалась от шитья и посмотрела на Алексея.— Что долго не заходил?

— Да все некогда. Собрания всю неделю проводил.

— *Говоришь, всю неделю?*

— *Точно, тетя Паша! Всю неделю. Володьки нету?* — *спросил Алексей, оглядывая пустую комнату.*

— *Нет. Он на производстве.*

— *Ну, тогда я пошел. До свиданьица, тетя Паша. Бывайте здоровы.*

— *До свидания, Алеша,— ответила тетя Паша.— Будь здоров.*

Алексей *направился к двери, открыл ее* и вышел. Тетя Паша посмотрела ему вслед и покачала головой.

— Бойковитый парень. Моторный».

Весь этот отрывок состоит, помимо небрежностей и разгильдяйской манеры писать, из совершенно необязательных и пустых вещей (они подчеркнуты). Все это ненужные, нехарактерные, ничего не определяющие подробности.

В поисках и определении подробностей нужен строжайший отбор.

Подробность теснейшим образом связана с тем, что мы называем интуицией.

Интуицию я представляю себе как способность по отдельной частности, по подробности, по одному какому-либо свойству восстановить картину целого.

Интуиция помогает авторам исторических произведений воссоздавать не только подлинную картину жизни прошедших эпох, но самый их неповторимый колорит, чувствования людей, их психику, которая, по сравнению с нашей, была, конечно, несколько иной.

Интуиция помогла Пушкину, никогда не бывшему в Испании и в Англии, написать великолепные испанские стихи, написать «Каменного гостя», а в «Пире во время чумы» дать картину средневековой Англии, не худшую, чем это могли бы

сделать Вальтер Скотт или Бернс — уроженцы этой туманной страны.

Хорошая подробность вызывает и у читателя интуитивное и верное представление о целом — о человеке и его состоянии, о событии или, наконец, об эпохе.

БЕЛАЯ НОЧЬ

Старый пароход отвалил от пристани в Вознесенье и вышел в Онежское озеро.

Белая ночь простиралась вокруг. Я впервые видел эту ночь не над Невой и дворцами Ленинграда, а среди северных лесистых пространств и озер.

На востоке низко висела бледная луна. Она не давала света.

Волны от парохода бесшумно убегали вдаль, покачивая куски сосновой коры. На берегу, должно быть в каком-нибудь древнем погосте, сторож пробил на колокольне часы — двенадцать ударов. И хотя до берега было далеко этот звон долетел до нас, миновал пароход и ушел по водяной глади в прозрачный сумрак, где висела луна.

Я не знаю, как лучше назвать томительный свет белой ночи. Загадочным? Или магическим?

Эти ночи всегда кажутся мне чрезмерной щедростью природы — столько в них бледного воздуха и призрачного блеска фольги и серебра.

Человек не может примириться с неизбежным исчезновением этой красоты, этих очарованных ночей. Поэтому, должно быть, белые ночи и вызывают своей непрочностью легкую печаль, как все прекрасное, когда оно обречено жить недолго.

Я впервые ехал на север, но все казалось мне здесь знакомым, особенно груды белой черемухи, отцветавшей в ту позднюю весну в заглохших садах.

Много этой холодной и пахучей черемухи было в Вознесенье. Никто здесь ее не обрывал и не ставил на столы в кувшинах.

Я ехал в Петрозаводск. В то время Алексей Максимович Горький задумал издавать серию книг под рубрикой «История фабрик и заводов». К этому делу он привлек многих писателей, причем было решено работать бригадами,— тогда это слово впервые появилось в литературе.

Горький предложил мне на выбор несколько заводов. Я остановился на старинном Петровском заводе в Петрозаводске. Он был основан Петром Первым и существовал сначала как завод пушечный и якорный, потом занимался бронзовым литьем, а после революции перешел на изготовление дорожных машин.

От бригадной работы я отказался. Я был уверен тогда (как и сейчас), что есть области человеческой деятельности, где артельная работа просто немыслима, в особенности работа над книгой. В лучшем случае может получиться собрание разнород-

ных очерков, а не цельная книга. В ней же, по-моему, несмотря на особенности материала, все равно должна была присутствовать индивидуальность писателя со всеми качествами его восприятия действительности, его стиля и языка.

Я считал, что как нельзя одновременно играть вдвоем или втроем на одной и той же скрипке, так же невозможно писать сообща одну и ту же книгу.

Я сказал об этом Алексею Максимовичу. Он насупился, побарабанил, по своему обыкновению, пальцами по столу, подумал и ответил:

— Вас, молодой человек, будут обвинять в самоуверенности. Но, в общем, валяйте! Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите. Всенепременно!

На пароходе я вспомнил об этом разговоре и поверил, что книгу напишу. Мне очень нравился север. Это обстоятельство, как мне тогда казалось, должно было значительно облегчить работу. Очевидно, я надеялся протащить в эту книгу о Петровском заводе пленившие меня черты севера — белые ночи, тихие воды, леса, черемуху, певучий новгородский говор, черные челны с изогнутыми носами, похожими на лебединые шеи, коромысла, расписанные разноцветными травами.

Петрозаводск был в то время тихим и пустынным. На улицах лежали большие мшистые валуны. Город был весь какой-то слюдяной — должно быть, от несильного блеска, исходившего от озера, и от белесого, невзрачного, но милого неба.

В Петрозаводске я засел в архивах и библиотеке и начал читать все, что относилось к Петровскому заводу. История завода оказалась сложной и интересной. Петр Первый, шотландские инженеры, наши крепостные талантливые мастера, карронский способ литья, водяные машины, своеобычные нравы — все это давало обильный материал для книги.

Прежде всего я набросал ее план. В нем было много истории и описаний, но мало людей.

Я решил писать книгу тут же, в Карелии, и потому снял комнату у бывшей учительницы Серафимы Ионовны — совершенно опростившейся старушки, ничем не похожей на учительницу, кроме очков и знания французского языка.

Я начал писать книгу по плану, но, сколько ни бился, книга просто рассыпалась у меня под руками. Мне никак не удавалось спаять материал, сцементировать его, дать ему естественное течение.

Материал расползался. Интересные куски провисали, не поддержанные соседними интересными кусками. Они одиноко торчали, не подкрепленные тем единственным, что могло бы вдохнуть жизнь в эти архивные факты,— живописной подробностью, воздухом времени, близкой мне человеческой судьбой.

Я писал о водяных машинах, о производстве, о мастерах, писал с глубокой тоской, понимая, что пока у меня не будет своего отношения ко всему этому, пока хотя бы самое слабое

лирическое дыхание не оживит этот материал, ничего из книги не получится. И вообще никакой книги не будет.

(Кстати, в то время я понял, что писать о машинах нужно так же, как мы пишем о людях,— чувствуя их, любя их, радуясь и страдая за них. Не знаю как кто, но я всегда испытываю физическую боль за машину, хотя бы за «Победу», когда она, напрягаясь, берет из последних сил крутой подъем. Я устаю от этого, пожалуй, не меньше, чем машина. Может быть, этот пример не очень удачен, но я убежден, что к машинам, если хочешь написать о них, надо относиться как к живым существам. Я заметил, что хорошие мастера и рабочие так к ним и относятся.)

Ничего нет отвратительнее и тяжелее беспомощности перед материалом.

Я чувствовал себя человеком, взявшимся не за свое дело, как если бы мне пришлось выступать в балете или редактировать философию Канта.

А память нет-нет да и колола меня словами Горького: «Только оконфузиться вам нельзя — книгу обязательно привозите».

Я был подавлен еще и тем, что рушилась одна из основ писательского мастерства, которую я свято чтил. Я считал, что писателем может быть только тот, кто умеет легко и не теряя своей индивидуальности овладевать любым материалом.

Это мое состояние кончилось тем, что я решил сдаться, ничего не писать и уехать из Петрозаводска.

Мне не с кем было поделиться своей бедой, кроме Серафимы Ионовны. Я было уже совсем собрался рассказать ей о своей неудаче, но оказалось, что она сама это почувствовала, должно быть, каким-то своим особым учительским чутьем.

— Вы как, бывало, мои дуры гимназистки перед экзаменом,— сказала она мне.— Так забьют себе голову, что ничего не видят и не могут понять, что важно, а что ерунда. Просто переутомились. Я вашего дела писательского не знаю, но думается мне, что тут напором ничего не возьмешь. Только перетянете себе нервы. А это и вредно и просто опасно. Вы сгоряча не уезжайте. Отдохните. Поездите по озеру, погуляйте по городу. Он у нас славный, простой. Может, что и получится.

Но я все же решил уехать. Перед отъездом я пошел побродить по Петрозаводску. До тех пор я его как следует и не видел.

Я побрел к северу вдоль озера и вышел на окраину города. Домишки кончились. Потянулись огороды. Среди них то тут, то там виднелись кресты и могильные памятники.

Какой-то старик полол грядки моркови. Я спросил его, что это за кресты.

— Тут ране кладбище было,— ответил старик.— Вроде иностранцев здесь погребали. А сейчас эта земля пошла под огороды, памятники поубирали. А что осталось, так это ненадолго. До будущей весны постоят, не дольше.

Памятников, правда, было мало — всего пять-шесть. Один из них был обнесен чугунной оградой великолепного тяжелого литья

Я подошел к нему. На гранитной сломанной колонне виднелась надпись на французском языке. Высокий репейник закрывал почти всю эту надпись.

Я сломал репейник и прочел: «Шарль-Евгений Лонсевиль, инженер артиллерии Великой армии императора Наполеона. Родился в 1778 году в Перпиньяне, скончался летом 1816 года в Петрозаводске, вдали от родины. Да снизойдет мир на его истерзанное сердце».

Я понял, что передо мной была могила человека незаурядного, человека с печальной судьбой, и что именно он выручит меня

Я вернулся домой, сказал Серафиме Ионовне, что остаюсь в Петрозаводске, и тотчас пошел в архив.

Там работал совершенно высохший, даже как будто прозрачный от худобы старичок в очках, бывший преподаватель математики. Архив не был еще целиком разобран, но старичок прекрасно управлялся в нем.

Я рассказал ему, что со мной произошло. Старичок страшно разволновался. Он привык выдавать, да и то редко, скучные справки, главным образом выписки из церковных метрических книг, а сейчас нужно было произвести трудный и интересный архивный розыск — найти все, что касалось загадочного наполеоновского офицера, умершего почему-то в Петрозаводске больше ста лет назад.

И старичок и я — мы оба беспокоились. Найдутся ли в архиве хоть какие-нибудь следы Лонсевиля, чтобы по ним можно было с большей или меньшей вероятностью восстановить его жизнь? Или мы ничего не найдем?

В общем, старичок неожиданно заявил, что не пойдет ночевать домой, а будет рыться в архиве всю ночь. Я хотел остаться с ним, но оказалось, что посторонним в архиве находиться нельзя Тогда я отправился в город, купил хлеба, колбасы, чаю и сахару, принес все это старичку, чтобы он мог ночью поесть, и ушел

Поиски длились девять дней. Каждое утро старичок показывал мне список дел, где, по его догадкам, могли быть какие-нибудь упоминания о Лонсевиле. Против наиболее интересных дел он ставил «птички», но называл их, как математик «радикалами»

Только на седьмой день была найдена запись в кладбищенской книге о погребении при несколько странных обстоятельствах пленного капитана французской армии Шарля-Евгения Лонсевиля.

На девятый день были найдены упоминания о Лонсевиле в двух частных письмах, а на десятый — оборванное, без подписи донесение олонецкого губернатора о кратковременном пре-

бывании в Петрозаводске жены «означенного Лонсевиля Марии-Цецилии Тринитэ, приезжавшей из Франции для установки памятника на его могиле».

Материалы были исчерпаны. Но и того, что нашел сиявший от этой удачи старичок-архивариус, было достаточно, чтобы Лонсевиль ожил в моем воображении.

Как только появился Лонсевиль, я тотчас засел за книгу — и весь материал по истории завода, что еще недавно так безнадежно рассыпался, вдруг лег в нее. Улегся плотно и как бы сам собой вокруг этого артиллериста, участника французской революции и наполеоновского похода в Россию, взятого в плен казаками под Гжатском, сосланного на Петрозаводский завод и умершего там от горячки.

Так была написана повесть «Судьба Шарля Лонсевиля».

Материал был мертв, пока не появился человек.

Кроме того, весь заранее составленный план книги разлетелся вдребезги. Теперь повествование уверенно вел за собой Лонсевиль. Он как магнит притянул к себе не только исторические факты, но и многое из того, что я видел на севере.

В повести есть сцена оплакивания умершего Лонсевиля. Слова женского плача над ним я взял из подлинных причитаний. Этот случай заслуживает того, чтобы о нем упомянуть.

Я ехал на пароходе вверх по Свири, из Ладожского озера в Онежское. Где-то, кажется в Свирице, на нижнюю палубу внесли с пристани простой сосновый гроб.

В Свирице, оказывается, умер старейший и самый опытный на Свири лоцман. Его друзья-лоцманы решили провезти гроб с его телом по всей реке — от Свирицы до Вознесенья, чтобы покойный как бы простился с любимой рекой. И кроме того, чтобы дать возможность береговым жителям попрощаться с этим очень уважаемым в тех местах, своего рода знаменитым человеком.

Дело в том, что Свирь порожистая и стремительная река. Пароходы без опытного лоцмана не могут проходить свирские стремнины. Поэтому на Свири с давних пор существовало целое племя лоцманов, очень тесно связанных между собой.

Когда мы проходили стремнины — пороги, наш пароход тащили два буксира, несмотря на то, что он сам работал полным ходом.

Вниз по течению пароходы шли в обратном порядке — и пароход и буксир работали задним ходом против течения, чтобы замедлить спуск и не налететь на пороги.

О том, что на нашем пароходе везут умершего лоцмана, дали телеграмму вверх по реке. Поэтому на каждой пристани пароход встречали толпы жителей. Впереди стояли старухи-плакальщицы в черных платках. Как только пароход подваливал к пристани, они начинали оплакивать умершего высокими, томительными голосами.

Слова этого поэтического плача никогда не повторялись.

По-моему, каждый плач был импровизацией.

Вот один из плачей:

«Пошто отлетел от нас в смертную сторону, пошто покинул нас, сиротинушек? Нешто мы тебя не привечали, не встречали добрым да ласковым словом? Погляди на Свирь, батюшка, погляди в останний раз,— кручи запеклись рудой кровью, течет река из одних наших бабьих слез. Ох, за что же это смерть к тебе пришла не ко времени? Ох, чего ж это по всей Свири-реке горят погребальные свечечки?»

Так мы и плыли до Вознесенья под этот плач, не прекращавшийся даже ночью.

А в Вознесенье на пароход взошли суровые люди — лоцманы — и сняли с гроба крышку. Там лежал седой могучий старик с обветренным лицом.

Гроб подняли на льняных полотенцах и понесли на берег под звонкий плач. За гробом шла молодая женщина, прикрыв шалью бледное лицо. Она вела за руку белоголового мальчика. За ней в нескольких шагах позади шел средних лет мужчина в форме речного капитана. Это были дочь, внук и зять умершего.

На пароходе приспустили флаг, и, когда гроб понесли на кладбище, пароход дал несколько протяжных гудков.

И еще одно впечатление отразилось в этой повести. Ничего значительного в этом впечатлении не было, но почему-то оно в моей памяти накрепко связано с севером. Это необыкновенный блеск Венеры.

Никогда я еще не видел блеска такой напряженности и чистоты. Венера переливалась, как капля алмазной влаги на зеленеющем предрассветном небе.

Это была действительно посланница небес, предвестница прекрасной утренней зари. В средних широтах и на юге я както никогда не замечал ее. А здесь казалось — она одна сверкает в своей девственной красоте над пустошами и лесами, одна властвует в предутренние часы над всей северной землей, над Онегой и Заволочьем, над Ладогой и Заонежьем.

ЖИВОТВОРЯЩЕЕ НАЧАЛО

Однажды Золя в обществе нескольких друзей заметил, что воображение совершенно не нужно писателю. Работа писателя должна быть основана только на точном наблюдении. Как у него, у Золя.

Бывший при этом Мопассан спросил:

— Как же тогда объяснить, что вы пишете свои огромные романы на основании какой-нибудь одной газетной заметки и при этом месяцами не выходите из дому?

Золя промолчал.

Мопассан взял шляпу и вышел. Его уход мог быть истолкован как оскорбление. Но он не боялся этого. Никому, даже

Золя, он не мог позволить отрицать воображение.

Мопассан, как и каждый писатель, глубоко дорожил воображением — великолепной средой для расцвета творческой мысли, золотоносной землей поэзии и прозы.

Оно было животворящим началом искусства, его, как выражались восторженные поэты из Латинского квартала, «вечным солнцем и богом».

Но это ослепительное солнце воображения загорается только от прикосновения к земле. Оно не может гореть в пустоте. В ней оно гаснет.

Что такое воображение? Легче всего было бы ответить, как отвечал на такие каверзные вопросы Гайдар. Он подозрительно смотрел на собеседника и спрашивал:

— Опять ты меня решил подловить? Черта с два! Все равно не скажу.

Чтобы нам самим стали более или менее ясны некоторые понятия, лучше всего разобраться в них так, как делают это в разговорах с детьми взрослые.

Дети спрашивают: «А что это?», «А зачем это?», «А почему это?» Они не успокаиваются, пока не вынудят нас отыскать на все эти вопросы хотя бы сносные ответы.

Если бы у нас нашелся маленький собеседник, который мог бы выговорить слово «воображение», разговор, очевидно, происходил бы так:

— А что такое воображение?

И если бы мы в этом случае заговорили о «солнце искусства» или его «святая святых», то забрались бы в такие заумные чащи, что из них оставался бы только один выход — бегство от своего собеседника.

Дети требуют ясности. Поэтому мы будем вынуждены ответить предполагаемому собеседнику, что воображение — это свойство человеческой натуры.

— Какое?

— Это свойство человека, пользуясь запасом жизненных наблюдений, мыслей и чувств, создавать наряду с действительностью вымышленную жизнь, с вымышленными людьми и событиями. (Конечно, это надо сказать значительно проще.)

— А для чего? — спросит нас собеседник.— Есть же настоящая жизнь. Зачем же выдумывать другую?

— А затем, что настоящая жизнь большая и сложная и человеку никогда не удастся узнать ее целиком и во всем разнообразии. Да многое он и не может увидеть и пережить. Например, он не может перенестись на триста лет назад и стать учеником Галилея, быть участником взятия Парижа в тысяча восемьсот четырнадцатом году или, сидя в Москве, прикоснуться рукой к мраморным колоннам акрополя. Или беседовать с Гоголем, бродя по улицам Рима. Или заседать в Конвенте и слышать речи Марата. Или смотреть с палубы на Тихий океан, усеянный звездами. Хотя бы потому, что этот человек никогда

в жизни не видел даже моря. А человек хочет знать, видеть и слышать все, хочет пережить все. И вот воображение дает ему то, что не успела или не может ему дать действительность. Воображение заполняет пустоты человеческой жизни.

Тут вы, конечно, забудете о своем собеседнике и начнете говорить вещи, для него непонятные.

Кто может провести резкую границу между воображением и мыслью? Ее нет, этой границы.

Воображение создало закон притяжения, бином Ньютона, печальную повесть Тристана и Изольды, расщепление атома, здание Адмиралтейства в Ленинграде, «Золотую осень» Левитана, «Марсельезу», радио, электрический свет, принца Гамлета, теорию относительности и фильм «Бемби».

Человеческая мысль без воображения бесплодна, равно как бесплодно и воображение, оторванное от действительности.

Есть французское выражение: «Великие мысли исходят из сердца». Пожалуй, вернее было бы сказать, что великие мысли исходят из всего человеческого существа. Сердце, воображение и разум — вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой.

Но есть одна вещь, которую даже наше могучее воображение не может себе представить. Это — исчезновение воображения и, значит, всего, что им вызвано к жизни. Если исчезнет воображение, то человек перестанет быть человеком.

Воображение — великий дар природы. Оно заложено в натуре человека.

Воображение, как я уже говорил, не может жить без действительности. Оно питается ею. С другой стороны, воображение очень часто в какой-то мере влияет на течение нашей жизни, на наши дела и мысли, на наше отношение к людям.

Об этом, как я уже упоминал, хорошо сказал Писарев. Если бы человек, говорил он, не мог представить себе в ярких и законченных картинах будущее, если бы человек не умел мечтать, то ничто бы не заставило его действовать во имя этого будущего, вести упорную борьбу, даже жертвовать жизнью.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран —
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Это — из Блока. А другой поэт сказал:

В каждой луже — запах океана,
В каждом камне — веянье пустынь...

Пылинка дальних стран и камень на дороге! Часто с таких вот пылинок и камней начинается неукротимая работа воображения. В связи с этим мне вспомнилась история одного старого испанского гидальго.

Возможно, что этот гидальго знал лучшие дни, но ко времени нашего рассказа он скудно жил в своем поместье в Кас-

тилии. Поместье — клочок земли с угрюмым каменным домом, похожим на крепостной каземат,— досталось ему в наследство от предков.

Гидальго был одинок. В доме у него жила только старуха нянька. Она с трудом готовила самую простую еду и ничего уже не помнила. Бесполезно было даже разговаривать с ней.

Гидальго целыми днями сидел в потертом кресле около стрельчатого окна и читал книги. Тишину нарушал только треск пересохшего клея в корешках книг.

Изредка гидальго смотрел за окно. Там торчало сухое дерево, черное, как железо, и тянулось по горизонту скучное плоскогорье. Эта область Испании была пустынна и неприветлива, но гидальго к ней привык.

Он был уже не молод, чтобы покидать свой дом ради утомительных и долгих путешествий с их возможными неприятностями. Да и для чего путешествовать, если во всем королевстве у него не было ни родных, ни друзей!

Какова была прошлая жизнь гидальго, мало кто знал. Говорили, что у него была жена и красавица дочь, но они умерли в один и тот же год и месяц от моровой язвы. С тех пор он заперся в своем доме и неохотно пускал к себе даже случайных путников, застигнутых ночью или непогодой.

Однажды в дом постучался обветренный человек в грубом плаще. Он привязал к черному дереву старого осла. За ужином у пылающего очага он рассказал гидальго, что — благодарение мадонне! — вернулся невредимым из опасного плавания на запад, куда король, соблазненный речами некоего итальянца Колумба, послал несколько каравелл.

Они плыли через океан несколько недель и слышали голоса морских женщин — сирен. Женщины вкрадчиво просили поднять их на каравеллы, чтобы они могли согреться на палубах, закутав свои обнаженные тела, как в покрывала, в собственные длинные волосы.

Капитан приказал не отвечать на просьбы сирен. Матросы негодовали. Они истомились по любви, по крутым и упругим женским бедрам.

Все это окончилось неудачным бунтом. Троих вожаков повесили на рее.

Они плыли дальше и увидели небывалое море, покрытое морской травой. В траве цвели большие синие цветы. Тогда отслужили мессу и начали огибать это море, пока на горизонте внезапно не открылась новая земля — неведомая и прекрасная. Ветер с ее берегов приносил ласковый шум леса и одуряющий запах растений.

Капитан поднялся на мостик, вынул шпагу, поднял ее к небу, и на острие клинка вспыхнул золотой огонь — знак того, что они открыли наконец страну Эльдорадо, где горы полны драгоценных камней, золота и серебра.

Гидальго молча слушал этот рассказ.

Уезжая, человек достал из кожаной сумки розовую морскую раковину из страны Эльдорадо и подарил ее старому гидальго в благодарность за ужин и ночлег. Это была безделица, и потому гидальго ее принял.

Человек уехал, а ночью пришла гроза. Молнии медленно загорались и гасли над каменистой равниной.

Раковина лежала на столе около постели гидальго.

Он проснулся и увидел ее, озаренную вспышкой небесного огня. В глубине раковины сверкнуло и погасло видение волшебной страны, созданной из розового света, пены и облаков.

Молния погасла. Гидальго дождался следующей вспышки и снова увидел страну в раковине, еще более отчетливо, чем в первый раз. С отвесных ее берегов лились в море, пенясь и сверкая, широкие каскады воды. Что это было? Должно быть, реки. Он даже как будто почувствовал свежесть этих рек. Лицо ему запорошила водяная пыль.

Он приписал это ощущение непрошедшему сну, встал, придвинул кресло к столу, сел против раковины, нагнулся к ней и с непонятно отчего бьющимся сердцем старался рассмотреть все новые подробности страны, заключенной внутри раковины. Но молнии сверкали все реже, а вскоре и совсем погасли.

Гидальго боялся зажечь свечу, чтобы при ее грубом свете не убедиться, что все это обман зрения и никакой страны в раковине нет.

Так он просидел до утра. В лучах рассвета раковина оказалась ничем не замечательной. В ее глубине не было ничего, кроме чуть заметного дымчатого сияния, будто загадочная страна отодвинулась за ночь на тысячи лье.

В тот же день гидальго уехал в Мадрид и преклонил колени перед королем, умоляя как о великой милости дать королевское соизволение снарядить за свой счет каравеллу и отплыть на запад для поисков неведомой страны.

Король был милостив и разрешил ему это. После ухода гидальго он сказал своим приближенным:

Этот гидальго явный безумец! Чего он может достигнуть на единственной жалкой каравелле? Но бог руководит даже путями безумных. Чего доброго, этот старик присоединит к нашей короне новые земли.

Гидальго плыл на запад несколько месяцев. Он пил только воду и ел очень мало. Волнение высушило его тело. Он старался не думать о волшебной стране, боясь, что никогда до нее не доплывет. А если и увидит ее, то она окажется скучной равниной с колючей травой, и ветер будет гнать по ней серые столбы пыли.

Гидальго молился мадонне, чтобы она избавила его от этого разочарования.

Грубо вырезанная из дерева мадонна была прикреплена к носу каравеллы. Она неслась, покачиваясь впереди корабля по волнам. Ее выпуклые синие глаза неподвижно смотрели в мор-

скую даль. На волосах со стертой позолотой и на выцветшем пурпуре ее плаща блестели брызги.

— Веди нас! — заклинал ее гидальго.— Не может быть, чтобы этой страны не существовало. Я так ясно вижу ее и наяву и во сне.

Однажды вечером матросы выловили в воде сломанную ветку. Это означало близость земли.

Ветка была покрыта большими листьями, похожими на перья страуса. Листья пахли сладко и освежающе.

В эту ночь никто на корабле не спал.

И вот наконец в блеске утренней зари от одного края моря до другого открылась страна, сияющая разноцветными стенами гор. Прозрачные реки низвергались с этих гор в океан. Над зеленью лесов летали стаи веселых птиц. Листва была так густа, что птицы не могли проникнуть внутрь леса и потому кружились над его вершинами.

Блаженный запах цветов и плодов долетел с берега. Казалось, что каждый глоток этого запаха вливает в грудь бессмертие.

Взошло солнце, и страна, окруженная пеленой водяной пыли от водопадов, вдруг вспыхнула всеми красками, какие дарит солнечный свет, когда он преломляется в граненых хрустальных сосудах.

Страна блистала, как алмазный пояс, забытый на краю моря девственной богиней неба и света.

Гидальго упал на колени, протянул трясущиеся руки к неведомой земле и сказал:

— Благодарю тебя, провидение! В конце жизни ты поселило во мне тоску по новизне и заставило мою душу томиться видением благословенной страны. Иначе я никогда бы не отыскал ее и глаза мои высохли бы и ослепли от однообразного зрелища плоскогорий. Эту счастливую землю я хочу назвать именем моей дочери Флоренсии.

От берега навстречу каравелле бежали десятки маленьких радуг. От них у гидальго закружилась голова. Солнце зажгло эти радуги в пене водопадов, но не они бежали к каравелле, а она быстро приближалась к ним.

На мачтах торжественно гудели паруса и, ликуя, хлопали поднятые командой праздничные знамена.

Гидальго упал лицом на теплую, влажную палубу и замолк. Усталое его сердце не выдержало единственной и великой радости, ниспосланной ему в этот день. Он умер.

Так, говорят, была открыта страна, названная впоследствии Флоридой.

Вряд ли нужно истолковывать этот рассказ. Но все же следует наметить его основные узлы, чтобы стала совершенно ясной мысль, что воображение, рожденное жизнью, в свою очередь получает иной раз власть и над жизнью.

Толчок воображению гидальго дал человек в грубом плаще. С этой минуты воображение завладело старым гидальго, и только потому он увидел в глубине раковины необыкновенную страну.

Одно из замечательных свойств воображения заключается в том, что человек ему верит. Без этой веры оно было бы пустой игрой ума, бессмысленным детским калейдоскопом.

Эта вера в воображение и есть та сила, что заставляет человека искать воображаемое в жизни, бороться за его воплощение, идти на зов воображения, как это сделал старый гидальго, наконец — создавать воображаемое в действительности.

Но прежде всего и сильнее всего воображение связано с искусством, с литературой, с поэзией.

Воображение основано на памяти, а память — на явлениях действительности. Запасы памяти не представляют из себя чего-то хаотического. Есть некий закон — закон ассоциаций, или, как называл его Ломоносов, «закон совоображения», который весь этот хаос воспоминаний распределяет по сходству или по близости во времени и пространстве — иначе говоря, обобщает — и вытягивает в непрерывную последовательную цепь. Эта цепь ассоциаций — путеводная нить воображения.

Богатство ассоциаций говорит о богатстве внутреннего мира писателя. При наличии этого богатства любая мысль и тема тотчас обрастают живыми чертами.

Есть очень насыщенные минеральные источники. Стоит положить в такой источник ветку или гвоздь, что угодно, как через короткое время они обрастут множеством белых кристаллов и превратятся в подлинные произведения искусства. Примерно то же происходит и с человеческой мыслью, погруженной в источник нашей памяти, в насыщенную среду ассоциаций. Мысль превращается в произведение искусства.

Можно взять любой пример ассоциации. При этом надо помнить, что у каждого из нас ассоциации связаны с его жизнью, биографией, с его воспоминаниями. Поэтому ассоциации одного человека могут быть совершенно чужды другому. Одно и то же слово вызывает разные ассоциации у разных людей. Дело писателя состоит в том, чтобы передать или, как говорится, донести свои ассоциации до читателя и вызвать у него подобные же ассоциации.

Простейший пример ассоциации приводит Ломоносов в своей «Риторике». Ассоциация, по словам Ломоносова, «есть душевное дарование с одной вещью, уже представленною, купно воображать другие, как-нибудь с ней сопряженные, например: когда представив в уме корабль, с ним воображаем купно и море, по которому он плавает, с морем — бурю, с бурею — волны, с волнами — шум в берегах, с берегами — камни и так далее».

Это, так сказать, «хрестоматийная» ассоциация. Часто ассоциации бывают гораздо сложнее.

Вот, к примеру, одна из них.

Я пишу сейчас в маленьком доме на дюнах на берегу Рижского залива. В соседней комнате читает вслух свои стихи веселый человек — латышский поэт. Он носит красный вязаный свитер. Такой же свитер я видел давно, еще во время войны, на режиссере Эйзенштейне. Я встретил Эйзенштейна на улице в Алма-Ате. Он тащил пачку только что купленных книг. Подбор книг был несколько странный: «Руководство для игры в волейбол», хрестоматия по истории средних веков, учебник алгебры и «Цусима» Новикова-Прибоя.

— Режиссеру полагается знать все,— сказал Эйзенштейн.— И для всего находить зрительное выражение.

— Даже для алгебраических формул? — спросил я.

— Безусловно! — ответил Эйзенштейн.

Поэт Владимир Луговской писал в то время большую поэму. В ней была глава об Эйзенштейне под названием «Алма-Ата — город снов». В поэме были описаны мексиканские маски, висевшие в комнате у Эйзенштейна. Он привез их из поездки в Центральную Америку.

Вообще вся история завоевания Америки — это история человеческой подлости. Ее так и нужно озаглавить. Хорошее название для исторического романа: «Подлость». Оно звучит как пощечина.

О, эти постоянные мучительные поиски названий!

Выдумывание названий — особый талант. Есть люди, которые хорошо пишут, но не умеют давать названия своим вещам. И наоборот. Так же как есть люди, которые превосходно рассказывают, но плохо пишут. Они просто выбалтываются. Нужен сильный талант, такой, как у Горького, чтобы многократно рассказывать одну и ту же историю, а потом написать ее свежо и по-иному, чем сложился словесный рассказ! А рассказывал Горький великолепно. Подлинный случай сейчас же обрастал у него подробностями. При каждом новом рассказывании одного и того же случая подробности разрастались, менялись, становились все интереснее. Его устные рассказы были, по существу, подлинным творчеством. Поэтому Горький нестерпимо скучал среди людей пресных и точных, позволявших себе сомневаться в подлинности его рассказов. Он хмурился, замолкал и, казалось, говорил: «Скучно жить с вами на этом свете, товарищи!»

Этой способностью к прекрасному устному рассказу на основании подлинных фактов обладали многие писатели. Например, Марк Твен. Один критик, боровшийся за мелкую правду, уличил Марка Твена во лжи. Марк Твен рассвирепел. «Как вы можете судить, соврал я или нет,— сказал ему Марк Твен,— если сами вы не умеете даже бездарно соврать и не имеете никакого представления о том, как это делается? Чтобы так смело утверждать, нужен большой опыт в этом деле. А у вас его нет и быть не может. В этой области вы невежда и профан».

Ильф рассказывал, что в маленьком городке на родине Марка Твена он видел памятник Тому Сойеру и Гекльберри Финну. Финн на этом памятнике держит за хвост дохлую кошку. Правда, почему и у нас не ставить памятников литературным героям? Например, Дон-Кихоту или Гулливеру, Павлу Корчагину, Татьяне Лариной, Тарасу Бульбе, Пьеру Безухову, чеховским трем сестрам, лермонтовскому Максиму Максимычу или Бэле.

Все написанное выше — цепь ассоциаций. Число их может быть бесконечным. Если поставить рядом первое и последнее звено этой ассоциации — красный свитер и памятник Бэле,— то весь, вполне естественный, ход ассоциации покажется бредом.

Я много говорю об ассоциациях лишь потому, что они теснейшим образом участвуют в творчестве.

Из длинного этого разговора о воображении ясно только одно — без воображения нет подлинной прозы и нет поэзии.

Пожалуй, лучше всех сказал о воображении Бестужев-Марлинский:

«Хаос — предтеча творения чего-нибудь истинного, высокого и поэтического. Пусть только луч гения пронзит этот мрак. Враждующие, равносильные доселе пылинки оживут любовью и гармонией, стекутся к одной сильнейшей, слепятся стройно, улягутся блестящими кристаллами, возникнут горами, разольются морем, и живая сила испишет чело нового мира своими исполинскими гиероглифами».

Приходит ночь, и постепенно оживает сила души,— ей нет пока имени. Как назвать ее? Воображением, фантазией, проникновением в мельчайшие поры человеческого сознания, вдохновением? Душевным восторгом или спокойствием? Радостью или печалью? Кто знает!

Я гашу лампу, и ночь начинает медленно светлеть. Темнота пропитывается отсветом снега. Морской залив во льду. Как огромное тусклое зеркало, он подсвечивает ночь и превращает ее в прозрачный сумрак.

Видны черные вершины балтийских сосен. С мерно нарастающим гулом проходят вдали электрички. И снова тишина, такая тишина, что кажется, слышно малейшее шуршание хвои за окном и непонятное легкое потрескивание. Оно совпадает с вспышками звезд. Может быть, это иней слетает с них и осторожно потрескивает и позванивает.

В доме пусто. Я один. Рядом — море на сотни миль. За дюнами обширные болота и низкие леса... Никого нет около. Но стоит зажечь лампу, сесть к столу и начать писать о чем бы то ни было, как ощущение одиночества пропадает. Я не один. Из этой тесной комнаты я могу говорить с тысячами людей, со всем миром. Я могу им рассказывать всяческие истории, смешить их и печалить, вызывать раздумие и гнев, любовь и сострадание, вести их за руку, как поводырь, по жизни. Она создана здесь,

в этих четырех стенах, но прорывается во вселенную.

Вести их за руку навстречу заре. Она придет неизбежно. Она уже чуть заметно приподняла на востоке темный полог ночи и осветила край неба еще пока что очень далекой, едва заметной голубизной.

Пока еще я сам не знаю, что буду писать. Мысль существует во мне, как волнение, как желание передать другим все то, что наполняет сейчас мой разум, мое сердце, все мое существо. Мысль живет во мне, но во что она выльется, какие найдет пути для своего выражения, мне неясно еще самому. Но я знаю, для кого я буду писать. Я буду говорить со всем миром. Трудно, почти невозможно зрительно представить себе это понятие — весь мир.

Всегда думаешь о ком-нибудь одном, хотя бы о девочке с нестерпимо сияющими глазами, что когда-то бежала ко мне навстречу по лугам, чтобы, добежав, схватить меня за локоть и сказать, задыхаясь от бега:

— А я вас давно здесь жду. Уже набрала целый сноп цветов и девять раз прочла наизусть вторую главу из «Евгения Онегина». И все вас ждут дома, потому что нам одним скучно. И вы сейчас расскажете всем, что с вами случилось на озере, и, пожалуйста, выдумайте что-нибудь интересное. Или нет, не выдумывайте, а расскажите все, как было, потому что и так в лугах такая прелесть и второй раз зацвел шиповник! И вообще хорошо!

А может быть, для женщины, чья жизнь связана с моею многими годами тяжести, радости и нежности так крепко, что теперь уже ничто нас не страшит.

А может быть, для друзей. В моем возрасте их становится с каждым годом меньше.

Но в конце концов я пишу для всех, кто захочет прочесть написанное мной.

Я не знаю, о чем буду писать. Может быть, потому, что слишком много хочу рассказать и пока еще не выбрал из мыслей именно ту одну, что, как магнит, притянет остальные и заставит их стройно лечь в страницы повествования.

Это состояние знакомо всем пишущим.

«Поэты,— сказал Тургенев,— недаром говорят о вдохновении. Конечно, муза не сходит к ним с Олимпа и не приносит им готовых песен, но у них бывает особенное настроение, похожее на вдохновение. Те стихи Фета, над которыми так смеялись, где он говорит, что не знает сам, что будет петь, но «только песня зреет», прекрасно передают это настроение. Находят минуты, когда чувствуешь желание писать,— еще не знаешь, что именно, но чувствуешь, что будешь писать. Это настроение поэты и называют «приближением бога». Эти минуты составляют единственное наслаждение художника. Если бы их не было, никто бы и писать не стал. После, когда приходится приводить в порядок все то, что носится в голове, когда приходится

излагать все это на бумаге,— тут-то и начинается мучение».

Внезапно среди ночи возникает звук. Это отдаленный пароходный гудок. Откуда он здесь, во льдах?

Вчера в рижской газете писали, что из Ленинграда вышел в залив ледокол. Очевидно, это гудок ледокола.

Неожиданно мне приходит на память рассказ штурмана одного из ледоколов о том, что, пробиваясь сквозь Финский залив, он увидел на льду замерзшую охапку простых полевых цветов. Они были присыпаны снегом. Кто потерял их здесь, в ледяной пустыне? Очевидно, их уронили с какого-нибудь парохода, когда он ломал первый, тонкий лед.

Образ возник. С непонятной силой он начинает вести к еще неясной сказке.

Нужно разгадать тайну этих замерзших цветов. В разгадке участвуют все. У каждого, видевшего эти цветы, есть соображения по этому поводу.

Есть они и у меня, хотя я цветов и не видел. Не те ли это цветы, что собирала в лугах девочка, прибежавшая ко мне на встречу? Должно быть, это те же цветы. Но как они попали на лед? Это могло случиться только в сказке, не ведающей преград ни во времени, ни в пространстве.

Тут же возникает мысль об особом, чисто женском отношении к цветам. Оно разнится от нашего, мужского. Для нас цветы — это украшение. Для женщин — это живые существа, гости из мира, который мы, взрослые и деловые люди, замечаем только мимоходом и относимся к нему со снисходительным пренебрежением.

Досадно, что так быстро разгорается заря. Дневной свет может прогнать эти мысли, сделать их просто смешными в глазах серьезных людей.

От солнечного света многие сказки сжимаются и прячутся, как улитки в свою скорлупу.

Да, но сказка — пока еще туманная — родилась. Остановить сказку, рассказ, повесть, когда они появляются на свет, почти невозможно. Это равносильно убийству живого существа. Они начинают расцветать в нашем сознании как бы сами по себе.

И наконец наступает тот час, когда сказка ложится на бумагу. Писать ее большей частью так же трудно, как передать словами слабый запах травы. Сказку пишешь почти не дыша — чтобы не сдуть тончайшую пыльцу, которой она покрыта. И пишешь быстро, потому что мелькание света, теней и отдельных картин происходит стремительно и легко. Нельзя опоздать, нельзя отстать от бега воображения.

Сказка окончена. И хочется с благодарностью еще раз взглянуть в те сияющие глаза, где она живет постоянно.

НОЧНОЙ ДИЛИЖАНС

Я хотел написать отдельную главу о силе воображения и его влияния на нашу жизнь. Но, подумав, я написал вместо этой главы рассказ о поэте Андерсене. Мне кажется, что он может заменить эту главу и даст более ясное представление о воображении, чем общие разговоры на эту тему.

В старой и грязной венецианской гостинице нельзя было допроситься чернил. Да и зачем было держать там чернила? Чтобы писать дутые счета постояльцам?

Правда, когда Христиан Андерсен поселился в гостинице, то в оловянной чернильнице оставалось еще немного чернил. Он начал писать ими сказку Но с каждым часом сказка бледнела на глазах, потому что Андерсен несколько раз разбавлял чернила водой. Так ему и не удалось окончить ее — веселый конец сказки остался на дне чернильницы

Андерсен усмехнулся и решил, что следующую сказку он так и назовет: «История, оставшаяся на дне высохшей чернильницы».

Он полюбил Венецию и называл ее «увядающим лотосом».

Над морем клубились низкие осенние тучи. В каналах плескалась гнилая вода. Холодный ветер дул на перекрестках. Но когда прорывалось солнце, то из-под плесени на стенах проступал розовый мрамор, и город появлялся за окном, как картина, написанная старым венецианским мастером Каналетто.

Да, это был прекрасный, хотя и несколько печальный, город. Но пришло время покинуть его ради других городов.

Поэтому Андерсен не чувствовал особого сожаления, когда послал гостиничного слугу купить билет на дилижанс, отправлявшийся вечером в Верону

Слуга был под стать гостинице — ленивый, всегда навеселе, нечистый на руку, но с открытым, простодушным лицом. Он ни разу не прибрал в комнате у Андерсена, даже не подмел каменный пол.

Из красных бархатных портьер золотистыми роями вылетала моль. Умываться приходилось в треснувшем фаянсовом тазу с изображением полногрудых купальщиц. Масляная лампа была сломана. Взамен ее на столе стоял тяжелый серебряный канделябр с огарком сальной свечи Его, должно быть, не чистили со времен Тициана

Из первого этажа, где помещалась дешевая остерия разило жареной бараниной и чесноком. Там весь день оглушительно хохотали и ссорились молодые женщины в потертых бархатных корсажах, кое-как затянутых порванными тесемками.

Иногда женщины дрались, вцепившись друг другу в волосы. Когда Андерсену случалось проходить мимо дерущихся женщин, он останавливался и с восхищением смотрел на их растрепанные косы, рдеющие от ярости лица и горящие жаждой мести глаза.

Но самым прелестным зрелищем были, конечно, гневные слезы, что брызгали у них из глаз и стекали по щекам, как алмазные капли.

При виде Андерсена женщины затихали. Их смущал этот худой и элегантный господин с тонким носом. Они считали его заезжим фокусником, хотя и называли почтительно «синьор поэт». По их понятиям, это был странный поэт. В нем не бурлила кровь. Он не пел под гитару раздирающие сердце баркаролы и не влюблялся по очереди в каждую из женщин. Только один раз он вынул из петлицы алую розу и подарил ее самой некрасивой девочке — судомойке. Она была к тому же хромая, как утка.

Когда слуга пошел за билетом, Андерсен кинулся к окну, отодвинул тяжелый занавес и увидел, как слуга шел, насвистывая, вдоль канала. Он походя ущипнул за грудь краснолицую продавщицу креветок и получил оглушительную оплеуху.

Потом слуга долго и сосредоточенно плевал с горбатого моста в канал, стараясь попасть в пустую половинку яичной скорлупы. Она плавала около свай.

Наконец он попал в нее, и скорлупа утонула. После этого слуга подошел к мальчишке в рваной шляпе. Мальчишка удил. Слуга сел около него и бессмысленно уставился на поплавок, дожидаясь, когда клюнет какая-нибудь бродячая рыба.

— О боже! — воскликнул с отчаянием Андерсен.— Неужели я сего дня не уеду из-за этого болвана?

Андерсен распахнул окно. Стекла задребезжали так сильно, что слуга услышал их звон и поднял голову. Андерсен воздел руки к небу и яростно потряс кулаками.

Слуга сорвал с мальчишки шляпу, восторженно помахал ею Андерсену, снова нахлобучил ее на мальчишку, вскочил и скрылся за углом.

Андерсен рассмеялся. Он ничуть не был рассержен. Его страсть к путешествиям усиливалась изо дня в день даже от таких забавных пустяков.

Путешествия всегда сулили неожиданности. Никогда ведь не знаешь, когда блеснет из-под ресниц лукавый женский взгляд, когда покажутся вдали башни незнакомого города и закачаются на горизонте мачты тяжелых кораблей, какие стихи придут в голову при виде грозы, бушующей над Альпами, и чей голос пропоет тебе, как дорожный колокольчик, песенку о нераспустившейся любви.

Слуга принес билет на дилижанс, но не отдал сдачу. Андерсен взял его за шиворот и вежливо вывел в коридор. Там он шутливо хлопнул слугу по шее, и тот помчался вниз по шаткой лестнице, перепрыгивая через ступеньки и распевая во все горло.

...Когда дилижанс выехал из Венеции, начал накрапывать дождь. На болотистую равнину опустилась ночь.

Возница проворчал, что сам сатана придумал, должно быть, отправлять дилижансы из Венеции в Верону по ночам.

Пассажиры ничего не ответили. Возница помолчал, в сердцах сплюнул и предупредил пассажиров, что, кроме огарка в жестяном фонаре, свечей больше нет.

Пассажиры и на это не обратили внимания. Тогда возница выразил сомнение в здравом рассудке своих пассажиров и добавил, что Верона — глухая дыра, где порядочным людям нечего делать.

Пассажиры знали, что это не так, но никто не захотел возразить вознице.

Пассажиров было трое — Андерсен, пожилой угрюмый священник и дама, закутанная в темный плащ. Она казалась Андерсену то молодой, то пожилой, то красавицей, то дурнушкой. Все это были шалости огарка в фонаре. Он освещал даму каждый раз по-иному — как ему приходило в голову.

— Не погасить ли огарок? — спросил Андерсен.— Сейчас он не нужен. Потом, в случае необходимости, нам нечего будет зажечь.

— Вот мысль, которая никогда бы не пришла в голову итальянцу!— воскликнул священник.

— Почему?

— Итальянцы не способны что-либо предвидеть. Они спохватываются и вопят, когда уже ничего нельзя исправить.

— Очевидно,— спросил Андерсен,— ваше преподобие не принадлежит к этой легкомысленной нации?

— Я австриец! — сердито ответил священник.

Разговор оборвался. Андерсен задул огарок. После некоторого молчания дама сказала:

— В этой части Италии лучше ездить ночью без света.

— Нас все равно выдает шум колес,— возазил ей священник и недовольно добавил: — Путешествующим дамам следует брать с собой кого-нибудь из родственников. В качестве провожатого.

— Мой провожатый,— ответила дама и лукаво засмеялась,— сидит рядом со мной.

Она говорила об Андерсене. Он снял шляпу и поблагодарил свою спутницу за эти слова.

Как только огарок погас, звуки и запахи усилились, как будто они обрадовались исчезновению соперника. Громче стал топот копыт, слышнее шорох колес по гравию, дребезжание рессор и постукивание дождя по крыше дилижанса. И гуще потянуло в окна запахом сырой травы и болота.

— Удивительно! — промолвил Андерсен.— В Италии я ожидал услышать запах померанцевых рощ, а узнаю воздух своей северной родины.

— Сейчас все переменится,— сказала дама.— Мы подымаемся на холмы. Там воздух теплее.

Лошади шли шагом. Дилижанс действительно подымался на отлогий холм.

Но ночь от этого не посветлела. Наоборот, по сторонам дороги потянулись старые вязы. Под их раскидистыми ветвями темнота стояла плотно и тихо, чуть слышно перешептываясь с листьями и дождевыми каплями.

Андерсен опустил окно. Ветка вяза заглянула в дилижанс. Андерсен сорвал с нее на память несколько листьев.

Как у многих людей с живым воображением, у него была страсть

собирать во время поездок всякие пустяки. Но у этих пустяков было одно свойство — они воскрешали прошлое, возобновляли то состояние, какое было у него, Андерсена, именно в ту минуту, когда он подбирал какой-нибудь осколок мозаики, лист вяза или маленькую ослиную подкову.

«Ночь!» — сказал про себя Андерсен.

Сейчас ее мрак был приятнее, чем солнечный свет. Темнота позволяла спокойно размышлять обо всем. А когда Андерсену это надоедало, то она помогала выдумывать разные истории, где он был главным героем.

В этих историях Андерсен представлял себя неизменно красивым, юным, оживленным. Он щедро разбрасывал вокруг себя те опьяняющие слова, которые сентиментальные критики называют «цветами поэзии».

На самом же деле Андерсен был очень некрасив и хорошо это знал. Он был долговяз и застенчив. Руки и ноги болтались у него, как у игрушечного человечка на веревочке. Таких человечков у него на родине дети зовут «хампельманами».

С этими качествами нечего было надеяться на внимание женщин. Но все же каждый раз сердце отзывалось обидой, когда юные женщины проходили мимо него, как около фонарного столба.

Андерсен задремал.

Когда он очнулся, то прежде всего увидел большую зеленую звезду. Она плыла над самой землей. Очевидно, был поздний час ночи.

Дилижанс стоял. Снаружи доносились голоса. Андерсен прислушался. Возница торговался с несколькими женщинами, остановившими дилижанс в пути.

Голоса женщин были такими вкрадчивыми и звонкими, что весь этот мелодичный торг напоминал речитатив из старинной оперы.

Возница не соглашался подвезти женщин до какого-то, очевидно, очень маленького городка или местечка за ту плату, какую они предлагали. Женщины наперебой уверяли, что они сложились втроем и больше денег у них нет.

— Довольно! — сказал Андерсен вознице.— Я приплачу вам до той суммы, которую вы нагло требуете. И прибавлю еще, если вы перестанете грубить пассажирам и болтать вздор.

— Ладно, красавицы,— сказал возница женщинам,— садитесь. Благодарите мадонну, что вам попался этот иностранный принц, который сорит деньгами. Он просто не хочет задерживать из-за вас дилижанс. А вы-то сами ему нужны, как прошлогодние макароны.

— О Иисусе! — простонал священник.

— Садитесь рядом со мной, девушки,— сказала дама.— Так нам будет теплее.

Девушки, тихо переговариваясь и передавая друг другу вещи, влезли в дилижанс, поздоровались, робко поблагодарили Андерсена, сели и затихли.

Сразу же запахло овечьим сыром и мятой. Андерсен смутно различал, как поблескивали стекляшки в дешевых серьгах девушек.

Дилижанс тронулся. Снова затрещал гравий под колесами. Девушки начали шептаться.

— Они хотят знать,— сказала дама, и Андерсен догадался, что она усмехается в темноте,— кто вы такой. Действительно ли вы иностранный принц? Или обыкновенный путешественник-форестьер?

— Я предсказатель,— ответил, не задумываясь, Андерсен.— Я умею угадывать будущее и видеть в темноте. Но я не шарлатан. И пожалуй, я своего рода бедный принц из той страны, где некогда жил Гамлет.

— Да что же вы можете увидеть в этакой темноте? — удивленно спросила одна из девушек.

— Хотя бы вас,— ответил Андерсен.— Я вижу вас так ясно, что мое сердце наполняется восхищением перед вашей прелестью.

Он сказал это и почувствовал, как у него холодеет лицо. Приближалось то состояние, какое он всякий раз испытывал, задумывая свои поэмы и сказки.

В этом состоянии соединялись легкая тревога, неизвестно откуда берущиеся потоки слов, внезапное ощущение своей поэтической силы и власти над человеческим сердцем.

Как будто в одной из его историй отлетела со звоном крышка старого волшебного сундука, где хранились невысказанные мысли и дремлющие чувства, где было спрятано все очарование земли,— все ее цветы, краски и звуки, душистые ветры, просторы морей, шум леса, муки любви и детский лепет.

Андерсен не знал, как называется это состояние. Одни считали его вдохновением, другие — восторгом, третьи — даром импровизации.

— Я проснулся и услышал среди ночи ваши голоса,— помолчав, спокойно сказал Андерсен.— Для меня этого было довольно, милые девушки, чтобы узнать вас и — даже больше того — полюбить, как своих мимолетных сестер. Я хорошо вас вижу. Вы девушки с легкими светлыми волосами. Вы хохотушки и так любите все живое, что даже дикие дрозды садятся вам на плечи, когда вы работаете на огороде.

— Ой, Николина! Это же он говорит про тебя! — громким шепотом сказала одна из девушек.

— У вас, Николина, горячее сердце,— так же спокойно продолжал Андерсен.— Если бы случилось несчастье с вашим любимым, вы бы пошли, не задумываясь, за тысячи лье через снежные горы и сухие пустыни, чтобы увидеть его и спасти. Правду я говорю?

— Да уж пошла бы...— смущенно пробормотала Николина.— Раз вы так думаете.

— Как вас зовут, девушки? — спросил Андерсен.

— Николина, Мария и Анна,— охотно ответила за всех одна из них.

— Что ж, Мария, я бы не хотел говорить о вашей красоте. Я плохо говорю по-итальянски. Но еще в юности я поклялся перед богом поэзии прославлять красоту повсюду, где бы я ее ни увидел.

— Иисусе! — тихо сказал священник.— Его укусил тарантул. Он обезумел.

— Есть женщины, обладающие поистине потрясающей красотой. Это почти всегда замкнутые натуры. Они переживают наедине сжигаю-

щую их страсть. Она как бы изнутри опаляет их лица. Вот вы такая, Мария. Судьба таких женщин часто бывает необыкновенной. Или очень печальной, или очень счастливой.

— А вы встречали когда-нибудь таких женщин? — спросила дама

— Не далее как сейчас,— ответил Андерсен.— Мои слова относятся не только к Марии, но и к вам, сударыня.

— Я думаю, что вы говорите так не для того, чтобы скоротать длинную ночь,— сказала дрогнувшим голосом дама.— Это было бы слишком жестоко по отношению к этой прелестной девушке. И ко мне,— добавила она вполголоса.

— Никогда я еще не был так серьезен, сударыня, как в эту минуту.

— Так как же? — спросила Мария.— Буду я счастлива? Или нет?

— Вы очень много хотите получить от жизни, хотя вы и простая крестьянская девушка. Поэтому вам нелегко быть счастливой. Но вы встретите в своей жизни человека, достойного вашего требовательного сердца. Ваш избранник должен быть, конечно, человеком замечательным. Может быть, это будет живописец, поэт, борец за свободу Италии... А может быть, это будет простой пастух или матрос, но с большой душой. Это в конце концов все равно.

— Сударь,— застенчиво сказала Мария,— я вас не вижу, и потому мне не стыдно спросить. А что делать, если такой человек уже завладел моим сердцем? Я его видела всего несколько раз и даже не знаю, где он сейчас.

— Найдите его,— воскликнул Андерсен,— и он вас полюбит!

— Мария! — радостно сказала Анна.— Так это же тот молодой художник из Вероны...

— Замолчи! — прикрикнула на нее Мария.

— Верона не такой большой город, чтобы человека нельзя было отыскать там,— сказала дама.— Запомните мое имя. Меня зовут Елена Гвиччиоли. Я живу в Вероне. Каждый веронец укажет вам мой дом. Вы, Мария, приедете в Верону. И вы будете жить у меня, пока не произойдет тот счастливый случай, какой предсказал наш милый попутчик.

Мария нашла в темноте руку Елены Гвиччиоли и прижала к своей горячей щеке.

Все молчали. Андерсен заметил, что зеленая звезда погасла. Она зашла за край земли. Значит, ночь перевалила за половину.

— Ну, а что же вы мне ничего не посулили? — спросила Анна, самая разговорчивая из девушек.

— У вас будет много детей,— уверенно ответил Андерсен.— Они будут выстраиваться гуськом за кружкой молока. Вам придется терять много времени, чтобы каждое утро их всех умывать и причесывать. В этом вам поможет ваш будущий муж.

— Уж не Пьетро ли? — спросила Анна.— Очень он мне нужен, этот пентюх Пьетро!

— Вам еще придется тратить много времени, чтобы несколько раз за день перецеловать всех этих крошечных мальчиков и девочек в их сияющие любопытством глаза.

— В папских владениях были бы немыслимы все эти безумные

речи! — сказал раздраженно священник, но никто не обратил внимания на его слова.

Девушки опять о чем-то зашептались. Шепот их все время прерывался смехом. Наконец Мария сказала:

— А теперь мы хотим знать, что вы за человек, сударь. Мы-то не умеем видеть в темноте.

— Я бродячий поэт,— ответил Андерсен.— Я молод. У меня густые волнистые волосы и темный загар на лице. Мои синие глаза почти все время смеются, потому что я беззаботен и пока еще никого не люблю. Мое единственное занятие — делать людям маленькие подарки и совершать легкомысленные поступки, лишь бы они радовали моих ближних.

— Какие, например? — спросила Елена Гвиччиоли.

— Что же вам рассказать? Прошлым летом я жил у знакомого лесничего в Ютландии. Однажды я гулял в лесу и вышел на поляну, где росло много грибов. В тот же день я вернулся на эту поляну и спрятал под каждый гриб то конфету в серебряной обертке, то финик, то маленький букетик из восковых цветов, то наперсток и шелковую ленту. На следующее утро я пошел в этот лес с дочерью лесничего. Ей было семь лет. И вот под каждым грибом она находила эти необыкновенные вещицы. Не было только финика. Его, наверное, утащила ворона. Если бы вы только видели, каким восторгом горели глаза малютки. Я уверил ее, что все эти вещи спрятали гномы.

— Вы обманули невинное создание! — возмущенно сказал священник.— Это великий грех!

— Нет, это не было обманом. Она-то запомнит этот случай на всю жизнь. И, уверяю вас, ее сердце не так легко очерствеет, как у тех, кто не пережил этой сказки. Кроме того, замечу вам, ваше преподобие, что не в моих привычках выслушивать непрошеные наставления.

Дилижанс остановился. Девушки сидели не двигаясь, как зачарованные. Елена Гвиччиоли молчала, опустив голову.

— Эй, красотки! — крикнул возница.— Очнитесь! Приехали!

Девушки опять о чем-то пошептались и встали.

Неожиданно в темноте сильные руки обняли Андерсена за шею и горячие губы прикоснулись к его губам.

— Спасибо! — прошептали эти горячие губы, и Андерсен узнал голос Марии.

Николина поблагодарила его и поцеловала осторожно и ласково, защекотав волосами лицо, а Анна — крепко и шумно. Девушки соскочили на землю. Дилижанс покатился дальше по мощеной дороге. Андерсен выглянул в окно. Ничего не было видно, кроме черных вершин деревьев на едва зеленеющем небе. Начинался рассвет.

Верона поразила Андерсена великолепными зданиями. Торжественные фасады соперничали друг с другом. Соразмерная архитектура должна была способствовать спокойствию духа. Но на душе у Андерсена спокойствия не было.

Вечером Андерсен позвонил у дверей старинного дома Гвиччиоли, в узкой улице, подымавшейся к крепости.

Дверь ему открыла сама Елена Гвиччиоли. Зеленое бархатное платье плотно облегало ее стан. Отсвет от бархата падал на ее глаза, и они показались Андерсену совершенно зелеными, как у валькирии, и невыразимо прекрасными.

Она протянула ему обе руки, сжала его широкие ладони холодными пальцами и, отступая, ввела его в маленький зал.

— Я так соскучилась,— сказала она просто и виновато улыбнулась.— Мне уже не хватает вас.

Андерсен побледнел. Весь день он вспоминал о ней с глухим волнением. Он знал, что можно до боли в сердце любить каждое слово женщины, каждую ее потерянную ресницу, каждую пылинку на ее платье. Он понимал это. Он думал, что такую любовь, если он даст ей разгореться, не вместит сердце. Она принесет столько терзаний и радости, слез и смеха, что у него не хватит сил, чтобы перенести все ее перемены и неожиданности.

И кто знает, может быть, от этой любви померкнет, уйдет и никогда не вернется пестрый рой его сказок. Чего он будет стоить тогда!

Все равно его любовь окажется в конце концов безответной. Сколько раз с ним уже так бывало. Такими женщинами, как Елена Гвиччиоли, владеет каприз. В один печальный день она заметит, что он урод. Он сам был противен себе. Он часто чувствовал за своей спиной насмешливые взгляды. Тогда его походка делалась деревянной, он спотыкался и готов был провалиться сквозь землю.

«Только в воображении,— уверял он себя,— любовь может длиться вечно и может быть окружена сверкающим нимбом поэзии. Кажется, я могу гораздо лучше выдумать любовь, чем испытать ее в действительности».

Поэтому он пришел к Елене Гвиччиоли с твердым решением увидеть ее и уйти, чтобы никогда больше не встречаться.

Он не мог прямо сказать ей об этом. Ведь между ними ничего не произошло. Они встретились только вчера в дилижансе и ничего не говорили друг другу.

Андерсен остановился в дверях зала и осмотрелся. В углу белела освещенная канделябрами мраморная голова Дианы, как бы побледневшая от волнения перед собственной красотой.

— Кто обессмертил ваше лицо в этой Диане? — спросил Андерсен.

— Канова,— ответила Елена Гвиччиоли и опустила глаза. Она, казалось, догадывалась обо всем, что творилось у него на душе.

— Я пришел откланяться,— пробормотал Андерсен глухим голосом.— Я бегу из Вероны.

— Я узнала, кто вы,— глядя ему в глаза, сказала Елена Гвиччиоли.— Вы Христиан Андерсен, знаменитый сказочник и поэт. Но, оказывается, в своей жизни вы боитесь сказок. У вас не хватает силы и смелости даже для короткой любви.

— Это мой тяжкий крест,— ссознался Андерсен.

— Ну что ж, мой бродячий и милый поэт,— сказала она горестно и положила руку на плечо Андерсену,— бегите! Спасайтесь! Пусть ваши глаза всегда смеются. Не думайте обо мне. Но если вы будете страдать от старости, бедности и болезней, то вам стоит сказать только

слово — и я приду, как Николина, пешком за тысячи лье, через снежные горы и сухие пустыни, чтобы утешить вас.

Она опустилась в кресло и закрыла руками лицо. Трещали в канделябрах свечи.

Андерсен увидел, как между тонких пальцев Елены Гвиччиоли просочилась, блеснула, упала на бархат платья и медленно скатилась слеза.

Он бросился к ней, опустился на колени, прижался лицом к ее теплым, сильным и нежным ногам. Она, не открывая глаз, протянула руки, обняла его голову, наклонилась и поцеловала в губы.

Вторая горячая слеза упала ему на лицо. Он почувствовал ее соленую влагу.

— Идите! — тихо сказала она.— И пусть бог поэзии простит вас за все.

Он встал, взял шляпу и быстро вышел.

По всей Вероне звонили к вечерне колокола.

Больше они никогда не виделись, но думали друг о друге все время.

Может быть, поэтому незадолго до смерти Андерсен сказал одному молодому писателю:

— Я заплатил за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья и пропустил то время, когда воображение, несмотря на всю его силу и весь его блеск, должно было уступить место действительности.

Умейте же, мой друг, владеть воображением для счастья людей и для своего счастья, а не для печали.

ДАВНО ЗАДУМАННАЯ КНИГА

Довольно давно, больше десяти лет назад, я решил написать трудную, но, как я тогда думал, да думаю и сейчас, интересную книгу.

Книга эта должна была состоять из биографий замечательных людей.

Биографии должны были быть короткие и живописные.

Я начал даже составлять для этой книги список замечательных людей.

В эту книгу я решил вставить и несколько жизнеописаний самых обыкновенных людей, с которыми я встречался,— людей безвестных, забытых, но мало, в сущности, уступавших тем людям, что стали известными и знаменитыми. Просто им не повезло, и они не смогли оставить после себя хотя бы слабый след в памяти потомков. Большей частью это были бессребреники и подвижники, охваченные какой-нибудь всепоглощающей страстью.

Среди них был речной капитан Оленин-Волгарь — человек поистине феерической жизни. Он вырос в музыкальной семье и учился пению в Италии. Но ему захотелось обойти пешком всю Европу, он бросил учение и действительно обошел Италию, Испанию и Францию, как уличный певец. В каждой стране он пел под гитару песни на ее родном языке.

Я познакомился с Олениным-Волгарем в 1924 году в редакции

одной из московских газет. Однажды после работы мы попросили Оленина-Волгаря спеть нам несколько песенок из его уличного репертуара. Достали где-то гитару, и сухощавый невысокий старик в форме речного капитана вдруг преобразился в виртуоза, в удивительного актера и певца. Голос у него был совершенно молодой.

Мы, замерев, слушали, как свободно лились итальянские кантилены, как отрывисто гремели песни басков, как ликовала, вся в звоне труб и пороховом дыму, «Марсельеза».

После скитаний по Европе Оленин-Волгарь работал матросом на морских пароходах, выдержал экзамен на штурмана дальнего плавания, прошел много раз вдоль и поперек Средиземное море, потом вернулся в Россию и служил капитаном на Волге. В то время, когда я познакомился с ним, он водил пассажирские пароходы из Москвы в Нижний Новгород.

Он первый на свой страх и риск провел через узкие и ветхие москворецкие шлюзы большой волжский пассажирский пароход. Все капитаны и инженеры уверяли, что это невозможно.

Он первый предложил выпрямить русло Москвы-реки в знаменитых Марчугах, где река петляла так сильно, что даже от одного вида на карте ее бесчисленных поворотов могла закружиться голова.

Оленин-Волгарь написал много превосходных статей о реках России. Теперь эти статьи потеряны и забыты. Он знал все омуты, перекаты и карчи на десятках рек. У него были свои простые и неожиданные планы, как улучшить судоходство на этих реках.

В свободное время он переводил на русский язык «Божественную комедию» Данте.

Это был строгий, добрый и беспокойный человек, считавший, что все профессии одинаково почетны, потому что служат делу народа и дают каждому возможность проявить себя «хорошим человеком на этой хорошей земле».

И еще был у меня один простой и милый знакомый — директор краеведческого музея в маленьком городке Средней России.

Музей помещался в старинном доме. Помощников у директора не было, кроме жены. Они вдвоем не только держали музей в образцовом порядке, но сами ремонтировали дом, заготовляли дрова и делали всякую черную работу.

Однажды я их застал за странным занятием. Они ходили по уличке около музея — тихой уличке, заросшей муравой,— и подбирали все камни и битый кирпич, какие валялись вокруг.

Оказывается, мальчишки выбили камнем в музее окно. Чтобы впредь у мальчишек не было под рукой метательных снарядов, директор решил собрать все камни с улички и снести их во двор.

Каждая вещь в музее — от старинного кружева или редкого плоского кирпича XIV века до образцов торфа и чучела аргентинской водяной крысы — нутрии, недавно выпущенной для размножения в окрестные болота,— была изучена и тщательно описана.

Но этот скромный человек, говоривший всегда вполголоса, покашливая от смущения, совершенно расцветал, когда показывал картину художника Переплетчикова. Он нашел ее в закрытом монастыре.

Правда, это был превосходный пейзаж, написанный из глубокой амбразуры окна,— белый северный вечер с уснувшими молодыми березками и светлой, как олово, водой небольшого озера.

Работать этому человеку было трудно. С ним мало считались. Работал он в тишине, никому не надоедал. Но даже если бы его музей и не приносил большой пользы, то разве самое существование такого человека не было для местных людей, особенно для молодежи, примером преданности делу, скромности и любви к своему краю?

Недавно я нашел список замечательных людей, который составлял для этой книги. Он очень велик. Вряд ли стоит приводить его полностью. Выберу из него наугад только несколько писательских имен.

Рядом с каждым именем я делал короткие заметки о тех ощущениях, какие были связаны у меня с тем или иным писателем.

Приведу здесь некоторые из этих записей. Я упорядочил их и несколько расширил.

ЧЕХОВ

У многих из нас есть плохая привычка записывать в двух-трех словах свои мысли, впечатления и номера телефонов на папиросных коробках. Потом, как правило, коробки эти теряются, а с ними исчезают из памяти целые дни нашей жизни.

День жизни — это совсем не так просто и не так мало, как может показаться. Попробуйте вспомнить любой свой день минута за минутой: все встречи, разговоры, мысли, поступки, все события и душевные состояния, свои и чужие,— и вы убедитесь, что восстановить весь этот поток времени можно, только написав целую книгу, если не две, а то и все три!

Однажды биограф Чехова А. И. Роскин предложил нам, собравшимся зимой в ялтинском Доме писателей, заняться этой, как он шутя говорил, «работкой».

Мы с радостью встретили идею Роскина. Каждый начал писать свою «Книгу одного дня», но вскоре все бросили это занятие. «Работка» оказалась труднейшей, почти непосильной даже для опытных и работоспособных мастеров. Она требовала непрерывного напряжения памяти и брала уйму времени, несмотря на то, что при ней отпадали тяжелые для писателя заботы о теме, сюжете и композиции — все предлагала нам сама жизнь.

Я тоже привык записывать свои мысли на чем попало, в частности на папиросных коробках. Я всегда рассчитывал, что сохраню их, но тотчас же терял.

Эти небрежные свои записи я оправдывал тем, что Эдуард Багрицкий читал мне свои стихи «По рыбам, по звездам проносит шаланду...», считывая их с затрепанной папиросной коробки «Герцеговины Флор».

Но несколько коробок у меня все же уцелело. Одна из них имеет отношение к Чехову и чеховскому дому в Ялте. Я попытаюсь расшифровать сохранившиеся на этой коробке полустертые и короткие записи.

Я обещал одной газете написать статью о Чехове. Но, начав ее,

тут же убедился, что писать сейчас о Чехове в том жанре, какой мы определяем словом «статья», очень трудно и, пожалуй, почти невозможно. Кажется, что все слова в русском языке, которые можно отнести к Чехову, уже сказаны, уже истрачены. Любовь к Чехову переросла наши словарные богатства. Она, как и каждая большая любовь, быстро исчерпала запас наших лучших выражений. Возникает опасность повторений и общих мест.

О Чехове сказано как будто все. Но пока еще мало сказано о том, что оставил Чехов нам в наследство в наших характерах и как Чехов своим существованием определил сегодня жизнь тех, кому он дорог.

Почти ничего не сказано о «чувстве Чехова» — всегда живого и милого нам человека, о чувстве сильном и благодарном.

И вот я решил статьи не писать, а обратиться к своим записям на папиросной коробке. Может быть, там где-нибудь и проскользнет то «чувство Чехова», которое я не могу еще точно определить.

Записи эти, как я уже говорил, очень короткие. Например: «1950 год. Я один в доме. Мохнатая собачка лает внизу. По традиции ее зовут Каштанкой».

Память получила легкий толчок и начинает восстанавливать прошлое.

Это было осенью 1950 года. Я пришел в ялтинский дом Чехова к Марии Павловне. Ее не было, она ушла куда-то по соседству, а я остался ждать ее в доме. Старуха работница провела меня на террасу.

Стояла та обманчивая и удивительная ялтинская осень, когда нельзя понять, доцветает ли весна или расцветает прозрачная осень. За балюстрадой горел на солнце во всей своей девственной белизне куст каких-то цветов.

Цветы уже осыпáлись от каждого веяния или, вернее, дыхания воздуха. Я знал, что этот куст был посажен Антоном Павловичем, и боялся прикоснуться к нему, хотя мне и хотелось сорвать на память пусть самую ничтожную веточку. Наконец я решился, протянул руку к кусту и тотчас же отдернул ее,— снизу, из сада, на меня залаяла мохнатая рыжая собачка по имени Каштанка. Она отбрасывала задними лапами землю и лаяла совершенно так, как описывал это Чехов:

— Р-р-р... нга-нга-нга! Р-р-р... нга-нга-нга!

Я невольно рассмеялся. Собачка села, расставила уши и прислушалась. Солнце просвечивало ее желтые добрые глаза.

Было тихо, тепло. Синий солнечный дым подымался к небу со стороны моря, как широкий занавес, и за этим занавесом мощно и мужественно, в три тона, протрубил теплоход.

Я услышал в комнатах голос Марии Павловны, и вдруг у меня сердце сжалось с такой силой, что я с трудом сдержал слезы. О чем? О том, что жизнь неумолима, что хотя бы некоторым людям, без которых мы почти не можем жить, она должна бы дать если не бессмертие, то долгую жизнь, чтобы мы всегда ощущали у себя на плече их легкую руку.

Я тут же постарался отогнать эти мысли, но горечь не проходила. Разум говорил одно, а сердце — другое. Мне казалось, что в то мгновение я отдал бы половину своей жизни, чтобы услышать за дверью

спокойные шаги и покашливание давным-давно ушедшего отсюда хозяина этого дома. Давным-давно! Со дня его смерти прошло сорок шесть лет. Этот срок казался мне одновременно и ничтожным, и невыносимо огромным.

Цветы за балюстрадой тихонько опадали. Я смотрел на порхание легчайших лепестков, боялся, чтобы Мария Павловна не вошла раньше времени и не заметила моего волнения, и успокаивал себя нарочитыми мыслями о том, что в каждой ветке этого куста есть нечто вечное, постоянное движение соков под корой — такое же постоянное, как и ночное движение светил над тихо шумящим морем.

Пришла Мария Павловна, заговорила о Левитане, рассказала, что была влюблена в него, и, рассказывая, покраснела от смущения, как девочка.

Сам не зная почему, но, выслушав Марию Павловну, я сказал:

— У каждого, должно быть, была своя «Дама с собачкой». А если не было, то обязательно будет.

Мария Павловна снисходительно улыбнулась и ничего не ответила.

После этого я много раз навещал чеховский дом в разные времена года. Внутрь я входил редко. Чаще всего я прислонялся к ограде и, постояв немного, уходил.

Особенно притягательным был этот дом зимой. Низкая тьма висела над морем. В ней тускло проступали бортовые огни парохода, и я, по рассказам моряков, знал, что с палубы парохода иногда можно увидеть в бинокль освещенное лампой с зеленым абажуром окно чеховского кабинета.

Странно было думать, что огонь этой лампы был зажжен на самом краю страны, что здесь обрывалась над морем Россия, а там, дальше, уже лежат в ночи древние малоазиатские страны.

Я разобрал еще одну запись: «Зима в Ялте, снег на Яйле, его свет над Ауткой». Да. Зимой на Яйле лежала кромка легкого снега. Он отсвечивал в блеске луны. Ночная тишина спускалась с гор на Ялту.

Чехов все это видел вот так же, как мы, все это знал. Иногда, по словам Марии Павловны, он гасил лампу и долго сидел один в темноте, глядя за окна, где неподвижно сияли снега.

Иногда он выходил в сад, но тайком, чтобы не разбудить и не напугать мать и сестру. Мучила бессонница, и он долго бродил в ночной темноте один, как бы забытый всеми, несмотря на то, что слава его уже жила во всем мире. Но в такие вечера она не тяготила его.

А рядом белел дом, ставший приютом русской литературы. Давно замолкли в нем голоса Куприна, Горького, Мамина-Сибиряка, Станиславского, Бунина, Рахманинова, Короленко, но отголосок их как бы жил в доме. И дом ждал их возвращения. Ждал и хозяин, тревожившийся только наедине с собой, по ночам, когда никто не мог этого заметить, когда его болезнь, тоска и тревога никого не могла взволновать.

В огромной мемуарной литературе о Чехове почти нет упоминаний о том, что Чехов когда-нибудь плакал.

Но все же его слезы видел, например, писатель Тихонов (Серебров), когда Чехов незадолго до смерти приезжал с Саввой Морозовым на

Урал. То были скрытые от всех ночные слезы одинокого, по существу, брошенного и умирающего человека.

И слезы свои, и свои страдания Чехов скрывал по своей доброте, по огромному своему мужеству и благородству — чтобы не омрачать жизнь близких, чтобы не причинять окружающим даже тени неприятности.

Я разобрал еще одну запись: «Россия всегда мало» — и сразу же вспомнил вечер, когда мы с поэтом Луговским стояли в кабинете Чехова перед камином и смотрели на левитановские «Стога».

Серые сумерки и бледная луна над мглистыми болотами, крик дергачей, огромные пространства лесов, простоявших этой ночью и сотнями других ночей втуне. Потому, что никто не видел их сырой и поблескивающей березовой листвы и не слышал их загадочных шорохов.

Леса были покинуты, пустынны. Ночь одиноко и напрасно шла над ними к отдаленному рассвету. И у Чехова болело сердце оттого, что он тратил время здесь, в Крыму, ничего не видя, когда ему нужно, до зарезу нужно было быть там, в России, на севере, чтобы следить за отблесками ночи на тесовой крыше избы или в омутах родных притихших озер.

Он рвался в Россию, он мучился и сгорал от досады, от горечи, от того, что не видел, а только угадывал всю ее нерассказанную и нераскрытую красоту.

Сожаление о жизни, очень короткой и, по его мнению, почти бесплодной и только слегка задевшей его своим быстрым крылом, мучило его в этом уютном доме.

И не только его. Почему-то почти каждый человек, попавший в этот дом, начинал думать о своей судьбе, особенно если он проглядел свою жизнь и только сейчас спохватился.

Очевидно, гармоничность и содержательность чеховской жизни заставляли людей проверять по ней свою собственную жизнь.

Запись «Цепь фотографий» напомнила один вечер, когда мне удалось достать сразу много карточек Чехова.

Я разложил их по годам — от гимназических до последней карточки, сделанной перед смертью.

Ничего более поучительного я не видел. Весь путь Чехова — от бездумного обывателя и пустоватого шутника с легкой пошлинкой до человека удивительной внутренней красоты, благородства и спокойного мужества — был поразительно нагляден.

Он сам себя воспитал и дал нам суровый урок порядочности по отношению к людям и к своему писательскому делу.

Две последние записи очень коротки, только по одному слову. Первая запись — «гений», а вторая — «доброта».

Но ничего неясного в этих записях для меня нет.

Чехов — писатель гениальный. Это бесспорно. Но из уважения к его исключительной скромности никто из людей, писавших о нем, не сказал об этом прямо. Даже после смерти Чехова мы стесняемся об этом говорить, чтобы не рассердить его. Сам Чехов наложил запрет на это слово.

Чехов был скромен, как может быть скромным только подлин-

но великий человек. Он не терпел чванства, спеси, хвастовства.

Он писал, что самое характерное качество бездарного писателя заключается в том, что он ведет себя надуто и спесиво, как первосвященник. Скромность — одна из величайших черт русского народа. Скромными были все простые и замечательные русские люди. Ни один из них не занимался самохвальством, не улюлюкал на чужаков, не ставил себя в пример всем.

В скромности — моральная сила и чистота народа, в бахвальстве — его ничтожность и недостаток ума.

Относительно записи «доброта» можно сказать очень много.

Можно говорить о доброте самого Чехова как человека, но гораздо важнее то обстоятельство, что Чехов был добр и гуманен как писатель. Пожалуй, нет в нашей литературе другого человека, который бы с бо́льшим доброжелательством относился к людям, страдал за них и стремился им помочь.

Да, он был добр, но беспощаден. Он умел ненавидеть, он не был мягкотелым проповедником всепрощения. Но он знал глубину человеческого горя и ужас людского несчастья, знал, как врач и писатель, и требовал от людей милосердия друг к другу.

Влияние Чехова в этом отношении было и остается огромным. Почти все передовое итальянское кино в лучших своих образцах — таких, как «Рим в одиннадцать часов», «Похитители велосипедов», «Машинист», «Полицейские и воры», «Мечты на дорогах»,— вышло из чеховского гуманизма.

Этой чеховской доброты, его взыскательного гуманизма не хватает некоторым произведениям нашей литературы. Это обедняет их и лишает одного из важнейших качеств — силы воздействия на душу читателя.

Вот расшифровка записей, какие я нашел на своей старой папиросной коробке. Благодаря им я смог поделиться своими мыслями о Чехове, обаятельном человеке и замечательном писателе.

Самое его существование напоминает нам о возможности и достижимости подлинного человеческого счастья, ради которого мы работаем, боремся и побеждаем.

АЛЕКСАНДР БЛОК

Нет более трудной задачи, чем рассказать о запахе речной воды или о полевой тишине. И притом рассказать так, чтобы собеседник явственно услышал этот запах и почувствовал тишину.

Как передать «хрустальный (по выражению Блока) звон» пушкинских стихов, возникающих в нашей памяти совершенно внезапно при самых разных обстоятельствах.

Есть в мире сотни замечательных явлений. Для них у нас еще нет слов, нет выражения. Чем удивительнее явление, чем оно великолепней, тем труднее рассказать о нем нашими омертвевшими словами.

Одним из таких прекрасных и во многом необъяснимых явлений нашей русской действительности является поэзия и жизнь Александра Блока.

Чем больше времени проходит со дня трагической смерти Блока,

тем труднее верится в самый факт существования среди нас этого гениального человека.

Он слился для многих из нас с необыкновенными людьми, с поэтами Возрождения, с героями общечеловеческих мифов. В частности, для меня Блок стоит в ряду любимейших полулегендарных, а то и вовсе легендарных людей, таких, как Орланд, Петрарка, Абеляр, Тристан, Леопарди, Шелли или до сих пор не понятый Лермонтов — мальчик, успевший сказать за время своей короткой жизни о жаре души, растраченном в пустыне.

Блок сменил Лермонтова. О нем он сказал печальные и точные слова: «В томленьях его исступленных — тоска небывалой весны».

Одной из больших потерь своей жизни я считаю то обстоятельство, что никогда не видел и не слышал Блока.

Я не слышал Блока, не знаю, как он читал стихи, но я верю поэту Пясту, написавшему маленькое исследование об этом.

Тембр голоса у Блока был глухой, отдаленный, равномерно спокойный. Его голос доходил даже до его современников, как голос из близкой дали. Было в нем нечто магическое, настойчивое, как гул долго не затихающей струны.

Тот Блок, о котором я говорю, прочно существует в моем сознании, в моей жизни, и я никогда не смогу думать о нем иначе. Я провел с ним в молчании много ночей, у меня так часто падало сердце от каждой наугад прочитанной и поющей его строки. «Этот голос — он твой, и его непонятному звуку жизнь и горе отдам».

Таким он вошел в мою жизнь еще в далекой трудной юности, таким он остался для меня и сейчас, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать».

Среди «бренных пожитков» никогда не будет стихов Блока. Потому что они не подчиняются законам бренности, законам тления и будут существовать, пока жив человек на нашей земле и пока не исчезнет «чудо из божьих чудес» — свободное русское слово.

Да, я жалею о том, что не знал Блока. Он сам сказал: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно».

Оборванная жизнь необратима. Блока-человека мы не воскресим и никогда уже не увидим в нашей повседневной жизни. Но в мире есть одно явление, равное чуду, попирающее часто жестокие законы природы и потому утешительное. Это явление — искусство.

Оно может создать в нашем сознании все и воскресить все! Перечитайте «Войну и мир», и я ручаюсь, что вы ясно услышите за своей спиной смех спрятавшейся Наташи Ростовой и полюбите ее, как живого, реального человека.

Я уверен, что любовь к Блоку и тоска по Блоку так велики, что рано или поздно он возникнет в какой-нибудь поэме или повести совершенно живой, сложный, пленительный, испытавший чудо своего второго рождения. Я верю в это потому, что страна не оскудела талантами и сложность человеческого духа еще не свелась к одному знаменателю.

Простите, но здесь мне придется сказать несколько слов о себе.

Я начал писать автобиографическую повесть и дошел в ней до середины своей жизни. Это не мемуары, но именно повесть, где автор волен

отступать от подлинных событий. Но в главном я более или менее придерживаюсь этих событий.

В автобиографической повести я пишу о своей жизни, какой она была в действительности. Но есть, должно быть, у каждого, в том числе и у меня, вторая жизнь, вторая биография. Она, как говорится, «не вышла» в реальной жизни, не случилась. Она существует только в моих желаниях и в моем воображении.

И вот про эту-то вторую жизнь я и хочу написать. Написать свою жизнь такой, какой она бы непременно была, если бы я создавал ее по своей воле, вне зависимости от всяких случайностей.

Вот в этой второй «автобиографии» я хочу и могу вплотную встретиться с Блоком, даже подружиться с ним и написать о нем все, что думаю, с той великой признательностью и нежностью, какую я к нему испытываю. Этим я хочу как бы продлить жизнь Блока в себе.

Вы вправе спросить у меня, зачем это нужно.

Нужно для того, чтобы моя жизнь была гармонически законченна, и для того, чтобы показать на примере своей жизни силу поэзии Блока. Повторяю, я не видел Блока. В последние годы его жизни я был далеко от Петербурга. Но сейчас я стараюсь хотя бы косвенно наверстать эту потерю.

Быть может, это выглядит несколько наивно, но я ищу встречи со всем, что было связано с Блоком,— с людьми, обстановкой, петербургским пейзажем. Он почти не изменился после смерти поэта.

Уже давно меня начало мучить непонятное мне самому желание найти в Ленинграде дом, где жил и умер Блок, но найти непременно одному, без чьей бы то ни было помощи, без расспросов и изучения карты Ленинграда. И вот я, смутно зная, где находится река Пряжка (на набережной этой реки на углу теперешней улицы Декабристов жил Блок), пошел на Пряжку пешком и при этом не спрашивал никого о дороге. Почему я так поступил, я сам не совсем понимаю. Я был уверен, что найду дорогу интуитивно, что сила моей привязанности к Блоку, подобно поводырю, приведет меня за руку к порогу его дома.

Первый раз я не дошел до Пряжки. Начиналось наводнение, и были закрыты мосты.

Я только, продрогнув, смотрел в глухую аспидную муть на западе. Там была Пряжка. Оттуда бил в лицо сырой ветер, нес мглу, и в этой мгле, как каменные корабли в шторме, вздымались неясные громады домов.

Я знал, что дом Блока стоял у взморья и, очевидно, первым принимал на себя удары балтийской бури.

И только во второй раз я дошел до дома на Пряжке. Я шел не один.

Со мной была моя девятнадцатилетняя дочь, юное существо, сиявшее грустью и радостью просто от того, что мы ищем дом Блока.

Мы шли по набережной Невы, и почему-то весь путь я запомнил с необыкновенной ясностью.

Был октябрьский день, мглистый, с кружащейся опадающей листвой. В такие дни кажется, что редкий туман над землей лег надолго.

Он слегка моросит, наполняя свежестью грудь, покрывая мельчайшей водяной пылью чугунные решетки.

У Блока есть выражение: «Тень осенних дней». Так вот, был день, наполненный этой тенью — темноватой и холодной. Слепо блестели стекла особняков, израненных во время блокады осколками снарядов. Пахло каменноугольным дымом — его, должно быть, наносило из порта.

Мы шли очень медленно, часто останавливались, долго смотрели на все, что открывалось вокруг. Почему-то я был уверен, что Блок чаще возвращался домой именно этим путем, а не по скучной Офицерской улице.

Сильно пахло тинистой водой и опилками. Тут же, у берега пустынной в этом месте Невы, какие-то девушки в ватниках пилили циркулярной пилой березовые дрова. Опилки летели длинными фейерверками, но всегда раздражающий визг пилы звучал здесь почему-то мягко, приглушенно. Пила как бы пела под сурдинку.

За темным каналом — это и была Пряжка — подымались стапели судостроительных заводов, трубы, дымы, закопченные фабричные корпуса.

Я знал, что окна квартиры Блока выходили на запад, на этот заводской пейзаж, на взморье.

Мы вышли на Пряжку, и я тотчас увидел за низкими каменными строениями единственный большой дом — кирпичный и очень обыкновенный. Это был дом Блока.

— Ну вот мы и пришли,— сказал я своей спутнице.

Она остановилась. Глаза ее вспыхнули радостью, но тотчас же к этому радостному сиянию прибавился блеск слез. Она старалась сдержаться, но слезы не слушались ее, все набегали и маленькими каплями скатывались с ресниц. Потом она схватилась за мое плечо и прижалась к моему рукаву, чтобы скрыть слезы.

В окнах дома блестел ленинградский слепой свет, но для нас обоих и это место, и этот свет казались священными.

Я подумал о том, как счастлив поэт, которому юность отдает свою первую любовь — застенчивую и благодарную. Юность отдает свое признание юному поэту. Потому что Блок в нашем представлении всегда был и всегда останется юным. Таков удел почти всех трагически живших и трагически погибших поэтов.

Даже в свои последние годы, незадолго до смерти, Блок, измученный никому не высказанной внутренней тревогой, так и оставшейся неразгаданной, сохранил внешние черты молодости.

Здесь следует сделать одно маленькое отступление.

Широко известно, что есть писатели и поэты, обладающие большой заражающей силой творчества.

Их проза и стихи, попавшие в ваше сознание, даже в самых маленьких дозах, взбудораживают вас, вызывают поток мыслей, роение образов, заражают непреодолимым желанием закрепить все это на бумаге.

В этом смысле Блок безошибочно воздействовал на многих поэтов и писателей. Воздействовал не только стихами, но и обстоятельствами своей жизни. Я приведу здесь один, может быть, не очень характерный, но пришедший мне на память пример.

У писателя Александра Грина есть посмертный и еще не опубликованный роман «Недотрога». Обстановка и многие детали этого романа совпадают с рассказами Блока о его жизни в Бретани, в маленьком порту Аберврак.

Там Блок впервые приобщился к морской жизни. Она вызвала у него почти детское восхищение. Все было сказочно интересным.

Он пишет матери: «Мы живем, окруженные морскими сигналами. Главный маяк освещает наши стены, вспыхивая через каждые пять секунд. В порту стоит разоруженный фрегат 20-х годов (прошлого века), который был в Мексиканской войне, а теперь отдыхает на якорях. Его зовут «Мельпомена». На носу — белая статуя, стремящаяся в море».

Еще один характерный отрывок из письма: «Недавно на одном из вертящихся маяков умер старый сторож, не успев приготовить машину к вечеру. Тогда его жена заставила двух маленьких детей вертеть машину руками всю ночь. За это ей дали орден Почетного легиона».

«Я думаю,— замечает Блок,— русские сделали бы то же».

Так вот, вблизи Аберврака на острове был расположен старый форт Саизон. Французское правительство очень дешево продавало его за полной старостью и ненадобностью.

Блоку, видимо, очень хотелось купить этот форт. Он даже подсчитал, что покупка его вместе с обработкой земли, разбивкой сада и ремонтом обойдется в двадцать пять тысяч франков.

В этом форте все было романтично: и полуразрушенные подъемные мосты, и казематы, и пороховые погреба, и старинные пушки.

Родные отговорили Блока от покупки. Но он много рассказывал друзьям и знакомым о старом форте,— мечта не так легко уступала трезвым соображениям.

Грин услышал этот рассказ и написал роман, где некий старый человек с молодой красавицей дочерью, прозванной «Недотрогой», покупает у правительства старый форт, поселяется в нем и превращает заброшенные валы в душистые заросли и цветники.

В романе происходят всякие события, но, пожалуй, лучше всего написан сам форт — добрый (давно разоруженный), мирный, романтический. Прекрасно также описание сада с живописными определениями деревьев, кустов и цветов.

Должен признаться, что некоторые стихи Блока натолкнули и меня на странную на первый взгляд идею — написать несколько рассказов, связанных с этими стихами общностью настроения.

Эта мысль не оставляет меня и сейчас. Пока же я написал рассказ «Дождливый рассвет», целиком вышедший из стихотворения Блока «Россия».

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка...

Я не хочу и не могу давать свое толкование жизни и поэзии Блока. Я не очень постигаю пророческий и мистический ужас Блока перед грядущими испытаниями России и человечества; мне чуждо его ощу-

щение рокового одиночества, безвыходные сомнения и катастрофические падения, слишком усложненное восприятие им революции.

Меня в Блоке привлекает и захватывает совершенно конкретная поэзия его зрелых стихов и его жизни. Туманы символизма, нарочитые, лишенные живых образов, живой крови, бесплотные — это только затянувшееся гимназическое увлечение.

Иногда я думаю, что многое в Блоке непонятно для людей последнего поколения, для новой молодежи.

Непонятна, например, его любовь к нищей России. Как можно было, с точки зрения нынешней молодежи, любить ту страну, где «низких нищих деревень не счесть, не смерить оком, и светит в потемневший день костер в лугу далеком».

Это трудно понять молодежи потому, что такой России уже нет. Нет именно в том ее качестве, в каком ее знал и любил Блок. Если еще и остались глухие деревни, гати, дебри, то человек в этих деревнях и дебрях уже другой. Сменилось поколение, и внуки уже не понимают дедов, а порой и сыновья отцов.

Внуки не понимают и не хотят понять нищету, оплаканную песнями, украшенную поверьями и сказками, глазами робких бессловесных детей, опущенными ресницами испуганных девушек, встревоженную рассказами странников и калек, постоянным чувством живущей рядом — в лесах, в озерах, в гнилых колодах, в плаче старух, в заколоченных избах — томительной тайны и столь же постоянным ощущением чуда. «Дремлю, и за дремотой — тайна, и в тайне ты почиешь, Русь».

Нужно было большое и выносливое сердце и великая любовь к своему народу, чтобы полюбить эти серые избы, причитанья, запах золы, бурьяна и увидеть за всей этой скудостью бледную красоту России, опоясанной лесами и окруженной дебрями. Ее видели и многие предшественники Блока. На эта Русь умирала. Блок оплакал ее и отпел:

Не в богатом покоишься гробе
Ты, убогая финская Русь!

Новая Россия, «Новая Америка» и встает для Блока в южных степях

Нет, не вьются там по́ ветру чубы,
Не пестреют в степях бунчуки...
Там чернеют фабричные трубы,
Там заводские стонут гудки.

Для людей старшего поколения почти в равной степени знакома и старая и новая Русь. В таком обширном знании России — богатство этого поколения.

Нельзя знать новую Россию, не зная старой, не зная всего, что «чудь начудила и меря наперила», не зная старой деревни, не зная очарованных странников, бродивших по всей стране, не увидев заката в крови над полем Куликовым.

Стихи Блока о любви — это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. О них почти невозможно говорить. Их нужно перечитывать, повторять, испытывая каждый раз сердце-

биение, угорать от их томительных напевов и без конца удивляться тому, что они входят в память внезапно и навсегда.

В этих стихах, особенно в «Незнакомке» и «В ресторане», поэтическое мастерство доходит до предела. Оно даже пугает, кажется непостижимым. Вероятно, думая об этих стихах, Блок сказал, обращаясь к своей музе:

И коварнее северной ночи,
И хмельней золотого аи,
И любови цыганской короче
Были страшные ласки твои...

Стихи Блока о любви только крепнут от времени, томят людей своими образами. «И веют древними поверьями ее упругие шелка», «Я вижу берег очарованный и очарованную даль», «И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу».

Это не столько стихи о вечно женственном, сколько порыв огромной поэтической силы, берущей в плен и искушенные и неискушенные сердца.

Какая-то «неведомая сила» превращает стихи Блока в нечто высшее, чем одна только поэзия, в органическое слияние поэзии, музыки и мысли, согласованное с биением каждого человеческого сердца, в то явление искусства, которое не нашло еще своего сколько-нибудь удачного определения.

Достаточно прочесть одну всем известную строфу, чтобы убедиться в этом:

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Блок прошел в своих стихах и прозе огромный путь российской истории от безвременья 90-х годов до первой мировой войны, до сложнейшего переплетения философских, поэтических, политических и религиозных школ, наконец, до Октябрьской революции «в белом венчике из роз». Он был хранителем поэзии, ее менестрелем, ее чернорабочим и ее гением.

Блок говорил, что гений излучает свет на неизмеримые временные расстояния. Эти слова целиком относятся и к нему. Его влияние на судьбу каждого из нас, писателя и поэта, может быть, не сразу заметно, но необычайно значительно.

Еще в юности я понял смысл его величайших слов и поверил им:

Сотри случайные черты.
И ты увидишь — жизнь прекрасна...

Я стремился следовать этому совету Блока. И ему глубоко благодарен. Мы живем в светоносном излучении его гения, и оно дойдет, быть может, только более ясным до будущих поколений нашей страны.

ГИ ДЕ МОПАССАН

Он таил от нас свою жизнь.

Ренар о Мопассане

У Мопассана была на Ривьере яхта «Милый друг». На этой яхте он написал самую горькую и потрясающую свою вещь — «На воде».

На «Милом друге» у Мопассана служили двое матросов. Старшего звали Бернар.

Матросы ни словом, ни жестом не выдавали Мопассану своей тревоги за него, хотя и видели, что с «хозяином» в последнее время творится что-то неладное и он может сойти с ума не то что от мыслей, а от одних только невыносимых головных болей.

Когда Мопассан умер, матросы прислали в редакцию одной из парижских газет короткое и неумелое письмо, полное большого человеческого горя. Может быть, только двое этих простых людей и знали, вопреки общему предвзятому мнению о Мопассане, что у их хозяина было чуткое и стыдливое сердце.

Что они могли сделать в память Мопассана? Только стараться изо всех сил, чтобы его любимая яхта не попала в чужие, равнодушные руки.

И матросы старались. Они оттягивали ее продажу, сколько могли. А они были бедные люди, и один лишь бог знает, как это было им трудно.

Они обращались к друзьям Мопассана, к писателям Франции, но тщетно. Так яхта и перешла к богачу и бездельнику графу Бартелеми

Когда Бернар умирал, он сказал окружающим:

— Думаю, что я был неплохой моряк.

Нельзя с большей простотой выразить мысль о благородстве прожитой жизни. К сожалению, очень немногие могут с полным правом сказать о себе такие слова.

Эти слова — завещание, которое устами своего матроса оставил нам Мопассан.

Он прошел поразительно быстрый и блестящий писательский путь. «Я вошел в литературную жизнь, как метеор,— говорил он,— и выйду из нее, как молния».

Беспощадный наблюдатель человеческой скверны, анатом, называвший жизнь «клиникой для писателей», незадолго до своего конца он потянулся к чистоте, к прославлению любви-страдания и любви-радости.

Даже в последние часы, когда ему казалось, что его мозг изъеден какой-то ядовитой солью, он с отчаянием думал о том, сколько сердечности он отшвырнул от себя в своей торопливой и утомительной жизни.

Куда он звал? Куда он вел за собою людей? Что он им обещал? Помог ли он им своими сильными руками лодочного гребца и писателя?

Он понимал, что этого он не сделал и что, если бы к его разоблачениям прибавилось сострадание, он мог бы остаться в памяти человечества гением добра.

Он тянулся к нежности, как брошенный ребенок, хмурясь и стесняясь. Он поверил наконец в то, что любовь не только вожделение, но и жертва, и скрытая радость, и поэзия этого мира. Но было уже поздно, и на его долю остались одни укоры совести и напрасные сожаления.

И он жалел, он глубоко досадовал на себя за небрежно отброшенное и осмеянное счастье. Ему вспоминалась русская художница Башкирцева, почти девочка. Она была влюблена в него. Он ответил на эту любовь насмешливой, даже несколько кокетливой перепиской. Его тщеславие мужчины было удовлетворено. Большего он не хотел.

Но что Башкирцева! Гораздо сильнее он жалел о молодой работнице одной из парижских фабрик.

Случай с этой работницей описал Поль Бурже. Мопассан негодовал. Кто дал право этому салонному психологу непрошено врываться в подлинную человеческую трагедию? Конечно, он сам, Мопассан, виноват в этом. Но чем поможешь, что поделаешь, когда уже нет сил и соль слоями оседает у него в голове! Он даже слышит по временам треск ее маленьких острых кристаллов, когда они вонзаются в мозг.

Работница! Наивная, прелестная девушка! Она начиталась его рассказов, один только раз в жизни видела Мопассана и полюбила его со всем пылом своего сердца — такого же чистого, как и ее сияющие глаза.

Наивная девушка! Она узнала, что Мопассан не женат и одинок, и безумная мысль отдать ему свою жизнь, заботиться о нем, быть его другом, женой, рабой и служанкой зародилась у нее с такой силой, что она не могла ей противиться.

Она была бедна и плохо одета. Целый год она голодала и откладывала сантим за сантимом, чтобы сшить себе изящный туалет и появиться в нем перед Мопассаном.

Наконец туалет был готов. Она проснулась ранним утром, когда Париж еще спал, когда сны заволакивали его, как туман, и сквозь этот туман неярко светило только что вставшее солнце. Это был тот единственный час, когда в аллеях лип на бульварах можно было услышать пение птиц.

Она облилась холодной водой и медленно и осторожно, как невесомые и душистые драгоценности, начала надевать на себя тончайшие чулки и маленькие блестящие туфли и наконец прекрасное платье. Она посмотрелась в зеркало и не поверила своему отражению. Перед ней стояла искрящаяся радостью и волнением тонкая, прелестная женщина, с темными от любви глазами и нежным алым ртом. Да, такой она появится перед Мопассаном и признается ему во всем.

Мопассан жил на даче за городом. Она позвонила у калитки. Ей открыл один из друзей Мопассана, жуир, циник и ловелас. Он, усмехаясь и раздевая ее глазами, сказал, что господина Мопассана нет дома, что он уехал на несколько дней со своей любовницей в Этрета.

Девушка вскрикнула и быстро пошла прочь, хватаясь маленькой рукой в слишком тугой лайковой перчатке за прутья железной ограды.

Друг Мопассана догнал ее, усадил в фиакр и отвез в Париж. Она плакала, бессвязно говорила о мести и в тот же вечер, назло себе, назло Мопассану, отдалась этому жуиру.

Через год она уже была известна в Париже как одна из молодых куртизанок. А Мопассан, узнав тогда об этом от своего друга, не выгнал его, не дал ему пощечину, не вызвал его на дуэль, а только усмехнулся: история с девушкой показалась ему довольно забавной. Да, пожалуй, это был неплохой сюжет для рассказа.

Как страшно, что сейчас нельзя было вернуть то время, когда эта девушка стояла за калиткой его дома, как благоухающая весна, и доверчиво держала в протянутых к нему маленьких ладонях свое сердце!

Он даже не знал ее имени и называл ее теперь самыми ласковыми именами, какие мог придумать.

Он извивался от боли. Он готов был целовать следы ее ног и умолять о прощении, он, недоступный, великий Мопассан. Но ничем уже нельзя было помочь. Вся эта история послужила лишь поводом для того, чтобы Бурже мог написать еще один забавный анекдот из области малопонятных человеческих чувств.

Малопонятных? Нет, очень понятных теперь для Мопассана! Они благословенны, эти чувства! Они — святая святых нашего несовершенного мира! И он написал бы сейчас об этом со всей силой своего таланта и мастерства, если бы не соль. Она съедала его, несмотря на то что он выплевывал ее целыми горстями. Целыми большими горстями.

ИВАН БУНИН

Как ни грустно в этом непонятном мире, но он все же прекрасен.

И. Бунин

Еще в гимназии я начал зачитываться Буниным. В то время я мало знал о нем. Кое-что я узнал из автобиографической заметки, написанной самим Буниным для «Словаря писателей» Венгерова. Там было сказано, что Бунин провел свое детство в деревне где-то между Ельцом и городком Ефремовом (в тогдашней Тульской губернии), а потом учился в елецкой гимназии.

В холодном апреле 1916 года я впервые приехал в Ефремов к родственнице — одинокой старушке. Она звала меня погостить у нее и отдохнуть после моих скитаний по югу.

Старушка учительствовала в ефремовской городской школе. Как все учительницы, она часто болела ангиной. Лечилась она всякими способами, даже по «знахарскому методу Бунина».

— Какого Бунина? — спросил я удивленно.

— Евгения Алексеевича. Брата писателя. Он служит у нас в Ефремове в акцизе. Открыл способ лечить ангину. Натирает шею сухой шкуркой, и ангина тотчас проходит. Только мне не помогла эта шкурка. А Евгений Бунин — деловой и довольно неприятный господин. Вот брат его, писатель, говорят, человек чудесный, замечательный. Он иногда сюда приезжает.

С той минуты, как я услышал, что здесь бывает Бунин, Ефремов сразу преобразился для меня, хотя вообще-то был городком достаточно

унылым. Теперь же он представлялся мне воплощением российского провинциального уюта.

Почти все наши захолустные города были схожи друг с другом. Все они, по словам Чехова, были типичными Ефремовами — с запущенными монастырскими подворьями, с землистыми ликами угодников над каменными вратами церквей, с заливистыми колокольцами на тройке исправника, с острогом на выгоне, земским собранием — единственным домом, где у подъезда горел калильный фонарь, с крикливыми галками на кладбищенских липах и глубокими оврагами. Летом в них стенами стояла глухая крапива, а зимой на сером от золы снегу сизо чадили головешки, выброшенные из печей и самоваров.

Тогда, в Ефремове, вошла в меня бунинская Россия и завладела мной надолго.

Елец был рядом. Я решил съездить туда, чтобы посмотреть этот бунинский город.

С ранней юности у меня была неистребимая страсть посещать места, связанные с жизнью любимых писателей и поэтов. Лучшим местом на земле я считал (и считаю до сих пор) холм под стеной Святогорского монастыря в Псковщине, где похоронен Пушкин. Таких далеких и чистых далей, какие открываются с этого холма, мало в России.

Из Ефремова до Ельца ходил рабочий поезд, так называемый «Максим Горький». Я поехал на нем в Елец.

Холодный рассвет застал меня в дребезжащем, старом вагоне. Я сидел под мигающей свечой и читал в растрепанной старой книжке журнала «Современный мир» бунинский рассказ «Илья Пророк».

По своей пронзительной горечи этот рассказ — один из лучших в русской литературе. Каждая подробность, каждая черта этого рассказа (даже «бледные, как саван, овсы») щемила сердце предчувствием неизбежной беды, нищенством, сиростью, ставшими уделом тогдашней России.

От этой России временами хотелось бежать без оглядки. Но редко кто на это решался. Ведь нищенку мать любят и в горьком ее унижении.

Бунин тоже ушел от своей единственно любимой страны. Но ушел только внешне. Человек необыкновенно гордый и строгий, он до конца своих дней тяжело страдал по России и пролил по ней много скрытых слез в чужих ночах Парижа и Граса, слез человека, добровольно изгнавшего себя из отечества.

Я ехал в Елец. Тощие зеленя тянулись за окнами вагона. Ветер посвистывал в жестяных вентиляторах, гнал низкие тучи. Я перечитывал «Илью Пророка», перечитывал скорбную историю Семена Новикова, крестьянина Елецкого уезда Предтеченской волости. И старался понять: как, какими словами, каким волшебством достигнуто это подлинное чудо? Чудо создания короткого и сильного, горестного и великолепного рассказа.

В Ельце я не останавливался в гостинице. Для этого я был тогда слишком беден. Весь день до позднего вечера, когда отходил обратный поезд на Ефремов, я бродил по городу и очень, конечно, устал.

Был серый высокий день. Пошел неожиданный запоздалый снежок.

Ветер сдувал его с мостовых, обнажая каменные, избитые подковами, белые плиты.

Город был весь каменный. Чудилось в этом его каменном обличии что-то от крепости. Оно чувствовалось и в пустынности улиц, и в их тишине. Я слышал, что Елец всегда был шумным торговым городом, и удивлялся этому городскому покою, пока не понял, что тишина и малолюдство — следствие войны.

Елец действительно был крепостью. Бунин в «Жизни Арсеньева» говорил о нем:

«...Город... гордился своей древностью и имел на то полное право: он и впрямь был одним из самых древних русских городов, лежал среди великих черноземных полей Подстепья на той роковой черте, за которой некогда простирались «земли дикие, незнаемые», а во времена княжеств Суздальского и Рязанского принадлежал к тем важнейшим оплотам Руси, что, по слову летописцев, первые вдыхали бурю, пыль и хлад изпод грозных азиатских туч...»

Почти каждое слово в этом отрывке доставляет наслаждение своей простотой, точностью, образностью. Чего стоят одни только слова о том, что эти древние города вдыхали бурю и хлад азиатских набегов! Эти слова воскрешают тревожный свист караульных, грохот колотушек по чугунным доскам, призыв всех жителей на городские валы.

Я долго простоял около здания мужской гимназии с каменным двором. В этой гимназии учился Бунин. Внутри было тихо, за окнами шли уроки.

Потом я прошел через базарную площадь, удивляясь обилию запахов. Пахло укропом, конским навозом, старыми сельдяными бочками, ладаном из открытых дверей церкви, где кого-то отпевали; пахло палым, уже перебродившим листом из садов за высокими серыми заборами.

Я напился чаю в трактире. Там было пусто и холодновато. Из трактира я пошел на окраину города. До поезда оставалось еще много времени.

На окраине — уходящем в низину длинном и голом выгоне — чадили и звенели от ударов по наковальням черные кузницы. Над выгоном белело небо. Рядом тянулась кладбищенская стена.

Я зашел на кладбище. Чуть позванивали и скрипели от ветра побитые фарфоровые розы и жестяные заржавленные листья на погребальных венках.

Кое-где на железных с витиеватыми завитушками и облупившейся масляной краской крестах виднелись коричневые, смятые дождями фотографии в металлических медальонах.

К вечеру я пришел на вокзал. В своей жизни я часто бывал одинок, но редко испытывал такое горькое ощущение неприкаянности, как в тот вечер в Ельце.

Где-то рядом, за стенами домов, в теплых комнатах, шла жизнь, может быть, веселая и светлая, а может быть, скудная и молчаливая. Но я был вне этих теплых стен. Я сидел в тускло освещенном зале третьего класса, где воняло керосином и дуло холодом по ногам.

У каждого в жизни бывали странные, порой приятные, порой печаль-

ные совпадения. Были они и у меня. Такое удивительное совпадение случилось в этот вечер на елецком вокзале.

Я купил в газетном киоске сырой номер «Русского слова». В зале третьего класса из-за темноты читать было трудно. Я пересчитал свои деньги. Их хватало на то, чтобы напиться чаю в ярко освещенном вокзальном буфете и даже дать какую-то мелочь подвыпившему официанту.

Я сел в буфете за стол около пустого мельхиорового ведра для шампанского и развернул газету...

Опомнился я только через час, когда вокзальный швейцар, мотая колокольчиком, прокричал нарочито гнусавым голосом: «Второй звонок на Ефремов, Волово, Тулу!»

Я вскочил, бросился в вагон и просидел, забившись в угол около темного окна, до самого Ефремова.

Все внутри меня дрожало от печали и любви. К кому?

К дивной девушке, к убитой вот на этом вокзале гимназистке Оле Мещерской. В газете был напечатан рассказ Бунина «Легкое дыхание».

Я не знаю, можно ли назвать эту вещь рассказом. Это не рассказ, а озарение, самая жизнь с ее трепетом и любовью, печальное и спокойное размышление писателя, эпитафия девичьей красоте.

Я был уверен, что проходил на кладбище мимо могилы Оли Мещерской и ветер робко позванивал в старом венке, как бы призывая меня остановиться.

Но я прошел, ничего не зная. О, если бы я знал! И если бы я мог! Я бы усыпал эту могилу всеми цветами, какие только цветут на земле. Я уже любил эту девушку. Я содрогался от непоправимости ее судьбы.

За окнами дрожали, погасая, редкие и жалкие огни деревень. Я смотрел на них и наивно успокаивал себя тем, что Оля Мещерская — это бунинский вымысел, что только склонность к романтическому приятию мира заставляет меня страдать из-за внезапной любви к этой погибшей девушке.

Пожалуй, в эту ночь в холодном вагоне среди черных и серых полей России, среди шумящих от ночного ветра, еще не распустившихся березовых рощ я впервые до конца, до последней прожилки понял, что такое искусство и какова его возвышающая и вечная сила.

Я несколько раз разворачивал газету и перечитывал при умирающем огне свечи, а потом при водянистом свете бездомной зари все одни и те же слова о легком дыхании Оли Мещерской, о том, что «теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре».

* * *

Второй съезд советских писателей встретил овацией слова о том, что Бунин должен быть возвращен русской литературе.

И он был возвращен. Были возвращены на родину драгоценнейшие бунинские вещи, и в их числе повесть «Жизнь Арсеньева».

Об этой повести писать трудно, почти невозможно, так же как и о самом Бунине. Он так богат, так щедр, так многообразен, так беспощадно и точно видит любого человека от господина из Сан-Франциско

до плотника Аверкия, видит каждый малейший жест и каждое душевное движение так удивительно ясно, одновременно строго и нежно, говорит о природе, неотделимой от течения человеческих дней, что писать об этом, как говорится, «из вторых рук» бесполезно и почти бессмысленно.

Бунина надо читать и навсегда отказаться от жалких попыток рассказывать обыденными, не бунинскими словами о том, что написано им с классической силой и четкостью.

Нельзя рассказать своими словами «Ненастный день потух...» Пушкина, «Над вечным покоем» Левитана или «Воздушный корабль» Лермонтова. Это так же бесполезно, как поверять сухой алгеброй гармонии Моцарта и других великих композиторов. Поэтому я не буду делать напрасных попыток пересказывать Бунина и толковать его вещи применительно к «злобе дня».

«Злоба дня», иными словами, понятие современности, не может существовать без теснейшей связи со всем, что предшествовало нашему времени и что в какой-то мере его определило.

Книги Бунина тем и замечательны, что они целиком — в своем времени и вместе с тем связаны живой связью с прошлым нашего народа.

В прозе и поэзии Бунина явственно присутствует ощущение жизни как длительного и в основе своей прекрасного пути от рождения человека до его смерти. Особенно сильно это ощущение выражено в «Жизни Арсеньева».

Эта повесть — не только славословие России, не только итог жизни Бунина, не только выражение глубочайшей и поэтической его любви к своей стране, выражение печали и восторга перед ней, изредка блещущего со страниц книги скупыми слезами, похожими на редкие ранние звезды на небосклоне. Это еще нечто другое.

Это не только вереница русских людей — крестьян, детей, нищих, разорившихся помещиков, прасолов, студентов, юродивых, художников, прелестных женщин,— многих людей, присутствовавших на всех путях и перепутьях писателя и написанных с резкой, порой ошеломляющей силой.

«Жизнь Арсеньева» в каких-то своих частях напоминает картины художника Нестерова «Святая Русь» и «На Руси». Эти полотна — наилучшее выражение своей страны и народа в понимании художника.

Перелески и взгорья, почернелые бревенчатые церкви, позабытые погосты и деревеньки. И на их фоне — вся Русь! Древний царь в тяжелой парче и литом золоте, робкие сермяжные мужички, подпаски с длинными кнутами, странники и странницы в скуфейках, девушки с опущенными, будто насурмленными ресницами, что бросают нежную тень на их бледные лица, озаренные каким-то целомудренным внутренним светом. Юроды, побирушки, истовые старухи, грозные старцы с посохами, белоголовые дети.

В толпе — Лев Толстой, а невдалеке от него — Достоевский. Они вместе со своим ищущим правды народом идут в ясные, но пока еще далекие дали, о которых они не уставали говорить всю жизнь.

Что-то общее у этих картин с книгами Бунина. С тем только отличием, что родная страна у Бунина еще скромнее и беднее, чем у Нестерова.

Срединная наша Россия предстает у Бунина в прелести серых дней, покое полей, дождях и туманах, а порой в бледной лучезарности, в тлеющих широких закатах.

Здесь уместно будет сказать, что у Бунина было редкое и безошибочное ощущение красок и освещения.

Мир состоит из великого множества соединений красок и света. И тот, кто легко и точно улавливает эти соединения,— счастливейший человек, особенно если он художник или писатель.

В этом смысле Бунин был очень счастливым писателем. С одинаковой зоркостью он видел все: и среднерусское лето, и пасмурную зиму, и «скудные, свинцовые, спокойные дни поздней осени», и море, «которое из-за диких лесистых холмов вдруг глянуло на меня всей своей темной громадной пустыней».

В записках Бунина есть одна короткая фраза. Она относится к началу лета 1906 года. «Начинается пора прелестных облаков»,– записал Бунин и этим как бы открыл нам одну из тайн своей писательской жизни. Это слова о приближении неизбежного и милого труда, связанного у Бунина с летней порой, «порой облаков», «порой дождей», «порой цветения».

Этими четырьмя словами Бунин отмечает начало своей работы по наблюдению за небом, по изучению облаков, всегда таинственных и притягательных.

Каждый раз, когда читаешь бунинские строки о лете, вспоминаешь эту его запись. Слова о лете у него всегда томительны, даже если и занимают всего две строчки.

«Отцвел и оделся сад, целый день пел соловей в саду, целый день были подняты нижние рамы окон...»

Бунин одинаково остро и тонко видел все, что привелось ему увидеть в жизни. А видел он очень много, с юных лет заболев скитальчеством, непокоем, жаждой непременно увидеть все, до той поры не виданное.

Он признавался, что никогда не чувствовал себя так счастливо, как в те минуты, когда ему предстояла большая дорога.

Есть некая крепкая связь между такими явлениями, как свет, запах, звук и цвет.

В чем эта связь? Хотя бы в том, что, глядя на неизвестные, похожие на огромные крокусы, цветы на картине Ван-Гога, глядя на плотный свет, напоминающий прозрачный сок каких-то не наших плодов, неожиданно вдыхаешь сладковатый дразнящий запах этих плодов и свежее и слабое дыхание сырого морского песка. Этот запах как бы доносит до картинной галереи равномерный ветер с чужих островов.

Читая Бунина, часто ловишь себя на ощущениях такого же рода. Краска рождает запах, свет — краску, а звук восстанавливает ряд удивительно точных картин. Все это вместе рождает особое душевное состояние то сосредоточенности и печали, то легкости и радости жизни с ее теплыми ветрами, шумом деревьев, беспредельным гулом океана, милым смехом детей и женщин.

О своем чувстве красок, об отношении к цвету в природе Бунин говорит в «Жизни Арсеньева»:

«Я весь дрожал при одном взгляде на ящик с красками, пачкал

бумагу с утра до вечера, часами простаивал, глядя на ту дивную, переходящую в лиловое, синеву неба, которая сквозит в жаркий день против солнца в верхушках деревьев, как бы купающихся в этой синеве,— и навсегда проникся глубочайшим чувством истинно божественного смысла и значения земных и небесных красок. Подводя итоги того, что дала мне жизнь, я вижу, что это один из важнейших итогов. Эту лиловую синеву, сквозящую в ветвях и листве, я и умирая вспомню...»

Слегка приглушенные краски, характерные для Средней России, сразу же приобретают зной и густоту, когда Бунин говорит о юге, тропиках, Малой Азии, о Египте и Палестине.

Осенью 1912 года Бунин жил на Капри и подолгу в то время беседовал со своим племянником Николаем Александровичем Пушешниковым.

Сохранились записки Пушешникова об этих беседах. Они очень простые, эти записки. Они показывают нам Бунина — человека очень сдержанного — в часы редкой его откровенности.

Все эти записи говорят о неистовой любви Бунина к жизни. Глядя из окна вагона на тень от паровозного дыма, таявшую в воздухе, Бунин сказал:

— Какая радость — существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один этот дым и этот свет. Если бы у меня не было рук и ног и я бы только мог сидеть на лавочке и смотреть на заходящее солнце, то я был бы счастлив этим. Одно нужно только — видеть и дышать. Ничто не дает такого наслаждения, как краски. Я привык смотреть. Художники научили меня этому искусству... Поэты не умеют описывать осень, потому что они не описывают красок и неба. Французы — Эредиа, Леконт де Лиль — достигли необычайного совершенства в описаниях.

В записках Пушешникова есть место удивительное, раскрывающее «тайну» бунинского мастерства.

Бунин говорил, что, начиная писать о чем бы то ни было, прежде всего он должен «найти звук». «Как скоро я его нашел, все остальное дается само собой».

Что это значит — «найти звук»? Очевидно, в эти слова Бунин вкладывал гораздо большее значение, чем кажется на первый взгляд.

«Найти звук» — это найти ритм прозы и найти основное ее звучание. Ибо проза обладает такой же внутренней мелодией, как стихи и музыка.

Это чувство ритма прозы и ее музыкального звучания, очевидно, органично и коренится также в прекрасном знании и тонком чувстве родного языка.

Даже в детстве Бунин остро чувствовал этот ритм. Еще мальчиком он заметил в прологе к пушкинскому «Руслану» кругообразное легкое движение стихов («ворожбу кругообразных, непрестанных движений»):

«И днем — и ночью — кот — ученый — все ходит — по цепи — кругом».

В области русского языка Бунин был мастером непревзойденным. Из необъятного числа слов он безошибочно выбирал для каждого рассказа слова наиболее живописные, наиболее сильные, скрепленные какой-то незримой и почти таинственной связью с повествованием

и единственно для этого повествования необходимые.

Каждый рассказ и каждое стихотворение Бунина подобны магниту, который притягивает отовсюду все частицы, нужные для этого рассказа.

Существуй сейчас сказочник, подобный Христиану Андерсену, он, может быть, написал бы сказку о том, как слетаются к писателю, обладающему волшебным магнитом, всякие неожиданные вещи вплоть до солнечного луча в кустарнике, покрытом инеем, лохмотьев туч в сизых траурных ризах, а писатель располагает их в своем особом, ему одному ведомом порядке, обрызгивает живой водой, и вот в мире уже живет новое произведение — поэма, стихи или повесть,— и ничто не сможет убить его. Оно бессмертно, пока жив на земле человек.

Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. Но вместе с тем он необыкновенно богат в образном и звуковом отношениях — от кимвального пения до звона родниковой воды, от размеренной чеканности до интонаций удивительно нежных, от легкого напева до гремящих библейских обличений, а от них – до меткого, разящего языка орловских крестьян.

Я только упомянул о «Жизни Арсеньева». А между тем эта повесть требует пристального чтения.

Я назвал «Жизнь Арсеньева» повестью. Это, конечно, неверно. Это не повесть и не роман. Это вещь нового, еще не названного жанра. Жанр этот изумительный, единственный, берущий человеческое сердце в мучительный и вместе с тем светлый плен.

Принято думать, что «Жизнь Арсеньева» — автобиография. Бунин отрицал это. Для автобиографии «Жизнь Арсеньева» была написана слишком свободно.

Это не автобиография. Это — слиток из многих земных горестей, очарований, размышлений и радостей. Это — удивительный свод событий одной человеческой жизни, скитаний, стран, городов, морей, но среди этого многообразия земли на первом месте всегда наша Средняя Россия. «Зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав и цветов... И вечная тишина этих полей, их загадочное молчание...»

Бунину удалось в «Жизни Арсеньева» собрать свою жизнь в некоем магическом кристалле, но, в отличие от пушкинского кристалла, даль этой повести, даль жизни писателя очень резко очерчена, просвечена до самого дна.

Я продолжаю называть «Жизнь Арсеньева» повестью, хотя с таким же правом мог бы назвать ее поэмой или сказанием.

«Жизнь Арсеньева» — это одно из замечательнейших явлений мировой литературы. К великому счастью, оно в первую очередь принадлежит литературе русской.

В этой удивительной книге поэзия и проза слились воедино, слились органически, создав новый замечательный жанр.

В этом слиянии поэтического восприятия мира с внешне прозаическим его выражением есть нечто строгое, подчас суровое. Есть в самом стиле этой вещи нечто библейское.

В этой книге нельзя уже отличить поэзию от прозы, и многие ее слова ложатся на сердце, как раскаленная печать.

Достаточно прочесть несколько строк о матери, чтобы понять, что Бунин нашел для всего, о чем он хотел сказать, единственно нужное и единственно возможное выражение.

Эти строки нельзя читать без душевного потрясения:

«В далекой родной земле, одинокая, навеки всем миром забытая, да покоится она в мире и да будет вовеки благословенно ее бесценное имя. Ужели та, чей безглазый череп, чьи серые кости лежат теперь где-то там, в кладбищенской роще захудалого русского города, на дне уже безыменной могилы, ужели это она, которая некогда качала меня на руках?»

Сила языка, сила точного образа в «Жизни Арсеньева» таковы, что рождают грусть, волнение и даже слезы. Те редкие слезы, которые вызывает прекрасное.

Новизна «Жизни Арсеньева» еще и в том, что ни в одной из бунинских вещей не раскрыто с такой полнотой то явление, которое мы, по скудости своего языка, называем «внутренним миром» человека.

Как будто есть ясная граница между внутренним и внешним миром? Как будто внешний мир не являет собой одно целое с миром внутренним?

Все, о чем говорит Бунин в этой книге, очень видно, слышно, осязаемо, вещно и надолго радует или печалит нас. Я приведу из этой книги несколько отрывков. Вот, например, первая встреча маленького мальчика с городом:

«Всего... поразительнее оказалась в городе вакса. За всю мою жизнь не испытывал я от вещей, виденных мною на земле,— а я видел много!— такого восторга, такой радости, как на базаре в этом городе, держа в руках коробочку ваксы. Круглая коробочка эта была из простого лыка, но что это было за лыко и с какой несравненной художественной ловкостью была сделана из него коробочка! А сама вакса! Черная, тугая, с тусклым блеском и упоительным спиртным запахом».

Описание родного нашего края сделано Буниным со скупой выразительностью.

«Где я родился, рос, что видел? Ни гор, ни рек, ни озер, ни лесов,— только кустарники в лощинах, кое-где перелески и лишь изредка подобие леса, какой-нибудь Заказ, Дубровка, а то все поля, поля, беспредельный океан хлебов... Это... Подстепье, где поля волнисты, где все буераки да косогоры, неглубокие луга, чаще всего каменистые, где деревушки и лапотные обитатели их кажутся забытыми богом,— так они неприхотливы, первобытно-просты, родственны своим лозинам и соломе».

У писателей есть термин, заимствованный у скульпторов,— «лепка людей». У немногих писателей такая безошибочно верная и порой то безжалостная, то трогательная «лепка людей», как у Бунина. Вот, к примеру, подпасок:

«Мальчишка-подпасок... был необыкновенно интересен: посконная рубашонка и коротенькие портчонки были у него дыра на дыре, ноги, руки, лицо высушены, сожжены солнцем и лупились, губы болели, потому что вечно жевал он то кислую ржаную корку, то лопухи, то эти самые козельчики, разъедавшие губы до настоящих язв, а острые глаза

воровски бегали: ведь он хорошо понимал всю преступность нашей дружбы с ним, и то, что он подбивал и нас есть бог знает что. Но до чего сладка была эта преступная дружба! Как заманчиво было все то, что он нам тайком, отрывисто, поминутно оглядываясь, рассказывал. Кроме того, он удивительно хлопал, стрелял своим длинным кнутом и бесовски хохотал, когда пробовали и мы хлопать, пребольно обжигая себя по ушам концом кнута...»

Русский пейзаж с его мягкостью, застенчивыми веснами, с его невзрачностью, которая через короткое время оборачивается тихой печальной красотой, нашел наконец своего выразителя, никогда не пытавшегося его приукрасить. Не было в русском пейзаже даже самой малой малости, которую бы не заметил и не описал Бунин.

«Миновали глинистый пруд, жарко и скучно блестевший своей удлиненной поверхностью в лощине среди выбитых скотиной косогоров. На них кое-где как-то бесприютно на юру в раздумье сидели грачи».

В «Жизни Арсеньева» есть небольшая глава. Она начинается словами:

«Очень русское было все то, среди чего жил я в мои отроческие годы». Дальше Бунин говорит о большой дороге вблизи деревни Становая, о разбойниках, страхе, ночах, но какая удивительная картина недавней России набросана здесь:

«Большая дорога возле Становой спускалась в довольно глубокий лог, по-нашему, верх, и это место всегда внушало почти суеверный страх всякому запоздавшему проезжему... И не раз испытал в молодости этот чисто русский страх и я сам, проезжая под Становой... Все представлялось: глядь, а они и вот они — не спеша идут наперерез тебе, с топорчиками в руках, туго и низко, по самым кострецам, подтянутые, с надвинутыми на зоркие глаза шапками, и вдруг останавливаются, негромко и преувеличенно-спокойно приказывают: «Постой-ка, минутку, купец...»

Великолепных мест в этой книге великое множество. Я не нахожу в нашей прозе такого описания зимы, какое я приведу ниже:

«А еще помню я много серых и жестких зимних дней, много темных и грязных оттепелей, когда становится особенно тягостна русская уездная жизнь, когда лица у всех делались скучны, недоброжелательны,— первобытно подвержен русский человек природным влияниям! — и все на свете, равно как и собственное существование, томило своей ненужностью...

Помню, как иногда по целым неделям несло непроглядными азиатскими метелями, в которых чуть маячили городские колокольни. Помню крещенские морозы, наводившие мысль на глубокую древнюю Русь, на те стужи, от которых «земля на сажень трескалась»: тогда над белоснежным городом, совершенно потонувшим в сугробах, по ночам грозно горело на черновороненом небе белое созвездие Ориона, а утром зеркально, зловеще блистало два тусклых солнца и в тугой и звонкой недвижности жгучего воздуха весь город медленно и дико дымился алыми дымами из труб и весь скрипел и визжал от шагов прохожих и санных полозьев...»

Говоря о Бунине, невольно делаешься человеком навязчивым. Все

время хочется показать собеседнику-читателю прекрасные места бунинских книг одно за другим. Все кажется, вот это — последнее. Но оказывается, что дальше — еще лучшее место, и нет сил промолчать о нем. Вот, например, слова о юности и почти детской любви. Каждый думает о минувшей юности с грустью. Тогда мы любили любовь и все, что она приносила нам: и «семицветную звезду, тихо мерцавшую на востоке, далеко за садом, за деревней, за летними полями, откуда иногда чуть слышно и потому особенно очаровательно доносился далекий бой перепела», и дыхание спящей любимой девушки,— «как же передать те чувства, с которыми смотрел я, мысленно видя там, в этой комнате, Лизу, спящую под лепет листьев, тихим дождем струящихся за открытыми окнами, в которые то и дело входит и веет этот теплый ветер с полей, лелея ее полудетский сон, чище, прекраснее которого не было, казалось, на всей земле!»

* * *

Чем больше я читаю Бунина, тем яснее становится, что Бунин почти неисчерпаем.

Во всяком случае, нужно много времени, чтобы узнать все им написанное и узнать бунинскую бурную, несмотря на элегичность автора, неспокойную и стремительную в своем движении жизнь.

Часть своей жизни Бунин рассказал сам (в «Жизни Арсеньева» и во многих рассказах, которые почти все в той или иной мере связаны с его биографией), часть рассказала его жена Вера Николаевна Муромцева-Бунина, выпустившая в 1958 году в Париже свою книгу «Жизнь Бунина» — очень ценный свод воспоминаний и материалов о Бунине.

Жизнь Бунина вся до последних дней была отдана скитаниям и творчеству.

Бунин был смел, честен в своих убеждениях. Он один из первых в своей «Деревне» развенчал сладенький миф о русском крестьянине-богоносце, созданный кабинетными народниками.

У Бунина, кроме блестящих, совершенно классических рассказов, есть необычайные по чистоте рисунка, по великолепной наблюдательности и по ощущению далеких стран путевые очерки об Иудее, Малой Азии, Турции, Греции и Египте.

Бунин первоклассный поэт чистой, если можно так выразиться, «кастальской» школы. Его стихи до сих пор не оценены. Среди них встречаются подлинные шедевры по выразительности и передаче трудноуловимых вещей.

Всю жизнь Бунин ждал счастья, писал о человеческом счастье, искал путей к нему. Он нашел его в своей поэзии и прозе, в любви к жизни и к своей родине и сказал великие слова о том, что счастье дано только знающим.

Бунин прожил сложную, иногда противоречивую жизнь. Он много видел, знал, много любил и ненавидел, много трудился, не раз ошибался, но всю жизнь величайшей, нежнейшей неизменной его любовью была родная страна, Россия.

И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной...
Срок настанет — господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все — вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав —
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленам припав.

МАКСИМ ГОРЬКИЙ

Об Алексее Максимовиче Горьком писали так много, что если бы не его огромность, можно было бы легко смутиться, отступить и не прибавить к тому, что уже написано о нем, ни одной строчки.

Горький занимает большое место в жизни каждого из нас. Я даже решусь сказать, что существует «чувство Горького», ощущение его постоянного присутствия в нашей жизни.

Для меня в Горьком — вся Россия. Как я не могу представить себе Россию без Волги, так не могу подумать, что в ней нет Горького.

Он был полномочным представителем бесконечно талантливого русского народа. Он любил и досконально знал Россию, знал, как говорят геологи, во всех «разрезах» — и в пространстве и во времени. Не было ничего, чем бы он пренебрегал в этой стране и что бы он не увидел по-своему, по-горьковски.

Это был человек, определяющий эпоху. От таких людей, как Горький, можно начинать летосчисление.

При первом знакомстве меня прежде всего поразило в нем необыкновенное его внешнее изящество, несмотря на легкую сутулость и глуховатый говор. Он был в той стадии духовной зрелости и расцвета, когда внутреннее совершенство накладывает неизгладимый отпечаток на внешность, на жест, манеру говорить, на одежду — на весь облик человека.

Это изящество, соединенное с уверенной силой, было заметно в широких кистях его рук, во внимательном взгляде, в походке и в костюме, который он носил свободно и даже несколько артистически небрежно.

Я часто мысленно вижу его таким, как об этом рассказывал мне один писатель, живший у Горького в Крыму, в Тессели.

Писатель этот проснулся однажды очень рано и подошел к окну. По морю катился разгонистый шторм. С юга дул напряженный, упругий ветер, шумел в садах и скрипел флюгерами.

Невдалеке от домика, где жил писатель, рос огромный тополь. Поднебесный тополь, сказал бы о нем Гоголь. И вот писатель увидел, что около тополя стоит Горький и, подняв голову и опираясь на трость, пристально смотрит на могучее дерево.

Вся тяжелая и густая листва тополя дрожала и шумела от шторма. Все листья были напряженно вытянуты по ветру, запрокинувшись серебряной изнанкой. Тополь гудел, как исполинский орган.

Горький очень долго стоял неподвижно и смотрел на тополь, сняв

шляпу. Потом он что-то сказал и пошел в глубину сада, но несколько раз останавливался и оглядывался на тополь.

За ужином писатель осмелел и спросил Горького, что он сказал тогда, около тополя. Горький не удивился и ответил:

— Ну, раз вы за мной подглядели, то так и быть, сознаюсь. Я сказал — какое могущество!

Однажды я был у Алексея Максимовича в его загородном доме в Горках. Стоял летний день, весь в кудрявых, легких облаках, пестривших прозрачной тенью цветущие зеленые взгорья за Москвой-рекой. По комнатам дуло теплым ветром.

Горький говорил со мной о моей последней повести — «Колхиде» — так, как будто я был знатоком субтропической природы. Это меня сильно смущало. Но, несмотря на это, мы поспорили о том, болеют ли собаки малярией, и Горький в конце концов сдался и даже вспомнил, добродушно улыбаясь, случай из своей жизни, когда он видел около Поти больных малярией, взъерошенных и стонущих кур.

Говорил он так, как сейчас уже никто из нас говорить не умеет,— выпуклым, сочным языком.

Тогда я только что прочел очень редкую книгу одного нашего моряка, капитана Гернета. Называлась она «Ледяные лишаи».

Гернет был одно время советским морским представителем в Японии, где написал эту книгу, сам набрал ее в типографии, так как не нашел среди японцев наборщика, знающего русский язык, и отпечатал всего пятьсот экземпляров этой книги на тонкой японской бумаге.

В книге капитан Гернет изложил свою остроумную теорию возвращения в Европу миоценового субтропического климата. Во времена миоцена по берегам Финского залива, и даже на Шпицбергене, росли магнолиевые и кипарисовые леса.

Я не могу здесь подробно рассказать о теории Гернета — для этого понадобилось бы слишком много места. Но Гернет неопровержимо доказал, что если бы удалось растопить ледяной панцирь Гренландии, то в Европу вернулся бы миоцен и в природе наступил золотой век.

Единственной слабостью этой теории была полная невозможность растопить гренландский лед. Сейчас, после открытия атомной энергии, об этом можно было бы, пожалуй, подумать.

Я рассказал Горькому о теории Гернета. Он барабанил пальцами по столу, и мне показалось, что он слушает меня только из вежливости. Но оказалось, что он был захвачен этой теорией, ее стройной неопровержимостью и даже какой-то торжественностью.

Он долго обсуждал ее, все больше оживляясь, и попросил прислать ему эту книгу, чтобы переиздать ее большим тиражом в России. И долго говорил о том, сколько умных и хороших неожиданностей подкарауливают нас на каждом шагу.

Но издать книгу Гернета Алексей Максимович не успел — он вскоре умер.

ВИКТОР ГЮГО

На острове Джерсее в Ла-Манше, где Виктор Гюго жил в изгнании, ему сооружен памятник.

Памятник поставлен на обрыве над океаном. Постамент у памятника очень невысокий, всего в двадцать или тридцать сантиметров. Он весь зарос травой. Поэтому кажется, что Гюго стоит прямо на земле.

Гюго изображен идущим против сильного ветра. Он согнулся, плащ на нем развевается. Гюго придерживает шляпу, чтобы ее не снесло. Он весь в борьбе с напором океанской бури.

Памятник поставлен в местности дикой и пустынной, откуда видна скала, где погиб матрос Жиллиат из «Тружеников моря».

Вокруг, насколько хватает глаз, гудит неспокойный океан, лижет тяжелыми волнами подножия утесов, вздымая и раскачивая заросли морской травы, и с тяжелым грохотом врывается в подводные пещеры.

Во время туманов слышно, как мрачно ревут сирены на далеких маяках. А по ночам маячные огни лежат по горизонту на самой поверхности океана. Они часто окунаются в воду. Только по этому признаку можно понять, какие огромные валы, застилая огни маяков, катит океан на берег Джерсея.

В годовщину смерти Виктора Гюго жители Джерсея кладут к подножию памятника несколько веток омелы. Чтобы положить омелу к ногам Гюго, выбирают самую красивую девушку на острове.

У омелы очень плотные овальные листочки оливкового цвета. Омела, по местным поверьям, приносит счастье живым и долгую память умершим.

Поверье сбывается. И после смерти мятежный дух Гюго бродит по Франции.

Это был неистовый, бурный, пламенный человек. Он преувеличивал все, что видел в жизни и о чем писал. Так было устроено его зрение. Жизнь для него складывалась из великих страстей, приподнято и торжественно выраженных.

Это был великий дирижер словесного оркестра, состоявшего из одних духовых инструментов. Ликующая медь труб, грохот литавр, пронзительный и заунывный свист флейт, глухие крики гобоев. Таков был его музыкальный мир.

Музыка его книг была такой же могучей, как гром океанских прибоев. От нее содрогалась земля. И содрогались слабые человеческие сердца.

Но он не жалел их. Он был неистов в своем стремлении заразить все человечество своим гневом, восторгом и своей шумной любовью.

Он был не только рыцарем свободы. Он был ее глашатаем, ее вестником, ее трубадуром. Он как бы кричал на перекрестках всех земных дорог: «К оружью, граждане!»

Он ворвался в классический и скучноватый век, как ураган, как вихрь, что несет потоки дождя, листья, тучи, лепестки цветов, пороховой дым и сорванные со шляп кокарды.

Этот ветер называется Романтикой.

Он просквозил застоявшийся воздух Европы и наполнил его дыханием неукротимой мечты.

Я был оглушен и очарован этим неистовым писателем еще в детстве, когда прочитал пять раз подряд «Отверженных». Я кончал этот роман и в этот же день принимался за него снова.

Я достал карту Парижа и отмечал на ней все те места, где происходило действие романа. Я как бы сам стал его участником и до сих пор в глубине души считаю Жана Вальжана, Козетту и Гавроша друзьями детства.

Париж с тех пор стал не только родиной героев Виктора Гюго, но и моей. Я полюбил его, еще никогда не видев. С годами это чувство все крепчало.

К Парижу Виктора Гюго присоединился Париж Бальзака, Мопассана, Дюма, Флобера, Золя, Жюля Валлеса, Анатоля Франса, Роллана, Доде, Париж Вийона и Рембо, Мериме и Стендаля, Барбюса и Беранже.

Я собирал стихи о Париже и выписывал их в отдельную тетрадь. К сожалению, я ее потерял, но многие строчки из этих стихов запомнил наизусть. Разные строчки — и пышные и простые.

Вы увидите сказочный город,
О котором молились века,
И душа позабудет укоры,
И усталая дрогнет рука.
В Люксембургском саду у фонтана
Вы пройдете по дальней меже
Под широкой листвою платанов,
Как Мими из романа Мюрже...

Гюго внушил многим из нас эту первую любовь к Парижу, и за это мы благодарны ему. Особенно те, кому не посчастливится воочию увидеть этот великий город.

МАЛЕНЬКАЯ РОЗА В ПЕТЛИЦЕ

ЮРИЙ ОЛЕША

У меня было много встреч с Юрием Карловичем Олешей. Каждая встреча оставалась в памяти надолго. Об одной из этих встреч я и расскажу сейчас.

Это было в самом начале войны, в июле 1941 года. Я приехал в Одессу с фронта, из-под Тирасполя, на военном грузовике, соскочил с него около вокзала и пошел в «Лондонскую гостиницу».

Я шел по безлюдной Пушкинской улице. Начинало светать. Лил дождь.

В первые дни войны одесские жители закрасили белые южные дома густо разведенной сажей. Считалось, что черные дома не так заметны с воздуха, как белые.

Сложное предприятие с окраской домов, носившее звонкое имя «камуфляж», оказалось совершенно бесполезным. Лето выдалось дождливое. После первого же дождя дома облезли и покрылись потеками грязи.

Я шел по Пушкинской улице и не узнавал давно знакомый и милый город. Это была Одесса и вместе с тем совсем не она. Будто я видел город одновременно и наяву и во сне.

Из водосточных труб хлестала какая-то зловещая вода. Ни единого звука не слышалось вокруг, кроме торопливого стука дождя по железным крышам. Пожалуй, только запах промокшей листвы акаций напоминал недавние солнечные летние дни.

В то время я был почему-то уверен, что война принесла с собой новый воздух. Она сорвала с земли старый воздушный слой — мягкий, теплый, временами туманный — и заменила его воздухом жестким, пустым, изменившим вид всех мест и предметов. Новый воздух был похож на жидкий нитроглицерин. Запах его напоминал гарь, смешанную с пронзительным лекарством.

Должно быть, от этого чужого воздуха, от вымерших улиц и дождевой сырости я чувствовал полное одиночество, будто приехал в совершенно обезлюдевший город.

Поэтому я с облегчением вздохнул, когда в сумрачном вестибюле «Лондонской гостиницы» увидел старого небритого человека в лиловых подтяжках и измятой рубахе.

Он сидел за конторкой и читал «Королеву Марго» Александра Дюма.

Желтый огарок неподвижно горел перед ним. Едва заметный синий угар завивался над пламенем, как кудель.

— Вы портье? — спросил я неуверенно.

— Предположим, что я.

— Можно у вас переночевать?

— Странный вопрос! — рассердился старик.— В гостинице нет ни души. Выбирайте любой номер. С альковом или без алькова. Если у вас широкая натура, то можете жить один в двух номерах. Или в трех. И при этом совершенно бесплатно. Гратис!

Портье сказал старомодное слово купцов и коммивояжеров,— слово «гратис», обозначавшее, что товар отпускается бесплатно.

— Гратис! — повторил старик.— Платить абсолютно некому. «Интурист» эвакуировали. Я здесь за сторожа.

— Неужели в гостинице нет ни души? — спросил я, прислушиваясь, как по коридорам позванивают битые стекла.

— Как нет?! — возмущенно воскликнул старик.— А Юрия Карловича Олешу вы не считаете?

Он здесь?

— Безусловно. Где же ему быть, скажите, как не в Одессе. Я знаю Юрия Карловича давно. Он вырос здесь и жил, когда Одесса крутилась цельные сутки, как карусель. Все скакало перед глазами: пароходы, Уточкины, шикарные женщины, фраеры, капитаны, налетчики, итальянские примадонны, знаменитые доктора и скрипачи. И я знаю, кто еще! Теперь на Одессу навалилась беда. Тогда Олеша был тут, но и теперь он тут. Он — чистый одессит, вы понимаете! Сейчас он сидит в номере один. После болезни. Каждый раз, когда начинается тревога, я иду к нему, чтобы уговорить его сойти в подвал. Но он ни за что не сходит, а с места в карьер начинает шутить. «Соломон Шаевич,— говорит

он,— поглядывайте, чтобы во время бомбежки фрицы не побили те фонари, которые я описал в сказке «Три толстяка». Что я могу ответить? И я тоже, знаете, шучу. Я говорю, что если бы моя воля, то я бы те фонари посеребрил, чтобы Одесса всегда помнила про эту книгу.

Я поднялся в комнату к Олеше. Он сидел, нахохлившись, за столом и что-то писал своим крупным и вольным почерком.

Мы расцеловались. Олеша был безнадежно небрит, страшно худ — он только что перенес дизентерию. Сухая желтизна покрывала его щеки. Но глаза смотрели, как всегда, проницательно, с доброй усмешкой. И, как всегда, были готовы тотчас загореться огнем выдумки, схваченного на лету вдохновения, блеском метких и неожиданных сопоставлений. Когда он начинал говорить, жизнь сразу становилась интересной и как бы сияющей. Чем? Огнем его юмора, поэзии и мгновенного и точного понимания человеческих сердец.

Мне всегда казалось (а может быть, это было и вправду так), что Юрий Карлович всю жизнь неслышно беседовал с гениями и детьми, с веселыми женщинами и добрыми чудаками.

Спорил он смело и стремительно. Свои возражения он вонзал в собеседника беспощадно и победоносно.

Вокруг Олеши существовала, то сгущаясь, то разрежаясь, особая жизнь, тщательно выбранная им из окружающей реальности и украшенная его крылатым воображением. Эта жизнь шумела вокруг него, как описанная им в «Зависти» ветка дерева, полная цветов и листьев.

В Олеше было что-то бетховенское, грозовое, мощное. Даже в его голосе. Его зоркие глаза видели вокруг много великолепных и утешительных вещей. Он писал о них коротко, точно, хорошо зная закон, что два слова могут быть неслыханно сильными, а четыре слова — уже вчетверо слабее.

В углу комнаты стояла самодельная палка. На ее набалдашнике висела клетчатая котомка.

— Вот,— сказал Олеша и кивнул на палку и котомку,— когда придет последний час, последняя минута, я уйду пешком на Николаев, а потом на Херсон. Чтобы дойти, нужно ни о чем не думать, а только идти, идти, идти, пока держат ноги... Кстати, достаньте мне какую-нибудь карту, хотя бы из школьного атласа. Без карты мне будет трудно идти.

Я слушал его и засыпал сидя. Надо было лечь хоть на час, отдохнуть. Олеша пошел вместе со мной по пустым коридорам гостиницы выбрать самую лучшую комнату.

Почти все окна были выбиты взрывной волной. По гостинице, вздувая пыльные бордовые портьеры, носились сквозняки. Вслед им трещали засохшими листьями пальмы.

Сон у меня уже прошел. Мы ходили по комнатам и привередничали, бракуя одну комнату за другой. Одну за то, что в ней пахнет земляничным мылом, другую — за разбитое трюмо, третью — за картину «Боярский пир», запыленную известкой от недавнего взрыва.

Наконец мы выбрали самую маленькую и темную комнату. Окна ее выходили на внутренний дворик. Там росли вековые платаны.

— Блиндаж!—сказал Олеша.—Самая безопасная комната в гостинице.

Я тотчас уснул, не раздеваясь. Проснулся я от далекого гула уходящих бомбардировщиков. Закатный свет золотился в чешуйчатом от старости стекле открытого окна.

Я вскочил и пошел к Олеше. В номере его не было. Я нашел его в узком и темном зале ресторана при гостинице.

То был исторический ресторан. Как принято говорить в газетных отчетах, «его стены видели» многих знаменитых людей. Недавно еще этот зал сверкал хрусталями, серебром, фаянсом и мельхиором. Твердые синеватые скатерти на столиках трещали, как пергамент. Люстры в виде виноградных кистей горели под вычурным лепным потолком. В серебряных ведерках хрустел лед, и меню было таинственным и роскошным.

Сейчас зал был пуст, темен, под потолком болезненно светилась единственная лампочка военного времени. Ее никогда не гасили. Два старых, как сама Одесса, официанта в помятых белых куртках, приятели Олеши, бродили по залу и подавали редким посетителям пустой чай и черную скользкую вермишель.

Олеша сидел за столом с печальным молчаливым негром — актером Одесской киностудии.

— Только что был налет,— сказал мне Олеша.— Вы его проспали. Ну, что вы скажете «за Одессу»?

Я ответил, что город изменился с начала войны, замер, и одесситы как будто потеряли свою традиционную живость.

— Че-пу-ха! — сказал Олеша раздельно и внятно.— Одесситы не сдаются и не умирают. Их остроумие замешано на бесстрашии. Их храбрость расцветает от острых слов. У вас предвзятое представление об одесситах. Такое же, как, скажем, и о Диогене.

Я, конечно, понимал, что я здесь ни при чем, что свое мнение о Диогене я никогда при Олеше не высказывал хотя бы просто потому, что у меня его не было. Диоген был поводом для какой-нибудь острой выдумки.

— Вот,— сказал Олеша,— все, в том числе и вы, считают Диогена главой циников. А какой он циник! Он робкий бестолковый старик. Жил, между прочим, в бочке. Тоже от бестолковости. А бочка все-таки какая-никакая, а жилплощадь. За нее надо платить. У Диогена, понятно, никогда не было ни копейки, ни драхмы. Хозяин бочки постоянно грозился выбросить старика на улицу за долги. Тогда Диоген шел к друзьям и начинал, краснея, бормотать: «Дайте денег на бочку». Боже мой, какой тогда поднимался визг и крик: «Деньги на бочку?», «Нахал!», «Рвач!», «Циник!»

Молчаливый негр неожиданно захохотал. Олеша метнул на него быстрый взгляд и сказал:

— Одесситы и сейчас, во время войны, такие же мужественные, веселые и смешливые, как и всегда. Пойдемте походим по городу, и я могу поручиться, что где-нибудь мы увидим старых, ни перед чем не сдающихся одесситов. А это тоже своего рода героизм.

Мы вышли из гостиницы. Прозрачный воздух розовел от заката. Бульвар шумел.

Над морем шли в сторону Очакова фашистские эскадрильи. Их веско и гулко обстреливали морские зенитчики.

Мы пошли на Греческий базар. Там, по словам Олеши, еще доживала последние часы чайная, где подавали настоящую молдавскую брынзу.

Но мы не дошли до Греческого базара. Нас настигла воздушная тревога. Милиционеры открыли ожесточенную пистолетную пальбу в воздух (очевидно, для тех, кто не слышал тревоги по радио). Кроме того, они загоняли всех прохожих во дворы.

Мы вошли в первый же двор. То был типичный греческий двор. Описать такой двор почти невозможно, его надо видеть или даже пожить в нем несколько дней, чтобы понять всю его прелесть.

Это — прямоугольные дворы, окруженные со всех сторон старыми двухэтажными домами. Единственный выход из этих дворов — ворота на улицу. Все комнаты и квартиры изо всех этажей греческих домов выходят на старые наружные деревянные террасы и на такие же старые лестницы.

Террасы тянутся вдоль всех стен дома, шатаются и скрипят. Они служат самым оживленным и любимым придатком к комнатам и квартирам.

На террасах жарят на керосинках скумбрию или камбалу, готовят знаменитую икру из «синеньких», купают детей, стирают, ссорятся (этаж с этажом), слушают патефоны и даже танцуют. Мы вошли в такой дом. Он был пуст.

Немецкие бомбардировщики пикировали с железным визгом и воем. Грохотали взрывы. По камням двора щелкали осколки зенитных снарядов.

Мы стали под навесом верхней террасы, чтобы укрыться от осколков. Рядом с нами сидел на ящике и спал старый дворник с рваным противогазом на плече. Он так и не проснулся, несмотря на грохот, свист и пыль. Ее вдувало во двор с улицы целыми залпами.

Прямо напротив нас мы увидели крыльцо с массивной дверью. Она вела, очевидно, в отдельную квартиру. К двери была привинчена медная дощечка с выгравированной надписью «Зубной врач И. С. Вайнтраубъ».

Твердый знак в конце фамилии свидетельствовал, что Вайнтрауб поселился здесь в незапамятные времена.

— Еще до революции! — заметил Олеша.— Это звучит сейчас, как «еще до рождества Христова» или «еще до всемирного потопа».

Рядом с крыльцом было венецианское окно с задернутыми занавесками. За ними просвечивали черные листья фикусов.

Завыл самолет. Загремели железными обвалами взрывы и залпы зениток.

Тогда мы увидели простое и ничем не примечательное зрелище. Я, между прочим, до сих пор не понимаю, почему мы с Олешей долго потом хохотали, вспоминая о нем.

Кто-то гневно отдернул занавески на венецианском окне, ударил ладонью в раму, и она с треском распахнулась. Створки окна отлетели к стене.

В окно высунулся старый, плохо выбритый еврей в спущенных под-

тяжках и мятой рубахе. Это был, очевидно, сам доктор Вайнтрауб. В руке он держал газету. Он, должно быть, спал и прикрывался этой газетой от мух. Взрывы и вой самолетов разбудили его.

Он высунулся в окно, упираясь ладонями в подоконник. Красными от раздражения склеротическими глазами он посмотрел на промахнувший низко над двором с сатанинским воем самолет и крикнул с негодованием:

— Что? Опьять? Босяки!!

Он яростно плюнул вслед самолету, с треском захлопнул окно и задернул занавеску.

Тогда дворник, не просыпавшийся даже от взрывов, сразу очнулся, зевнул и печально сказал:

— Самый отчаянный жилец на весь наш двор: Наполеон!

Налет окончился. Мы вышли на улицу. Уже стемнело.

— Видите,— сказал Олеша,— я был прав. Вот она — старая, ни перед кем не сдающаяся Одесса.

— Вам просто повезло,— ответил я.

Мы пошли в «Лондонскую гостиницу». Около Оперного театра лежала вырванная с корнями акация. Корни ее застряли на втором этаже старинного дома, зацепившись за решетку балкона.

Около подъезда стояла карета «скорой помощи». С подоконника на втором этаже медленно капала на тротуар очень яркая кровь.

Над морем полосами тянулся дым. На Пересыпи где-то горело. А может быть, там за лиманом всходила луна.

Фонари из «Трех толстяков» уцелели, и я обрадовался этому не меньше, чем Олеша.

Я мог бы еще многое рассказать об Олеше, но пока еще это трудно. Он умер недавно, и никак нельзя забыть прекрасное его лицо — лицо человека, спокойно задумавшегося перед нами. И нельзя забыть маленькую красную розу в петлице его старенького пиджака. Этот пиджак я видел на нем много лет.

МИХАИЛ ПРИШВИН

Если бы природа могла чувствовать благодарность к человеку за то, что он проник в ее жизнь и воспел ее, то прежде всего эта благодарность выпала бы на долю Михаила Пришвина.

Михаил Михайлович Пришвин — это было имя для города, а в тех местах, где Пришвин чувствовал себя дома — в избах объездчиков, в затянутых туманом речных поймах, под тучами и звездами полевого русского неба,— звали его просто «Михалычем». И, очевидно, огорчались, когда этот человек исчезал в городах, где только ласточки, гнездившиеся под железными крышами, напоминали ему о его «журавлиной родине».

Жизнь Пришвина — пример того, как человек отрешился от всего наносного, навязанного ему средой, и начал жить только «по велению сердца». В таком образе жизни заключается величайший здравый смысл. Человек, живущий «по сердцу», в согласии со своим внутренним миром,— всегда созидатель, обогатитель и художник.

Неизвестно, что сделал бы в своей жизни Пришвин, если бы он остался агрономом (это была его первая профессия). Во всяком случае, он вряд ли открыл бы миллионам людей русскую природу, как мир тончайшей и светлой поэзии. На это у него просто не хватило бы времени. Природа требует пристального глаза и непрерывной внутренней работы по созданию в душе писателя как бы «второго мира» этой природы, обогащающего нас мыслями и облагораживающего нас увиденной художником ее красотой.

Если внимательно прочесть все написанное Пришвиным, то остается убеждение, что он не успел рассказать нам и сотой доли того, что превосходно видел и знал.

Для таких мастеров, как Пришвин, для тех мастеров, что могут написать целую поэму о каждом слетающем с дерева осеннем листе, мало одной жизни. А этих листьев падает множество. Сколько же листьев упало, унося с собой невысказанные мысли писателя — те мысли, о каких Пришвин говорил, что они падают, как листья, без всяких усилий!

Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. Из этих же мест вышел и Бунин, точно так же как и Пришвин, умевший наделять природу окраской человеческих дум и настроений.

Чем это объяснить? Очевидно, тем, что природа восточной части Орловщины, природа вокруг Ельца,— очень русская, очень простая и небогатая. И вот в этом ее свойстве, даже в некоторой ее суровости, и лежит разгадка писательской зоркости Пришвина. На простоте яснее видна прелесть родной земли, острее делается взгляд и собраннее мысль.

Простота говорит сердцу сильнее и больше, чем ослепительный блеск,— богатство красок, бенгальский огонь закатов, кипение звездного неба и лакированная растительность тропиков, напоминающая мощные водопады, целые Ниагары листьев и цветов.

О Пришвине писать трудно. Сказанное им нужно выписывать для себя в заветные тетрадки, перечитывать, открывая все новые ценности в каждой строке, уходя в его книги, как мы уходим по едва заметным тропинкам в дремучий лес с его разговором ключей и благоуханием трав,— погружаясь в разнообразные мысли и состояния, свойственные этому чистому разумом и сердцем человеку.

Пришвин думал о себе как о поэте, «распятом на кресте прозы». Но он ошибался. Его проза гораздо сильнее наполнена соком поэзии, чем многие стихи и поэмы.

Книги Пришвина, говоря его же словами,— это «бесконечная радость постоянных открытий».

Несколько раз я слышал от людей, только что отложивших прочитанную пришвинскую книгу, одни и те же слова: «Это настоящее колдовство!»

Из дальнейшего разговора выяснялось, что под этими словами люди понимали трудно объяснимое, но явное, присущее только Пришвину, очарование.

В чем его тайна? В чем секрет этих книг? Слова «колдовство», «волшебность» относят обыкновенно к сказкам. Но ведь Пришвин не

сказочник. Он человек земли, «матери сырой земли», свидетель всего, что совершается вокруг него в мире.

Секрет пришвинского обаяния, его колдовства — как раз в этой его зоркости.

Это та зоркость, что в каждой малости открывает интересное, что под прискучившим покровом окружающих явлений видит глубокое содержание.

Все у Пришвина сверкает поэзией, как трава от росы. Самый ничтожный листок осины живет своей жизнью.

Я беру книгу Пришвина, открываю ее и читаю:

«Ночь прошла под большой чистой луной, и к утру лег первый мороз. Все было седое, но лужи не замерзали. Когда явилось солнце и разогрело, то деревья и травы обдались такой сильной росой, такими светящимися узорами глянули из темного леса ветки елей, что на эту отделку не хватило бы алмазов всей нашей земли».

В этом поистине алмазном кусочке все просто, точно и полно неумирающей поэзией.

Присмотритесь к словам в этом отрывке, и вы согласитесь с Горьким, когда он говорил, что Пришвин обладал «совершенным умением придавать гибким сочетанием простых слов почти физическую ощутимость всему».

Но этого мало. Язык Пришвина — язык народный. Он мог сложиться лишь в тесном общении русского человека с природой, в труде, в простоте и мудрости народного характера.

Несколько слов: «Ночь прошла под большой чистой луной» — совершенно ясно передают молчаливое и величавое течение ночи над спящей страной. И «лег мороз», «и деревья обдались сильной росой» — все это народное, живое, никак не подслушанное или взятое из записной книжки, а собственное, свое. Потому что Пришвин был человеком народа, а не только наблюдателем этого народа со стороны в качестве материала для своих писаний, как это, к сожалению, часто случается с писателями.

У ботаников есть термин — разнотравье. Он обычно относится к цветущим лугам. Разнотравье — это сплетение сотен разнообразных и веселых цветов, раскинувшихся сплошными озерами по поймам рек.

Прозу Пришвина можно с полным правом назвать разнотравьем русского языка. Слова у Пришвина цветут, сверкают. Они то шелестят, как травы, то бормочут, как родники, то пересвистываются, как птицы, то позванивают, как первый лед, то, наконец, ложатся в нашей памяти медлительным строем, подобно течению звезд.

Колдовство пришвинской прозы именно и объясняется его обширными познаниями. В любой области человеческого знания заключается бездна поэзии. Поэтам давно надо было бы это понять.

Насколько более величественной стала бы любимая поэтами тема звездного неба, если бы они хорошо знали астрономию.

Одно дело — ночь с безыменным и потому недостаточно выразительным небом, а совсем другое дело — та же ночь, когда поэт знает законы движения звездной сферы и когда в воде озер отражается не какое-то созвездие вообще, а блистательный Орион.

Примеров того, как даже самое незначительное знание открывает для нас новые области красоты, можно привести много. У каждого в этом отношении свой опыт.

Но сейчас мне вспоминается случай, когда одна лишь строчка Пришвина объяснила мне явление, которое до тех пор казалось мне случайным. И не только объяснила, но и наполнила его, я бы сказал, закономерной прелестью.

Я давно заметил в заливных лугах на Оке, что цветы местами как бы собраны в отдельные пышные куртины, а местами среди обычных трав вдруг тянется извилистая лента сплошных одинаковых цветов. Особенно хорошо это видно с маленького самолета «У-2», который прилетает в луга опылять от комарья мочажины и болотца.

Я годами наблюдал эти высокие и душистые ленты цветов, восхищался ими, но не знал, чем объяснить это явление Да, признаться, и не задумывался над этим.

И вот у Пришвина во «Временах года» я наконец нашел объяснение этому всего в одной строке, в крошечном отрывке под названием «Реки цветов».

«Там, где мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов»

Я прочел это и сразу понял, что полосы цветов вырастали именно там, где весной проносилась полая вода, оставляя после себя плодородный ил. Это была как бы цветочная карта весенних потоков.

Невдалеке от Москвы протекает река Дубна. Она обжита человеком в течение тысячелетий, хорошо известна, нанесена на карты. Она спокойно течет среди подмосковных рощ, заросших хмелем, среди синеющих взгорий и полей, мимо старинных городов и сел — Дмитрова, Вербилок, Талдома. Тысячи людей перебывали на этой реке. Были среди них писатели, художники и поэты. И никто не заметил в Дубне ничего особенного, достойного описания. Никто не прошел по ее берегам, как по неоткрытой стране.

Сделал это Пришвин. И скромная Дубна засверкала под его пером среди туманов и тлеющих закатов, как географическая находка, как открытие, как одна из интереснейших рек страны — со своей особой жизнью, растительностью, единственным, свойственным только ей ландшафтом, бытом приречных жителей и своей историей.

У нас были и есть ученые-поэты, такие, как Тимирязев, Ключевский, Кайгородов, Ферсман, Обручев, Мензбир, Арсеньев, как умерший в молодых годах ботаник Кожевников, написавший строго научную и увлекательную книгу о весне и осени в жизни растений.

И у нас были и есть писатели, сумевшие ввести науку в свои повести и романы, как необходимейшее качество прозы,— Мельников-Печерский, Аксаков, Горький, Пинегин и другие.

Но Пришвин занимает среди этих писателей особое место. Его обширные познания в области этнографии, фенологии, ботаники, зоологии, агрономии, метеорологии, истории, фольклора, орнитологии, географии, краеведения и других наук органически входят в его писательскую жизнь. Они не лежат мертвым грузом. Они живут в нем, непрерывно обогащаясь его опытом, его наблюдательностью, его счастливым свойством видеть научные явления в самом их поэтическом

выражении, на малых и больших, но одинаково неожиданных примерах.

Пришвин пишет о человеке, как бы чуть прищурившись от своей проницательности. Его не интересует наносное. Его занимает та мечта, что живет в сердце каждого, будь он лесоруб, сапожник, охотник или знаменитый ученый.

Вытащить из человека наружу его сокровенную мечту — вот в чем задача. А сделать это трудно. Ничто человек так глубоко не прячет, как мечту. Может быть, потому, что она не выносит самого малого осмеяния, даже шутки и, уж конечно, прикосновения равнодушных рук.

Только единомышленнику можно безнаказанно поверить мечту. Таким единомышленником безвестных наших мечтателей и был Пришвин. Вспомните хотя бы его рассказ «Башмаки» о сапожниках-«волчках» из Марьиной рощи, задумавших сделать самую изящную и легкую в мире обувь для женщины коммунистического общества.

После Пришвина осталось большое количество записей и дневников. В этих записях заключено много размышлений Михаила Михайловича о писательском мастерстве. В этом деле он был так же проницателен, как и в самом отношении к природе.

Мне кажется образцовым по верности мысли рассказ Пришвина о простоте прозы. Называется он «Сочинитель». В рассказе идет разговор писателя с мальчишкой-подпаском о литературе.

Вот этот разговор. Подпасок говорит Пришвину:

«— Если бы ты по правде писал, а то ведь, наверно, все выдумал?

— Не все,— ответил я,— но есть немного.

— Вот я бы так написал!

— Все бы по правде?

— Все. Вот взял бы и про ночь написал, как ночь на болоте проходит.

— Ну, как же?

— А вот как! Ночь. Куст большой, большой у бочага. Я сижу под кустом, а утята — свись, свись, свись.

Остановился. Я подумал — он ищет слов или дожидается образов. Вот очнулся, вынул жалейку и стал просверливать на ней седьмую дырочку.

— Ну, а дальше-то что? — спросил я.— Ты же по правде хотел ночь представить.

— А я же и представил,— ответил он,— все по правде. Куст большой, большой! Я сижу под ним, а утята всю ночь — свись, свись, свись

— Очень уж коротко.

— Что ты, коротко,— удивился подпасок,— всю-то ночь напролет: свись, свись, свись.

Соображая этот рассказ, я сказал:

— Как хорошо!

— Неуж плохо,— ответил он».

В своем писательском деле Пришвин был победителем. Невольно вспоминаются его слова: «...Если даже дикие болота одни были свидетелями твоей победы, то и они процветут необычайной красо-

той,— и весна останется тебе навсегда, одна весна, слава победе».

Да, весна пришвинской прозы останется навсегда в жизни наших людей и нашей советской литературы.

АЛЕКСАНДР ГРИН

Во времена моей юности все мы, гимназисты, зачитывались выпусками «Универсальной библиотеки». Это были маленькие книжечки в желтой бумажной обложке, напечатанные петитом.

Стоили они необыкновенно дешево. За десять копеек можно было прочесть «Тартарена» Доде или «Мистерии» Гамсуна, а за двадцать — «Давида Копперфильда» Диккенса или «Дон Кихота» Сервантеса.

Русских писателей «Универсальная библиотека» печатала только в виде исключения. Поэтому, когда я купил очередной выпуск со странным названием «Синий каскад Теллури» и увидел на обложке имя автора — Александр Грин, то, естественно, подумал, что Грин иностранец.

В книге было несколько рассказов. Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я ее купил, и прочел наугад:

«Нет более бестолкового и чудесного порта, чем Лисс. Разноязычный город определенно напоминает бродягу, решившего наконец погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены как попало среди неясных намеков на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и... узенькими тропинками. Все это завалено сплошной густой тропической зеленью, в веерообразной тени которой блестят детские, пламенные глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живописные трещины старых стен; где-нибудь на бугрообразном дворе — огромная лодка, чинимая босоногим, трубку покуривающим нелюдимом; пение вдали и его эхо в овраге; рынок на сваях, под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, яркое платье, аромат цветов и зелени, рождающий глухую тоску, как во сне — о влюбленности и свиданиях; гавань — грязная, как молодой трубочист; свитки парусов, их сон и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; ночью — магнетический пожар звезд, лодки со смеющимися голосами — вот Лисс».

Я читал, стоя в тени цветущего киевского каштана, читал не отрываясь, пока не прочел до конца эту причудливую, как сон, необыкновенную книгу.

Внезапно я ощутил тоску по блеску ветра, по солоноватому запаху морской воды, по Лиссу, по его жарким переулкам, опаляющим глазам женщин, шершавому желтому камню с остатками белых ракушек, розовому дыму облаков, стремительно взлетающему в синеву небосвода.

Нет! Это была, пожалуй, не тоска, а страстное желание увидеть все это воочию и беззаботно погрузиться в вольную приморскую жизнь.

И тут же я вспомнил, что какие-то отдельные черты этого блещущего мира я уже знал. Неизвестный писатель Грин только собрал их на одной странице. Но где я все это видел?

Я вспоминал недолго. Конечно, в Севастополе, в городе, как бы

поднявшемся из зеленых морских волн на ослепительное белое солнце и перерезанном полосами теней, синих, как небо. Вся веселая путаница Севастополя была здесь, на страницах Грина:

Я начал читать дальше и наткнулся на матросскую песенку:

Южный Крест там сияет вдали.
С первым ветром проснется компас.
Бог, храня корабли,
Да помилует нас!

Тогда я еще не знал, что Грин сам придумывал песенки для своих рассказов.

Люди пьянеют от вина, солнечного сверкания, от беззаботной радости, щедрости жизни, никогда не устающей открывать нам блеск и прохладу своих заманчивых уголков, наконец — от «чувства высокого».

Все это существовало в рассказах Грина. Они опьяняли, как душистый воздух, что сбивает нас с ног после чада душных городов.

Так я познакомился с Грином. Когда я узнал, что Грин русский и что зовут его Александр Степанович Гриневский, то не был этим особенно удивлен. Может быть, потому, что Грин был для меня к тому времени явным черноморцем, представителем в литературе того племени авторов, к которому принадлежали и Багрицкий, и Катаев, и многие другие писатели-черноморцы.

Удивился я, когда узнал биографию Грина, узнал его неслыханно тяжкую жизнь отщепенца и неприкаянного бродяги. Было непонятно, как этот замкнутый и избитый невзгодами человек пронес через мучительное существование великий дар мощного и чистого воображения, веру в человека и застенчивую улыбку. Недаром он написал о себе, что «всегда видел облачный пейзаж над дрянью и мусором невысоких построек».

Он с полным правом мог бы сказать о себе словами французского писателя Жюля Ренара: «Моя родина — там, где проплывают самые прекрасные облака».

Если бы Грин умер, оставив нам только одну свою поэму в прозе «Алые паруса», то и этого было бы довольно, чтобы поставить его в ряды замечательных писателей, тревожащих человеческое сердце призывом к совершенству.

Грин писал почти все свои вещи в оправдание мечты. Мы должны быть благодарны ему за это. Мы знаем, что будущее, к которому мы стремимся, родилось из непобедимого человеческого свойства — умения мечтать и любить.

ЭДУАРД БАГРИЦКИЙ

Можно заранее предупредить биографов Эдуарда Багрицкого, что им придется хлебнуть много горя или, как говорят, «узнать, почем фунт лиха», потому что биографию Багрицкого установить трудно.

Багрицкий столько рассказывал о себе удивительных небылиц, они в конце концов так крепко срослись с его жизнью, что порой невозможно

распознать, где здесь истина, а где легенда. Невозможно восстановить правду, «одну только правду и ничего, кроме правды».

К тому же я не уверен в том, стоит ли вообще заниматься этим неблагодарным трудом. Выдумки Багрицкого были характерной частью его биографии. Он сам искренне верил в них.

Без них нельзя представить себе этого поэта с серыми смеющимися глазами и задыхающимся, но певучим голосом.

На побережье Эгейского моря живет живописное племя «левантийцев» — веселых и деятельных людей. Это племя объединяет представителей разных народов — греков и турок, арабов и евреев, сирийцев и итальянцев.

И у нас в Советском Союзе есть свои «левантийцы». Это «черноморцы» — тоже люди разных народов, но одинаково жизнерадостные, насмешливые, смелые и влюбленные без памяти в свое Черное море, в сухое солнце, портовую жизнь, в «Одессу-маму», в абрикосы и кавуны, в пестрое кипение береговой жизни.

К этому племени принадлежал Эдуард Багрицкий.

Он напоминал то ленивого матроса с херсонского дубка, то одесского «пацана»-птицелова, то забубенного бойца из отряда Котовского, то Тиля Уленшпигеля.

Из этих как будто несовместимых черт, если прибавить к ним самозабвенную любовь к поэзии и огромную поэтическую эрудицию, слагался цельный и обаятельный характер этого человека.

Впервые я встретился с Багрицким на волноломе в одесском порту. Он только что написал стихи об арбузе — настоящую поэму, удивительную по сочности ощущений и слов, как бы забрызганную штормовой черноморской волной.

Мы ловили на длинные шнуры-самоловы, закинутые в море, бычков и барабульку. Мимо нас проходили на заплатанных парусах черные дубки из Очакова с горами полосатых арбузов. Задувал свежак, и дубки качались и до бортов садились в воду, разбрасывая вокруг себя пену.

Багрицкий облизал соленые губы и, задыхаясь, начал читать нараспев «Арбуз».

Девушка находит на берегу выброшенный прибоем арбуз с нарисованным сердцем — очевидно, с погибшей шаланды.

И некому здесь надоумить ее,
Что в руки взяла она сердце мое!..

Он охотно читал на память стихи любого поэта. Память у него была феноменальная. В его чтении даже в хорошо знакомых стихах неожиданно появлялась новая певучая мелодия. Ни до Багрицкого, ни после него я не слыхал больше такого чтения.

Все звуковые качества каждого слова и строфы поднимались до своего полного, томительного и щемящего выражения. Был ли то Бернс с его песней о Джоне Ячменное Зерно, блоковские «Шаги командора» или пушкинское «Для берегов отчизны дальной...», — что бы ни читал Багрицкий, его нельзя было слушать без сжимающего горло волнения

С раннего утра мы ничего не ели. И потому прямо из порта пошли на Греческий базар. Там была чайная, где выдавали к чаю сахарин, ломтик черного хлеба и брынзу.

В Одессе в то время жил старый нищий. Он наводил страх на весь город тем, что просил милостыню не так, как это обыкновенно делается. Он не унижался, не протягивал дрожащую руку и не пел гнусаво: «Господа милосердные! Обратите внимание на мое калецтво!»

Нет! Высокий, седобородый, с красными склеротическими глазами, он ходил только по чайным. Еще не переступив порога, он начинал посылать хриплым, громовым голосом проклятья на головы посетителей.

Самый жестокий библейский пророк Иеремия, прославленный как непревзойденный мастер проклятий, мог бы, как говорят одесситы, «сойти на нет» перед этим нищим.

— Где ваша совесть, люди вы или не люди?! — кричал этот старик и тут же сам отвечал на свой риторический вопрос: — Какие же вы люди, когда сидите и кушаете хлеб с жирной брынзой без всякого внимания, а старый человек ходит с утра голодный и пустой, как бочонок! Узнала бы ваша мамаша, на что вы стали похожи, так, может, она бы радовалась, что не дожила видеть такое нахальство. А вы чего отворачиваетесь от меня, товарищ? Вы же не глухой? Лучше успокойте свою черную совесть и помогите старому голодному человеку!

Все подавали этому нищему. Никто не мог вынести его натиска. Говорили, что на собранные деньги старик крупно спекулировал солью.

В чайной нам подали чай и чудесную острую брынзу, завернутую в мокрую полотняную тряпочку. От этой брынзы болели десны.

В это время вошел нищий и уже с порога закричал свои проклятья.

— Ага! — зловеще сказал Багрицкий.— Он, кажется, попался. Пусть он только подойдет к нам. Пусть он только попробует подойти! Пусть он только осмелится подойти!

— Что же тогда будет? — спросил я.

— Худо ему будет,— ответил Багрицкий.— Ой, худо! Только бы он подошел к нашему столику.

Нищий надвигался неумолимо. Наконец он остановился около нас, несколько секунд смотрел на брынзу бешеными глазами, и что-то клокотало в его горле,— может быть, это была настолько сильная ярость, что старик задыхался и не мог ее высказать. Но все-таки он прокашлялся и закричал:

— Когда наконец у этих молодых людей проснется совесть! Это же надо посмотреть со стороны, как они торопятся скушать брынзу, чтобы не отдать хоть четверть ее,— я не говорю половину,— несчастному старику.

Багрицкий встал, прижал руку к сердцу и тихо и проникновенно начал говорить, не спуская глаз со склеротического старика,— говорить с дрожью в голосе, со слезой, с трагическим надрывом:

Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат,
Кто б ты ни был, не падай душой...

Нищий осекся. Он уставился на Багрицкого. Глаза его побелели. Потом он начал медленно отступать и при словах: «Верь, настанет пора и погибнет Ваал» — повернулся, опрокинул стул и побежал на согнутых ногах к выходу из чайной.

— Вот видите,— сказал Багрицкий серьезно,— даже одесские нищие не выдерживают Надсона!

Вся чайная гремела от хохота.

Целыми днями Багрицкий пропадал в степи за Сухим лиманом и ловил там силками птиц.

В беленной известкой комнате Багрицкого на Молдаванке висели десятки клеток с облезлыми птицами. Он ими очень хвастался, особенно какими-то необыкновенными джурбаями. Это были невзрачные степные жаворонки, такие же растрепанные, как и все остальные птицы.

Из клеток все время сыпалась на голову гостям и хозяину шелуха от расклеванных семян.

На корм для этих птиц Багрицкий тратил последние деньги.

Одесские газеты платили ему гроши: по пять — десять рублей за великолепные стихи. Спустя несколько лет эти стихи знала и заучивала наизусть вся молодежь.

Багрицкий, очевидно, считал, что это справедливо. Он не знал себе настоящей цены и в практических делах был робок. Когда он в первый раз приехал в Москву, то никогда не ходил в издательства и редакции один, а брал с собой «для храбрости» кого-нибудь из друзей. Переговоры вел главным образом друг, а Багрицкий помалкивал и улыбался.

В Москве он остановился у меня в подвале на Обыденском переулке. За целый месяц он вышел в город только два раза, а все остальное время просидел на тахте, поджав по-турецки ноги, задыхаясь от астматического кашля.

Он был обложен книгами, рукописями чужих стихов и пустыми коробками от папирос. На них от записывал свои стихи. Иногда он терял их, но огорчался этим очень недолго.

Вскоре он совсем переехал в Москву и вместо птиц завел теперь огромные аквариумы с рыбами. Его комната была похожа на подводный мир. Он мог часами сидеть на диване, думать и смотреть на разноцветных рыб.

Примерно такой же загадочный подводный мир был виден с одесского волнолома — так же качались стебли серебряной подводной травы, похожие на кораллы, и медленно проплывали голубые медузы, толчками разрывая морскую воду.

Багрицкий умер рано, еще не перебродив, не готовый к тому, чтобы взять, как он говорил, еще несколько трудных вершин поэзии.

За его гробом шел, звонко цокая подковами по гранитной мостовой, кавалерийский эскадрон. И вспоминалась «Дума про Опанаса», конь Котовского, что «сверкает белым рафинадом», широкая степная поэзия, которая ходила вместе с Багрицким, держась за его руку, по пыльным горячим шляхам, поэзия — наследница «Слова о полку Игореве» и Тараса Шевченко, крепкая, как запах чабреца, загорелая, как приморская девчонка, веселая, как свежий ветер левант над родным Черноморьем.

ИСКУССТВО ВИДЕТЬ МИР

Живопись учит смотреть и видеть (это вещи разные и редко совпадающие). Благодаря этому живопись сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым отличаются дети.

Александр Блок

Человек останавливается, пораженный, перед такими вещами, какие не могут играть никакой роли в его жизни: перед отражениями, которые нельзя схватить, перед отвесными скалами, которые нельзя засеять, перед удивительным цветом неба.

Джон Рескин

Есть неоспоримые истины, но они часто лежат втуне, никак не отзываясь на человеческой деятельности, из-за нашей лени или невежества.

Одна из таких неоспоримых истин относится к писательскому мастерству, в особенности к работе прозаиков Она заключается в том, что знание всех смежных областей искусства — поэзии, живописи, архитектуры, скульптуры и музыки — необыкновенно обогащает внутренний мир прозаика и придает особую выразительность его прозе. Последняя наполняется светом и красками живописи, емкостью и свежестью слов, свойственными поэзии, соразмерностью архитектуры, выпуклостью и ясностью линий скульптуры и ритмом и мелодичностью музыки.

Все это добавочные богатства прозы, как бы ее дополнительные цвета.

Я не верю писателям, не любящим поэзию и живопись. В лучшем случае, это люди с несколько ленивым и высокомерным умом, в худшем — невежды.

Писатель не может пренебрегать ничем, что расширяет его видение мира, конечно, если он мастер, а не ремесленник, если он создатель ценностей, а не обыватель, настойчиво высасывающий благополучие из жизни, как жуют американскую жевательную резинку.

Часто бывает, что после прочитанного рассказа, повести или даже длинного романа ничего не остается в памяти, кроме сутолоки серых людей. Мучительно стараешься увидеть этих людей, но не видишь, потому что автор не наделил их ни одной живой чертой.

И действие этих рассказов, повестей и романов происходит среди какого-то студенистого дня, лишенного красок и света, среди вещей только названных, но не увиденных автором и потому нам, читателям, не показанных.

Несмотря на современность темы, беспомощностью веет от этих вещей, написанных зачастую с фальшивой бодростью. Ею пытаются подменить радость, в особенности радость труда.

Причина этой тоскливости не только в эмоциональной глухоте и неграмотности автора, но в его вялом, рыбьем глазе.

Такие повести и романы хочется разбить, как наглухо заклеенное окно в душной и пыльной комнате, чтобы со звоном полетели осколки и сразу же хлынули снаружи ветер, шум дождя, крики детей, гудки паровозов, блеск мокрых мостовых — ворвалась бы вся жизнь с ее беспорядочной на первый взгляд и прекрасной пестротой света, красок и шумов.

У нас немало книг, написанных как будто слепыми. А предназначены они для зрячих, и в этом заключается вся нелепость появления таких книг.

Для того чтобы прозреть, нужно не только смотреть по сторонам. Нужно научиться видеть. Хорошо может видеть людей и землю только тот, кто их любит. Стертость и бесцветность прозы часто бывают следствием холодной крови писателя, грозным признаком его омертвения. Но иногда это простое неумение, свидетельствующее о недостатке культуры. Тогда это дело, как говорится, поправимое.

Как видеть, как воспринимать свет и краски — этому могут научить нас художники. Они видят лучше нас. И они умеют помнить увиденное.

Когда я был еще юным писателем, знакомый художник сказал мне:

— Вы, мой милый, еще не совсем ясно видите. Несколько мутновато. И грубо. Судя по вашим рассказам, вы замечаете только основные цвета и сильно окрашенные поверхности, а переходы и оттенки сливаются у вас в нечто однообразное.

— Что же я могу поделать! — ответил я, оправдываясь.— Такой уж глаз.

— Ерунда! Хороший глаз — дело наживное. Поработайте, не ленитесь, над зрением. Держите его, как говорится, в струне. Попробуйте месяц или два смотреть на все с мыслью, что вам это обязательно надо написать красками. В трамвае, в автобусе, всюду смотрите на людей именно так. И через два-три дня вы убедитесь, что до этого вы не видели на лицах и десятой доли того, что заметили теперь. А через два месяца вы научитесь видеть, и вам уже не надо будет понуждать себя к этому.

Я послушался художника, и действительно — и люди и вещи оказались гораздо интереснее, чем раньше, когда я смотрел на них бегло и торопливо.

И меня охва́тило сожаление о невозвратимом и глупо потраченном времени. Сколько бы я мог увидеть за прошлые годы превосходных вещей! Сколько интересного ушло, и его уже не воскресишь!

Это был первый урок, который я получил от художника. Второй урок был еще нагляднее.

Однажды осенью я ехал из Москвы в Ленинград, но не через Калинин и Бологое, а с Савеловского вокзала — через Калязин и Хвойную.

Многие москвичи и ленинградцы даже не подозревают о существовании этого пути. Он хотя и дальше, но интереснее, чем привычный путь на Бологое. Интереснее тем, что дорога проходит по пустынным и лесистым краям.

Моим попутчиком оказался маленький, мешковато одетый человек с узенькими, но очень живыми глазами. Человек этот вез большой ящик с масляными красками и рулоны загрунтованного холста. Нетрудно было догадаться, что это художник.

Мы разговорились. Мой попутчик рассказал, что едет под город Тихвин, где у него приятель-лесник, будет жить у него на кордоне и писать осень.

— А почему же вы забираетесь так далеко, под Тихвин? — спросил я.

— Там у меня облюбовано одно место,— доверительно ответил художник.— Всем местам место! Такого второго нигде не найдете. Чистый осиновый лес! Кое-где только попадаются редкие ели. Осина дает осенью такой нарядный убор, как ни одно дерево. Лист у нее чистой раскраски. Пурпурный, лимонный, лиловый и даже черный с золотым крапом. Под солнцем получается великолепный костер. Поработаю там до зимы, а зимой подамся на берег Финского залива, за Ленинград. Там, вы знаете, самый лучший иней в России. Нигде я такого инея не видел

Я сказал, конечно шутя, что при таких познаниях мой спутник мог бы составить ценный путеводитель для художников, где что писать.

— А что же вы думаете! — серьезно ответил художник.— Составить нетрудно. Но только нет смысла. Все набьются в одно место, тогда как сейчас каждый ищет себе красоту в отдельности. А это не в пример лучше.

— Почему?

— Разнообразнее раскрывается страна. В русской земле столько прелести, что всем художникам хватит на тысячи лет Но знаете,— добавил он с тревогой,— что-то человек начал очень уж затаптывать и разорять землю. А ведь красота земли — вещь священная, великая вещь в нашей социальной жизни. Это одна из конечных наших целей. Не знаю, как вы, но я в этом убежден. Без понимания этого какой же может быть передовой человек!

Днем я уснул, но вскоре мой сосед разбудил меня.

— Вы уж не сердитесь на меня,— говорил он смущенно,— но лучше встаньте. Разворачивается удивительная картина — гроза в сентябре. Поглядите!

Я взглянул за окно. С юга подымалась тяжелая и высокая, в полнеба, туча. Ее передергивало вспышками молний:

— Мать честная! — воскликнул художник.— Какая уйма красок! Такое освещение никак не напишешь, будь ты хоть сам Левитан.

— Какое освещение? — спросил я растерянно.

— Господи! — с отчаянием сказал художник.— Куда же вы смотрите? Вон видите — там лес совершенно темный, глухой; это на нем легла тень от тучи. А вон подальше, на нем бледные желтые и зеленоватые пятна: это от приглушенного солнечного света из-за облаков.

А вдали он весь в солнце. Видите? Весь как отлитый из красного золота. И весь сквозной. Точно золотая узорчатая стена. Или вроде как протянули по горизонту плат, что вышили мастерицы в наших тихвинских золотильнях. Теперь смотрите ближе, на полосу елей. Видите бронзовый блеск на хвое? Это от золотой стены леса. Она обдает ели своим светом. Отраженный свет. Писать его трудно — легко загрубить. А вон, видите, там только слабое сияние, я бы сказал — такая нежность освещения, что нужна, конечно, очень спокойная и верная рука, чтобы его передать.

Художник посмотрел на меня и засмеялся:

— Какая сила все-таки у света, отраженного от осенних лесов! Все купе как в зареве. И, в частности, ваше лицо. Вот бы так вас написать. Но, к сожалению, все это мимолетно.

— В этом и дело художников,— сказал я,— чтобы останавливать на столетия мимолетные вещи.

— Стараемся,— ответил художник.— Если это мимолетное не застанет нас врасплох, как сейчас. В сущности говоря, художник никогда не должен расставаться с красками, холстом и кистью. Вам лучше, писателям. Вы эти краски носите в памяти. Смотрите, как все это быстро меняется. Ишь как лес пышет то светом, то темнотой!

Впереди грозовой тучи бежали на нас рваные облака и своим стремительным движением действительно перемешали на земле все краски. Путаница багреца, червонного и белого золота, малахита, пурпура и синей тьмы началась в лесных далях.

Изредка солнечный луч, прорвавшись сквозь тучи, падал на отдельные березы, и они вспыхивали одна за другой, как золотые факелы, но тотчас гасли. Предгрозовой ветер налетал порывами и усиливал эту сумятицу красок.

— А небо, небо какое! — закричал художник.— Смотрите! Что оно только творит!

Грозовая туча курилась пепельным дымом и быстро опускалась к земле. Вся она была однообразного аспидного цвета. Но каждая вспышка молнии открывала в ней желтоватые зловещие смерчи, синие пещеры и извилистые трещины, освещенные изнутри розовым мутным огнем.

Пронзительный блеск молний сменялся в глубине тучи полыханием медного пламени. А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы проливного дождя.

— Каково! — кричал возбужденный художник.— Такую чертовщину не часто увидишь!

Мы переходили с ним от окна в купе к окну в коридоре. Занавески трепетали от ветра и усиливали мелькание света.

Хлынул ливень. Проводник торопливо поднял окна. Косые шнуры дождя заструились по стеклам. Свет померк, и только страшно далеко, у самого горизонта, сквозь пелену дождя еще светилась последняя позолоченная полоска леса.

— Вы что-нибудь запомнили? — спросил художник.

— Кое-что.

— И я только кое-что,— с огорчением сказал он.— Вот пройдет

дождь, тогда краски будут крепче. Понимаете, солнце заиграет на мокрой листве и стволах. Между прочим, в пасмурный день перед дождем приглядитесь к свету. До дождя он один, во время дождя — другой, а после дождя — совершенно особый. Потому что мокрые листья придают воздуху слабый блеск. Серый, мягкий и теплый. Вообще изучать краски и свет, милый вы мой,— наслаждение. Я свою долю художника ни на что не променяю.

Художник сошел ночью на маленькой станции. Я вышел на платформу попрощаться с ним. Светил керосиновый фонарь. Впереди тяжело дышал паровоз.

Я позавидовал художнику и вдруг рассердился на всякие дела, из-за которых должен был ехать дальше и не мог остаться хотя бы на несколько дней в северной стороне. Здесь каждая ветка вереска могла вызвать столько мыслей, что их хватило бы на несколько поэм в прозе.

Сейчас особенно обидным показалось мне то обстоятельство, что на протяжении жизни я, как и многие, не позволял себе жить по велению своего сердца, а был занят только неотложными и обязательными делами.

Краски и свет в природе надо не столько наблюдать, сколько ими попросту жить. Для искусства годится только тот материал, который завоевал прочное место в сердце.

Живопись важна для прозаика не только тем, что помогает ему увидеть и полюбить краски и свет. Живопись важна еще и тем, что художник часто замечает то, чего мы совсем не видим. Только после его картин мы тоже начинаем видеть это и удивляться, что не замечали этого раньше.

Французский художник Моне приехал в Лондон и написал Вестминстерское аббатство. Работал Моне в обыкновенный лондонский туманный день. На картине Моне готические очертания аббатства едва выступают из тумана. Написана картина виртуозно.

Когда картина была выставлена, она произвела смятение среди лондонцев. Они были поражены, что туман у Моне был окрашен в багровый цвет, тогда как всем известно, что цвет тумана серый.

Дерзость Моне вызвала сначала возмущение. Но возмущавшиеся, выйдя на лондонские улицы, вгляделись в туман и впервые заметили, что он действительно багровый.

Тотчас начали искать этому объяснение. Согласились на том, что красный оттенок тумана зависит от обилия дыма. Кроме того, этот цвет туману сообщают красные кирпичные лондонские дома.

Но как бы там ни было, Моне победил. После его картины все начали видеть лондонский туман таким, каким его увидел художник. Моне даже прозвали «создателем лондонского тумана».

Если обращаться к примерам из собственной жизни, то я впервые увидел все разнообразие красок русского ненастья после картины Левитана «Над вечным покоем».

До тех пор ненастье было окрашено в моих глазах в один унылый цвет. Вся тоскливость ненастья и вызывалась, как я думал, именно тем, что оно съедало краски и заволакивало землю мутью.

Но Левитан увидел в этом унынии некий оттенок величия, даже торжественности, и нашел в нем много чистых красок. С тех пор ненастье перестало угнетать меня. Наоборот, я даже полюбил его за чистоту воздуха, холод, когда горят щеки, оловянную рябь рек, тяжелое движение туч. Наконец, за то, что во время ненастья начинаешь ценить самые простые земные блага — теплую избу, огонь в русской печи, писк самовара, сухую солому на полу, застланную грубым рядном для ночлега, усыпительный шум дождя по крыше и сладкую дремоту. Почти каждый художник, к какому бы времени и к какой бы школе он ни принадлежал, открывает нам новые черты действительности.

Мне посчастливилось несколько раз побывать в Дрезденской галерее. Помимо «Сикстинской мадонны» Рафаэля, там есть много картин старых мастеров, перед которыми просто опасно останавливаться. Они не отпускают от себя. На них можно смотреть часами, может быть, сутками, и чем дольше смотришь, тем шире нарастает непонятное душевное волнение. Оно доходит до той черты, когда человек уже с трудом удерживает слезы.

В чем причина этих непроливающихся слез? В том, что в этих полотнах — совершенство духа и власть гения, заставляющие нас стремиться к чистоте, силе и благородству собственных помыслов.

При созерцании прекрасного возникает тревога, которая предшествует нашему внутреннему очищению. Будто вся свежесть дождей, ветров, дыхания цветущей земли, полуночного неба и слез, пролитых любовью, проникает в наше благодарное сердце и навсегда завладевает им. Импрессионисты как бы залили свои полотна солнечным светом. Они писали под открытым небом и иногда, может быть, нарочно усиливали краски. Это привело к тому, что земля на их картинах предстала в каком-то ликующем освещении.

Земля стала праздничной. В этом не было никакого греха, как нет его ни в чем, что прибавляет человеку хотя бы немного радости.

Импрессионизм принадлежит нам, как и все остальное богатое наследие прошлого. Отказываться от него — значит сознательно толкать себя к ограниченности. Ведь не отказываемся мы от «Сикстинской мадонны» Рафаэля, хотя эта гениальная картина написана на религиозную тему. Чем же опасны для нас новатор Пикассо, импрессионисты Матисс, Ван-Гог или Гоген? Тот, который, кстати говоря, вступил в борьбу с колониальными французскими властями за независимость таитян? Что опасного или дурного в творчестве этих художников? В каких завистливых или приспособленческих мозгах может появиться мысль о необходимости вычеркнуть из человеческой и, в частности, нашей русской культуры плеяду блистательных художников?

После встречи в поезде с художником я приехал в Ленинград. Снова открылись передо мной торжественные ансамбли его площадей и пропорциональных зданий.

Я подолгу всматривался в них, стараясь разгадать тайну их архитектуры. Она заключалась в том, что эти здания производили впечатление величия, на самом же деле были не велики. Одна из самых замечательных построек — здание Главного штаба, вытянутое плавной дугой против Зимнего дворца, по своей высоте не превышает четырех-

этажного дома. А между тем оно гораздо величественнее любого высотного дома Москвы.

Разгадка была проста. Величественность зданий зависела от их соразмерности, гармонических пропорций и от небольшого числа украшений — оконных наличников, картушей и барельефов.

Всматриваясь в эти здания, понимаешь, что хороший вкус — это прежде всего чувство меры. Я уверен, что эти же законы соразмерности частей, простоты, при которой видна и доставляет истинное наслаждение каждая линия,— все это имеет некоторое отношение и к прозе.

Писатель, полюбивший совершенство классических архитектурных форм, не допустит в своей прозе тяжеловесной и неуклюжей композиции. Он будет добиваться соразмерности частей и строгости словесного рисунка. Он будет избегать обилия разжижающих прозу украшений — так называемого орнаментального стиля.

Композиция прозаической вещи должна быть доведена до такого состояния, чтобы ничего больше нельзя было выбросить и ничего прибавить, не нарушая смысл повествования и закономерное течение событий.

Как всегда в Ленинграде, больше всего времени я провел в Русском музее и Эрмитаже.

Легкий сумрак эрмитажных залов, тронутый темной позолотой, казался мне священным. Я входил в Эрмитаж, как в хранилище человеческого гения. В Эрмитаже я впервые, еще юношей, почувствовал счастье быть человеком. И понял, как человек может быть велик и хорош.

Первое время я терялся среди пышного шествия художников. У меня кружилась голова от обилия и густоты красок, и, чтобы отдохнуть, я уходил в зал, где была выставлена скульптура.

Там я сидел очень долго. И чем больше я смотрел на статуи безвестных эллинских ваятелей или на едва заметно улыбавшихся женщин Кановы, тем яснее понимал, что вся эта скульптура — зов к прекрасному в самом себе, что она предвестница чистейшей утренней зари человечества. Тогда поэзия будет властвовать над сердцами и социальный строй — тот строй, к которому мы идем через годы труда, забот и душевного напряжения,— будет основан на красоте справедливости, красоте ума, сердца, человеческих отношений и человеческого тела.

Наша дорога — в золотой век. Он наступит. Досадно, конечно, что мы не доживем до него. Но мы должны быть счастливы тем, что ветер этого века уже шумит вокруг нас и заставляет сильнее биться наши сердца. Недаром Гейне приходил в Лувр, часами просиживал около статуи Венеры Милосской и плакал. О чем? О поруганном совершенстве человека. О том, что путь к совершенству тяжел и далек и ему, Гейне, отдавшему людям яд и блеск своего ума, уж конечно, не дойти до той обетованной земли, куда его всю жизнь звало беспокойное сердце.

В этом — сила скульптуры, та сила, без внутреннего огня которой немыслимо передовое искусство нашей страны. А тем самым немыслима и полновесная проза.

Прежде чем перейти к влиянию поэзии на прозу, я хочу сказать несколько слов о музыке, тем более что музыка и поэзия подчас неразделимы.

Этот короткий разговор о музыке придется ограничить только тем, что мы называем ритмом и музыкальностью прозы.

У подлинной прозы всегда есть свой ритм.

Прежде всего ритм прозы требует такой расстановки слов, чтобы фраза воспринималась читателем без напряжения, вся сразу. Об этом говорил Чехов Горькому, когда писал ему, что в сознании читателя «беллетристика должна укладываться сразу, в секунду».

Читатель не должен останавливаться над книгой, чтобы восстановить правильное движение слов, соответствующее характеру того или иного куска прозы. Вообще писатель должен держать читателя в постоянном напряжении, вести его за собой и не допускать в своем тексте неясных или неритмичных мест, чтобы читатель не рисковал споткнуться на этих местах и не вышел тем самым из-под власти писателя.

В этом напряжении, в овладении читателем, в том, чтобы заставить его думать и чувствовать одинаково с автором, и заключается задача писателя и действенность прозы.

Я думаю, что ритмичность прозы никогда не достигается искусственным путем. Ритм прозы зависит от таланта, от чувства языка, от хорошего «писательского слуха». Этот хороший слух в какой-то мере соприкасается со слухом музыкальным.

Но больше всего обогащает язык прозаика знание поэзии.

Поэзия обладает одним удивительным свойством. Она возвращает слову его первоначальную, девственную свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» нами слова, начисто потерявшие для нас свои образные качества, живущие только как словесная скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, благоухать! Чем это объяснить, я не знаю. Предполагаю, что слово оживает в двух случаях.

Во-первых, когда ему возвращают его фонетическую (звуковую) силу. А сделать это в певучей поэзии значительно легче, чем в прозе. Поэтому и в песне и в романсе слова действуют на нас сильнее, чем в обычной речи.

Во-вторых, даже стертое слово, поставленное в стихах в мелодический музыкальный ряд, как бы насыщается общей мелодией стиха и начинает звучать в гармонии со всеми остальными словами.

И, наконец, поэзия богата аллитерациями. Это одно из ее драгоценных качеств. На аллитерацию имеет право и проза.

Но главное не в этом.

Главное в том, что проза, когда она достигает совершенств, является, по существу, подлинной поэзией.

Чехов считал, что лермонтовская «Тамань» и пушкинская «Капитанская дочка» доказывают родство прозы с сочным русским стихом.

«Где граница между прозой и поэзией,— писал Лев Толстой,— я никогда не пойму». С редкой для него горячностью он спрашивает в своем «Дневнике молодости»:

«Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?

В мечте есть сторона, которая лучше действительности; в действи-

тельности есть сторона, которая лучше мечты. Полное счастье было бы соединение того и другого».

В этих словах, хотя и сказанных наспех, заключена верная мысль: самым высоким, покоряющим явлением в литературе, подлинным счастьем может быть только органическое слияние поэзии и прозы, или, точнее, проза, наполненная сущностью поэзии, ее животворными соками, прозрачнейшим воздухом, ее пленительной властью.

В этом случае я не боюсь выражения «пленительный» (иными словами — «берущий в плен»). Потому что поэзия берет в плен, пленяет и незаметным образом, но с непреодолимой силой, возвышает человека и приближает его к тому состоянию, когда он действительно становится украшением земли, или, как простодушно, но искренне говорили наши предки, «венцом творения».

Прав отчасти был Владимир Одоевский, когда сказал, что «поэзия есть предвестник того состояния человечества, когда оно перестанет достигать и начнет пользоваться достигнутым».

В КУЗОВЕ ГРУЗОВОЙ МАШИНЫ

В июле 1941 года я ехал на военной грузовой машине из Рыбницы-на-Днестре в Тирасполь. Я сидел в кабине с молчаливым водителем.

Бурая пыль, раскаленная солнцем, взрывалась клубами под колесами машины. Все вокруг — хаты, подсолнухи, акации и сухая трава — было покрыто этой шершавой пылью.

Солнце дымилось в обесцвеченном небе. Вода в алюминиевой фляге нагрелась и пахла резиной. За Днестром гремела канонада.

В кузове ехали несколько молодых лейтенантов. Иногда они начинали стучать кулаками по крыше кабины и кричали: «Воздух!» Водитель останавливал машину, мы выскакивали, отбегали подальше от дороги и ложились. Тотчас со злорадным воем на дорогу пикировали черные немецкие «мессеры». Иногда они замечали нас и били из пулеметов. Но, к счастью, никто не пострадал. Пули подымали смерчи пыли. «Мессеры» исчезали, и оставался только жар во всем теле от раскаленной земли, гул в голове и отчаянная жажда.

После одного из таких налетов водитель неожиданно спросил меня:

— Вы о чем думаете, когда лежите под пулями? Вспоминаете?

— Вспоминаю,— ответил я.

— И я вспоминаю,— сказал, помолчав, водитель.— Леса наши вспоминаю костромские. Останусь жив, вернусь на родину — буду проситься в лесники. Возьму с собой жену — она у меня спокойная, красивая — и девочку, и будем жить в сторожке. Поверите ли, как подумаю об этом, так с сердцем делаются перебои. А водителям это не положено.

— Я тоже,— ответил я.— Вспоминаю свои леса.

— А ваши хороши? — спросил водитель.

— Хороши.— Водитель натянул пилотку на лоб и дал газ. Больше мы не разговаривали.

Пожалуй, никогда я не вспоминал с такой остротой любимые места, как на войне. Я ловил себя на том, что нетерпеливо жду ночи, когда

где-нибудь в сухой степной балке, лежа в кузове грузовой машины и укрывшись шинелью, можно будет вернуться мыслью к этим местам и пройти по ним медленно и спокойно, вдыхая сосновый воздух. Я говорил себе: «Сегодня я пойду на Черное озеро, а завтра, если буду жив, на берега Пры или на Требутино». И у меня замирало сердце от предчувствия этих воображаемых походов.

Вот так однажды я лежал под шинелью и представлял в мельчайших подробностях путь на Черное озеро. Мне казалось, что не может быть в жизни большего счастья, чем опять увидеть эти места и пройти по ним, забыв обо всех заботах и невзгодах, слушая, как легко стучит в груди сердце.

В этих своих мечтах я всегда выходил из деревенского дома ранним утром и шел по песчаной улице мимо старых изб. На подоконниках в жестянках от консервов цвел огненный бальзамин. Его в тамошних местах зовут «Ванька мокрый». Должно быть, потому, что толстый ствол бальзамина просвечивает против солнца зеленым соком, и в этом соке иногде даже видны пузырьки воздуха.

Возле колодца, где весь день гремят ведрами босоногие болтливые девочки в ситцевых выгоревших платьях, надо свернуть в проулок, или, по-местному, в «прожог». В этом проулке, в крайней избе, живет известный на всю округу красавец петух. Он часто стоит на одной ноге на самом солнцепеке и пылает своим оперением, как груда рдеющих углей.

За петухом избы кончаются, и тянется, заворачивая плавной дугой в дальние леса, игрушечное полотно узкоколейки. Удивительно, что по откосам этого полотна растут совсем не те цветы, что вокруг. Нигде нет таких зарослей цикория, как около горячих от солнца узеньких рельсов. За полотном узкоколейки непроходимым частоколом стоит молодой сосняк. Непроходимым он кажется только издали. Сквозь него всегда можно продраться, но, конечно, маленькие сосенки исколют вас иглами и оставят на пальцах липучие пятна смолы.

Между сосенок на песчаной земле растет высокая сухая трава. Середина каждой травинки седая, а края темно-зеленые. Эта трава режет руки. Тут же цветет много желтых, шуршащих под пальцами чешуйчатых бессмертников — иммортелей и белой пахучей гвоздики с красноватыми пятнышками на растрепанных лепестках.

А под соснами полно молочных маслюков. Их ножки облеплены чистым серым песком. За сосняком начинается высокий бор. По его краю идет заросшая дорога.

Под первой же раскидистой сосной хорошо прилечь и отдохнуть от духоты молодой чащи. Лечь на спину, почувствовать сквозь тонкую рубашку прохладную землю и смотреть на небо. И может быть, даже уснуть, потому что белые, сияющие своими краями облака нагоняют дремоту.

Есть хорошее русское слово «истома». За последнее время мы совсем позабыли о нем и почему-то даже стесняемся произносить его. Но никаким другим словом нельзя лучше определить то спокойное и немного сонное состояние, какое охватывает вас, когда вы лежите в теплом утреннем лесу и смотрите на бесконечные цепи облаков. Они рождаются где-то в синеватой дали и непрерывно уплывают неведомо куда.

Лежа на этой лесной опушке, я часто вспоминал стихи Брюсова:

...Быть вольным, одиноким,
В торжественной тиши раскинутых полей
Идти своим путем, бесцельным и широким,
Без будущих и прошлых дней.
Срывать цветы, мгновенные, как маки,
Впивать лучи, как первую любовь,
Упасть, и умереть, и утонуть во мраке,
Без горькой радости воскреснуть вновь и вновь!

В этих стихах, несмотря на упоминание о смерти, была заключена такая полнота жизни, что ничего не хотелось иного, как только вот так лежать часами и думать, глядя в небо.

Заросшая дорога ведет через старый сосновый лес. Он растет на песчаных холмах, сменяющих друг друга с равномерностью широких морских валов. Эти холмы — остатки ледниковых наносов. На вершинах их цветет много колокольчиков, а низины сплошь заросли папоротником. Листья его с изнанки покрыты спорами, похожими на красноватую пыль.

Лес на холмах светлый. В нем далеко видно. Он залит солнцем.

Лес этот тянется неширокой полосой (километра на два, не больше), а за ним открывается песчаная равнина, где зреют, поблескивая и волнуясь под ветром, хлеба. За этой равниной простирается, насколько хватает глаз, дремучий бор.

Над равниной плывут особенно пышные облака. Может быть, так кажется потому, что широко видно все небо. Пересекать равнину нужно по меже между хлебов, заросшей репейником. Кое-где на меже большими разливами синеют твердые колокольчики приточной травы.

Все, что я мысленно представил сейчас,— только преддверие настоящих лесов. В них, в эти леса, входишь, как в огромный, полный тени, громадный собор. Надо сначала идти по узкой просеке мимо пруда, покрытого ряской, как твердым ярко-зеленым ковром. Если остановиться около пруда, то можно услышать тихое чавканье — это пасутся в подводной траве караси.

Потом начинается небольшой участок сырого березового леса с блестящим, как изумрудный бархат, мхом. Там всегда пахнет палым листом, оставшимся на земле от прошлой осени.

(Я думаю обо всем этом, лежа в кузове грузовой машины. Поздняя ночь. Со стороны станции Раздельной ухают взрывы — там идет бомбежка. Когда взрывы затихают, слышен робкий треск цикад — они испуганы взрывами и пока что трещат вполголоса. Над головой падает трассирующим снарядом голубоватая звезда. Я ловлю себя на том, что невольно слежу за ней и прислушиваюсь: когда же она взорвется? Но звезда не взрывается, а безмолвно гаснет над самой землей. Как далеко отсюда до знакомого березового перелеска, до торжественных лесов! Там теперь тоже ночь, но беззвучная, пылающая огнями созвездий, пахнущая не бензиновым чадом и пороховыми газами,— может быть, следует говорить «взрывными» газами,— а устоявшейся в лесных озерах глубокой водой и хвоей можжевельника.)

За березовым перелеском дорога круто подымается на песчаный обрыв. Сырая низина остается позади, но легкий ветер изредка до-

носит и сюда, в сухой и жаркий лес, йодистый воздух этих низин.

На пригорке второй привал. Я сажусь на горячую хвою. Все, к чему ни прикоснешься,— сухое и теплое: старые и давно уже пустые сосновые шишки, желтые, прозрачные и трескучие, как пергамент, пленки молодой сосновой коры, пни, прогретые до сердцевины, каждая ветка, шершавая и пахучая. Даже листочки земляники — и те теплые.

Старый пень можно разломать просто руками и насыпать себе на ладонь горсть коричневой горячей трухи.

Зной, тишина. Безмятежный день созревшего до соломенной спелости лета. Маленькие стрекозы с красными крылышками спят на пнях. А на лиловатых и твердых зонтичных цветках сидят шмели. Они сгибают своей тяжестью эти цветы до самой земли.

Я сверяюсь по самодельной карте — до Черного озера осталось еще восемь километров. На эту карту нанесены все приметы — сухая сосна у дороги, межевой столб, заросли бересклета, муравьиная куча, снова низинка, где всегда цветут незабудки, а за ней сосна с вырезанной на коре буквой «О» — озеро. От этой сосны надо свернуть прямо в лес и идти по зарубкам, сделанным еще в 1932 году. Каждый год они зарастают и заплывают солбмой. Их надо подновлять.

Когда найдешь зарубку, то обязательно остановишься и проведешь рукой по ней, по застывшему на ней янтарю. А иной раз отломишь затвердевшую каплю смолы и рассматриваешь раковистый излом. В нем играет желтоватыми огоньками солнечный свет.

Ближе к озеру начинаются среди леса глухие, глубокие впадины, так густо заросшие ольхой, что нечего и думать пробраться в глубь этих впадин. Должно быть, это бывшие маленькие озера.

Потом снова подъем в зарослях можжевельника с черными сухими ягодами. И наконец, последняя примета — ссохшиеся лапти, повешенные на ветку сосны. За лаптями тянется узкая травянистая прогалина, а за ней — крутой обрыв.

Лес кончается. Внизу высохшие болота — мшары, поросшие мелким лесом: березняком, осинами и ольхой.

Здесь последний привал. День уже перевалил за половину. Он густо звенит, как рой невидимых пчел. Тусклый блеск волнами ходит по мелколесью от каждого, даже самого слабого ветерка. Где-то там, в двух километрах отсюда, среди мшар, скрывается Черное озеро — государство темных вод, коряг и огромных желтых кувшинок.

Идти по мшарам надо осторожно: в глубоком мху торчат обломленные и заостренные временем, как пики, стволы березок — колки. О них можно жестоко поранить ноги.

В мелколесье душно, пахнет прелью, хлюпает под ногами черная торфяная вода. От каждого шага качаются и дрожат деревья. Нужно идти и не думать о том, что у тебя под ногами, под слоем торфа и перегноя толщиной только в метр,— глубокая вода, подземное озеро. В нем, говорят, живут совершенно черные, как уголь, болотные щуки.

Берег озера немного выше и потому суше мшар, но и на нем нельзя долго стоять на одном месте — след обязательно нальется водой.

К озеру лучше всего выйти в поздние сумерки, когда все вокруг — слабый блеск воды и первых звезд, сияние гаснущего неба, неподвиж-

ные вершины деревьев,— все это так прочно сливается с настороженной тишиной, что кажется рожденным ею.

Сесть у костра, слушать треск сучьев и думать о том, что жизнь необыкновенно хороша, если ее не бояться и принимать с открытой душой...

Так я бродил в воспоминаниях по лесам, потом по набережным Невы или по голубым от льна холмам суровой псковской земли.

Я думал обо всех этих местах с такой саднящей болью, как будто я потерял их навсегда, как будто больше никогда в жизни их не увижу. И очевидно, от этого чувства они приобретали в моем сознании необыкновенную прелесть.

Я спрашивал себя, почему я не замечал этого раньше, и тут же догадывался, что, конечно, я все это видел и чувствовал, но только в разлуке черты родного пейзажа возникли перед моим внутренним взором во всей своей захватывающей сердце красоте. Очевидно, в природу надо входить, как входит каждый, даже самый слабый звук в общее звучание музыки.

Природа будет действовать на нас со всей своей силой только тогда, когда мы внесем в ощущение ее свое человеческое начало, когда наше душевное состояние, наша любовь, наша радость или печаль придут в полное соответствие с природой и нельзя уже будет отделить свежесть утра от света любимых глаз и мерный шум леса от размышлений о прожитой жизни.

Пейзаж — не довесок к прозе и не украшение. В него нужно погрузиться, как если бы вы погрузили лицо в груду мокрых от дождя листьев и почувствовали их роскошную прохладу, их запах, их дыхание.

Проще говоря — природу надо любить, и эта любовь, как и всякая любовь, найдет верные пути, чтобы выразить себя с наибольшей силой.

НАПУТСТВИЕ САМОМУ СЕБЕ

На этом я кончаю первую книгу своих заметок о писательском труде с ясным ощущением, что работа только начата и впереди ее — непочатый край. Нужно сказать еще об очень многом — об эстетике нашей литературы, глубочайшем ее значении как воспитательницы нового человека с его богатым и высоким строем мыслей и чувств, о сюжете, юморе, лепке человеческих характеров, изменениях русского языка, о народности литературы, романтизме, хорошем вкусе, правке рукописей — всего не перечтешь.

Работа над этой книгой напоминает путешествие по малознакомой стране, когда на каждом шагу открываются новые дали и дороги. Они ведут неведомо куда, но сулят много неожиданного, дающего пищу для размышлений. Поэтому заманчиво и просто необходимо хотя бы и неполно, как говорится, начерно, но все же разобраться в сложном переплетении этих дорог.

1955—1964

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ
ПАУСТОВСКИЙ

ЗОЛОТАЯ РОЗА
Повести

Художник Юрий Григорьевич Пивченко

Редактор Н. Ветлугина. Художественный редактор А. Святченко.
Технические редакторы Л. Моргунова, О. Цыплакова.
Корректоры Н. Чеботарь, А. Сосновская.

ИБ № 3053

Подписано к печати с диапозитивов 30.11.87. Формат $60\times90^1/_{16}$.
Бумага кн.-журн. Гарнитура литературная. Печать высокая с ФПФ.
Усл. печ. л. 38,0. Уч.-изд. л. 40,66. Усл. кр.-отт. 38,0.
Тираж 300 000 (2-й з-д 100 001—200 000). Заказ № 386. Цена 2 р. 80 к.

Издательство «Литература артистикэ»,
277004, Кишинев, пр. Ленина, 180.

Центральная типография, 277068, Кишинев, ул. Флорилор, 1.
Государственный комитет Молдавской ССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.

2 р. 80 к.


КОНСТАНТИН ПАУСТОВСКИЙ
ЗОЛОТАЯ РОЗА